

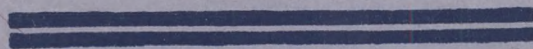
И О В Ъ И Т Ы  
М И Р

|| 3 ||

И О В Ъ И Т Ы  
М И Р

|| 1954 ||

3



1954

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 3

Март, 1954 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — За далью — даль	3
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — В том же районе	8
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — Новый сотрудник, рассказ	50
ФЕДОР ГЛАДКОВ — Лихая година, повесть. Продолжение	60
<i>К 10-летию Корсунь-Шевченковской битвы</i>	
С. СМИРНОВ — Сталинград на Днестре. Окончание	113
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
Д. КРАМИНОВ — Американские встречи	157
<b>ДНЕВНИК ИСКУССТВ</b>	
ГАЛИНА УЛАНОВА — Школа балерины	210
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
С. МАШИНСКИЙ — Украинские классики в русских переводах	223
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Кардин. «Советское Приморье». — Полковник Н. Денисов. Три книги о советских лётчиках. — М. Рыльский. «Энеида» И. П. Котляревского на русском языке. — М. Вовченко. Патриотическая пьеса Ивана Франко. — Я. Билинkis. Творческий путь Некрасова. — Кандидат исторических наук М. Соловьёв. В древнем царстве Урарту. — П. Топер. «Новая немецкая литература».	232
<i>Политика и наука</i>	
А. Стадниченко. Молодёжь нового Китая. — Вен. Мотылев. Американские женщины на работе и дома. — Ю. Шилин. Экономика современного капитализма. — Кандидат исторических наук А. Николаева. Москва в XVIII веке. — Доктор географических наук Д. Лебедев, кандидат географических наук Л. Каманин. Открытия советских географов. — П. Федоренко. Техника древней Руси.	262
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	284

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва



---

---

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

## ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ \*

Лиха беда — пути начало,  
Запев даётся тяжело,  
А там, глядишь: пошло, пожалуй?  
Строка к строке — ну да, пошло.  
Да как пошло! Сама дорога —  
Ты только душу ей отдай —  
Твоя надёжная подмога,  
Тебе несёт за далью даль.  
Перо поспешно по бумаге  
Ведёт, и весело тебе:  
Взялся огонь, от доброй тяги  
Гудит порывисто в трубе.  
И счастья верные приметы:  
Озноб, тревожный сердца стук,  
И сладким жаром лоб согретый,  
И дрожь до дела жадных рук...

И вдруг —  
Как будто простонала  
Под тормозами эта ось,  
И резким отзывом металла  
Тот стон прошёл тебя насквозь...

И на немерянном просторе  
Из края в край земли родной  
Прошло большое наше горе  
Как будто зримою волной.

Как будто мир объяввший ветер  
Прошелестел, — на ту печаль  
Отозвались на белом свете  
И наша близь  
И наша даль.

И словно поезд сбавил тяги  
Перед тоннелем иль мостом...  
Склонились траурные флаги,  
В беде примолк наш людный дом...

---

\* См. «Новый мир» № 6 за 1953 год.

Покамест ты отца родного  
Не проводил в последний путь,  
Ещё ты вроде молодого,  
Хоть сорок лет и больше будь.  
Хоть и жена давно и дети,  
Ещё ты сын того отца,  
Ещё не полностью в ответе  
За всё на свете до конца.  
Хоть за тобою попеченье  
И о делах, но всякий раз  
Его совет, сужденье, мнение  
Ты как бы держишь про запас.  
Его в виду имеешь разум,  
Немалый опыт трудных лет.  
Но вот уйдёт отец, и разом —  
Твоей той молодости нет.  
И тем верней, неотвратимей  
Ты в новый возраст входишь вдруг,  
Что был он чтимый и любимый  
Отец — наставник твой и друг...

Так мы на мартовской неделе,  
Когда беда постигла нас,  
Мы все как будто постарели  
В жестокий этот день и час.

В минуты памятные эти  
Мы все на проводах отца  
Вдруг стали полностью в ответе  
За всё на свете до конца...

В безмолвной скорби той утраты  
Стояли мы, заполнив зал,  
Тот самый зал, где он когда-то  
У гроба Ленина стоял.  
Стоял, поникший и спокойный,  
С рукою правой на груди.  
А эти годы, стройки, войны —  
Всё это было впереди, —  
Все эти даты, вехи, сроки,  
Что нашу метили судьбу,  
И этот день, такой далёкий,  
Как видеть нам его в гробу...

Стоял. В снегах страна скорбела.  
И дал он клятву Ильичу.  
И в мире ленинское дело  
Пришлось держать его плечу.  
Ему рулём досталось править  
На многомошном корабле,  
До дня, как нас одних оставить,  
Стоять и видеть в бурной мгле,  
И слышать всё в том грозном гуле,  
И знать, куда вести в борьбе...

Но что о нём самом смогу я?  
Я — не о нём.

Я — о тебе,

Мой сверстник, друг и однокашник,  
Что был ребёнком в Октябре,  
Товарищ юности вчерашней,  
С кем рядом шли в одной поре.

Суровый год судьбы народной —  
Страны Великий перелом —  
Был нашей молодости сходной  
Неповторимым Октябрём.  
Её войной и голодухой,  
Порывом, верой и мечтой,  
Её испытанного духа  
Победой. Памятью святой  
Ночей и дней весны тридцатой,  
Тогдашних песен и речей,  
Тревог и дум отцовской хаты,  
Дорог далёких и путей:  
Просторов Юга и Сибири  
В разливе полном тысяч рек,—  
Всего, что стало в этом мире,  
Чем наш в веках отмечен век.

И в даях тех — на подвиг новый,  
На жертвы призванной земли  
Он с нами был, чьё имя, слово  
И волю мы в себе несли.  
И виды видевшей, бездомной,  
Барачной юности вослед  
Росли дворцы, мосты и домны,  
Сады и шахты этих лет.  
И, все одной причастны славе,  
Мы были сердцем с ним в Кремле.  
Тут ни убавить, ни прибавить —  
Так это было на земле.

И пусть тех лет минувших память  
Запечатлела нам черты  
Его нелёгкой временами,  
Крутой и властной правоты.  
Всего иного, может, боле  
Была нам в жизни дорога  
Та правота его и воля,  
Когда под танками врага  
Земля родимая гудела,  
Неся огня ревуший вал,  
Когда всей нашей жизни дело  
Он правым коротко назвал.

Ему, кто вёл нас в бой и ведал,  
Какими быть грядущим дням,  
Мы все обязаны победой,  
Как ею он обязан нам.

Да, мир не знал подобной власти  
Отца, любимого в семье.  
Да, это было наше счастье,

Что с нами жил он на земле;  
Что распознали мы любовно  
Его средь нас в своей судьбе...

Мой сверстник, друг и брат мой кровный,  
Я — о тебе.  
И — о себе.

В неизмеримой той печали  
И я, как тысячи людей,  
Стоял тогда в Колонном зале  
С отдельной памятью моей.

Я жил при нём. И был я вправе  
Мечтать до нынешнего дня,  
Что в общем перечне заглавий  
Он мог отметить и меня.  
Что мог с досадою суровой  
Иль с добрым чувством вдруг прочесть  
Мою страницу, строчку, слово —  
Из тех, что будут или есть...

И этот труд при нём я начал,  
Заветной избранный мечтой,  
Но день настал, черту означил —  
И я, как все, — за той чертой.  
Я предан замыслу и верю —  
Его исполню в некий срок,  
Но я не сразу боль потери  
И горечь горя превозмог.  
Я знал, что медлю поневоле  
И не подвинусь ни на пядь,  
Пока словами этой боли  
Здесь не отважусь передать —  
Моей, при нём пришедшей теме...

А жизнь неслась путём своим,  
Не останавливалось время,  
Лишь становилось иным...

В весеннем сморщенном листочке,  
Из почки вышедшем едва,  
Просились в мир, наружу строчки  
И сердцу нужные слова.  
Спешила день и час природа  
Со всею щедростью своей  
Не заслонить утрату года,  
Но озарить его светлей.  
Занять его трудом на севе,  
Всему в пути ускорить срок,  
Поднять с рассвета юг и север, —  
До края — запад и восток.  
И на огромном том пространстве  
Для городов и деревень,  
Столиц и сёл, дорог и станций  
Вставал, горел рабочий день.

Земля всё гуще зеленела,  
Всё в рост гнала, чему расти.  
Творил своё большое дело  
Народ на избранном пути,  
Страну — от края и до края,  
Судьбу свою, судьбу детей,  
Как прежде, с твёрдостью вверяя  
Великой Партии своей.  
Он нёс своё родное знамя —  
Завет учителей своих...

И это — слава, это — память,  
Бессмертье павших и живых, —  
Всего, что вечность не во власти  
Сокрять в беспомысленстве глухом.

Спасибо, Родина, за счастье  
С тобою быть в пути твоём,  
С тобой по-доброму усталым  
Вздохнуть всей грудью — заодно.  
И дальше в путь — большим ли, малым,  
Ах, самым малым, — всё равно —  
Она моя — твоя победа,  
Она моя — твоя печаль.  
Твой слышу зов: со мною следуй  
И обретай в пути и ведай  
За далью — даль.  
За далью — даль.





---

---

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

## В ТОМ ЖЕ РАЙОНЕ \*

1

**Н**а другой день, как условились, Мартынов пришёл в райком пораньше, до начала работы, но Марья Сергеевна Борзова не зашла к нему. Часа в два она позвонила из дому и сказала, что уезжает в Борисовку к мужу — посмотреть, как он устроился там, на новом месте. «Что ж, счастливого пути, — подумал с сожалением Мартынов. — Не останется она здесь. «Когда был на высоком посту, в почёте, жила с ним, примирилась, а когда ему плохо — бросить?» — вспомнил он слова Марьи Сергеевны. — Переплачет, успокоится, и будут жить попрежнему».

А через неделю к нему в райком пришёл сам Борзов. Ещё накануне Саша Трубицын, помощник секретаря, сообщил Мартынову, что Борзова с женою видели в городе: приехали за вещами, переселяются в Борисовку. Борзов пришёл в райком поздно вечером, когда Мартынов сидел там один.

— Здорово! — протянул он руку Мартынову. — Как живёшь-можешь?

— Помаленьку, — ответил Мартынов, пожав его руку и пересаживаясь из кресла на диван. — Садись.

Закурили из портсигара Борзова.

— Ты ведь не курил, — заметил Мартынов.

— Курил, много лет. Бросал, опять начинал... На что намекаешь? От переживаний, думаешь, закурил?

— Не намекаю ни на что. Просто помнится — не курил...

Борзов оглядел бывший свой кабинет. В нём не было никаких перемен. Мартынов не принадлежал к числу тех ответственных работников, которые начинают свою деятельность с перестановки по-своему мебели в служебном кабинете.

— Ну, как оно здесь? — пожевав мундштук папиросы, спросил Борзов. — Много ли грязи льют на меня бывшие мои подхалимы? — В его голосе слышалась какая-то напускная игривость, вызывающая не то на шутку, не то на спор. — Бывает ведь так: уехал человек, которого боялись, он уже не у власти, и тут-то начинается, на ушко: «Вы знаете, он на птицекомбинате тысячу яиц выписал за год!» — «Ему из рыбхоза рыбу бесплатно возили!» — «На охоту ездил на казённой машине!»...

— А я таких, Виктор Семёныч, — ответил Мартынов, — что задним числом льют грязь на тебя, гоню в шею. Я им не верю. «Почему раньше молчали, на пленумах, конференциях? Сегодня на Борзова капаете, завтра, может, меня снимут — про меня какую-нибудь сплетню пустите?» Гоню таких к чёрту!

— Правильно делаешь! Это — не опора твоя. Ищи опору среди других людей, среди тех коммунистов, которые не заискивают перед новым секретарём, не лезут ему в глаза.

---

\* Продолжение очерков «Районные будни» и «На переднем крае».

«Совет дельный», — подумал Мартынов.

Борзов был всё такой же: коренастый, бритоголовый, с сильными плечами и толстой, мускулистой шеей, не похудел, не изменился в лице. Если бы не землисто-желтоватый цвет кожи на лице, он бы выглядел просто здоровяком.

— Приехал за открепительным талоном, — сказал Борзов. — Отпустите?

— Если очень настаиваешь — отпустим, — ответил Мартынов. — Но мы и не гоним тебя. Нашли бы и здесь тебе работу.

— Ну-у? Не гоните? Не рад тому, что уезжаю?.. Ты, говорят, и Марье Сергеевне предлагал тут другую работу? Её удерживаешь или меня?..

— Что ж, Марья Сергеевна работник неплохой, жалко её отпускать, — насколько смог спокойно ответил Мартынов.

Борзов искоса, потемневшими глазами, с недоверчивой, недоброй усмешкой поглядел на Мартынова. Однако продолжал разговор в том же шутиливо-развязном тоне.

— А какую дали бы мне работу? Директором инкубатора? В Сельхозснаб послали бы? На Втором Троицке? Пять километров? Покорно благодарю!.. Войди в моё положение, Пётр Илларионыч. Что-то неохота ходить пешком по тем самым улицам, по которым в «Победе» ездил. Лучше уж в другом месте, по другим улицам.

— Пожалуй, лучше, — согласился Мартынов. — Поэтому и отпустим тебя... Не поминай нас лихом.

Борзов в две затяжки докурил папиросу, пустил клуб дыма к потолку, ещё раз оглядел кабинет. После большой паузы заговорил — уже серьёзно, без натянутой улыбки, которая так не шла его обычно суровому, каменному лицу.

— Рано ли, поздно ли, — убеждённо сказал он, — вспомнят Борзова! Позовут меня опять на большую работу! Нельзя так разбрасываться кадрами. Поймут товарищи!.. Я ли не просиживал в этом кабинете ночи напролёт? Сколько сил я здесь положил! Я здесь здоровье потерял!.. Позвонишь в сельсовет: «Разыщите всех председателей колхозов и бригадиров!» В третьем часу ночи. Для чего я это делал? Чтобы люди чувствовали: от этого секретаря и ночью нигде не скроешься! Я, бывало, не сплю — весь район не спит! Государству нужны на руководящих постах энергичные работники!.. Теперь тут чего хочешь наговорят про меня. Одного только не скажут: что я размазнёй был. Умел держать район в страхе божьем!..

— Что умел, то умел, — согласился Мартынов.

А про себя подумал: «За дурною головою и ногам нема покою»...

— Неправильно всё же записали обо мне в решении бюро обкома, — продолжал Борзов. — «Грубый зажим критики»... Не так ведь всё было, как растрезвонили. Ну, позвонил я прокурору насчёт этого Мухина, что обозвал меня на партактиве самодуром. Но я же не приказывал завести на него дело. Глупости! Если человек не совершил преступления, за что же его судить? Сам прокурор как-то говорил мне: «Придётся привлечь Мухина за нарушение устава сельхозартели: сено трактористам на корню продал». Я только справился, в каком положении дело, ведётся ли следствие... Просто время сейчас такое. Решения девятнадцатого съезда, новый устав. «Зажим критики является тяжким злом...», «Тот, кто глушит критику...» Надо было кого-то пустить под нож, в назидание другим. Попал под колесо истории.

Мартынову стало невыносимо скучно. Он зевнул во весь рот, поглядел на стенные часы.

— Половина первого. Завтра мне к восьми утра надо быть в «Заре коммунизма».

Борзов встал.

— Думал я, Виктор Семёныч, что ты что-нибудь поймёшь, прочувствуешь за эти дни, — сказал Мартынов. — А ты ерунду говоришь. «Время такое». Какое? В моде увлечение критикой, что ли? И ты стал жертвой этой моды? «Попал под колесо истории». Неумно обставил дело с Мухиным — вот и вся твоя ошибка... А в каком положении сейчас район? По сводкам-то числимся середняками, а по существу ведь очень запущенный район! Почему он стал таким? Чего нам будет стоить его вытянуть?..

Хотелось Мартынову высказать Борзову всё, накипевшее у него с тех пор, как стал он здесь первым секретарём и почувствовал ответственность в первую голову за положение дел в районе. «Три года глушил ты здесь живую мысль. С членами бюро не советовался, в мальчиков на побегушках пытался их превратить. Подшучиваешь над подхалимами — «мои подхалимы», — а зачем же приближал таких к себе? Доверял ответственные посты начётчикам, бездумным службистам. По образу и подобию своему выдвигал и расставлял вокруг себя кадры. Авгиевы конюшни оставил нам. Расчищай теперь! А в колхозы посылал неугодных либо штрафников: «В село пошлём тебя, в отстающий колхоз, в «Гибель капиталу»!..» За одно это, что искохлил высокое звание председателя колхоза, следовало бы исключить тебя из партии! Самое святое: люди, земля, хлеб. Для чего же мы и существуем, коммунисты, как не для того, чтобы сделать жизнь во всех колхозах богатой, радостной?..»

Многое захотелось ему высказать, но подумал: «Пустая трата времени! Доказывай слепому, какого цвета молоко!» — махнул рукой, пошёл к вешалке за пальто и шапкой.

— Ничего ты не понял! И вряд ли поймёшь. И разъяснить тебе невозможно. На разных языках разговариваем.

— Погоди, не горячись. — Борзов попытался изобразить на лице иронически-сниходительную улыбку. — Не горячись! Укатают сивку крутые горки. Давай-ка присядем ещё на минутку. Расскажу тебе, с чего я начал, какие у меня были благие намерения, когда сюда приехал. И почему у меня не вышло. Могу передать тебе свой опыт.

— А ну тебя с твоим опытом! Ничего дельного не услышишь от тебя!..

Пропустив Борзова вперёд через порог, Мартынов погасил свет в кабинете, крикнул ночному сторожу, дремавшему в коридоре возле жарко пылавшей печи, чтобы закрыл дверь на ключ, и быстро сбежал вниз по ступенькам, обогнав Борзова на лестнице.

На улице мело. В лицо Мартынову ударил холодный ветер с колючим сухим снегом. Он поднял воротник пальто, глубже насунул на лоб шапку и пошёл домой, слыша позади шаги Борзова, удалявшегося в другую сторону.

На том они и расстались.

В середине января установилась прекрасная погода. Лёгкий безветренный мороз, солнце по утрам, неглубокий снег на улицах города.

Троицк — маленький городишко. Стоит он на сторожемом взгорье, на высотах, далеко видны вокруг сёла, луга в пойме реки Сейма, тёмные полосы лесов за холмистыми полями. Нынче Троицк — обыкновенный районный центр в сельскохозяйственной области. Всё, что есть в нём, все учреждения, предприятия, — всё подчинено сельскому хозяйству, всё работает на колхозы. А когда-то это была крепость на южных границах Руси. До сих пор пригороды носят названия: Стрелецкая слободка, Пушкинская слободка — «под шеломами взлелеяны, с конца копыа вскормлены...» Восемьсот лет городу. А выглядит он молодо. Новые здания на месте разрушенных в войну, молодые скверы на площадях, молодые клёны и берёзки в парке возле районного Дома культуры. Много молодёжи —

студенты пединститута. Не успели только переименовать Троицк как-нибудь по-новому, в Зерноград-на-Сейме или Хлебодаровск. Вероятно потому, что с урожаями здесь было всё же неважно.

В воскресенье Мартынов встал очень поздно, в половине двенадцатого, — накануне вернулся из района перед рассветом. На столе, возле тарелок с приготовленным для него завтраком, лежали три записки. От сына: «Ушёл на лыжах, большой кросс, скоро не ждите»; от жены: «Ушла к портнихе. Пожалели тебя будить, позавтракали без тебя. Если пойдёшь гулять, встретимся в парке», и от двоюродной его сестры, которая выполняла у них в доме обязанности хозяйки: «Я на рынке. Остынет чай — подогрей на электрричке».

Мартынов позавтракал, оделся и вышел на улицу, защёлкнув за собою дверь на английский замок. Ночью слегка припорошило, свежий белый пушок покрыл старый наст, глазам было больно от ослепительного сияния под солнцем чистого снега. В райкоме Мартынов, не раздеваясь и не снимая шапки, просмотрел у дежурного принятые ночью телеграммы, в кабинет не зашёл. Сегодня ему хотелось отдохнуть, побродить по городу, освежиться.

На главной улице, по дороге к парку, у бывшей квартиры Борзова его скликнул знакомый голос:

— Пётр Илларионыч! Что ж проходишь и не здороваешься?

Мартынов оглянулся. На крыльце дома стояла Марья Сергеевна, в меховом пальто и белом вязаном платке, натягивала на руку варежку.

— Не ожидал уж увидеть тебя здесь... Здравствуй. Приехала? Забрать последние вещички?

— Приехала... Гуляешь? И я вышла на воздух, подышать. Как тут сколько!..

Мартынов взял Борзову под руку, свёл её со ступенек.

По улице, круто спускавшейся к Сейму, между машинами и подводами с бешеной скоростью, угрожая сшибить, зазевавшегося встречного, пронеслись салазки. Ребята, тормозя ногами, склонившись набок, лихо заворачивали на углах. Мартынов, погрозив кулаком нарушителям правил уличного движения, перевёл Борзову на другую сторону улицы.

— Побывала у него в Борисовке, — начала рассказывать Марья Сергеевна, — и решила остаться пока здесь. Буду здесь жить. Не прогоните? Квартира-то эта мне с ребятами велика, пусть горсовет сделает из неё две квартиры, ещё кого-нибудь вселит... Обещал послать меня в МТС? Что ж, пойду. Тогда и жить там буду, совсем откажусь от этой секретарской квартиры.

— Да что ты о квартире! Никто тебя не выселит, живи... Что у вас произошло?

— Что произошло?..

На Торговой площади из-за угла универсама вышла быстрой лёгкой походкой женщина в чёрном пальто с меховой опушкой внизу, в серой каракулевой шапочке и маленьких белых фетровых валенках. Она помахала Мартынову издали рукой, указала жестом в сторону парка, крикнула: «Сейчас приду!» — и скрылась в дверях магазина.

— Кто это? — спросила Марья Сергеевна.

— Моя жена, — ответил Мартынов. — У портнихи была. Вероятно, не хватило материалу на какие-то оборочки, побежала купить.

— Твоя жена?.. Когда она приехала?

— Да уж дней десять, как дома.

В парке были протоптаны дорожки гуляющей молодёжью. Густо посаженные низкорослые деревья срослись кронами над аллеями. Мартынов

задел шапкой ветку. Марья Сергеевна вскрикнула — снег посыпался ей за воротник.

— Пойдём на ту дорожку, там деревьев нет, я не хочу на морозе холодный душ принимать.

— Так что случилось? — спросил Мартынов, когда они прошлись два раза взад-вперёд мимо установленного на пьедестале танка — памятника погибшим при освобождении Троицка танкистам. — Ты ушла от него?

— Ты знаешь, Пётр Илларионыч, — горько усмехнулась Марья Сергеевна, — он сам облегчил мне задачу. Я-то, дура, колебалась: в такую трудную для него минуту если и я, жена, покину его... А он этой минуты ждал. То есть не ждал, конечно, чтоб его сняли. Но раз уж так вышло... У него в Борисовке старая привязанность. С тех пор ещё, как он там работал. По возрасту-то не старая, моложе меня. Лаборантка на элеваторе. Говорили мне, когда мы уже здесь жили: если Виктор Семёныч звонит, что заночевал в дальнем сельсовете, так и знай — заехал через границу в Борисовский район к Галине, проверяет на элеваторе по квитанциям, какой район сдал больше хлеба за пятидневку. Не верила... Ну, что ж — убедилась. Приехала в Борисовку, и пришлось остановиться в гостинице. Галина уже у него живёт.

— Вот как!.. Был у меня — ни словом не обмолвился о семейных делах.

— И мне здесь не сказал. Трус. Оттягивал до последнего. Знала бы — я бы и не ездила туда, срамиться...

Мартынов взглянул на замолчавшую Борзову, увидел на её глазах слёзы.

— Не горюй! Не пропадёшь без него.

— Да не горюю я! — с жаром ответила Марья Сергеевна. — Противно мне!.. Всё поняла! Давно его тянет к ней, но не решался бросить меня. Пока занимал такой высокий пост. Как же! Люди осудят. До обкома дойдёт. Другим — пример? Руководитель должен быть безупречным в быту. Сам читал тут лекции о семье, о морали. Крепкая семья — основа государства. А теперь ему нечего терять!..

— Что-то не так, — сказал Мартынов. — Он ведь уверен, что недолго пробудет в опале. Говорил мне: «Рано ли, поздно ли — позовут меня опять на руководящую работу». Если метит снова в секретари, ему невыгодно ещё чем-то замарать свою репутацию... Может быть, он в самом деле очень любит эту девушку?

— Может быть... Так бы и сказал, по-человечески. А то ведь я осталась виновата. И ты... Всем будет говорить: «Она мне первая изменила». Оправдание.

— Мы виноваты? — остановился на дорожке Мартынов.

— Помнишь, когда пришёл ты к нам вечером, я сказала: «Городишко у нас такой: на одном краю чихнёшь, с другого края услышишь: «Будьте здоровы!» Ему сразу донесли. Он мне тогда — ни слова. Только спросил: «Чего Мартынов приходил?» Я сказала: «Сама позвала его. Хотелось от него узнать, о чём вы всё спорите...»

— Ну?..

— Ну, вот тогда не ревновал, приберёт до времени. А сейчас всё вспомнил. «Вижу, что у вас с Мартыновым пошло на лад. Как только я из дому — Мартынов на порог. Стало быть, и мне нужно подумать о другой жене». Такую сцену ревности закатил!..

— Какая чепуха! — Мартынов покраснел. — Чего ж он молчал?.. Да врёт он, не ревнует! Почему мне не сказал? Был в райкоме, сидели с ним на диване. Взял бы пресс-папье да стукнул меня по голове, что ли. Ишь, Отелло какой!..

— Не ревнует? — Марья Сергеевна большими серьёзными глазами посмотрела на Мартынова. — И это не от души?..

Прошлись ещё раз по аллее от танка до входной арки.

— А дети? — спросил Мартынов.

— Нина, его дочка от первой жены, осталась с ним, а малышей мне отдал. Очень просил, чтобы старший, Миша, с ним остался. Детей он любит. Я не уступила!.. Обещал: «Буду помогать». А зачем мне его помощь? Сама, что ли, не прокормлю, не воспитаю их?..

Сзади послышались быстрые шаги. Звонкий голос произнёс: «Разрешите присутствовать?»

Мартынов, улыбувшись, ответил: «Пожалуйста!» — и обернулся. Стройная черноглазая женщина, с выбившейся из-под шапочки на лоб прядью чёрных вьющихся волос, шутливо взяла «под козырёк», сдвинула пятки валенок — щелчка не получилось.

— Пожалуйста, присутствуй. Познакомьтесь — моя жена, Надежда Кирилловна. Марья Сергеевна Борзова, бывшая Маша Громова. Я писал тебе о ней.

Женщины, пристально взглянув друг другу в глаза, не снимая варежек, обменялись рукопожатием.

— Вы только парк обошли? — сказала Надежда Кирилловна. — А я в этом городе новосёл. Я тут ещё ничего не видела. Пойдёмте вниз, к речке, на каток.

...Долго гуляли в этот день по окрестностям города Мартынов с женою и Марья Сергеевна. Побывали в Ореховом логу, где лыжники прыгали с трамплина, исходили вдоль и поперёк, по колено в снегу, дубовую рощу за рекой, посидели у замёрзшего Сейма на брёвнах, приготовленных для строительства нового моста.

Марья Сергеевна узнала о жене Мартынова — кто она и что.

— Война помешала закончить институт, — рассказывала Надежда Кирилловна. — Почти уж плюнула на это дело. А потом посмотрела на его литературные увлечения, думаю: может, человек на этом и свихнётся, а как же я с сыном?.. Достала старые учебники, подготовилась, выдержала на второй курс. Вот — доучивалась в Краснодаре. Специальность у меня хорошая, вкусная. Садоводство и виноградарство. Только садов здесь в районе мало. А виноградников совсем нет. Что ж, будем разводить, товарищ секретарь, а? Или вам сейчас не до винограда? Не до жиру, быть бы живу? Пшеничку ещё не научились хорошо выращивать? Хлеба по трудодням мало даёте?..

— погоди ругать меня за пшеничку. Дай сроку. Вот подготовимся как следует к весне!.. Как узнала она в институте, что я пошёл на партийную работу, — обратился Мартынов к Марье Сергеевне, — такие нежные письма стала мне писать! Давняя её мечта: чтоб я бросил газету. А приехала — начинает с критики!..

— Особых нежностей я тебе, положим, не писала. Написала, что художником можно быть не только в литературе. Сам своего призвания не понимаешь! Сочинишь рассказ — читать невозможно, скучно, хуже протокола. А слушаешь, как ты иной раз, под настроение, речь произнесёшь на собрании о заготовке кормов на зиму для скота — это же поэма! Вергилий!

— Ладно, Вергилий... При чём тут мои литературные увлечения? Впервые, это я настоял, чтобы ты закончила институт. Жалко: училась, училась — и бросила. А во-вторых, трудно нам было жить на одну мою зарплату.

— Трудно, конечно. Ты же вместо корреспонденций романы писал. А их никто не печатал. Да пересажали с места на место три раза в году.

Кадушки, ведрушки, горшки, корыто — только наживёшь, обзаведёшься хозяйством, — бросай всё, наживай сызнова!..

— Вот ведь какая!.. — Мартынов опять тронул за локоть Марью Сергеевну. — Вспоминает: три раза в году переезжали. А у самой — цыганская натура. Век бы кочевала по белу свету... Когда я работал собкором областной газеты, я хотел написать новеллу: «Жена корреспондента». О ней. Я тогда был влюблён в неё по уши.

— Вст как! А сейчас уже не по уши?..

— Пожила бы подольше в Краснодаре — я бы тебя совсем забыл.

— Ну, не забыл бы!..

— Не перебивай. Я расскажу Марье Сергеевне про наши мытарства... Приезжаем мы с нею в какой-то пятый или шестой по счёту район. Чемодан, рюкзак — все наши пожитки. Живём в гостинице, пока квартиру нам дадут. Она просит меня: «Петя, давай хоть здесь поживём спокойно. Полегче критикуй начальство. У тебя характер скверный. Ты всегда видишь только плохое». Это она ведь неправду сказала, что я не писал корреспонденций. Писал. Не часто, но крепко. Не только в том районе читали мои статьи, где я жил. После каждой статьи — решение бюро обкома. Так ли, не так, подтвердит комиссия или, может, загладит, но решения не миновать. «Тебе, — говорит, — всегда только недостатки в глаза бросаются. А ведь у них здесь, наверное, есгь и достижения». — «Да мне, — говорю, — и самому уже хочется немножко отдохнуть. На этот раз мы, кажется, в хороший район попали. Побывал в райкоме, райисполкоме — ребята весёлые, приветливые. Съездил в два колхоза — богато люди живут». Ликует! Наконец-то! Начинает белить новую квартиру, картинки развешивает по стенам... Проходит неделя, другая. Замечает — я что-то помрачнел, беспокойно сплю по ночам. «Что с тобой?» — «Да ничего...» Ещё проходит неделя. «Что ж ты молчишь, ничего не рассказываешь о районе?» — «Да знаешь, — говорю, — Надя, разобрался я поглубже — не так уж хорошо здесь, как сначала мне показалось. Руководители-то здесь — народ бывалый, умеют товар лицом показать. В одной МТС у них колхозы богатые, всех гостей туда возят, все планы за счёт этих колхозов выполняют. А есть одна МТС — туда они и сами раз в году заглядывают. Старая болезнь — очковтирательство». — «А с урожаями как?» — «На отдельных участках — рекорды, а в общем — неважно». Ещё проходит неделя, я ей рассказываю, где был, что видел... Вдруг она как хлопнет рукой по подушке! «Так какого же ты чёрта мне тут в постели на ухо шепчешь? Почему не напишешь об этом в газету? Там же, в области, небось, считают этот район передовым?» — «Напишу, — говорю. — Подумаю, посмотрю ещё — напишу. Только ты больше никаких картинок не развешивай по стенам. Как бы не пришлось их опять убирать». Обо мне в редакции сложилось мнение, что я неуживчивый человек, не умею ладить с местным руководством. «Напишу, — говорю. — Укладывай вещички в чемодан». — «А долго ли мне их, — говорит, — уложить? Голому одеться — только подпоясаться. Лишь бы ты совесть свою не продал тут за хорошую квартиру да за спокойную жизнь!»

Мартынов положил руку на плечо Надежде Кирилловне.

— Молодец жена!.. С такой женой можно земной шар пять раз пешком вокруг обойти!..

Мартынова звонко рассмеялась.

— А помнишь, как нас в одном районе, — в каком это, в Сизовском, да? — хлебом-солью встречали?

— В Сизовском. Только что в колокола не звонили. Как же! Корреспондент областной газеты приехал на жительство! Человек опасный!.. Там в торговых организациях жулики засели, я потом большое дело там

раскрыл. Подъехали к дому — зимою, на грузовике, — вещи сбросили, я её оставил одну, пошёл на почту — передать срочный материал в редакцию. Прихожу, она сидит в пустой квартире и плачет. «В чём дело?!» — «Да тут без тебя что было! Двадцать посетителей справлялись о твоём здоровье. Один пришёл из торгова, хотел оставить мне корзину с продуктами. Другой — из потребсоюза: «Проголодались, небось, с дороги? Вот вам тут закусить и погреться». Машину торфу привезли нам, дров на растопку. Спрашиваю: «Сколько платить?» — «Бесплатно, из уважения. Забота о живом человеке»... Да что ж это такое? Купить тебя хотят, что ли? Дураки, негодяи!..» Сидит на полу, как узбечка, поджав ноги, — мебели в квартире ещё не было никакой, — и ревет белугой. «Я, — говорит, — не стерпела, кому-то, кажется, ещё и по шее дала...»

Прощаясь с Марьей Сергеевной, Мартынов спросил:

— Так как же насчёт Семидубовской МТС? Пойдёшь?

— Тяжело мне будет работать с Готовым, — ответила, подумав, Борзова. — Какой-то он закоснелый человек.

— А может быть, и ему душу разберем?.. Ведь с двадцать девяти года коммунист. Первые артели организовывал. В трудное время вступал в партию. Почему он стал таким обрюзгим примиренцем? Надо разобраться!.. Мы порекомендуем избрать тебя и секретарём парторганизации.

— Что ж, будешь помогать, Пётр Илларионыч, — пойду, — сказала Марья Сергеевна. — Вот только за последние годы много появилось машин новых марок. Нужно их изучить. Какой же я руководитель, если хуже тракториста в машине разбираюсь?.. Мне бы бросить все эти дамские маникюры да надеть опять комбинезон! Показала бы, что можно выжать из нашей техники!..

— Это тебе нетрудно — освоить новые машины. Но прежде всего — человек.

— А что же я — не люблю людей? Не среди людей выросла? В диком лесу?..

— Значит, — по-деловому закончил разговор Мартынов, — завтра на бюро и обсудим. Приходи в райком к двенадцати.

Марья Сергеевна не сразу вошла в дом, долго стояла на углу, на перекрёстке улиц, глядела вслед уходящим, оживлённо о чём-то разговаривающим Мартынову и Надежде Кирилловне...

## 2

Однажды мне пришлось быть в кабинете Мартынова, когда он принимал посетителей.

У его помощника, Саши Трубицына, я увидел составленный с утра или, может быть, накануне большой список.

— И у тебя, Пётр Илларионыч, люди ждут очереди на приём? — спросил я.

— Не знаю, хорошо это или плохо, но очереди бывают, — ответил он. — Не ходили бы люди к нам в райком — не было бы очередей. Это разве лучше?.. Заходи, послушай.

Первой он принял старуху лет семидесяти, Суконцеву Пелагею Ильичну, из села Речицы, колхозницу. Усевшись в глубокое кресло, откуда из-за стола выглядывала только её голова в шерстяном платке, маленькая, сгорбленная, но не дряхлая, с живыми чёрными глазами, она стала излагать суть дела.



— Это что ж таксе творится у нас в Речице, товарищ Мартынов? Прямо, как у тех лесовиков, что как загуляли на масляной, так аж на второй неделе поста опаматовались: а не заехали ли мы уже в великий пост, греховодники? Ну, у тех хоть, по неграмотности, календаря не было, до батюшки в село пришлось посылать гонца, чтоб объяснил им, который день они пьют без просыпу. А у наших-то календари есть!.. Самого председателя как кинулись искать третьего дня по всему селу — печать на какую-сь бумажку приложить, — так аж нынче утром нашли на мэтэфэ в силосной яме, чуть тёпленького.

— С чего это у вас пошло такое гулянье?

— Престолы! Престолы, товарищ Мартынов!.. Так совпало: нынче у нас, в Речице, престол, а через три дня — в Подлипках. Сёла — рядом. То подлипкинцы ходили к нам гулять, то наши повалили туда в гости. Не успели прохмелиться — в Сорокине престол. А в воскресенье — престол в Горенске. Да когда ж оно кончится? Я уж смотрела, смотрела, да думаю себе: надо властям, что ли, заявить про такое безобразие. Я в колхозной ревкомиссии состою. Ежели что плохое случится в колхозе, и с меня спросят. Скот ревьёт непоенный, корма на животноводство не подвозят. Прошлой ночью свиный семь поросят задавили. По недогляду. Свиноарок на дежурстве не было.

— Неужели так много у вас в Речице религиозных?

— Какая там религия! — махнула рукой старуха. — Была бы причина погулять. Не всё ж работать, надо и повеселиться. А по какому случаю? Да святого Пантелеймона нынче! Ну, давай — за святого Пантелеймона!..

Из разговора выяснилось, что старуха сама неверующая. В девятнадцатом году белые повесили её мужа. В селе была подпольная большевистская организация, в которой состоял и её муж. Донёс на них поп. Жена одного из подпольщиков проболталась на исповеди. Повесили двенадцать человек.

— Это ж как, допустимо им, пастырям духовным, людей предавать? — возмущённо говорила старуха. — Согнали всё село на площадь смотреть, как наших мужиков казнили. И батюшка туда же, с крестом: «Ныне отпущаюши...» Вот тогда-то меня и отвратило от них, долгогривых! И иконы в печке пожгла! «Не убий», — учат. А сами что делали?.. Дочка у меня есть, пятьдесят два года. Та верует, ходит в церковь. Два сына у неё погибли в эту войну, внуки мои. Всё за них молится. Неграмотная. Не пришлось ей в школу ходить, очень бедно мы жили. А я в детстве жила в городе в няньках у одного доктора. Хозяйка такая добрая женщина была, грамоте меня научила. По письму не шибко умею, а книжку всё же прочитать могу, ежели буквы крупные.

Вернулись опять к вопросу о престольных праздниках.

— Это ж у вас такая беда, небось, не только в Речице? — сказала старуха.

— Не только в Речице, — подтвердил Мартынов. — Беда, действительно. Но что же делать?.. Видимо, антирелигиозная пропаганда у нас хромает?

— Вам лучше знать, что у вас хромает. Хромает — подковать надо. Старуха помолчала.

— А я так думаю, товарищ Мартынов, не от религии это, а от того, что людям погулять хочется. Вы того не учитываете, что человек не машина. Работу требуете, а как людям лучше отдохнуть, повеселиться — об том не беспокойтесь!.. Спросите у нас любого человека: а что это за святой Пантелеймон, которого сегодня в церкви поминали? А в Подлипках — на святого Кирилла престол. Что они за люди были? Как жили, чем прославились? За что их в святые произвели? И почему это

так устроено, что в одном приходе престол на такого-то святого, а в другом — на такого-то? Никто не знает и не сможет объяснить. Бессмысленно водку пьют, и больше ничего!..

— Так, может, провести нам разъяснительную работу — о происхождении престольных праздников?

— А! Вы не смейтесь, товарищ Мартынов. Может, я своей глупой головой и не так чего придумала, а всё ж послушайте меня. Надо советскими праздниками с этими поповскими праздниками бороться!

— Клин клином вышибать?

— Ага! Надо в каждом колхозе свой колхозный праздник людям дать! Вот, скажем, наш колхоз называется именем товарища Будённого. А в Сорокине — колхоз Чапаева. Ещё где-то у нас в районе, слыхала, есть колхоз имени Валерия Чкалова. Это люди известные старому и малому, знаменитые люди! Посмотреть бы по святцам: когда там Симеона, Василия?..

— Так зачем же по святцам, если уж на то пошло, — улыбался Мартынов. — В святцах день ангела. По биографии надо смотреть — день рождения.

— Ну, день рождения. И в этот день, значит, — праздник по всему колхозу! А святого Пантелеймона — долой! Провести собрание, доклад сделать людям про нашего именинника, про его жизнь, заслуги. Ну и погулять, конечно, потом. Не без этого... Может, и телеграмму отбить самому Семёну Михайловичу: «Приезжайте к нам в гости на праздник».

— Всюду в свой день рождения он не успеет побывать. Колхозов имени Будённого у нас в стране, вероятно, сотни.

— Не придет — письмецо нам пришлёт, и за то спасибо.

— А не получится, Пелагея Ильинишна, — сделав озабоченное лицо, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, сказал Мартынов, — что будут в одном колхозе праздновать Симеона, в другом — Василия, в третьем — Климентия, — опять же пойдут друг к другу в гости всем селом, потеряют месяц и число?..

— Нет, товарищ Мартынов! — доказывала своё старуха. — Вот вы приглядитесь сами: всё же на советские праздники у нас безобразия куда меньше! Совестно же, если, скажем, товарищ Будённый дознается после, что мы тут без меры за его здоровье нахлебались, и отпишет нам: «Что ж вы, товарищи колхозники, моё честное имя позорите? На мои именины у вас коровы стояли целый день недоевнные!» Этого мы не допустим! Сам народ в сознание войдёт, что в такой день неприлично пьяному в кувете валяться!..

— А ведь она очень большой вопрос подняла! — сказал Мартынов после ухода старухи Суконцевой. — «Клин клином вышибать!» В старых церковных праздниках много было своеобразной красоты, поэзии. Страстная неделя, вербная неделя, троица, святки, крещенье, масленица. А Ивана Купала, ещё со времён язычества? Ряженые, народные гулянья, венки на воде, песни подблюдные... Вытеснить старые праздники из быта, ничем их не заменив, трудно. Надо создавать новые красивые, поэтические праздники. Тут есть над чем и комсомолу поработать. День Урожая, День Тракториста, такие вот колхозные юбилейные праздники. А те дни, когда в школах заканчиваются экзамены, парням, девушкам вручают аттестаты зрелости? Это тоже можно сделать народным праздником. Днём Молодёжи, что ли. Да мало ли чего можно придумать! Организовать только нужно с душою!..

Молодой парень, комсомолец Николай Терехов, шофёр из колхоза «Власть Советов», где председателем работал Демьян Васильевич Опён-

кин, пришёл в райком к секретарю с практическим предложением: как в два счёта ликвидировать повсеместно взяточничество.

Он работал раньше на грузовой машине, а когда колхоз купил в Олешенской МТС старый «газик», стал возить председателя на «газике». Тут-то у него и наболел этот вопрос — о взяточничестве.

— Душа уже не терпит, Пётр Илларионыч,— говорил шофёр Терехов. — Как едем в город в какой-нибудь снаб, так везём в машине мешок яблок, либо свиной окорок, либо пару гусей. Я уж говорил Демьяну Васильичу: «Как комсомолец, отказываюсь такие грузы возить!» Ну, опять же и председателя винить нельзя. Не для себя достаёт — для колхоза. Нам и гвозди нужны, и кровельное железо, и запчасти, и немало нам всего этого нужно. Хозяйство большое! Не добудем — всё дело станет. Там, в «Гутапе», один кладовщик есть, ну, негодяй, до чего же обнаглел! Приедешь к нему с пустыми руками — и разговаривать не хочет! «Нет таких подшипников». А как ты его проверишь — есть или нет? Он же не допустит тебя в склад копаться на полках. А привезёшь чего-нибудь — с пол-оборота всё найдёт, выпишет, без задержки. Брали вагоны на железной дороге, картошку в Таганрог возили, — и там опять же не обошлось без подмазки. Когда же мы эту болячку ликвидируем, Пётр Илларионыч? На моих глазах Демьян Васильич, честный человек, тоже в преступника превратился. Его же давно судить пора, если строго по закону. А за что судить? Надо и в его положение войти. Он — хозяйственник. Вы же первый с него спросите, если у него в хлебопоставку машины будут стоять без подшипников... Хапуги проклятые, ненасытные! Государственным добром торгуют! Я бы их!.. А знаете, как это дело можно изжить? Ехали мы вчера вечером с Демьяном Васильичем из города, и я надумал. Сейчас у нас как по кодексу законов? И тот отвечает, кто взял взятку, и тот, кто дал. Оба — преступники. Значит, у них круговая порука, один другого не выдаст. Потому и трудно разоблачить того, кто берёт. И берёт он смело: знает — не донесут. А надо сделать так, чтобы тот, кто дал взятку, не отвечал перед судом. Не от хорошей жизни он дал. Разбить надо круговую поруку! И кончится сразу! «А, ты, мол, даёшь да ещё свидетеля подставишь, шофёра своего либо грузчика, тебе — ничего, а меня в тюрьму загоните? Иди ты подальше со своими гусями!» Никто не решится взятки брать. Да ещё про старые дела немало расскажут те, кому приходилось их давать!..

Мартынов исписал листок в настольном блокноте, пообещал Терехову, что его предложение особой докладной запиской пойдёт в Москву в Министерство юстиции.

Следующим вошёл в кабинет ветеринарный фельдшер из села Круглого, кандидат партии Семён Никифорович Кусков.

— Мне по роду моей работы часто приходится объезжать колхозные фермы,— начал Кусков.— Лечу скот, в разных колхозах бываю и вижу, где у кого как дело поставлено. Вы не задумывались, товарищ Мартынов, над такой вещью: нужны ли нам эти кормодобывающие бригады, как их называют, не подчиняющиеся заведующим фермами? Кто их выдумал?

— По инструкции создали их. Погоди минутку.

Мартынов встал, прошёл к двери, распахнул её.

— Не скучно вам здесь сидеть, товарищи? — обратился он к ожидающим очереди.— Чтоб не думалось вам, что секретарь пустяками, может, занимается, а вам приходится ждать,— заходите все, веселее вам будет. У нас не секретный разговор. Послушайте, о чём говорим. А кто хочет со мною с глазу на глаз — придётся немного подождать, пока других отпущу. Вот тут есть и животноводы. Заходите!

В кабинет вошло человек семь, среди них трое, которым разговор о животноводстве был небезынтересен: председатель колхоза, заведующий молочной фермой, он же секретарь парторганизации другого колхоза, и зоотехник.

Мартынов сел за стол.

— Продолжай, товарищ Кусков. Что говоришь — не нужны кормодобывающие бригады?

— Не нужны! За зимовку скота отвечает один бригадир со своими людьми, а корма заготавливает ему другой бригадир, другие люди. И вялят вину друг на дружку: «Ты не обеспечил ферму кормами на зиму!» А тот: «Вы не умеете наши корма использовать!» Сушая обезличка, товарищ Мартынов!

Присутствовавшие в кабинете животноводы и председатель колхоза выразили полное согласие с Кусковым.

— У семи нянек дитя без глазу!

— Вододобывающие бригады ещё бы организовать, чтоб за водопой третий бригадир отвечал!

— Надо передать тех людей, что в кормодобывающих бригадах числятся, — продолжал Кусков, — в полное подчинение заведующему фермой или завживотноводством, и пусть они, животноводы, сами себе подвезят, заготавливают корма. Так лучше будет, товарищ Мартынов! И людей, и тягло, и инвентарь, какой есть, — всё передать им. Чтоб один начальник полностью за всё животноводство отвечал — и за заготовку кормов и за содержание скота. Не будут тогда кивать Иван на Романа, а Роман на Петра!.. А слово-то какое выдумали: кормодобывающая! Добыть — это, я понимаю: выпросить, либо украсть, либо из-под земли достать, как уголь или нефть. А чего ж добывать-то сено? Оно сверху. Если посеял клевер, суданку, так добудешь сено. Скосить, заскирдовать бо-время — вот и есть корма, добыл без громких слов.

— Что ж, — заключил Мартынов, — в пятницу у нас будет районное совещание животноводов. Сельхозотдел проводит. Обсудим твоё предложение, товарищ Кусков. Предложение, мне кажется, дельное...

Грузный, широкоплечий седой человек, с могучей, атлетической шеей, остриженный «ёжиком», в старомодном длинном, в обтяжку, пиджаке, придвинулся со стулом к столу, привстав, протянул Мартынову через стол широкую, как лопата, руку.

— Житель вашего района, пенсионер, бывший цирковой борец, чемпион Европы, Андрей Кожемякин.

— Слышал, слышал, как же! — воскликнул Мартынов, с опаской вкладывая свою руку в ладонь Кожемякина. — Знаю, что есть у нас в районе такая знаменитость. Мальчишки однажды на базаре мне показывали: «Вот Кожемякин идёт!» Садитесь, Андрей...

— Маркович. А ваше, простите, как имя-отчество?

— Пётр Илларионович. Что-то не часто видно вас в городе?

— В Озерках живу. В глушь забрался.

— На отдых? Как Поддубный? Поддубный, кажется, в Ейске жил на пенсии?

— В Ейске. Он-то родом был сам не из Ейска — с Полтавщины. А Озерки — родина моя. Домишко там есть у нас. Сад посадил, пасекой обзавёлся. Вот привозил сегодня на базар мёд продавать... Между прочим, могу похвалиться — встречался с Иваном Максимычем на ковре. Правда, положил он меня на шестнадцатой минуте. А кого он не клал? Эх, что говорить! Были богатыри!

Старик, заметив, что собравшиеся у секретаря райкома люди и сам секретарь не прочь послушать его воспоминания, стал рассказывать

о своих встречах на ковре, о поездках по разным странам, о победах сильнейшего борца мира Ивана Поддубного, о европейском чемпионате 19... года, в котором он сам вышел победителем. Мелькали французские, турецкие, немецкие, английские имена борцов, забытые и полузабытые ныне. Вошёл второй секретарь райкома Медведев, хотел что-то спросить у Мартынова и тоже заслушался рассказом старого чемпиона, уселся на диван.

— Когда же вы бросили борьбу, и сколько вам сейчас лет? — спросил Медведев.

— Лет мне сейчас шестьдесят пять. (Все сидевшие в кабинете заулыбались, переглянулись: попадись в «двойной нельсон» такому старику!) А с манежа я ушёл в тридцать шестом году. Работал в Мухине на механическом заводе. В военное время эвакуировался с заводом на Урал. Там ещё в заводском клубе немножко тренировал молодёжь по французской борьбе, — сейчас-то она называется классической борьбой. А после войны совсем пошёл на отдых. Приехал в Озерки к своим родителям — отец мой с матерью ещё живы были.

— А чего вы вздохнули, Андрей Маркович: «Были богатыри»? — спросил Мартынов. — И сейчас у нас есть хорошие борцы.

— Есть, есть... Я-то к вам, товарищ секретарь, по делу пришёл.

— Слушаю вас.

Мартынов придвинул к Кожемякину коробку папирос.

— Спасибо, не курю. Никогда этим не занимался. Считаю, что лёгкие человека приспособлены для вдыхания не дыма, а чистого воздуха, не в обиду вам, курящим, будь сказано.

Старый борец гулко, басом, откашлялся, окинул взглядом всех сидевших в кабинете.

— Ехал я, товарищи руководители, из Озерков на колхозной машине и по пути, в селе Кудинцеве, обратил внимание на такую картину: в одном дворе на крыше хаты — мельничный жёрнов. По размеру — пятарик, пудов двадцать пять. Как же он туда попал? Не святым духом, конечно, люди его туда встацили. А зачем?.. И вспомнилась мне моя юность, как мы, озерковская молодёжь, по ночам гуляли, разбойничали. И ворота, от нечего делать, от одного двора к другому переставляли и амбары из двора во двор переносили. Силушки много, дури ещё больше! А то, бывало, уснёт хозяин летом во дворе на телеге, мы возьмём его с телегой на руки, чтоб не разбудить стуком, и — в речку на мелководье. Просыпается он ночью — что такое, вода кругом?! Так, должно быть, и в Кудинцеве жёрнов на крышу попал. Гуляли ребята, пока улица разошлась, проводили девушек по домам, ночь длинная, спать не хочется — чего бы ещё такого сотворить? А давайте-ка вот этот жёрнов кому-нибудь на крышу встацим! Пусть потом хозяин попробует снять его оттуда! Попыхтели, должно быть, над ним, пока встацили!.. А не лучше бы эту силу молодецкую на полезное дело направить?

В дверь заглянул высокий парень в лыжной куртке, с русыми, пышными, зачесанными назад волосами, с двумя авторучками в нагрудном кармане.

— Ну-ка, зайди, — кивнул ему Мартынов. — Этот вопрос, кажется, и тебя касается. Познакомьтесь. Наш секретарь райкома комсомола. Товарищ Кожемякин, бывший чемпион...

— Знаю, знаю товарища Кожемякина! — перебил Мартынова вошедший парень. — Был в Озерках — показывали мне и дом, где он живёт. Здравствуйте! Рыжков.

— Не обращайтесь внимания на его куртку, Андрей Маркович, — сказал Мартынов. — Для фасону носит. Спортом не занимается. Погряз в бумажках. Ни разу не видел его на лыжах. Организу-уют, органи-

зу-уют всё товарищи! Кроссы, велопробеги, а сами не принимают участия. А вам бы вот, комсомольцам, да в первую очередь райкомовцам, поучиться у товарища Кожемякина французской борьбе! Не в каждом районе найдёшь такого учителя — чемпиона Европы!

Широкое, скуластое, с мелкими оспинками лицо старого борца расплылось в улыбку.

— Товарищ секретарь! Да вы же угадали мои мысли! Я за этим к вам и пришёл!.. Хочу переселиться из Озерков в город. Надоела уж мне что-то тишина. Хутор — двенадцать дворов, до села далеко. Могу переехать сюда, если пожелаете. Сын у меня механиком в Олешенской МТС работает. Отдам ему всю домашность. А себе куплю здесь домишко. Только дайте мне занятие! Допустите меня к вашим школам. Буду ребятам французскую борьбу преподавать. Могу и по самбо тренировать. А это же, знаете, какая борьба!

— Самооборона без оружия, — сказал Рыжков. — Особенно разведчику полезно знать самбо.

— Да, да, молодой человек! Очень полезно! Из разных видов борьбы отобраны приёмы. И джиу-джитцу, и бокс, и монгольские приёмы, и индейские. Каждый должен знать их! Чемпион-то не из каждого выйдет, но для себя нужно знать, для дела! Вдруг какой-то бандит на вас набросится — как его обезоружить, чтоб он и глазом моргнуть не успел? Или как в разведке часового снять без шума, без выстрела?..

— Небось, сколько нас тут есть, один, два, три... — пересчитал Медведев сидевших в кабинете, — от всех отбились бы приёмами самбо?

— А выходите!..

Дружный хохот остановил увлечёвшегося старика, направившегося было уже на середину комнаты, на ковёр.

— В другой раз как-нибудь, Андрей Маркович! — смеясь, сказал Мартынов. — И в другом месте, не здесь.

Старый борец, молодецки подкрутив усы, вернулся к столу, сел на место.

— А всё же, товарищи руководители, нужно думать и о будущих чемпионах, — продолжал он. — Вы меня спросили, Пётр Илларионыч, отчего я вздохнул? Поддубного вспомнил. Говорите — и сейчас есть хорошие борцы. Есть, но всё же про таких богатырей, каким был Иван Максимыч, ещё не слышать. Так надо же их выращивать! Учить, тренировать нужно молодняк, который сызмальства силу и способности проявляет! Сам Иван Максимыч признавался, что от упражнений и борьбы стал втрое сильнее, чем был отроду.

— Мне, товарищ секретарь, — почти умоляющим тоном закончил старый борец, — и жалованья за это не нужно. По-любительски буду работать. Очень уж я соскучился по этому делу! Под старость даже как-то хуже стало. Так всё в памяти прояснилось!.. Сам уже не могу выйти на манеж, так хоть на других полюбуюсь. Передам молодёжи своё. Что ж мне его — в могилу уносить?..

Мартынов поглядел на Медведева, на секретаря райкома комсомола.

— В школьных программах нет таких часов, — сказал Медведев, — чтобы можно было в учебное время борьбой заниматься.

— Как же нет! — возразил Рыжков. — А часы для физкультуры?.. А впрочем, я думаю, надо сделать иначе. Борьбой всех не охватим, а физкультура — это обязательно для всех учеников. Надо при клубе организовывать кружки. Можно и в школах, в спортзалах, после занятий, в вечернее время. Если поздно придётся домой возвращаться, вас, Андрей Маркович, комсомольцы будут домой провожать, чтобы кто-нибудь в тёмном переулке вас не обидел.

Саша Трубицын, слыша взрывы смеха в кабинете, дважды уже заглядывал в дверь.

Мартынов спросил у секретаря райкома комсомола:

— А тебе, Рыжков, известно, что в Лиственичном произошло?

— Нет, не знаю ещё, Пётр Илларионыч, что там произошло.

— Плохо, что не знаешь. В Лиственичном трое учеников средней школы спутались с бандитами, участвовали в поджогах и грабежах. Прокурор мне сегодня утром докладывал. Серьёзный сигнал для нас!..

— Так я же говорю, товарищ секретарь, сегодня жёрнов на крышу встает, а завтра скирд подожгут!

— Да, одними политзанятиями молодёжь, конечно, не заинтересуешь...

— Учителя вот жалуются, Пётр Илларионыч,— продолжал Кожемякин,— что мальчики шумят на уроках, балуются. А я им всё про спорт голкую... Пусть побольше на переменах шумят! Пусть там они свою силу расходуют! По вечерам, по воскресеньям! Чемпионаты, соревнование за первенство! Дайте разгуляться силе молодецкой в другое время, в другом месте, не в классе, не за партой. Тогда и на уроках будет тишина!..

— Договорились, Андрей Маркович! — встал, крепко, двумя руками пожал руку Кожемякина Мартынов.— Переезжайте из своих Озерков в райцентр. В чём будет нужна вам помощь — поможем. И вы нам поможете. Не во всех районах есть чемпионы Европы. Уж из этого-то мы сумеем извлечь для себя пользу! Может, и нас вот с товарищем Медведевым подучите, на всякий случай, самбо?..

— А всё же, товарищ секретарь райкома партии,— остановившись на пороге, приоткрыв уже своим могучим плечом дверь, сказал Кожемякин,— как-то у нас за последнее время насчёт чемпионов ослабло. Не про борьбу говорю, а вообще... Помните, как было до войны? Валерий Чкалов — через Северный полюс. Вслед за ним — Громов. Девчата на Дальний Восток без посадки несколько тысяч километров пролетели. Папанин — на льдине. Коккинали в гору лез, мировые рекорды покрывал. На стратостатах до седьмого неба добирались. Вот они, русские богатыри!.. Может, это мне потому запомнилось, что у меня такая азартная душа! всю жизнь на том провёл — «кто кого?» Нет, вся Россия переживала! У радио толпы собирались. Газеты — нарасхват. И не один день. За папанинской льдиной целый год следили. Все ребятишки в зимовщиков играли. Интересная жизнь!.. А почему ж сейчас затихло? Что у нас, нынче Чкаловых нет? Быть не может, есть они! И техника — куда посильнее! Теперь уж можно без посадки подальше залететь! На планету Марс пора лететь!.. Или правительство наше не тем сейчас занято? Каналы, колхозы, то, сё? Так надо бы и этому внимание уделять. Вот о молодёжи мы говорили. А это тоже влияет на молодёжь — героизм, романтика! Спять же — первенство нам не нужно упускать! Вдруг какой-нибудь чёрт возьмёт да и махнет на эти планеты раньше нас?..

— Урожайный у нас сегодня день на людей,— сказал Мартынов, возвращаясь к столу.— Ну что ж, от французской борьбы и полётов на Марс — к нашим районным будням?.. Чья очередь?

— Моя, товарищ Мартынов,— отозвался мужчина лет сорока пяти, заведующий мастерскими колхоза «Искра», он же секретарь колхозной парторганизации, сам по профессии кузнец, Герасим Иванович Храпов.— Вот об этих самых буднях... Наш вопрос тоже жерновов касается, про которые этот борец рассказывал. Только с другой стороны. Почему этот жёрнов в Кудинцеве валялся не на своём месте, не на мельнице был? Оттуда бы он на крышу не попал! Так в Кудинцеве ж мельница уже лет десять как не работает!.. Товарищ Мартынов, товарищ Медведев! Вот мы

на большие дела замахиваемся, всякие планы строим, чтоб и то было в деревне и то было, мечтаем, чтоб со временем деревня с городом поравнялась, а самого маленького, простого для удобства жизни — нету! Мельниц в сёлах нет! Негде колхозникам муки себе смолоть. В Сухановский район возят — за восемьдесят километров. Ближе нету мельницы.

— А почему ты, товарищ Храпов, пришёл с этим вопросом в райком? — спросил Мартынов. — Дело хозяйственное. Почему не в райсовет?

— Посылали мы в райсовет протокол общего собрания, — продолжал Храпов. — И я лично от себя писал письмо товарищу Руденко. Не только про наш колхоз, а вообще — какое нынче положение с мельницами. Ответили нам: «Ваши жалобы пересланы в облисполком...» Мой отец, товарищ Мартынов, был мастер по мельничным установкам, большой специалист, и я с детства ходил с ним по сёлам, помогал ему. Где строили мельницы, где ремонтировали, где жернова наковывали. Сколько было мельниц в округе — ни одна наших рук не минула. Уж я-то знаю, что было здесь, как было. И как теперь стало. Об этом я и писал товарищу Руденко. Было — в каждом селе не ветряк, так водяная мельница, а то и две-три. У кого и лошади нет — взял мешок на плечи, отнёс, смолот. Ближко, удобно. А сейчас одна мельница на район осталась, в райцентре. По два месяца ждали люди очереди на помол. Закрылась на ремонт — и вовсе беда. Да хоть по десять килограммов на трудодень будем мы давать колхозникам — мало радости людям, если негде смолоть! А сколько фуража зря переводим! Разве можно цельное зерно скармливать скоту? В навоз зерно идёт! И половины нет той питательности, что в муке!..

— В самом деле, — откинувшись на спинку стула, задумался Мартынов, — почему у нас мельничное хозяйство пришло в такой упадок?..

— Почему? А я расскажу вам, товарищ Мартынов, почему... Мельницы были кулацкие. Кулаков ликвидировали, а мельницы как-то к порядку не произвели. То колхозам их передавали, то трестам, то другим организациям. Не было хозяина этому делу. Опять же — глупости всякие. Скажем, плохо идут в области хлебозаготовки или семенные фонды не засыпаны. Распоряжение: закрыть мельницы! Чтоб зерно не утекало, чтоб не перемололи, часом, лишнее зерно, которое можно на семена повернуть либо в заготовку сдать. Закрываются мельницы, специалисты уходят кто куда, оборудование портят, растаскивают. Объявление: можно пустить опять мельницы. А там уже пускать нечего и некому. И гарнцевым сбором прижимали. Хороший ли урожай, плохой ли, много ли дней в году работала мельница в колхозе или, может, больше стояла, чем работала, а гарнец сдай, сколько начислено! Выгоднее совсем закрыть мельницу, чем работать. Вот так оно и заглохло дело... А как же можно в сельском хозяйстве без мельниц? Если даже одна большая мельница на район — и то мало! В каждом колхозе надо иметь мельничку для хозяйства, хотя бы простого помолу. Не водяную, так ветрячок. А где торфом богаты — локомотив поставить. Но сейчас, должно быть, и заводов таких нет, где бы оборудование для маленьких мельниц выпускали?..

— Я, товарищ Мартынов, — продолжал Храпов, — и кузнец, и по мельничному делу мастер, могу камень наковать, веретено установить. Я и колесник и плотник... Вот ещё в чём беда у нас. Одни старики остались в колхозах по мастерству. Помрут — нету смены им. Молодёжь нынче прямо на большую технику прёт, в МТС, на дизеля, комбайны, а к ремеслу как-то уже не то рвение. Что ж, МТС, конечно, дело великое, там вся механизация. Но и коня в колхозе нужно же кому-то уметь подковать! И колесо ошиновать, и сани смастерить, и избу срубить! И эту самую мельницу установить!.. Какую бы тут работу провести, товарищ Мартынов, с народом, как бы рассказать, доказать, что это дело,



мол, тоже нужное? Чтоб и к ремеслу у молодёжи не пропадал интерес?.. Может, выставку такую сделать в районе — лучшие работы лучших колхозных мастеров? Прославить этих мастеров в газете, премии им дать?..

Продолжать приём Мартынову не пришлось, хотя среди тех, с кем он ещё не говорил, тоже, вероятно, были пришедшие в райком не по пустякам. Позвонили из обкома: срочно выехать в Л-ский район, к часу дня, на кустовое совещание первых секретарей райкомов «по вопросу зимних мероприятий по повышению урожайности».

Второй секретарь Медведев увёл Храпова и остальных, кого не успел принять Мартынов, в свой кабинет.

— Чем только не приходится заниматься секретарю райкома партии! — сказал Мартынов, застёгивая пальто и втаптывая валенки в калоши. Шутливо перекрестился на стенные часы. — Господи боже, дай мне такую голову, чтоб вмещала всё, что за день услышишь, увидишь! Вмещала бы и правильно обдумывала всё, делала нужные выводы!.. Ей-богу, у министра, и то, должно быть, работа проще, чем у секретаря райкома. Там — одно ведомство, выпуск такой-то продукции. А тут — и хозяйство, и идеология, и французская борьба, и здравоохранение, и революционная законность, и детские сады!.. Чем сложнее, тем интереснее!..

Я спросил у Саши Трубицына:

— При Борзове тоже много людей приходило в райком?

— Нет, тогда меньше было посетителей, — ответил Трубицын. — Только те приходили, кого он сам вызывал. И вот ещё что замечательно: очень мало идут по личным делам, с какими-нибудь жалобами, просьбами. Большинство — с предложениями, советами. После каждого приёма мне приходится печатать докладные записки в обком на двадцать страниц!..

## 3

Провожая Марью Сергеевну Борзову в Семидубовскую МТС — совсем, на жительство, на работу, — Мартынов давал ей такой совет:

— Когда подъезжаешь илиходишь в поле к трактористам, колхозникам, — подходи с опаской, бойся их.

— Зачем же бояться?

— Пойми меня правильно. Может быть, я не так сказал. Не подберу слово... Не их бойся — себя. Подходи спокойно, но чтоб в сердце была тревога: сумею ли поговорить с народом не впустую, а так, чтобы надолго след остался? Понимаешь меня?

— Кажется, понимаю...

— У нас, партийных работников, обязанности как будто несложные. Мы не врачи, не агрономы, не инженеры. Не специалисты, в общем. За рабочим столом у нас никаких инструментов, кроме пера и чернил. И в поле выйдем — ни рулетки в руках, ни гаечного ключа, ни теодолита. Чем работать? Одно орудие у нас — слово. Грубо выражаясь, языком работаем. Но языком можно по-разному работать! И дьячок языком работает... Слово — вещь неосязаемая. Не металл, не дерево, не зерно. Но наше слово может стать и металлом и зерном! Смотря какое слово — сама понимаешь... И зерном и металлом может стать, но может стать и ширмой для бездельников. Собрал народ, отбарабанил доклад... грамотному человеку не так уж трудно прочитать по бумажке то, что слово в слово выписал из «Блокнота агитатора», — подсчитал количество выступивших — активность достаточная; ставит птичку в плане работ: «Мероприятие проведено». А подвинуло ли это «мероприятие» жизнь хоть на сантиметр вперёд?..

— Вот ещё что мне иногда приходит в голову, — продолжал Мартынов. — Опять же насчёт встреч с народом. Скажем, секретарь обкома.

Область большая, ведь он за всю свою жизнь не успеет побывать во всех колхозных бригадах. Разве только так — «здравствуйте — прощайте». Так не нужно! Так лучше к колхозникам не показываться. Но он должен суметь побывать в одной бригаде так, чтобы люди три года вспоминали и всем рассказывали о его приезде: как он с ними разговаривал, что сделал у них, чем помог. Главное — что сделал. Чтобы не просто вспоминали его шутки и что он в ответ какому-то местному остро слову отмолил, а вспоминали бы его стиль работы! Другим руководителям — большим и маленьким — пример!.. Каждая наша встреча с народом — это слово, которое должно быть обязательно воплощено в дело. Чувствуй ответственность этих встреч! Бойся бесплодности, пустоты!..

— Когда я сама была трактористкой, — сказала Марья Сергеевна, — то видела и таких руководителей, что по-настоящему людьми бояться. Приедет иной начальник из района и идёт мимо вагончика в поле, подальше, колоски рвёт, зерно щупает, подзовёт к себе туда учётчика, дневную выработку запишет, плуги, культиваторы целый час с таким интересом рассматривает, будто век их не видал. А нас, трактористов, зло берёт: чего ж ты от нас, живых людей, к мёртвому железу убегаешь?..

— Инженеры человеческих душ...

— О ком ты? — спросила Борзова.

— О нас с тобой. Партийные работники — инженеры человеческих душ.

— Насколько мне помнится, — возразила Марья Сергеевна, — это было сказано о писателях.

— Ничего. Писатели не обидятся, поделятся с нами этим званием. К нам оно тоже подходит. Во всяком случае, партработники должны быть инженерами человеческих душ!..

Спустя неделю, встретившись с Мартыновым на сессии райсовета, Марья Сергеевна сообщила ему:

— Интересный человек есть у нас в Марьине, Пётр Илларионыч! Дорохов — не слыхал о таком? Работал когда-то председателем колхоза «Родина», и, говорят, очень хорошо работал, при нём этот колхоз гремел. Ещё в сороковом году закончил заочно агротехнику. С войны пришёл майором.

— Где же он сейчас?

— В Марьинском лесничестве. Лесник. Почему он не попал после войны опять в «Родину» председателем, он сам тебе расскажет, если вызовешь его. Целая история! Из партии его исключили, судили. Десять лет, кажется, дали. Верховный Совет помиловал. Но как его там в колхозе вспоминают! Как отца родного!

— Что ж, — сказал Мартынов, — я завтра утром буду в Марьине. В лес оттуда километра три? «Газиком» проедем? По пути заеду в Семидубовку, захвачу тебя или Глотова. Посмотрим, что за Дорохов. За что его судили?

— За дуэль.

— Что-о?..

— Так мне люди говорили, не знаю точно. Надо, в общем, всё выяснить подробно.

— Ладно, поедем, выясним.

«Газик», взрывая буфером свежавывавший глубокий снег на лесной дорожке, подъехал к одинокому жилью лесника, остановился у закрытых высоких тесовых ворот. Шофёр просигналил два раза и заглушил мотор.

В старом тёмном лесу было сумрачно, тихо. Величественные дубы, «озимые», с засохшими, но не опавшими листьями, чуть слышно шелестели

верхушками. Огромная ель у самой избы склоняла на крышу стягнённые снегом разлапистые ветки.

Дверь рубленой избы приоткрылась, женщина в наспех накинутом платке с порога присмотрелась, крикнула кому-то через двор:

— Вася! Охотники приехали!

Из сарая вышел высокий человек лет сорока пяти, в стёганке и ушанке, с вилами, открыл ворота, впустил «газик» в огороженный плетнём двор и, лишь когда машина остановилась у порога избы, заглянув в неё, поинтересовался, кто к нему приехал.

— А, товарищ Мартынов! — Скупое улыбку.— Товарищ Глотов. Ошиблась жена. Кажется, не охотники.

— Знаете меня? — спросил Мартынов, вылезая из машины и протягивая руку.

— Знаю. Видел вас в городе на октябрьском митинге.

— А я вас не знал. Приехал познакомиться. Товарищ Дорохов?

— Дорохов. Что ж, милости прошу — в избу.

В чистой комнате со свежeweмытым полом, с репродукциями картин Репина и Левитана из «Огонька» на стенах было уютно, тепло, но темно — от чёрных веток ели, свисавших на окна. На столе горела семилинейная керосиновая лампа. От самовара приятно пахло перегоревшими еловыми шишками. Мартынов, Глотов, шофёр и Дорохов — сурового вида мужчина, с лохматыми русыми бровями и такими же русыми усами — сидели за столом. Жена Дорохова в другой комнате — в кухне — рубила солдатским ножом-финкой в деревянном корыте тыквы на корм свиньям или корове.

Дорохов взял пол-литровку, в которой оставалось немного водки, поглядел на свет.

— На слёзы оставили. Давайте уж допьём.

Разлил водку по стопкам.

— Закусывайте грибами. Вот ещё штука — мочёный тёрн... Чем хороша лесная жизнь: уж этого добра — грибов, ягод всяких — пропасть! Рыбы здесь в речке — не полениться, каждый день будешь со свежачком. Охота хорошая, особенно в перелёт, на Чистом озере. Между прочим, знаю место, где волки держатся, два старика и два перьярка. Можно обложить. Если занимаетесь этим делом, товарищ Мартынов, приезжайте с ружьём — организуем облаву.

— Да надо бы как-то вырваться к вам сюда на денёк, отдохнуть.

— Тихо здесь у вас, — сказал Глотов.

— Не всегда тихо. В бурю — ух, как шумит лес! Земля стонет. Вот эта ель так качается — того и гляди угол избы свернёт. И рубить жалко. Красавица!..

Дорохов налил всем чаю, подвинул на середину стола тарелку с соевым мёдом.

— Кушайте. Тоже своего производства.

Мартынов с аппетитом выпил два стакана чаю, устало откинулся на спинку деревянного крашеного дивана.

— А говорили мне, товарищ Дорохов, что вас судили за дуэль.

— Какая дуэль! — угрюмо усмехнулся Дорохов. — С чего бы это я стал старые офицерские обычаи возрождать? Да и не тот случай, когда на дуэль вызывают. Просто убийство самое настоящее. Я и на суде так говорил: «Разбирайте моё дело, как убийство. Если он случайно жив остался — то мне не в оправдание. Если бы эта женщина не подтолкнула меня в руку, я бы ему попал, куда нужно! На таком расстоянии, на пятнадцать метров, я из хорошего пистолета в гривенник не промажу».

— Какая женщина? Жена?

— Нет...

— Так ты уж расскажи нам всё по порядку, Дорохов,— сказал Глютов.— Что за человек, как вы с ним встретились, из-за чего это у вас получилось?

— Да, видно, придётся рассказать...

Дорохов оторвал угол газеты, которой поверх скатерти был застлан стол, свернул толстую цыгарку, прикурил от лампы.

— Встретились мы с ним в поезде, когда ехал я домой после демобилизации. Фамилия его Калмыков, четыре звёздочки было на погонах — капитан. Разговорились,— оказывается в одной дивизии служили и даже в одном госпитале лежали, только в разных отделениях. И ехать нам по пути: мне в Марьино, ему в Соломенский район, двадцать километров дальше... Пришли мы со станции пешком в село. Устали, напрямик шли, без дороги, снег глубокий, по колено. Часа два было времени, солнце уже по-зимнему к закату. Ему уж сегодня домой не дойти... Ну, где бы нам тут заночевать?

— У тебя что, никого родных не было в Марьине? — спросил Глютов.

Дорохов помолчал.

— Были. Жена была... Не эта. Первая жена. Но к ней я не пошёл. Почему — это особый разговор. А больше родных не было... Там, в Марьине, как перейдёшь мост, жила одна наша колхозница, Полина Егоровна Черноусова, тётя Поля мы её звали. До войны работала кухаркой в тракторной бригаде. А после освобождения, когда восстановили МТС, года три, да пока и война кончилась, работала бригадиром тракторной бригады. Девушки и ребяташки у неё были в бригаде. Вы должны бы её знать, товарищ директор.

— Нет, не знаю, не слышал.

— Да, вы сюда позже приехали... Вот к этой тёте Поле мы и завернули с капитаном. Обрадовалась, захлопотала! Я же у них председателем был до войны. Затопила печку, курицу стала ловить в сенах. «Да что мы,— говорим,— фрицы, чтоб твою последнюю курицу сожрать?» В хате бедность — сорок четвёртый год. Топчаны немецкими травяными мешками застланы, стол из снарядных ящиков, консервные банки вместо тарелок. Так меня эта бедность резнула по сердцу! Они хорошо жили, Черноусовы, два сына её работали в бригадах, трудодней до тысячи имели семьёю, одного хлеба получали тонн по пять... Сварила она шей, картошек, самогону принесла. И у нас был спирт, консервы. Сели мы обедать. Она нам рассказывает, что они переживали тут при немцах, кто был в партизанах, кого повесили, кого расстреляли, как староста издевался над бывшими стахановцами, как разорили колхоз и с чего они начали после освобождения — с двух трофейных кляч; как тракторы из выбракованных деталей собирали, как она подучилась на месячных курсах и сама села на машину — некому было больше восстанавливать колхоз, старики да детишки остались... Спросил я её про жену. Подтвердилось, о чём мне на фронт писали. «Ну что ж,— говорю,— тётя Поля, мы у тебя здесь и заночуем. А завтра подумаю, где жить, как жить...»

И вдруг этот мой попутчик, капитан Калмыков,— его развезло, прилёг на лавке, но, видно, не спал, слушал,— поднимается, перебивает наш разговор. Я ж его совсем не знал, кто он, что он. Случайно встретились в дороге. Красная звёздочка на шапке, серая шинель, а что под той шинелью?.. Хлопнул он ещё полстакана спирту и такое понёс! «Слушаю я,— говорит,— вашу беседу и вижу, что вы тут после такой разлуки на двух клячах двадцать лет будете сельское хозяйство восстанавливать. А можно быстренько его восстановить!»— «Как быстренько?» — спрашиваем его. «А так. Раздать ту землю, что у вас гуляет под бурьянами,

хозяевам, кто сколько поднимет,— каждый бы для себя постарался!» Тётя Поля смотрит на меня: что за человека ты ко мне привёл? Наш офицер, а что говорит!.. «А чем же стараться? — спрашивает.— Голыми руками?» — «То-то и оно, что остались вы с голыми руками. И тракторы не ваши, чужие. А лошади где? Хозяин бы своих лошадок сберёг! В лесу, в буреках прятал бы, пока фронт пройдёт! Своё, кровное!.. Эх, дали бы мне волю! Сто гектаров сам посеял бы! Для начала!» — «У тебя,—говорю,— капитан, в Соломенском районе поместье, что ли?» — «Вот оно, поместье!» Взял на колени вещевой мешок, стал копаться в нём. Выкладывает на стол золотые часы, портсигар золотой, брошки, браслеты. «Вот,—говорит,— для начала!.. Вот дамские часики, обратите внимание на отделку, эти камешки не простые! За одну эту вещичку мешок денег дадут!» Хохочет. «Что, майор? Есть для начала?» — «Вполне,—говорю.— Тут такое кадилло можно раздуть!» — «То-то же!.. На хозяйство бы это всё перевести! А деньги что! Деньги — пропить, прогулять...» — «Не у всех же такое богатство,— говорит тётя Поля.— А мне с чего начинать? И коровы нет...» — «Ко мне пойдёшь. Прокормлю! Не одну такую, как ты, прокормлю! Возле сильных хозяев и вы не пропадёте!» Смотрю я на тётю Полю — стоит она возле печки, прислонилась к стене, лицо блее мела. А он всё копается в мешке. «Вот,—говорит,— «Вальтер» трофейный!.. Пойдём, майор, постреляем во дворе в цель?» — «Я,—говорю,— свой «ТТ» в госпитале сдал». — «Из этого постреляем». Вынул обойму, пересчитал патроны. «Четыре штуки. Хватит». — «Давай,—говорю,— постреляем». Сгрёб он со стола в карманы часы, брошки, накинул шинель, пошёл, шатается. «Во что будем стрелять?» — спрашиваю. «Возьми консервную банку». И тётя Поля накинула шаль — за нами. Укрепил я банку на дереве в ветках, против заката, отсчитал двадцать пять шагов. Стал он на черте. И ведь как пьян был, а взял оружие в руки — весь как-то подобрался, напряжился, перестал даже шататься. Первым выстрелом — прямо в центр доньшка, вторым — туда же, чуть расширил пробоину. «Метко,—говорю,— стреляешь, капитан!» — «Неплохо. Давай ты». Я взял у него пистолет, отошёл в сторону. «Ну,—говорю,— ты в банку, а я тебе в пуговицу попадаю. Вон в ту, с левой стороны». Тётя Поля как закричит, бросилась ко мне с порога. «Эти люди,—говорю,— колхоз, как самое святое, берегут! А ты!.. Её — в батрачки?.. Застрелю, гадину, чтоб от вас, таких, и племени не было!» А тётя Поля на руке у меня висит. Выстрелил — вот сюда попал, под ключицу. Рана была большая, крови много вытекло, так что тёте Поле пришлось бежать в больницу за врачом, унесли его туда на носилках... Да я два раза стрелял, у нас же четыре патрона было. Опять же она помешала мне прицелиться — погон с шинели сорвал ему второй пулей.

Вот и всё. Вот так у нас случилось. Утром меня арестовали. Сидел до суда. Отобрали партбилет, ордена. Потом судили. Приговорили на десять лет. Я обжаловал в Верховный Совет. Описал подробно всё, как было. Показания Черноусовой были на суде. Оттуда затребовали моё дело. Через месяц пришло помилование... Пытался в партии восстановиться. А у нас до Борзова был секретарём райкома товарищ Слепченко. Больше всего на свете не любил дебоша, пьянства. Если человек вообще дело завалил, но по характеру смирный, непьющий, — это ничего, это прощал. Не восстановили меня здесь. Писал в Москву. Вызывали два раза, а я лежал больной, очень тяжело болел после фронта, полгода с постели не вставал. Настя вот меня выходила, с ложечки кормила. Не мог ехать. Так дело и заглохло за давностью... Предложили мне эту работу — пошёл. Лес сторожу... Колхозники в «Родине», когда там дело не сладилось при новом руководстве, выбрали было меня опять заочно в председатели, до райкома дошло — там не согласились. Для укрепления парт-

организации послали туда коммуниста. Вот так я здесь и присох... Ещё чайку по стакану? Настя! Самовар остыл.

Жена Дорохова, маленького роста, полная, с некрасивым, изрытым оспинками лицом, унесла самовар на кухню.

— А не знаете, где сейчас этот Калмыков? — спросил Мартынов.

— Знаю. Живёт в Соломенском районе, в селе Гришине. Моя первая жена оттуда родом...

Дорохов нагнулся, пошарил рукой под диваном, вытащил оттуда ещё пол-литровку, ударом ладони вышиб пробку, разлил водку — гостям в те же небольшие стопки, себе в чайный стакан, — залпом выпил. Мартынов с удивлением посмотрел на него.

— Если уж на то пошло, — после недолгого молчания заговорил Дорохов, — расскажу вам всё до конца — откуда пошли такие слухи, будто я из ревности хотел его застрелить... Первая жена моя, Ольга, когда я воевал, была в партизанском отряде в Каменных лесах. И там она сошлась с одним удальцом, Гришкой Соболевым. Красавец парень. Знал я его. Председателем сельсовета в Михайловке работал. Под стать ей. Она тоже красивая женщина. — Дорохов оглядел стены, где вперемежку с репродукциями картин из «Огонька» были развешаны фотографии. — Хотел вам показать её карточку. Не осталось ни одной, Настя все погла... Вот об этом мне и написали на фронт. Недолго она жила с ним. Вскружил ей голову, но всё же она сама разобралась в нём. Бросила его. Он там и с другими женщинами путался. Да и удальство-то его было дурацкое, показное. А обо мне прошёл слух, что я погиб под Киевом. Пришёл один наш солдат домой в первые месяцы войны и рассказал Ольге, что сам видел, как меня хоронили. Было такое, да. Несли уже меня к братской могиле, но в последнюю минуту заметили, что я ещё жив, дышу, — вместо могилы в медсанбат отнесли. Оттуда в тыл, за Волгу, вывезли. Потом я опять на фронт попал...

— Так что, если разобраться, товарищ Дорохов, — вставил слово шофёр, — может, она и не виновата?

— Может, и не виновата... А Гришку Соболева повесили немцы. Рассказывали мне партизаны: вдвоём с таким же отчаягой сделали налёт в Христоворовке на спиртзавод. И, может, удачно обошлось бы у них — часть охраны перебили, часть загнали в караульное помещение и предупредили, чтоб не выходили до утра: заминированы, мол, все двери и окна, — если б сами не напились там, как свиньи. Чуть тёпленьких взяли их немцы утром у одной гулящей бабы. Вот... В ту ночь, как случилось у нас это с Калмыковым, Ольга приходила ко мне. Тётя Поля забежала к ней, сказала, что я вернулся... Сижу один в пустой хате за столом — тётя Поля ушла в больницу, — на полу кровь, перевязывали его в хате, «Вальтер» на столе, хмель меня как-то сразу разобрал, уронил голову на руки — и заснул после всего. Чую — в ноги холодом от двери тянет. Поднял голову — Ольга на пороге. «Вася, родной, — говорит, — прости меня!» Ни словом не упрекнула: «Что ты, мол, здесь наделал?!» — должно быть, тётя Поля рассказала ей всё в подробностях. Вытерла тряпкой кровь на полу. «Пусть тебя, — говорит, — теперь хоть в тюрьму — и я с тобой!» — «Не нужна ты мне, — говорю, — ни здесь, ни в тюрьме...» И ещё приходила она ко мне, когда уже меня освободили, звала домой. Просила, чтоб выслушал я её — что с нею было, как было. Не стал я её слушать. Закаменело как-то сердце. У неё от Гришки и ребёнка был, сын, умер в лесу... Уехала она к родным в Соломенский район. Хату закрыла на замок, мне ключ прислала. Я потом, когда поступил сюда в лесники, пустил в хату квартирантов... И вот там уже, в Соломенском районе, сошлась она с Калмыковым. Как они познакомились — не знаю. Он там сначала на лесном складе работал, проворовался, говорят, как-то выкрутился. А сей-

час просто существует под видом инвалида, пенсионера. Построил себе дом кирпичный, полный двор свиней, гусей, огород, «Москвичом» обзавёлся. Отец его, говорят, кулак был. Как она, партизанка, с этой сволочью сошлась?.. Или, может, с обиды, с тоски, что я её не простил? Да хоть к чёрту в омут! Выходит, я её погубил?.. Или назло мне: «Вот ты его убивал, да недобил, а он теперь мой муж!»

Дорохов налил ещё всем водки, себе — опять больше. Мартынов покачал головой, отодвинул стопку.

— Вот отсюда, товарищ Мартынов, и пошли слухи, что у меня с Калмыковым дуэль была из-за жены. Слышали люди звон, да не знают, откуда он. Сплетнями обросло. Знают, что я чуть не убил его, знают и то, что он сейчас с моей женой бывшей живёт... Давно было. Кто не знает, как оно было, кто чего-то придумал... А на суде он говорил, будто я на его драгоценности польстился. Хозяйка — моя сообщница. «Это, — говорит, — честные трофеи, я не советских граждан грабил, а у немца взял, которого сам же убил». А от этих слов — насчёт батрачек — отказывался... Вот так и живу. Жизнь себе испортил из-за этого гада!

— Про вас, товарищ Дорохов, в «Родине» люди говорят, что вы до войны почти не пили, — сказал наугад Мартынов: он ещё не разговаривал с колхозниками «Родины» об их бывшем председателе. — Не слышком ли вы стали здесь увлекаться этим зельем со скуки?

— Слишком, слишком! — сердито заговорила, выйдя из кухни, Настя. — Хоть вы его поругайте, товарищ Мартынов! Редкий день обходится, чтоб не напился к вечеру. Ольгу, что ли, не может забыть, красавицу свою? Или в село его тянет, к людям?

— Могу бросить, — твёрдо сказал Дорохов и тоже отодвинул стакан. — Нужно будет для дела — совсем брошу!

— Да, — кивнул Глотов, — если бороться с этим злом, скажем, в колхозе, то председателю первому нужно бросить. Ты же и не учуешь, от кого в рабочее время водкой несёт, если сам хоть сто грамм выпьешь.

— Председателю?.. — Дорохов взглянул в глаза Мартынову, Глотову. — Вот что... За этим приехали, товарищ Мартынов?

— А как, есть желание?

— В колхоз?.. Что ж, скажу прямо: согласен. Ежели считаете, что довольно уж наказан... Пойду! В какой угодно колхоз пойду! Самый отстающий колхоз дайте! Соскучился я по живому делу!..

Мартынов помолчал.

— Подумаем, товарищ Дорохов.

— А что это за тётя Поля, что тебя подтолкнула? — спросил Глотов. — Бригадиром у нас, говоришь, работала? Где она сейчас? Как работала? Что за женщина? Расскажи-ка подробнее.

— Черноусова Полина Егоровна. Сейчас в Марьине живёт. Хату продала — она у неё от бомбёжки почти развалилась, отремонтировать силы не было, при сельпо на квартире живёт, уборщицей в сельпо работает. Была после немцев бригадиром в МТС. В самое трудное время работала. А потом ваш предшественник, директор товарищ Христинич, с главным механиком её крепко обидели. При сборке машины трактористы забыли в картере ключ. Запустили мотор — ключ попал под шатун, побил поршень, коленчатый вал. Что-то много вычли у неё из заработанного за ту машину. Чуть не во вредительстве её обвинили. Ушла из МТС, поступила в сельпо... Женщина — золото, я вам скажу, товарищ Глотов! Что характер, что руки! Способности к технике я у неё ещё до войны замечал. Бывало, чистит картошку, а сама всё видит, слышит — как трактористы машины разбирают, как какую деталь называют, для чего она служит, эта деталь. Подучилась на курсах — стала трактористкой.

Дорохов, который от водки не веселел, а делался как будто даже мрачнее, вдруг неожиданно рассмеялся.

— Приезжаю я как-то к ним в бригаду, смотрю — что за механизация? Тётя Поля бросает в цилиндр куски теста, ребята берут поршень, вставляют в цилиндр, нажимают, — и снизу вермишель тоненькими колбасками вылезает. Оказывается, это она придумала. Накрошить ножом лапши на такую артель — дело всё же нелёгкое. Облюбовала старый блок, показала ребятам, как заделать снизу цилиндр, сколько дырочек в дне провертеть, как его на станок установить, обчистила, обмыла старый поршень и соорудила пресс. Час работы — на неделю запас вермишели!..

— Что ж, разыщем и тётю Полю. Ну, спасибо за угощение хозяйке и хозяину! — сказал Мартынов прощаясь. — И хозяйке, должно быть, наскучило здесь, в глуши?

— А, не говорите! — махнула рукой Настя. — Не захотела бы и грибов этих и ягод!.. Я в большом хозяйстве привыкла работать, за общественным болеть, а не за своей крохоткой. Опять же тут — ни кино тебе, ни собрания никакого!.. Я в колхозе «Родина» дояркой работала. Меня в сорок первом к ордену представляли, на выставку утвердили, в Москву собиралась поехать, да война всё перекорёжила!..

— На моё место легче найти человека, товарищ Мартынов, — сказал Дорохов. — Какого-нибудь любителя природы, охотника. На любителя тут — рай земной!

— В раю волки не воют, — засмеялась Настя. — А тут как устроят концерт в Бутовом логу! Ну, до чего ж интересно, скажите, товарищ Мартынов, воют! С переливами как-то, на разные голоса. Чисто песни играют!..

Дорохов без шапки и стёганки и жена его в одном платке проводили гостей за ворота и, пока видно было их, пока их «зимовье», изба с громадной елью над крышей не скрылась за поворотом дороги в гуще дубов, стояли у плетня, смотрели вслед машине.

В дороге Мартынов сказал Глотову:

— Расскажи всё Марье Сергеевне. Пусть разыщет эту тётю Полю. Подумайте, — может быть, стоит вернуть её в МТС. А я в «Родине» раз узнаю о Дорохове, как он работал. Если действительно хороший организатор, честный парень, — порекомендуем его опять туда в председатели. Колхоз надо вытягивать. Грищенко не справляется. И к тому же по последней ревизии с кассой у него нечисто... Подумаем и об его партийном деле. Трудно будет восстановить, много времени прошло. Может быть, заново пусть подаёт?.. А насчёт Ольги — тут мы ему, пожалуй, ничем не поможем...

Марье Сергеевне не пришлось долго искать в селе тётю Полю. Первая женщина, у которой она спросила, встав с саней возле конторы Марьинского сельпо, где живёт уборщица сельпо Черноусова, и оказалась сама Полина Егоровна Черноусова.

— Из МТС? Ко мне?.. Собралась было на почту посылку от дочки получить... Ну, ладно, пойдёмте в хату.

Полине Егоровне было лет под пятьдесят. Рослая, в меру полная женщина, быстрая в походке, ловкая в движениях, из тех, видно, про которых говорят, что у них на работе «всё горит в руках». Жила она во дворе сельпо в маленькой рубленой пристройке к зданию магазина — одна комната.

Женщины как-то легко и просто разговорились, когда Полина Егоровна узнала, что её гостья — тоже бывшая трактористка, знаменитая Маша Громова.



— Давно я не была в Семидубовке,— говорила Полина Егоровна, перебирая в комнате, одёргивая занавески на окнах.— Года три не была. Нету дела туда... Ну, как оно там при новом директоре?..

— Люди нужны нам, Полина Егоровна,— приступила к делу Борзова.— К весне хотим организовать женскую тракторную бригаду. Я уже выяснила: в колхозах много есть бывших трактористок. И, говорят, хорошо работали. Со стажем трактористки. Да вот и вы бригадиром были, бросили, ушли из МТС. Разве вам здесь интереснее?.. Скоро получим двенадцать новых тракторов. «ДТ», гусеничные. Незнакомы с этой маркой? Ну, небось, видели их? Хорошие машины. И придётся сажать на них новичков. А что поделаешь? Посадить курсанта на старую машину, изношенную, с капризами — с нею он совсем не справится. И из новой машины он и половины не выжмет того, что опытный тракторист выжал бы!..

— Куда мне в моих летах на трактор! — сказала Полина Егоровна.— Для чуда, что ли? Одна такая на всю область, людям на удивление. Старая баба на тракторе едет!

— Ого, старая! Мне ваши бывшие трактористки рассказывали: «Если уж тётя Поля одной рукой не сорвёт ручку с места — значит перетянули подшипники».

Женщины посмеялись.

Полина Егоровна присела у стола, помолчала с минуту, перебирая в пальцах бахрому вязаной скатерти.

— Какой уж тут интерес, Марья Сергеевна, на моей теперешней работе! Полы мою в конторе, в нужнике, простите за выражение, чистоту навожу, печки топлю. Живу так — лишь бы где-то при месте быть. Кабы ничего другого не умела!.. Может, нехорошо я сделала, что ушла из МТС, но, скажу вам, и так, как со мною поступили,— тоже нехорошо! Отплатили мне за моё старание! Чурки с глазами бездушные!.. Как нам было трудно в первую весну после немцев! Двадцать машин собрали кое-как. Горючего не хватало. Из старых бригадиров только двое вернулись. Пришли по ранению на поправку, ну тут уж мы стали просить военкомат, чтоб оставили их совсем, бронь им дали, без них бы нам пропадать! Все неопытные, девчата, ребятишки. У меня в бригаде был Миша Брагин — в армии сейчас он. По годам уже и не дитё, шестнадцать лет, но такое малюсенькое — за рулём не видать. Если выпадет ему в ночную смену заступать — и сама не отхожу от машины, душа болит за него. Весна была холодная, ветры, одежонка на нём плохая. Сядешь где-нибудь под скирдой и наблюдаешь. Гудит мотор, движется огонёк — пашет, значит, Миша. Потом смотришь: остановился огонёк и мотор заглох, так и знай — заснул. Подойдёшь — трактор стоит, фонарь горит, они оба с прицепщиком залезли под тёплый мотор погреться и заснули там. Растормошишь, растолкаешь — ещё немного поработает. Эх!.. Прогонишь его в вагон, а сама — за руль. Станешь будить его на зорьке — холодно, вагон аж качает от ветру, оно кутается с головою в свой драный колушок, брыкается: «Мама! Мама! Не буди, я ещё немножко посплю». Да я ж тебе не мама. Его мать немцы расстреляли. Всех жалеть — что ж оно получится, когда же мы вспашем, посеём?.. А всё ж пожалеешь, поработаешь за него ещё час-два. Вот с такими орлами мы тут и поднимали хозяйство. Два лета и ещё одну весну поработала я бригадиром. До полной победы, пока и фронтовики стали возвращаться... И тут случись это несчастье у нас. Разбили мотор. Ключ оставили в картере. Каких я только слов не наслушалась! И срывщица сева и враг народа! Не вошли в моё положение. Да я перед тем, как мы ту машину собирали, три ночи не спала. Я там в картере не только ключ — голову свою могла забыть! Удержали с меня за ремонт чуть не всё, что за весну заработала. Потому и поступила я тогда вот сюда, в сельпо. Жить-то чем-то нужно. Дочка при мне

была ученица. И в МТС нечего получать, и в колхозе уже не заработаешь — пол-лета прошло. А тут было тогда — хоть буханку хлеба без очереди в магазине возьмёшь.

— Ох, тётя Поля, поверьте мне: сейчас бы так с вами не поступили! — Протянув руку через стол, Борзова тронула за локоть Полину Егоровну. — И секретарь райкома у нас другой, и директор МТС товарищ Глотов, — он-то, конечно, с недостатками старик, но тракториста не обидит... А эту скатерть вы сами вывязали?

— Сама... Работа-то у меня какая? До света встану, подмету, поскребу порожки, затоплю печи, а ещё чего делать?.. Нравится? У нас таких ниток и в продаже нет. Это мне дочка из Ленинграда прислала нитки. Студентка, учится там.

— Красивый рисунок.

— А вы сами не рукодельница?

— Как вам сказать... Некогда было этим заниматься. Вот когда работала директором в «Сортсемовощи», училась вязать. Работа спокойная, посетителей мало. Закроюсь с бухгалтершей в моём кабинете и вяжем.

Тётя Поля пристально поглядела на свою гостью.

— А я где-то вас видела, Марья Сергеевна. В правлении сельпо, кажись. Вы сюда приезжали по каким-то семенам... Вы не товарища Борзова супруга?

Пришлось Марье Сергеевне рассказать тёте Поле и о своих личных делах — как получилось, что Борзов уехал в другой район, а она осталась здесь.

Разговор у женщин, затянувшийся до вечера, закончился тем, что тётя Поля дала согласие поработать ещё года два в МТС.

— Это вы правильно придумали — девчат на машины сажать. Надо, надо приспособлять их к этому делу! В случае чего, ежели эти оглоеды, что войною грозятся, опять, как Гитлер, какую кашу заварят, мужики что ж — на то они и мужики: «По ко-оням!» А бабам — хозяйство беречь... Но всё же возраст у меня уже неподходящий, Марья Сергеевна. И силёнка не та и одышка. Поработаю временно, пока смену себе в бригаде подготовлю. Подучу девку, приведу к вам, скажу: «Вот вам бригадир, ручаюсь за неё, как за себя!» А мне уж тогда на пенсию, что ли? Или опять ребятам щи варить?..

Директор МТС Глотов и секретари райкома одобрили возникшую у Марьи Сергеевны идею: организовать в Семидубовской МТС женскую тракторную бригаду.

В воскресенье Марья Сергеевна и Глотов приехали в колхоз «Родина», где в клубе собралось человек двадцать бывших трактористок — из Марьино и соседних сёл. Были среди них и молодые женщины, и пожилые, и девушки.

По разным причинам бросили они машины. Та вышла замуж, мужу не понравилось, что она редко дома бывает; у той родился ребёнок; ту обидел колхоз с расчётом, выдал по трудодням гнилое зерно, ни продать его, ни себе на муку, только скоту скормить; той досталась очень старая, изношенная машина, а директор этого не учёл, не повысил норму горючего, за перерасход удержали триста рублей; ту отпугнули грубость, ругань бригадира; та, может, и продолжала бы работать, если бы одни девушки были в бригаде, а то бригада смешанная, парни-охлальники пристают, поработать с ними год, потом и жениха не найдёшь...

На этом совещании неожиданно для Марьи Сергеевны флегматичный Глотов вдруг произнёс вдохновенную речь о механизации.

— Женихи, конечно, дело для вас, девчат, большое, отпугивать их от себя вам не следует. Поэтому мы идём вам навстречу и создаём исключительно женскую бригаду. Ну, может, какой-нибудь один водовоз у вас будет мужчина, только всего. Старый дед, вроде меня. Это не опасно. К такому жениху не приревнуют. И в бригады подберём женщину. Вот Полину Егоровну назначим бригадиром. Стало быть, насчёт матерщины вопрос тоже отпадает. Этих похабных слов от неё вы не услышите. Как, Полина Егоровна? Или умеешь загнать не хуже мужика?

— Что вы, товарищ директор! — покраснела тётя Поля.

— Вот, значит, соберётся у вас своя женская компания. Тишь и гладь — как в женском монастыре. Или — как на базаре... А работать вам теперь будет легче. Машины у нас сейчас хорошие. Почти обновился тракторный парк. Таких гробов, что только горячее жрут, уже нет. За расчётами колхозов с трактористами мы нынче следим строго, и райком нам помогает. Обещаю вам твёрдо, что с заработком никого не обидим! И ещё скажу вам по секрету: дела здесь, в колхозе «Родина», должны бы пойти на лад. В следующее воскресенье у вас будет отчётно-выборное собрание. Райком рекомендует вам бывшего вашего председателя товарища Дорохова.

Женщины, марьянские колхозницы, зашумели:

— Давно просим Дорохова!

— Пять лет у нас работал, во как колхоз поднял!

— Грамотный, образованный, хозяйство понимает!

— Не грубиян, с народом советовался.

— При нём и вагончик был хороший у трактористов и кормили хорошо!

— Насчёт вагончиков я вам скажу, девчата, — продолжал Глов, — что это ещё не предел нашей заботы о трактористах. Вот тут говорили замужние женщины: редко приходится бывать дома, мужья обижаются. Так и мужчине-трактористу опять же плохо быть всё лето в отрыве от семьи. Хороший полевой вагончик — уже дело пройденное. Нынче при нашем транспорте у нас есть возможность возить на машинах смену домой, если тракторы далеко от села работают, и опять же привозить обратно в бригаду. Этот вопрос мы продумаем!

— Так какие же препятствия остаются, товарищи женщины? Единственно — было бы ваше желание освоить новую технику и оседлать её по-большевистски!.. Да как вы могли бросить такую почётную специальность? Неужели вам в горшки заглядывать интереснее, чем заглядывать на тысячи гектаров? Тракторист — самая главная должность в селе. Тракторист — великан, богатырь, вот кто есть такой тракторист нынче в колхозе! Вспахать тысячу-полторы гектаров в переводе на мягкую пахоту — это что такое? Махина! Вот что может сделать один человек, когда у него в руках техника! Тысяча гектаров! Это вам не чулок связать, не портки мужу выстирать!

— Так от портков никуда не денешься, товарищ директор! — возразила одна трактористка. — Всё одно: в дождь либо когда подменят тебя на день, прибежишь с поля домой — и за портки!

— Одно дело, — с пафосом продолжал Глов, — когда портки являются у тебя, так сказать, основным в жизни, а другое дело, когда кроме портков есть... — замялся, подыскивая нужное слово.

Продолжить речь ему помогла другая трактористка, немолодая женщина, вдова, и под общий хохот, закрывшись шалью, нагнувшись, спряталась за мощные плечи сидевшей впереди Полины Егоровны.

— Да, — не смущаясь, продолжал Глов, — вижу, что мужчину вам в бригады давать нельзя. Не вы от него, а он от вас наслушается разных словечек!..

— Да что вы нас так корите горшками да портками, товарищ директор! — заговорили женщины. — Будто мы все в домоседок превратились! Мы в колхозе работаем!

— Это не работа, а преступление! Всё равно как бы к дизелю прицепить двухкорпусный плуг с «фордзона» и гонять его порожнём. А он может двенадцать корпусов потянуть! Та в детяхлях нянькой, та в звено пошла, на деляночках с сапкой копается, та телефонисткой на почте заделалась. Одна, говорят, здесь, в «Родине», даже в крысоловы определилась, грызунов в амбарах травит. Подходящее для трактористки занятие! Да как вам самим не тошно? Неужели не просит душа простора?.. «Развернись, плечо, раззудись, рука!» Читали стихи поэта Кольцова? Не зудят руки? Вся колхозная степь, а не деляночка, не телефонная трубка — вот ваш масштаб жизни!..

Из двадцати бывших трактористок, собравшихся в клубе, восемь девушек и женщин заявили о своём желании вернуться на машины. Тут же, в их присутствии, директор написал приказ об организации новой тракторной бригады в Семидубовской МТС под номером семнадцатым, о зачислении в штаты трактористов всех заявивших о желании вернуться в МТС и о назначении бригадиром этой бригады Полины Егоровны Черноусовой.

К весне все должны были освежить свои технические знания, пройти переподготовку на курсах и практику в ремонтных мастерских.

Вечером, после заседания бюро, на котором в числе других вопросов было принято к сведению сообщение Глотова и Борзовой об организации женской тракторной бригады в Семидубовской МТС и предложено другим директорам подумать о возвращении на машины старых трактористок, Мартынов задержал Глотова в своём кабинете.

— Виделся я в обкоме с бывшим секретарём Кружилинского райкома, где ты до войны работал директором МТС, — сказал Мартынов. — Очень тебя хвалил. Одна из лучших в области, говорит, была МТС... Ну почему у нас Семидубовская МТС сейчас средненькая? Почему ты, Иван Трофимыч, в последние годы хуже стал работать? Почему, прямо скажем, уши опустил?

— Уши я не опустил, Пётр Илларионыч! — твёрдо ответил Гловов. — Я сам колхозы создал, первые тракторные колонны организовывал! Я сотни таких колхозов видел, где жизнь уже сад цветущий, то, о чём старым революционерам на царской каторге лишь мечталось!.. Я тоже, как Дсрохов, пулю пустил бы в того, кто бы вздумал колхозный строй подорвать, наших стахановок в батрачек кулацких превратить!.. Но очень уж много развелось у нас возле колхозного строя бюрократов!

— Устал с ними бороться?

— Так не поборешь их! Не в моих силах.

— Ой ли?..

— Ну, если, скажем, в области спланируют чего-нибудь так, что всё твоё к чертям намарку, — что я сделаю?.. Или приехал какой-нибудь представитель. Ты тут всё тщательно продумывал, расставлял, увязывал — как разные работы сочетать, чтоб ничему не в ущерб, чтоб и на будущий год нам с хлебом быть. А он слушать ни о чём не хочет! Давай ему только то, за чем его послали. Ему лишь своё выполнить, командировку отметить да поскорее в баню, к жене домой. Приказывает, угрожает! Так на кой леший я здесь нужен — директор? Садись в моё кресло и командуй за меня!

— Больно податлив! Первому встречному своё кресло уступаешь! Тебя Центральный Комитет посадил в это кресло!.. А ты не пробовал жаловаться на таких гастролёров в обком, в Цека?

— До бога высоко, до царя далеко.

— Вот за эту поговорку тебе выговор следовало бы вклеить!

— Валяй, до кучи. Их у меня есть уже штук пять. От Борзова, от Слепченко. От тебя ещё не было... Дураков, дураков, Пётр Илларионыч, и на пушечный выстрел нельзя допускать к сельскому хозяйству! Нет худшего оскорбления, унижения для трудящегося человека, как труд его в ничто превратить! А мы это частенько делаем. В позапрошлом году весной Борзов с уполномоченным обкома заставили меня свёклу в грязь сеять. Дожди, растворило почву в кисель, выждать бы денёк-два, пусть хоть солнце блеснёт, ветерком чуть продует, — нет: «Сей, не то на бюро вытянем, партбилет положишь!» Им, видишь ли, к двадцать пятому надо во что бы то ни стало в сводку эту свёклу включить. Да я же старый хлебороб, с десяти лет землю пашу, что ж вы издеваетесь над землёю и надо мною? Не будет здесь урожая!.. Ну что ж, посеяли двести гектаров. Заелозили, замазали почву; после дождей сразу жара, засушило, взялась земля коркой, как цементом поле залито! Ни одно семечко не дало всхода. Через две недели пересеяли. По сорок центнеров взяли там свёклы вместо двухсот по плану. Порадовали людей урожаем!.. В деревне такому человеку, что ничего не понимает в сельском хозяйстве и понимать не хочет, дать такому человеку власть — всё равно, что сумасшедшему в руки оружие вложить. Он тебе наделает делов!..

— Хуже бывает, Иван Трофимыч, — заметил Мартынов. — Иногда и знает человек сельское хозяйство, прекрасно понимает, что не то он делает, а всё же делает противное своей совести.

— А что его заставляет итти против совести?

— Что заставляет? Это большой вопрос. Как говорится: «Страха ради иудейска» — так, что ли?

— Да страх-то откуда взялся? Молчишь?

— Молчу. Сам об этом думаю: откуда страх взялся? А всё же, Иван Трофимыч, как бы ни было, ничто не мешает тебе работать в МТС лучше со своими людьми.

— Работал... Было и у меня соревнование, флажки, рекордами гремели. Я бьюсь, стараюсь, убеждаю ребят лучше работать: «Ваш ударный труд оценят по заслугам, не пропадёт ваше!» А потом из-за каких-то дураков и колхозы без урожая остаются и мои трактористы больше минимума не зарабатывают. Только и награды лучшим трактористам, что в приказе благодарность им объявишь...

— До войны, говоришь, хорошо работал? — продолжал, помолчав, Глотов. — Что — до войны! Другая была обстановка. И мы другими были. До войны и я двух сыновей растил. В каждой семье — радость, довольство... А вот как пришли мы сюда, на эту окровавленную землю, в сожжённые сёла, вдовы, сироты, — тут бы надо по-особому, душевно как-то к народу подойти! Тут уж каждый бюрократ, шкурник вдесятеро стал нам страшнее!..

— Это всё верно, — сказал Мартынов. — Умные ты слова говоришь. А всё же нытик ты, Иван Трофимыч! И паникёр! «Бюрократы, бюрократы!» А бороться с ними и не пытаешься. Своё кресло уступаешь им!.. Ну, как ты боролся с ними? Вслед им чёрта шёпотом пускал? Кукиш в кармане показывал?

— Ты меня не обижай, Пётр Илларионыч! — встал Глотов, багровый, взволнованный, и на глазах его даже блеснули слёзы. — Я старый член партии. «Нытик! Паникёр!» Ещё, может, оппортунистом назовёшь?.. Ты меня спросил: почему хуже работаешь? Устал, что ли? Я тебе по-честному признался: устал. Вот от всего этого, о чём тебе рассказываю, устал. От безалаберщины! И от канцелярщины, от бумажек! Не то, вижу, делается, не так бы нужно! Почему политотдельские времена — забыли,

когда бумажек почти не писали и не заседали, но зато с народом хорошо работали?.. И от того устал, что в райкоме помощи не было. То не мощь, когда зовут тебя на бюро лишь для разноса за какой-то «срыв». А почему срыв, отчего срыв — никто не хочет разобраться!.. Устал, говорю, да. На первый вопрос ответил тебе. Но ты же меня не спросил: а как ты дальше будешь работать? Спросил бы — я б тебе и на этот вопрос ответ дал... С тобою буду работать, Пётр Илларионыч! Свежим ветром подуло у нас в районе, как ты заступил за первого. Без лести говорю тебе это. Только вот боимся все за тебя: не укатали бы сивку крутые горки!..

— От Борзова на прощание слышал эти слова и от тебя слышу, — нахмурился Мартынов. — Какие горки? Ещё спрашиваешь: откуда взялся страх? Вот вы сами такие и выдумываете себе страхи! Собственной тени стали пугаться!

— Ну, положим, когда запишут тебе строгий выговор в личное дело, — это уже не тень...

Глютов мягко, как-то необычно для его тяжёлого, оплывшего, неподвижного лица, улыбнулся, тронул за плечо Мартынова.

— Ладно, не сердись, Илларионыч! Так, по глупости сказал... А меня не торопись сдавать в архив. Устал — это ещё не дуба дал. Устал, отдохнул — и дальше пошёл!..

## 4

В Доме культуры проходило собрание районного партактива.

Доклад об итогах недавно состоявшегося пленума обкома сделал председатель райисполкома Руденко: Мартынов, простуженный, осипший, с обвязанным шерстяным шарфом горлом, не мог громко говорить, а второй секретарь райкома Медведев был в отпуске.

Собственно говоря, доклад был не «сделан», а прочитан, и поручить читку можно было любому человеку, даже техническому секретарю, лишь бы голос у чтеца был звучный. Или даже можно было совсем для экономии времени не читать — заранее отпечатать доклад в сотне экземпляров и разослать всем приглашаемым на собрание партактива.

Пленум обкома обсуждал два вопроса: о состоянии массово-воспитательной работы в колхозах области и мерах подъёма и развития животноводства. О решениях пленума по этим вопросам и докладывал Руденко: полтора часа монотонного чтения, ни на минуту не оторвался от текста, подготовленного для него работниками райкома и райисполкома, ни разу не поднял головы, не глянул в зал перед собою. В зале кто дремал, кто шептался с соседом, кто — в задних рядах — украдкой покуривал в руках.

Мартынов сидел в президиуме злой, нервно вертел в пальцах карандаш, бросал на Руденку исподлобья свирепые взгляды.

Вопросов к докладчику не было. Записавшихся в прениях — только два.

Первым выступил инструктор райкома Николенко. Все десять минут, положенные ему по регламенту, он перечислял недостатки в работе колхозных партийных организаций его куста: там не проводятся по три месяца собрания, там растеряли агитаторов, там не выпускают стенгазету, там коммунисты пьянствуют на престольные праздники. Как будто в этом только и заключались его обязанности: ездить из колхоза в колхоз и старательно фиксировать все «упущения», «сигнализировать» о них членам бюро райкома. Его речь не улучшила настроения Мартынова.

После Николенко он предоставил слово колхознице Гончаровой, коммунистке с тридцать девятого года, заведующей свинофермой.

В зале погасло электричество, и, хотя собрание проходило днём, за столом президиума на сцене было темновато — обмёрзшие, заporошённые

ные снегом окна пропускали мало света. Женщина читала речь по бумажке, мучительно запинаясь на каждом слове.

— Наши достижения... результат упорного... труда и высокосознательного отношения... исключительно большое внимание... мы уделяем выращиванию порослят... опорос производится в чистом... продез... инфицированном станке... Применяя обильное и разнообразное... кормление свиней... и молодняка, создавая для них благоприятные условия, мы добились... получения от свиноматок здорового и жизнеспособного приплода... Сейчас мы ставим перед собой... задачу... и тем самым повысить... доходность от животноводства...

Запиналась она даже в таких местах речи, где предполагался подъём, пафос.

— Развернув живой... живое... соревнование, воодушевлённые заботами партии и нашего... родного правительства, мы обязуемся...

Под конец выступления она перепутала листки, сбилась, растерялась и, так и не договорив какую-то фразу, сошла вниз.

В президиуме все сидели, потупив головы от стыда, неловкости.

Мартынов встал, чтобы объявить перерыв.

— Есть здесь секретарь парторганизации «Дружбы»? — простуженным, сиплым голосом спросил он.

— Я,— поднялся в задних рядах мужчина в офицерской шинели без погон.

— Это ты, товарищ Мостовой, сочинял речь для неё?

— Я... С председателем колхоза.

— Потрудились!.. Лучший животновод в районе, сделала ферму образцовой, на это у неё хватило способностей, а выступить здесь, рассказать о своей работе без ваших шпаргалок — на это, боюсь, способностей не хватит?.. Не смущайся, товарищ Гончарова, что плохо выступила. Это не тебе стыд, это нам стыд... Прежде чем объявить перерыв, я вот что хочу сказать, товарищи. — Мартынов покосился на сидевшего в президиуме инструктора обкома, предчувствуя стычку с ним. У него с этим инструктором Голубковым, часто приезжавшим в район, были давние нелады. — Давайте так договоримся: кому нечего дельного сказать — пусть лучше не выступает здесь, не отнимает время у себя и у других. Нам не нужна активность для отчётности: «На собрании выступило столько-то процентов присутствующих». А о чём говорили, для чего говорили? Николенко вот пересказал здесь свою докладную записку, которую мы читали уже три дня тому назад. Партактив собирается для делового обсуждения вопросов, а не для речей ради речей. Объявляется перерыв на пятнадцать минут.

Расходились покурить как-то не сразу, в недоумении.

Голубков, задержав Мартынова на сцене, сказал:

— Ты что, Пётр Илларионыч, нездоров? Температура? Ну и шёл бы себе домой, в постель. Есть тут члены бюро, без тебя проведём. Хочешь сорвать партактив? «Не умеете выступать — не выступайте».

— Не так же я сказал, товарищ Голубков!

— С профессорами, что ли, имеешь дело? Здесь в зале — половина колхозников. Зачем ты их запугиваешь? Эта Гончарова — она же малограмотна! Ей нужно помочь!

— А я не для малограмотных сказал это, — возразил Мартынов. — Для очень грамотных! Для тех, что мозоли на языках понабивали себе уже на таких собраниях!

— Непонятно, — пожал плечами Голубков. — Не знаю, что из вашего партактива получится. Как бы не пришлось Руденко сразу после перерыва делать заключительное слово.

— Может быть, и придётся... Для тебя, Николай Архипович, это, конечно, большая неприятность. Чрезвычайное происшествие в твоём кусту! Собрание партактива сорвалось! Два человека только выступили. Как докладывать обкому? Тем более, что сам присутствовал.

— Думаю, что это и для тебя не очень большая неприятность.

Подожёл Руденко. Мартынов просипел:

— Чёрт бы вас побрал, таких читателей лекций о вреде табака!

— Пётр Илларионыч! — взял его за плечо Руденко. — Ведь не было же времени подготовиться!

— Пять лет работаешь в районе. Людей знаешь. И умеешь ведь поговорить с людьми! Пересказал решение обкома. Да его уже без тебя все успели прочитать! А своих мыслей — ни одной!.. Какой доклад, такие и прения!

— Иссякло моё красноречие. Пятый день заседаем! Я думал, ты будешь делать доклад, а тебя угораздило заболеть.

После перерыва, несмотря на предупреждение Мартынова, первым выступил оратор именно из таких, с мозолями на языке, Коробкин, заведующий отделом райисполкома по сельскому строительству. Без пламенных речей Коробкина в районе не обходилось ни одно собрание.

Долговязый, в длинном чёрном драповом пальто, с высоким (за счёт лысины) лбом, грозно размахивая руками над столиком для тезисов, он выкрикивал каждую фразу, как лозунг на площади перед многотысячной толпой. От его голоса вздрагивали и позвякивали стекляшки на люстре под потолком.

— Товарищи! Корма — это основа животноводства! Но некоторые товарищи упорно не желают этого понять, преступно недооценивают заготовку кормов для животноводства!..

— Вол — это, товарищи, рабочее тягло! Рабочее тягло нужно беречь!..

— Свинья даёт нам, товарищи, мясо, сало, кожу, щетину! Свинья — очень полезное животное! А как мы относимся к свиням? По-свински, товарищи!..

— Животноводство, товарищи, нуждается в тёплых, благоустроенных помещениях. Корова, товарищи, в тепле и чистоте даёт больше молока, чем на холоде, в грязи! А некоторые председатели колхозов, товарищи, недооценивают строительство коровников!..

— Переходя к массово-политической работе с колхозниками, я должен здесь, товарищи, со всей прямотой сказать, что мы плохо работаем с колхозниками!..

— Стенная газета, товарищи, — это печать! А печать — это острейшее оружие нашей партии! Но во всех ли колхозах у нас выпускаются стенные газеты? Нет, товарищи, не во всех колхозах у нас выпускаются стенные газеты!..

Мартынов морщился, как от сильной головной боли.

— Это же нужно уметь, — просипел он на ухо сидевшему рядом с ним Руденко, — десять минут болтать и ни слова путного не сказать!..

В зале зашумели:

— Зачем выходил на трибуну, товарищ Коробкин!

— Что ты тут сказал нам полезного?

— Что свинья даёт сало!

— А корова молоко!

— Просили же по делу выступать, а не отнимать зря время у нас!

Мартынов постукивал карандашом по столу.

— Кто следующий?..



Минут пять длилось тягостное молчание. Никто не просил слова. Казалось, действительно на этом и придётся закрыть собрание. Голубков, бросив возмущённый взгляд на Мартынова, с треском отодвинул стул, поднялся, ушёл за кулисы курить. Видимо, и Мартынов в эти минуты чувствовал себя неважно... Но вдруг в зале поднялась одна рука, другая, третья. Человек пять сразу попросили слова.

На клубную сцену, к столу президиума, грузно ступая по лесенке, поднялся председатель колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин. Не спеша расстегнул пальто, достал из кармана пиджака очки, тетрадь, протёр стёкла очков полой пиджака, развернул тетрадь, откашлялся.

— Это у меня не тезисы, товарищи, — начал Опёнкин. — Это дневник председателя колхоза. То есть лично мой дневник. Я записываю сюда каждый день — где был, что делал. Ежели меня когда-нибудь за развал работы потянут к прокурору — это моё оправдание. Прокурор прочтает, поймёт и посочувствует. Скажет: «Удивляюсь, товарищ Опёнкин, как ты всё же успевал ещё чего-то делать в колхозе!»

При насторожённом внимании всего зала Опёнкин продолжал, перелистывая тетрадку:

— Вот давайте подсчитаем, на котором это я уже заседании сижу за полмесяца и сколько их ещё будет до конца месяца... Второго был пленум обкома. Я — член обкома. Вызвали, поехал. Два дня заседали. Потом депутатам облсовета велено было сразу, не уезжая домой, остаться на сессию. Остался. Ещё два дня. Дорога туда-сюда, — в общем, неделю дома не был. Потом здесь, в районе: пленум райкома, сессия райсовета, сегодня вот партактив. Короче сказать, за эти полмесяца я был в колхозе всего два дня. Так это же ещё не всё. Послезавтра — сессия нашего сельсовета, мой доклад: об итогах сессии облсовета. Двадцатого по плану — партсобрание в колхозе, тоже итоги пленума обкома будем обсуждать. Теперь ещё посчитайте, товарищи, сколько раз в месяц вызывают председателя колхоза на бюро, на исполком. А там ещё какие-нибудь комиссии. Да ведь мне времени не остаётся дома работать! А заседания всё по вопросам: как улучшить дело, как то поднять, то укрепить. Но когда же поднимать и укреплять, если на разговоры об этом всё наше время уходит?.. Партсобрание — закрытое, пленум, конечно, закрытый, партактив — закрытый, на сессию тоже только депутаты приглашаются. А речь ведём о том, как с народом работать. Закроемся в четырёх стенах и убеждаем друг дружку, что надо лучше с народом работать!.. Так можно, товарищи, до чего-то нехорошего докатиться! Самообманом занимаемся. Двадцать заседаний в месяц — вот работа кипит! А заседания-то всё закрытые, сами себя тут агитируем! А общие собрания колхозников в некоторых колхозах раз в году проводятся, от отчёта до отчёта!..

Опёнкин, вообще редко выступавший на пленумах и активах, на этот раз разошёлся.

— Я не возражаю, товарищи, посидеть в этом зале и час и два. Послушать, скажем, хороший доклад, лекцию о международном положении, что ли. Пусть знающий человек расскажет нам, чего мы сами не успели прочитать или может, в чём не сумели глубоко разобраться. Он нам расскажет — мы потом людям передадим. Но когда вот тут товарищ Коробкин доказывает нам, что свинья животное полезное, — этого же невозможно терпеть! А что преха таить, и на областных заседаниях немало приходится слушать таких речей. Выйдет человек на трибуну и тарыхтит, тарыхтит, как по коробке! После станешь вспоминать: о чём же он говорил? Да ни о чём! Всё вот такое же: «Мобилизовать усилия! Поднять на высоту!» Иного и председатель не остановит. Кричат все: «Довольно! Регламент!» — а он тарыхтит. Будто ему сдельно за каждое слово платят.

А мы сидим в зале и думаем: а кто же наше время оплатит? Пятьсот человек сидят здесь — сколько ты нашего времени загубил! Пересчитать бы его на человеко-часы! Шофёров за холостые пробеги милиция штрафует. Там — тонно-километры. Тут — человеко-часы. Тоже ценность немалая! И некому штрафовать этих расхитителей времени!..

Опёнкин сошёл вниз под одобрителный смех в зале и аплодисменты.

И почти все, кто выступал после Опёнкина, — а выступило ещё человек десять, так что по «цифровым показателям» собрание партактива прошло «на уровне», — почти все говорили о том, как вредно отражается на работе обилие заседаний, долгие словопрения, келейность обсуждения таких вопросов, какие нужно бы решать с народом.

Редактор районной газеты Посохов, сидевший в президиуме позади Мартынова, усмехаясь, нагнул через спинку стула к нему.

— До чего же страшна сила инерции, Пётр Илларионыч! Смотри-ка, задал ты тему для разговора — о вреде пустословия, и уж который человек об этом ораторствует, повторяют друг друга!.. «Ещё одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»

Секретарь райкома комсомола Рыжков говорит:

— В древние времена, в Спарте, считалось доблестью, если человек сумел в двух-трёх словах выразить то, что другой и в часовую речь не уложит. Не следовало ли бы нам возродить эти спартанские традиции?

Ему бросили реплику из зала:

— А сам не уложился в регламент, тринадцатую минуту уже говоришь!

Выступил секретарь парторганизации колхоза «Дружба» Мостовой, тот самый, что сочинял речь для заведующей свинофермой Гончаровской, и резонно, с фактами отчитал работников аппарата райкома за канцелярские методы руководства.

— Приезжает к нам в первичную организацию инструктор райкома. Что он проверяет, чем он интересуется? Когда партсобрания проводили, какие вопросы обсуждали. Опять же — сколько человек выступило в прениях, достаточна ли была активность. Ну, решение прочитает — грамотно ли написано. План работы спросит — какие читки, беседы в бригадах наметили, проводим ли их. А что в нашей жизни изменилось после этих собраний — это его не интересует! Вот в такой-то бригаде проводили беседу о решениях пленума. А как оно там после этого пошло дело? Лучше ли стали работать колхозники? Может, новые передовики в этой бригаде появились? Соревнование закипело? А ежели никакого сдвига — как же вы, товарищи, проводили беседы? Чего-то, значит, не довели до сознания народа! А ну-ка, пойдёмте вместе, ещё поговорим с людьми, и я вам помогу! Так бы нужно. Но у нас так не делается. Бумажки, бумажки!.. Как говорится: можешь и не уметь работать — умей отчитаться гладко, по бумажке, и всё будет в порядке! Сами вы, товарищи райкомовцы, приучаете нас к этому! А вы, товарищ Мартынов, видимо, совсем не занимаетесь своими инструкторами. Прямо через их головы по крутой траектории достаёте в колхозы. Хотите, чтоб в колхозах был порядок, а до сих пор не навели порядка в своём аппарате! Под носом у вас, в самом райкоме, и бюрократизм и канцелярщина, всё то самое, за что и нас ругаете!..

Мартынов почесал затылок. Что верно, то верно. До самого близкого у него как-то «не дошли руки». Не собирал он ни разу инструкторов, не беседовал с ними по душам, не учил их на практике живым методам партийной работы. Отношение секретарей к работникам аппарата райкома оставалось старое, по привычке, — как к обычным «уполномоченным», которых всех проще и удобнее посылать в колхозы, потому что они всегда под рукой!..

И выступила ещё раз, уже без шаргалки, Гончарова. Женщина, собравшись с мыслями, просто и интересно рассказала, благодаря чему их ферма стала образцовой. Рассказала, как они перевезли из села дома всех работников фермы и там, в десяти километрах от села, образовался целый новый посёлок, люди обосновались на жительство прочно, обзавелись садами, держат много птицы на хуторском приволье, и за последние годы из её свинок ни одна не ушла с фермы; рассказала, как добилась — не без скандала в правлении колхоза, — что учеников с их хутора, детей свинок, теперь ежедневно возят в село в школу на санях. На вопрос Мартынова о кормодобывающих бригадах ответила, что они в своём колхозе давно отказались от этих бригад, только никому в этом не признаются. Правление выделило в её распоряжение лишнее тягло, добавило людей в штат на ферму, и они сами заготавливают для свиней корма. Рассказала, как она, чувствуя как коммунистка ответственность не только за производство, но и за хорошую жизнь колхозников в её бригаде, организовала людей и прошлым летом в свободное время они своими силами восстановили плотину на речке у старой мельницы и с помощью шёфов-железнодорожников электрифицировали ферму и хутор, — теперь у них там и свет и радио, по вечерам работает школа взрослых, все свинки учатся на зоотехнических курсах; сообщила, что многие свинки за зиму по очереди побывали в лучших колхозах области, посмотрели там порядки в животноводстве, перенимают оттуда для себя хороший опыт.

— Вот теперь нам понятно, товарищ Гончарова! — сказал Руденко. — Дело, стало быть, не только в дезинфекции и культурном опоросе? Можно было подумать, что тебя только свиньи и интересуют. А ты со свинками работаешь! Тут-то и корень успеха!

Мартынов не выступал на этом собрании. Не потому, пожалуй, что потерял голос, — как-нибудь прохрипел бы. Видимо, не всё ещё обдумал, чем отвечать Опёнкину и другим коммунистам, которых сам же вызвал на сегодняшний откровенный взволнованный разговор. Так нельзя проводить собрания, как проводили до сих пор. А как надо?..

Проект решения, подготовленный в аппарате райкома, читал заведующий отделом пропаганды и агитации Жбанов. Читал без малого час.

— Чёрт побери! — сгорбившись, опустив голову на руки, выругался Мартынов. — Не просмотрел перед собранием их сочинение. Ну, и насобачились же пудовые резолюции писать!..

В проекте решения, в так называемой «констатирующей части», в сотый раз констатировалось то, что констатировалось и в решениях прошлых пленумов и партактивов: отставание такого-то участка, запущенность такой-то работы. Эти страницы были просто списаны работниками аппарата райкома из старых резолюций. Но и в «постановляющей части» мало было свежих слов. И эта часть подозрительно смахивала на что-то очень много раз уже читанное с этой трибуны перед таким же собранием. Всё то же: «обязать», «обратить исключительное внимание», «направить усилия», «поднять на должную высоту». В проекте было охвачено буквально всё, чем только ни приходится заниматься райкому партии и первичным парторганизациям: и радиофикация, и колхозная самодеятельность, и наглядная агитация, и пионерская работа, и агроучёба, и очистка семян клевера, и борьба с эпизоотиями, и ремонт дорог.

После проголосования проекта «за основу» Мартынов внёс — опять к удивлению и возмущению Голубкова — предложение: сократить его раз в десять.

— В самом деле, — сказал он, — следовало бы, как вот говорил здесь Опёнкин, наказывать тех товарищей, которые не щадят наше время!..

Кто его будет читать, такое решение на пятьдесят страниц, в колхозных парторганизациях? Когда его там люди успеют прочитать?

За сокращение проекта в десять раз взметнулся лес рук.

Голубков встал, хотел, видимо, что-то возразить Мартынову, но раздумал, махнул рукой...

Впопыхах никто не внёс никаких изменений и добавлений к проекту

Так почти со скандалом и закончилось собрание партактива.

Схватились Голубков с Мартыновым уже вечером, в райкоме.

— Мне неудобно было обрывать и поправлять тебя, первого секретаря, там, на собрании, — говорил Голубков. — Но это же чёрт знает что, товарищ Мартынов! Ты воспитываешь у коммунистов неуважение к партийным документам, к нашим решениям!

— Именно из уважения к партийным документам, — отвечал теряющий самообладание Мартынов, — нельзя писать так резолюции! Топим главное в словесной воде! Двадцать раз: «исключительное внимание». А что же на самом деле требует и с к л ю ч и т е л ь н о г о в н и м а н и я ? .. Это вы, вот такие канцеляристы, превращаете важные партийные документы в пустую бумажку! Наш грех — у нас инструктора плохо работают. Но и ты же, когда приезжаешь к нам, обращаешь и с к л ю ч и т е л ь н о е в н и м а н и е только на бумажки: как решения написаны? Это для тебя наши товарищи такие всеобъемлющие резолюции пишут! Чтоб, боже упаси, не придрался к чему-нибудь! «А где же стенная печать? Где работа среди учителей? Стало быть, вы этими вопросами не занимались?» — «Нет, шалишь, не придерёшься! Занимались! Вот тут всё записано. В десяти решениях эти пункты записаны!» Слепая вера в силу бумажки: записано — сделано. Ого! Далеко ещё не сделано!..

— Ты увёл собрание партактива от основных вопросов! — стоял на своём Голубков. — Вы, по существу, и не обсудили итогов пленума обкома. Видите ли, сомнения у них появились: не слишком ли часто проводим пленумы, собрания? Не слишком ли много заседаем? Эти собрания — школа коммунистического воспитания!

— Они д о л ж н ы б ы т ь школой коммунистического воспитания! — отвечал Мартынов. — Какое собрание, как провести его! Если тебе поручить провести собрание, боюсь, что не та школа получится!

— Вот ты провёл сегодня актив, так провёл!.. Я доложу, что вследствие неподготовленности, твоего мальчишества, несерьёзного отношения к делу и ещё чёрт знает каких-то заскоков ты сегодня почти сорвал партактив!

— Валий докладывай! — У Мартынова лопнуло терпение, и он стал убирать бумагу со стола в сейф. — Докладывай! Только поскорее! Время — к весне, пусть новый секретарь хоть успеет с районом познакомиться... Но только я не думаю, товарищ Голубков, что в обкоме все такие... как ты. Разберутся!..

Утром Руденко заглянул к Мартынову домой. Мартынов, Надежда Кирилловна и сын их, Димка, завтракали в столовой.

— Присаживайтесь, Иван Фомич, — придвинула к столу четвёртый стул Надежда Кирилловна.

— Спасибо, — отказался Руденко. — На работу иду. Такого случая не было, чтоб жена выпустила меня из дому голодным.

Присел на диван.

— Не жалеешь, Пётр Илларионыч, о вчерашнем?

— Нет, не жалею. Будь, что будет! — Мартынов допил чай, протянул стакан жене за добавкой. — Вот послушай, Фомич, до чего это доходит. Димка! Расскажи, что ваша пионервожатая на прошлом сборе говорила.

Димка, мальчик лет десяти, очень похожий на отца, такой же синеглазый, черноволосый, встал из-за стола, потянулся к окну, где на ручке переплёта висел его ученический портфель с книжками и тетрадями.

— Она нам сказала: «Не надо, ребята, смущаться, когда выходите на трибуну. Это не речь — два слова и назад. Надо долго говорить. Кто научится долго говорить, тот будет начальником, когда вырастет».

Мартынов и Руденко расхохотались.

— Смеёмся, а, в общем, не смешно — грустно, — сказал Мартынов.

Надежда Кирилловна, убирая со стола, вопросительно взглянула на мужа.

— О чём у вас речь? «Будь, что будет!» Опять что-то начинается?

— Да ничего особенного, Надя, — успокоил Мартынов жену. — Повздорил с инструктором обкома. Он, конечно, напишет докладную записку секретарям, кой-чего переверёт, сгустит краски. Но и я же могу дать объяснение.

— Вот сушитель мозгов, этот Голубков! — покрутил головой Руденко. — И зачем держат таких на партийной работе?

— Это он был у вас уполномоченным обкома, когда Глотова заставила свёклу по грязи сеять? — спросил Мартынов.

— Он, он! С Борзовым у них контакт был. В четыре руки кулаками по столу тархтели!

На улице, по пути в райком (райисполком помещался в том же дворе, в другом доме), Руденко говорил Мартынову:

— А Демьян правильно поднял вопрос! Двадцать закрытых заседаний в месяц, а колхозные собрания — раз в полгода. Как же мы работаем? Что это за работа? Есть над чем призадуматься! И проводим мы свои заседания зачастую для формы. «Да выступи, скажи чего-нибудь! Надо же активность проявлять!» И выступают и болтают «чего-нибудь», лишь бы считалось, что собрание проведено. Иной раз просто стыдно, когда сидишь на таком собрании!

— Основа всему — доклад, — сказал Мартынов. — Если нет жизни в докладе — нет жизни и в прениях, и всё собрание тогда — впустую!

— Я уже тебе сказал, Пётр Илларионыч, о вчерашнем своём докладе: выдохся! Пять докладов сделал на этой неделе. Нет, нет, слишком много мы ораторствуем, агитируем друг друга, как Демьян говорит! Нельзя дальше так!

— Согласен с Демьяном? А в заключительном слове ничего не сказал об этом.

— Так мы итоги пленума обсуждали, а не вопрос о количестве заседаний.

— Осторожничаешь, Фомич! Все видят, чувствуют, что нельзя дальше так, а сказать не решаются. Эх вы, друзья-помощники! Пусть Мартынов начинает? На чужом лбу шишку видеть приятнее, чем на собственном?..

Через неделю Мартынова вызвали в обком партии.

Он сидел у заведующего сельхозотделом со своими перспективными планами, когда туда позвонили из приёмной первого секретаря и пригласили Мартынова зайти.

Секретарь обкома в этой должности в разных областях пребывал уже лет десять. Пожилой, за пятьдесят, участник гражданской войны, командир эскадрона в Чапаевской дивизии, в Отечественную войну — член Военного Совета одной из армий на юге. Небольшого роста, сухощавый, с непокорным, молодившим его чубом прямых русых волос, то и дело спадавших на лоб. Страстный любитель, как говорили о нём, парусного спорта и охоты: все выходные дни проводил либо на Монастырском озере на водной станции, либо в Чугуевских лесах.

Это у Мартынова была первая встреча с ним, первый большой разговор, не считая коротких встреч на пленумах и на двух заседаниях бюро обкома: когда снимали Борзова и — второй раз — когда его, Мартынова, рекомендовали первым секретарём райкома.

— У вас, Алексей Петрович, это, может быть, не так наболело, как у нас, низовых работников, — говорил Мартынов. — А нам, поверьте мне, это уже невтерпёж, невыносимо! Вам меньше приходится видеть плохих собраний.

— Ты что хочешь сказать, — недовольно поморщился секретарь, — что мы, обкомовцы, жизни не знаем, оторваны от жизни?

— Нет, я не это хочу сказать... Если вы приезжаете на собрание и видите, что оно идёт вяло, люди выступают без души, лишь бы только чего-то для протокола наговорить, — вы же не выдержите, вмешаетесь, разожжёте страсти! Поверните, в общем, собрание, куда нужно. При вас собрание хорошо пошло. А вот как оно без вас прошло бы — этого же вы не могли видеть!

— Хитёр, вывернулся! — рассмеялся секретарь обкома. — Пей чай. — Придвинул к Мартынову стакан крепкого чаю с лимоном. — Больше, прости, у нас в обкомё посетителей ничем не угощают. Возьми печенье.

— Ну, у нас в райкоме и чаю для посетителей нет, — сказал Мартынов, разламывая печенье над стаканом. — Ваш финсектор на это денег нам не даёт... Между прочим, Алексей Петрович, раз уж заговорили о финсекторе. Дело небольшое, но всё же три тысячи висят на моей шее...

— За что?

— Мы в декабре проводили районный слёт механизаторов. Надо было премировать лучших трактористов и комбайнеров. А денег в МТС нет. Что делать? Продали райкомовскую кобылу, по решению бюро. Она нам не нужна была. Две машины в райкоме, в райисполкоме четыре лошади, да и кобыла-то уже старая, и упряжи на неё нет. Продали в лесничество, для объездчика. А ваш инструктор из финсектора составил на меня акт: «Не имели права продавать! Лошади, как и всё имущество райкомов, числятся на балансе обкома». Но мы же её не пропили, ту кобылу! Не на банкет деньги истратили. Купили пять штук часов, отрез на костюм, велосипед. Слёт провели хорошо! Принародно вручали премии!..

— Счета есть?

— А как же! И счета и расписки от тех, кого премировали.

— А в следующий раз — надумашь свекловичниц премировать — что будешь продавать? «Победу»?.. Ладно, напиши заявление, оставь помощнику. Разберём.

Секретарь обкома раскрыл папку с бумагами, перелистал их.

— Так вот, товарищ Мартынов, я прочитал протокол вашего нашумевшего собрания партактива... — Он долго молчал нахмурившись. Мартынов перестал отхлёбывать чай, осторожно, чтобы не звякнуть ложечкой, отодвинул стакан. — Вот выступление Опёнкина... Вот ещё выступления председателей колхозов... Неглупо... Но я с ними не согласен. Они, как хозяйственники, сугубо практические люди, всё переводят на человеко-часы, в этом видят зло — в потере времени. А я как партийный работник вижу ещё зло и в другом... Самое страшное — не в потере времени... Если в организации такие болтуны, как ваш Коробкин, не в единственном числе, во что они могут превратить наши партсобрания, которые мы называем школой коммунистического воспитания? В школы пустословия?..

У Мартынова радостно забилось сердце.

— Алексей Петрович!..

— Погоди... Коробкины всерьёз думают, что вот это и есть самая настоящая наша работа — произносить изо дня в день такие речи:

«Корма — это основа животноводства!», «Свинья — полезное животное!» Создаётся в ид и м о с т ь работы. Одни кричат так, что стены дрожат, другие бубнят эти же слова по бумажке — цена их речам одна. Пустословие — это душевная отравка, какой-то усыпляющий сознание дурман. Люди думают, что они действительно делают что-то нужное, большое, полезное обществу. Что они таким образом р у к о в о д я т, воздействуют на колхозную жизнь. Отсидел на заседании шесть часов, и совесть его чиста — он сегодня славно поработал! Слушал речи о необходимости усиления массово-воспитательной работы в колхозах, сам выступал до хрипоты в горле, уставший идёт домой пообедать, отдохнуть. А ведь это не работа — паразитическое приспособление к жизни. Убегание от настоящей работы в разговоры, болтовню о работе... Когда это пустозвонство становится специальностью, профессией некоторых наших товарищей — вот что самое опасное!..

Секретарь говорил ровным голосом, медленно, с большими паузами, как бы проверяя вслух перед самим собою и Мартыновым мысли, давно выношенные.

— Партсобрание, актив, пленум — не самоцель. Собрание мы проводим не ради самого собрания, а ради того, чтобы после него коммунисты ринулись в бой! В работу бы ринулись засучив рукава!.. Коллективным умом решаем дела большой важности, вскрываем недостатки нашей работы. На партсобраниях молодые коммунисты учатся впервые выступать с речами, убедительно, логично излагать свои мысли. Учатся ораторскому искусству. Чтоб потом выступать перед народом. Это тоже дело нужное: каждый коммунист должен быть пропагандистом, агитатором... Но не у Коробкиных же они должны учиться!

— В том-то и дело, Алексей Петрович! — сказал Мартынов. — Показная активность! Собрание проведено, выступления были, протокол написан — форма соблюдена. В чём, в чём, но уж в партийной работе формализм совершенно невыносим! С нас берут пример и комсомольцы и пионеры. Формализм бюрократизму — родной брат. А у Ленина в последнем томе, в тридцать пятом томе, в одном письме сказано: если что нас погубит, то именно бюрократизм. Конечно, этого-то мы не допустим, чтобы он нас погубил. Но Ленин предупредил, какая это серьёзная опасность!..

Два коммуниста, два секретаря посмотрели друг другу в глаза долгим, изучающим взглядом. Им предстояло работать вместе и, может быть, не один год. Секретарю обкома было приятно совпадение их мыслей, Мартынову более чем приятно — радостно.

Секретарь обкома, пройдя по кабинету, остановился у большого окна, из которого с четвёртого этажа открывался широкий вид на пригородные заводские новостройки, на заснеженные поля с перелесками на горизонте. Мартынов тоже встал, подошёл к нему.

— А слово «оратор» вообще-то слово неплохое, — сказал секретарь обкома. — Ораторское искусство — очень нужное нам искусство! Жаль, что оно в последнее время стало как-то вырождаться. Все речи читаем по бумажке... Помнишь тридцатые годы? Хотя ты, пожалуй, тогда ещё мальчишкой был?

— В тридцать втором в комсомол вступил. И то с нарушением устава: года ещё не выходили.

— Не пришлось организовывать первые колхозы? Ну, мне те времена очень памятливы! Если бы мы тогда перед крестьянами бубнили речи, уткнувшись носом в бумажку, — вовлекли бы мы их в колхозы?.. Жесточайшая проверка была для руководителя в деревне. Не найдёшь доходчивого к народу языка, не умеешь с людьми разговаривать, не увлечёшь их за собою словом, делом, личным примером — и месяца не удержишься!

на своём посту, провалишься!.. Суесловие искореняй, товарищ Мартынов, но само слово «оратор» в обиду не давай! Это слово не для насмешек. Все старые революционеры были ораторами. Учить надо коммунистов этому искусству! Настоящих ораторов нужно ценить, как всяких художников своего дела!.. Справился у нас со всеми делами? Ну что ж, поезжай домой.

Секретарь обкома пожал руку Мартынову.

— На днях приеду к вам в район. Побываем с тобою на «плохих собраниях», которых я не видел, подумаем, как сделать их хорошими... Да, поменьше бы надо агитировать друг друга, а побольше живой работы с народом. Но ведь можно и слёт передовиков, скажем, — самое живое дело, народ! — провести так, что пользы не будет ни на грош. Зачитать без огонька доклад, заготовить заранее всем речи — вот и казёнщина, формализм! А ты горяч, товарищ Мартынов! Не укатали бы сивку крутые горки.

Мартынов даже вздрогнул, услышав опять эти слова. Но удержался, сказал секретарю обкома, что уже в третий раз слышит от разных людей это предостережение.

— А что же, пословица и в применении к нам правильная, — ответил секретарь. — Я же не говорю: укатают, а — не укатали бы! Горки-то есть, чего нам на них глаза закрывать. Вот этот самый формализм с родным братцем бюрократизмом, да ещё всякие их родственнички — вот и горки... Ты, может быть, думаешь, что мне здесь легче? Выше должность, больше власти, больше силы в руках? Оно-то так. Силы больше, но и горки круче. В другом всё масштабе. И у нас есть свои Коробкины. Да какие! Ваши нашим и в подмётки не годятся. Им ещё учиться да учиться у наших! Прямо гроссмейстеры суесловия! Классики!.. Предложишь ему на бюро высказать точку зрения по такому-то вопросу — по персональному делу, что ли, — он встаёт и начинает метать громы и молнии. Интонация, глаза, жесты! Если слушать его издали, куда слова не долетают, можно подумать, что он произносит смертный приговор человеку. А он всего-навсего предлагает «указать». По интонации — Савонарола, а по смыслу речи — либерал, потатчик перерожденцам. Или обсуждаем вопрос: согласиться или не согласиться с министерством по поводу такого-то строительства, не слишком ли растянуты сроки, может быть, изыщем резервы? Опять же он при стенографистке произнесёт такую речь, которую потом, в случае чего, можно будет истолковать и так и этак. Не выдержим сокращённые сроки и намылят нам за это шею, скажет: «Я предупреждал, как бы не обвинили нас в мальчишестве! Вот стенограмма!» Похвалят за хорошие темпы — сн и к этому примажется. Он был в основном «за»! И даже попытается всунуть свою фамилию в список на ордена. Артисты!.. И скажу тебе, Мартынов, трудноато таких артистов развенчивать. У них и стаж, и безукоризненная анкета, и диплом, и солидная осанка, и многолетнее пребывание в номенклатуре. И связи. К сожалению, и в наше время не обходится дело без покровительства. У иного в Москве в каком-то могучем аппарате — приятель, свояк. Тронь его — телеграммы, звонки: «Представьте объяснения! На каком основании?..» Докажешь, что это ничтожество, беспринципная, прости за выражение, сопля, избавишься от него, глядишь — через некоторое время он выплывает в другой области, в той же должности!..

Секретарь обкома проводил Мартынова до двери.

— Пустословие — это ещё не всё, товарищ Мартынов. Это, так сказать, частность, признак обывательского отношения к партийной работе. Вот, скажем, в области готовятся к партийной конференции. Для настоящих коммунистов это подготовка к серьёзному, большому событию в партийной жизни области. А сколько обывателей по-своему переживает эту



подготовку! Будут или нет большие перемены, то есть останется ли первый секретарь на своём посту? А какие намётки по отделам? Сложатся по кабинетам, шушукаются, разнохивают. Останется ли наш заводделом? Говорят, ему уже предлагали какую-то хозяйственную работу. Ну-у? Значит, другой будет... А меня как бы на периферию куда-нибудь не послали. Эх, дурак, не дал согласия, когда предлагали банно-прачечный комбинат! Баня — это всё же в городе. Как загонят в Грязновский район, к чёрту на кулички, вторым секретарём! Да вторым-то ещё ничего, а вдруг на отдел?.. Их не волнует, какое влияние окажет партийная конференция на жизнь области, какие будут после неё сдвиги, поправятся ли дела в отстающих колхозах. Их волнует лишь одно: как эти большие или малые перемены отразятся на их брэнном существовании. Не сорвут ли их с насиженных мест? Не понизят ли в ранге, зарплате? Столоначальники!.. А в общем, не подумай, товарищ Мартынов, что я плачусь тебе в жилетку. Я не жалуясь на трудности. Я только говорю тебе, что обывательщина в разных формах проявляется и трудновато с нею бороться. Трудно, но не невозможно. А раз можно с нею бороться — давай бороться!..

---

Это всё было до марта 1953 года.

А в первые дни марта радио разнесло по всей земле тяжёлую весть о болезни товарища Сталина.

Ещё была маленькая надежда на выздоровление. Вспоминали, что Владимир Ильич после первого кровоизлияния в мозг поправился и жил и работал ещё несколько лет. В правительственном сообщении говорилось о временном уходе товарища Сталина от руководящей государственной и партийной деятельности.

В эти дни — что бы человек ни делал, с кем бы о чём ни говорил — ни на минуту какой-то частичкой сознания не отрывался он от мыслей о нём...

Пятого марта товарищ Сталин скончался.

Ушёл из жизни человек, продолжавший дело Ленина, возглавлявший Центральный Комитет партии. С ним партия и народ строили Магнитогорск, ДнепрогЭС, тракторные заводы, превращали и превратили отсталую аграрную Россию в великую индустриальную державу. С ним решали труднейшую задачу пролетарской революции в такой стране, по преимуществу земледельческой, какой была Россия, — коллективизацию крестьянства. С ним изгоняли фашистских оккупантов с советской земли и штурмовали Берлин. С ним в невероятном короткий срок восстановили разорённое войной хозяйство. Сколько вобрала в себя эта жизнь — от первых рабочих кружков и сибирских ссылок до преддверия коммунизма!

Утром шестого марта в райком набилось полно народу — весь партийный актив. Собрались, как по тревоге, хотя Мартынов и не созывал их.

— Ну вот, — сказал Мартынов, — и остались мы без него... Едемте, товарищи, в колхозы. Надо собирать народ, проводить митинги. Меньше слёз. О жизни надо думать. Его нет — есть партия. Дети, потеряв отца, взрослеют. На нас, ни много ни мало, лежит ответственность за судьбы мира.

Мартынов побывал в эти дни на митингах в десятке колхозов и в двух машинно-тракторных станциях, много видел и слышал такого, что врезывается в память на всю жизнь, никогда не забудется. Слышал клятвы в верности до последнего вдоха делу партии от малозаметных беспартий-

ных тружеников, никогда раньше и не выступавших с речами на собраниях. Видел необычный, яростный трудовой подъём — не опустились руки у людей, это было молчаливое исполнение клятвы, данной от имени народа теми, кто выступал на митингах. Видел на лицах и скорбь, и упорство, и готовность всем, чем потребуется, прийти на помощь партии. Одного только не видел — растерянности. Могучий русский народ, вынесший много испытаний, и это горе переживал мужественно, в боевой собранности.

«Падает на поле брани сражённый смертью вождь, — писал в эти дни в «Правде» Шолохов, — в панике бегут или топчутся на месте трусы и малoverы, а настоящие воины дерутся ещё ожесточённее, ещё яростнее, врагу и как бы самой смерти мстя за смерть вождя!»

В день похорон товарища Сталина, когда гроб с его телом был внесён в Мавзолей, страна попрощалась с ним гудками заводов и артиллерийским салютом. и люди в угрюмом молчании разошлись от репродукторов к своим рабочим местам, Мартынов поздно вечером, оставшись один в райкоме, глубоко задумался.

Верно ли чувствует он душу народа? Вспоминая речи на траурных митингах, разговоры с колхозниками, он искал слов, которыми можно было бы точно выразить настроение народа... Спокойная тревога за будущее. Да, именно — с п о к о й н а я, без сомнений в конечной победе. В эти дни, пожалуй, в каждом человеке во много раз возросло чувство и личной и коллективной ответственности за успех общего дела — строительства коммунизма в Советском Союзе...

И — готовность пожертвовать всем ради наших великих целей.

И ещё — единое пожелание народа руководителям партии и правительства здоровья, новых успехов в трудном искусстве управления огромной страной, строящей коммунизм; огромной страной, делающей огромное дело, без которого вообще бессмысленна жизнь человечества на земле; страной, которую люди на всех языках называют «Надеждой Мира».



---

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

## НОВЫЙ СОТРУДНИК

Рассказ

**Н**есмотря на опущенные шторы, в кабинете было жарко, как на улице. Григорий Савельевич Сухов мял в пальцах пустой пшеничный колосок и слушал председателя колхоза «Авангард» Ершова.

— И во второй бригаде такой же колос, — говорил Ершов. — Щуплое зерно, а то и вовсе — пустозёрность. И во второй бригаде одну солому соберём.

Григорий Савельевич давно понял, что колхозники «Авангарда» послали к нему председателя для того, чтобы добиться снижения группы хлебопоставок, и терпеливо ждал, когда разговор дойдёт до сути дела. Но Ершов, прочно устроившись в кресле, медленно и, как ему казалось, хитро «обрабатывал начальство».

— Не то что хлеб, крапива и та посохла, — говорил он. — Моя бы воля, я бы на эту солому скот пустил — и точка. Её убирать — только силу даром тратить. А группа прошлогодняя. Разве это не безобразие?

Григорий Савельевич молча слушал, и по лицу его невозможно было понять, считает он это безобразием или нет.

— В райотделе кивают на прошлый год, — продолжал Ершов. — А что его поминать — прошлый год? В прошлом-то году мы государству после плана ещё пятьсот центнеров вывезли. Разве можно равнять прошлый год с нынешним?

Григорий Савельевич слушал всё так же внимательно, и было непонятно, порицает или одобряет он Ершова.

В кабинет заглянул высокий человек с папкой, но, увидев постороннего, скрылся, осторожно закрыв дверь.

— Земля вовсе просохла. Звенит, как железо.

— Вы вот возражали на критику по поводу снегозадержания, — прервал наконец Ершова Григорий Савельевич, — видите, правильно критиковали.

— Да разве я на критику обижался? Я обижался, что удобрения не дали. Дали бы фосфаты — разве такой бы колос был?

— Фосфаты фосфатами, а зимой колхозы к посевной готовились слабо — от этого факта никуда не уйдёшь, — сказал Григорий Савельевич. — И в вашем колхозе зимой резко падает дисциплина и выход на работу. Надо больше с людьми работать, товарищ Ершов.

Дверь снова приотворилась, и в кабинет заглянул высокий человек.

— Заходи, Набоков, — позвал Григорий Савельевич. — Что у тебя?

Набоков был, как всегда, аккуратен, в гимнастёрке и бриджах, шитых по заказу на военный фасон.

— Кадровый вопрос, — сказал он, косясь на Ершова. — Вы звонили, чтобы я зашёл сегодня.

— Я у инструктора обожду пока, — сказал Ершов, с трудом вытаскивая из кресла грузное своё тело.

— Нашли сотрудника в сельскохозяйственный отдел, — заговорил Набоков, как только председатель колхоза скрылся за дверью. — Вот документы, характеристика.

— Погоди, — сказал Григорий Савельевич, опустив на бумагу художавую руку. — Ты скажи, долго это будет продолжаться?

— Что? — спросил Набоков, безуспешно стараясь сделать вид, что не понимает, в чём дело.

— Сам знаешь что. Жена твоя снова приходила, плакала. В обком хочет писать.

Набоков вздохнул и поправил чернильницу.

— Ты ведь не какой-нибудь низовой работник. На тебя должна масса равняться. А у тебя — аморальное поведение. Пора кончать с этим.

— Не могу, — тихо сказал Набоков. — Что хотите делайте — не могу.

— Это не постановка вопроса. Что значит «не могу»?

Набоков молчал, глядя в пол.

— Без тебя положение в районе не блестящее. Не хватает, чтобы нас стали прорабатывать ещё и по этой линии. Смотри! За такие дела партийный билет положишь.

Ожидая ответа, Григорий Савельевич неприязненно осмотрел стройную фигуру Набокова, хорошо отглаженную гимнастёрку, свежий подворотничок, пришитый руками его жены. Григорий Савельевич был лет на пять моложе Набокова, и вести разговор на эту тему ему было и неудобно и неприятно.

— Ну? — спросил он, так ничего и не дождавшись.

Набоков молчал.

— Детей двое?

— Двое.

— Ну вот. А ты из дому бегаешь. Куда это годится?

Набоков снова поправил чернильницу.

— Недопонимаешь ты этот вопрос. Подумай и разберись. Если ещё будут сигналы о твоём поведении — поставлю вопрос на бюро.

«По всему району горят хлеба, а тут приходится ломать голову над этой историей», — раздражённо подумал Григорий Савельевич и, резко меняя тему, спросил:

— Кого ты предлагаешь в отдел?

— А вот... — обрадованно начал Набоков. — Наконец всё-таки мне удалось найти подходящую...

→ Женщина?

— Женщина.

— А мужчину не искали?

— Мужчину не нашёл. А за неё мы ручаемся. Кончила десятилетку. Печатает на машинке. Бойкая.

— То-то и беда, что бойкая. Где она сейчас?

— Дождается здесь. Позвать?

— Зови.

Как только вышел Набоков, в кабинете появился Ершов. Чувствуя, что у Григория Савельевича мало времени, он понял, что «обработку» пора кончать, и перешёл к делу.

— Этот вопрос нам с вами не решить, — сказал Григорий Савельевич. — Поеду в обком, там поговорю.

— Пожалуйста. Скажите там. Не мы виноваты — солнышко. Его ведь на правление не вызовешь.

— Солнышко солнышком, а сеять надо было раньше. Вообще, я смотрю, на лаврах вы стали почивать, товарищ Ершов. И воспитательную работу завалили. Есть у вас там Валентина Ермолаева?

— Есть, как же, не Валентина только, а Алевтина. Это она для кавалеров Валентина, а по метрике — Алевтина.

— Так вы предупредите её, чтобы мужа от живой жены не отби-вала.

— Да разве мы с ней не говорили! А она заладила: «Моё личное дело» — и всё тут. Или, говорит, мне дожидаться, когда правление для меня мужика обеспечит? Вот и попробуй потолкуй с ней... Вы бы лучше, Григорий Савельевич, ухажора её пристыдили.

Пропуская вперёд девушку, в кабинет вошёл Набоков. Ершов протиснулся и ушёл. Смуглолицая девушка с розовым, шелушащимся носиком была одета совсем не по погоде: в тёмном шерстяном платье с кокеткой и длинными рукавами. Краешек рукава был аккуратно заштопан. На кокетке блестел комсомольский значок.

— Мария Семёновна Никитина, — сказал Набоков.

— Маша, — сказала девушка и смело пожала руку Григория Савельевича.

— Почему вы не пошли в институт или в техникум? — спросил он, просматривая её документы. — Ведь у вас медаль.

— Мы живём вдвоём с мамой, — сказала Маша. — Старший брат учится в Ленинграде. Если ещё и я поеду учиться, как же мама останется одна? У нас в городе тот недостаток, что нет высшего учебного заведения.

— Как же нет? А текстильный техникум?

— Во-первых, это не высшее, а во-вторых, не у всех способности к текстильному хозяйству... Поэтому и приходится работать. Во-первых, без работы скучно, во-вторых, денег не хватает. Пока я ходила устраиваться, мы с мамой иногда обедали без второго, — сказала она весело. Набоков сделал строгое лицо, стараясь дать понять, что такие разговоры здесь неуместны, но Маша, бегло взглянув на него, продолжала: — У нас в городе тот недостаток, что в Гастрономе редко бывает приличное мясо, одни голяшки без очереди, а на базаре, сами знаете, приходится переплачивать.

— Что это вы так много мест переменили? — прервал её Григорий Савельевич. — Меньше года работаете, а третью должность меняете.

— А меня больше двух месяцев нигде не держат, — так же весело отвечала Маша. — Не знаю, почему это. Наверное, из-за характера. Я, когда вижу, что-нибудь не так, — не могу удержаться, чтобы не высказаться. Скоро, наверное, совсем никуда брать не будут.

— Мы критики не боимся, а ваш характер проверим на практической работе, — сказал Григорий Савельевич и написал в уголке заявления: «В приказ».

— У меня к вам просьба, товарищ Сухов, — проговорила Маша.

— Какая ещё просьба? — недовольно спросил Набоков.

— Направьте меня работать куда-нибудь на природу.

— На какую природу? — не понял Григорий Савельевич. — Вы дали согласие работать у нас в аппарате.

— Так это только в порядке комсомольской дисциплины. А вообще я мечтаю устроиться где-нибудь в колхозе или в эмтээс.

— Давайте так уговоримся: поработаете у нас. Работа интересная. Будете выезжать и на природу. А в дальнейшем — посмотрим. Договорились?

— Что ж. Договорились. — Маша вздохнула.

— Значит, с этим делом — всё. Действуйте, — сказал Григорий Савельевич и, неожиданно улыбнувшись, добавил: — Ну и пекло! Не успеешь написать — чернила сохнут.

Набоков, с лица которого во время разговора не сходило напряжённое выражение, тоже улыбнулся.

Они ушли. Григорий Савельевич попробовал писать, но жара мешала ему. «Пойду-ка я домой, — подумал он. — Пообедаю, отдохну, а вечером снова на работу». Он запер кабинет и вышел.

Над городом белело выцветшее, безоблачное небо. По улице волнами летела острая пыль, и прохожие останавливались, повернувшись спиной к ветру и придерживая шапки. Сухо и бессильно шуршали листья акаций.

Григорий Савельевич шёл домой, размышляя о предстоящих на обкоме разговорах по поводу засухи. Конечно, винить в отсутствии дождей никого не станут, но, как бывает в таких случаях, кто-нибудь не удержится, чтобы не вспомнить прежние грехи, за которые не раз уже приходилось отвечать и объясняться: и запоздание с севом яровых, и плохую организацию работ по снегозадержанию, и невыполнение планов по весновспашке, — словом, всё то, что усугубило тяжёлое положение в колхозах. Утром Григорий Савельевич собирался подобрать материалы к поездке, но из-за истории с Набоковым ничего не успел сделать. «Как всё-таки быть с Набоковым, — подумал он, — посоветоваться по этому вопросу с женой, что ли? Женщины лучше нас разбираются в таких тонкостях».

Повернув горячее железное кольцо, он отворил калитку и поднялся в дом.

Из столовой доносились голоса. Григорий Савельевич заглянул в дверь. Посреди комнаты, растопырив руки, стоял Петя. Возле него переступала на коленях портниха, очерчивая мелом полы курточки, смётанной из какого-то полосатого материала. За столом, заваленным лоскутами, сидела жена и говорила:

— А если не найдём бортовку у Левина, я возьму машину и мы отправимся в область...

Обернувшись, она увидела мужа, воскликнула: «Отец пришёл!» — и торопливо стала собирать тряпки.

Григорий Савельевич мрачно поздоровался и пошёл в свою комнату. Настроение его испортилось. Он несколько раз просил жену заказывать одежду, как все люди, и не вызывать на дом служащих ателье. Она обещала не делать этого, но стоило ему прийти домой на час раньше обычного, как оказалось, что она обманывает его.

«И сукно какое-то дорогое, — подумал Григорий Савельевич. — Вряд ли она стояла в очереди. Наверное, тоже — позвонила директору универмага, и материал принесли на дом вместе с выбитым чеком и дома получали деньги».

В прихожей послышалось шушуканье и капризный голос Пети. Григорий Савельевич понял, что жена выпроваживала портниху. Ему стало ещё тоскливее, охота советоваться с женой по поводу Набокова пропала, и он пожалел, что пришёл обедать раньше времени.

«Сначала у неё откуда-то образовалась жадность к благополучию, — думал он, раздражённо расхаживая по комнате. — А теперь, когда наступило благополучие, неизвестно откуда появилась охота хвалиться благополучием, даже таким, какого она вовсе не имеет. Ведь ей известно, что я не позволю гонять казённую машину за какой-то бортовкой. Откуда это у неё?»

Он попытался представить жену такой, какой она была восемь лет назад, когда работала на мебельной фабрике, попытался вспомнить её

лицо, сильные, крестьянские руки, берет с красной стрелкой, пытался вспомнить то время, когда делился с нею всеми радостями и горестями, — и не мог.

Единственное, что врезалось ему в память, — это ночное небо, когда они, ещё до женитьбы, сидели, обнявшись, в палисаднике. Он хорошо помнит, что поразила тогда количеству звёзд. Звёзд было раз в десять больше обыкновенного, как будто на небесах зажгли иллюминацию. Он сказал тогда ей: «Ты моя звёздочка» или что-то в этом роде, и теперь ему было стыдно вспоминать это.

«Сегодня же позвоню в ателье и директору магазина, — подумал он, ожесточаясь, — чтобы запретили своим работникам бегать по квартирам. И с ней сегодня поговорю, последний раз поговорю».

За обедом он спросил жену:

— Ты куда ходила покупать материал?

— В универмаг, — ответила она небрежно, — а что?

— А портниха приходила из ателье?

— Нет. У неё сегодня выходной.

Григорию Савельевичу часто приходилось разговаривать с разными людьми, и он научился быстро угадывать неправду.

— Ты вот что скажи, — спросил он, — советский ты человек или нет?

— Ешь борщ, — сказала жена.

— Мы с тобой неоднократно беседовали по этому вопросу, — продолжал он, — и я думал, что ты сделала для себя соответствующие выводы.

— Выводы, выводы! — вспылила жена. — К Евдокимовым каждую неделю носят, а тут за какие-нибудь несчастные два метра для Пети — целая лекция... Совсем на сына внимания не обращаешь... Отец ты ему или кто?

— Твоя основная задача — воспитывать Петьку, — с трудом сохраняя спокойствие, проговорил Григорий Савельевич. — И я в последний раз предупреждаю, чтобы к нам в дом никаких пакетов не носили. Понятно?

Жена ничего не ответила, но в молчании её Григорий Савельевич почувствовал возражение. Он начал было обдумывать, как проще и сильнее объяснить ей своё отношение к барским повадкам, но, заметив, что Петя с любопытством поглядывает то на него, то на мать, резко сменил тему:

— Такая жарыща, а тут — борщ. Сделала бы хоть окрошку, что ли...

— На тебя не угодишь, — сказала жена.

Второе ели молча. Молча встали из-за стола.

Духота, казалось, стала ещё больше. Григорий Савельевич пошёл в свою комнату соснуть немного, стянул влажную скрипучую рубаху. То и дело переворачивая горячую подушку, он полежал немного, но сон не приходил. Григорий Савельевич умылся и отправился на работу.

На крыльце двухэтажного кирпичного дома стояла Маша. Ершов ходил возле своего караковского жеребца, впряжённого в таратайку, и поправлял кошму под седёлкой.

— «Супонь», «гужи», — говорила Маша. — Названия какие-то дремучие, дореволюционные. Я бы всё это переименовала.

— Вам только дай волю, вы и меня переименуете, — отвечал Ершов, подбивая к задку плетёного кузовка сено и расстилая брезент. — Вот теперь садитесь.

Маша полезла в кузовок.

— Вы куда собрались? — удивился Григорий Савельевич.

— В «Авангард» еду, товарищ Сухов, — оговалась Маша. — Мы с товарищем Ершовым договорились, что он по пути покажет мне, где овёс, где ячмень, где травопольная система. Я ведь живых колхозников только на нашем базаре видела... Часов в одиннадцать вечера вернусь.

Григорий Савельевич улыбнулся, вдыхая парной запах тёплого сена и деготка и с наслаждением чувствуя, как с его души сваливается вся тяжесть, которую он вынес из дома и нёс всю дорогу.

— На чём же вы вернётесь? — спросил он.

— Какая-нибудь попутная попадётся! — крикнула Маша.

Услышав, что сел хозяин, жеребец тронул, не дожидаясь вожжи.

Григорий Савельевич долго смотрел им вслед и, только после того, как таратайка повернула за угол, поднялся на крыльцо.

Усевшись на своё место, за письменный стол, и положив руки на подлокотники кресла, он облегчённо вздохнул и стал перебирать в уме дела, которые надо кончить сегодня.

Привычная обстановка окружала его: стальной сундук, прибитый к плсу, настольная лампа с жестяным инвентарным номерком, схема района, испачканная многочисленными пометками, подушка для печати, — и Григорий Савельевич с горечью подумал, что в этой обстановке ему живётся гораздо покойнее и уютнее, чем дома.

Через несколько дней он попросил Машу помочь готовить материал к его выступлению на пленуме.

Подложив на стул толстый том сельскохозяйственной энциклопедии, Маша села к пишущей машинке и, по-птичьи склонив голову, стала прислушиваться к его диктовке. Но, как только работа наладилась, в кабинет вошёл не знакомый Маше пожилой мужчина, видимо приехавший из области, и сел в кресло Григория Савельевича. Диктовку пришлось прервать. Выходя из кабинета, Маша услышала, что разговор пошёл о Набокове. Примерно через полчаса Григорий Савельевич вызвал её снова. В кабинете было сильно накурено. Незнакомый мужчина надевал кепку, а Григорий Савельевич, стоя у письменного стола, бесцельно перекладывал с места на место блокноты и папки, что случилось с ним всегда, когда он сильно нервничал.

— А неправильно, так надо поправлять, — говорил он, кончая какой-то длинный, неприятный разговор.

— Что там поправлять, — махнул рукой пожилой мужчина. — Рассуждения твои в основном верны. Но в них, знаешь, чего не хватает? — Он похлопал себя по орденским планкам. — Сердца. Сердечности. Казёнщиной несёт от твоих рассуждений.

Маша сердито взглянула на незнакомца и, не удержавшись, обиженно проговорила:

— У нас, по крайней мере, никто не обижается на товарища Сухова. И наш район, к вашему сведению, не на последнем месте.

— А вас не спрашивают, — резко оборвал её Григорий Савельевич и пошёл провожать гостя.

Вскоре они снова принялись за работу, и в течение двух часов не было сказано ни одного постороннего слова. И только когда дело подходило к концу, когда уставший Григорий Савельевич начал абзац фразой: «Ввиду того, что ощущается недостаток кадров», Маша робко спросила:

— Может быть, напишем просто: «не хватает людей»?

Григорий Савельевич рассердился, но, взглянув на её огорчённое лицо, понял, что она страдает за него и боится, как бы за такую фразу его опять не обвинили в казёнщине.

— Ну вот, и вы критикуете, — сказал он с теплотой и признательностью. — Конечно, по-вашему лучше, — и, словно оправдываясь, добавил: — Привык к стандарту... Наверное, старею...

— Да какой же вы старый! Вы только строгий. У вас даже руки имеют строгое выражение...



После её ухода Григорий Савельевич долго сидел, глядя на пишущую машинку, на том энциклопедии, лежащий на стуле, и рассматривая свои руки. А на следующий день, рано утром, он уехал на пленум обкома и вернулся с новыми заботами, с новыми мыслями, с объёмистым решением о мерах помощи колхозам, пострадавшим от засухи.

Накануне в областном центре прошёл дождь, и, подъезжая к родному городу, Григорий Савельевич надеялся увидеть облака и на своих районных небесах. Но, хотя по улице попрежнему летела жёлтая пыль и горячие тротуары дымились после поливки, он чувствовал себя бодро и радостно, как перед долгожданной встречей.

Приехав к себе на работу, Григорий Савельевич заглянул без всякого определённого повода в сельскохозяйственный отдел.

Никитиной на месте не было.

Он вошёл в кабинет, просмотрел почту, попросил помощника собрать завтра вечером актив и пошёл обедать.

В коридоре мимо него пробежала Маша. Он не удержался, остановил её, спросил первое, что пришло в голову:

— Как работается?

— Хорошо, Григорий Савельевич. Целый день ругаться приходится, — ответила она. — Сводки дают дутые. Пишут, что по состоянию на пятое, а включают то, что убрано на четвёртое.

— Почему вы так думаете?

— Я не думаю, а знаю. Без вас два раза в колхозе была. И в «Авангарде» была. Вот я вам объясню, почему это у них получается.

— Мне сейчас некогда, — остановил её Григорий Савельевич. — Сегодня по колхозам поеду, проверю, если времени хватит. Хотите... — он несколько замаялся, — поедете со мной.

— Конечно, хочу!

— Тогда собирайтесь! Часа через два отправимся.

Дома было всё попрежнему. Григорий Савельевич привёз Пете на костюм бортовку, но не стал даже вынимать её из портфеля; Петя уже щеголял в новой спортивной куртке со множеством карманов, в длинных брюках. и был в этом наряде похож на лилипута. Григорий Савельевич хотел было сказать, что костюм совсем не подходит мальчишке, но, увидев по упрямому, насторожённому лицу жены, что она догадывается о его недовольстве и готова к спору, вздохнул и смолчал.

А после обеда, когда Григорий Савельевич лежал на диване, прислушиваясь к тихому говору жены и капризным возражениям Пети, чувство одиночества вдруг охватило его. Он заснул, утомлённый с дороги, но и во сне это чувство не покидало его, и он встал с головной болью.

Маша ждала его в машине. Они быстро выехали из города, и мимо них по обе стороны потянулись серые поля и пашни. Кое-где убирали хлеб. Уныло поднимались и опускались грабли жаток; на склонах несколько женщин косили вручную. У зелёного вагончика виднелись неподвижные скучные комбайны. Стебли ржи, редкие и низкие, торчали, словно трава, почти не сгибаясь от тяжести колосьев. Убирать такую рожь комбайнами не имело смысла.

Шофёр часто останавливался у мостиков, чтобы долить в радиатор воды, но ручки пересохли. Оглядывая небогатые поля и прикидывая в уме, сколько удастся намолотить с гектара, Григорий Савельевич изредка посматривал в зеркальце, укреплённое впереди. Зеркальце было повернуто набок, и в нём виднелся остренький локоть Маши, доверчиво лежащий на спинке сиденья, совсем рядом с его плечом. Однако и этого розового локотка было достаточно для того, чтобы душа его начала наполняться смутным беспокойством и нежностью.

— Вот там, где эмтээсовский вагончик, начинается земля «Авангарда», — сказала Маша. — Вот бы мне где работать!

— А как же мама? — спросил Григорий Савельевич не оборачиваясь.

— Я бы по выходным бывала у мамы. Это ничего.

В «Авангард» приехали к вечеру. Жара заметно уменьшилась, стадо возвращалось домой. Машина с медлительностью пешехода виляла по широкой деревенской улице, объезжая бестолковых коров.

— Ершова в конторе сейчас не найти. Я знаю, — сказала Маша. — Надо у кого-нибудь узнать, где он. Остановите, я сбегая, узнаю у Ермолаевой.

— Это и есть Ермолаева? — спросил Григорий Савельевич, с любопытством глядя на высокую женщину, подошедшую к колодцу. — Откуда вы её знаете?

— Так, приходилось разговаривать. — Маша лукаво сморщила носик. — Сейчас я к ней сбегая.

— Нет, вы посидите. Я сам.

Он вышел из машины и остановился, пережидая, когда пройдёт стадо. Ермолаева уже собралась было опускать ведро, но, увидев Григория Савельевича, сделала рукой козырёк и бесцеремонно усталилась на него.

— Проснись, бабушка! — крикнула она пастуху. — Гони веселей. Видишь, людям дорогу не перейти.

Григорий Савельевич подошёл, поздоровался. «С какими разговорами ты пришёл, я понимаю, — прочёл он в смелых глазах Ермолаевой. — Если добром станешь говорить — пожалуйста, а если попрекать пришёл — отошью в одну минуту».

«А у Набокова-то губа не дура», — подумал Григорий Савельевич, оглядывая гордо посаженную голову Ермолаевой и русые косы, свисающие из-под платка двумя тяжёлыми кренделями.

— Что же вы бабушку обижаете? — спросил он с укоризной.

— Да разве это пастух? Позади стада ползёт. Хороший пастух, как полковник, — впереди идёт, а за ним коровушки.

Обдумывая, с чего начать деликатный разговор, Григорий Савельевич снял фуражку, отёр лоб.

— Вы только затем и пришли, чтобы про пастуха спросить? — сказала Ермолаева, прямо глядя на Григория Савельевича. — Знаю я, зачем вы ко мне пришли. Вы вот что ему скажите: чтобы он больше сюда не ездил. А про меня скажите, что больше ему возле меня делать нечего...

Она быстро отвернулась и загремела ведром. Григорий Савельевич облегчённо вздохнул и пошёл к машине, прислушиваясь, как за спиной его испуганным гусаком восклицает ворот колодца.

— Где Ершов? — спросила Маша, когда они тронулись.

— Вот ведь, забыл спросить! — Григорий Савельевич хлопнул себя по колену и оглянулся назад.

— Так и знала, что забудете. Выпустите меня, я в правление забегу.

Маша вышла, а Григорий Савельевич поехал разыскивать председателя колхоза. Ершов, агроном и секретарь колхозной партийной организации оказались на шестом поле. Они спорили с бригадиром трактористов по поводу сроков уборки, и Григорию Савельевичу пришлось ввязаться в этот спор. Потом говорили о решениях пленума обкома, о засухе, о Ермолаевой, о сводках. Со сводками действительно получился непорядок: сведения из дальних колхозов поступали поздно вечером, в районном отделе сельского хозяйства передвигали цифры на день вперёд, чтобы успеть к сроку с отчётностью, и таким образом занижали процент выполнения работ по уборке. Среди прочих дел Григорий Савельевич записал и это, попрощался и пошёл искать Машу.

Он увидел её у зелёного вагончика. Она разговаривала с комбайнером и хохотала после каждого его слова.

Молодой комбайнер сразу же не понравился Григорию Савельевичу — не понравился его громкий, на всё поле, смех, не понравилась и фуражка его, надетая набекрень, и вымазанный в мазуте комбинезон.

— Товарищ Никитина, пора ехать, — сказал Сухов официальным тоном.

— Ой, как бы мне хотелось работать здесь! — сказала Маша.

— Почему именно здесь? — спросил Григорий Савельевич, неприязненно покосившись на комбайнера.

— Просторно и весело.

— Ничего. Привыкнете, и у нас вам будет весело.

Работы кончились. Шум тракторов утих. Солнце словно остановилось, осторожно дотронувшись до горизонта, и на оранжевый круг его не больно было смотреть. Всё кругом замерло, отдыхая в утомлённой вечерней тишине.

Маша шла к машине по стёжке, протоптанной во ржи, и Григорий Савельевич видел, как колосья, тронутые тёплым, пахучим ветром, робко касаются её загорелых рук.

Он шагал вслед за Машей, отстав метров на десять и не спуская с неё глаз. И вдруг ему захотелось подойти и сказать, как он скучал по ней, пока находился в областном центре, как, вернувшись, сразу побежал в отдел, чтобы только взглянуть на неё.

«Что же это такое?» — растерянно подумал он и остановился.

Маша шла, освещённая бледным светом заката, и очертания её в вечерних сумерках делались всё более неясными, расплывчатыми.

Григорий Савельевич стоял встревоженный и удивлённый, и со стороны казалось, что он почувствовал приступ серьёзной, опасной болезни.

— Надо кончать с этим, — сказал он вслух. — Сейчас же домой — и кончать с этим.

Но тут же он успокоил себя рассуждением о том, что ничего не будет страшного, если он сядет не с шофёром, а рядом с Машей, на заднее сиденье, побеседует с ней, разберётся, что она за человек.

И впервые за много лет Григорий Савельевич предался смутным, пугливым мечтам.

Кто знает — может быть, эта девушка действительно считает его молодым и красивым. Может быть, она и есть то самое, чего ему так не хватало всё время.

• Ведь меняют же люди свою жизнь, если прежняя жизнь мешает им, понижает их работоспособность.

— Надо кончать с этим, — повторил он, подходя к машине, но сел всё-таки на заднее сиденье, рядом с Машей.

И как только он увидел её совсем близко, сердце его заколотилось, и он понял, что от разговора, из которого ей всё станет ясно, ему не удержаться.

— А у первомайцев наём как лежал в кучах, так и лежит, — сказал шофёр.

Григорий Савельевич вздрогнул и велел ехать домой.

Задевая фарой колосья, «Победа» мягко побежала по просёлку. Маша дремала, клоня голову всё ниже и ниже. Он покосился на девушку, одновременно радуясь и досадуя, что будничная фраза шофёра перебила его мысли, и осудил себя за то, что сел рядом с ней.

Но он хорошо понимал, что с нынешнего вечера жизнь его резко переменялась, и неожиданное пламя, которое ему с таким трудом удалось погасить, обязательно вспыхнет в его душе снова — через неделю, через месяц, — но вспыхнет...

Показались огни города. Григорий Савельевич завёз Машу домой и поехал на работу. Но, не доехав, он остановился у небольшого дома с освещёнными окнами и отпустил машину. Несмотря на поздний вечер, было сухо и душно.

Он поднялся на крыльцо и решительно направился к кабинету Набокова.

Набоков сидел за письменным столом, опустив голову.

— Переживаешь? — тихо спросил его Григорий Савельевич.

Набоков быстро встал, оправил гимнастёрку.

— Она просила передать, чтобы ты больше не ездил к ней.

— Я знаю, — ответил Набоков. — Она приезжала сюда. Кто-то надоумил её поговорить с женой. — Григорий Савельевич вспомнил лукавый взгляд Маши, когда они остановились у колодца, но смолчал. — «Как увидела, — говорит, — твоих ребятишек, так меня, — говорит, — будто кто ножом по сердцу...» Так что не придётся мой вопрос ставить на бюро...

Он пробовал улыбнуться, но улыбка не получилась. И Григорию Савельевичу показалось ужасно глупым, что он долгое время пытался образумить Набокова, употребляя слова «сигнал», «бюро» и называя любовь «вопросом». И тут же ему почему-то вспомнилось, как он требовал от жены, чтобы она сделала «соответствующие выводы».

— Трудно? — спросил Григорий Савельевич.

— Очень трудно...

— Я, может быть, лучше тебя понимаю, как это трудно. А всё-таки надо заново привыкать жить с семьёй... И вот что, — каким-то чужим голосом выговаривая каждое слово, продолжал Григорий Савельевич, — узнай в энтээс, не надо ли им работников по учёту. Если надо — переведи туда Никитину.

— Не справляется? — удивился Набоков.

— Да нет, сама просится. Ей по душе работа на природе. Надо помочь, — и закончил, облегчённо вздохнув: — Да ты садись.

Всю дорогу, возвращаясь домой, Григорий Савельевич думал о Маше. Ему представлялось, как завтра утром Набоков вызовет её к себе, предложит новое место работы, как она пожмёт плечами и весело проговорит, наверное: «Я так и знала — долго на одном месте мне не усидеть...» Он представлял её лицо с милым облезлым носом, слышал её быстрый говор, видел лукавую улыбку.

Дойдя до дома, он посмотрел на глубокое чёрное небо. Так же, как и восемь лет назад, его поразило обилие звёзд. Всё небо было засеяно крупными, сортовыми звёздами, зеленоватыми, красноватыми, лиловыми, и во многих местах мелкие звёздные пылинки сливались в светлые мерцающие пятна. Ночь была урожайная на звёзды.

Григорий Савельевич постоял несколько минут, запрокинув голову, и решительными шагами вошёл в комнаты.

Жена встретила его своим обычным испуганно-насторожённым взглядом.

Он погладил её по плотно зачёсанным волосам и неожиданно для самого себя проговорил с теплотой и грустью:

— Ну что ты так смотришь? Будем жить дальше, Нюра.

Она с изумлением посмотрела на него и вдруг, уронив голову на его руку, беззвучно заплакала.



---

ФЕДОР ГЛАДКОВ  
★  
ЛИХАЯ ГОДИНА

Повесть\*

XXV

**В** эти дни я иногда заходил к бабушке Анне. Я любил бабушку, а её небольшие и певучие стоны всегда манили меня, когда я вспоминал о ней. В этот период моего роста и познания жизни она представлялась мне иной, чем раньше. Мне было жалко её: добрая, ласковая, покорная деду, она никого не осуждала, всех оправдывала и только печально улыбалась.

— Уж больно люди-то мучаются. Всем трудно, всем горько, никому бог не посылает радости. Не привечает нас господь, а только наказывает. Терпите, мол, людие, страдайте, в болезнях, в гладе, в слезах испытания переносите...

Я не понимал этой божьей жестокости, возмущался и спрашивал:

— А зачем это нужно богу? Разве ему любо, что люди мучаются? Бог-то, верно, богатых любит, а не бедных.

Бабушка всплещивала руками и со страхом в лице стонала:

— Да чего это ты мелешь-то, богохульник? Вот бог-то разгневется да в огонь тебя и посадит. Он тебе, как барану, рога собьёт.

Но не выдерживала благочестивого тона и тряслась от смеха всем своим рыхлым телом.

— Хорошо, что дедушка не слышит, он тебе вихры-то надрал бы. На грех только наводишь, пострел.

А я смелел ещё больше:

— Да дедушка-то с богом — старики... Они только и хотят, чтобы все им в ноги кланялись да были бы тише воды, ниже травы.

— Ох, не вольничай ты, окаянный! Перестань! А то и я рядом с тобой под перстом богovým буду.

Я смеялся и утешал её:

— Тебе бога-то нечего бояться: ты сколь раз говорила, что с богородицей-заступницей по мытарствам ходишь. Вот баушка Паруша меня не страшает и сама не боится.

Бабушка Анна всю жизнь была рабой, и при «крепости» и сейчас, под тяжёлой властью деда. Она привыкла к этому безгласному рабству и считала, что баба и создана для того, чтобы быть покорной и кроткой слугой мужика и барина. Их власть — божье произволение. Вот почему она больно переживала развал семьи — уход отца, своевольство Сыгнея и призыв его в солдаты, а особенно непокорность Кати, которая сама выбрала себе жениха и не посчиталась с волей дедушки — владыки семьи. Одинокая, покинутая всеми, она садилась под образа и, низко склонившись и опираясь локтями о колени, застывала надолго и скорбно и едва слышно пела одно и то же:

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1 и 2 с. г.

По грехам нашим господь посылает  
Велику беду на нашу страну...

И начинала вопить про себя.

Я всегда чувствовал, что она нежно любит меня; когда я приходил к ней, она не отпускала меня от себя. А когда я долго не показывался, тосковала и молча плакала. Дедушка жил сам по себе и как будто не замечал её. Он бродил за гумнами по межам, или возился с Титом над сохой, бороной, сбруей, или лежал на печи. Отец с матерью не заходили к ним, словно речка навсегда отрезала нас от избы деда. Бабушка совсем не выходила из своего двора, и, хотя её тянуло проведать нас, ей не под силу было одолеть крутые спуски и подъёмы по слабости ног. Только изредка пробиралась она через задний двор к высокому глинистому обрыву над речкой и долго смотрела на нашу старенькую лачугу, вросшую в подошву горы. И, если выходила из избы мать, махала ей рукой.

Сёма жил тоже обособленно — бирючком. Он ненавидел Тита, а Тит враждебно оттеснял его от домашних работ или заставлял его делать самые грязные и тяжёлые дела. Но Сёма сам старался не попадаться ему на глаза и в глубине «выхода», в полумраке подземелья, строил какую-нибудь диковинную игрушку на продажу. Свои поделки он относил к Терентию, который часто ездил в город от старосты Пантелея — с воском или от Сергея Ивагина — с кожами и шерстью. Вся мелочь от продажи этих игрушек он отдавал деду.

Однажды, в прозрачный солнечный день осени, когда голубое небо кажется очень высоким и чистым оттого, что в безветренном воздухе плывут белые нити паутин, я после школьных занятий провожал бабушку Анну в низинку за пожарной, где речка круто поворачивала влево, подмывая обрывистый берег той стороны. Эта низинка широко расстилалась по излучине речки и тянулась далеко до проезжей дороги. Здесь среди блёклой травы густой зарослью кустился татарник, усыпанный цепкими репьями, седая полынь, шалфей, дикая мальва и конский щавель. Бабушка шла с мешочком в руке, чтобы нарвать красно-коричневых кистей щавеля для отвара, которым она поила деда и сама пила от какого-то недуга. Брела она тяжело, не поднимая ног и шаркая по мёртвой траве своими широконосными котами. Эти кисти рвал я, а она подставляла мешочек.

— Вот по этому взгорью и по низине этой при старых барах большой да распрекрасный сад был, — вспоминала она, оглядывая поляну и пологий спуск от школы и поповского дома. — А там вон, где бугры, да ямы, да рвы перед drankой, стояли барские хоромы со всякими постройками — амбарами, конюшнями, скотными сараями да людскими избами. А на месте луки нашей и всего нашего порядка густой лес шумел.

Она со стонами опустилась на траву и вытянула разбухшие ноги.

— Посижу, отдохну маленько. Ноги-то уж не носят меня. А ты походи, пособирай...

Но я тоже сел рядом с нею и ярко представил себе этот чудесный сад, где росли яблони, темнокрасные вишни... И все эти кудрявые деревья весной уряжались цветами, как хлопьями снега. А выше, перед барскими хоромами, земля тоже расцветала разными цветами, как будто с неба слетала радуга и расстилалась холстами.

— Полста годов уже минуло с тех пор, — говорила бабушка, покачиваясь, вздыхая и охая, но старческий её голос словно напевал сказанье или широкую песню о сказочной старине.

Она умела рассказывать, умела вложить в каждое слово и свою многострадальную думу и боль своего сердца. Я вспоминал, как она

рассказывала мне о пугачёвцах, о былинном богатыре — атамане Удалове, о подвижнике-старичке, который в моём воображении перевоплощался в народного героя. И далёкий бугор — Красный Мар, казачий сторожевой пост, — сам преображался в живую повесть о борьбе народной за свою свободу, а красная его земля — в нетленную народную кровь. Ни одно её слово не было пустым и лишним: она вкладывала в них всю свою душу, и они казались мне хорошо вытканной выкладью или простым, но тонким рисунком лицевой книги.

Скорбящая от бездолья, от голодной, бедственной жизни, она жила воспоминаниями о прошлом, о своей молодости. И хотя эта её молодость была молодостью рабы, бабушка Анна любила рассказывать о своих далёких днях и всегда вдохновлялась образами своей юности: лицо её светило тихой улыбкой, глаза молодели, а голос и речь её звучали не обычно, не по-домашнему, а напевно, складно, возвышенно, словно былину сказывала под задумчивый звон гуслей. И я всегда вспоминал, как она любовно говорила о своём родителе, который был знаменитым гусярём при барине и славился на всю округу. Должно быть, и молодость её расцветала под сладостные звуки отцовских гуслей.

— Я тоже ходила по этому саду и работала тут... — с мягкой и грустной улыбкой вспоминала она. — И за цветами ухаживала и поливала их, а цветы эти перед хоротами, как ковры дорогие, расстилались на солнышке. А кругом — зелёный рай, и птички райские пели и переливались неустаючи. Барыня-княгиня выходила, вся в шелках да кружевах, тоже как цветами уряженная, с дочкой, молоденькой красавицей.

Я постоянно держал в памяти загадочные намёки матери и Фени о какой-то необыкновенной и незабываемой беде, которая обрушилась на Парушу в девичестве.

Каким-то внутренним чутьём я угадал, что бабушка с охотой мне расскажет об этом, раз она начала вспоминать о своей молодости.

И я любопытствовал:

— А чего это, баушка, с Парушей-то стряслось в девках? Все говорят об этом, а не рассказывают.

Она не удивилась, а только обвела свежими глазами весь склон взгорья и улыбнулась сама себе.

— Потому и не рассказывают, что все знают.

— А я вот не знаю.

— Да тебе-то раненько, внучек, вникать в бабьи дела. Всякому овощу — своё время.

— Аль я мало чего знаю? — обиделся я. — Чай, я не слепой и не глухой. Вы, большие, и не догадываетесь, чего мы, парнишки, видим да на ум берём.

Она затряслась от беззвучного смеха рыхлыми плечами и раза два вскинула на меня ласковые глаза. Разглаживая опухшими пальцами свои колени, она привычно застонала, словно хотела на голос запричитать свои жалобы или безответные свои раздумья. Но я уже давно знал, что эти её певучие стоны и растроганная улыбочка в лице всегда обещали или душевную боль, похожую на песню, или предание старины, которое оживало в её напевных словах, как дорогая память о пережитом.

Вот и сейчас она как будто прислушивалась к себе и, плавно покачиваясь, печально запричитала:

— Люди-то жили в моё время не по своей воле, а по воле господской. Этим и свет держался, зато и крепость была и в миру и в семье. Оно ведь и в раю-то людям своя воля была заказана, и без воли божьей они и шагнуть и думать не могли. А ослушались, взыграло у них своеволье — и наказал их бог бездольем да трудом беспросветным на веки вечные. Вот и живём по божьему велению и по сии дни в бездолье, в

скорбях да в муках. И безземельем, и голодом, и мором наказывает бог нас, грешных.

— Да за что, баушка? — возмутился я. — Аль мы грешнее бар да кулаков? Они и богаты, у них и земля, у них и воля своя... Значит, Сергея Ивагина да толстуху Татьяну Стодневу аль Максима-кривого бог-то больше, что ли, любит?

— Так уж от века положено, внучек. Не нам судить волю божью.

Я думал, что она разгневется на мои слова, но мягкая, раздумчивая улыбка не угасала в её лице.

— Не ведаем, когда господь с судом своим сойдёт. Сейчас он терпит только. И нам, бедным да обездоленным, терпеть велит. А сколь много претерпели мы, крестьянский народ, — и сказать нет мочи. Сколь народу забито, замучено, смерти лютой предано! Сколь от глада и мора сгибло — тьмы тем. А вынесли, выстрадали, вытерпели... Такие богу любви, таким бог силу и разум дарует и невидимо помогает.

— А ты рассказывай, баушка. А то терпенье да терпенье... Про Парушу-то рассказывай!

Она плавно покачивалась с застывшей слабой улыбкой в оплывшем и дряблом лице и с прежней раздумчивостью смотрела в осеннюю мёртвую траву.

— Я и то рассказываю. Вот эта низинка перед нами — видишь, ровненькая какая! — была вся под водой: здесь пруд был, а плотина — во-он там, где дорога и брод через речку. Пруд-то большой был, как озеро, а по берегам лес шумел и тянулся до Варыпаевского бора. От него и берёзовая роща осталась. Старый барин, не тем будь побужен, зверь зверем был. И за дело и без дела мужиков и баб своих пытками терзал. Редкий день мертвецов не хоронили. А хоронить любил он сам и вместе с попом воспевал: «Плачу и рыдаю...» Жирненький был, маленький, лысенький и голосочек тоненький. Прохаживается, бывало, с дубинкой в руке, и не попадайся ему на глаза — забьёт этой своей дубинкой до полусметри. Молотит и смеётся. А лошадей и собак не бил — ласкал их, как младенцев. Барыня столичная была — по зимам в Москву уезжала, а летом в хоромах пряталась. Только дочка одна и усмиряла отца: прибежит к нему, когда дворового колотят, али влетит в пыточную и кричит: «Не смей!» Он петушком перед ней и наутёк. Страсть, как перед ней умалаялся и совестился! А сад-то развёл и чудо в нём творил дворовый наш Ромаша. Рослый был, кровь с молоком, умница, безбоязненный. И всё-то русую головку высоко держит — навстречь солнышку. И чего только в этом саду у него не было! И яблоки всяких пород, и груши, как ентарь, а тут вот, где сидим, по всей погости, виноград насадил, и гроздь на солнышке радугой переливались. На Волгу и на Дон барин с грамотами его своими отпускал за редкостями невиданными. Ещё с отрочества у него душа о райских деревьях да о цветах тосковала: и наяву и во сне в думах был об этой благости. Барыня в те поры в силе да в красоте жила. Приблизила она к себе Ромашу-то и всё-то забавлялась им: слушала, как он рассказывает ей о садах да о цветах — о красоте земной, радости человеческой, и сама, как ребёнок, радуется да смеётся. И тут же ему препоручает: разведи перед покоями моими цветы-ковры да кудрявые вишнёвые шатры. А он и рад — только и хлопочет, только и украшает весь вид у неё перед окнами. Он при дворе-то и грамогу познал и книги о древах да о цветах украдкой от барина читал. А ежели барин-то узнал бы, — до смерти бы забил: скотине грамоту знать не дано, а мужик для него — такая же скотина. Ну, Ромаша-то под крылом барыни был, забава для неё, как кукла живая. Задумала к французам ехать и пристала к ба-рицу:..поедем да поедем, а казачком себе Ромашу возьмём. Ну, и по-



ехали. Пожили там у французов с полгодика, а возвратились без Ромаши: барыня там отдала его в ученье по садовому делу. А тут к сердцу прикипела к нему девушка одна. На всё село девушка видная: ростом крупная, лицом приглядная и брови чёрные дугой, и строгость гордая в карих глазах, и волосы ниже пояса. Молвится в народе: поглядит — рублём подарит. И мощная была — под стать мужику: норовит кто-нибудь из парней поиграть с ней, а она швырнёт его — и летит он от неё кубарем. Потеха была — все смеются, а она хоть бы бровью повела. Любоваться на неё бары со стороны приезжали. Глядят на неё, как она за двоих, за троих на барщине работает, и дивуются: «Не девка, а богатырь! С ней лошадь не сладит. Ей только медведь — пара». А она, статная, ходит, как пава, и словно бы и бар этих не видит и разговор их не слышит. Лестно барину-то — он и хвалится: я эту девку с таким же богатырём случу. Куплю такого битюга и повенчаю их: богатырей пусть плодят.

— Да чего ты не называешь её, баушка? — подсказал я. — Это ведь она, Паруша.

— Ну, вот, — не отвечая мне, рассказывала бабушка. — Год проходит, другой идёт, а Ромаши нет как нет. Стали шабры сватать её, а она возьми да скитницей облеклась — во всё чёрное — и лицо под чёрным платком спрятала и повязала-то его не углом, а покрывалом — под монашій клобучок. У нас это одеянье заклетьем считалось: девушка богородице себя посвятила — подвиг на себя наложила, от замужества отрёклась. Тут уж и родители над ней не властны. А родители-то у ней были строгие в благочестии. И чудо было, они-то маленькие были ростом-то, а она словно не от них родилась. И когда она в скитское-то одеянье облеклась, тут и родители и сродники порешили: знать, девушка-то по божьему произволению от мира отрёклась. Больше к ней уж и не сватались.

— Барыня-то и дочка больше с гостями развлекались, — распевно говорила бабушка, — а барин с сыновьями-офицерами, когда они домой приезжали, на охоте пропадали, а то с собаками да с лошадьми возились. И недели не проходило, чтобы они кого-нибудь не пороли да не калечили. Вот в те поры и возвратился на барский двор Ромаша — чужой по облику: в сертучке, в шляпе, бритый-стриженный. Только кудри русые остались прежние. С барыней по-французски беседовал — она так приказала. Спрашивает его по-французски, и он отвечает по-французски, а ей лестно. Барину-то это не по нраву пришлось: как это так? Раб, крепостной, а в сертучке, как чужестранец, да ещё по-французски смеет разговаривать... Затопал он на него ногами и заорал: «На конюшню! Выпороть! Чтобы запомнил, кто он такой. Раб! Мужик! Содрать с него наряд французский!» А Ромаша стоит перед ним, как кипень, белый и голос подаёт: «Я такой же человек, как ты, барин, и духом слободный. Душу нельзя сделать рабой. Телом-то я к тебе крепостью привязанный, и в твоей власти даже убить меня. Ну, а человека ни плетями, ни заушеньем не убьёшь. Вот затерзаешь меня, лишишь жизни — и будешь только в убытке: и издержался на меня в чужой земле и искового садовника не будет». А барин совсем взбесился и с палкой своей на Ромашу-то. А тут и барыня с барышней вбежали. «Не смей!» — кричит барышня, а барыня приказывает: «Не позорь себя, отец, перед дочерью! А власть свою господскую нетрудно над беззащитным крепостным показать. Ромаша — не твой, а мой крепостной, и не ты, а я распоряжаться буду». И так барина сразила, что он выбежал из горницы. А барыня села и начала с Ромашей по-французски разговаривать. И дочка-барышня глазки на него таращит, как на диво-дивное: как это раб вольную личность возымел и стоит перед ней с матерью в сертучке

да с нарядным платком на шее. В те поры барыня-то над барином власть имела: он души в ней не чаял да именье-то её в приданое за ней пошло.

Так Ромаша с того дня и начал сад разводить. Снял сертучок и оделся в свою мужицкую одежду. А в хоромы по зову барыни опять-таки в сертучке заявлялся, и она с ним потешалась разговором по-французски. До смерти барин возненавидел его и всё топал ногами, палкой своей махал и грозил ему всякими пытками. И замучил бы его, ежели бы не барыня с дочкой. И чего только Ромаша не развёл в саду: и яблони, и сливы, и груши, а с собой привёз чужестранные хрухты, коих у нас сроду не было. Сперва в стеклянном вертепе растил, а потом стал причать к воздуху.

Через барыню он и девушку свою приспособил, во всём она ему верной помощницей была. И вместо черницы в сад пришла крепкая, ладная невеста, вся светлая, словно маковым цветом увитая. И все мужики, бабы, которые в саду с ними трудились, как будто в другом царстве жили через барыню: перед барином он, Ромаша-то, всем хранителем был и защитником от бед и обид.

И вот одноза в осенний денёк, когда сад уже опал и полымем пылал, входит он к барыне и вносит ей на подносе гроздья спелого винограду, с яблоками белого наливу, с грушами воску ярого. И так он её обневедал да ублажил, да ещё французскими словами разнежил, что она вместе с барышней, коя уж цветком распустилась — заневестилась, — обласкала его и сгоряча спросила: «Чем мне тебя, Роман, вознаградить? Ты чудеса творишь: рай нам на земле создал. Проси, чего тебе надо, — всё сделаю. Ты ведь у нас не простой крепостной, а человеком стал — лучше любого дворянского сынка, который только куролесит да над людьми издевается». Тут Роман-то и упали перед ней на колени и признался ей: «Такую-то, мол, девушку люблю — и люблю-то давно. Окажи, мол, княжескую милость жениться на ней. Я, мол, жизни не пожалую — ещё больше невиданных чудес сотворю и на тебя буду век, как на святую, молиться». А барышня затанцевала, закричала: «Беспрременно, мамочка, надо их обвенчать! Дай им согласие и благослови их!» Барыня приказала девушку привести. А поглядела на неё да вспомнила, как барин хвастался перед гостями, что случит её с мужиком-богатырём, — задумалась и брови сдвинула. «Я, — бает, — хорошую пару вижу и согласие своё даю. Да только с барином надо сговориться». Тут оба они — и Ромаша и Паруша — в ноги ей упали и со слезами её благодарили. А она им: «Рано, рано благодарите. Барин-то ведь гневливый да не сговорчивый». И барышня любитесь на них и ножкой топает: «Я, мамынька, заставлю его согласиться». А барынька покачивает головкой, и личико её печальное. «Идите, — бает, — к себе, я подумаю, как быть, а потом позову вас». Идут они оба по саду, Ромаша радуется, словно парнишка, прыгает, а Паруша-то строгая да угрюмая стала. «Я верная тебе в любви останусь до гроба, Ромаша, хоть нас и разлучат. Нас с тобой бог соединил, а барин спроть бога восстанет и муками, терзаньями нас разлучит». Он её и так и сяк уговаривает и утешает, а она одно твердит: «Беда на нас свалилась, Ромаша, раздавит нас беда. И не себя мне жалко, а тебя, богом мне данный суженый. Беги отсюда на край света, барин-то тебя давно уж норовит сгубить. Сейчас и барыне с барышней не сдобровать». И верно, грянула буря и всё в прах обратила.

Бабушка умолкла, и глаза у неё потонули в слезах. Не переставая плавно покачиваться, она молитвенно положила ладонь на грудь и вся ушла в себя: должно быть, все страдные события, о которых рассказывала она, переживались заново, и они даже сейчас, спустя полвека, потрясали её. Я сам был взволнован её печальной повестью и тоже мол-

чал, уже зная, что на Ромашу и Парушу обрушилась страшная казнь. Но я верил, что оба они — и Ромаша и Паруша — выдержат все муки и испытания, что любовь их, как чудотворная сила, победит зверя.

— Тогда власть да воля барина всевидяща и вездесуща была: мы, рабы подневольные, знали только муки да казни. Хоть и сейчас палачей много, а барского самовластья уж нет. Ну, а над живой душой да сердцем и тогда баре не властвовали. И вот Ромаша-то вдвойне страдал: он и ум свой просветил, он же, светлый человек, и неволю рабью, пытки, юдоль эту плачевную повинен был вынести! Мало что духа не угасил, а других людей опалил. Барыня-то раньше укрощала зверство барина, а дочка, хоть и молоденькая, нраву его препятствовала: зверь-зверь, а души в них не чаял. То ли барыня самодуру под дурную руку попала, то ли издавна ярился в нём бес против неё, только забушевал он, дубинкой своей на неё замахал, когда она ему про Ромашу с Парушей сказала: давно, мол, они друг дружку любят, надо, мол, их соединить. Уж за одно то, что он райский сад вырастил, как мастер великий, надо его обласкать — на брак благословить. Любовь-то, мол, у него с девушкой — душевная да благодатная. Чего там у них случилось — неведомо, только барыня-то за смертью упала. А дочку он за дверь вышвырнул и приказал запереть её в светличке наверху.

А потом приволокли Ромашу два палача. Он помертвел весь и белый стал с лица, как холст. И то одного, то другого от себя отталкивает. А барин сидит в кресле с длинной трубкой и от яры потом исходит, и вся грудь наружи. «Ну, чудодей мой садовый, значит у тебя и Парушки-кобылы — любовь? Так ли?» — «Так, барин, истинно — любовь. А она не лошадь, а человек, и у неё распрекрасная душа». Сидит барин, сосёт из своей дубинной трубки и млеет-потешается, голубем воркует: «А что это такое за любовь у смердов? Поведай мне, раб». Ромаша сразу постиг свою несчастную судьбу и стал твёрже камня — и так и этак страсти ему уготованы. «Перед богом, — говорит, — нет ни бар, ни рабов, а есть люди. А любовь — божья искра, и горит она в душе человеческой». — «Это не французы ли тебя заразили? Они — отпетые крамольники и разбойники: они и царю своему голову сняли, владык своих, как наши пугачи, убивали да из своих исконных угодий прогоняли. Вот и ты из шкуры своей рабьей во французский сертучишко залез да барыню с барышней французской болтовней в соблазн ввёл. Из грязи хотел пролезть в князи. А пугачам пощады нет. Ты же со своей негасимой искрой вводишь в соблазн и всех моих рабов. Тут эта садовая девка, а тут и все мужики бунт поднимают: мы — человеки, у нас искра в душе... Вот я и хочу эту твою искру негасимую погасить: у раба нет своей воли, любовь — у людей, а не у скотов бывает. А вы у меня — не люди, а рабочая скотина, ну и искру-то эту, любовь-то, ты с девкой из барского обихода украл. Любовь — это власть, барская воля, господское довольство». Поворковал барин, поворковал да как гаркнет: «В кнуты его и на дыбу! Увижу, какая негасимая у него искра. А девку отдать дохлomu мужичонке! Сад вырубить, выкорчевать, чтобы не смердил этим смердом».

Уволокли Ромашу и предали великим мукам. Сам барин и сечение и пытки проводил. Сидит в кресле и вино попивает. И всё-то голубем воркует: «Ну, как твоя негасимая искра? Вот повисишь на дыбе да выхлещут твоё вонючее мясо с костей — и запросишь пاردону, тут и неугасимая любовь пшикнет, как уголёк в грязь». А Ромаша, великомученик, за смертью лежит, весь в крови, а голос подаёт внятно: «Искра-то у меня в душе полымем пылает, и любовь моя проклиная тебя, изверг, палач. Любовь — со мной: она от мук моих пуще разгорается и сожжёт

тебя и всё твоё людоедкое сословие. И за лютые мои страдания народ отомстит».

А барин-то попивает вино да смеётся... Потешно ему и от стонов и от этих страдных да гневных слов Ромаша. «Зарыть его в могилу на ночь до самого рыла! А утром я приду да полюбуюсь, как он от своей искры пылать будет. Только услышу я иль покорную мольбу помиловать его, иль хрюканье свиное вместо дурацкой искры, иль одну падаль рабью».

И унесли Ромашу чуть живого, растерзанного вот на это самое место и закопали его в яму по шею. Девушку остригли, надели на неё хомут и заставили тащить соху, а за соху поставили самого лядского мужика. Кнут всучили ему в руку и приказали нещадно хлестать девушку, ежели сна не осилит борозды. А борозду она должна была пропахать от барского дома до избёнки мужика. Мужичок-то был добрый да смиренный, плачет он, хлещет её и бормочет: «Прости меня, Парушенька, Христа ради. Не я быю — барин бьёт». И в тот же день вырубили весь сад, и не осталось там ни деревца, ни кустика — всё стало голо, только ометы этих деревьев да кустов дымили дня два.

Я не утерпел, вскочил на колени и крикнул с судорогами в горле:

— Чего барин-то с ним сделал? Аль, должно, задохнулся он в этой яме-то?..

— Да ты чего это расстроился-то, милый? — встревожилась бабушка и вскинула на меня слёзные глаза. — Радоваться надо, а не скорбеть. Вот на этом самом месте со смертью боролся он... Нет, внучек, не задохнулся, не умер он, а вознёсся...

— Да, да... — волновался я. — Покорпи-ка в этой яме, закопанный до горла да ещё чуть живой!.. Как это — вознёсся?

— Так вот и вознёсся. Пришёл барин утречком-то, смотрит, а головы Ромаша нет и даже следа от ямы нет. А тут всяческую ночь стукальщик ходил с собакой. Он — в ноги барину и со страху дрожит и в словах путается. Барин — с палкой на него: «Прокараулил, продрыхал, негодяй, такой-сякой!.. Вот я тебя закопаю на место беглого...» Стонет стукальщик и одно долбит: «Ангели слетели с небеси, барин, в белых одеяниях... И легче лёгкого взяли его, Ромашу-то, и вознесли... И ноги, и руки, и язык у меня отнялись, и ничего я не взвидел. А тут и собака куда-то сгиннула...» Распотешился над ним барин — до полусмерти дубинкой своей избил его и рёв поднял на весь свой двор. Сбежались все дворовые, своры псов спустили, всё село всполошили: найти Ромашу, где бы его ни спрятали... Каждую избу, каждое гумно перевернули. И собаки везде всё вынюхали — и никаких следов не нашли. И словно чудо совершилось: собаки-то, как нарочно, избёнку мужичишки, с коим Парушу-то повенчали, сбега́ли, а барин даже побрезговал заглянуть в худодырый дворишко. Только встретил его на коленях нищий-нищим этот мужичонко-то, тычет лбом в землю, а рядом с ним и молодуха на коленях стоит и голову низко опустила, слезами заливаётся. Тычет палкой перед ними барин и рычит: «Вот твоя любовь на всю жизнь. Плюнул я на хамскую искру и — нет её! А смерда этого я на кресте распну аль собаками затравлю...» Много тогда народу пострадало! Стариков даже не щадил этот изверг — пороли всё село из конца в конец. И опять — чудо: ни мужичонки, ни молодухи и пальцем не тронули, словно бы они оглашенные были. А Ромаша так и растаял без следа и без ответа. Барыня с этих пор будто ума лишилась — из хором не выходила, а как только барин появлялся перед ней, она замертво падала.

— А кто же спас Ромашу-то, баушка?

Она просто и спокойно ответила:

— Как кто? Чай, сама Паруша. С мужнишком своим невольным вызволила его и отходила.

— А зачем это белое одеянье-то?

— Аль не догадался, цвет маковый? Случись тут стужальщик аль палачи — они бы памяти лишились. Это так же, как ангелы у христового гроба воинов поразили...

— Ну, а потом? Куда он делся-то?

— В безвестности. Ведь мы передавали опальных-то по людям нашей веры с рук на руки. Так он смог уйти на край света. Любовь человеческая не сгорает, как неопалимая купина. Такому человеку, как Ромаша, все пути-дороги были открыты к вольности. Ну, пойдём посбираем и богородской травки и полыни горькой...

### XXVI

Студент Антон Макарыч лечил больных до осенних холодов и дождей. В серой тужурочке, в сапогах, с маленьким чемоданчиком в руке, он шагал по улице бойко, легко и как-то весело, словно знал, что в каждой избе встретят его приветливо и благодарно: ведь он в голодное холерное лето исцелил и поднял на ноги не одну мою мать, но и бабушку Анну, и Сёму, которого чуть не сожгла горячка, и многих мужиков и баб. Он стал своим человеком в селе и не забывал звать каждого по имени-отчеству. Жил он попрежнему при барском дворе, учил барских ребятишек, но каждый день ходил по избам, где лежали хворые. Холеру он выгнал из села, но от голода люди долго ещё валялись в тифу и мучились животами. И позднее — в дождь, в грязь, под студёным ветром — он так же охотно шагал по селу, размахивая своим чемоданчиком и не замечая ни грязи, ни секущего дождя, хотя с картуза стекали на его русую бородку струйки воды, а шинель становилась тяжёлой и лубяной. И если встречал кого-нибудь на улице или у избы, весело покрикивал:

— Здорово живёшь, Поликарпыч! Всё ли благополучно в семье-то? Зайду на обратном пути покалякать.

Хотя он и не принимал участия в летних событиях, но встречался с вожакими в сонную пору за селом, как мне самому доводилось видеть это. Поговаривали, что он и молодого Измайлова уговаривал раздать часть хлеба из барских закромов, чтобы спасти крестьян от голодной смерти. Ходил он часто пешком и в Ключи, к Ермолаевым, у которых сдружился с горбатеньким братом Михаила Сергеевича — мировым судьёй — и вместе с ним добился, чтобы Ермолаев выделил из своих запасов хлеб для беднейших мужиков.

Когда приехала учительница, Антон сразу же зачастил к ней. Оказалось, что они раньше были дружны и встречались, как жених и невеста.

Спускаясь с барской горы в село, он иногда заходил к нам — проведать мать. Так он не забывал проведывать всех, кого вылечил, и считал их своей «роднёй». Входил он к нам в избушку неожиданно, как-то попарнишечьи вспрыгивая из сеней на высокий порог и низко наклоняясь, чтобы не удариться головою о притолоку. И с порога же кричал:

— Вижу, вижу, Настя, — жива, здорова! Вот и хорошо, и я доволен.

Мать с радостным испугом бросалась к нему навстречу и певуче причитала:

— А, батюшки! Гость-то какой дорогой да желанный!

Он мгновенно ставил на лавку свой чемоданчик, бросал рядом с ним картуз и, схватывая руки матери, с улыбкой всматривался ей в лицо.

— Ну как же мне не радоваться, если я встречаюсь с человеком, которого я вырвал у смерти? В каждой избе встречают меня близкие люди. В Моревке хотели меня самосудом растерзать. Да и здесь колья готовили. А сейчас и там и здесь я — как в родной семье.

Мать расцветала перед ним и с трепетным счастьем в глазах лепетала сквозь слёзы:

— Ты меня, Антон Макарыч, из мёртвых воскресил, себя не жалел. А смерть-то ведь и тебе косою грозила.

— Смерть-то бежит от меня, как чёрт от ладана. На то я и врач, чтоб с недугами да со смертью бороться. А когда ты вот родилась заново при моей помощи, меня уже не забудешь.

— Не то ли что не забуду, Антон Макарыч, а никогда ты в душе не угаснешь.

— Ну, как же мне не радоваться, Настя? У меня уйма близких людей! И чем ни больше их копится, тем легче жить.

Он и меня не забывал, похлопывал по плечу и ободрял:

— Учись, милоч, и не унывай! Счастье добывается с бою.

Мать не отрывала сияющих глаз от лица Антона Макарыча и очень хорошо, легко, задушевно говорила ему поющим голосом:

— Дай господь тебе счастья да неугасимой любви с Олёнушкой, Антон Макарыч. Без любви, без радости жизнь-то — неволя.

Он запросто, по-родному, целовал её и уходил, как добрый молодец в сказке.

И я верил, что и у нас, и в Моревке, и в Ключах он был всем — родня. А сколько детишек теперь играет на улице! Без его лечения, наставления и ухода они лежали бы в могилках.

Каждый день по вечерам он приходил к Елене Григорьевне и просиживал у неё до поздней ночи. А то оба они засиживались у Кости, которому он лечил сломанную руку и большую грудь. Рука так и осталась у Кости искалеченной, и от чахотки он не вылечился, но зато опять повеселел, стал выходить по праздникам к парням и молодым мужикам, которые собирались на горке, у амбаров, где обычно хороводились и девки с молодухами. Так же, как и раньше, он первый запевал песни, хотя голос у него уже был не прежний, а глухой и слабый, с одышкой. К нему относились уважительно, словно боялись толкнуть его и повредить руку. А сам он не прочь был и поллясать под гармошку. Но чаще всего мужики и взрослые парни садились вокруг него на блёккую осеннюю траву и спрашивали о том, как его и Тихона с Олёхой, с Исаем и Гордеем терзали в стане, в арестантском узилище, как всех, связанных верёвками, забитых до крови, грузили на телеги, как вызволяла его Феня и как волочили его, едва живого, на допросы к становому. Может быть, потому, что Костя не был приписан к нашему селу и считался посторонним, а может быть, и потому, что злобу свою становой сорвал и на Фене, — и ей досталось от его нагайки, — он, Костя, был выброшен из узилища ей на руки, и она привезла его домой на попутных подводах. Но рассказывал он про себя без жалобы, без злой обиды, словно о ком-то другом, и это так действовало на мужиков, что они даже вскакивали от мстительной ярости или били кулаками по траве. Когда же он любовно говорил о Тихоне, как он и в стане отбивался от полицейских и они отлетали от него кубарем, все хохотали, размахивали руками, а те, кто был погорячее, вскакивали на колени и ликовали:

— Ух, молодчина какой! Ну и боевой мужик!

А кое-кто вздыхал горестно:

— Олёху вот жалко... Пропадёт парень... Больно уж бешеный... Себя забывает и к себе безжалостный.

— Сиротой рос... Кто его жалел? Ну, и ему жалеть себя нечего... И терять нечего...

В такие вечера приходил иногда вместе с конторщиком, гармонистом Гороховым, и Антон Макарыч. Приходил он как будто так — для развлечения, от нечего делать, но мужики и парни тесно обступали его и забра-

сывали вопросами. Горохов отходил к девочкам и молодым и звонко рассыпал там плясовые трели. И мы с Кузьяром уж знали, что Горохов нарочно наигрывал в хороводе, чтобы Антон Макарыч под шумок поговорил с мужиками. Мужики обычно прегоняли нас, но мы ухитрились незаметно подкрадываться к ним в то время, когда они вовлекались в разговор с Антоном Макарычем. Чаще всего они просили его хлопотать перед барами, чтобы они оправдали Тихона с товарищами и всех ключёвских мужиков: ведь сам же Измайлов и сам Ермолаев открыли свои амбары и роздали хлеб мужикам. Антон Макарыч шутил:

— Сами-то сами, да кто их заставил сесть не в свои сани?.. По своей доброй воле они вам ни зерна бы не дали.

И серьёзно обещал:

— Хлопочем, хлопочем... Мы с молодым Дмитрием Дмитричем уже толкуем с горбатеньким — с мировым судьёй... Он нас обнадёживает.

И упрекал их с насмешечкой:

— Эх вы... мужики, мужики!.. Недаром говорится: что ни село, то своё прясло. Сговору у вас нет. А надо драться не селом, а уездом да целой губернией... Всегда вас будут бить и по одному вязать... Ну, и пороть каждого...

Мужики соглашались:

— Да чёрт ли... Разве сговоришься... Сын с отцом, брат с братом не сговариваются, а шабры-то — за плетнями. К тому идёт, что Ивагин со Стодневым разоряют гнилые плетни-то... Вон Ивагин и избы ломает... Не будет гнезда, не за что будет ухватиться — народ и полезет на рожон.

Однажды меня подхватил под руку Горохов и сказал по секрету:

— Маша письмо прислала. Она — на Кавказе. Зовёт меня к себе. Вам кланяется. Плохо ей приходится без паспорта... Ну, да я ей достал у одной вдовы... Скажи об этом матери — пускай не тревожится...

Но мать и не тревожилась. Она только вздохнула и позавидовала Маше:

— Счастливая-то она какая!

Хотя я с отцом и матерью «смешался» с «мирскими», не «очистился» и не «примирился» с «правовой общиной», то есть не молился по листовке и не исповедовался у смердящего старичишки-настоятеля, — всё же иногда я захаживал в моленную, которая ютилась в пустой старенькой избе Серёги Каляганова, захваченной Митрием Стодневым. Он благочестиво уступил её под моленную, но наложил на прихожан «натуру» — вносить ему каждую осень по гарнцу ржи «с дыма». Меня тянуло в моленную — петь «ирмосы» и «кондаки». Я и раньше с удовольствием пел эти «стихиры», истово простаивая на лавке около наложья целые часы. Напевы эти на разные «гласы» мне очень нравились, особенно на «второй» и «осьмый». Меня, как «отрока», допускали до наложья, «прощая мою нечистоту» за «звонкий, ангельский» голосок. Кузьяр и Сёма не пели: у них голосишки были «неправедные» — фальшивые, — да и охоты у них не было к «песнопению», а ходили они на «стояние» по обычаю, для порядка. У наложья по обыкновению стоял Тит и гнусаво читал псалтырь. Он первый запевал ирмосы сильным и противным от насморка голосом.

Но не только потребность к пению влекла меня в моленную. Мы с Кузьяром задолго до «часов» — до обедни — прибегали слушать так называемую «беседу» — чтение поучений и толкование их Яковом и его спор с некоторыми стариками, застывшими в своих древних «уставах» и, как дедушка Фома, не терпевшими «борзых» и «лукавых» мыслей. И мы ликовали с Кузьяром, когда Яков «резал» этих стариков текстами из поучений.

Иногда мы с матерью наведывались к Кате. В избе чувствовалась только она: старик лежал на печи, а старуха, глухая, сморщенная, без-

гласная, обычно сидела в уголке и разбирала мочки кудели или вязала крючком варежки. А однажды она возилась с холщовым полотнищем, трудно вставала, прикладывала его к груди, примеряя на свой рост, и скрипучим, дряхлым голоском напевала что-то похожее на вопление. Катя с усмешкой пояснила:

— Саван себе готовит — умирать собралась.

И каждый раз я заставлял Якова за столом, в переднем углу, над толстой книгой с разноцветными закладками.

Очень ярко остался в памяти один из таких дней, когда Яков показался мне не обычным мужиком, а вдохновенным, гневным пророком. Склонившись над книгой, он укоризненно качал головой и бормотал что-то. Катя, посмеиваясь, крикнула:

— Аль не видишь? Гости пришли. Беда мне с ним, только и роется в этих книгах, как кочет в сору.

Он быстро вылез из-за стола и очень приветливо встретил нас. Как разбитной хозяин, он распорядился гостеприимно:

— Катерина, Катёна, самовар ставь! Надо попотчевать дорогих гостенёчков. Садись, Настасья Михайловна, с сыночком-то. Уж больно редко нас наведываешь.

А Катя притворно-сердито вскинула голову и с задорным лицом осадила его:

— Ну, рассыпался бисером, говорун! Рад случаю поегозить.

Мать — малорослая — обняла большую Катю, пылко отказалась от чая и скороговоркой попросила её не беспокоить Якова.

— Мы и у себя чаёвничаем утром и вечером. А я к вам покалякать, посоветоваться пришла.— И, подталкивая Катю к чулану, похвалила её: — Чистота-то какая у вас, Катя! И дух хороший. Страсть люблю чистоплотных людей!

Катя, польщённая, посмеивалась:

— Чай, у тебя заразу эту и подхватила. Помнишь, как ты полы у матушки-то да у батюшки скребла да окошки протирала, да всё с песенкой, с причитаниями? А тятенька с Титкой нарочно грязизищу на ногах приносили. Мамка-то хоть и гневалась, а сказать боялась. Только Паруша тятеньку нестрашно обличала да совестила. Ну, мне всё это впрок и пошло.

Яков чванился перед нами:

— У меня Катёна, как краля в хоромах,— всё на ней держится, всем повелевает и даже меня волчком вертит. А я гляжу на неё да радуюсь: и жена — не рожа, и работница — гожа, и хозяйка — дорогого дороже.

И, подмигивая матери, шутил, как счастливчик:

— И уж в ум себе не возьму, кто на ком женился — не то я на ней, не то она на мне...

Катя бесцеремонно отшучивалась:

— Ты на мне — во сне, а я на тебе — наяву.

Мать смеялась, любуясь ими обоими, и завистливо восхищалась:

— Люди-то вы какие оба радостные!

Яков, в чистой рубашке, подбористый, хвалился Катей:

— Это вот в ней вся сила. Она меня будто в купели выкупала и живой водой напоила. Тётушка Паруша приходит — не нарадуется. «Без разумной,— говорит,— да без властной хозяйки дом — сирота, а то и содом. Тебе, Яков, Катя-то, как жар-цвет в Иванову ночь, досталась и счастье принесла. Молодость,— говорит,— у меня была лихая, любовь — на кресте распятая». Она ко мне приходит чтение да толкование моё послушать. Оно и раньше к печати да к книгам у меня соблазн был, да под спудом держался, а тепереча я, словно на крыльях, поднялся.



— Ну, иди, иди, говорун, докапывайся там до вещего слова в книгах своих,— прикрикнула на него Катя,— а мы с невесткой тут в чулане пошепчемся. И Федянку под своё крылышко возьми, он ведь тоже книжками-то, как перьями, оброс.

Она подхватила мать под руку, и они скрылись в чулане, да ещё и затворили за собой дверь.

— Верно, пойдём-ка, чтец, почитаем да потолкуем. Тут, в наших всяких толковниках, нашёл я такие словеса, которые наши начётчики да вороги-настоятели скрывали от тёмных людей. А правду-истину не спрятать — она и из гнуса и лжи дымком да огоньком проявится. А книги разные бывают: одни лже и кривде служат, другие — свет правды в строчках своих нетленно несут. Ну, а в этих вот толстых книгах, в поученьях святых отец, в словах мудрости всяких наставников правда-то засыпана, завалена навозом лжи да обмана, чтобы одурачить народ ради маммоны да власти над человеком. Вот и выходит, что правду-то надо искать да выкапывать.

Прежний парень, молчаливый Яшка, неуклюжий, лишний среди деревенских парней, мерещился мне недоумком, которого совсем не замечали ни девки, ни женихи, а подчас и потешались над ним в хороводах. Я вспоминал, какой он был смешной в троицын день, когда молодёжь ходила в берёзовую рощу завивать венки, и как мы с Кузярём, взобравшись на берёзу, испугали его с Катей. Но сейчас передо мной был другой человек: разбитной, смелый в спорах, сильный в своих мыслях.

Он посадил меня около себя, отодвинул толстую книгу и выдернул из кипы таких же толстых книг в деревянных переплётах с металлическими застёжками небольшую старую книгу в покоробленном толстокартонном переплёте. Он бережно раскрыл её на первой странице и прочёл: «Цветник». Книга была написана славянскими буквами от руки каким-то, должно быть, подвижником, который избрал этот труд как праведное дело. Начальная страница была изукрашена тонкой кружевной вязью, а первая буква текста, такая же причудливая, похожа была на резной налечник. Видно было, что писец работал с увлечением и умельством, как вдохновенный художник.

— Книга эта, Федя, написана в годину бед — в годину нашествия двенадцати языков, — восемьдесят годов назад. И первое слово в ней — об антихристе. Это — для народа антихрист, а для управителей — бар и богатеев — друг и союзник. Кровь русская, мужицкая наша кровь, лилась рекой.

Я не выдержал и уточнил:

— Это французы. Лермонтов даже песню сочинил — «Бородино».

— Так вот, — перебил меня Яков, — чего же в этой книге написано? Цветник-то цветник, да цветы-то назьмом завалены, а на назьме — поганные грибы. Попы да монаси-мздоимцы назём свой крестом да кадилом осеяли и выдавали за благодать. А такие простецы да лежковеры, как этот писец, сами сослепу служили антихристу. И наша община и церковь только на этом лежковерии и держатся. А кто всем командует? У нас — Митрий Стоднев, у церковников — поп да Сергей Ивагин, староста Пантелей с Максимом-кривым, да с сотскими, да с урядниками, а над ними и с ними — баре. И всё-таки, как ни заваливают сором да блевотиной своей слово истины, оно нетленно: раскопают эти кучи тлена и мерзости, оно и вспыхнет и засияет, как звёздочка. А найти его да понять что к чему — страсть как трудно. Слово истины искать надо, Федя, всю жизнь искать, оно — в плену у фарисеев и мздоимцев. Читай-ка вот это зачалю!

Он открыл по закладке книгу в середине и ткнул пальцем в красную букву. Листы книги были жёлтые, словно восковые, а строки вьедались в бумагу жирно. И эти крупные буквы, похожие на древних старух в молен-

ной, и сердитые слова с титлами, как беззубые старики, всегда тревожили и угнетали меня непонятной мёртвой речью, в которой, как в колдовских заклинаниях, таилось что-то опасное, угнетающее.

— «Благообразен много, зело строен,— читал я с запинками,— тих во всем. Со гневом не речет и не явися уныл, но всегда весел и всяцем образом учения прельстит весь мир».

— Стоп! — оборвал меня Яков и прикрыл ладонью страницу.— Понял, что прочитал? Узнаёшь тех, про кого написано?

От этой тарабарщины я сразу отупел и на вопрос Якова не ответил. Но он как будто не заметил моего трудного молчания и с живостью человека, который раскрыл смысл этой невнятицы и увидел за нею живых, знакомых людей, огорошил меня:

— Это же, милый человек, Митрий Стоднев: «благообразен, зело строен, тих...» Ну, и про попа тоже. Какая же ихняя власть? Читай об этом вот тут.

Он перевернул несколько листов и опять ткнул пальцем в строки. Лицо его в молодой бородке лукаво улыбалось, словно в этом месте книги была уготована мне поразительная неожиданность. Я опять читал, с трудом разбирая неслыханные слова, запинаясь и изредка коверкая текст:

— «...Глади и труси, смятение людем на земли. Небо не дает дождя, и земля уже паки не дает жита. Увянет доброта лица, всякие плоти будут яко мертвы. На путех — трупия, на цестах — смрад и в домех — смрад, на цестах — алчба и жажда. Цеста же — путь наречется: на путех — горе, и в домех — горе. Тогда кто каждо друг друга с плачем сретае».

— Вот! — опять прервал меня Яков, обличительно указывая пальцами на окно. — Это было у нас летом? Было и будет. Голод, болезни, холера, смерть — «трупия на путех и в домех». Антихристы говорят: за грехи — кара господня. За чьи грехи? За грехи неимущих? А почему за все смертные грехи нет наказания Стодневым да Ивагиным? С большой головы на здоровую, братцы! Видишь, вот тут в конце сказано: всё это — «область скверного владычества антихриста». А они и есть антихристы. Не забывай, что читал. Гляди!

Он подскокил ко мне с лихорадочной торопливостью, искал закладку и открыл дальше, в конце книги. Он распалился и, как горячий спорщик, напористо доказывал свою правду, извлекая её из творений тех же «святых отец», которыми пользовался, чтобы убедить прихожан в другой правде, красноречив Митрий Стоднев. Глаза у Якова блестели, на скулах вспыхнули красные пятна, даже руки дрожали у него от возбуждения и от протестующего гнева против нечестивых беззаконников и лицемеров. Он уже забыл обо мне, как о парнишке, а смотрел на меня, как на своего противника или как на человека, который обманут антихристом. Мне было и неприятно от его вдохновенных наскоков и занятно наблюдать, как он обличает фарисеев и мерзких владык в смертных грехах против обездоленных ими людей.

— Гляди! Читай и думай. Бери, как оно написано, а не толкуй на свой лад — криво и лживо. Читай!

Но он сам стал читать с злорадным нетерпением:

— «Воздохнут и вострепещут царии земстии, и князи велицы, и воеводы, и весь сан богатых, елико их есть притязание много имете на земле неправдою...» А дальше что? Тут уж прямо не в бровь, а в глаз: «И горе будет властелинам неправедным, не токмо делом насилующим и ранами казнящим... но одеяния и пищи не дающим и гладом морящим... Зане наста отмщение, и будут окаяннии тии в страхе велице... руци их и нози вострепещут и власи глав их восстанут... И паки люте вам, бога-

тым...» А это всё кому гроза? Знамо, всем душегубам и мерзкой власти. А от кого гроза? Сам видишь. А ежели не видишь — думай. От народа — от обездоленных, голодных, ограбленных, пушенных по миру... То-то вот... Видишь, мудрость какая? Правда-то — вот она. А её попы, да лжеучители, да мерзкая власть секут и распинают. Значит, все наши великомученики — Микитушка, Петя Стоднев, Тихон, Олёха... и весь наш несчастный народ — истинно праведные... От них и отмщение.

Он сел за стол, сердито захлопнул «Цветник», сунул его в угол, под образа, ударил кулаком по столу и вознегодовал:

— До чего довели! Через какие неисповедимые муки гонят народ! Запомни, что прочитал... глад, мор, трупии в домех... А отчего? От мерзкого владычества... Давно меня, ещё в парнях, думы эти терзали... Должно, так и пророки являлись... Ну, только вострепещут от страшного суда и богатии и воеводы неправильные... Был Стенька Разин, был Емеля Пугачёв... да только не им уготовано было всё вверх дном перевернуть... Идёт другой грозный судия... Везде об нём являются знаменья... Знаменья эти — как белые птицы: летают по всем краям и весям... Будет отмщение!.. Будет!..

Он опять ударил кулаком по столу.

Старуха сидела в дальнем углу и, словно неживая, мотала с пальцев на локоть шерстяные нитки с двух клубков. Она как будто не видела нас, занятая своими дряхлыми думами.

Из чулана вышла Катя с матерью — обе довольные, улыбающиеся. Катя с притворной сварливостью крикнула:

— Ты что это, Яков Иваныч, кулаками стучишь? Ишь, разбушевался! Страшный какой! — И, указывая на него пальцем, она похвалилась перед матерью: — Он у меня уж апостолом стал... Видишь, даже перед парнишкой кипмя кипит, а в моленной, как громобой, молоньи мечет. Уж не знаю, надо ли мне детей родить, — пошутила она с притворным раздумьем. — Боюсь, как бы он, такой взбалмошный, не стал младенцами, как поленцами, драться. Он него и так старики разбегаются.

Мать смеялась, любуясь ими обоими.

— Господи, гляжу я на вас и не нагляжусь... Верно говорится: без любви и песня не поётся и дом не строится.

— Настасья Михайловна, любовь красотой дышит и цветами цветёт. Жива любовь — жива и душа наша. Только без вольности любовь-то — как трава в погребке. Оно хоть и сейчас девок продают и с сердцем ихним не советуются, да ведь трава-то и из темницы земной к солнышку пробивается и расцветает жар-цветом: без любви и жизни нет. А ежели не цветёт любовь — она в сердце тается. Так и мы вот с Катериной вольность для любви нашей добывали.

— Ну, пошёл говорок речи свои серебром рассыпать...

— А это оттого, Катенька, что я и за тебя душу выкладываю...

Мать радостно и завистливо слушала их обоих и улыбалась сквозь слёзы.

— Ну, будет тебе жар раздувать! Ты только невестке сердце надрываешь: у неё с браткой не любовь была, а побитушки да терзанье. Её наши бирюки до порчи довели.

— Не буду, Катенька, молчу... А ты, Настасья Михайловна, прости меня, Христа ради! И уж не обессудь, приходи с Федей во всяк день и во всяк час для мир-беседы.

Сорок лет спустя этот «Цветник» я нашёл в старом дедушкином «выходе», в куче всякого хлама, и взял с собою, как память о моём детстве, о деревенском моём житье-бытье, о первых шагах моих в познании жизни.

## XXVII

Прошло уже более полувека с тех дней, когда я, подросток, захаживал на «стояния» в моленную, чтобы попеть в общем хоре и послушать «прения» в перерыве между утреней и «часами», но и сейчас не забыты все эти горячие душеспасительные споры. Все они сводились к одному — к своему крестьянскому житью-бытью, к бедственному положению — к малоземелью, к неурожаем, к голодухе, к нищей своей зависимости от помещиков и богатеев. Но эти дни неурожая и голодовки с особенной яростью возбуждали мужиков против мироедов и бар. Уже в зрелые годы я старался разобраться в этих сумбурных, крикливых спорах и пришел к выводу, что в то лето деревенский народ готов был громить и барские и кулацкие поместья. В нашей губернии так оно и было: всюду вспыхивали бунты, в разных местах происходили разгромы дворянских гнёзд, поджоги, убой скота и нередко голодающие деревни отбирали хлеб у помещиков и кулаков. Но так как по уездам и волостям мужики выступали отдельными деревнями и в разное время, полиция и земские заправилы легко расправлялись с бунтующими сёлами и подавляли восстания. Рабочий класс ещё не был организован и не мог возглавить и организовать крестьянское движение.

А беспокойная мысль обездоленного мужика искала ответа на мучительные вопросы и выхода из безнадежности. Прямо и беспощадно ставились вопросы о богатстве и бедности, кому должна принадлежать земля и что нужно делать, чтобы восторжествовала правда и справедливость. В те дни эти вопросы страстно обсуждались на собраниях наших поморских сектантов. Перелистывая старинные рукописные книги — сборники обличительных «слов» и посланий, написанных какими-то бунтарями против деспотов и лютого правопорядка, — я вновь слышу эти горячие обличения и призывы к борьбе из уст Якова и Паруши.

Яков поражал всех начитанностью: наизусть говорил тексты и против богатых, и против церкви, и против неправедных правителей или брал толстые книги с разноцветными лентами-закладками и уверенно открывал именно на той странице, где был нужный ему текст. Рассуждал он о злых судьбах, о жадности и злодействах богачей — помещиков и мироедов, об антихристах-попах, которые служат гонителям правды, свидетельствуют ложно и сами преследуют тружеников ради своей маммоны. И когда кто-нибудь из справных мужиков возражал ему, что по десятой заповеди — грех завидовать богаткам ближнего, Яков с улыбкой сильного вставал с места и выхватывал из кучи книг толстый фолиант с медными застёжками, победоносно щёлкал ими и взмахивал книгой, словно хотел ударить ею по голове возражающего. Но чаще всего он клал на налою несколько книг и рукописей, пёстрых от фиолетовых строк, совал их в лицо смущённому сопернику и кричал обличительно:

— А что возвещает блаженный Ипполит-мученик в слове осьмом? «Пастыри яко же волцы будут, иноки и черноризцы мерзкая вожделеют, богатии немилосердием одиются...» Есть это аль нет? А кто они? «Словом — богобоязненни, а дела — нечестиви». А чего сказано насчёт бедных и страждущих? «Воистину, братие, тесно есть нам отовсюду».

Все согласно кивали головами, вздыхали, переглядывались и гудели:

— Истинно так — тесно... И податься некуда...

— То-то вот... Куда ни повернись — одни волки. И не волки, а злодеи да супостаты, палачи да богатеи. Это про Митрия Стоднева сказано: «Словом — богобоязненни, а дела — нечестиви». И про попов тоже: «Пастыри волцы будут». Не будут, а были и есть.

Даже дедушка Фома «покачулся»: домашний развал, неурожай, голод совсем доконали его. Он бросил свой двор, бродил за гумнами по

межам, долго стоял, словно лишённый ума, и плакал. А в моленной, где всё чаще люди толковали о своём безысходном житье-бытье, такие, как Яков, из нелюдимых молчальников превращались в надсадных спорщиков и корпели над книгами, выискивая обличительные для бар, мироедов и властей тексты. Дедушка внимательно вслушивался в слова «святых отец» и каялся:

— Вот и вспомянешь Микиту Вуколыча — за правду муки приял. А Митрий, как Никон, пёс, лиходея, заушил его и старуху его в могилу загнал. И я, грешный, по неразумию под дудку Стоднева плясал...

Старики и мужики помолочили друг друга в рабологии перед Стодневым, перед Сергеем Ивагиным, даже перед Максимом-кривым. А так как все были не без греха, то каждый каялся, как дедушка, и обличал всех в том, что они душу в себе убили.

Паруша по-бабьи скромно сидела на скамье у задней стены в ворохе старух и, слушая, глядела на мужиков властными и знающими глазами. Я невольно следил за нею, потому что её откровенно правдивые глаза видели каждого, и по ним можно было судить о человеке — верный он или пустельга, умный или болтушка, трус или крепкий характером.

Однажды Яков вынул из кучи своих книг измятую бумагу и прочитал в ней, что трудовым крестьянам надо сплотиться в дружную семью и бороться за землю и волю, добиваться отобрания без выкупа всей земли от помещиков и кулаков. Все в моленной встревожились и от испуга даже онемели. Такие бумажки и раньше ходили в деревне по рукам, но полиция налетала неожиданно и переворачивала всё вверх дном — и в избах, и в выходах, и на гумнах. Кое-кто из мужиков трудно поднялись и, крихтя, вздыхая, сутуло пошатели к двери.

Паруша стукнула своей клюшкой и властно крикнула мужским своим голосом:

— Ну-ка, ну-ка, мужики! Куда это вы пошли-то?

— Да ведь... дела... домашность. К стоянию-то воротимся.

А Паруша с суровой насмешкой била их своими тяжёлыми словами:

— К стоянию-то тоже готовиться надо. Трусость — не праведное дело, не подвиг, а криводушие. Ежели надели шелом да опясалась мечом правды ради, идите совестливо. Венцов вам здесь не обрести. А какой завет дал великомученик Аввакум? Слыхали? «Аще бы не были борщы, не даны были бы венцы». В послании этом, у Яши-то, про это и сказано — про нашу нужду и правду. Аввакум-то спроть царя не побоялся итти и в хари слуг его плевал. Вот как надо жить-то. Спереди вы — братии, а сзади-то — татии.

Яков смотрел на неё, опираясь локтем на налой, и улыбался. Он попробовал отмахнуться от опешивших мужиков, которые виновато топтались у двери.

— Да пушай уходят, тётушка Паруша... Июда тоже ушёл с тайной вечери, а его только глазами проводили. Зато узнали, кто есть предатель.

Но Паруша и на него накинулась, постукивая клюшкой:

— Ты, Яшенька, молод ещё чернить людей бесчестьем. Какие же они предатели? Убоялись они только твоей праведной грамотки. Ведь правда-то грозой и громом по земле идёт, и не всякий её встречает без страху и трепету. Останьтесь, мужики, от молоньи не спасёшься: она везде найдёт, где бы ни схоронился. Не забывайте Микитушку с товарищи. Не разбирает она, кто — мирской, кто — поморский, абы чистая совесть была.

Но мужики всё-таки улизнули из избы. Паруша проводила их жёсткими глазами и неожиданно затряслась от смеха. А Яков ехидно улыбался и с опаской поглядывал на дверь. Он захлопнул книги с рукописными посланиями, отнёс в передний угол и завернул их в большой кубовый платок.

Тревожное бормотание не прерывалось, и я видел, что и старики и молодые словно были ужалены листовкой. Взбудоражило их и бегство кучки мужиков. Кое-кому хотелось уйти вслед за ними, но речи Паруши пришили их к месту. Малограмотный и малоумный настоятель, ветхий старик, недовольно ворчал:

— Слово божье надо бы слушать... с благочестием... а мы мирской суетой супостата тешим...

А Яков, распалённый словами Паруши, с неслыханным красноречием провозглашал:

— Ты, настоятель, только и жил под началом Стоднева. А Стоднев-то не бога, а маммону славил. Ради добычи да грабежа и брательника своего, как Каин, сгубил — в кандалы заковал. Вот оно, божье-то слово, в устах Митрия Стоднева в какое злодейство обернулось! Кто Серёгу-то Каляганова сожрал? Кто землёй обездолил нас — угодя наши вырвал да кровью мучеников полил? Вот для какого коварства божье-то слово у него, у лиходея, служит. Он село-то покинул святым угодником, а верёвки на шею у мужиков крепко затянул. Ему, живоглоту, и полиция верой-правдой служит. Аль вы забыли, что летом-то было? Аль у вас совесть чиста и думы нет о братьях наших, о мучениках? Где они? В заушении, под замком, суда ждут... Кто их заушил, кто на терзание бросил? Он же, человекогубец. Ему тесно здесь стало: в городе-то ему просторнее барышничать, нашим же хлебом торговать. Его-то нет, а место его занял Сергей Ивагин — такой же волк, да ещё староста Пантелей с Максимом Сусиным в придачу. Нет, настоятель, божья правда не покорствовать велит, а быть борцами. И хорошо тётушка Паруша слова протопопа Аввакума вспомнила: «Аще бы не были борцы, не даны были бы венцы». Поклоняться верёвке на шею нашей мы не будем, а удавку эту оборвать да сбросить надо да ногами растоптать. Как сказано в писании: не спите ночами, бдите с зажжёнными светильниками! Правда-то неугасима. Её гонят, её топчут, а она горит невидимо и всякими пугами в душу пронизывает словом, и делом, и помышлением — и вот хоть бы этими тайными посланиями.

И это красноречие Якова, полное горячего убеждения, неслыханное мною никогда, действовало на мужиков с неотразимой силой: каждое его слово было понятно и откликалось в душе стародавними думами о бедности, о бездолье, о несправедливости. Своими речами Яков бередел их боли и мятежные мысли и вселял в них желанные надежды и тревожные предчувствия неизбежных событий. Если уж такой смиренный и невидный парень, как Яков, заговорил и чудом из него сделался гневным смутителем и проповедником, покоя и мира не будет: людей уж больше не обуздаешь, в тёмный хлев не загонишь, как баранов. Не зря была попытка захватить землю у Измайлова, не думая о расправах властей. Многие разбежались из села и заколотили свои избы, а земли не прибавилось — все надельные полосы оказались в загребущих руках Ивагина и старосты Пантелея, а избы Ивагин по брёвнам увёз на распушках к себе на поле и выстроил там хутор, как помещик. Вражда и ненависть к мироедам и барину копилась и рвалась наружу многие годы, а теперь, как полая вода, кипит и ломает льды.

Может быть, Яков потому «отверз свои уста» и неслыханно смело разил мироедов и бар, что был уверен в крепости обычая общины — молчать, не вредить друг другу, не называть имён и, что бы ни происходило в «собрании», строго держать это в тайне. В прошлые годы, когда общину держал в своих руках Митрий Стоднев, старики во всём ему покорствовались, смиренно пыхтели и вздыхали под его гнётом, опутанные неоплатыми долгами, а молодые мужики и парни после «стояния» старались улизнуть из молснной, чтобы не чувствовать на себе цепкой «длани

пастыря» и не слышать его обличений в грехах. Теперь же община, которая ему уже была не нужна в его барышничестве, передана была под начало его должнику и верному рабу, чтобы он держал её в подчинении: ему нужны были кабальные работники на земле, купленной у Измайлова, и на угодье из надельных полос, отобранных у должников. Как и у барина, на хуторе у него были и плуги, и рядовые сеялки, и механическая молотилка, и косилки.

Сейчас община уже не чувствовала цепких и острых когтей Стоднева. Молодые мужики уже не убегали в перерывах между «стояниями», а «собеседования» они превращали в «прения», в разговоры о деревенских делах, в затяжные споры о том, как жить дальше, в чём причина их разорения, как вырваться из кабалы мироедов и барина, как освободиться от пут круговой поруки... В конце концов всё упиралось в мало-земелье, в самовластье богачей, помещиков и полиции. И каждый раз кто-нибудь сообщал о «смуте» в губернии и соседних уездах, о расправах полиции, о поджогах имений, о «подмётных листках», которые призывают к общему согласию всех мужиков — бедняков и батраков, — чтобы дружной стеной драться с богачами и властью за землю и волю.

Но мужики и парни собирались не здесь, не в моленной, а на гумнах или в лощинках за нижним порядком. В моленной же устраивались особые «беседы» в среде поморцев, которые привержены были к мёртвой букве всяких «правил», установленных «древним благочестием» для «кеновии» — для скитского общежития. На этих «беседах» слово божье толковалось уже не по-стодневски, не вдалбливалось уже смирение, терпение, рабская покорность и почитание богатства, знатности и власти предержавшей, а подбирались и толковались тексты, которые разоблачали своекорыстие и алчность мироедов и власть имущих и призывали не к миру с ними, а к мечу против них. А так как священные старославянские тексты всегда воспринимались, как боговдохновенная мудрость, то всех они сразу же покоряли и тревожили. Для бедняков и для всех, попавших в безнадёжную кабалу, эти «беседы» были и утешением и надеждой, пробуждали в них чувство возмущения. И когда Яков читал отдельные места из жития протопопа Аввакума о смелых и дерзких его обличениях и упорстве его в борьбе с царём и Никоном, о его выносливости и стойкости в годы гонений и мук, — всё это потрясало и стариков и молодых. Я выпросил у Якова эту рукописную книгу «Жития», и мы с Кузьяром читали и перечитывали её. Божественного мы в ней ничего не нашли, и, когда мы вдруг наталкивались на ругательства Аввакума и на слова, которые в печати не допускались, а говорились только на улице, Аввакум представлялся нам отчаянным мужиком, настоящим бунтарём, который отстаивал свою правду, не боясь никаких кар и расправ, и боролся с властями гордо и неотступно, а власти боялись его и держали в погребе на цепи. Но и из погреба грозный голос его разносился по всей Руси.

— Вот это, брат, да! — поражался Кузьярь, и глаза его вспыхивали от восхищения. — Вот это человек! Яшка-то какой снулый был, а сейчас — поди-ка, прямо на рожон лезет. Это Аввакум в него вселился.

Я думал так же, как и мой друг Кузьярь, и мечтал быть таким же доблестным и яростным бойцом, как Аввакум.

Не только поморцы, а все в селе дивовались, калякая с яшином пере рождении. Одни утверждали, что это озорная и нравная Катя взбунтовала его — разожгла в нём затаённые думы и усмирённые благочестивой семьёй страсти. Другие считали, что он зачитался библией и у него ум за разум зашёл, потому что в библии есть такие вещи слова, которые всякого человека, который углубляется в неё, чудесно делают строптивым и одержимым бунтарскими мыслями. А третьи были уверены, что Яков

спознался со студентом-доктором. Но Паруша с суровой насмешкой опрокидывала все эти пересуды:

— Будет вам дурости-то плести! Мало вы бедствовали, что ли? Аль мало неурожаев на голых клочках претерпели? Тут и робёнок задумается да закричит истошно. А сколь у нас хороших людей перестрадало правды ради? Вспомните-ка? Яша-то хоть телёнок был, а душой скорбел и в слове божьем искал утешения и праведного суда. А она, правда-то, всегда на кривду ополчается. Да и телёночек растёт и буй-туром делается. Катенька-то своим вольным карактером в пору ему пришлось.

## XXVIII

Суд в октябре оправдал всех — и наших и ключёвских мужиков, потому что оба барина — Ермолаев и Измайлов — показали, что они сами открыли закрома и на своих подводах развезли хлеб голодающим. Из нашего села не возвратился только Олёха: он умер в остроге ещё до суда. Жалобу Митрия Стоднева суд отклонил: Тихон доказал бумагой за подписью Татьяны, что с нею было добровольное соглашение. Это подтвердили и свидетели — сторонние мужики-извозчики. В селе все знали, что много хлопотали за мужиков горбатенький брат Ермолаева и Антон Макарыч с молодым Измайловым, что защищал их бесплатно какой-то адвокат, товарищ горбатенького.

Однажды в праздник мы с Иванкой пошли к Елене Григорьевне вслед за Тихоном и Яковом. Хоть это было неучтиво с нашей стороны — самовольно ввязываться в компанию взрослых, — но нам очень хотелось послушать, о чём будут толковать мужики в гостях у учительницы, да и Тихона охота была посмотреть после его возвращения из острога. В комнатке было много гостей, все сидели за столом, а на столе кипел самоварчик, и пар кудрявой струйкой бил в потолок. Тихон с Яковом сидели вместе в пиджаках и чистых рубашках, Костя с подвязанной рукой сидел напротив них, рядом с Феней, а она устроилась у самовара — за хозяйку. Елена Григорьевна стояла около Фени и, улыбаясь, слушала задорный разговор Александра Алексеича Богданова:

— Вас жизнь ничему не научила, Нил Нилыч, — вы мужика уж много лет палкой в рай свой хотите загнать. А мужик вас до сих пор не понимал и не принимал. Вы ему сказки-побаски рассказывали про общину, а он человек трезвый: журавлей ему в небе не сули — подавай синицу в руки, да не ту, которая хвасталась, что море зажжёт. Царь Пётр создал все прелести этой общины, приковал мужика к тачке и поставил к нему свирепого волостеля, который выколачивал из него всё, что можно выколотить. Ну, и обманул вас царь Пётр.

Мил Милыч медленно двигался по комнатке, думая свои думы, и сам себе едва приметно улыбался в бороду. На слова Александра Алексеича он ответил добродушно и поучительно, как неразумному парнишке-озорнику:

— Издеваться над подвижниками, которые приносили в жертву жизнь свою за народное дело, — преступно, молодой человек. Это герои, святые люди, а не болтуны, не скоморохи, как вы, например. Эти люди создали об общине великое учение, подобное евангелию древних христиан. Они ходили в народ, как апостолы. И не только жертвовали собою за крестьянскую общину, но создавали общины людей большой веры.

Богданов посмеивался, пожимал плечами и отвечал, обрывая тягучую речь Мила Милыча:

— Почему издеваюсь? Я уважаю подвижников. Я говорю о том, что было... Это великое учение — волшебная сказка и мечта... А что от этого осталось?..



Тихон внимательно вслушивался в разговор учителей и насмешливо смотрел на Мила Милыча. Он спросил с видом простака:

— А где такие общины находятся, господин учитель?

Богданов засмеялся и поспешил ответить:

— Ветром сдуло... А из верующих одних уж нет, а те — далече... Остался только один среди нас — Нил Нилыч.

Елена Григорьевна сердито напала на Богданова, хотя и улыбалась:

— Ты, Александр, поосторожнее с Нилом Нилычем, он прожил большую жизнь, не изменяя своим убеждениям. Я уважаю его. Мы должны у него учиться, как быть твёрдыми в мыслях.

— Я тоже уважаю сильных и твёрдых людей, но в упрямых заблуждениях не вижу заслуги.

А Тихон опять спросил Мила Милыча, всматриваясь в него пристальным усмешливым взглядом:

— Невдомёк мне, господин учитель, о какой это вы мужицкой общине хлопчете?

Мил Милыч попрежнему без обиды и простодушно ответил:

— Мне хлопотать о ней нечего, милый человек: она существует и сейчас. Вы в ней живёте.

Тихон оглядел всех с удивлением в недобрых глазах.

— Зачем же я в строге-то сидел? Значит, и круговая порука — добро, и грабёж мужиков — добро, и розги — добро, и неурожай на душевных полосках и голодухи — добро?..

Мил Милыч отозвался невозмутимо:

— Я, милый человек, не об этом говорю...

— Как не об этом? Наша община-то, мир-то наш на этом и держится. Нет уж, вы лучше не хлопчите об нас, мы уж сами как-нибудь об себе позаботимся. У нас вон и попы сулят рай для всех обездоленных после смерти. А я вот решил во все дни живота моего драться не на жизнь, а на смерть с барами и мироедами. Да я и не один: такой народишка копится везде не по дням, а по часам. По острогу сужу, туда подбрасывали нашего брата бесперечь.

Александр Алексеич засмеялся.

— И выходит, что учить учёного — только портить. У меня вот тоже хорошие наставники — бедняки да батраки. Живу с ними в своей школе одной семьёй и едим из общего котла. Они словно сговорились с Тихоном Кузьмичом: о том же толкуют и готовы на всякие драки. Вот эта община мне по душе.

Мы с Ивонкой прислонились спинами к задней стене, около двери, и не смели сесть на свободные табуретки у стола. Елена Григорьевна подошла к нам и молча, с ласковой улыбочкой указала на эти табуретки. Она обняла нас за плечи и повела к столу. Феня подняла ресницы, приветливо закивала головой и налила нам по стакану чаю.

Тихон показался мне в этот день таким же крепко сбитым, кряжистым, как и раньше, до его ареста, только лицо стало серым и немного одутловатым. Его рыжие, коротко стриженные волосы и твёрдые зеленые глаза стали ещё заметнее. Что-то строптивое и недоброе застыло не только в лице, но как будто и во всей его фигуре. Елена Григорьевна всматривалась в него и вслушивалась в его слова, когда он задавал вопрос или говорил сам, а говорил он решительно и убеждённо. Должно быть, он много передумал и много выстрадал за несколько месяцев тюрьмы.

Взгорье перед окнами сияло пушистым снегом, а в воздухе порхали лёгкие хлопья и медснимо падали на землю. Небо было мохнатое от снегопада и казалось низким, не выше изб верхнего ряда. От этого снегопада в комнатке было очень светло и уютно, а белые подушки на кро-

вати и отдёрнутые к косякам занавесочки казались ослепительно серебристыми.

Яков, остриженный в кружок, сидел истоиво, как в моленной, но с Тихоном, очевидно, виделся не раз и о многом договорился с ним — в мимолётных переглядках они понимали друг друга без слов. К чаю он не притрагивался: из мирской посуды пить запрещалось поморскими правилами. Тихон щёлкнул пальцем по его стакану и пошутил без улыбки:

— Вот тоже община... поморская... Хорошая ловушка для мужиков. Не мирщиться, не смешиваться... Ядение и питье из своей посуды и послушание перед настоятелем. Мироеды любят повластвовать в таких общинах. И выходит, что община-то и барам служила, а теперь, при воле, и кулакам служит.

Костя сидел в конце стола, за самоваром, около Фени и молчал. На Тихона смотрел он с дружеской гордостью.

Яков отодвинул стакан, поднял руку с растопыренными пальцами и оглядел всех с доверчивым дружелюбием, словно хотел обрадовать каждого.

— Согласие-то наше поморское — тараканье, Тихон Кузьмич. Сам знаешь. В старые времена люди гонимые собирались для молитвы о спасении от бед и напастей да для совета на боренье с мирскими владыками. А сейчас и друг от дружки благодати не ждут; каждый надеется на свой плетень и поклоняется медному пятаку. А появится на улице поп да урядник — все разбегутся по своим мазанкам. Вот ты меня, Тихон Кузьмич, на смех поднял. А ведь не то нечисто и гибельно, что входит в уста, а то, что из уст исходит.

Он решительно и возбуждённо схватил свой стакан остывшего чаю и большими глотками выпил до дна.

— Не в этом закон и пророки. Этим заклятьем нас и держат всякие Стодневы в своей крепости. Ведь обман-то бывает сильнее правды, а тенёта крепче капканов. Вот и говорят: без вши нет мужичьей души.

Все засмеялись, а Богданов даже в ладоши захлопал, но тут же выхватил книжечку из кармана и карандаш.

— Запишу, запишу...

Елена Григорьевна в восторге крикнула:

— Замечательно! Очень верно!

А Тихон впервые усмехнулся и подмигнул Якову.

— То-то я слышал, что ты в своей моленной в божеских книгах обличенье спроть богачей, попов и неправедных властей выкапываешь.

Яков совсем осмелел и с блеском в глазах ответил убеждённо:

— Правда-то сейчас только подмётная.

Тихон подбодрил его:

— Берегись, как бы и тебя не связали да в острог не заперли.

Яков хитренько прищурился и скромно отшутился:

— Да уж как-нибудь минует меня чаша сия... Мужики наши молчать привычны, а спроть слова божия кто ополчится? Ну, а слово истины нетленно в душах наших.

Он говорил без запинки, как начётчик, но даже мне было ясно, что он играет словами под прикрытием благочестия.

Елена Григорьевна смотрела на него с ярким любопытством. У неё дрожал подбородок от сдержанного смеха. Для неё Яков был новым человеком, искателем правды, который дошёл до своей мудрости собственным умом. Я сам удивлялся его способности разбираться в сложных нагромождениях непонятных слов в «Цветнике», переводить их на простой язык и разгадывать скрытый их смысл. Он любил книгу и переживал наслаждение в розыске дорогих слов в загадочной славянской речи, как любитель решать запутанные задачи.

Богданов тоже слушал его с удовольствием и неугасающей улыбкой и записывал что-то в своей книжечке.

— Вот она где, жизнь-то живая... — радовался он. — Я живу с таким народом в своей школе и умнею каждый день. Он не нуждается в благах, которые хотят навязать ему проповедники общинного рая. А его подлинный общинный мир связан с ненавистным старостой, мерзавцем сотским и лицемером попом.

Неожиданно прозвенел негодующий голос Кузьяра:

— Ко мне третьёводни ввалился наш сотский с аршинной книгой подмышкой. «Плати недоимки да по круговой поруке начёт на беглых». Мамка завьла и хотела в ноги ему... а я её в чулан загал! С меня, мол, взятки гладки: я — парнишка, на сходе безгласный. «Ты, — говорит, — парнишка, вот я и сдеру с тебя штанишки». У меня, мол, штанишки драные, ты, мол, только дырки сдерёшь. Ушёл он и во дворе орёт: «С молотка спущу весь твой дворишко и всю хурду-мурду...» А я вышел из избы и в спину ему хохочу.

— Ой, Ваня! — рассмеялась Елена Григорьевна. — Небылицу сочиняешь. Да и нехорошо врываться в разговор взрослых.

Тихон поощрительно поддержал Иванку:

— Это верно, учительница! Он у нас самосильный парень — знает, что к чему. Не врёт: сотский из избы в избу заходил с этой душевой книжкой. Мне он только издали прокричал.

— А потому, что он тебя, как огня, боится, — разохотился Кузьярь. — Одна с горы ты его спустил, а сейчас как бы душу из него не выдавил. Елена Григорьевна покачала головой.

— Ну, Ва-аня! Как ты свирепо выражаешься!

Костя как будто вздрогнул и выпрямился. Лицо его ожесточилось, и глаза мстительно вспыхнули.

— Да, надо было пороть и калечить нас, чтобы мы стали умнее, чтобы сердце обожглось на всю жизнь. После этой науки я и страх потерял. Вот Фенюшка тоже может сказать, какие муки она перенесла и как в этих муках заново родилась.

Феня просто и любовно сказала:

— Зато ты у меня живой остался.

Елена Григорьевна обняла её и поцеловала.

— Чудесная ты моя женщина!..

Тихон крепко сжал кулак, надавил им на стол и посмотрел на него с болью в недобрых глазах.

— А у меня ни жены, ни детей не осталось. Одна чёрная ночь знает, что у меня на сердце... Всё сожрали у меня наши лихие беды. А мне говорят: на роду тебе написано жить в этом холопском миру, где даже пачпорта не вымолишь, а уйдёшь — по этапу назад пригонят. Вы нам не сулите ангелов с небес, — с недоброй усмешкой обратился он к Милу Милычу, — а прежде всего помещиков да кулаков выгоните да землю у них отберите. А мы уж потом сами сумеем порядки завести.

Богданов порывисто повернулся к нему, отмахнул рукой волосы назад и, подняв брови, уставился на него с изумлённым вопросом в глазах.

Но Яков положил руку на кулак Тихона и участливо сказал:

— Это сейчас обида да горе у тебя говорят, а не разум. Надеяться нам, Тихон Кузьмич, да ждать пришествия благодетелей нечего. Нам, народу, надо только на себя положиться, чтобы попрасть антихриста.

Мил Милыч бродил по комнатке и как будто не слушал, что говорили за столом. Но на последние слова Якова прогудел мягко и поучительно, как перед учеником:

— А пока этот антихрист ваш властвует, надо понемножку, с расчётом на долгий срок, строить соты для будущего мёда. С малого начинать

надо, с азов: в малом — зародыши великого. Мы сами — только удобре-  
ние для будущих поколений.

Тут уж Богданов не выдержал и с негодующим смехом крикнул:

— Вам вредно сидеть на одном месте, Нил Нилыч! Идите в бурла-  
ки — там хоть вас подстёгивать будут. — Он поднял кулак и погрозил  
в окно. — Крушить и гнать этих антихристов, как называет их Яков Ива-  
ныч. А вот без образованных людей народу не обойтись: они свет несут.

Мил Милыч проворчал:

— От поджигателей — свет, а пожары истребляют и поджигателей.  
Нельзя забывать этого.

Но Богданов только насмешливо покосился на него.

— Это тараканы да кроты света боятся, а народ рвётся к нему. И мы  
призваны освещать пути-дороги. А то народ-то всех нас в одну кучу  
с антихристами свалит и кровавый самосуд устроит... — пошутил он и  
засмеялся.

— Бывало, нечего греха таить... — согласился Яков. — Тёмный народ  
не разбирает. А тут ещё водочка да пьяная бражка.

Тихон вдруг встал и с дрожью в лице оглядел всех горящими глазами.

— Вот Яков меня укорил, что горе меня обожгло, а обида этот ожог  
растравила. А у кого из нас горя и обиды нет? Да отчего обиды да горе  
у людей? Об этом и ребяташки знают. Вот Федяшка мне о ватагах рас-  
сказывал... Каторга, и люди там до нутра обижены. А Ванятка? Сколько  
на него, парнишку, обид и горя выпало... А он и не жалуется, не плачет...  
И, на удивление, ярится и кулаки сжимает. Слышали, как он с сотским  
цапался? Не врёт, нет! Я его знаю. Так и я: не жалею, не плачу. Знаю  
я не хуже господ учителей, кто и что плодит все наши беды, горе и обиды.  
Да и тюрьма мне думать помогла. К большой драке дело идёт, и схватки  
то здесь, то там, как перед кулачным боем, вспыхивают. Сейчас народ  
уж никакими пытками не примиришь. Вот и мы в этих схватках дрались.  
Ну, пострадали, зато и своё взяли. А теперь я другой доли себе не  
ищу, кроме этой нашей драки. Только народ-то наш ещё тёмный. Без  
учёных людей нам жить сейчас нельзя. Правильно говорит молодой учи-  
тель. И нашей учительнице кланяюсь... — И он действительно поклонился  
Елене Григорьевне. — И детей наших она воспитывает и свет народу  
несёт неугасимый. А какое великое добро делал Антон Макарыч! Он не  
только лечил да от смерти людей сласал, а души наши исцелял. И не  
страшился этой нашей темноты и самосуда. Скажу и я: страх — это по-  
гибель человеку, лучше бы ему и не родиться. На кулачках вот — не  
страх у меня, а огонь во всём теле: победить надо. А с полицией дрался —  
лютых врагов крушил.

Громкий весёлый голос вдруг всполошил всех:

— Ну, я подошёл, кажется, во-время. Разговор касается и моей лич-  
ности, я продолжаю его.

Антон Макарыч явился, как невидимка: все напряжённо слушали  
Тихона и не заметили, как отворилась дверь и как вошёл Антон Макарыч  
и прислонился к косяку.

Елена Григорьевна вскрикнула и бросилась к нему с протянутыми  
руками. Костя и Феня хотели подняться, но Антон Макарыч погрозил им  
кулаком.

— Верно, Тихон Кузьмич, страх всегда убивает человека. В страхе  
человек уже не человек. Отсюда и жертвы. В боях страха не бывает.

Тихон весь как будто встряхнулся, оглядел всех с весёлой насто-  
роженностью и блеснул зубами.

Антон сам заулыбался и пристально поглядел на Елену Григорьевну.  
От этого его взгляда она покраснела. Он лукаво посмотрел и на Феню,  
но она сидела спокойно, прикрыв глаза ресницами.

— А вот эти наши женщины тоже не знали страха, хоть они на вид и слабенькие. Как Феня боролась за Константина, вы знаете. А вот что за девушка Лёля и на что она способна, вы и не догадываетесь.

Елена Григорьевна возмущилась, замахала руками на Антона.

— Нет, нет, Лёля, не протестуй! Это нужно знать людям, это очень важно. Нам скромность не нужна, как и хвастовство. Вот Тихон Кузьмич страха не знает, и его ничем никто не испугает, поэтому и скромность ему не нужна. Он — боец, а боец должен идти вперёд с высоко поднятой головой.

Тихон усмехнулся и добавил:

— Сейчас без кулаков далеко не пойдёшь.

— Правильно! — засмеялся Антон. — Защищайся, но бей! И не кулаками можно бить, а бесстрашием младенца и доблестной верой в себя. А это и есть подвиг. Так вот. Лёля добровольно пошла в прошлом году в холерные бараки. Работала сестрой милосердия. В этой опасной работе вместе с врачами не знала ни сна, ни отдыха. Холера валила людей, как сено косила. Врачей было мало, а больничные помощники разбежались. Но зато пошли на борьбу с этим бедствием многие добровольцы, молодёжь — девушки и юноши. Народ обезумел от ужаса, а тёмные силы — полиция и попы — разжигали это безумие, пробуждали зверя в людях, натравляли на врачей и больничных работников. Зачем? А затем, чтобы гнев народа от себя отвести. Вы знаете, как много хороших людей погибло. Базарные толпы нападали на больницы, на бараки, громили их, поджигали, хватали докторов и бросали в пламя или разрывали на клочки. И вот такая толпа нагрянула и на те бараки, где работала Лёля. Из всех работников только врач да она не упали духом. Врач бросился к больным, а Лёля во всём белом, с красным крестом на груди пошла навстречу озверелой толпе. А толпа ломилась в запертые ворота. Перед воротами, раскинув руки, как распятый, стоял старик-привратник — ни живой ни мёртвый. Забор и ворота трещали и ходили ходуном. Скажи, Лёля, что ты чувствовала в эти минуты? Ведь это было страшнее обвала или крушения — человеческий ураган.

Елена Григорьевна смущённо ответила:

— Не знаю. Это вышло как-то само собой. Может быть, я сама пошла навстречу смерти, а может быть, уверена была, что меня, такую маленькую, почти девочку, толпа не тронет.

Феня встала, обняла со слезами на глазах Елену Григорьевну и, потрясённая, прижала её к себе. Костя не отрывал глаз от Антона. Только Мил Милыч попрежнему очень медленно бродил по комнате и с обычной своей раздумчивой улыбкой теребил бороду дрожащими пальцами. Богданов торопливо писал что-то в своей книжечке. Но Тихон и Яков сидели спокойно и неподвижно, словно то, что рассказывал Антон, их ничуть не волновало: всё это как будто им было давно знакомо, как сама жизнь. А вот мы с Кузярём замирали от ожидания страшного момента, когда толпа сорвёт ворота, хлынет во двор и будет крушить всё, громить и остервенело рвать, терзать и топтать людей. Я чувствовал Иванку так же, как себя, схватив его руку и сжимая её изо всех сил.

— А конец такой... — сказал Антон, оглядев всех с радостным блеском в глазах. — Маленькая, вся беленькая, Лёля крикнула привратнику: «Распахни, дедушка, ворота! Пусть люди войдут сюда». И в эту минуту она увидела перед собою девочку лет трёх с тряпичной куклой в ручонках. Это была внучка привратника. Лёля подхватила её на руки и подошла к воротам. И вот тут совершилось чудо. Старик послушно, хотя и был не в себе, раскрыв ворота, и толпа лавиной ввалилась во двор, но сразу же застряла, запуталась в себе, словно её ослепила или отшибла какая-то сила. Стоит перед этой кипящей лавиной Лёля с ребёнком на

руках, ребёнок прижимается к ней с куклой, а Лёля приветливо приглашает: «Милости просим!.. Если есть здесь у кого-нибудь родные, проведите их... Посмотрите, как мы ухаживаем за больными...» К ней подбежали женщины. Дикие, страшные, смотрят на неё молча, поражённые этим видением. Ребёнок лепечет что-то и куклу суёт женщинам. И вдруг в толпе заорали: «Бей, круши их!.. Они заживо людей хоронят!..» Но передние словно онемели и проснулись от кошмара. В это время через силу прибежали выздоравливающие. Две-три бабы бросились им на шею. А больные стали совестить всю эту орду: что же, мол, вы, как волки, налетели? И нас захотели погубить и эту нашу сестрицу растерзать за её добро, за то, что жизни своей для нас не жалеет... Ей, мол, в ножки поклониться надо... Ну, что там дальше произошло, рассказывать не буду: сами знаете, что в такие минуты бывает. Так вот она какая, наша Лёля: не её зверь растерзал, а она его убила.

И он при всех наклонился и поцеловал её.

— Нет, это ты меня сейчас убил, Антон! — крикнула Елена Григорьевна растерянно. — Зачем ты изобразил меня такой странной... такой героиней?.. Я совсем не узнаю себя... Право же, ничего необыкновенного не было: всё было просто.

Неожиданно остановился перед нею Мил Милыч и низко ей поклонился. Он ничего не сказал, ни на кого не взглянул, а молча вышел из комнаты.

## XXIX

Школьный год прошёл быстро и незаметно. Летом Елена Григорьевна уехала к себе, на Волгу, и мы, ребяташки, по целым дням возились у себя по дворам или пропадали в поле или на барщине и на работе у новых помещиков — Ивагина и Стоднева. Иванку Кузяря я видел редко: он весь ушёл в своё хозяйство — пахал, сеял, боронил, сажал картошку на усадьбе, косил траву на межах для своей лошади. Петька тоже был занят то в кузнице с отцом, то работал на поле. Только попрежнему Миколька бездельничал в пожарной, а Мосей с колченогим Архипом плотничали у Сергея Ивагина на его хуторе.

Мы тоже ездили с отцом на свою надельную полоску или тащились на пегашке из села в село и скупали для Сергея Ивагина холсты, сырые кожи и овечью шерсть.

Иногда по праздникам прибегал ко мне Гараська и уводил меня в барский сад, который давно уже насадил его отец-садовник. Мы бродили по этому саду, и я забывал обо всём в густой зелени, в пене цветущих деревьев. А Гараська всё время хвастался, что его отец — самый лучший садовод в уезде, что он умеет выводить новые породы яблок, что он первый в этих местах посадил виноград.

Уверенность моего отца в своей удачливости, предприимчивости и изворотливости не погасла даже тогда, когда его била неудача за неудачей: холсты, выкладки и шкуры с околевших лошадей и коров сдавал мироеду Сергею Ивагину с убытком или в погашение каких-то необъяснимых начётов. Эти холсты и шкуры лежали у Ивагина в амбарах целыми бунтами — он копил их до поры до времени. Он открывал один из своих амбаров и приказывал отцу выгружать из тележки холсты, шкуры и шерсть, а потом с фальшивой улыбкой объявлял:

— Получишь своё через недельку.

Ошарашенный отец требовал денег сейчас же, доказывал, что ему не на что хлеба купить и одра прокормить, что он из кожи лез, время терял, на корм лошади последние гроши затратил, разъезжая по деревням. А Ивагин показывал на свалки всякого барахла и кротко внушал ему:

— А я куда дену эту хурду-мурду? Ей в городе сейчас грош цена. Денег у меня у самого нет.

Отец со злой словоохотливостью рассказывал за ужином, как поучал его Ивагин с наглостью барышника:

— Без капиталов, Вася, никакое дело не поладится. Капитал — это, как дрожжи: без дрожжей тесто не взойдёт. А какие у тебя капиталы? Один крест на гайтане, а на гайтане-то и удавиться нельзя: где тонко, там и рвётся. Сейчас барыш не копейкой живёт, а процентом — рубль на рубль, а то и на грош — алтын. Хоть у тебя только крест на гайтане да вошь на аркане, а я вот погоню тебя на твоей кляче баб обездоливать да с мужиков портки сдирать, да беспортошных на мою экономию землю пахать, с машинами управляться, — вот капитал мой и растёт, как подсолныш: из одного зерна пятьсот зёрен, а из мужичьих порток — воз конопки да бочка масла. То-то, Вася, на стороне-то ты бывал, да не удал. Говорят, лихачом ты в Астрахани был — богачей жатал, а того не вбил в башку, что капитал — это божий дар, как счастье. Добывается он уменьем, а не крохобором.

После многодневных хождений к Ивагину отец получал от него какие-то гроши. С этих дней у него пропала всякая охота к разъездам по округе, и он сразу же решил уехать на Кавказ, на паровую мельницу, где работал Миколай Андреич Шурманов, муж тётки Марьи, которая тоже уехала к нему.

А в школе у меня наряду с радостями дружбы с Кузьяром, Миколькой и Петью-кузнецом, а потом с Гараськой были и дни обид и тяжёлых напастей.

В начале второго учебного года неожиданно-негаданно обрушилась на мою голову беда. У Елены Григорьевны во время перемены исчезла книга со стола. Обычно все ученики выходили из класса в прихожую, где толпились около учительницы, или выбегали на улицу. В классе дежурный открывал окна и сам выбегал вместе с другими. Дверь в класс не затворялась, кто-нибудь из ребятшек и девчонок забегал туда, чтобы взять из парты кусок хлеба или пряженец. Когда мы вошли на урок, Елена Григорьевна вдруг стала торопливо перебирать книжки, которые стопкой лежали у неё на ремешках. Она тревожно оглядела всех в классе и спросила:

— У меня со стола исчез Некрасов, стихи которого я вам читала. Кто же из вас пошутил со мной так неприлично?

Все испуганно молчали.

— Ну, вот что, ребятки, после урока книжка должна быть у меня на столе. Я знаю, это не кража. Это неумная, грубая игра. Запомните, что такие забавы друг с другом и особенно со мной недопустимы.

Кузьяр, красный от возмущения, вскочил и крикнул:

— Обыск надо сделать! Выворачивайте из парт всё, что там есть. А дежурному надо оглядеть каждую парту... Открывай крышки!

Но учительница строго осадила его.

— Я запрещаю, Ваня. Не распоряжайся! Я убеждена, что тут кражи нет. И я не буду искать того, кто позволил себе так пошутить со мной. Довольно! Садись, Ваня!

Но вдруг хрипло-простудный голос Шустёнка проблеял:

— А я знаю, кто украл...

Весь класс с шумным шорохом всколыхнулся, и все уставились на Шустёнка. А он кривил рот в сторону и нахально глядел на учительницу, словно издевался над нею.

— Сядь, Шустов! — строго приказала Елена Григорьевна. — Здесь не полицейский участок. Повторяю, кражи нет, а шутка. Ты не можешь

знать, если бы даже оказался вор в нашей школе. Воруют тайно — так, чтобы никто не видел.

— А я видел,— с ухмылкой хрипел Шустёнок, и глаза его злорадно впились в кого-то из нас, сидящих на передних партах.

— Ну кто? Кто? Говори! — закричали мы с Кузярём, чувствуя, что Шустёнок задумал какую-то подлую каверзу.

Елена Григорьевна с горестной морщинкой на переносье, не скрывая неприязни к Шустёнку, каким-то чужим голосом приказала:

— Ну, если знаешь, говори. Мне это очень неприятно, но раз дело получило такой оборот, отступать уже нельзя. Говори, Шустов.

Шустёнок засопел на весь класс и опустил глаза: чувствовалось, что ему стало трудно и он чего-то испугался, потому что сразу побледнел.

— Это вот они... Федька с Кузярём украл... Я сам видел... Утащили со стола и выбежали...

И я и Кузярь, оглушённые, вокочили на ноги. Сердце у меня заколотилось в груди так, что я стал задыхаться. А Кузярь, красный, с дикими глазами, истошно крикнул:

— Это я?.. И Федяшка?.. Чтоб украли?.. Врёт он, чёрт паршивый...

И у него сорвался голос от ужаса и негодования. А я стоял и дрожал, словно меня пришибло что-то огромное и страшное. Едва выговаривая слова, я вскрикивал в отчаянии:

— Я никогда не крал... Красть — грех... Я души не убивал... И никогда не убью... Он, Шустёнок, злой на нас... Полицейское отродье он... Это он нарочно на нас... Мстит нам... Он и за мужиками шпионит... Это отец его учит...

И сел, близкий к обмороку.

А Шустёнок злорадно упорствовал:

— А я видал... Сам видал... Я подслушал, как сговаривались, да и проследил их... А куда они спрятали — не знаю...

Елена Григорьевна спокойно, но недобрый голосом подсказала ему:

— Ну, раз ты проследил, Шустов, ничего тебе не стоит и обнаружить пропажу, ведь она где-то здесь.

Шустёнок промычал:

— Знамо, здесь. Тятяша сказывал мне: ежели, говорит, вора обличили, он сам кражу подкинет.

Учительница почему-то улыбнулась и странно посмотрела на нас с Кузярём.

— Ну, успокойтесь, ребята! Давайте заниматься. Ты, Шустов, напрасно затеял эту историю. Я верю прежде всего себе: Федя с Ваней и подумай об этом не могли.

Её голос так потряс меня, что я уронил голову на парту и заплакал. А Кузярь метался около меня и иступлённо кричал сквозь слёзы:

— Это он, лярва полицейская, нарочно подстроил! Он с отцом всему народу — недруги и псы. Это он сам украл, а свалил на нас, чтобы обесславить нас перед вами и перед батюшкой.

Подавленно и сострадательно молчали все ученики, молчал и Миколька. Но выкрики Кузря как будто всполошили его, он вышел из-за парты и самовольно отбросил крышки нашей парты.

— Вынимайте все книжки!

Елена Григорьевна сдвинула брови и быстро подошла к нему.

— Разве я разрешила делать обыск? У нас воров нет. А Федя и Ваня даже и такую шутку себе не позволят.

Но Миколька как будто не слышал её и вытащил книжки и тетрадки из парты Кузря. Я предупредил Микольку и сам выбросил на стол свои книжки.

— На, гляди!



Но учительница уже не на шутку рассердилась, и лицо её стало малиновым.

— Николай, сядь на место!

Я вдруг замер от ужаса, в ушах у меня взвизгнуло, а в лицо и руки вонзились острые иголки. Передо мной на парте лежала пропавшая книжка Елены Григорьевны.

— Ага! — злорадно прохрипел позади Шустёнок. — Вот она где! Что, попался?

И захихикал со свистом.

— Навадились чужой хлеб грабить... а книжку стибрить средь бела дня — раз плюнуть... да ещё у своей учительницы...

Кузьяр в бешенстве выскочил из-за парты и яростно схватил его за грудки.

— Стащил... и подбросил!.. — задыхаясь, надсадно крикнул и размахнулся кулаком, чтобы сразить Шустёнка. — Душу выну! Федька не брал. Мы вместе на улице были.

Учительница бросилась к ним и оторвала пальцы Кузьяра от рубашки Шустёнка.

— Ваня! Опомнись! Как тебе не стыдно!

А Кузьяр, едва выговаривая слова, без памяти рвался к Шустёнку.

— Я знаю... мы оба знаем, зачем он такую кляузу надумал...

А Шустёнок ехидно кривил рот и хрипел:

— Спёрли книжку-то... воры! Я свидетель... А когда к стенке прижали, на меня по злости сваливают...

Я сидел окоченевший от внезапного страшного удара, с холодной тошнотой в животе, и чувствовал себя в отчаянии: я — вор!

— Дело тут нехорошее, Елена Григорьевна, — озабоченно сказал Миколька, протягивая книжку учительнице. — Надо бы разобраться. Непроста это. Федяшка с Иванкой в краже не повинились, а Шустов клянется, что проследил их. Тут что-то не так.

Все ребяташки и девчонки, ошеломлённые, стояли за партами и глядели на нас широко открытыми глазами.

Елена Григорьевна бросила книжку на столик и весело приказала:

— Никаких у нас воров нет. Я уж сказала. Садитесь! Будем заниматься.

Все дружно сели, и захлопали крышки парт. Сел и Миколька с Шустёнком, который подленько ухмылялся.

Кузьяр не сел, а растерянно ошипывался и весь дрожал. Что-то вспыхнуло у меня в сердце, как огонь. Я с отчаянием и бурей в душе вскочил на ноги и крикнул, выбросив руки к учительнице:

— Это не я... не мы это!.. У меня своя есть книжка Некрасова...

— На это подзудили его... — уверенно решил Кузьяр. — А тут ещё мы — из поморцев: надо нас опорочить перед ребяташками да перед всем селом. Вишь, как он насчёт хлеба-то: грабители, мол... Не грабители, а сам народ спасал себя от голодной смерти...

Елена Григорьевна настойчиво усадила нас за парты, погладила рукой по головам и словом мгновенно исцелила нас.

— Ну, мы ему попомним... — зло пригрозил Кузьяр. — Этому жандарскому выродку и ночь будет невмочь...

— Ваня! — с упрёком в радостных глазах усмирила его Елена Григорьевна. — Ты уже всё сказал — больше не надо.

Но и Шустёнок не унимался:

— Вот тятяша посадит их в жигулёвку да отлущует хорошенько, они и повинятся. Кулугуры все такие — и спроть церкви и спроть начальства.

С гневом и болью в лице Елена Григорьевна подошла к Шустёнку, пристально посмотрела на него, вздохнула и сказала только два слова, но они как будто пришибли его:

— Несчастный ребёнок!

В перемену она осталась с ним в классе. О чём говорила с ним — неизвестно, но мы догадывались, что ей захотелось усювестить его, растревожить его сердце и попытаться, зачем он устроил такую подлость над нами. Я был убеждён, что учительница не поверила ни одному его слову, потому что она хорошо нас знала, а я без неё не проводил ни одного дня. Её вздох и сожаление: «Несчастный ребёнок!» — не требовали от нас никаких самооправданий.

Когда она вышла из класса, подталкивая Шустёнка, лицо у неё было утомлённое, потухшее, а над переносьем вздрагивали две морщинки. Но Шустёнок с тупой ухмылкой прошёл мимо нас и успел уколоть и меня и Кузья прищуренными глазишками.

По дороге из школы я шёл молча, с болью в сердце, с гнетущей обидой, словно меня побили ни за что или оплевали перед учительницей и перед школьниками, а значит — и перед всем селом. Вор! У него чужую книжку нашли в парте и обличили его. Пусть это подстроил нарочно Шустёнок, но болтуны и сплетники разнесут это по селу и наврут с три короба. А это только и нужно попу и полицейскому.

Вот парнишки и девчонки возвратятся к себе в избу и крикнут:

— А Федька книжку украл. Ванька Шустов его обличил.

Такого ужаса я никогда ещё не переживал. И сейчас, когда я шёл рядом с учительницей в кучке ребят, своих товарищей, я чувствовал, что между нами возникла мутная отчуждённость. И впервые познал я своим ребячьим умом ценность незапятнанной чести. Мне казалось, что товарищи мои отвернулись от меня и затаили в душе недоверие ко мне, а учительница ни разу не взглянула на меня и лицо у неё задумчиво-строгое и чужое.

В бунтующем отчаянии я упал на землю вниз лицом, вцепился пальцами в сухую траву и заплакал.

Все подбежали ко мне, а Елена Григорьевна наклонилась надо мною и с тревожным участием захлопотала около меня:

— Федя, милый, зачем же так убиваться? Надо быть стойким и сильным в своей правоте.

— Я не вор! Я не вор!.. — надрываясь, рыдал я. — Я никогда ничего чужого не брал... Разве я могу вас обидеть?

— Милый, голубчик мой, — засмеялась сквозь слёзы Елена Григорьевна, — да ведь я же тебя хорошо знаю, и у меня в мыслях не было, чтобы заподозрить тебя. И знаю, почему всё произошло. Мне ведь тоже нелегко: ведь этот удар и по мне.

А Кузья со злым волнением вскрикивал:

— Кому ни доведись... Ну-ка, ни с того ни с сего — вор! Тут не спраста. Шустёнку с этого дня дышать не дадим...

Елена Григорьевна торопливо и беспокойно одёрнула его:

— Вот этого нельзя, Ваня. Междоусобия в школе я не допущу. Без моего ведома ничего не делайте.

Она поцеловала меня и улыбнулась ободряюще.

Морда Шустёнка ликовала передо мною в ухмылке, в прищурке, наслаждаясь моим ужасом и растерянностью. И я знал, что он только и думал, как бы сделать мне и Кузья какую-нибудь подлость: мы презирали его и следили за ним, как за наушником. Он боялся нас и ненавидел. А когда приехал поп и сразу же ошарашил мужиков поборами и опутал наговорами и сварами, властно вламываясь в каждую избу и вмешиваясь в семейные дела, Шустёнок почуял в нём, как пёсик, хозяина и покрови-

теля. Но так как поп нагрязнул к нам для того, чтобы всякими мерами — и увещаниями, и угрозами, и коварством — загнать поморцев в церковь, бывший жандарм Гришка Шустов зачастил в поповский дом и завёл с отцом Иваном какие-то тайные дела, а Шустёнок присосался к попу, как холуёк, и зачванился перед нами. Своими злопамятными прищурками и ухмылками он давал нам понять, что он теперь — сила, что мы у него в руках и он может отомстить нам, как ему вздумается, только ждёт изволения батюшки и тятяши. И вот сегодня он сумел ударить меня невыносимо больно — опозорил меня как вора, да ещё посмел нагло соврать, что сн видел, как мы с Иванкой похитили книгу со стола учительницы. Но он учинил эту проделку по-дурацки: думал обмануть учительницу, заставить её отвернуться от меня и от Иванки, а Елена Григорьевна поняла его подвох и сама взволновалась от моего потрясения. И не только у меня, но и у всех ребятешек надолго осталось в памяти, как учительница подошла к Шустёнку с печальным упреком в глазах и сказала с состраданием:

— Несчастный ребёнок!

## XXX

Как-то во время занятий, когда мы, «старшаки», самостоятельно решали трудную задачу, а Елена Григорьевна вела урок с «перваками» и «средняками», на колокольне похоронно зазвонил большой колокол. Ребятишки всполошились — одни испуганно вскочили, другие застыли с удивлёнными личишками.

Гараська вдруг громко вскрикнул:

— Это, должно, молодой Измайлов умер. Он с постели уж сколь дён не встаёт.

Но Елена Григорьевна успокоила всех взмахом руки.

— Это царь умер, Александр третий. А на престол вступил вот этот, — и она указала на портрет наследника Николая, курносого офицера, с маленькими усиками, — Николай Александрович.

Миколька вкрадчиво, со свойственной ему хитрецей, спросил:

— А прежнего-то царя за что убили, Елена Григорьевна?

Елена Григорьевна немного смутилась, но, сдерживая улыбку, строго ответила:

— Задавать такой вопрос не время и не место, Николай.

Кузьяр возмущённо окрысился на Микольку:

— Дурак ты, а ещё — жених. За такой подвох морду тебе набить надо. Ты лучше у Шустёнка спроси: он тебе без запижки скажет. Отец-то у него в жандарах служил.

Миколька покорно согласился:

— Верно, Ваня, сдуру я сболтнул. Это меня Ванятка Шустов подговорил.

И он подмигнул и нам с Кузьярём и Елене Григорьевне: поймите, мол, в чём тут секрет, — это, мол, я вывожу Шустёнка на чистую воду.

Шустёнок промычал, уткнув голову в парту:

— Царя-ослободителя крамольники убили. Они — везде, как блохи. И этого царя они норовили извести, да не успели.

— Ну да... — поощрил его Миколька. — Не успели, лиходен, он сам им кукиш показал — взял да и умер.

У учительницы вздрогнул подбородок, а в глазах вспыхнул лукавый огонёк.

Известие о смерти царя не взволновало мужиков: был царь с окладистой бородой, толстый, сейчас — новый, курносый, бритый, с усиками, недавно женатый на немке. Шёл разговор, что, может быть, новый царь податя сбавит да землю от бар мужикам отмежует. Но вскоре и об этом

забыли. Только поп в церкви не раз разорялся, что молодой царь огнём и железом выведет крамолу, что смутьянов выморит, как тараканов, что всякие бредни о земле да о воле выбьет кнутьём да прутьём.

Часто после уроков учительница уезжала на барском тарантасике к чахоточному молодому Измайлову, который требовал её к себе, или к барам Ермолаевым, которые тоже присылали за нею лёгкую таратаечку. Но попрежнему она была ясной, милой, очень жизнерадостной, хотя мы и чутко замечали в ней какую-то тревогу и мгновенную задумчивость.

Однажды утром, когда мы с Кузярём по обыкновению встречали её на луке по дороге в школу, она с гневной улыбкой сообщила:

— Сегодня ночью какие-то негодники бросили камень мне в окно и разбили стёкла. Хорошо, что в этот момент меня не было за столом, а то бы камень угодил в меня. Кто-то, должно быть, решил покалечить меня или выжить отсюда.

Оглушённые, мы даже остановились, загородя дорогу учительнице, и, словно сговорившись, вскрикнули:

— Это Шустёнок! Это его подговорили отец и поп.

Но Елена Григорьевна сдвинула брови и спросила:

— Почему вы решили, что это сделал Шустов, или Шустёнок, как вы его зовёте?

— А кто ещё на это пойдёт? — загорячился Кузярёв. — У нас ребята смёрные...

Ясно было, что какой-то ненавистник надумал испугать Елену Григорьевну и заставить дрожать по ночам. Я доблестно решил, что с этого дня вместе с Иванкой буду охранять её и мы обязательно накроем и свяжем охальника.

Елена Григорьевна растрогалась.

— Ну, раз у меня такие смелые заступники, я ничего и никого не побоюсь. Только вы уж не беспокойтесь, охранять меня не надо.

Мы переглянулись с Кузярём и не стали спорить с нею: мы, мол, своё дело сделаем, хоть она и не будет знать, — это даже лучше.

А в школе мы сговорились с Миколькой, чтобы он выведал у Шустёнка, кто его настроил швырнуть камень именно в то окошко, перед которым сидит за столом Елена Григорьевна. Миколька сам назвался дежурить по череду вместе с нами попарно у квартиры Елены Григорьевны до полуночи — до звона церковного колокола.

На уроках Шустёнок сидел, как обычно, нелюдимо, и по лицу его нельзя было догадаться о его проделке. Миколька ничего не добился от него, только заметил, что он как будто побледнел и съёжился. В эту ночь мы дежурили вместе с Кузярём до звона, но никого не приметили. Часто останавливались на горке и молча смотрели в мутное пятно окна в чёрных переплётах рамы и думали, что там, за занавеской, сидит Елена Григорьевна и читает книгу или проверяет наши тетради. И я знал, что не только мне, но и Иванке хотелось пробыть здесь всю ночь до рассвета и охранять покой нашей учительницы.

А на другой день поп Иван заходил к некоторым прихожанам и внушал, что во вражде своей к православным раскольники дошли до бесчинства — стали камни бросать в окна мирским: вот кинули голыш в окно учительницы и метили так, чтобы раскроить ей голову. Нынче стёкла разбили ей, а завтра — ему, их пастырю. Зло и ненависть завещал им учитель их, еретик Аввакум, а он по воле тишайшего царя погиб позорной смертью. Вот они, недруги и нечестивцы, и живут одной злобой и мстью и к царю, и к церкви, и к власти, и к власти, и ко всем православным христианам. Надо их миром принудить покаяться и воссоединиться с церковью, а ежели воспротивятся — отобрать у них имущество и передать церкви, а она раздаст его самым бедным и именуемым, а их,

раскольников, пустить по миру, пускай победствуют и сознают свои заблуждения... Кое-кого он сбил с толку: на сходе кто-то начал было горланить, что кулугуров надо выселить из села, а добро их разделить между верными. Но на них загалдели, бросились с угрозами и даже кто-то кого-то схватил за грудки.

— Ишь, какие охотники с батюшкой до чужого добра!

— То-то, то-то!.. Недаром поп-то по селу бродит да смутьянит...

— Тут, мужики, не молитвой пахнет, а ловитвой... Думать надо, шабры!

Поп приходил на каждый мирской сход. Он и теперь, важно опираясь на длинный свой посох, снял шляпу и низко поклонился толпе с обычным приговором:

— Мир вам, православные! Да будет на вас благодать господняя!

И сразу же начал обличительно совестить мужиков за то, что они творят грех, защищая раскольников. Государь и святейший синод считают раскольников вне закона: это враги, шайка отщепенцев. Вот почему капища их закрываются, книги их сжигаются. Разве это не сделано и в нашем селе?

Голос Паруши прогудел среди наступившей тишины:

— Это когда же у нас, мужики, был раскол-то с вами? Ни стар, ни мал не вспомнит этого. Жили одним миром — в одном труде, в одной беде, в едином содружье. А нагрязнул этот преисподний змий в образе пастьеры и начал смуту сеять. Раскол-то не у нас, а ты, поп, с собой принёс. Это я, что ли, али вот половина схода выбили стёкла у учительницы? А ведь это я ей гнездо ухётала да и за ней уход учинила. А ты вот, поплихоимец, с того и начал, что обирать да грабить стал с первого же дня да вражду и свару под колокольный звон разводишь.

Поп смиренно, с хитрой улыбочкой возвестил:

— Бог тебя простит, старица-Паруша, за ложные слова. Я ведь сам по темноте ума в вашем логове был и знаю, как вы лестью народ соблазняет.

Паруша совсем разгневалась и пошагала на попа, опираясь на клюшку.

— Это кому мне лстить-то? Это из какой корысти народ с панталыку сбивать? Я о своей душе только пекусь, чтобы людям, с кем я жизнь прожила, худа не делать. А ты вот не знай отколь взялся, чуж-чуженин, и разруху в наше бытёе вносишь. Я с мироедами да обидчиками всю жизнь дралась, а ты с ними заодно. Не бог тебя ведёт, а алчная мамона, отступник!

Тут подошёл к ней Тихон, почтительно взял под руку, отвёл назад и твёрдо сказал:

— В обиду тебя, тётушка Паруша, не дадим. Ты жизнь свою хорошо, безбоязненно да совестливо прожила — дай бог всякому так прожить.

Мужики словно опамятовались и закричали все сразу, оравой, как всегда бывает на сходе, не поймёшь что, но мы, парнишки, не пропускали ни одного схода и по лицам и по крику знали, что все стоят за Парушу.

Тихон, как власть имущий, уверенно и решительно подошёл к попу и мужественно, очень внятно проговорил:

— Вот что, отец Иван, дураки да миродёры и у нас есть, а после всяких бед да лихих лет прибавилось и умных людей. У трудящего человека, у бездольного мужика, один враг — барин да кулак. А на подмогу к ним и ты явился. Послала тебя сюда людей мутить, свару варить, да не во-время. Умных не сделаешь дураками, а дураки умнеют и от нужды и от беды. Ты сюда к нам не ходи: у тебя торная дорожка — к миродёрам да в храм, где церковный староста — Максим-кривой, истязатель. А мы без тебя жили и будем жить в дружбе и согласии с поморцами.

— Ты — крамольник, — грозно оборвал его поп. — Ты в тюрьме сидел. Ты и сейчас народ бунтуешь.

Яков громко спросил попа:

— А ты, батюшка, не покриви душой перед сходом-то: покайся, за что тебя выпроводили из балашовского села? Там как будто старообрядцев-то нет, а мужики-то отрядили подводы, сложили твоё имущество, посадили тебя с попадьёй на телегу и во след тебе кулаками грозили да улюлюкали. Врут аль нет тамошние мужики-то?

Поп с кроткой улыбкой поднял свой посох и благочестиво изрёк:

— Отвечу тебе словами святой заповеди: «Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна». Вот он, этот раскольник, и выдал себя, как враг.

— Это кому враг? — в упор спросил его спокойно Яков. — Кому враг-то? Тебе или моим шабрам да сродникам?

Тихон ехидно напомнил попу:

— А на вопрос-то яшин ты, батюшка, так ответа и не дал. Яков — раскольник, я — крамольник. А ты кто, пастырь преподобный? Народ сказывает, что ты — мутило и обманщик. Почём продаёшь каждого из нас?

Вдруг, подпрыгивая и припадая на перебитую ногу, с подвязанной рукой, быстро подошёл к Тихону и Якову Костя и с судорогами на бледном лице, повернувшись к сходу, дрожащим голосом произнёс:

— Я — безземельный, я не к вашему обществу приписанный, а прожил с вами с малых лет и всех вас своими сродниками считаю. Вот и меня вместе с сельчанами мытарили и искалечили больше всех. Вместе с Тихоном да убитым Олёхой страдал. А за что? За верность, за нашу общую правду. И не каюсь я, а дорожу честью своей. Только надолго душа моя обмерла. А вот Тихон, друг истинный, да Яков, да тётушка Паруша, да учительница не оставили меня и воскресили. Ну, а этот вот священный сыщик вместе с сотским влезли ко мне да начали уговаривать, чтобы я следил за каждым шагом да за каждым словом учительницы и за людьми, которые у неё бывают. А то, мол, и другую руку мне выломают и другую ногу перешибут. На доктора клепал. Вот обо всём этом сходу изъясляю. Ничего я не боюсь — после моих мук бояться мне уж нечего, а предателем да шпионом я не буду.

Поп уже с откровенной злобой крикнул:

— Староста, ты видишь, что делается? Здесь при тебе позорят священника, а ты стоишь столбом! Или бунтовских речей не наслушался? Я владыке донесу.

Кто-то злорадно посоветовал:

— Ты, батюшка, поближе камешек брось — к стансовому аль к земскому.

Староста Пантелей, привыкший к гомону, неохотно встал, встряхнул красной бородой и тонкоголосо крикнул, вскинув толстопалую руку.

— Угомонитесь, мужики, перед батюшкой-то, аль гоже балагурить с ним? У него — сан. Не доводите до греха... Сотский, устраши народ-то!

Но сотский почему-то не тронулся с места, только устрашающе таращил на толпу глаза.

Тихон засмеялся и спокойно пояснил:

— Вот как вышло: святой отец к старосте да полицейскому, а не к богу с молитвой обращается. Внимайте, языцы, и покоряйтесь! Ты чего же, сотский, не устрашаешь?

Толпа гулко засмеялась.

Кузьяр, ликуя, шептал мне:

— Это он ст Тихона обалдел... Шагни к нему Тихон-то — он и в буре-рак от него скатится. Зато они с попом и спят и видят, как бы удостоить его...

Поп важно повернулся и медленным шагом пошёл к церковной оgrade.

На другую ночь мы опять с Кузярём сошлись на дежурство. Хотя нам и жутко было в беззвёздном мраке и безлюдной тишине, но мы храбрились и подбадривали друг друга твёрдыми шагами и чуткой настроженностью, как охотники за дичью.

— Вот так же мне летось пришлось в поле ночью работать... — шептал Иванка. — Тьма — хоть глаз выколи, тишина мёртвая, только кобылки да сверчки скрипят. А рядом, через долочек, — кладбище. Могилы-то известкой залиты, а мне всё мерещится, что это мертвецы в саванах сидят. А тут ещё гарь дымится, а звёздочки сквозь неё, как кровь, капают. И вот, откуда ни возьмись, плывёт на меня чернота чернее ночи. Я так и окоченел. Ну, думаю, и меня холера накрыла. И так мне досадно стало, чуть не взвыл от горя: не обидно ли помирать парнишкой-то? Только жить раззадорился, а меня смертная тать пришла обратить... Я даже на землю повалился и памяти лишился. Очнулся — а надо мной ангель молоньей крыльями машет, утешно так и прохладно машет... Машет крыльями, смеётся и шепчет, как ветерок веет: «Я — Молодева, жизни подательница, я — от Волги-реки, где леса дремучи, где молоньи-тучи. И вот за то, что ты, хоть и мал годами, трудишься да готов слезой землю окропить, приношу тебе дар — живую и мёртвую воду, благость народу». Не успел я очухаться, как загредел гром и ливень меня начал хлестать.

— Всё-таки наврал — не утерпел... — засмеялся я.

Выдумка Кузьяра мне понравилась: он как будто красивую сказку рассказал, а эта «Молодева» замерцала передо мной, как живая. Да он и сам верил в то, что рассказал, потому что в голосе слышалось взволнованное удивление.

— На кой мне врать-то? Я эту Молодеву в жизнь не забуду.

— Про Молодеву — это хорошо, — согласился я.

— То-то и есть! — обрадовался он. — Разве про такое виденье можно врать? Из души не плодятся шиши, — это ещё Микитушка говорил.

Перед мутными окошками прошла чёрная тень и растаяла во тьме.

— Божим — враз его настигнем! — всполошился Кузьярь. — Это не Шустёнок, а какой-то мужик.

Мы быстро слетели с пригорка и под козырьком ворот заметили высокого человека. Нам показалось, что он от нас притаился у ворот, а бешку накинул на плечи, чтобы мы не узнали его.

— Это кто тут? — с дрожью в голосе спросил Кузьярь, стараясь показать себя суровым. — Выходи! Показывайся!

Глухой, хриплый голос Кости ответил по-домашнему приветливо:

— А, это ты, Ванятка? И Федяшка с тобой? То-то я уж другую ночь примечаю вас на нашей горке.

— Это мы Шустёнка подкарауливаем, дядя Костя, — предупредил я его. — Это он камнем-то в окошко лукал.

— Живы не будем, а его сцапаем, — мстительно решил Иванка.

Костя дышал надсадно, со свистом, и я только в этот ночной час впервые почувствовал, что он очень болен.

— Это хорошо, что вы свою учительницу сторожите. И она вас любит — знаю. Только, ребяташки, тут дело не Шустёнком пахнет. Какой он ни есть полицейский выродок, а на учительницу у него лапа не поднимется. Елена Григорьевна кому-то поперёк горла встала. Тут не просто озорство, а гоненье. Хорошие наши мужики её уважают, а она привлекает их — не брезгает. Кто они, эти мужики-то? Тут не только Тихон да Яков: почесть вся деревня — бунтари. Разве кулаки, да поп, да полицейский могут это стерпеть? Я другого боюсь: как бы не нагрязнули к ней от исправника аль от земского да как бы её не скрутили... Идите-ка по домам.

Я ведь сам сторожу Елену Григорьевну. Я посильнее вас: у вас только палочки, а у меня — дробовик. Вот он.

И Костя вынул из-под бекешки ружьё.

— Он у меня давнишний: когда живы были родители, мы с братом на моховое болото на куликов да уток ходили. Я уж слушок пустил: ежели, мол, появится какая-нибудь шишига, я ей заряд пушу ниже пояса. А для охоты я уже сейчас не гожусь — отохотился и отработался. Вот как трудовики-то страдают!.. Ну, прощайте, ребятки! Вы люди понятливые и все виды наши видали. Идите, учительницу я в обиду не дам.

И он, сгорбившись и хрипло покашливая, пошагал вдоль плетня своего двора.

Этим и кончился наш доблестный подвиг. Кузьяр очень расстроился и долго молчал, провожая меня до перехода через речку, и только при расставании сказал с досадой:

— Не везёт нам с тобой, Федюк... Ну, да погоди, дай срок — мы сумеем показать себя. Хоть озоруй, да не горюй!

Елену Григорьевну я всегда заставлял за чтением толстых книг. Я не стеснял её, она так же, как и всегда, привечала меня, раскладывала передо мной на столе книжки и журналы с картинками, а сама углублялась в чтение. Иногда вздыхала и говорила изумлённо:

— Ах, какие есть замечательные книги, Федя! Целый мир открывается перед тобой, и чувствуешь, что человек — творец чудес, что земля родила его не для страданий, а для труда как радости. Он продолжает разумно создавать то, что не может возникнуть само по себе. Читай, Федя, добивайся каждый день, каждый год новых знаний. Без работы над собой человек — мертвец, в лучшем случае — рабочая сила или, как говорили рабовладельцы, — говорящий скот. А это нелепость. Скот не может говорить, потому что он скот. А человек не может не говорить, потому что он человек. Но язык он развил в себе потому, что стал создавать себе жизнь по-своему, то есть стал трудиться.

Такие разговоры вела со мной Елена Григорьевна часто. Она умела как-то удивительно просто и понятно объяснить самые сложные и, казалось, недоступные для паренька моих лет истины, потому что говорила от сердца, от любви к человеку. А мне думалось, что она говорила вслух сама с собой: на меня она не смотрела, но задумчиво вглядывалась в даль, а может быть, и в самую себя. Ещё до сих пор я слышу её голос, отчётливо помню её слова и вижу изумлённо-задумчивое её лицо.

Как-то при мне вечером ввалился к ней сотский с развязностью пьяного. Мне показался он действительно под хмелем.

— Здорово, учительница! Вот в гости пришёл. Как живёшь-поживаешь?

Елена Григорьевна гневно и твёрдо шагнула ему навстречу.

— А тебе какое дело? Ты зачем ко мне явился?

— Как это так — зачем? По службе, по должности, елѣха-воха. Мне приказано надзирать за пародом, вот я и надзираю, чтоб везде было чинно-благородно. Почему этот парнишка у тебя околачивается? А моего почему не привечаешь? А по каким делам Тишка у тебя со смутьянами гостует? И крамольники разные такие... Локти грызу, что студента твоего связать बारे не дали...

Елена Григорьевна, красная от негодования, неслыханно властным голосом крикнула:

— Убирайся вон отсюда! Сию минуту!

— Чего, чего? — сразу же растерялся он от неожиданного отпора учительницы. — Это меня-то?.. Захочу — и тебя законопачу... Я уже давно с батюшкой капкан на тебя приготовил.



Елена Григорьевна метнулась к столу, схватила широкую и тонкую линейку и шлёпнула Гришку по щеке.

— Вон отсюда, негодяй! За версту обходи это место.

Гришка согнулся и попятился к двери. В этот момент дверь распахнулась, и Костя здоровой рукой схватил за шиворот сотского и вытащил его за порог.

— Ну что, нарвался, дубина? А ещё в жандарах был... Ну и дурак! Скорее улепётывай, а то она не так ещё тебя отхлещет. А скажет барину Ермолаеву — и кувырком из сотских полетишь.

Елена Григорьевна смеялась у окна и похлопывала линейкой по ладони. А я прилип к окошку и задышался от хохота. Сотский вихляво трусил к переходу, спотыкаясь и хватаясь за шашку, которая била его по сапогам и мешала шагать.

В эти минуты Елена Григорьевна казалась мне очень сильной и гордой. И тогда же я понял, что гордость сильнее всякой силы, только гордость владеет силой. Такая маленькая и нежная девушка вытурила дылду сотского, которого многие забытые и затурканые мужики боялись, как полицейского с шашкой, потому что за ним стоит свирепый становой, а за становым — грозный исправник рядом с земским начальником. Я заливался хохотом, наслаждаясь позорным бегством полицейского, и мне чудилось, что это вихляется Шустёнок — такой же подлый дурак и трус.

Поразил меня и Костя: он тоже без опаски и без страха схватил его за шиворот и выволок в сени. Гришка и пальцем его не тронул, хотя мог бы одним взмахом кулака отшвырнуть его, больного, хромого, с искалеченной рукой. И я опять узнал новую истину: не в кулаке сила, а в сознании своей правоты. И слова песни, которую пела бабушка Анна, о том, что «правда-то рыдает, а кривда лютая спесивится», казались мне только жалобой рабов, о которых говорила Елена Григорьевна.

Ксстя не вошёл в комнату Елены Григорьевны, а плотно затворил дверь. Без зова он ни разу при мне не появлялся: и стеснялся и оберегал учительницу от сплетен. Во всём помогала ему Феня.

### XXXI

Осень и зима были полны событий, которые будоражили наше село от мала до велика и держали мужиков в постоянной тревоге. Вековой залуственный покой ушёл в прошлое, как старая быль, и о нём, вздыхая, вспоминали только старики. Ни в одной избе уже не было ни патриархальной устойчивости, ни мира, ни благодати: молодые мужики со своими бабами уходили на сторону или отделялись от отцов, перебирались в брошенные избы и хотя жили, как нищие, но первое время чувствовали себя вольготно, как люди, которые вырвались из-под власти стариков. В соседних сёлах тоже шла будорага. А в том селе, где был учителем Богданов, крестьяне толпой пришли к помещику и потребовали лесу на избы. Лес у их барина был большой, строевой. Помещик продавал его барышникам — вековые сосны рубились по участкам и на отпусках вывозились в город. Мужики жили в мазанках, и только миреды и зажиточные рубили себе сосновые пятистенки с крепкими дворами. Помещик прогнал мужиков и натравил на них собак.

Взволновалось всё село, и мужики на передках в сопровождении толпы поехали в лес. Во главе толпы стояли мужики, которые жили при школе вместе с учителем, и те, которые приходили к нему в гости на беседы. Нагрязнул земский начальник с полицией, забрал и связал этих мужиков, а срубленный лес увёз помещик к себе в имение.

Не проходило ни одной недели, чтобы не проникали слухи в наше село о бунтах в ближних и дальних сёлах: то голодные мужики выгребали из

господских амбаров зерно, то громили и жгли помещицьи усадьбы и угоняли скот, то где-то в базарном селе конный полицейский врзался в гущу народа и ударил нагайкой мужика, а рядом крикнули: «Наших бьют!» Толпа бросилась на полицейского, стащила с лошади, и начался самосуд, а когда нагрянули ещё несколько верховых, разразилось целое побоище. С завистью толковали о том, как в соседнем уезде мужики смело вошли в дом барыни и заставили её подписать бумагу на отдачу крестьянам в аренду земли за гроши. Барыня испугалась до смерти и не только подписала бумагу, но выдала и семена.

И везде целыми отрядами врывались в эти сёла и пороли на церковной площади всех без разбору — и стариков и баб. Толкуя вполголоса об этих событиях, вспоминали прошлогоднюю расправу над нашими мужиками, и у всех глаза наливались мстительной злобой. Озираясь, мужики туго сбивались где-нибудь меж амбаров и с угрюмой ненавистью гомонили:

— Поркой да острогом не возьмёшь... Всех не перепорешь, и острогов не хватит... Только ещё дураков у нас много: сами идут под розги. Какая там, к чёрту, община, мир! Вот Тихон с Олёхой морды полиции били. Даром, что их терзали да калечили, а честь свою они блюли. Вот о чём думать надо, мужики.. Держись скопом да дружно, как на кулачках, — никакая сила не пересилит.

Мы, подростки, толкались среди них, играли, бегая друг за другом, и слушали эти злые разговоры. Мужики на нас не обращали внимания: перед своими парнишками они совсем не таились. А мы с Кузярём чаще всего втискивались в эту мужичью толчею и чутко прислушивались к каждому слову. Мы уже хорошо знали характеры наших мужиков и могли безошибочно судить, кто из них смел и небоязлив, кто — трус, кто может стоять горой за всех, а кто глядит в сторону, молчит и говорит про себя: «Моя изба с краю — я никого не замаю», хотя бы у него не было ни кола, ни двора.

Особенно всполошились мужики, когда холодной, промозглой осенью в село нежданно-негаданно пригнали из стана толпу этапных мужиков с бабами и детишками. Раньше пригоняли по этапу человека два-три, а сейчас — целую артель. Оборванные, озверелые, они босиком месили грязь вёрст тридцать под конвоем верхового урядника и шестерых десятских. У избы старосты Пантелея, где была съезжая, всех сбили в тесную кучу и долго не отпускали по домам: староста с урядником сидели в избе и возились со списками. Со всех концов села прибежали мужики и старухи с бабами. Мужики сочувственно качали головами, по-приятельски переговаривались с угрюмо-злыми этапниками, дрожащими от холода, с детьми на руках. Они яростно посмеивались, нещадно ругались, простудно кашляли и рычали:

— Похватали нас... По острогам, как воров да грабителей, гоняли... и бабёнок с детишками... А чего мы тут делать-то будем? По миру крошки собирать? Там, на стороне-то, мы хоть кусок хлеба честным трудом добывали. А здесь вот и избёнки-то наши по брёвнам растащили. Ну, да всё едино тут не жить — опять уйдём, ни один не останется. Завтра же нас здесь не будет. Ищи ветра в поле...

Мужики с негодующим состраданием смотрели на них и, не стесняясь, костили начальство:

— Чего с людьми-то делают!.. Ах, супостаты окаянные!.. Чего им надо? Только и мордуют нас, мужиков...

Пришла и Паруша, опираясь на клюшку. Она по-хозяйски властно пробралась к растерзанным людям, низко поклонилась им и со строгой лаской приветила их. Потом повелительно пробасила:

— Это чего вы здесь, несчастные, стоите-то, детишек да бабёнок мучаете? Домой пришли — идите по своим углам, у кого избы сиротами стоят, а кои бездомные — шабры приютят. Чай, вы в своём селе, дома. Нечего вам тут чужаками стоять. Начальство-то радо над бездомными почваниться да поиздеваться. Идите, идите, дорогие мученики! Кто бесприютный, с младенцами, ко мне милости прошу...

Её сильное и сердечное слово как будто разбудило всех: женщины закричали, заплакали, а мужики взбудоражились и с радостным озлоблением засмеялись и замахали руками.

— Пошли, ребята!.. Бабы, шагайте вперёд! То-то, что мы для них хуже скотины... Не люди, а каторжники... Пошли!.. Достучаются, сукины дети,— ещё поспрадуем: сторицей взыщем за наши муки...

И все как один пошли по улице в сопровождении деревенской толпы.

Взволновалось всё село: только и разговору было, что о пригнанных по этапу. Голые, босые, голодные, с больными детишками, они ютились где попало — или у соседей, или в своих уцелевших выходах, а те, у кого ещё стояла заколоченная избушка, не разобранный за ветхостью мироедами, вошли в свои конурки, как в жигулёвки, — без постелей, без крошки хлеба. Бабы вопили в избёнках от бесприютности, оплакивая свою несчастную судьбу. В таких избёнках набивалось по две, по три семьи. Сердобольные соседки приносили им по куску хлеба, по кувшину квасу, варёной картошки в запонах и плакали вместе с ними. Паруша приютила у себя одну семью с простуженными ребятами и ухаживала за малышами, как за своими внучатами.

— Выщется с лиходеев,— ворчала она сурово.— Ни одна детская слеза не пропадёт даром, выживут дети — с собой в душе юдоль понесут. За что невинные младенцы мытарствуют? Вместо радости да благодати — скитанье да бездолье. Подсолнышки милые, вянете вы без солнышка. Ну, да переможете — сильнее станете, гнев в сердечках накопите, только бы не пропали, не надсадились бы...

А этапники в лохмотьях, с растрёпанными бородами и с чёрными лицами месили грязь босыми ногами, бродили из избы в избу и тревожили мужиков и баб своим видом, злобными жалобами и проклятиями. Заходили они и к нам в избу, одичалые, страшные, с безумными глазами, и, ругаясь, выли так, что дребезжали стёкла. Мать ставила на стол чашку щей и скорбно потчевала бедолагу. Он ел алчно, а потом молча и жутко плакал.

Через неделю все этапники ушли из деревни неизвестно куда.

Вторую зиму мы встретили без отца.

Отец уехал поздней осенью, внезапно, словно украдкой убежал из села. Мать, повеселевшая, не скрывающая своей радости, на другой же день пошла на барский двор — на подённую работу.

По вечерам, в синих сумерках, я встречал её на горе, у прясла. Толпа баб и девок возвращалась с разливной песней, а её сердечный голос, чистый, как будто хрустальный, звенел в запеве так хорошо, что у меня замирало сердце и слёзная судорога сжимала горло. Я подбегал к ней и с наслаждением подхватывал песню всей грудью. Должно быть, она, вольная теперь, опять, как на ватаге, переживала свою свободу с самозабвенным ликованием.

Осеннее небо было плюсово-синее, в звёздах, а прозрачный сумрак незаметно становился ночью, и крутые взгорья с буераками и тесные ряды изб и амбаров здесь, наверху, и там, внизу, за речкой, с далёкими копёшками гумен,— всё размывалось и тонуло в темноте. И, когда песня обрывалась на высоком девичьем подголоске, угрюмая тишина охватывала нас холодом и сыростью. И от этого всё казалось ближе и роднее,

и не хотелось расходиться по домам, хотя и изнурились все на молотилках и на уборке соломы. Где-то далеко, на столбовой пензенской дороге, дрожал и вспыхивал костёр: должно быть, там останавливался обоз на ночевую.

Так мы опять зажили с матерью вдвоём. Она каждый день ещё затемно уходила на барщину, а я до школы хозяйничал по двору: задавал корму корове и курам, ходил с вёдрами на коромысле за водой к колодцу, протапливал хворостом печь, варил себе каргошку на завтрак, а потом бежал в школу. По нашим расчётам, хлеба и картошки у нас хватило бы до весны, а пшено, постное масло, чай да сахар мы понемногу покупали в лавочке у старосты Пантелея. Самовар я ставил каждый день по вечерам, когда приходила с работы мать, и мы чаёвничали вместе с нею долго, с наслаждением. Возвращалась она с работы усталая, продрогшая, с обветренным лицом, с посиневшими руками, и, как только входила в избу, сейчас же бросалась к кипящему самовару и грела над паром руки.

После чая я садился за уроки: писал, решал задачки и вслух читал ей стихи Некрасова. А она слушала очарованно: забывала о шитье или о пряже и смотрела на меня сияющими глазами, думая о чём-то своём, о далёком и несбыточном. Я тоже смотрел на её лицо, стараясь постигнуть её думы, и замолкал. Она приходила в себя, вздыхала и просила жалобно:

— А ты читай, Федя, — уж больно гоже читаешь, словно песню поёшь. И как это читать-то ты выучился? Чудо-то какое! А я, кажись, в жизнь этой трудности не вынесла бы... Счастливый-то какой ты у меня!..

И вот тут-то я и загорелся: надо сейчас же открыть ей это «чудо». Она совсем растерялась, как девчонка, и со страхом замахала руками, когда я хотел показать ей буквы. Подчинилась она только в тот момент, когда я взял её за руку. В этот вечер она понятиливо запомнила пять букв и пропела несколько односложных слов. Это так потрясло её, что она уставилась на меня, застыла на минуту и трепетно обняла меня и прижала к себе. И я сразу понял, что эти пять букв и неожиданно рождённые ими слова, бессвязные, смешные и странные: «ах», «да», «дар», «пар» — огромное событие в её жизни, что для неё открывается какой-то новый, таинственный мир. Она счастливо засмеялась, и я слышал, как гулко билось её сердце.

В эту ночь мы долго не спали: никак не могли успокоиться. Она не верила, что ей посчастливится научиться читать и писать: ведь женщинам это трудно даётся, а в селе не принято баб учить. Только келейницы да безмужницы сидят на псалтыри да на часослове: они от миру отrekliсь, как приснодевы, у них всё земное взято, а им ничего не дано. Они вымаливают себе книжным песнопеньем рай и не расстаются с лестовой — лестницей на небо, но если бабы узнают, что Настя и гражданскую печать читает, они разахаются и на смех её поднимут. Но я её срезал двумя словами:

— А Раиса? А Прасковья?

Она покорно умолкла, но потом, вздохнув, с заботливой думой ответила не мне, а самой себе:

— Разве я им ровня? Они ведь себе дорогу проложили и кулаками и разумом. Они себе цену знают — гордые. И не сдни, не сиротами живут, они умеют людей за душу брать, а люди-то к ним льнут, как пчёлы к матке. Бывало, я около Прасковьи-то с Гришей ни робости, ни страха не испытывала, на всякий рожон готова была итти. Вспомнишь, как Прасковья Олёну воскресила да как всех словно на дыбышки поднимала, и думаешь: аль я не человек? Аль я хуже других? Аль мне путидорожки заказаны?

Я негодовал на эти её сетования и даже садился на постели от возмущения.

— И не слушал бы тебя, мамка! Да ежели ты захочешь, на любой рожон пойдёшь. На ватаге-то ты, как огонь, горела. А тут... Тебе и холера была нипочём: не боялась заразы-то — сама к покойнице тёте Паше помчалась.

Я не увлекался, не преувеличивал: я знал её лучше, чем она себя знала. Я любил её беззаветно не только как мать, но и как самого близкого друга. Она для меня была товарищем и как будто ровней, да и с ватажных дней она привыкла относиться ко мне не как к ребёнку, а как к самостоятельному парнишке, который не боялся и за себя постоять, и не ударить лицом в грязь на работе и в казарме, да и её, бывало, поддерживал в минуты слабости и болезни. Так и сейчас я чувствовал, что она верит мне, как большому, что считает меня сильнее и умнее себя, как обладающего даром книжной премудрости.

По вечерам я читал вслух книжки, которые брал в школе, и она слушала моё чтение ненасытно, с упоением. Она переживала судьбу героев, как свою личную, волновалась, бросала своё рукоделие и смотрела на меня или с ужасом, или с горестным сочувствием, или с нетерпеливым желанием узнать участь людей, которых она воспринимала, как живых и близких, или с наслаждением смеялась над потешными их поступками.

Так, когда я читал о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, она до слёз смеялась и над тем и над другим.

— Вот дураки-то! Как люди-то от жиру бесятся!.. От нечего делать!.. От скуки-то можно ума лишиться до душегубства.

Особенно понравился ей «Мцыри». Она слушала, забывая обо всём, и шептала про себя отдельные звучные стихи. Я перечитывал ей эту поэму не один раз, но что-то в ней было для неё тревожно-загадочным и угнетающим. Когда я заканчивал чтение певучих стихов, она долго молчала с лихорадочным блеском в глазах и со скорбной обидой в лице.

— Это чего он душу-то свою сгубил? — упавшим голосом спросила она однажды. — Зачем он опять-то назад, в темницу свою, воротился? Вырвался на волю и зверей не убоялся... И воля-то перед ним раздольем открылась... И вот тебе — опять в келье... Знамо, лучше умереть, чем в неволе томиться.

Зная её и чувствуя её тоску, я понимал, что говорила она не о Мцыри, а о себе, о своей судьбе. Как и я сам, она эту поэму о Мцыри никогда не забывала и сжилась с ней на долгие годы. Я же, читая её многократно, выучил всю наизусть. Но стихи Некрасова она слушала тревожно. Как-то она с грустной досадой сказала:

— Расстраиваюсь я, Федя, от этого чтения: горько да страдно, голодно да холодно... Аль мы это не знаем? Мы, бабы, лучше этого Некрасова умеем вопить да надрываться. А где отрада-то? Вот Мцыря-то хоть волю да силу свою почуял, сердце у него голубем забилося... И самой мне хотелось птицей улететь... А этот, Некрасов-то, только ещё больше тоску наводит...

К рождеству она, хоть и с запинками, читала мои книжки, но быстро уставала. Мне ясно было, что она решила побороть эту трудность и добиться такой же бойкости и лёгкости в чтении, какой обладал я. Но я не мог понять, почему она артачилась и нервничала, когда я клал перед нею на столе свою школьную тетрадку и карандаш. В глазах её трепетал страх, она прятала руки и отодвигалась на край стола, словно видела в этой простой тетрадке и карандаше что-то зловещее. Однажды я разозлился и закричал на неё. Она побледнела и застыла с мольбой в глазах. Я опешил, и мне самому стало жутко. В эту минуту мне даже почудилось, что в чулане кто-то со вздохом завозился, а по сумеречной комнате

призрачно проплыли тени. Я вспомнил, как бабушка Наталья разговаривала со своим домовым, и сам застыл от смутного ужаса. Но тогда я уже не верил ни в домовых, ни в чертей, ни в привидения — всё это первобытное и детское суеверие вытравили труженики ватаги, которые сами отвечали за себя и не боялись не только бога, но и нечистой силы кровососов-хозяев. Гриша, Харитон, Прасковья, Карп Ильич казались мне сильнее всяких чертей, а Иван Буяныч повелевал и морем. И мне уже смешно было представлять себе этих деревенских чертей с козлиными рогами и копытами, как бродячих голодных собак. Но мать невольно заразила меня странной тревогой и предчувствием какой-то беды. Так мы, онемевшие смотрели друг на друга и прислушивались неизвестно к чему. В её расширенных зрачках я уловил давно знакомую мне тьму, которой я уже привык не замечать. Эти волны душевных её переживаний были для меня непонятны, как тайна, и я чувствовал, что она в эти мгновения и видит и знает что-то непостижимое, чего ни я и никто не увидит и не узнает.

Эта её нервная чуткость и постоянное душевное беспокойство выражались или трепетным предчувствием каких-то событий в нашей жизни, или внезапной беспричинной задумчивостью, когда она вся уходила в себя и была похожа на «порченую», или ни с того, ни с сего веселела, ликовала, разливалась своими песенками без слов, смеялась и суежилась по дому, как девчонка. Впрочем, пела она про себя и в часы угнетённой задумчивости, очень тихо, очень печально, и я не раз заставлял её в слезах. В напевах её не было знакомых мне мелодий, словно в тех песнях, которые пелись всеми с давних пор, она не могла вылить своих чувств и дум, а создавала сама свои распевы, подбирала задушевные слова скорби и жалобы на свою несчастную судьбу, когда вопила и причитала вместе с бабушкой Анной. Должно быть, слова не нужны были ей для этих напевов: вероятно, они мешали ей выразить всю глубину её чувств, а мелодия свободно лилась из души и так же была трогательна и проста в своих переливах.

Но почему она боялась взять карандаш и выводить на тетради палочки и петьльки, — я никак не мог постигнуть этого. И только тогда, когда я с досадой бросил возиться с нею, она сама с судорожной улыбкой высказалась:

— Чай, я читаю-то, Федя, в себя. Каждое словечко пью, как капельку. А писать-то... Боюсь я, как бы себя не истратить: опустошишь душу, выложишь её на бумаге-то — и будешь несчастной, как дурочка. Ведь что утратишь — не воротишь.

Такой странной чепухи она никогда ещё не говорила. Я был ошарашен и не мог удержаться от хохота: так могла болтать какая-нибудь суеверная баба, которая ничего не знала, кроме своего чулана и кур, которая верила и в нечистую силу, и в сны, и в разные приметы, но ведь мать видала свет и хороших, умных людей и ко всяким поверьям относилась, как к пустым побасёнкам. Я смотрел на неё и заливался хохотом.

Однажды ночью, когда я сидел за уроками, она с поющей протяжностью прочитала:

Вчера я отворил темницу  
Воздушной пленницы моей...

И вдруг уронила голову на руку, лежащую на книжке, и заплакала. Я опешил и бросился к ней.

— Ну, чего ты, мамка... ни с того, ни с сего?..

Она подняла лицо, мокрое от слёз, и трепетно улыбнулась.

— Как хорошо-то, Федя! Сердце у меня встрепенулось... Вся обневела-далась: аль это я прочитала?..

Я засмеялся от этого её простенького счастья и сам взволновался.

Так проводили мы с нею длинные осенние и зимние вечера в своей старенькой избушке, как в скитской келье, одиноко приютившейся под крутой горой. Нам не было страшно ни в снежную бурю, которая выла и грохотала за окнами и потрясала стены, ни в безмолвные, глухие ночи, когда шорохи мышей чудились вознёй домового: мы оба были как ровесники и с одного взгляда понимали друг друга, а в молчании чувствовали один другого, как сами себя. Мы впервые в жизни переживали неистпанное наслаждение в душевном своём успокоении и в радостном сознании своей свободы и независимости. И оба мы одинаково чувствовали, что эти годы не прошли для нас даром: мы стали умнее, богаче душой, узнали то, чего не знали наши мужики и бабы.

Мне было приятно, что учительница видела в матери не обычную деревенскую бабу, молодость которой сгорала в рабской неволе и тупой покорности но женщину, которая знает иную жизнь, артельную, товарищескую, и которая мечтает об этой вольной жизни и хочет вырваться из тисков старозаветного, навозного житья. Она давно сбросила волосник, ходит в городском платье наперекор всяким пересудам и уж этой своей вольностью-вызвала смуту среди девок и молодух, а потом и уважительную зависть к себе. В моленную она ни разу не ходила. Как-то она сказала мне, когда я собирался в моленную послушать беседу и спор Якова с мужиками:

— Улиту-то на ватаге помнишь, чай? А я ведь не Улита. Она у меня с тех пор душу перевернула. Такие, как Улита, без хомута не ходят, да и других в хомут тянут.

Но я был уверен, что, появившись мать в моленной без волосника да в городском наряде, её с порога прогнали бы и богомольные старухи и старики и обесславили бы при всём народе.

После отъезда отца по праздникам начали похаживать к нам бабы — покалякать с матерью, поплакать, отвести с ней душу. Эти вечера похожи были на посиделки. Бабы часто являлись с рукоделием — с вязанием, с шитьём — и засиживались до позднего часа. Хотя они мешали мне готовить уроки, но я слушал с удовольствием их разговоры и тихие раздумчивые песни.

Разговаривали они о своих маленьких обидах, горестях и радостях, шёпотом сплетничали и посмеивались. Меня завораживала интимная праздничность этих вечеринок: каждая из подруг склонялась над своей работой, но работа как будто совсем не интересовала её, и пальцы шевелились сами собой, играя спицами и иголками. Обветренные лица, огрубевшие и постаревшие раньше времени, становились недомашними, далёкими от будничных забот.

Из семейных женщин приходили только две: покинутая жена Миколая Подгорнова — Ульяна — и парусина невестка — Лёсынька. Остальные две-три молодухи были солдатки, которые ушли из мужниных семей обратно в свой девичий дом, пока мужа были в армии. Эти «соломенные вдовы», как кукушки, не имели своего гнезда: они вылетели из двора свёкора, но и ко двору родного отца не пристали. Обычно они считались «вольными» и располагали собою, как хотели, не признавая над собою власти ни той, ни другой семьи. Работали они и на барщине, и у мироедов. Семейные, мужние бабы осуждали их, считали «потерянными» и сочиняли про них всякую небыль. Солдатки держали себя независимо и бойко. Сплетни и наговоры затурканных в семье баб льстили им. Они смеялись и озорно отвечали:

— Пускай себе лаются — это от обиды, что не им такое счастье на долю выпало. Ведь хаот да охалют от зависти.

Но они сами завидовали матери; завидовали не обидно, а старались подражать ей в приветливости, и в чистоплотности, и в умении одеваться приглядно.

В этой нашей старенькой избушке молодухи и солдатки находили и душевную отраду, и желанную вольность в разговорах, и утеху в обидах на упрёки и нападки в семьях, и соблазнительную дерзость в мечтах о своей бабьей свободе. Мать рассказывала им о ватажной вольнице, о рабочей артельности, о волнениях и дружной борьбе за то, чтобы всем жилось хорошо. В её рассказах люди казались очень близкими, родными, которых нельзя не любить и которых не забудешь никогда.

## XXXII

Мил Милыч безвыездно жил в своём селе, как медведь в берлоге. Перестал он ходить к Елене Григорьевне после того, как к нему сходил Костя и шепнул, чтобы он поберёг и себя и учительницу. Не приезжал и Александр Алексеич. Но однажды зимой он с котомкой за плечами зашёл к Елене Григорьевне и, беззаботно посмеиваясь, просидел у неё недолго, прочитал несколько своих стихотворений и простился с нею навсегда.

В моей цепкой памяти их разговор остался надолго.

— Теперь уж не губернатор, а земский начальник прогнал меня, Лёля, за крамолу, даже арестовать побрезговал. На Волгу путь держу — там раздолье и тьма рабочего люда.

Со мной он простился за руку, потряс её и с весёлой улыбкой проговорил:

— Ну, милый друг, не унывай! Веруй, надейся и жди — путь твой широк впереди.

Елена Григорьевна погладила его по лохматым волосам и сказала сквозь слёзы:

— Милый Богдаша, я уверена в тебе: ты не угаснешь — и бороться будешь и стихи писать... И я буду работать... в фабричном городе.

— Я знаю, Лёля... Антон — чудесный человек. А ты для меня — как родная сестрёнка... Расстанусь я с тобою больно... Мне на роду, должно быть, написано — быть гонимым мятежником...

Раньше я догадывался, что Елена Григорьевна любила Антона. Но теперь мне стало ясно: она его невеста. Приедет он весною и увезёт её с собою в неизвестный город, и я больше не увижу её никогда. И я больно почувствовал что-то вроде ревности к Антону.

— Попик-то у вас здесь — дошлый пастырь: не только охраняет своих овец от волков, но и сам рыщет по всем углам и закоулкам. Здесь вот, у вас, Лёля, он нашёл гнездо крамолы. А кто свил это гнездо?

Александр Алексеич выставил грудь, гордо ткнул в неё пальцем и засмеялся.

— Я!

Елена Григорьевна изобразила ужас на лице, сцепила пальцами обе руки и вскинула их к подбородку.

— Боже мой, какой вы страшный крамольник, Богдаша!..

И звонко засмеялась.

А он продолжал весело потешаться над собой и над своими недругами:

— Берегитесь и трепещите, дорогая девушка! Я заражён проказой бунтарства и вольнодумия. Недаром меня изгоняли из своих воеводств губернаторы. А сейчас и земские начальники с попами устроили облаву и спустили на меня свору псов.

Он вдруг стал серьёзным и озабоченным. С опаской взглянув на меня, он рассеянно улыбнулся мне и, решив, вероятно, что я в надёжных руках и секрета отсюда не вынесу, тихо сказал:



— Боюсь, как бы вас, Лёля, не побеспокоили. Мне сдуру дали понять, что я неспроста делал сюда набег.

Елена Григорьевна не ответила ему, а подошла ко мне и взяла меня за плечи.

— Оденься, Федя, и поднимись на горку. Знаешь для чего?

— Знаю.

Я на ходу надел шубёнку, схватил шапку и бросился к двери.

— Подожди! Если есть кто, ко мне не возвращайся.

Я вбежал на горку и огляделся кругом. Ни попа, ни сотского, ни Шустёнка я не заметил, зато увидел Максима-кривого: он брёл с палкой в руке вдоль амбаров.

Я повертелся на месте, изображая норовистого коня, и побежал к дедушкиной избе. Из-за угла избы Серёги Каляганова я взглянул на улицу и увидел, что Максим стоит у амбара Кузья, опираясь на палку, и смотрит вниз. Он, должно быть, наблюдал за избой Кости. Из-за амбаров выбежал Кузья и бросил в спину Максима большой мёрзлый шевях. Шапка слетела с головы Максима и упала на сажень от него. Он с воем обернулся назад, но Кузья скрылся за амбаром. Максим, ругаясь на всю улицу, наклонился над шапкой, но с другой стороны новый шевях ударил его в бок. Он взбесился и по-стариковски юрко побежал с палкой на отлёте к амбару. А Кузья выбежал из-за другого угла, подхватил его шапку и улизнул в узкую щель между соседними амбарами. Максим вышел, чтобы поднять шапку, но её на месте не было. Он искал её зрячим глазом и, ругаясь на чём свет стоит, пошёл, угрожая палкой, на длинный порядок — домой. Кузья ненавидел Максима так же, как и я. А с тех пор, как Максим хотел наклепать на мужиков начальству и потом в другой раз порол вместе с сотским Костю, Кузья только и думал, как бы позлее мстить ему при всяком удобном случае. По ночам он выбивал ему стёкла в избе, и Максим забирался в баню, пока не застеклял окон. А однажды, когда Максим ушёл тёмным вечером к попу, Кузья пробрался к нему в пустую избу, снял чуланную дверку, приставил её к выходной двери, а под неё поставил кочергу и ухват, осторожно вылез и плотно затворил дверь. Максим возвратился поздно, распахнул дверь, и на него обрушилось всё, что нагромоздил Кузья. Максим упал, одурев от страха, выполз на двор и с рёвом побежал к соседям. Такие проделки Кузья устраивал не раз и приклеивал хлебom бумажки, написанные печатными буквами: «Это за порку», «Это за ябеду», «Ворогу житья не будет». Поп в проповеди обвинил в этих проделках беспоповцев и крамольников, а староста с сотским на сходе грозили бесчинникам холодной жигулёвкой. Кое-кто из стариков и старух осуждал неуловимых озорников, но и в церковной ограде и дома люди потешались над Максимом. На сходе мужики встречали угрозы старосты и Гришки хохотом. Максима и боялись и ненавидели, и все злорадствовали, когда какой-то потешник устраивал с ним озорные проделки. Но никто не думал, что так зло мог озорничать кто-нибудь из подростков: все были уверены, что Максима изводит кто-то из парней или мужиков.

Когда Максим, размахивая палкой, торопливо прошёл без шапки по улице длинного порядка, я побежал к Кузьяю. Он стоял у своего амбара и, зло посмеиваясь, смотрел вслед Максиму.

— А я всё видел!..— крикнул я ему ещё издали.— Так ему и надо: он подсматривал за учительницей.

Мы хотали и следили за Максимом вплоть до его избы.

— Он больше сюда и ногой не ступит,— уверенно сказал Иванка.— Сейчас он понял, что тут ему не слобровать. Я его, сволочь, отучу ходить сюда. Это он швырнул камень в окошко Елены Григорьевны. А шапку

его я ночью надену на кол и воткну в конёк его избы. Вот смеху-то будет! Да я ещё не то надумаю.

И верно, на другой день шапка качалась от ветра на палке на самом коньке избы. Прохожие и соседи толпились на улице и потешались над очередной выходкой проказников.

Как-то я прогсворился у Елены Григорьевны, что выучил мать читать и писать. Она порывисто обняла меня и стала целовать, приговаривая:

— Милый мой, да знаешь ли ты, какой подвиг совершил? Ведь ты вывел самого родного человека из тьмы на свет. Разве тебе не радостно, что ты сделал для другого, пусть близкого, человека добро на всю жизнь? В этом и есть настоящее счастье.

А я, потрясённый, вдруг заплакал.

— Что с тобой, милый? Не плакать надо, а ликовать...

— Вот вы замуж выйдете и уедете. Я уж никогда больше вас не увижу...

— Ах, вон что!..— растрогалась она.— А разве ты не будешь мне писать, Федя? Я буду отвечать тебе. Да и ты с матерью уедешь отсюда. И хорошо: в городе учиться будешь, и люди там богаче душой. Ищи свою дорогу в жизни, не падая духом. А искать надо упорно. Людям служи, но не будь прислугой. У тебя хорошая мать: она всегда будет с тобой.

Я уже никогда не забывал этой неповторимой минуты: она ярко зажгла неугасимую искру в душе. С этой искрой я и шёл по тернистому моему пути.

### XXXIII

Масленица в минувшем и в этом году прошла скучно: катались с колокольчиками только богатые и справные, и улицы были пустые и даже обычных гостей с песнями не было. В каждой избе ещё не утешились от горя — от потери дорогих людей, не оклемались от пережитого голода и не оправились от разорения. Улицы обветшали: много изб и сараев стояло без крыш, а в разных местах зияли пустыри между избами в кучах мусора и гнилья. Это Сергей Ивагин разобрал по венцам избы убежавших должников.

Мужики говорили, поглядывая на беззубые улицы:

— Не Мамай прошёл, а мироед Ивагин разгулялся...

И мазанки и старенькие избёнки, занесённые снегом, казались могилами. Лошадёнки и коровёнки даже и через год не оправились: худые, костистые, зашарпанные, они шагали, как больные, с опущенными головами.

Хоть по обычаю и пекли блины в избах и мазанках, но ели их в поредевших семьях без коровьего масла и кислого молока, но с обильными слезами.

Весеннее половодье на нашей маленькой речке всегда было для нас большим событием. Ждали ледохода не только мы, ребяташки, но и взрослые. Даже древние старики и старухи выползали из своих избёнок и, опираясь на падоги, брели к высоким глинистым обрывам и к крутым спускам обоих берегов и застывали надолго, не отрывая глаз от бушующей реки, покрытой сплошной чешуёй заснеженных льдин с хрустальными изломами. Река разливалась по всей низине очень широко, а кузница Потапа и его изба на взлобке оказывались на узеньком полуострове.

Каждую весну барская плотина прорывалась, вода с грохотом и рёвом падала густой мутной лавиной в клокочущие вихри водомётов, в сугробы рыжей пены и густые клубы пара.

Крепкий лёд долго не отрывался от берегов и не ломался под напором донной воды, и она, прозрачная, густая, вырывалась из прорубей, текла поверх льда тихо, спокойно и уносила сор, навоз и жёлтые клочья пены.

В буераках и овражках звенели и рокотали ручьи, и потоки воды, подгрызая и смывая обрывы, сбрасывали вниз, в реку, целые глыбы обвалов. В эти дни тёплый и влажный воздух в солнечно-лазоревой дымке дышал запахами оттаявшей земли, перегнившей прошлогодней травы, распускающихся вётел и вербы и чем-то пьянящим и волнующим, что бывает только в эти пасхальные дни половодья. Всюду ощущается желанная тревога и радостное предчувствие чудесных событий, которыми так богата весна. Они совершаются каждый год, но кажутся всегда неповторимыми, необыкновенными, неожиданно прекрасными. Утром просыпаешься от смутного беспокойства и бежишь босиком со двора на вольный воздух по мокрой студёной земле, по узорчато переплетающимся ручейкам, по мягкому талому снегу. Высоко летают стаи галок, которые кружатся вихрями и орут от радости. Где-то посвистывают скворцы, и в голубой вышине величаво реет коршун. Солнышко — молодое, горячее. Кажется, что оно ослепительно смеётся нам, одетое в голубое небо, и любит землю, которую оно оживотворяет и обряжает зеленью и цветочками после зимнего оцепенения. И кажется, что и родная земля тоже радостно улыбается солнцу и небу и судорожно потягивается. И мне впервые понятно было, что ликующий и цветущий праздник — пасха — это торжество чудесного воскресения жизни. И всем своим телом, всей душой я пел вместе с землёю: «Ликуй ныне и веселися, Сионе!» Это «Сионе» звучало во мне, как сияние.

Река этой весной разлилась многоводно и широко: она поднялась почти до середины глинистого обрыва у пожарной, уносила с собой оползни и kloкочущими наплёсками подмывала берег. А здесь, в низине нашей стороны, вода тихо кружилась в рыхлой пене и как будто текла назад, плавно унося с собою мелкие льдинки и нагромождая их хрустальными кучками перед кузницей. А мутная река бурно неслась широким разливом в водоворотах и пене. Утром льдины плыли крупной чешуёй, перегоняя, сталкиваясь и раскалывая друг друга. По всей реке — кряканье и всплески. А ниже, на крутом повороте, под оползнями высокой горы, вся масса льдин упиралась в каменные пласты, как в гигантскую стену. Они громоздились одна на другую, кувыркались, дробились, сползали опять в kloкочущий поток воды, ныряли, выпрыгивали, переворачивали другие и разбивали на мелкие осколки. На этих снежных и грязных островках плыли кучки навоза, соломы, какие-то тряпки, разбитые лапти, старые плетушки и всякая дрянь. Это проходил наш деревенский лёд, начинаясь от барской мельницы, а потом бурлила чистая вода.

Льдины громоздились из пруда на перекатах на крутом извиве реки под барским обрывом и вырастали хрустальной плотиной с берега на берег. Но потом в какой-то неожиданный момент эта плотина ломалась, и льдины сплошняком прорывались в нашу воду, чистую ото льда. Наступал второй ледоход.

В один из этих дней прибежал ко мне с барского двора Гараська, празднично одетый в новый пиджачок, в аккуратненьких сапожках, в серой кепочке блином. Белобрысенький, белолицый, румяный, курносенький, он ещё издали смеялся мне своими круглыми глазами и покривал стихами:

Весна идёт, весна идёт!  
Мы молодой весны птенцы!

— Не птенцы, а гонцы, — поправил я его, бегом пускаясь навстречу ему в гору.

— Нет, птенцы. Нас никто не гоняет: мы сами летаем, как вольные птицы.

Мы столкнулись с ним в обнимке и засмеялись от беспричинной радости.

— Я к Елене Григорьевне бегу,— вдруг спохватился он,— да вот увидел тебя и не удержался... Ведь я только с тобой дружу, у меня здесь товарищей, кроме тебя, нет. Да и дружить с тобой интересно.

— А как же ты к Елене Григорьевне доберёшься? — удивился я.— Ведь все переходы снесло, а вода-то... Видишь — почесть до петькиной избы разлилась.

Он сделал печальное лицо, сдвинул брови и строго уставился на меня.

— Умер молодой Дмитрий Дмитрич... от чахотки... Ну, меня и послали сообщить учительнице. Он ведь очень уважал её... и всё к себе требовал...

И вдруг опять вспыхнул и как будто расцвёл. Глаза его широко раскрылись и заголубели, и в них заиграло восторженное удивление.

— Понимаешь... Утро, солнышко во всё небо... А он кричит: «Вынесите меня к весне!» Мать плачет, отец мечется по комнатам и бороду рвёт... Ну, вынесли его з кресле в сад... А он как будто весь засветился, заплакал, а потом засмеялся. Это папаша мне говорил. Попросил себе земли и сказал матери и отцу: «Пошлите к Лёле — это к Елене Григорьевне,— пошлите к ней Гарасю...» Меня выбрал, понимаешь! — вскрикнул гордо и растроганно Гараська. — Меня не забыл!.. «Пускай,—говорит,— скажет ей, что я при ней думал только о хорошем...» Поднял он руки к солнцу, улыбнулся и умер.

Гараська так изобразил умирающего Измайлова и так волновался, что я сам стал повторять его жесты, выражение лица и слова — переживать вместе с ним это событие.

Этот красивый, молодой Дмитрий Измайлов, с русой бородкой и маленькими усиками, с глубокими грустными глазами, бледный, сухощавый, очень понравился мне ещё в тот день, когда он со студентом Антоном приезжал на дрожках к нашему колодцу.

И странно, сейчас, когда Гараська так живо рассказывал, как помирал этот молодой Измайлов, я не чувствовал никакой жалости к нему, а его умирание показалось мне необычным и сказочным: будто вспыхнул он и исчез в лучах солнца. То же самое, вероятно, чувствовал и Гараська: он весь сиял на солнышке, и в курносеньком лице его и в круглых синих глазах играл восторг и удивление перед неожиданным и поразительным чудом. Может быть, он и придумал, присочинил что-нибудь в этом своём рассказе, но я верил каждому его слову: в этот солнечный день ледохода, в воскресение весны всё казалось чудесным.

Гараська опомнился и встрепенулся.

— Бежим на берег. Елена Григорьевна стоит на обрывчике, под сиротским порядком. Там и Ваня Кузьярь: я сверху их увидел.

Мы побежали вниз по дороге мимо потаповой избы и свернули на ровную полянку, которая упиралась в реку чернозёмным обрывчиком, а она подмывала его каждое половодье. Елена Григорьевна стояла с тёплой шалью на плечах у края такого же обрывчика на том берегу. Иванка Кузьярь с рогатинкой в руке что-то пылко рассказывал ей, а она смеялась.

Мы крикливо поздоровались с нею, и она приветливо помахала рукой. Её волосы светились на солнце и казались золотыми. Я издали видел её радостные глаза, сплошную полосу белых зубов и дрожащий от смеха подбородок.

Иванка крикнул нам:

— Ага, хоть видит око, да зуб неймёт. Голодный Прошка из-за крошки и море переплывёт на ложке. Вот и прыгайте сюда чехардой!

Но Гараська сразу погасил его озорные крики вестью о смерти молодого Измайлова. Елена Григорьевна остолбенела, и лицо её вдруг стало

испуганно-строгим. Она почему-то набросила шаль на голову, и лицо её стало маленьким, бледным и чужим.

— Нельзя ли где-нибудь перебраться через речку, Ваня?

Кузьяр в радостном порыве кинулся к ней, сдвинул шапчонку на затылок и, не раздумывая, позвал её за собой.

— Я знаю, где можно перейти. Вы и ножки не замочите, Елена Григорьевна. Я сам проложу вам дорожку.

— Ой, Ваня, какой ты смелый! Для тебя не существует никаких опасностей.

И она заторопилась вслед за Кузьярём. Мы с Гараськой тоже пошли по своей стороне, не отставая от них.

Елена Григорьевна следила за приткой и ловкой фигуркой Кузьяря в залатанной шубейке и ласково посмеивалась. А я гордился своим неизменным другом и верил в его храбрость и сметливость. Уж если он так решительно повёл учительницу вверх на переход, значит он уже был на ледяном заторе и сам переходил через этот мост. В дни половодья он всегда казался взвинченным, встревоженным и, как бы ни был занят по хозяйству, бегал со своей рогатинкой по берегу от колодца до глубоких оврагов перед барской мельницей. Раньше, когда мы были маленькими, он часто выдумывал всякие страшные и забавные истории и сам верил в свои выдумки, но не врал ради одного вранья. Жизнь в деревне была тихая и скучная, отец его был забитый, робкий и молчаливый человек, мать всё время хворала, и не было у него ни в чём отрады. А парнишка он был нервный, деятельный, любознательный. Вот он и выдумывал всякую небывальщину и поражал ею и меня и других парнишек. И не проходило дня, чтобы он не устраивал борьбы или кулачной схватки, или не надумал какой-нибудь шалости, которая нередко кончалась дракой. Во всех своих проказах он старался показать своё превосходство, смелость, находчивость, хотя и сам попадал впросак. Но особенное удовольствие испытывал он от войны с барчатами: стоило им показаться на длинном порядке, на дороге в Ключи или Варыпаевку, верхом на сытых глянцевого лошадей, Кузьяр криком сзывал парнишек и преследовал нарядных всадников комками засохшей грязи или голышами, которые он постоянно носил в карманах. Он неугасимо горел ненавистью к своим врагам и мечтал о всяких каверзах, которые не давали бы житья барским выродкам.

Но теперь он подрос, позрелел, а те беды, которые он пережил в голодный и холерный год, хотя и не утомили его мятежный характер, зато он перестал проказничать. Он стал вдумчивым хозяином, а избыток сил и свой спокойный умишко уже направлял на учебу. Он преданно полюбил Елену Григорьевну, привязался к ней, задачки решал раньше всех, а на уроках объяснительного чтения схватывал всё на лету, высказывался подчас так вольно и прямо, что учительница тревожно обрывала его и притворялась строгой, чтобы укротить его и заставить замолчать. Но она любовалась им, охотно и живо разговаривала с ним по дороге из школы.

Вот и сейчас я чувствовал в нём человека, который не бросает слов на ветер, а отвечает за своё поведение: он вёл Елену Григорьевну к переходу через лёд наверхьяка и всем своим гордым видом и уверенностью в себе показывал, что он готов жизнью отвечать за учительницу.

Река неслась быстро, урчала, пыхтела и плескалась в водоворотах. Глухой шум плыл нам навстречу, и звонкие ручьи, которые на каждом шагу пересекали нам дорогу, играли в камнях и овражках, сверкая на солнце.

Над нами взлетала высокая обрывистая стена в оползнях и в рёбрах каменного плитняка. Впереди она загибалась направо, а на том берегу острым ребром выступал глинистый обрыв, прорезанный ровными пла-

стами плитняка и спрессованной гальки. Дальше от обрыва расстились поля, пятнистые от проталин. Здесь, в этом узком ущелье, ещё издали видна была ледяная запруда. Большие льдины громоздились ребрастыми кучами одна на другой, белые сверху и прозрачно-голубые в расколах. Из-под них и между ними бурлила грязная вода, а дальше по широкому плёсу льдины сплошь покрывали заводь. Чудилось, что этот затор колыхался в середине и у нашего крутого берега, что держался он неустойчиво на каком-то донном гребешке. И когда я увидел эти ребрастые глыбы льда и набухшую, спокойную поверхность заводи, я ужаснулся дерзости Кузяря: как можно переводить учительницу через этот страшный гребень, который вот-вот сорвется с рыхлого переката, с грохотом и гулом ринется вниз по реке и густое скопление льдин понесётся в этот прорыв сокрушительной лавиной.

Елена Григорьевна остановилась перед этой ледяной плотиной и растерянно проверила её озабоченными глазами. Я заметил, что ей стало страшно и она не решается пройти по исковерканным нагромождениям льда, скользкого, мокрого, покрытого рыхлым снегом.

Иванка вскочил на льдину, которая выползала на берег, и, опираясь на рогатинку, протянул руки учительнице.

— Прыгайте, Елена Григорьевна! Не бойтесь! Я вас проведу, как по дощечке.

А я в ужасе закричал:

— Да сперва сам пройди через этот мосток. Вдруг лёд-то тронется...

Гараська, бледный, осовелый, следил за Кузярём и бормотал:

— Ах, чёрт калёный! Вот так отчаянный!

Елена Григорьевна, не подавая руки, молчала и пристально вглядывалась в наплывы льда. Кузярь смело запрыгал по гребешку навороченных льдин и вонзил в них свою острую рогатину.

Мне стало вдруг стыдно перед Еленой Григорьевной за свой страх и робость: вдруг она по лицу увидит, что я жалкий трусишка, и отвернётся от меня навсегда.

Может быть, свойственный парнишке моих лет задор и инстинкт познания толкнули меня сбегать с обрывчика на большую льдину, которая упиралась в берег. Я решительно перешагнул через острое ребро торчащей поперёк льдинки и очутился на ровной покатою ледяной плите, покрытой ноздристым снегом.

Навстречу мне резво шагал Кузярь и трунил надо мною:

— Гляди, гляди! Берегись! Льдинка-то под тобой гнётся. Ухнешь вот — и нет тебя на свете.

Но он сам внезапно поскользнулся, взмахнул рогатиной и шлёпнулся на гладкий хрустальный обломок льда. Елена Григорьевна вскрикнула, а он задорно засмеялся. Но я чувствовал, что лёд под ногами тяжело зыбился, вздрагивал и поскрипывал. Я запрыгал по льдинам на помощь Кузярю, который барахтался на скользкой поверхности льдины и не мог встать на ноги. Сапоги его бултыхались в воде. Он схватил меня за руку, вскочил и смущённо засмеялся. Льдины заколыхались и передвинулись в стороны. Я испугался: мне показалось, что мост сейчас сорвётся и мы вместе с Иванкой грохнемся в бушующую воду. Около нас очутился и Гараська. Попрежнему бледный и осовелый, с застывшей улыбкой, он пробрался к нам, очевидно, из желания доказать, что и он ничего не боится. Кузярь сразу же стал атаманом: он приказал Гараське стать на своём берегу, а мне посередине, сам же возвратился к Елене Григорьевне и требовательно протянул ей рогатину.

— Ну, идите, Елена Григорьевна! Сами видите, что мостище-то такой — хоть на тройке проезжай.

Лицо Елены Григорьевны вспыхнуло, и она, решительно схватив древко рогатины, прыгнула на шершавую от зернистого снега льдину. Так Кузьяр провёл её до меня, но мне её не передал, а скомандовал выбирать дорожку на льдинах выше к гребню, чтобы не поскользнуться. Так мы пробрались до прибрежных нагромождений льдин. Но тут вдруг перед нами льдины зашевелились, затрещали и полезли одна на другую. Я перепрыгнул на льдину, лежащую на берегу, схватил руку Елены Григорьевны и рванул к себе. Елена Григорьевна испуганно крикнула и вскочила на льдину, которая тронулась от толчков других льдин, закачалась и залилась водой. Елена Григорьевна поскользнулась, но каким-то чудом я удержал её. Кузьяр заорал:

— Держись, Федя! Гараська, помогай!

Учительница успела всё-таки выскочить на берег, но вода налилась ей в башмаки. Она как будто не заметила, что могла упасть вместе со мною в воду, которая уже клокотала через льдину, и требовательно крикнула:

— Ваня, назад! Федя, сейчас же сюда, на берег! Видите, весь лёд движется... Ваня, лучше прыгай сюда — обратно уже не пройти... Ах, как это неудачно! Ну, зачем я тебя, Ваня, послушалась?

Кузьяр сам испугался: он растерянно озирался, оглядывался назад, где льдины, как будто живые, переворачивались, шлёпались друг о друга, словно боролись, и с грохотом падали в воду. Елена Григорьевна протянула к нему руку с обрывчика и пыталась спрыгнуть вниз, но Гараська изо всех сил держал её за другую руку.

— Елена Григорьевна, нельзя!.. — кричал он, готовый заплакать. — Я не пушу вас... Разве можно? Там сейчас водопад...

Мы с Кузьяром стояли лицом друг к другу на двух льдинах: я — на береговой, уткнувшейся в топкую грязь обрывчика, он — на большом обломке, припаянном к торосам. Между нами уже клокотала рыжая вода и уносила густую кашу мелкого льда. Она с каждой секундой заливала льдины, раскачивала их и толкала в прорывы.

— Прыгай ко мне, Ванёк! — кричал я Кузьяру. — Смелее! Давай руку!.. Назад уж не воротиться!

Учительница строго приказывала ему:

— Ваня, я требую, чтоб ты подчинился мне. Немедленно — сюда! Слышишь? Ты хочешь, чтоб я бросилась спасать тебя?

Она спрыгнула с обрывчика, но глубоко увязла в жидкой грязи, взбухшей от подземных ключей и множества ручейков, сбегających с горы.

— Ваня! — отчаянно кричала она. — Прыгай же, пока не поздно. С рогатиной легче перескочить. Ну же!.. Не убивай меня, Ваня!

А я надсадно кричал:

— Подох ты, что ли, дурак! Или потонуть захотел?

— Да я и так хочу перепрыгнуть, чего вы беситесь? — уже смущённо оправдывался он. — Ну-ка, Федюк, подхватывай меня!

Но в этот момент позади Иванки с треском и грохотом всё нагромождение льда медленно и неповоротливо двинулось вниз по реке, и кучи льдин, напирая одна на другую, крушились вдребезги, разбрасывая хрустальные осколки в разные стороны. Наши льдины столкнула с места какая-то огромная, не осязаемая нами сила, и они плавно поплыли по реке. Льдина Иванки закружилась и перегнала мою, а моя льдина, большая, квадратная, покачиваясь на водоворотках и всплесках, шла неподалёку от берега. Вода плескалась в края, но не заливала её: вероятно, я был для льдины не тяжёл. Иванка норовил достать рогатиной дно, но древко было короткое и купалось в воде. Он кричал мне:

— Ничего, не бойся, Федюк! Мы в берег ткнёмся на повороте. У кузницы мелко, и я рогатиной и свою и твою чку пригоню на отмель

По откосу за нами бежала Елена Григорьевна с Гараськой. Они махали нам руками и что-то кричали. Но я не слушал, а в ужасе смотрел на кипящую воду и на серую чешую льдин, которые обгоняли нас на середине реки, а некоторые отрывались от своей гряды и сворачивали к нам. Леденя от страха, я беспомощно ждал, что вот-вот догонит меня большая льдина, ударит в мой пловучий островок, расколется и я ухну в бушующую пучину. Иванка всё время работал своей рогатиной, как веслом, и подгонял свою льдину ко мне и ближе к берегу.

С обеих сторон люди заметили нас и в смятении забегали по обрывам. С нашей горы и со взгорья того берега стали сбегать к нам мужики и парни со слагами из прясла, с деревянными лопатами и что-то орало наперебой — должно быть, ободряли нас и обещали вызволить из беды. Елена Григорьевна с Гараськой не отставали от нас, но были далеко: на разливе нас отнесло от нашего низенького берега, хотя здесь река текла не так стремительно, как на середине и у того, высокого берега в буераках.

Кузьяр сразу ожил и победоносно крикнул мне:

— Ну, наша взяла, Федяха! Дно достал. Сейчас я подплыву к тебе и подтолкну к кузнице. Тут уж рукой подать. Да и народ бежит. Да только вот Елену Григорьевну заставили бежать за нами... Эх, и чего она беспокоится?.. Аль мы маленькие? И чего она сделает, чем поможет? Только поахает! А всё-таки мы с тобой здорово поплавали, хоть маленько и поплакали...

— Подталкивай к берегу! — кричали мужики и бабы с обоих берегов. — Подталкивай! Ах вы, озорники, греховодники! Драть вас некому...

Иван уже задорно смеялся и откинулся:

— Мы хорошее дело сделали, а не озоровали. Попробовали бы вы, бородачи, в нашей шкуре побыть. Ни смелости у вас, ни сноровки не хватит!

Он толчками подводил меня к кузнице по спокойной заводи, где река уже кружилась на песчаных отмелях. Его льдина с каждым толчком всё ближе подплывала к берегу. Своей рогатиной Иванка уже твёрдо упирался в дно и всё чаще и быстрее подгонял меня к оторочке льдин, которые застряли здесь после первого ледоплава. Когда я почувствовал, что льдина зашуршала по песку, я быстро выскочил на берег и сразу попал в объятия Елены Григорьевны. Она целовала меня, плакала и смеялась.

— Боже мой! Какое счастье! Спаслись! Родные мои! Простите меня: это я виновата.

А Иванка со своей льдины с весёлым задором утешил её:

— Ничего вы не виноваты. Мы своё дело делали да, по крайности, ещё поплавали вдоволь.

— Ну, выскакивай сюда, Ваня! — нетерпеливо, сквозь слёзы, радостно звала его Елена Григорьевна. — Мы вместе с тобой застрянем здесь дня на два до спада воды. Милый мальчик, и целовать тебя хочется и поругать за опрометчивость.

Подбегали к берегу мужики и парни со слагами и лопатами. Одни смеялись, другие ругались и грозили надрать нам волосы. На высоком яру, перед пожарной, тоже толпился народ, и там кричали, ругались и смеялись. Но и в этой ругани и угрозах слышалось весёлое удивление перед нашей дерзостью.

Иванка помахал нам шапкой и оттолкнул свою льдину от берега.

— Я домой поплыву... Прощайте!

Елена Григорьевна бросилась за ним и сердито закричала:

— Назад, Ваня! Не смей рисковать! Утонешь, Ваня. Я приказываю тебе выйти на берег.

— А кто за меня дома-то будет? Чай, я — один работник-то по хозяйству. Сами увидите, как я ловко на этом корабле переплыву.



Льдина закружилась и быстро отплыла от берега, а Иванка упирался в дно и гнал её на быстрое течение, к густому ледоходу, от которого отрывались отдельные льдины и ледяная каша заносилась в нашу сторону. Учительница побежала по грязи вдоль берега. Мужики, бабы и девки сбегались к нам и кричали, не поймёшь что. А слышал я только одно:

— Ах, дьяволёнок! Ах, сорванец!.. Безотцовщина!

На той стороне, наверху, тоже кричали и махали руками. Иванка закричал Микольке, который стоял перед пожарной и грозил ему кулаком:

— Миколья, беги, тащи верёвку! Я подплыву к берегу, а ты мне её кинешь...

Стараясь сохранить равновесие, он стоял на середине льдины и очень осторожно и расчётливо подталкивался всё ближе и ближе к быстрому ледяному потоку. Люди перестали кричать. Остановилась и застыла на месте и Елена Григорьевна. Мы с Гараськой догнали её и стали рядом с нею, не спуская глаз с Кузря. Миколька уже бежал с верёвкой вниз по склону взгорья.

Все трое мы ахнули: Иванка ткнулся в одну из льдин и поскользнулся, но рогатины не выпустил. Вода хлынула на него и облила до пояса. Но он успел перепрыгнуть на другую льдину и, не останавливаясь, перескочил на третью. Люди у пожарной опять закричали и побежали за Миколькой. Они наперерыв что-то советовали Иванке, но он их не слушал, поглощённый борьбой со льдинами: одни он отталкивал, чтобы пристать к другим, большим, и перепрыгнуть на них. Его маленькая фигурка казалась совсем беспомощной.

Так он добрался до последней льдины с того края и стал быстро и устойчиво подгонять её к берегу, отталкиваясь рогатиной от плывших рядом с ним льдин. Подбежал Миколька и наотмашь бросил ему целый моток верёвки. Она развернулась, и Иванка схватил её на лету.

— Тяни, Миколья! Не дёргай, а тяни! — распоряжался Иванка уверенно и бодро. — Наша взяла! Нам и сам чёрт не брат.

Миколька подтянул к себе льдину, и Иванка выпрыгнул на берег.

Елена Григорьевна радостно крикнула ему сквозь слёзы:

— Ваня, дорогой мой! Озорной мой!

А он сорвал шапочку, подбросил её кверху и задорно откликнулся:

— Ура, Елена Григорьевна! Гром победы раздавайся!

Елена Григорьевна с судорогой в горле повторяла в восторге:

— Какой молодец! Какой изумительный мальчик! Какая выдержка!

Кто-то из мужиков с злым сожалением громко говорил:

— Вот бы выпороть-то кого... Не мой сын, — я бы ему шкуру-то содрал.

Елена Григорьевна с той же взволнованной радостью ответила:

— Не пороть, а гордиться надо таким парнем.

Мать, потрясённая, быстро бежала нам навстречу и смотрела на меня молча, с ужасом и радостью в широко открытых глазах. И только в ту минуту, когда она обняла меня, упавшим голосом проговорила:

— А ежели бы ты утонул? Ведь и мне тогда не жить.

Елена Григорьевна ласково утешила её:

— Не ругай его, Настя. Это — не баловство. Ни я, ни они этого не забудут. Умер молодой Измайлов, а они вот с Ваней перевели меня на этот берег.

Но мать тихо и задушевно сказала:

— Я знаю, они на плохое не пойдут.

*(Окончание следует)*



## К 10-летию Корсунь-Шевченковской битвы

С. СМИРНОВ

★

### СТАЛИНГРАД НА ДНЕПРЕ \*

#### 9. ТАНКОВЫЙ ТАРАН

**Т**ридцать первого января разведчики генерала Трофименко задержали близ линии переднего края подозрительного человека, пробиравшегося в сторону сёл, занятых окружёнными войсками. Задержанного доставили в штаб, где вскоре неоспоримо установили, что все его документы — явная «липа» и что в руки к нашим солдатам попался важный лазутчик противника.

Задержанный оказался немецким офицером-разведчиком бароном фон Яген. Он был послан через фронт к генералу Штеммерману, чтобы согласовать с ним все детали задуманного в штабе Манштейна встречного удара. Поняв, что его игра окончательно проиграна, фон Яген тут же рассказал всё, что знал о плане будущей операции.

На ближайшем к Лисянке участке фронта немецкое командование сосредоточивало три танковых и несколько пехотных дивизий. 4 февраля они должны были перейти в наступление и прорвать внешний фронт наших войск в сторону Лисянки. В этот же день начнутся сильные атаки с юга, на Шполу и Лебедин. И одновременно на юго-западном участке кольца рванутся к Лисянке дивизии Штеммермана.

Всё, что рассказал пойманный немецкий разведчик, только подтвердило те сведения, которые к этому времени уже были у нашего командования. В последние дни января наша разведка и воздушные наблюдатели стали отмечать усиленное передвижение противника северо-западнее Звенигородки, в том секторе фронта, где оборонялись войска Ватутина. От Умани туда поспешно подтягивались танковые части, перебрасывалась пехота и артиллерия. Немцы, несомненно, готовились к крупному наступлению.

Показания фон Ягена лишь помогли уточнить силы противника и сроки его наступления. Теперь оставалось организовать отпор, и нужные меры были тотчас же приняты.

Получили подкрепления войска Ватутина, которым предстояло отражать главный удар немцев. Северо-западнее Звенигородки начали сосредоточиваться переброшенные сюда с другого участка фронта танковые части генерала Богданова. Они должны были не только обороняться в этом районе, но и нанести врагу ответный контрудар. На южном участке внешнего фронта наши позиции были усилены артиллерией. По всей окружности кольца наши войска усиливали свой нажим так, что противник нигде не получал передышки и не имел возможности ни в одном месте снять свои части, столь необходимые ему для прорыва.

Фон Яген не солгал. Утром 4 февраля немцы начали наступление на десятикилометровом фронте северо-западнее Звенигородки. Здесь, на главном направлении, противник бросил в бой больше сотни самолётов и полтораста танков, во главе которых шли «тигры» и «пантеры» эсэсовской дивизии «Адольф Гитлер».

В это же время начались сильные атаки на юге, а со стороны котла две пехотные дивизии окружённых с танками и самоходками «Викинга» двинулись на окопы наших стрелков.

Бой длился до позднего вечера. На юге все атаки в сторону Шполы и Лебедина были отражены. Войска Штеммермана тоже достигли немногого — к исходу дня они вытеснили нашу пехоту лишь из одного села, педёшево заплатив за этот мизерный успех.

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Зато на главном направлении — северо-западнее Звенигородки — противнику удалось вбить танковый клин в линию нашего внешнего фронта. Он потерял здесь около сотни машин, но всё же часть танков дивизии «Адольф Гитлер» прорвалась далеко к северу. В ночь на 6 февраля эсэсовские танки появились в сёлах Косяковке и Антоновке.

Тут, около этих сёл, десять дней назад проходил рубеж, с которого начали своё наступление пехотинцы генерала Трофименко. Сейчас дальнейшее продвижение немецких танков на север грозило опасными последствиями. Всего в десяти—пятнадцати километрах севернее и северо-восточнее Косяковки и Антоновки находились штаб и тылы войск Трофименко.

То была тревожная ночь. В штабе не спали, и машины стояли наготове на случай прорыва танков противника. Охрана штаба заняла оборону на окрестных холмах.

Весь день 6 февраля бои шли севернее Косяковки и Антоновки. Наша пехота и артиллерия остановили здесь немецкие танки, не пуская их дальше на север. А южнее вступившие в бой танкисты Богданова всё больше усиливали свой натиск, стараясь срезать забитый немцами клин.

С каждым часом силы немцев иссякали, а генерал Богданов бросал в атаки всё новые отряды своих танков. И на следующий день, 7 февраля, противнику стало уже невмочь сдерживать эти атаки. Танки его, покинув Косяковку и Антоновку, начали медленно пятиться назад, к югу. Часть машин к этому времени осталась без горючего и застряла на полдороге, отрезанная от своих. Немецкие танкисты закопали машины в землю и, заняв круговую оборону, продолжали драться в окружении.

Непосредственная опасность выхода танков противника на тылы пехоты Трофименко миновала. Но немцы не были отброшены на исходные рубежи. Силы их были достаточно велики для повторного наступления, и вдобавок сюда подтягивались свежие дивизии от Умани. Немецкое командование поспешно готовило свой танковый таран к новому удару.

С того момента, как окружённые войска ответили огнём на ультиматум нашего командования, Корсунь-Шевченковская битва вступила в свой последний этап. Оставалось нанести ещё несколько сильных ударов, чтобы упорство противника было окончательно сломлено.

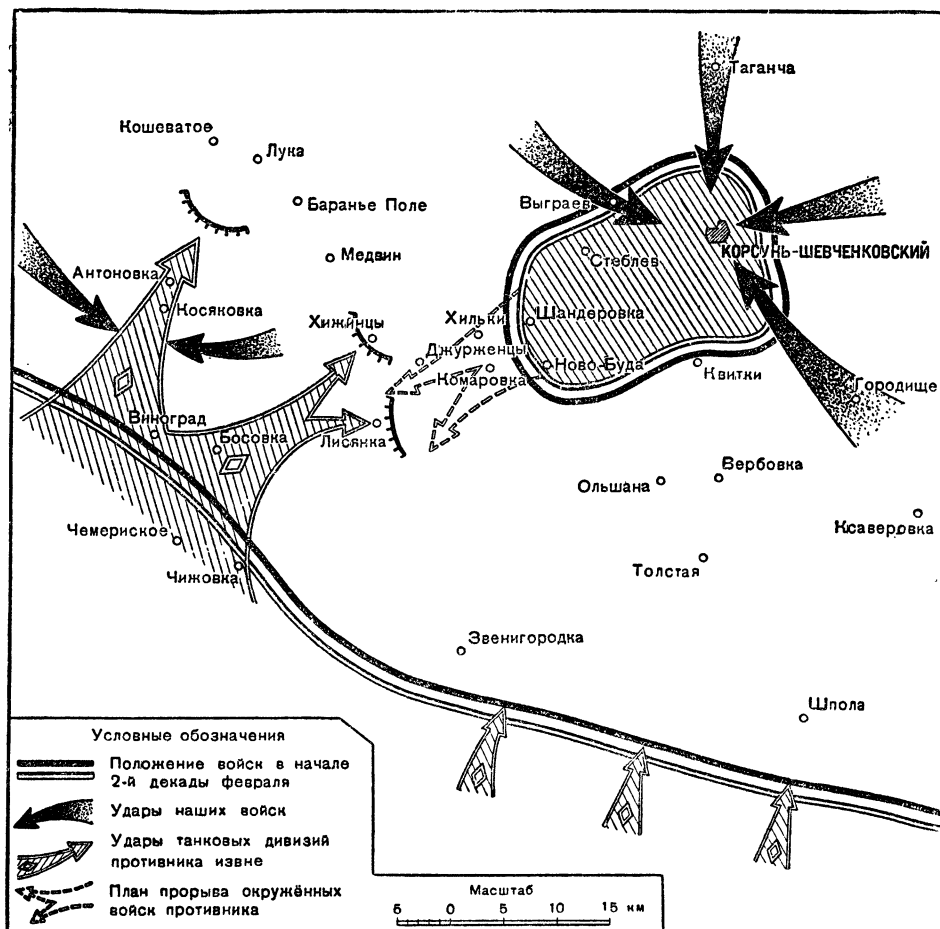
На этом решающем этапе сражения особенно важно было максимально согласовать между собою все действия наших войск, централизовать и облегчить управление ими. И по приказу Ставки Верховного Главнокомандования все войска, сражавшиеся на внутреннем фронте — против окружённых дивизий, — с 12 февраля были подчинены генералу армии Коневу. Уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки немцев, начатое двумя фронтами, должен был довести до конца 2-й Украинский фронт, тогда как левое крыло войск генерала Ватутина попрежнему должно было держать прочную оборону на внешнем фронте и не допускать прорыва противника извне на помощь к окружённым.

12 февраля в штабе генерала Конева на большую карту театра Корсунь-Шевченковской битвы легли четыре красные стрелы. С разных сторон: с юго-востока — от Городища и Валявы, с юго-запада — от Шандеровки, с северо-запада — от Выграева и с севера — от Таганчи — они насквозь пронзали кольцо немецкой обороны, сходясь своими остриями к одной точке — к городу Корсуню-Шевченковскому.

Эти стрелы обозначали направления будущих ударов наших войск по окружённому противнику, ударов, которые в самые ближайшие дни должны были привести к полному разгрому окружённой группировки немцев.

А в штабе генерала Штеммермана на такой же карте, только с немецкими названиями сёл и городов, появились две стрелы. Одна из них, из района северо-западнее Звенигородки, устремлялась сквозь внешний фронт наших войск к северо-востоку. Навстречу ей, выползая из кольца и изгибаясь к юго-западу через Шандеровку, Комаровку и Джурженцы, вытянулась другая стрела, обозначающая прорыв окружённых.

Стрелы, направленные извне и изнутри котла, встречались у Лисянки. Пока что так было лишь на карте. От того, как поведут себя эти «стрелы» на реальных холмах



и полях окружающей местности, зависела судьба дивизий Штеммермана, туго стиснутых в кольцо советских войск.

Командующий группой войск прорыва генерал Хубе создавал юго-западнее Лисянки, в районе села Чижовки, новый ударный кулак. Туда непрерывно подходили немецкие части, спешно подвозились боеприпасы и горючее. Теперь уже четыре танковые и три пехотные дивизии готовились к новому броску на Лисянку. Немецкое командование надеялось, что на этот раз танковый таран сумеет пробить всю толщу промежутка, разделяющего авангарды Хубе и войска Штеммермана.

Утром 11 февраля, после сильного артиллерийского налёта, двести танков двумя колоннами двинулись на север от Чижовки узким фронтом.

Наши орудия на переднем крае стреляли до тех пор, пока не гибли под гусеницами «тигров». Стрелки, отрезанные от своих прокатившейся над их головами ревущей волной танков, не покидали окопов и до последнего патрона отбивались от населяющих автоматчиков. Но сила этого сосредоточенного удара была велика. Танки пробили брешь в нашей обороне и быстро двинулись на север, ведя за собой пехоту.

Километрах в десяти к северу от Чижовки лежит село Босовка. Это село было опорным пунктом наших войск, и на подступах к нему занимали оборону пехотинцы и артиллеристы генерала Жмаченко.

Волна немецких танков с разбега захлестнула этот рубеж и перекатилась через него, оставив здесь и там подбитые и сожжённые машины. Танки, не задерживаясь, умчались вперед: немцам казалось, что оборона советских войск полностью раздавлена и уничтожена.

Но как только вслед за танковыми колоннами к Босовке подошла немецкая пехота, рубеж ожил. Цепи автоматчиков были встречены плотным пулемётным огнём, и как ни рвался противник, все атаки его неизбежно захлёбывались. Стрелки Жмаченко, пропустив танки, отсекали от них пехоту.

Тем временем танковые колонны противника резко повернули от Босовки на восток — прямо на Лисянку. К исходу дня остриё тарана приблизилось к Лисянке. Передовые отряды «тигров» оказались меньше чем в десяти километрах от неё. Когда спустились сумерки, танкам Хубе оставалось преодолеть последнюю гряду холмов, чтобы выйти в обширную, глубокую котловину, на дне которой лежит Лисянка.

Однако Хубе в этот день не решился двинуть дальше свои танки. Надо было сначала подтянуть сюда пехоту, которую стрелки Жмаченко задержали на босовском рубеже. Танковые колонны немцев вынуждены были остановиться на ночь. Это позволило нашему командованию с наступлением темноты начать перегруппировку войск в сторону Лисянки.

Всю ночь в район прорыва подходили немецкие резервные части. На рассвете наступление возобновилось. Днём танки Хубе ворвались в Лисянку с юго-запада, и вскоре всё село было в руках противника.

А на левом фланге, где действовала 16-я танковая дивизия немцев, успех врага был ещё большим. Обтекая Лисянку с севера, авангарды 16-й дивизии вышли на южную окраину села Хижинцы. Отсюда немцы тотчас же выслали группу разведчиков, пытаясь установить непосредственную связь с войсками Штеммермана, которые находились уже совсем близко.

Обстановка стала критической. Назревала реальная опасность прорыва нашего кольца. Всего в двух километрах от Хижинцев лежало село Джурженцы, где помещался полевой штаб генерала Трофименко. Окружённые войска, ещё накануне ночью начавшие встречное наступление, за день сумели продвинуться вперёд. Меньше десяти километров разделяло сейчас танки Хубе и дивизии Штеммермана.

Неизвестно, как окончился бы этот день, если бы на помощь стрелкам Трофименко не подоспели подкрепления, посланные генералом Коневым.

Вблизи от места сражения находились на марше пехотные части полковника Ревенко. Вторые сутки Ревенко вёл своих пехотинцев по непролазной грязи размытых дождями просёлков. Солдаты были измучены двухдневным форсированным маршем и рассчитывали получить хотя бы короткий отдых, когда их догнал приказ генерала Конева — немедленно вступить в бой.

Из последних сил они броском вышли к Хилькам и Комаровке и, на ходу приняв боевой порядок, атаковали окружённых. Здесь начался затяжной, изнурительный бой, приносящий успех попеременно то одной, то другой стороне. Во всяком случае, продвижение окружённых было остановлено.

К вечеру немного легче стало и на внешнем фронте. Пехотные части и танкисты Ротмистрова, переброшенные прошлой ночью с соседних участков фронта, на исходе дня атаковали немецкие танки и выбили их из Лисянки. Танкисты Богданова и Кравченко непрерывными контратаками измотали противника на севере. Немцам пришлось покинуть окраину Хижинцев, и танковое сражение продолжалось в районе Лисянки, не стихая всю ночь.

Всю ночь сражались и не успевшие отдохнуть после тяжёлого марша солдаты Ревенко — атаки у Комаровки не прекращались. Но особенно тяжёлый бой разгорелся после полуночи в Шандеровке, которую оборонял сводный отряд пехотинцев под командованием майора Лосева.

Этот отряд был сформирован генералом Трофименко ещё месяц назад и в дни наступления действовал с большим успехом. В ночь на 12 февраля он занимал оборону на самом опасном направлении, куда особенно настойчиво рвались из котла немецкие дивизии.

Около четырёх часов пополуночи авангарды наступающих войск Штеммермана появились у восточной окраины села. Автоматчики и пять эсэсовских танков в темноте наткнулись на оборонительный рубеж отряда. Их встретили огнём в упор, и сразу поредевшие цепи немцев откатились назад.

Стаяла ещё ночь, хмурая и непроглядная. Атаковать вторично неразведанную оборонительную линию отряда противник не решился. Немецкая пехота направилась в обход села с севера и с юга. Утром последовали атаки с разных сторон. Только в одном месте — на южной окраине — немецкой пехоте удалось проникнуть в село и закрепиться там. Все попытки противника продвинуться дальше не привели ни к чему. И немцы решили переменить тактику. Атаки на Шандеровку прекратились, и Лосевский отряд получил передышку.

Вечером 12-го майор Лосев в сопровождении ординарца обходил расположенные своих рот. Командиры докладывали майору обстановку и свои потери в сегодняшнем дневном бою. Вместе с ротным Лосев проходил вдоль цепочки окопов, здоровался с бойцами и время от времени повторял:

— Глядеть в оба, товарищи! Немец ещё полезет. Не доверяйте этой тишине.

Впрочем, тихо было только здесь, в Шандеровке. Вокруг, не умолкая, гремело сражение. С севера и востока глухо погромыхивали наци пушки, обстреливающие территорию котла. Само по себе это громыханье не вызывало тревоги — оно уже стало привычным для слуха за последние дни. Но сквозь отдалённое гуденье орудий на севере сегодня впервые так ясно прорывались очереди немецких пулемётов.

В противоположной стороне — на юго-западе — тоже, не переставая, гудела канонада. Там шли бои с танками Хубе. Днём эта канонада слышалась ближе — видимо, немецкий танковый таран немного подался назад. Но зато с час, как в низкий гул далёких пушек влетались новые, тревожные звуки: залихватские очереди пулемётов и автоматная дробь. Видимо, обойдя Шандеровку, немцы штурмовали ближайшие к ней сёла.

В самом деле, Шандеровка уже была окружена. Противник, встретив здесь сопротивление, пошёл на соседние сёла. За ночь наступавшие немцы вытеснили нашу пехоту из Хилек, Комаровки и Ново-Буды. Лосевский отряд оказался в тылу окружённых.

В три часа пополудни немецкие автоматчики скрытно подступили к селу и штурмовали Шандеровку сразу с трёх сторон — с севера, запада и юга. Отряд был начеку, и первый удар удалось отразить. Но атаки следовали непрерывно, и с каждым разом сила их возрастала. Шаг за шагом противник теснил бойцов отряда.

К рассвету две роты Лосева занимали круговую оборону на западной окраине села. А в центре одна, в плотном кольце немцев, дралась отрезанная от всего отряда третья рота. Солдаты с болью прислушивались к перестрелке, доносившейся оттуда, — там огонь наших стрелков постепенно слабел, заглушаемый трескучими очередями немецких пулемётов: видимо, боеприпасы были на исходе.

Днём патроны подошли к концу и в других ротах. Солдаты снимали подсумки с убитых и раненых товарищей, стреляли из трофейных немецких автоматов. Противник продолжал лезть со всех сторон, не давая бойцам передышки.

Дольше удерживать село было невозможно. Лосев доложил по радио обстановку и получил приказ командования пробиваться к своим. Около полудня роты отряда с боем начали отходить на юго-запад. Только часть бойцов осталась в Шандеровке, прикрывая отход, и вместе с этой группой остался майор Лосев. С большим трудом стрелкам удалось продержаться в селе до вечера.

Уже на исходе дня по окопам передали:

— Майор Лосев ранен!

Командир отряда был серьёзно ранен осколком немецкой мины. Санитары отнесли его в одну из окраинных хат. Время от времени он терял сознание от сильной боли, но, приходя в себя, снова продолжал руководить боем. В сумерки атаки противника стали ослабевать.

Как только спустилась ночь, остатки отряда, захватив раненых, двинулись по бездорожью, прямо через поля и овраги, на юго-запад, в обход Комаровки. К полуночи последняя группа лосевцев, несся с собой раненого командира, вышла в расположение наших войск. Шандеровка осталась в руках противника. За два дня и две ночи боя в этом селе окружённые потеряли почти восемьсот солдат и офицеров.

Захватив Шандеровку и Хильки, Комаровку и Ново-Буду, войска Штеммермана 14 февраля с новой силой рванулись вперёд. А со стороны Лисянки дивизия Хубе в этот

день сделали встречный рывок. Немецким танкам удалось снова занять Лисянку, и они опять подступили вплотную к Хижинцам.

Обстановка стала ещё более опасной, чем два дня назад, 12 февраля. Танки Хубе были совсем близко за спиной пехотинцев Трофименко, и танкисты Богданова, Ротмистрова и Кравченко с трудом сдерживали их напор. Генералу Трофименко пришлось повернуть часть своих войск фронтом на юго-запад на случай прорыва извне. Теперь на этом участке его стрелки и артиллеристы стояли спина к спине, защищая друг друга от возможных ударов противника с тыла.

Воину переднего края — будь то солдат или офицер — свойственно оценивать обстановку на фронте, исходя из своих непосредственных ощущений. Ведёт батальон тяжёлый бой, гибнут люди под огнём, с трудом отражая атаки численно превосходящего противника, и невольно кажется, что весь фронт испытывает небывалое напряжение сил, хотя, быть может, в завтрашних штабных сводках будет сказано всего-навсего с «боях местного значения» на этом участке. Отбиты атаки, батальон продвинулся вперёд, и людям, воодушевлённым победой, начинает казаться, что противник терпит поражение на всём фронте, хотя, возможно, именно в этот самый момент на других участках происходят роковые события, грозящие войскам самыми тяжкими последствиями.

Только в штабах, куда, как к нервным узлам, сходятся отовсюду тонкие нитки линий связи, куда непрерывно летят донесения из частей и соединений, обстановка на фронте предстаёт во всём своём многообразии. Только тут можно в полной мере оценить изменчивую и подвижную картину боя, которая, как в зеркале, отражается на штабных картах сложным сочетанием военных иероглифов — стрелками атак и контратак, узкими щетинками оборонительных рубежей, треугольниками, ромбиками, флажками.

В этот день в полевом штабе войск Трофименко, находящемся в Джурженцах, было особенно тревожно. На западе совсем близко от села гремели выстрелы танков Хубе, рвущихся к Хижинцам. На востоке, в стороне Комаровки, неистовствовали пулемётные окружённых. Меньше десяти километров разделяло сейчас остриё танкового тарана Хубе и передовые части Штеммермана. Приблизительно в середине этого узкого перешейка лежали Джурженцы.

Генерал-лейтенант Трофименко напряжённо следил за ходом сражения. Из частей шли неутешительные вести: Штеммерман и Хубе наращивали свои удары, а у генерала почти не оставалось резервов — всё было брошено в бой. Силы войск, казалось, были на исходе, и генерал с тревогой думал о том, что может произойти, если противник приберёт какие-нибудь свежие части для последнего рывка.

Во второй половине дня начальник штаба генерал Лукьянченко, явившись на очередной доклад к Трофименко, принёс ещё более тревожные вести. Противник усиливал атаки изнутри кольца, а извне, в районе Хижинцев, немцы сейчас атаковали двадцатью танками и сильным отрядом автоматчиков.

Выслушав доклад, Трофименко приказал соединить его с командующим фронтом.

— Будете просить подкреплений? — спросил Лукьянченко.

— Да. Придётся просить. Иначе можем не сдержать.

Лукьянченко знал, с какой неохотой решился генерал-лейтенант на этот неприятный для него разговор. Даже в самый критический момент боя 12 февраля Трофименко отказался просить помощи у генерала Конева — ему было известно, что резервов у командующего фронтом мало. Но тогда Конев сам перебросил сюда части Ревенко, и угрозу прорыва удалось ликвидировать. После этого казалось особенно трудным завести речь о новых подкреплениях. Однако обстановка ухудшалась с каждым часом, и медлить было опасно.

Волнуясь так, будто он сам вёл этот трудный разговор, Лукьянченко ловил каждое слово генерал-лейтенанта. Беседа длилась едва ли минуту. Доложив командующему обстановку, Трофименко попросил у него пехоты и танков. Выслушав ответ, он бросил короткое: «Слушаюсь!» — и положил трубку.

— Отказ? — спросил Лукьянченко.

— Отказ, — кивнул Трофименко. — Резервов нет, держите противника своими силами. И ни шагу назад. Ясно?

Он резко и решительно подвинул к себе карту.

— Значит, пустим в ход последнее, — сказал он. — Что у нас осталось? Самоходчики и противотанковая артиллерия? Так?

Лукьянченко подтвердил.

— Смотрите. — Трофименко жестом пригласил его к столу, и оба генерала наклонились над картой. Быстрым сильным движением Трофименко очертил ногтем маленькую дугу чуть ниже Хижинцев и Джурженцев.

— Поставить вот здесь, фронтом на юг — против Хубе. Самоходки врыть в землю. Предупредить командиров — рубеж последний. Противник не должен пройти тут, пока цела хоть одна самоходка, хоть одна противотанковая пушка.

В тот день тяжело доставалось не только войскам Трофименко. На всём фронте шли трудные бои. Натиск противника возрастал час от часу, все фронтовые резервы были брошены навстречу танкам Хубе, генералу Коневу уже было нечем помочь сражающимся частям, и всё сейчас зависело от искусства командиров, от упорства, от стойкости солдат.

Последнее время Конева редко можно было застать в штабе. Командующий руководил сражением со своего наблюдательного пункта в селе Шевченкове, выезжал в части или на трескучем «У-2» облетал линию фронта.

Вечером этого трудного дня по одной из прифронтовых дорог в районе Лисянки шёл мощный танк. Грузно покачиваясь на ухабах разбитого просёлка, струями разбрызгивая грязь, машина торопилась куда-то в тыл.

Начинало смеркаться. Дорога сделала крутой поворот и стала полого спускаться в маленькую ложину. Впереди, в сотне метров от танка, на дороге стояло несколько грузовиков, доверху нагружённых ящиками со снарядами. Передняя машина сильно накренилась набок — заднее колесо её соскользнуло в кювет, и она застряла, загородив путь всей колонне.

Услышав рёв мотора, молодой лейтенант, который хлопотал вместе с шофёрами у застрявшего грузовика, обернулся и, замахав руками, побежал вверх по склону холма — навстречу танку. Он стал на дороге в нескольких шагах от машины и поднял руку. Плечистый, рослый танкист в комбинезоне и офицерской фуражке, по пояс высуновшийся из башни, строго сдвинул брови и бросил какое-то приказание. Танк притормозил и остановился, не заглушая мотора.

— В чём дело? — крикнул танкист.

Лейтенант подбежал к танку.

— Выручай, друг! — взмолился он. — Вытащи нам машины на горку. Полчаса тут бьёмся. А твоему коню дела на десять минут.

Танкист отрицательно покачал головой.

— Не могу, товарищ лейтенант. Нет времени. Везу важный пакет в штаб фронта. Он крикнул механику, и танк развернулся вправо, готовясь объехать по полю застрявшую колонну.

Но лейтенант обежал вокруг машины и стал прямо перед гусеницей, загромождавая танку дорогу.

— Ты что, друг, русского языка не понимаешь, что ли? — негодуяше закричал он. — Я тебе приказываю! Понял? Там наша бригада, слышишь, бой ведёт. Ребята последние боеприпасы тратят, а ты машины со снарядами не хочешь вытянуть. Не пропусти! Поезжай через меня! Дави!

Командир танка хмуро смотрел сверху на возмущённого лейтенанта, который с бледным, решительным лицом стоял около огромной гусеницы, видимо и в самом деле готовый скорее погибнуть, чем отступить. Потом танкист усмехнулся и, опершись на руки, вылез из башни. Спрыгнув на землю, он приказал экипажу вытянуть автоколонну вверх.

Повеселевший лейтенант громко и энергично распоряжался около своих грузовиков. Когда внизу осталась последняя машина и один из танкистов помог шофёру приладить буксирный трос, довольный лейтенант сказал ему:



— Всё-таки есть совесть у твоего командира. А то пакет, пакет... Начал тут несознательность проявлять. Кто он по званию-то?

Танкист с лёгкой усмешкой сказал:

— По званию-то? Генерал армии.

— Что? — ошеломлённо переспросил артиллерист. — Какой генерал армии?

— Известно какой. Тут он один. Конев. Командующий нашим фронтом.

Артиллерист тихо ахнул.

• — Вот влип! — шёпотом сказал он, растерянно моргая. — Что ж ты раньше меня не мог предупредить? Чего же мне теперь делать-то? А ты не шутишь?

Он с подозрением посмотрел на танкиста. Тот засмеялся.

— Ну какие ж тут шутки, товарищ лейтенант. Точно, Конев.

— Эх ты, мать честная! — крикнул лейтенант. — Ладно, пойду извиняться.

Одёрнув шинель, поправив фуражку и стараясь твёрже ставить ногу на скользкой тропке, он подошёл к командующему, взяв под козырёк.

— Товарищ генерал...

— Вольно! — перебил Конев. — Как ваша фамилия?

— Пастухов, товарищ генерал армии.

— Поступили правильно. Молодец, лейтенант Пастухов. Спасибо за службу.

Глядя на растерявшегося лейтенанта, Конев чуть заметно усмехнулся и, шагнув вперёд, пожал артиллеристу руку. Сверху подошёл освободившийся танк и остановился рядом с командующим. Конев легко, по-молодому вспрыгнул на башню и, ответив на прощальное приветствие лейтенанта, уехал. А командир автоколонны стоял на дороге, пока машина генерала не скрылась за холмом, и только тогда побежал к своим грузовикам.

Генерал Конев возвращался на свой командный пункт, когда исход сегодняшнего сражения уже определился. Бои ещё шли с прежним ожесточением, но силы противника явно иссякали. Натиск танков Хубе к вечеру ослабел, и только окружённые всё ещё кидались в атаки. Недалёкая канонада, доносившаяся со стороны Лисянки, звала их к себе. Но войска Трофименко стояли, не подаваясь ни на шаг от рубежей, которые их генерал назвал последними.

## 10. КОТЕЛ ЗАКИПАЕТ

К началу второй декады февраля части Штеммермана занимали совсем небольшую территорию — приблизительно тридцать на пятнадцать километров. Петля окружения ту же и ту же сжимала скученные на этом узком пространстве немецкие дивизии.

За исключением юго-западного участка, где немцам удалось немного продвинуться в сторону Лисянки, по всей окружности кольца продолжалось наступление наших войск. Советская пехота непрерывно и повсюду атаковала противника, нигде не давая ему возможности оправиться и перегруппироваться. Ни днём, ни ночью не прекращался выматывающий огонь нашей артиллерии, спасения от которого не было ни в грязных, залитых водой окопах переднего края, ни в тыловых генеральских блиндажах. Тяжёлый гром канонады, не стихая, гудел над полями сражения, и ночами по всей окружности горизонта небо освещалось багровыми зарницами пушечных выстрелов. Всё безнадёжнее становилась борьба окружённых, всё яснее вставал перед ними неизбежный и уже недалёкий исход этой борьбы.

Реальная надежда на спасение только раз блеснула для обречённых войск. Она явилась в облике двух советских офицеров, вышедших 8 февраля под белым флагом к немецким окопам у окраины Хировки.

Слух о советском ультиматуме и о прибытии парламентёров мгновенно распространился среди окружённых. В войсках оживлённо обсуждали условия капитуляции. Почти всем казалось, что здравый смысл неизбежно заставит Штеммермана и других генералов принять требования советского командования.

А затем поползли самые разноречивые слухи, в которых трудно было отделить правду от вымысла. Говорили, будто среди генералов возник раздор: одни склонны принять ультиматум, другие настаивают на том, чтобы драться до конца. Рассказывали,

что сам Штеммерман считает капитуляцию разумным выходом, что генерал-майор Либ сочувственно относится к ультиматуму русских, что многие высшие офицеры тоже не прочь принять предложения советского командования, но все они боятся чёрного генерала — командира эсэсовской дивизии «Викинг», бригадефюрера Герберта Гилле, который и слышать не хочет ни о каких переговорах. Потом разнёсся слух, что Гилле от имени Гитлера арестовал Штеммермана и отправил его на самолёте в Германию. Другие утверждали, что арестован не Штеммерман, а Либ, который уже доставлен в Берлин и тотчас же расстрелян по приказу Гиммлера. Третьи опровергали эти слухи и клялись, что Либ вместе с Гилле решительно протестуют против капитуляции и что они отстранили Штеммермана от командования войсками.

Как бы то ни было на самом деле, но все слухи сходились в одном — русский ультиматум отклонён и главным виновником этого является эсэсовец Герберт Гилле.

Настроение солдат сразу же упало. Открывшийся было путь к спасению теперь был отрезан. Оставалось только вернуться к прежней надежде — на танки Хубе. Но надежда эта слишком долго обманывала, и уже немногие верили, что прорыв извне удастся.

Между тем Хубе ежедневно слал окружённым ободряющие радиogramмы. Эти депеши для поднятия духа тотчас же оглашались в войсках:

«Держитесь. Мы идём, несмотря на дожди и грязь. Хубе».

«Осталось пятнадцать километров. До скорой встречи. Хубе».

«Мы в Лисянке. Ждите нас в ближайшие часы. Хубе».

«Остаётся десять километров. Наступайте навстречу. Хубе».

Повинуясь призыву, окружённые рванулись на юго-запад, к Лисянке. Но прорваться не удалось. Сёла переходили из рук в руки, сопротивление русских усиливалось, полки прорыва в каждой атаке неудержимо таяли, и натиск их слабел. 14 февраля наступление окружённых остановилось.

Эта неудача была как бы предвестием окончательной катастрофы. Стало ясно, что котёл доживает свои последние дни.

На многих солдат и офицеров уже не действовали ни уверения генералов, ни успокоительные речи пропагандистов, ни бодрые радиogramмы Хубе. Перед ними теперь стояла одна главная проблема — проблема спасения собственной жизни.

День ото дня росло число дезертиров, учащались случаи массовой сдачи в плен. Офицеры, несмотря на официальный запрет, постоянно слушали советские радиопередачи. Солдаты подбирали и прятали сброшенные с наших самолётов листовки, являвшиеся пропуском в плен. Из уст в уста передавалось известие о том, что в штаб русских в районе Корсунь-Шевченковской битвы прибыли представители национального комитета «Свободная Германия».

Этот комитет был создан год тому назад большой группой немецких генералов, офицеров и солдат, находившихся в советском плену. Одним из руководителей его являлся генерал артиллерии фон Зейдлиц, имя которого было широко известно в немецкой армии.

Члены комитета «Свободная Германия» убедились в том, что авантюрная стратегия гитлеровского командования терпит крах. Они поставили себе целью бороться за быстрое окончание этой безнадёжной для Германии войны, несущей немецкому народу одни бесплодные жертвы и лишения. К декларации комитета, опубликованной в 1943 году, присоединились тысячи военнопленных немцев. Советское правительство предоставило этой организации свободу деятельности. Генерал фон Зейдлиц и его помощники могли беспрепятственно выезжать на любой участок фронта, выступать по радио, печатать листовки, беседовать с военнопленными.

В феврале, в самый разгар Корсунь-Шевченковской битвы, фон Зейдлиц прибыл в штаб Конева. Он тотчас же выступил по радио с речью, обращённой к окружённым войскам. Зейдлиц сравнивал положение Корсунской группировки со сталинградским окружением Паулуса и доказывал бессмысленность дальнейшего сопротивления. Разоблачая несостоятельность обещаний Гитлера, он призывал солдат, офицеров и генералов сложить оружие, чтобы избежать ненужного кровопролития и сохранить свою жизнь для будущей свободной демократической Германии.

Постоянные радиопередачи для окружённых; обращения, оглашавшиеся через окопные звуковещательные станции; листовки, разбрасываемые в котле нашими самолётами; выступления членов комитета «Свободная Германия» — все эти формы агитации делали своё дело. По мере того, как суживалось огневое кольцо советских войск и силы окружённых истощались в боях, наши пехотинцы всё чаще слышали привычное «Гитлер капут!» и видели поднятые руки немецких солдат с зажатыми в них советскими листовками-пропусками.

Начали сдаваться даже эсэсовцы, которых офицеры из роты пропаганды уверяли, что русские не считают части СС регулярными войсками и что всякого, кто носит эсэсовский мундир, в советском плену сжигают заживо на костре. Первое время это оказывало действие, и солдаты «Викинга» и «Валлонии» дрались отчаянно, предпочитая смерть плену. Но постепенно ложь гитлеровских пропагандистов сделалась очевидной и среди пленных стали всё чаще попадаться эсэсовцы, в том числе и офицеры.

Ещё в начале Корсунь-Шевченковского сражения добровольно перешёл на сторону советских войск офицер танковой дивизии «Викинг» хауптштурмфюрер Вальтер Михль. Бои на Левобережной Украине и поражения немцев на Днепре убедили его в том, что Германия проиграла войну и дальнейшее сопротивление безнадежно. Осенью 1943 года Михль получил отпуск, побывал дома и, посоветовавшись с родными, окончательно решил при первой возможности сдать в плен.

Когда дивизия попала в Корсунский котёл, Михль однажды оказался в селе, которое штурмовала советская пехота. Улучив удобный момент, он переоделся в гражданское платье и спрятался вместе с крестьянами в подвале одной из хат. Как только село перешло в руки русских, он снова облачился в свой мундир и вышел наверх, сопровождаемый колхозниками. Тут же, на улице села, крестьяне передали перебежчика нашему офицеру, и Вальтер Михль был доставлен в штаб генерала Трофименко, где с готовностью дал подробные показания о положении в котле.

Почти одновременно с ним попал в плен и другой эсэсовец, капрал штабной роты мотобригады «Валлония» Идес Дельфос. Убедившись, что ему отнюдь не грозят пытки и что в плену к нему относятся ничуть не хуже, чем к другим немецким солдатам, обрадованный Дельфос заявил, что он хочет обратиться по радио к своим товарищам по бригаде. Желание его было исполнено. На участке, где сражалась «Валлония», поставили оконную звуковещательную станцию, и капрал долго рассказывал в микрофон о том, как встретили его русские, призывая «валлонцев» присоединиться к нему.

Эта речь стала известна всем солдатам бригады и произвела на них сильное впечатление. Как ни старались эсэсовские офицеры уверить их, что Дельфоса насильно заставили произнести его речь и что во время его выступления позади капрала стоял «русский с пистолетом», — солдаты слушали подобные объяснения с явным недоверием. Призыв Дельфоса побудил многих «валлонцев» последовать его примеру — число пленных на этом участке сразу же возросло.

Поведение солдат «Валлонии» не на шутку обеспокоило генерала Гилле, и он поручил одному из своих приближённых — оберштурмбаннфюреру СС Штольцу — навести порядок в бригаде. Штолец тотчас же отправился на место и, прибыв в штаб «Валлонии», велел немедленно собрать всех офицеров и унтер-офицеров во главе с командиром бригады Липпертом и её политическим руководителем Леоном Дегреллем.

— Немецкому командованию стало известно, — заявил он, — что русские предприняли успешную агитацию на участке мотобригады «Валлония». Мы знаем, что некоторые бельгийцы помышляют о переходе к русским. Командование возлагает всю ответственность за побеги на унтер-офицеров. Предлагаю сегодня же взять на заметку всех сочувствующих Красной Армии и не спускать с них глаз. Унтер-офицеры, находясь в бою позади своих отделений, должны огнём своих автоматов предотвращать все попытки перехода на сторону русских.

Пригрозив самыми суровыми карами командирам, у которых в дальнейшем окажутся перебежчики, Штолец счёл свою миссию оконченной и уехал. Однако визит его мало помог делу. Число пленных и перебежчиков день ото дня росло не только в мотобригаде «Валлония», но даже и в пелках дивизии «Викинг».

В середине февраля пехотинцы Трофименко во время боя захватили в плен эсэсовского офицера, хауптштурмфюрера Курта Шредера, который командовал одним из батальонов в полку «Германия» танковой дивизии «Викинг». Шредер отчаянно сопротивлялся и, оказавшись обезоруженным и связанным, заранее распростился со своей жизнью. Он был уверен, что его не просто расстреляют, а предадут какой-нибудь особенно мучительной смерти. Вместо этого его хорошо накормили, а затем привели к генералу фон Зейдлицу, и тот объяснил эсэсовцу, что жизнь его находится вне опасности. Всё это необычайно изумило и растрогало Шредера, и он заявил, что найдёт способ выразить свою благодарность и преданность комитету «Свободная Германия».

Тогда на эти слова не обратили внимания. А на следующую ночь Курт Шредер и несколько пленных солдат бежали из-под стражи и под покровом темноты перешли линию фронта, вернувшись в котёл. И слова эсэсовского офицера показали всем хитрой уловкой, которой он хотел скрыть свой замысел бегства.

Неожиданно, через двое суток, тоже ночью, эта группа немецких солдат во главе со Шредером вернулась в расположение наших войск. Оказалось, что эсэсовец вовсе не собирался бежать из плена, а решил перейти фронт и в благодарность за то, что ему сохранили жизнь, добыть штабные документы, захватить в плен какого-нибудь немецкого офицера и доставить его в расположение советских войск. Солдаты, безвавшие с ним, вызвались помочь ему в этом предприятии.

Оно увенчалось полным успехом. Курт Шредер нес объёмистый портфель с толстой пачкой штабных документов, а солдаты вели за ним пленного офицера. Это был командир 246-го полка 88-й пехотной дивизии подполковник Кристоф Флейшман, захваченный ночью в своём штабе. Ошеломлённый тем, что с ним произошло, он подробно и откровенно ответил на все вопросы.

— Накануне, — рассказывал он, — мне стало известно, что в расположении моего полка появилась группа солдат, пришедших из русского плена. Так как они не являлись в штаб, я предположил, что это лазутчики. Я хотел этих лазутчиков задержать, но, к сожалению, сделать это мне не удалось.

Офицер, допрашивавший подполковника, не мог удержаться усмешки.

— Как же так получилось? — спросил он. — Вы ловили лазутчиков и вдруг сами попали в руки лазутчиков?

Флейшман опустил голову.

— В жизни всё бывает, — вздохнув, ответил он. — Иногда волк хочет проглотить ягнёнка, но давится костью и подыхает.

Он сам усмехнулся своему сравнению. Офицеру, внимательно наблюдавшему за пленным, показалось, что в этой усмешке проглянуло нечто, совсем не вязавшееся с удручённым видом подполковника. У него невольно мелькнула догадка, что немец лишь старается казаться подавленным, а в сущности он даже доволен своей судьбой — в конце концов жизни Кристофа Флейшмана теперь ничто не угрожало.

Плен был единственным шансом на спасение. Эту истину поняли уже многие. Немецкому командованию приходилось прибегать к самым драконовским мерам, чтобы сохранить остатки своих войск от полной деморализации. Перед строем частей расстреливали солдат, заподозренных в намерении дезертировать или слатся в плен. В тылу пехотных подразделений располагались отряды заграждения, задачей которых было «обеспечить стойкость пехоты» — то есть попросту открывать огонь из пулемётов по тем, кто начнёт отступать. Офицеры старались убедить солдат в необходимости продолжать борьбу и грозили смертью всем, кто станет помышлять о русском плене или проявит нерешительность в бою. Командир 72-й пехотной дивизии полковник Хонн, после того, как его солдаты во время одной из атак бежали от советских стрелков, без боя покинув важную высоту, явился в окопы и произнёс речь:

— Солдаты! Мы не можем дальше отходить, — взывал он. — Мы должны удержать позиции ещё два-три дня и тогда мы будем спасены. К нам на выручку идут несколько танковых дивизий. Шпола уже олят в наших руках. Ближайшая цель танковых соединений — взять сегодня ночью деревню, которая находится отсюда всего в четырёх километрах! Остаётся протянуть друг другу руки, сжать их и соединиться. Поэтому мы

должны во что бы то ни стало два-три дня продержаться. И предупреждаю — всякий, кто бросит позиции и уйдёт в тыл, — будет немедленно расстрелян.

Речь эта была выслушана в мрачном молчании. Но ложное известие о взятии Шполы и о «деревне в четырёх километрах отсюда» произвело некоторое впечатление на солдат. Два дня полки Хонна стойко обороняли свои рубежи. Когда же стало ясно, что ждать больше нечего, солдаты окончательно пали духом, и первые же атаки советских пехотинцев снова вызвали паническое отступление дивизии. В этот день Хонн опять приехал на передовые позиции, но беседовать с солдатами уже не решился. Он лишь собрал офицеров, приказал им расстреливать дезертиров на месте и под секретом сообщил, что окружённые войска в ближайшие дни сделают последнюю попытку прорваться навстречу танкам Хубе, застрявшим в районе Лисянки.

Разложение войск уже не удавалось предотвратить ни карательными мерами, ни разговорами о танковом прорыве, ни призывами к совести и чувству долга солдат. Сама обстановка в котле наглядно показывала окружённым, что надежды у них не осталось и что трагический исход их борьбы близок.

Подходили к концу боеприпасы, иссякали запасы горючего, продовольствие доставлялось в части с перебоями. Редкие транспортные «юнкерсы» прорывались по ночам сквозь стену зенитного огня и кольцо патрулирующих советских истребителей. С трудом они садились на непригодные, изрытые снарядами, размокшие от дождя временные посадочные площадки. Но прежде чем из самолётов успевали выгрузить ящики с боеприпасами и продовольствием, советская артиллерия открывала огонь по аэродрому, и нередко только что севшие транспортники вспыхивали, подожженные снарядами.

Казалось, единственными пассажирами этих улетающих из котла самолётов должны быть тяжело раненные. Госпитали окружённых войск были переполнены, в сёлах раненые солдаты вповалку лежали в крестьянских хатах. Страшное зрелище представлял самый большой госпиталь окружённых в Корсуне-Шевченковском. Он помещался в большом старинном замке на скалистом острове над Россью. Этот замок ещё в XVIII веке построил для себя племянник польского короля Понятовский, а потом он много лет служил резиденцией здешних богатейших помещиков князей Лопухиных-Демидовых, которые вплоть до революции были полновластными хозяевами Корсуни и его окрестностей. Сейчас в пустых залах замка на грязной соломе валялись сотни забинтованных, окровавленных, стонущих людей. А на машинах и повозках то и дело подвозили новые партии раненых, и санитары едва успевали принимать их, поневоле оставляя без помощи тех, кто уже несколько дней заживо гнил здесь.

Правда, небольшие партии раненых ежедневно вывозили из госпиталей на аэродромы. При этом предпочтение отдавалось офицерам и солдатам из эсэсовских частей и вдобавок таким, у которых были наиболее лёгкие ранения, позволявшие им вскоре вернуться в строй. Но даже и этих раненых не всегда удавалось отправить в тыл — их отсылали живые и невредимые беглецы из котла.

Отвратительные сцены разыгрывались на аэродромах. Как только солдаты разгружали прилетевший самолёт, к нему устремлялась толпа людей с чемоданами в руках. Дюжи, здоровые офицеры грубо отпихивали санитаров с носилками и, толкаясь и переругиваясь между собой, спешили занять места в самолёте. Это были те, кто получил разрешение улететь в тыл. Немецкое командование, предвидя развязку Корсунской битвы, решило спасти от гибели хоть часть офицерских кадров, преимущественно из числа эсэсовцев. Бросая на произвол судьбы своих солдат, захватив с собой самое ценное из награбленного добра, всевозможные ротен-, банн- и штурмфюреры торопились покинуть гибельный котёл, провожаемые проклятиями раненых, которым из-за них не хватило места в самолёте.

Однако улететь было нелегко даже тогда, когда посчастливилось втиснуться в самолёт. И на земле и в воздухе беглецов настигала смерть.

13 февраля семь «юнкерсов» прорвались сквозь наш заградительный огонь и сели на временном аэродроме в трёх километрах от Корсуни. Здесь уже второй день ожидали отправки в тыл несколько сот раненых солдат. Появление самолётов было встречено ликованием. Но раньше, чем транспортники успели разгрузиться, к ним под-

катили грузовики с офицерами. Автоматчики в чёрных эсэсовских мундирах оцепили посадочную площадку, не подпуская раненых к самолётам, в то время как офицеры один за другим втаскивали в «юнкеры» свои объёмистые чемоданы.

В толпе раненых поднялся глухой ропот, слышались возмущённые выкрики. Эсэсовцы взяли на изготовку автоматы.

В этот момент толпа с криками бросилась врассыпную. Из-за ближних холмов вырвался тяжёлый рёв моторов, и на бреющем полёте над аэродромом пронеслась девятка советских штурмовиков. Грохнули разрывы бомб, простучали пушечные очереди, и самолёты скрылись из глаз так же мгновенно, как появились. Три «юнкера», уже вырвавшиеся на старт, были сразу охвачены пламенем. Оттуда доносились вопли, и несколько обгоревших людей вывалились на землю из приоткрывшихся люков. Но спастись удалось немногим — все три машины, в которых находилось больше ста офицеров, сгорели со страшной быстротой.

Четыре других транспортника, далеко объезжая догорающие машины, поспешно направлялись к старту. Два первых поднялись в воздух, и тут же над ними повисли подоспевшие сюда советские истребители. Из окопов и щелей, нарытых по краям аэродрома, раненые наблюдали, как русские самолёты стремительно атакуют тяжёлых, неповоротливых «юнкеров». Первый транспортник тотчас же накренился и стал быстро снижаться. Он с трудом сел, и из люка горохом посыпался на землю перепуганные офицеры. Пошёл на посадку и второй «юнкер». А два других так и не рискнули оторваться от земли, и пассажиры их, забыв о своих чемоданах, разбежались.

Всё реже транспортные самолёты противника отваживались садиться на окружённой территории. Скрываясь в облаках или прокрадываясь низко над землёй, одиночные «юнкеры» старались незаметно прошмыгнуть через линию фронта, поспешно сбросить свои грузы на парашютах и тотчас же вернуться обратно. Однако обстановка менялась столь быстро, а лётчики так нервничали и торопились, что эти воздушные посылки по большей части падали в расположении наших войск. Попытки немецкого командования снабжать войска Штеммермана воздушным путём провалились окончательно.

Котёл закипал. Разброд и дезорганизация подтачивали силы окружённых. Настроение полной безнадежности всё шире распространялось в войсках. Солдаты ясно понимали, что отклонение советского ультиматума уничтожило все пути к спасению, и сейчас им остаётся лишь ждать гибели.

А генералы попрежнему требовали стойкости, грозили карами дезертирам, сулили награды за храбрость.

В тот день, когда на аэродроме близ Корсуня сгорели в самолётах бегущие из котла офицеры, в Шандеровке немецкий генерал вручал ордена отличившимся в боях солдатам. Старый шандеровский колхозник Федор Кияница, живший по соседству с немецким штабом, рассказал впоследствии об этой церемонии, которую он наблюдал из-за плетня.

Полусотня солдат выстроилась во дворе штаба. Видимо, их только что доставили сюда с передовой линии — небритые, бледные, с измождёнными лицами, в испачканных глиной шинелях, они несли на себе отпечаток бессонной окопной жизни, тяжёлых, изнурительных боёв. Усталые, равнодушные ко всему, они молча стояли, переминаясь с ноги на ногу, пока стрывистая команда не возвестила о появлении начальства.

Генерал хмуро оглядел строй. Он произнёс короткую речь и в сопровождении офицера, который нёс коробку, пошёл вдоль шеренг, прикрепляя ордена к шинелям солдат.

В стороне, поглядывая на эту сцену и вполголоса разговаривая, стояла группа солдат, работающих при штабе. Один из них, заметив старика-крестьянина, выглядывающего из-за плетня, неторопливо подошёл к нему.

— Видите, — сказал он ломаным русским языком, медленно и старательно подбирая слова, — теперь генерал даёт солдату железный крест. А немного потом этот солдат деревянный крест будет иметь.

Старик с удивлением взглянул на немца. Но солдат не зубоскалил — лицо его было серьёзным, даже мрачным. Кияница потоптался на месте, не зная, что ответить на подобное замечание, и, решив, что лучше уйти от греха подальше, вернулся в кату.

Прошло час или полтора, и снаружи громко и требовательно застучали в дверь. Старик открыл. Два немецких солдата внесли в комнату человека.

Это был раненый советский лейтенант, только что захваченный немцами в плен. На ватнике его расплылось большое кровавое пятно. Лицо раненого было бледным и глаза закрыты. Солдаты положили его на широкую деревянную скамью у окна и ушли — видно, докладывать по начальству.

Как только дверь захлопнулась за ними, лейтенант открыл глаза и, с трудом разжав бескровные губы, тихо попросил пить. Кияница принёс ему воды, а потом, достав с печи свою подушку, осторожно подложил её под голову раненого. Старик хотел спросить лейтенанта, откуда он родом и как его зовут, но тот словно не слышал вопросов.

Вдруг дверь снова распахнулась, по ту сторону её, в низких сенцах, застыла, вытянувшись, фигура немецкого офицера, и в комнату, пригнувшись, вошёл генерал — тот, что давеча раздавал солдатам кресты. За ним следовало двое офицеров.

Генерал оглядел комнату и, не ответив на поклон старика, пошёл к скамье, на которой лежал раненый. Встревоженный Кияница тотчас же залез на печь, в тёмный угол, не переставая оттуда следить за происходящим.

Генерал заложил руки за спину и пристально смотрел на пленника.

Раненый, видимо, понял, что перед ним какой-то важный офицер. Но глаза его оставались спокойными и строгими.

Генерал первый отвёл глаза. Он обернулся к одному из офицеров, отдал какое-то приказание. Офицер выбежал и вскоре вернулся в хату с врачом.

С помощью солдата врач приподнял раненого. Когда с лейтенанта стащили ватник, на гимнастёрке его блеснула медаль «За отвагу». Генерал, наблюдавший за перевязкой, заинтересовался и подошёл ближе, разглядывая награду. Потом он что-то сказал, и второй офицер — переводчик — обратился к раненому:

— Генерал хочет знать, за что это тебе дали?

Лейтенант слабо усмехнулся.

— За то, что хорошо бил фашистов,— сказал он.

Генерал спокойно выслушал перевод и тотчас же задал новый вопрос:

— А сколько фашистов ты убил?

Раненый ответил не задумываясь:

— Да так, штук двадцать—тридцать.

Кияница окаменел в своём углу. Он не сомневался, что генерал тотчас же пристрелит дерзкого лейтенанта или велит его убить солдатам. Но генерал только хмуро и пристально поглядел на раненого и пошёл из хаты.

В этот день лейтенанта не тронули и даже не допрашивали,— возможно потому, что он был слишком слаб.

Часа два спустя, когда лейтенанта перевязали и соседка Кияницы, взявшая на себя уход за советским офицером, хлопотала около него, явился один из штабных солдат. Видимо, ему поручили присматривать за пленным. Но солдат лишь молча постоял в комнате, глядя, как укладывают раненого, и, напившись воды из ведра, пошёл к двери. Соседка Кияницы вышла во двор вслед за ним.

Немец стоял, прислушиваясь к звукам недалёкого боя. Вокруг гремели раскаты канонады, на окраине села время от времени рвались советские снаряды и где-то совсем близко слышался пулёмёт.

Прислушалась и женщина. Ясно было, что бой приблизился к селу. Вспомнилось, как, отступая из Шандеровки две недели назад, гитлеровцы жгли хаты, кидали в подвалы гранаты, расстреливали людей. И как ни радостно было думать, что скоро снова придут свои, что приближается час окончательного освобождения, сердце её невольно сжалось при мысли о том, что, вероятно, всё это доведётся пережить опять.

— Пан, а пан,— жалобно спросила она солдата.— Нам капут, да?

Солдат медленно покачал головой.

— Ни, matka, ни... Нам капут!

Он показал пальцем на себя. В лице его вдруг появилось выражение такой смертной тоски, что женщине на мгновение стало жаль его.

Капут! Вся неизбежная судьба обречённых на гибель войск была в этом слове. Оно вынуждало немцев в бою поднимать руки. Оно заставляло солдат Штеммермана бережно хранить советские листовки-пропуска и даже покупать их. Каким бы невероятным ни казался этот факт, но в последние дни в котле шла оживлённая торговля пропусками в плен. Среди солдат нашлись предприимчивые дельцы, которые и на пороге смерти не хотели упускать возможности нажиться. Они собирали разбросанные нашими самолётами листовки с пропуском и из-под полы продавали их другим.

Однако большинство немецких солдат продолжало драться. Иные ещё простодушно ждали, что вот-вот к ним подоспеет помощь, иные, уже ни на что не надеясь, дрались из чувства воинского долга. А были и такие, за душой у которых накопилось столько преступлений, что плен пугал их не меньше, чем смерть в бою. Поджигатели и грабители, убийцы мирных жителей и палачи военнопленных, они знали, что им придётся держать ответ на скамье подсудимых.

Таких преступников было больше всего среди эсэсовцев «Викинга» и «Валлонии», и дрались они с особенным отчаянием. Командование окруженных поручило им «обеспечить стойкость» войск. Они расстреливали солдат, заподозренных в желании перейти к русским, они, угрожая оружием, гнали в атаки пехотинцев и открывали огонь по тем, кто отступал. Для себя же они в эти дни выработали нехитрую философию: «Что бы ни ожидало впереди, пока живи в своё удовольствие». В глубине души смертельно боясь и гибели и плена, они старались подавить этот страх беспробудным пьянством.

Издали неслась тяжкая молотья пушек, земля ухала под бомбами, гремели раскаты артиллерийских налётов, сквозь треск перестрелки рвалось «ура» атакующей советской пехоты. А в тыловых блиндажах, в хатах, где жили штабные командиры, шли пьяные кутежи и под аккомпанемент зловешей музыки боя перепившиеся офицеры хрипло орали разудалые песни о скорой встрече в аду. Вокруг них кипел огненный ад, и впереди они видели ад загробный. Исхода не было. Конец приближался.

Когда новая попытка пробиться к Лисянке не принесла решительного успеха, в котле узнали о новом приказе из Берлина. Гитлер призывал окружённых «выполнить долг до конца и принести себя в жертву во имя спасения Германии». Он уже не обещал выручить войска Штеммермана, он требовал — сражайтесь, пока это возможно, а когда станет невозможно — стреляйтесь. Фашистскому диктатору и его генералам было недостаточно самой корсунской трагедии: им хотелось завершить эту трагедию эффектным финалом — самоубийством многих тысяч немцев.

## 11. НОВЫЙ НАТИСК

Главный опорный пункт окружённой группировки — город Корсунь-Шевченковский — был накануне падения. С разных сторон к его окраинам подступили наши войска.

Удержать город противник уже не мог. Пехотные полки и танкисты мотобригады «Валлония», оборонявшиеся здесь, были обессилены в боях и пятились под ударами советских частей. 13 февраля войска генерала Коротеева и казаки Селиванова вышли на южный берег Росси, против города, и зацепились за восточные окраины Корсуни. Следующий день должен был принести городу освобождение.

Противник имел только один путь для отступления — дорогу, ведущую на запад, к Стеблеву. В ночь на 14 февраля по этой дороге потянулись колонны машин. Немцы начали эвакуацию Корсуни.

Ночь перед освобождением! Сколько миллионов людей в сотнях городов, в тысячах сёл пережили в годы войны эту радостную и страшную, полную надежд и ужасов ночь! Бой гремит уже у окраин, выезжают из города тяжело нагружённые немецкие машины, поспешно упаковывают свои чемоданы офицеры. По всему видно, что противнику осталось недолго хозяйничать здесь и вот-вот войдут в город долгожданные освободители. С нетерпеливым волнением ждут люди этой счастливой минуты.

Но той же ночью здесь и там вспыхивает пламя пожаров, зажжённых факельшиками, тяжёлые взрывы потрясают город, на улицах и в домах раздаются выстрелы, слышатся крики истязуемых, гибнущих людей. Это ночь огня и смерти, разрушения и



крови, убийства и грабежа. Вся злоба врага, терпящего поражение, обращается против беззащитных, мирных жителей; озверевшие гитлеровцы не щадят никого и ничего. И невольно возникает у каждого тревожная, горькая мысль — удастся ли пережить эту ночь, доведётся ли завтра встретить тех, кого с такой тоской и нетерпением ждали два с лишним года?

Такую страшную ночь пережили жители Корсуня 13 февраля 1944 года.

Ещё вечером тяжёлый взрыв колыхнул скалистые берега Росси, встряхнул дома на самых дальних окраинах. Немецкие сапёры взорвали гидроэлектростанцию. Грудой камней легло здание ГЭС, рухнула почти на всём своём протяжении широкая плотина, перегоревшая Росси, и высокий водяной вал с глухим рёвом понёсся вниз по каменистому руслу реки. Затем громыхнул раскат в противоположном конце города — взлетел на воздух корсунский железнодорожный вокзал. Загрохотали взрывы на центральных улицах, рухнула мельница, раздуваемое ветром пламя заплескало над новым домом районной больницы, пожары запылали со всех сторон.

В свете огня и зарева по улицам Корсуня из дома в дом сновали эсэсовские солдаты из бригады «Валлония». Трещали двери, звенели под прикладами автоматов оконные стёкла, в погребах, где прятались горожане, глухо рвались гранаты. Многим жителям Корсуня не пришлось увидеть рассвет и услышать, как загремело на окрестных холмах протяжное «ура» нашей пехоты, двинувшейся на штурм города.

Разведчики, ночью перебравшись через Росси около чугунолитейного завода, подавали огневые точки противника на левом берегу, и с рассветом советская пехота ворвалась в город. Бой шёл на улицах, постепенно перемещаясь в сторону западной окраины.

На городском аэродроме остались восемнадцать транспортных «юнкерсов», застрявших на раскисшем от дождя лётном поле. Немецкая аэродромная команда, спасаясь бегством, даже не подожгла эти машины. Около железнодорожной станции, рядом со свежими развалинами вокзала, дымились взорванные танки и бронетранспортёры. На улицах Корсуня наши солдаты захватили два десятка тяжёлых орудий, с которых немецкие артиллеристы впопыхах даже не сняли замков. Противник не успел ни вывезти, ни взорвать шесть больших складов с боеприпасами, как ни дороги были снаряды и патроны для окружённых войск.

По улицам, ведущим к западной окраине, в несколько рядов стояли немецкие грузовики, легковые машины, бронетранспортёры, тягачи с пушками. Одни были взорваны, другие горели, третьи остались неповреждёнными. Большая часть этой техники, как и танки, догорающие около вокзала и в центре города, принадлежали мотобригаде «Валлония». Трупы солдат и офицеров из «валлонских» полков валялись на всех улицах.

Бой на улицах уже затихал, когда на центральной площади Корсуня вдруг появился немецкий танк. Выскочив из-за домов, машина остановилась около большой воронки, вырытой бомбой на самой середине площади. Видимо, танкисты отстали от своих, заблудились и искали дорогу на Стеблев.

В это время из боковой улицы на площадь неторопливо вышли два пешехода с автоматами на шее и с шашками на боку.

— Э, гляди, танк! — озадаченно проговорил один, останавливаясь.

Танк стоял, гудя мотором и выбрасывая белые облачка из выхлопных труб. Казаки появились позади машины, и немецкие танкисты не могли видеть их.

— Рванём? — спросил второй казак у товарища, доставая из-за пояса противотанковую гранату.

— А ну, стой! — удержал его тот. — Сейчас я им ультиматум скажу.

Он спокойно, вперевалку направился к машине, обошёл гусеницу и остановился сбоку, на краю воронки. Вытянув из ножен свою шашку, казак с силой постучал рукоятью по броне.

— Эй, фрицы! — крикнул он. — Вылезай, приехали!

Вероятно, немецкие танкисты были немало удивлены, увидев в смотровую щель небрежно стоящего около гусеницы одинокого казака с шашкой. Но в следующую минуту танк взревел мотором и дёрнулся вбок, явно намереваясь задавить дерзкого. Казак спрыгнул в сторону, выхватил из-за пояса гранату, швырнул её под гусеницу и стре-

мительно упал в воронку. Грохнул взрыв, и машина замерла неподвижно. Мотор заглох.

Казак, не спеша, встал на ноги, поправил кубанку, стряхнул рукавом грязь с ватника и, выбравшись из воронки, опять подошёл к машине.

— Ну, теперь вроде договорились,— громко сказал он.— Всё ясно! А ну, откупоривай свою банку, а то мне некогда!

Люк в башне медленно приоткрылся, и оттуда показались сначала поднятые руки, а затем голова танкиста.

— Плен, пан... плен...— повторял немец.

Казак усмехнулся.

— Ну, то-то! Главное дело — агитация,— самодовольно подмигнул он товарищу, который, держа автомат наготове, наблюдал, как трое «валлонцев» один за другим спускаются из башни на землю, опасливо косясь на казаков и бормоча: «Плен, плен...»

Корсунь был очищен от противника. Преследуя отступающих к Стеблеву немцев, наши пехотинцы на другой день освободили село Яблоновку, где неделю назад советские парламентёры вручили командованию окружённых войск наш ультиматум. 15 февраля бои шли на окраинах Стеблева, который противник упорно оборонял, то и дело переходя в контратаки. В этом городке сосредоточились сейчас штабы немецких дивизий. Но командующий окружённой группировкой генерал Штеммерман, готовясь к новому рывку, продолжал стягивать свои основные силы к югу. По просёлочной дороге из Стеблева на Шандеровку нескончаемым потоком дегались машины.

Около полудня 15 февраля в районе этого просёлка советские танки выбили немецкую пехоту с высоты, господствующей здесь над местностью. С гребня холма, как на ладони, был виден большой участок дороги, ведущей на Шандеровку. Наши артиллерийские наблюдатели немедленно установили на холме свои приборы, чтобы корректировать отсюда огонь пушек по автоколоннам противника. И тотчас же в эфире была перехвачена отчаянная радиogramма командира 72-й пехотной дивизии полковника Хонна, солдаты которого обороняли этот участок фронта. Хонн радиовал генералу Штеммерману:

«К двенадцати часам русские перерезали дорогу Стеблев — Шандеровка. Обстановка создаётся крайне напряжённая. Жду ваших указаний».

На юге в этот день снова развернулись жестокие бои. Несколько раз наша пехота врвалась в Хилки и опять вынуждена была отходить под ответными ударами противника. Из рук в руки переходила Комаровка. Тяжёлый бой за Ново-Буду вели стрелки Трофименко и казаки Селиванова.

Захватив Ново-Буду два дня тому назад, противник принял все меры, чтобы удержать её. Из нескольких сёл, ещё оставшихся в руках немцев, Комаровка и Ново-Буда были ближайшими к Лисянке. С этого исходного рубежа окружённые войска ещё надеялись прорваться к танкам Хубе.

Немцы подтянули к Ново-Буде артиллерию, покрыли пулемётными гнёздами командную высоту у села, усилили обороняющиеся здесь полки. И когда одна из частей Трофименко атаковала село,— стрелкам не удалось пробиться сквозь густой огонь.

Это была та самая пехотная часть, которая ещё недавно обороняла Квитки и в ряды которой влились добровольцы-квитчане. Сейчас эти добровольцы были уже опытными, много раз обстрелянными солдатами. Но первые атаки их на Ново-Буду были безрезультатными. Не имела успеха и попытка казачьей части в сопровождении нескольких танков ворваться в село.

Дальнейшие попытки могли привести только к новым потерям. Сначала надо было хорошо разведать систему огня противника и подавить его орудия и пулемёты нашей артиллерией. Лишь после этого атака могла принести успех.

Послать в село разведчиков можно было только ночью. А время не терпело. Оставался один способ — разведка боем. Следовало заставить противника открыть огонь из всех огневых средств, чтобы артиллерийские наблюдатели засекали расположение его орудий и пулемётов.

И тогда стало известно, что четверо танкистов берутся самостоятельно провести эту разведку боем. Командир танка лейтенант Красильщиков и трое его товарищей по эки-

пажу добровольно вызвались ворваться на своей машине в Ново-Буду и принять на себя весь огонь противника.

Они шли на верную гибель — у танкистов почти не было шансов вернуться назад. Но командование решило, что лучше рискнуть одним экипажем и машиной, чем послать в бой пехоту, которой эта разведка может стоять десятков убитых и раненых. Предложение лейтенанта Красильщикова было принято. На наблюдательных пунктах артиллерии приготовились засекают огневые точки противника.

С суровой сосредоточенностью четверо друзей в последний раз осмотрели танк. Командир танковой роты по очереди обнял всех четверых, и они один за другим заняли свои места в машине. Красильщиков стал в башне, не закрывая люка, и повёл танк в сторону передовой.

Танк миновал глубокую лощину и стал взбираться на холм. По ту сторону высоты были окопы казаков и в нескольких стах метрах впереди начиналось село.

В тот момент, когда танк выбрался на гребень холма, появившись на виду у противника, лейтенант скрылся в башне, опустив за собой крышку люка, и машина, неистово взревев мотором, на полной скорости понеслась вперёд.

Прежде чем противник успел опомниться, танк проскочил через окопы немецкой пехоты и вылетел на окраину села. Только тогда торопливо, вразнобой захлопали со всех сторон пушки.

Улицы Ново-Буды поднимались вверх по склону горы, и из наших окопов было ясно видно, как танк несётся по селу, стреляя из пушки и строча из пулемётов. Красильщиков бросал машину то вправо, то влево, и разрывы вставали у обоих бортов танка. А наши артиллерийские наблюдатели поспешно ловили глазами вспышки выстрелов, нанося на карты расположение немецких батарей. И сзади, за холмами, уже загрелись первые выстрелы орудий, нащупывающих обнаруженные цели.

Видно было, как машина круто свернула за дом — вероятно, там стояло орудие или пулемёт. Тотчас же из-за дома показались бегущие врассыпную фигуры немецких солдат. Танк снова вылетел на улицу и понёсся обратно к окраине, так же виляя то вправо, то влево.

Внезапно огонь разрыва блеснул на башне танка — снаряд ударил в машину. Танк приостановился, но сразу же вновь рванулся вперёд.

Ещё два снаряда ударили в броню, но танк уже миновал передний край и, стремительно взлетев на холм, съехал в безопасную лощину. Со всех сторон к нему бежали казаки, танкисты.

Передний люк открылся, и из танка вылез потный и грязный механик-водитель. Указав рукой на башню, он тяжело выдохнул:

— Лейтенант ранен!

Несколько человек вскочили на броню. Крышка башенного люка была сорвана взрывом. Из башни осторожно изыскли окровавленного лейтенанта. Его положили на разостланную палатку, и один из командиров, склонившись над ним, отёр своим платком залитое кровью лицо раненого.

Красильщиков был ещё жив, но последние силы уже оставляли его. Снаряд, который снёс крышку люка, разорвался над его головой. Осколок пробил череп. Спасти танкиста было уже невозможно — он умирал.

За холмами дружно били наши батареи. По соседней лощине подходили к исходному рубежу танки, облепленные пехотинцами. Зашевелились казаки. Войска готовились к новому броску.

Подвиг танкистов прибавил силы нашим бойцам. С небывалым ожесточением дрались они в этот день на улицах Ново-Буды. Немцы сопротивлялись отчаянно, и бой в селе длился несколько часов. Только после того, как казаки и пехота стали обтекать село с двух сторон, грозя противнику окружением, он начал отходить из Ново-Буды на север.

Но едва лишь первая группа немецких автоматчиков вышла на дорогу, выводящую из села, — она попала под огонь пулемёта. Автоматчики рассеялись и залегли. Никто из них не мог заметить, откуда стреляет пулемёт.

А из села выезжали машины, появились новые группы отступающей пехоты. И опять наперерез им откуда-то понеслись струйки пуль. Дорога была закуорена, единственный путь к отступлению закрыт.

Снова и снова поднимались немцы, но пулемёт неизменно отвечал на все эти попытки меткими очередями. Наконец противнику удалось определить, откуда ведётся огонь. Еле заметные вспышки взблёскивали из-под большой соломенной скирды, одиноко стоящей на пригорке за селом. Там окопался молодой донской казак Коротецкий. Уже десятка два гитлеровцев валялись на дороге, скошенные его пулями.

Немцам была дорога каждая минута — наша пехота и казаки усиливали свой натиск на флангах. И отступающие спешили открыть себе путь для отхода. Автоматчики короткими перебежками продвигались по полю, окружая одинокую скирду. Но поблизости залегли товарищи Коротецкого, и их огонь не позволял немецким солдатам подойти к пулемётчику с тыла.

Однако и Коротецкому дорога назад была отрезана. Автоматчики, охватив скирду полукругом, своим огнём закрывали пулемётчику путь назад.

Внезапно все увидели как над скирдой стала подниматься тоненькая струйка дыма. Дым показался и с другой стороны — автоматчики подожгли солому зажигательными пулями.

Дым становился гуще, блеснули языки пламени, и вдруг огонь сразу жадно охватил всю скирду. Немцы толпой устремились на дорогу.

И тотчас же над полем вновь рассыпалась заливистая дробь пулемёта. Толпа солдат опять в беспорядке отхлынула к селу, бросая на дороге трупы своих. А Коротецкий бил вдогонку скупыми, расчётливыми очередями. Он стрелял сквозь пламя и дым, развеваемые порывистым ветром.

С обеих сторон перестали стрелять. И наши солдаты и немцы с волнением смотрели на горящую скирду. В наступившей тишине слышалась только торопливая пулемётная строчка, и огромное яркое полотнище пламени, гудя на ветру, развевалось над полем на чёрном вымокшем холме.

Дробь пулемёта резко оборвалась, и всё затихло. И сразу пламя над скирдой стало спадать.

Противник бежал из Ново-Буды.

У Комаровки и Хилек весь день и всю ночь не прекращались бои, которые не дали перевеса ни одной стороне. Только на другое утро силы немцев стали иссякать и наши стрелки вытеснили пехоту Штеммермана из обоих сёл. Но и после этого окружённые продолжали настойчиво атаковать. Сражение на юго-западном участке кольца стало понемногу стихать лишь после полудня 16 февраля. Противник, так ничего и не добившись, приостановил бесплезные атаки. Лисянка попрежнему оставалась недосыгаемой для окружённых войск.

А там, в Лисянке, в последние дни происходили решающие события.

Севернее Лисянки находится небольшой посёлок Октябрь. В этом посёлке незаметно для противника сосредоточились наши тяжёлые и средние танки, получившие приказ нанести удар дивизиям Хубе.

Они двинулись на село двумя широкими стальными волнами. Центр первой волны занимала рота тяжёлых танков. Крылья этой ударной колонны составляли группы средних машин, прикрывавшие её тяжёлое ядро от фланговых атак противника. Во второй волне с грозной медлительностью катилась вся основная масса тяжёлых танков. Они огнём поддерживали атаку первого эшелона и своим натиском подкрепляли успех авангарда.

На улицах села загрохотало танковое сражение. Гром выстрелов и взрывов, могучий рёв моторов, резкий ляг гусениц — всё слилось в один оглушительный гул, волнами перекатывающийся над Лисянкой.

Противник не выдержал удара. «Тигры» и «пантеры» попятились назад, отходя на южную окраину села, за реку Гнилой Тикич. Десятки машин горели на улицах, как кстры.

Отсюда, с южной окраины Лисянки, с трудом сдерживая напор наших танкистов на рубеже реки, Хубе днём 16 февраля радировал окружённым:

«Ударным кулаком пробивайтесь ко мне».

И Штеммерман, приняв эту радиограмму, понял, что его войска теперь могут рассчитывать только на свои силы и что наступил момент последнего, решительного боя.

## 12. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ОКРУЖЕННЫХ

Немецкая пехота, истощая свои последние силы, ещё продолжала кидаться в атаку у Комаровки и Хилек, а в штабе генерала Штеммермана командование окружённых войск уже разработало новый план прорыва.

Из восьмидесяти тысяч солдат и офицеров, которые были в конце января окружены на огромной территории, простиравшейся от Звенигородки до Канева и от Богуслава до Смелы, теперь уцелела едва ли четвертая часть. Само кольцо сузилось настолько, что к полудню 16 февраля в руках окружённых фактически оставались только два населённых пункта — местечко Стеблев и село Шандеровка. Остатки измотанных, обессиленных дивизий с машинами и боевой техникой, со штабами и тылами, со складами и госпиталями были стиснуты на этом «пяточке» в несколько десятков квадратных километров, каждый из которых день и ночь со всех сторон простреливала наша артиллерия, бомбила авиация, выжигали своим огнём реактивные миномёты.

Штеммерман понимал, что больше нельзя терять ни одного дня. Натиск советских войск возрастал час от часу, и по всем признакам русские готовились нанести окружённым последний удар. Танковые дивизии Хубе в Лисянке перешли к обороне и с трудом удерживают берег Гнилого Тикича. Если войска Конева на внешнем фронте усилят свой нажим, Хубе начнёт отходить, и тогда надежда на прорыв рухнет окончательно. Недаром рация Хубе то и дело настойчиво повторяет: «Пробивайтесь ко мне... Пробивайтесь к Лисянке». Нынешняя ночь решит судьбу окружённых — они должны проваться или погибнуть.

Большую часть боевой техники и транспортных средств Штеммерман решил уничтожить — запасы горючего и снарядов были ограничены. Освободившихся шофёров и обозников вооружили автоматами и винтовками, превратив их в пехотинцев. В тылах доверенные офицеры СС получили секретное предписание — ликвидировать тяжело раненных. Легко раненым было приказано идти в последнюю атаку вместе со всеми.

К ночи всю массу окружённых войск предстояло сосредоточить между Шандеровкой и Комаровкой и разделить для прорыва на две колонны. В левую, восточную колонну стягивались остатки эсэсовских подразделений танковой дивизии «Викинг» и мотобригады «Валлония», а также менее потрепанные в боях части 72-й и 112-й пехотных дивизий. Здесь, в центре, охраняемые со всех сторон уцелевшими танками «Викинга», на бронетранспортёрах должны были двигаться все штабы и все старшие офицеры окружённых частей. Вторая колонна, путь которой лежал несколько правее, была составлена из остатков 57-й, 82-й, 167-й и других пехотных дивизий. За ударными частями второй колонны следовали все тылы и обозы.

В два часа пополудни обе группы войск под покровом ночной темноты должны были выдвинуться на исходный рубеж около Комаровки и выступить в сторону Лисянки. Штеммерман надеялся, что ночная мгла хоть на некоторое время скроет наступающие части от советских разведчиков и обеспечит внезапность этого последнего удара.

Само построение колонн, весь задуманный боевой порядок наступающих красноармейцы говорили о замысле Штеммермана. Почти вся оставшаяся техника и наиболее боеспособные части двигались в левой колонне. Здесь же сосредоточивались все штабы и командиры дивизий и полков — вне зависимости от того, в какой из колонн находятся их части. Именно левым флангом командование окружённых войск надеялось пробиться к Лисянке. А более многочисленная правая колонна, обременённая к тому же тылами и обозами, приносилась в жертву. Брошенные своими генералами на произвол судьбы, части, наступающие в этой колонне, должны были отвлечь силы русских, принять на себя огонь и тем облегчить прорыв на левом фланге. Гитлеровское командование стремилось лишь вырвать из кольца уцелевших генералов и старших офицеров. Во имя этого заранее обрекались на гибель тысячи остальных немцев — солдат и младших офицеров.

К концу дня приказ о прорыве был получен в штабах окружённых частей. С этим приказом ознакомили офицеров, и тотчас же началось ещё более интенсивное передвижение войск в район Шандеровки.

Из рассказов многочисленных пленных, из прощальных писем, которые писали своим близким в эти последние часы многие из окружённых, павших потом на поле боя, мы знаем, что происходило в тот вечер в войсках Штеммермана.

Перед вечером командир танкового полка «Германия» дивизии «Викинг» хауптштурмфюрер СС Датвейлер ехал из Стеблева в Шандеровку. Остатки его полка и обозов уже двинулись туда раньше, и хауптштурмфюрер, покончив со всеми делами, торопился на доклад к командиру дивизии Гилле. Дорога была запружена грузовиками, продвигающимися к Шандеровке, и машина медленно тащилась в этом потоке.

Кроме шофера вместе с Датвейлером ехал его денщик Пауль Гросс. От денщика не укрылось необычное состояние его начальника. Несколько часов тому назад Датвейлера вызвали в штаб дивизии и он вернулся оттуда мрачный, угрюмый и молчаливый. Гросс не сомневался, что в штабе хауптштурмфюрер узнал какие-то важные новости, приведшие его в столь мрачное настроение.

Денщик прикидывал, как бы ему выведать эти новости, но Датвейлер вдруг заговорил сам.

— Пауль,— серьёзно и даже торжественно начал он,— сегодня ночью решится наша судьба. Мы идём на прорыв.

Гросс подумал, что это не такая уж свежая новость — попытки прорыва предпринимались уже трижды. Но вслух он осторожно сказал:

— Да, господин хауптштурмфюрер.

— Это будет наша последняя атака, Пауль,— продолжал Датвейлер.— Мы должны прорваться или погибнуть. Но, скажу тебе прямо, дела наши плохи. Наши танковые дивизии застряли у Лисянки и не могут пробиться сюда.

— Я слышал об этом,— подтвердил Гросс.— Вчера господин оберштурмфюрер Дебу и господин хауптштурмфюрер Лебкюхлер говорили...

— К черту Дебу и Лебкюхлера! — вдруг вспыхнул Датвейлер.— Этот Дебу — проклятый трус. Если два русских автоматчика стреляют по его батальону, он уже звонит в штаб, кричит, что его атакует полк и просит, чтобы ему разрешили отойти. А Лебкюхлер только и знает, что пьёт. Этих трусов и пьяниц нечего слушать. Но сейчас я говорю тебе, что наше дело действительно плохо.

То, что Датвейлер обрушился на Дебу и Лебкюхлера, не удивило Гросса: его начальник нередко ругал своих сослуживцев в его присутствии. Но то, что хауптштурмфюрер так настойчиво твердит о плохих делах, было ново и непривычно — до сих пор командир полка «Германия» считал своим долгом внушать всем своим подчинённым оптимизм.

— Меня, как офицера, русские, конечно, убьют,— мрачно рассуждал Датвейлер.— Да и тебя, как эсэсовца,— тоже. Поэтому давай, Пауль, условимся с тобой — в плен мы не сдадимся, а в последнюю минуту застрелим друг друга. Хорошо?

— Да, господин хауптштурмфюрер,— смущённо пробормотал денщик.

Гросс в душе совсем не разделял зловещего плана своего начальника. Он уже слышал, что русские всё не убивают эсэсовцев, и не имел никакого желания получить в лоб пулю из парабеллума своего командира. Про себя он решил при первой же возможности сбежать от хауптштурмфюрера и сдаться в плен, если до тех пор русские снаряды и пули пощадят его.

Датвейлер не заметил смущения своего денщика и, считая вопрос решённым, молчал до конца пути, видимо, внутренне готовясь к ожидающей его смерти. Впрочем, он так и не привёл в исполнение своего намерения. Оба — и денщик и его командир — оказались на следующий день в русском плену, где и рассказали подробно о своём разговоре по пути в Шандеровку.

Шандеровка была забита войсками и машинами. На улицах в несколько рядов, тесно, один к другому стояли тяжёлые, неуклюжие грузовики, штабные автобусы, легковые автомобили офицеров, гусеничные тягачи с орудиями, бронетранспортёры. Машины, повозки, запряжённые приземистыми, короткохвостыми битюгами, полевые кухни

заполняли дворы, виднелись под деревьями в садах, стояли на огородах. К вечеру подморозило, изуродованные колёсами, истоптанные сапогами дороги стали каменно твёрдыми, машины могли ехать прямо через поля, и к Шандеровке со всех сторон подтягивались все новые и новые автоколонны и обозы.

Солдаты хлопотали около машин, толпились во дворах, набивались в хаты. Задымили печи, на огородах загорелись костры — немцы готовили себе ужин. С севера от Стеблева и с юга, со стороны Комаровки, доносился грохот оружейной перестрелки, по временам снаряды залетали и в Шандеровку, но сражение, кипевшее до полудня с таким ожесточением, сейчас затихло, словно отдыхая и собираясь с новыми силами.

В конце дня в село под усиленным конвоем эсэсовских солдат пригнали из Стеблева огромный пеший транспорт. Здесь были раненые военнопленные, мирные жители, согнанные из окрестных сёл, в том числе старики, женщины и дети. В этой колонне было около тысячи человек, исхудалых, оборванных, мёрзнувших.

Большую часть этих людей загнали в деревянную шандеровскую церковь и заперли там. Остальных поместили в здании школы.

Начинало смеркаться, когда в разных концах села прозвучали отрывистые команды офицеров. На главную улицу из хат и из дворов торопливо бежали солдаты.

Коля Симша, тринадцатилетний житель Шандеровки, навсегда запомнил сцену, свидетелем которой он невольно оказался в тот вечер. Уже в сумерки он вылез из погреба, где прятался вместе с матерью, чтобы поглядеть, что делают во дворе немцы. Солдаты не тронули его, он побродил между тесно составленными повозками и пошёл на улицу посмотреть на машины.

В это время со стороны Стеблева подъехал маленький легковой автомобиль. Машина остановилась рядом с колиной хатой, у двора соседа, и из неё вышел высокий немец в нарядной шубе с пышным бобровым воротником.

— Генерал, генерал! — заговорили во дворе солдаты.

Генерал вошёл в хату соседа, где немцы разместили свой штаб. Пять минут спустя из хаты выбежали несколько офицеров. Они пустились в обе стороны по улице, на бегу выкрикивая какую-то команду. Подхваченная другими, эта команда полетела по селу, и тотчас же захлопали двери хат, поднялась суета во дворах, и солдаты толпой бросились на улицу.

Рядом с вереницами машин на обочине дороги выстраивались в затылок друг другу людские шеренги. В спускающихся сумерках не было видно ни начала, ни конца этой длинной зелёной цепочки тесно стоящих солдат.

Мальчик, на которого никто не обращал внимания, прижавшись к плетню, с интересом наблюдал за всем происходящим.

Раздалась громкая команда, разлетевшаяся в оба конца улицы. Зелёные шеренги замерли. И тотчас же дверь хаты соседа открылась, и на пороге показался давешний генерал. Он был уже без шубы, в одном мундире с пёстрыми рядами орденов на груди и с ярким золотым шитьём на погонах. За ним следовала целая свита офицеров.

Генерал остановился против шеренг. В руках его была какая-то бумага.

Громко и медленно он начал читать эту бумагу, делая долгую паузу после каждой фразы. Офицеры, стоящие перед шеренгами, также громко повторяли своим солдатам всё, что читал генерал. Фраза за фразой, передаваемая по этой живой цепи, разлеталась в обе стороны улицы. Так был оглашён весь приказ.

Генерал сложил бумагу, спрятал её в карман френча и, сняв фуражку, бросил несколько слов. Коля с удивлением увидел, как разом шеренги солдат и офицеры, стоящие впереди, опустились на колени. Немцы молились — олли, сложив вместе ладони и возведя глаза к небу, другие, уронив голову на грудь. Только генерал не опустился на колени и стоял молча, склонив обнажённую седую голову.

Многие солдаты плакали. Потом в сгущающейся полутьме раздалась тяжёлая, глухая рыдания, чей-то стон. И Коля Симша, тринадцатилетний советский мальчик, которому было непонятно и чуждо это зрелище массовой молитвы, на мгновение всем своим детским сердцем ощутил безысходный ужас трагедии, нависшей над тысячами этих чужих и враждебных ему людей, склонивших колени на твёрдую, схваченную морозом землю его родной Шандеровки.

Но это чувство промелькнуло у мальчика только на мгновение. В следующий момент генерал рывком вскинул голову, резким жестом надел фуражку и крикнул что-то зычно и властно. Строй мгновенно рассыпался. Торопливо вскакивая на ноги, немцы бросились к машинам, побежали во дворы и на огороды. Минуту спустя совсем близко на улице грохнул взрыв, что-то загорелось. И сейчас же взрывы загремели тут и там, сгустившаяся ночь озарилась пламенем. Перепуганный мальчик, чувствуя, что начнется что-то страшное, опрометью кинулся к погребу.

Окружённые войска уничтожали свою технику, своё имущество. Пошли в ход так называемые «пакеты фюрера» — пачки тола, предназначенные для взрыва артиллерийских орудий в критический момент. Солдаты бросали гранаты в стоящие на дороге машины, обливали бензином и поджигали грузовики с кладью. В огонь летели личные вещи, офицерские чемоданы — сейчас было не до скарба, спасать предстояло только собственную жизнь.

Во дворах горели огромные вороха бумаг — уничтожались штабные документы. Резкий, холодный ветер, поднявшийся к ночи, раздувал эти бумажные костры, и горящие листки летали над селом, падали на соломенные крыши хат, зажигая их. Другие хаты поджигали эсэсовские факельщики. Дым плотным облаком заволок село, и жителям, которые осмеливались выглянуть на момент из погреба или землянки, казалось, что к утру вся Шандеровка превратится в одно сплошное пепелище.

В центре села хозяйничали солдаты «Викинга» и «Валлонии». Взорвав свои машины и орудия, они бросились в дома. Горе было жителям, которых они заставляли в хатах.

В хате старика Кияницы эсэсовцы наткнулись на раненого советского лейтенанта, который несколько дней назад так смело отвечал немецкому генералу. Раненого зверски убили. Потом, вспомнив о церкви, где были заперты пригнанные сюда днём люди, солдаты кинулись туда.

Церковь подожгли сразу с трёх сторон. Старые сухие брёвна занялись тотчас же, и огонь взлетел к куполу. Изнутри доносились страшные вопли, а вокруг бесновалась толпа эсэсовцев, стреляющих из автоматов в огонь.

Одновременно с церковью запыхала школа, где тоже были заперты люди. Загорелась мельница на пригорке, вспыхнули колхозные сараи. А на окраине, около машин с тяжело ранеными немецкими солдатами, хлопотала специальная эсэсовская команда. Раненых пристреливали, машины обливали бензином и поджигали.

Около полуночи немецкие части начали покидать село, двигаясь в сторону Комаровки, к исходному рубежу последней атаки. Перед выступлением солдатам было разрешено съесть неприкосновенный запас продуктов, выдана тройная порция спиртного. Чтобы поднять дух войск, командиры объявили, будто котёл уже прорван и передовые части окружённых установили связь с авангардами Хубе за Комаровкой.

Это известие не вызвало энтузиазма в войсках. Окружённые уже ни во что не верили и ни на что не надеялись, и многие из них, будучи не в силах дольше терпеть невыносимое нервное напряжение последних дней, предпочитали смерть от собственной руки. В эту ночь в Шандеровке десятки офицеров и солдат покончили жизнь самоубийством. Стрелялись целыми группами, помогая друг другу быстрее отправиться на тот свет. Стрелялись в одиночку, зажав в руке фотографии родных и близких, посылая проклятья виновникам этой бессмысленной гибели и всем, кто остаётся в живых.

Но были и такие, которые вовсе не собирались прощаться с жизнью.

Ещё утром, когда в селе было сравнительно спокойно, в хату колхозника Григория Горбенко пришли два солдата. Один из них, поляк по национальности, хорошо говорил по-русски. Солдаты были голодны и потребовали есть. Пришлось отдать им чугунок картошки, только что сваренный для семьи.

Они ели жадно и долго. Оporожнив чугунок до дна, солдаты пришли в благодушное настроение и разговорились с хозяином. Горбенко осторожно спросил о положении на фронте.

— Дела наши плохи, пан,— ответил поляк.— Наверное, завтра или послезавтра сюда придут ваши войска. А мы...



И он безнадежно махнул рукой. Потом оба солдата вполголоса долго говорили между собой по-немецки. Немец полез во внутренний карман френча, достал оттуда какую-то бумажку и стал показывать её поляку, опасливо косясь на хозяина, чтобы он не подглядел. Заметив, что сын Горбенко заглядывает ему через плечо, немец гневно закричал на него, и перепуганный мальчуган кинулся за печку.

— Пан,— вдруг обратился к Горбенко поляк,— ты имеешь погреб?

Горбенко сказал, что погреб у него на огороде за домом и что вся его семья ночует там, боясь обстрела.

— Покажи погреб,— потребовал поляк.

И Горбенко повёл обоих солдат на огород.

Солдаты постояли у входа в погреб, поговорили между собою и, попрощавшись с хозяином, ушли. И тогда мальчик сказал отцу, что на бумажке, которую немец показывал поляку, по-русски было написано слово «пропуск». Горбенко догадался, что то была советская листовка.

— Зачем ты ему погреб показал? — упрекала жена.— Надо было сказать, что у нас его нет. Перестреляют нас ночью. Или гранату кинут.

Горбенко спорил с женой, успокаивал её, но сам в глубине души тревожился и не мог понять, для чего понадобился этот погреб солдатам.

Днём Шандеровка всё больше и больше стала заполняться немецкими войсками, и семья Горбенко из предосторожности решила укрыться в своём убежище. Поздно вечером, когда в селе уже гремели взрывы и бушевали пожары, дверца погреба вдруг отворилась. На фоне багрового от зарева неба вырисовались две фигуры, склонившиеся над ямой. Это были немецкие солдаты.

Сидевшие внизу в ужасе замерли, ожидая, что сейчас раздастся автоматная очередь или полетят гранаты. Но в руках одного из немцев мигнул фонарик, на миг озарив крутую лестницу, ведущую вниз, и тотчас же первый солдат стал поспешно спускаться в погреб. За ним последовал второй, дверца опустилась, и в яме снова стало темно.

Прошло несколько секунд напряжённого ожидания, фонарик зажгётся снова, и лучик его осветил прижавшихся друг к другу людей.

— Пан, это мы,— услышал Горбенко знакомый голос.— Не бойся. Мы будем прятаться и идти в плен.

Только сейчас Горбенко понял, зачем поляку и немцу понадобился его погреб, зачем они хранили нашу листовку. Оба солдата решили дезертировать и искали надёжное убежище, где можно было бы отсидеться до прихода советских войск.

Горбенко помог им устроиться в углу погреба на соломе, загородил их пустыми кадками, прикрыл рядом. Теперь, если бы даже немцы наткнулись на погреб и осветили его сверху фонарём, они не заметили бы беглецов.

Эта предосторожность была не лишней. В ту ночь множество солдат разбежалось по селу, прячась в хатах, погребах и подвалах, переодеваясь в одежду крестьян. Уже шли облавы, эсэсовцы обыскивали хаты, шарили на чердаках, в подвалах.

В полночь на главной улице Шандеровки, почти в самом центре села, перед выступлением в последний путь выстроились остатки «знаменитого» 199-го полка Листа. Грязные, оборванные, обросшие щетиной «сослуживцы Гитлера» были собраны, чтобы выслушать прощальную речь своего командира полковника Кенига. В ожидании полковника солдаты стояли, переминаясь с ноги на ногу, поёживаясь от холода и кашляя от густого дыма, облака которого то и дело приносил порывистый, морозный ветер.

В темноте слышался шум, крики, и группа солдат в чёрных мундирах провела мимо строя полка троих только что пойманных дезертиров. Два немецких солдата покорно шли впереди. Третий был венгерским солдатом. Его тащили насильно, а он вырывался и громко кричал.

— Свины! Мерзавцы! — раздавались его выкрики.— Убийцы! Всё равно вы все сегодня умрёте. Все... все! Русские всех вас перебьют!

Его тащили вдоль строя, и он кричал прямо в лицо солдатам, которые со страхом слушали эти слова, звучавшие, как зловещее пророчество.

Сзади к конвоирам подбежал офицер и передал какое-то приказание. Резко свернув в сторону, эсэсовцы повели своих пленников в ближайший двор. Видимо поняв, что сейчас его расстреляют, венгр вдруг перестал вырываться и пошёл сам, вскинув голову.

— Смерть Гитлеру! Да здравствует Сталин! — закричал он вдруг.

И хотя конвоиры осыпали его ударами, он продолжал идти и кричать:

— Смерть Гитлеру! Да здравствует Сталин!

Дезертиры и конвой скрылись в темноте, но выкрики венгра продолжали доносятся до выстроенных на улице солдат, пока резкая дробь автоматов не заглушила его голос.

Раздалась команда «смирно», и перед строем полка появился полковник Кениг.

— Солдаты! — начал полковник. — Сегодня в ночь решается наша судьба. Мы должны пробиться или, лучше сказать, прорваться с криком «ура» к Лисянке, где ждут нас доблестные войска Хубе. Я не хочу оставлять вас одних в тяжёлый момент. Я с вами. Мы встретимся в Лисянке. Итак, вперёд! Со старым боевым кличем нашего полка ещё раз вперёд!

Странной показалась солдатам эта речь. В словах полковника явно отсутствовала логика. «Почему полковник сказал, что мы встретимся в Лисянке, если он идёт с нами?» — задавали себе вопрос солдаты. Но Кениг, ещё раз выкрикнув: «Вперёд!», резко повернулся и скрылся в темноте, оставив их в недоумении. Нелогичность его объяснялась просто — он не собирался идти с полком. Как и остальные старшие офицеры, он в этот последний момент бросал своих подчинённых на произвол судьбы, чтобы вместе с генералами попробовать прорваться через кольцо под защитой танков «Викинга». С солдатами оставались лишь командиры батальонов и рот.

Снова прозвучали отрывистые команды, шеренги перестроились, и полк выступил в сторону Комаровки. В тишине, нарушаемой лишь однообразным стуком каблуков о мёрзлую землю, кто-то из солдат громко и отчётливо сказал:

— Идём на страшный суд!

### 13. РАЗГРОМ

Около полуночи холодный, резкий ветер принёс первые снежинки. Снег заплескал, закружился во тьме, ложась на каменно-твёрдую, замороженную землю. Невидимые в ночной мгле, с севера подходили тяжёлые метельные тучи.

Снегопад становился всё гуще, плотнее. Уже через час ровный белый покров лёг на холмы вокруг Шандеровки и Комаровки, на истолчённые колёсами и сапогами дороги, на брустверы окопов, на крыши хат. Но ночь не стала от этого светлее — сплошная снежная муть, повисшая над полями, делала мрак ещё более непроглядным.

По мере того, как густел снегопад, крепчал и ветер. Метель усиливалась час от часу. Свирепый буран разыгрывался над курсунскими полями, над догорающей Шандеровкой, над притихшей Комаровкой, над необычно оживлёнными в эту ночь Джураженцами.

Советские войска готовились встретить последний рывок противника. Было ясно, что положение окружённых стало критическим и именно в эту ночь или с наступлением утра следует ждать развязки событий. Весь вечер и всю ночь на южном участке кольца кипела напряжённая работа. В район Комаровки, Хижинцев, Почапинцев подтягивались новые артиллерийские части, подходили колонны танков. Гуще становилась цепь окопов переднего края, боевые порядки пехотинцев уплотнялись, новые рубежи обороны возникали в тылу. Плотнее сдвигались огневые позиции артиллерийских батарей. На опасных направлениях орудия стояли в несколько рядов, расставленные в шахматном порядке в десяти-двенадцати метрах друг от друга.

Буран словно совсем задул огонь боя. На всём фронте прекратилась даже обычная перестрелка. Непривычная тишина воцарилась над полями битвы, и только шумный посвист бурана раздавался во мгле. Но вместе с тишиной над линией фронта повисла смутная тревога ожидания. И чем дольше длилась эта тишина, тем сильнее росло в сердцах людей предчувствие близящейся боевой бури.

А по фронтовым дорогам всю ночь сквозь буран двигались войска. Шли пехотинцы, меняла огневые позиции артиллерия, на мохнатых от снега, заиндевевших лошадях пробирались через холмы цепочки кавалеристов, и танки, заглушая рёвом моторов шум ветра, сосредоточивались в ложинах, где постепенно превращались в огромные сугробы, из которых странно торчали длинные стволы пушек. Советские войска перегруппировывались. Наше командование не собиралось пассивно ждать удара противника—перед рассветом, в шесть часов утра, наши части должны были начать наступление по всему фронту кольца с тем, чтобы окончательно добить окружённую группировку.

Можно было с уверенностью предугадать, где именно развернутся самые ожесточённые бои. Наши ли части первыми двинутся в наступление или их опередит своей атакой противник—смысл боя будет один: окружённые приложат все силы, чтобы прорваться на юг и юго-запад, к Лисянке, а советские войска должны не допустить этого прорыва. Не было сомнения, что главные события произойдут на рубеже Хижинцы—Хильки—Комаровка—Почапинцы. Именно этот рубеж усиленно укреплялся нашими войсками, здесь сосредоточивались новые части и сюда подтягивались резервы.

В эту ночь большое село Джурженцы по самому своему местоположению естественно стало главным опорным пунктом советских войск.

От Джурженцев веером расходятся дороги на Хижинцы, Комаровку, Почапинцы, Лисянку. Село лежало как раз посередине того перешейка, который разделял окружённые войска и танковые дивизии Хубе. Немецкие колонны должны были пройти через Джурженцы или двинуться в обход этого села, пробиваясь к Лисянке. Правда, это создавало серьёзную опасность для наших штабов, но зато отсюда можно было особенно оперативно и гибко управлять ходом боя.

В Джурженцах уже давно работало военно-полевое управление войск генерал-лейтенанта Трофименко. Теперь здесь разместилось ещё несколько наших штабов.

Никогда ещё село не было столь многолюдным и оживлённым, как в эту тёмную, ветреную и снежную ночь. По улицам во всех направлениях двигались войска, тарактели повозки, шумели машины, а иногда все звуки заглушал могучий рёв проходящей танковой колонны и в окнах хат начинали тонко дребезжать стёкла. На большой сельской площади, у церкви, рядами выстроились реактивные миномёты. «Катюши» стояли пока прикрытые заснежёнными брезентовыми чехлами, но расчёты дежурили наготове около машин и у штабелей ящиков со снарядами.

На северо-восточной окраине села, где находился полевой штаб Трофименко, то и дело по улице проносились броневики офицеров связи, в укрытых под деревьями автофургонах стрекотали на телеграфных аппаратах девушки-бодистки, бежали через дорогу посыльные, и дверь пункта сбора донесений беспрерывно хлопала, пропуская наружу полосу света. Метались вдоль своих линий связисты, которым буран доставил много хлопот.

Около полуночи все находившиеся на улице слышали далёкое гуденье. Сама мысль об авиации в эту бурную, метельную ночь представлялась невероятной, но сейчас сомнений быть не могло—там, наверху, в густо затянутом тучами небе, откуда валил снег, где, казалось, бесновались все ветры мира, шёл отряд самолётов. Характерный трескучий звук напоминал наши лёгкие машины «У-2». Впрочем, и противник имел подобные же самолёты, с таким же трескучим шумом мотора.

Они летели низко и медленно, с трудом пробиваясь сквозь буран и держа курс на север. Здесь, на земле, люди, удивлённо прислушиваясь к их рокоту, с невольной дрожью представляли себе, каким должен быть этот полёт в непроглядном мраке, в густых снежных вихрях, в бешеных порывах ветра, швыряющего лёгкие машины.

Самолёты пролетели над Джурженцами в сторону Комаровки и Шандеровки. Минут десять спустя ветер донёс оттуда глухие взрывы.

Пролетевшая над Джурженцами эскадрилья действительно состояла из советских самолётов «У-2». В эту выюжную, совершенно не лётную по обычным понятиям ночь советские лётчики отправились на боевое задание. История этого удивительного вылета была такова.

Поздно ночью командующему фронтом генералу Коневу донесли, что окружённые войска сосредоточились в Шандеровке и готовятся к решительной атаке. Известие это

не вызвало у Конева удивления — он предвидел, что противник именно сегодня ночью сделает отчаянную попытку прорваться. Но он тут же подумал об авиации. Как ни страшна погода, всё же было бы очень важно «тряхнуть» противника перед тем, как он рванётся вперёд. Конечно, тяжёлые бомбардировщики посылать в такой бурян нельзя, но если машины будут лёгкими, а лётчики смелыми...

Командующий поднял трубку и вызвал командира авиаполка, стоявшего на аэродроме в Ротмистровке — большом селе близ Смелы. В этом полку самолёты были главным образом «У-2», а лётчики — все до одного комсомолец.

Генерал не приказывал — в конце концов погода была действительно совсем не лётной. Он лишь спросил у командира, не найдётся ли среди его лётчиков добровольцев, которые сейчас, несмотря на бурян, полетели бы бомбить окружённые войска в район Шандеровки. Командир ответил, что, по его мнению, добровольцы найдутся, и просил у генерала разрешения через десять минут доложить результаты разговора со своими лётчиками.

Ровно десять минут спустя командир полка позвонил Коневу.

— Товарищ командующий, добровольцы есть, — доложил он.

— Сколько? — спросил генерал.

— Весь полк! — был ответ.

Ни один из комсомольцев-лётчиков не захотел отступить перед труднейшей и почётной задачей, поставленной командующим. На лётном поле, по которому с воем метался бурян, началась работа. И хотя свирепый ледяной ветер забрасывал аэродром тучами снега, звенья самолётов одно за другим поднимались в снежную мглу ночи и вслепую шли в направлении Шандеровки. Злобные порывы бурана кидали самолёты из стороны в сторону, но лётчики, с трудом выравнивая машины, продолжали упорно прокладывать себе путь среди снежных вихрей.

Первое же звено, сбросив бомбы у окраины Шандеровки, накрыло немецкий обоз на дороге. Загорелись повозки и машины. Это послужило ориентиром для других самолётов, и большая колонна противника, вытянувшаяся между Шандеровкой и Комаровкой, в беспорядке разбежалась по полю. В то же время наша артиллерия обрушила на противника несколько сильных огневых ударов.

Окружённым пришлось приводить в порядок части, попавшие под обстрел и бомбёжку, и час атаки переместился ближе к рассвету. Цель, которую преследовал генерал Конев, посылая к Шандеровке самолёты и пуская в ход артиллерию, была достигнута.

В окопы нашего переднего края у Комаровки, занятые пехотинцами Трофименко, уже давно был передан приказ приготовиться к бою, но проходил час за часом, а противник не появлялся. Словно всё вымерло там, на севере, у Шандеровки. Только ветер резкими порывами то и дело налетал оттуда, и тогда плотная стена снега надвигалась из темноты и пронеслась над окопами.

Умолкли солдатские разговоры — тревожное ожидание не давало сосредоточиться на чём-нибудь ином. Привалившись к промёрзшей стене окопа, глубоко натянув на лоб тёплые ушанки и зябко засунув руки в рукава шинелей, с автоматами на коленях стрелки сидели, поглядывая вверх, в захлёстываемую волнами снега темноту, где должна появиться сигнальная ракета. Время от времени кто-нибудь вставал, вытянув голову над бруствером, всматривался вперёд, морщась от ветра, и тотчас же возвращался на место, махнув рукой.

— Ни зги! Для «него» это самое подходящее дело. Вплотную подкрадётся.

А в редкой цепочке окопов, выдвинутых в сторону противника, до боли в глазах всматривались в снежную темь посты боевого охранения. Ветер обжигал лицо, причудливо меняющаяся снежная круговерть обманывала зрение, мгновенно создавая и разрушая странные белые призраки, шум бурана, казалось, приносил с собой какие-то неясные звуки, и чудились то близкие голоса, то лязг железа или рокот мотора. И порой приходилось сделать усилие, чтобы сдержатъ разыгравшееся воображение, не нажать зря на спусковой крючок ракетницы, зажатой в руке. Эта внутренняя борьба с самим собой, напряжённое стремление отделить реальное от кажущегося, мнимого была едва ли не самым трудным испытанием нервов и воли солдат боевого охранения.

Было около четырёх часов утра, когда передовые посты слышали какой-то гул и различили сквозь метель чёрную колышущуюся массу, быстро и молчаливо накатывающуюся на них из темноты.

Над передним краем разом взлетела цепочка ракет. Их дрожащий, неровный свет на несколько кратких мгновений сзирил вихревую мать бурана, и стало видно, как вслед за летучими облаками снега на окопы с тяжким топотом несётся огромная плотная толпа.

И тотчас же передний край споясался огнём. Слитно, разом грянули пулемёты, автоматы, винтовки стрелков. Словно порыв огненного ветра понёсся во тьму, гоня перед собой тысячи свистящих пуль.

Глухой рёв прокатился по толпе, и во тьме густо засверкали вспышки выстрелов. Атакующие открыли огонь. Грохнули первые разрывы гранат, за нашими окопами оглушительно захлопали миномёты, сзади тяжело ударили орудия, и гул начавшегося сражения раскатился на километры вокруг.

Скошенные огнём в упор первые шеренги атакующих уже лежали в снегу. А по их трупам из снежного мрака катились новые людские волны и с криками, с воем, строча из автоматов, швыряя гранаты, неудержимо неслись к окопам.

В этой плотной толпе едва ли не каждая пуля наших стрелков находила свою цель. В самой гуще её сверкали яркие вспышки рвущихся снарядов и мин. Трупы ложились на трупы, и всё же наступил момент, когда волна атакующих накатилась на окопы. Вскипела короткая рукопашная схватка, и противник одолел числом — широкая брешь образовалась в переднем рубеже нашей обороны. В эту брешь хлынул поток немецких войск — ударные отряды прорыва, танки «Викинга», бронетранспортёры с генералами и офицерами, резервные части. Первая, главная колонна окружённых начала пробиывать себе путь на Лисянку.

С флангов артиллерия в упор расстреливала атакующих, огонь её всё усиливался. Уже в нескольких десятках метров за окопами противника встретил плотный пулемётный огонь. Пулемёты били навстречу немецкой колонне, они косили её справа и слева. В темноте трудно было понять, откуда стреляют пулемётчики, и противник заматался по полю.

Только голова колонны, где были собраны отборные части и все командиры окружённых войск, сохраняла свой боевой порядок. Под командованием начальника штаба дивизии «Викинг» штандартенфюрера Бикмана, батальоны «викингов» и «валлонцев» ломались через наши промежуточные рубежи, прорываясь сквозь пулемётный огонь или обходя в темноте узлы сопротивления. Топча убитых, не подбирая раненых, они шаг за шагом прокладывали дорогу всей колонне, и, рассеянные нашим огнём, беспорядочные толпы немецких солдат стремились вслед за ними.

Всё больше редееющая колонна, обтекая Комаровку, двигалась полями и оврагами на юг. В непроглядной тьме ночи нельзя было вести точный прицельный огонь, пулемёты и орудия били почти вслепую, и противник то здесь, то там пробивался или просачивался сквозь нашу оборону.

К рассвету передовые отряды окружённых вышли на северо-восточную окраину Джурженцев и в район Почапинцев. Всего шесть-семь километров отделяли их от Лисянки.

У окраины Джурженцев в медленном сером рассвете, с трудом проникавшем через снежную пелену бурана, завязался долгий, упорный бой. Кое-где немцам удалось зацепиться за крайние хаты села. Автоматчики залегли в заснеженных огородах, засели на чердаках, в сараях.

Всего в нескольких стах метрах от занятой немцами окраины села генерал-лейтенант Трофименко с группой своих штабных офицеров продолжал руководить ходом боя. Уже не раз подчинённые, беспокоясь за своего командующего, осторожно намекали генералу, что ему следует уехать из Джурженцев в более безопасное место. Но Трофименко резко обрывал эти разговоры.

— Никуда я отсюда не двинусь, — сердито говорил он. — Противник от нас бежать должен, а не мы от него. И победит скоро. Ну-ка, позвоните Яковлеву — готов ли он.

Майор Яковлев был командиром дивизиона реактивных миномётов, стоящих на центральной площади села, у церкви. Сейчас там, на огневых позициях миномётчиков, заканчивались последние приготовления.

Сам майор взобрался на церковную колокольню, где командующий приказал ему оборудовать наблюдательный пункт. Связисты поспешно тянули туда по крутой лесенке телефонный кабель. Внизу, у машин, торопливо работали расчёты. Тяжёлые наклонные рамы «катюш», уже расчехлённые, с рядами тускло поблёскивающих длинных снарядов, были повернуты к северо-востоку.

Яковлев напряжённо смотрел в бинокль, стараясь разглядеть, что происходит на северо-восточной окраине. Вокруг всё больше светлело, но снегопад мешал наблюдению. Только в минуты затишья, когда снежные вихри оседали к земле, видны были тёмные фигуры, перебегающие у окраины села.

— Телефон установлен, товарищ майор! — доложил связист.

Яковлев молча кивнул, не отрывая глаз от бинокля. Очередной порыв бурана пронёс мимо колокольни и унёсся в сторону Лисянки. И тотчас же майору стало видно, как из оврага, подступающего к северо-восточной окраине Джурженцев, валом повалили солдаты. Немецкие части, задержавшиеся у Комаровки, догнали свои авангарды.

Яковлев схватил телефонную трубку и отдал несколько коротких приказаний. Минуту спустя внизу раздался тяжкий, свистящий вздох, взметнулось густое облако снега, огненные полосы, косо встав над землёй, пронизали летучую стену метели, и первая стая снарядов со звонким шелестом унеслась вдаль. Яковлев приник к биноклю. В самой гуще толпы, выливающейся из горловины оврага, встали чёрные клубы дыма и часто захохотали разрывы. Толпа заметалась, рассыпалась, отхлынула назад, в овраг, и на снегу остались лежать десятки тёмных неподвижных фигур. А у подножия колокольни снова и снова вздыхали «катюши», насыпая своими снарядами овраг.

Немцы попытались обойти село. Но каждый раз Яковлев преграждал им дорогу залпом своих батарей, дочерна выжигая квадраты снежного поля. И наседавшие на Джурженцы отряды противника мало-помалу подавались влево, в сторону Почапинцев, где на хорошо укреплённом рубеже держали оборону пехотинцы и артиллеристы Трофименко и гвардейцы генерала Смирнова. Здесь по холмам тянулись частые цепочки стрелковых окопов, многочисленные пулемётные точки на склонах высот готовы были мгновенно превратить заснеженные ложины в огневые мешки; поодаль в несколько рядов выстроились разнокалиберные пушки, словно частоколом оградившие виднеющееся вдаль село Почапинцы. Этот рубеж был последней преградой для окружённых войск — прорвав его, они открыли бы себе путь на Лисянку.

Штеммерман рассчитывал, что одновременно с тем, как части «Викинга» и «Валлонии» начнут штурм почапинского рубежа, вторая, самая многочисленная колонна окружённых появится на участке между Джурженцами и Хижинцами. Оттуда ближе к Лисянке, и русские тотчас же оттянут туда главные силы, ослабив почапинский рубеж. Пока советские танки, пехота и артиллерия будут громить эту обречённую им в жертву колонну, эсэсовцы смогут решительным ударом прорваться у Почапинцев и провести за собою бронетранспортёры с генералами.

На практике этот план претерпел существенные изменения. Вторая колонна начала наступление почти одновременно с тем, как первая колонна своими эсэсовскими авангардами атаковала нашу пехоту у Комаровки. Путь её лежал западнее — она должна была пройти между Комаровкой и Хильками, миновать Хижинцы и Джурженцы и пробиться к соседнему с Лисянкой посёлку Октябрю, где предполагалась её встреча с танками Хубе.

Но едва голова колонны выступила из Шандеровки, как её авангарды были остановлены. Между Хильками и Комаровкой, где залегли пехотинцы Трофименко и казаки Селиванова, завязался бой, длившийся до рассвета. Под покровом темноты небольшим отрядам противника удалось проскочить сквозь этот рубеж, и около тысячи немцев к утру оказались недалеко от Джурженцев. Тотчас же вперёд была выслана разведка, чтобы установить связь с танкистами Хубе в посёлке Октябре. Разведчики пробрались к посёлку, но они принесли оттуда неутешительные вести: в Октябре немецких танков не было и в помине — там наготове стояли танкисты Ротмистрова.

Солдаты совсем пали духом, и, когда впереди показались советские танки, проравшийся отряд поспешно откатился назад и вскоре снова очутился в гуще всей второй колонны, ведущей безуспешный бой между Хильками и Комаровкой.

А на севере, в тылу атакующих, с первыми проблесками рассвета тоже загредел бой. Это начали своё наступление другие части Трофименко, штурмующие вместе с танкистами Стеблево и Шандеровку.

Арьергарды противника в Стеблево, прикрывавшие тыл окружённых, были сразу же смяты и отброшены на юг. Преследуя их по пятам, танки с пехотой на броне ворвались в Шандеровку.

Немцы пытались удержать село, и пехота с трудом отвоёвывала улицы, представляющие собой обширное кладбище боевой техники и машин, накануне сожжённых и взорванных противником. Тем временем танки, объезжая загромождённые дороги переулками, дворами, огородами, подавляя огонь немецких пушек, постепенно приближались к южной окраине села.

Эта окраина была забита уцелевшими машинами и обозами, которые ждали исхода боя у Комаровки и Хилек, чтобы тотчас же рвануться в прорыв вслед за ударными частями второй колонны. Они ждали уже несколько часов. Грохот сражения на юге всё время усиливался, а войска и обозы, сплошной лентой вытянувшиеся по дороге на Комаровку и Хильки, стояли без движения. Передаваемые по этой живой цепи, с поля боя приходили тревожные вести — части прорыва встретили сильный огонь русских и продвигаться им не удаётся. А сзади всё ближе раздавались орудийные выстрелы и всё явственней слышалась дробь автоматов.

Появление танков было совершенно неожиданным. Четырёхорудийная немецкая батарея, стоявшая поодаль от дороги, под деревьями, не успела открыть огонь, как группа танков, вырвавшись из-за гребня ближнего холма, оказалась в нескольких десятках метров от пушек.

Прежде чем артиллеристы успели заложить снаряд, передний танк перевалил через бруствер орудийного окопа, подминая и круша пушку. В несколько секунд все четыре орудия были раздавлены, и танки вынеслись на дорогу, запружённую повозками и машинами.

Пламя рвалось из длинных стволов пушек, жарко дышали огнём пулемёты, гусеницы дробили всё на своём пути. Танки неслись по дороге, и месиво из машин и повозок, людей и лошадей оставалось там, где они проходили. Солдаты с воплями разбегались по сторонам, повозочные нахлёстывали лошадей, гоня их напрямик через заснеженное поле, машины тяжело съезжали с дороги в снег и, беспомощно буксуя, останавливались.

Удар танков привёл в движение все тылы, растянувшиеся на несколько километров. На дороге творилось нечто невообразимое. Масса людей, повозок, машин рвалась вперёд, бешено напирая на тех, кто загоразивал им путь. Передние, ещё не зная, в чём дело, сопротивлялись этому натиску и были не в силах сдержать его. Грузовики и повозки наезжали на людей, сталкивались друг с другом, закупоривая дорогу, сбивались в кучу, а танки осыпали их снарядами и продавливали себе путь в этом хаосе.

Толпы солдат, остатки обозов панически бросились прочь от Шандеровки, к Комаровке и Хилькам, где вело бой ядро второй колонны. Танки преследовали бегущих, подстёгивая их огнём.

А в это время первая колонна уже штурмовала почтапинский рубеж. Здесь бой достиг высшего напряжения. Стоило какому-нибудь пулемёту смолкнуть на несколько секунд, необходимых для того, чтобы сменить ленту, и немецкие солдаты врывались в окоп пулемётчиков или успевали обойти огневую точку, отвоёвывая ещё несколько метров своего пути к Лисянке. Когда противник подходил вплотную к нашим пушкам, бойцы орудийных расчётов пускали в ход свои автоматы. На огневых позициях артиллеристов вскипали рукопашные схватки, и после того, как немцы, не выдержав, откатывались назад, тела убитых оставались лежать на ящиках со снарядами, висели на станинах орудий.

Правый фланг немецкой колонны упорно, но безуспешно рвался вперёд на всём протяжении от Джурженцев до Почапинцев. В центре, около Почапинцев, немцам на момент удалось пробиться к крайним хатам села, но они тотчас же были отброшены назад контратакой гвардейцев-курсантов учебного батальона капитана Елистратова. И лишь на лезов фланге, между Почапинцами и Моренцами, противник в одном месте сумел на короткое время разомкнуть непрерывную цепь нашей обороны.

Это была атака главного ядра колонны, отборных отрядов пехоты, подпираемых танками «Викинга». Но не танки прокладывали дорогу пехотинцам. Наоборот, своим огнём, своими телами пехота должна была проложить дорогу танкам, под охраной которых шли бронетранспортёры, везущие генералов и офицеров. Сотнями солдатских жизней противник хотел оплатить спасение кучки генералов, позорно бросивших свои войска.

Растянувшись по холмистому снежному полю широкими и густыми цепями, солдаты шли вслед за облаками метели навстречу огню. Шли эсэсовцы в тёплых валенках и шапках, надев на себя сразу по две шинели и натянув сверху белый маскировочный халат. Шли простые пехотинцы в драной, обтрепанной одежде, накрывшись вместо халатов простынями, захваченными в крестьянских хатах. Строча из автоматов, швыряя гранаты, испуская дикие вопли, они кидались на окопы, бежали прямо на огонь пулемётов и пушек. Снег не успевал заметать трупы, из белой мглы накатывались всё новые цепи. И когда в одном месте атакующие достаточно глубоко вклинились в нашу оборону, послышался рёв моторов, и последняя ударная сила противника вступила в действие.

Эсэсовские танки, стреляя из пушек и пулемётов, вздымая тучи снежной пыли, вынеслись вперёд. Покачиваясь на снежных ухабах, вслед за танками спешили бронетранспортёры, где за стальными бортами, окружённые кольцом эсэсовцев, выставивших наружу автоматы, тесно, плечо к плечу, сидели укутанные в шубы генералы и офицеры в ожидании своей судьбы.

С грохотом рвались вокруг снаряды, звучную дробь выбивали осколки и пули о броню машин, здесь и там останавливались подбитые горящие танки, но остриё этого тарана всё глубже проникало в толщу почапинского оборонительного рубежа.

Захлебнулись последние пулемёты в глубине нашей обороны, затопленные валом атакующей пехоты; на последнем рубеже артиллерии пушки в упор били по танкам и гибли под их гусеницами. И хотя соседние батареи старались закрыть своим огнём путь противнику, отряды штурмующей колонны ринулись в образовавшуюся брешь.

Эта брешь существовала всего десять-пятнадцать минут. Тотчас же наперерез противнику устремились наши танки и самоходки; тягачи подтаскивали пушки, и орудия, мгновенно развернувшись, открывали беглый огонь прямой наводкой; с ближних холмов во фланг бегущим ударили новые пулемёты, и огневая пробка плотно закупорила отверстие, пробитое немецким тараном. Поток людей и машин, стремительно текущий в это отверстие, был рассечён надвое, и те, что остались сзади, наткнувшись на огневую стену, смешались в беспорядочную толпу, заметались и, смятые, рассеянные огнём, кинулись назад. А к месту прорыва уже подоспела пехота и вновь прочно заняла оголившийся участок нашей обороны.

За эти десять-пятнадцать минут из огромного корсунского котла вытекли лишь капли. Группа танков и бронетранспортёров с генералами и три-четыре сотни пехотинцев, вырвавшись из кольца, бежали через заснеженные холмы и озера на юг. Наши пушки били им вслед, несколько танков отправилось в погоню, но бегущие уже скрылись за белой завесой метели, приближаясь к краю большой котловины, на дне которой лежит Лислянка. Гитлеровские генералы и офицеры, забыв о чести и о долге воина, бросив на поле сражения тысячи своих солдат, ведущих последний смертельный бой, оставив без управления войска в тот самый момент, когда в огне битвы решалась их судьба, бежали, спасая собственную жизнь. Час спустя, потеряв ещё несколько танков и больше сотни солдат, беглецы под покровом метели проскочили через линию нашего внешнего фронта и вышли в расположение дивизий Хубе.

Войска, брошенные своими генералами на произвол судьбы, тщетно пытались пробиться вслед за ними. Стряды первой колонны в исступлении снова и снова кидались



на почапинский рубеж и наконец, совсем обессилев, начали под нажимом нашей пехоты и танков откатываться назад, на север.

От первых хаток Комаровки до спускающихся с далёкого пригорка окраинных садов Хилек вдаль и ширирь раскинулось большое поле, взгорбленное холмами, порезанное оврагами. Местные жители называют его Бойковым полем.

В это холодное, метельное утро 17 февраля 1944 года Бойково поле стало центром всей Корсунь-Шевченковской битвы. На его просторах, затянутых сейчас густой, клубящейся завесой бурана, скопилась вся масса окружённых немецких войск. Здесь вели бой ударные отряды второй колонны, отчаянно и безуспешно пытающиеся пробить себе путь на юг. Сюда, преследуемые танками, ринулись от Шандеровки обозы. Здесь же, на этом поле, вскоре очутились и отброшенные от Почапищев жалкие остатки разгромленной первой колонны, уже не помышляющие об организованном сопротивлении, но ещё таящие надежду отыскать какую-нибудь щёлочку в огненном кольце, повсюду преграждающем дорогу к Лисянке.

Буран скрывал всё вокруг. Лишь на расстоянии нескольких шагов можно было различить что-нибудь. Эта белая мгла, мешающая видеть всю картину боя, ещё больше увеличивала панику. Потеряв всякую ориентировку, бессмысленно кидаясь то в одну, то в другую сторону, толпы мёрзнувших, увязающих в снегу солдат, сотни повозок и машин вслепую кружили по полю, сталкиваясь друг с другом, натываясь на пулёмётный огонь, попадая под артиллерийские налёты, скучиваясь в оврагах, куда реже залетали снаряды и мины и где не так сильно жёг ледяной ветер.

Тяжело и мощно гудела вокруг канонада. Её гул нарастал с ночи, по мере того, как ширился фронт битвы, по мере того, как, подходя к полю боя, в сражение вступали всё новые и новые силы. Громовые перебаты сотрясали ближние холмы, стремительный ветер доносил громыхание боя к Лисянке, где к нему с тревогой прислушивались солдаты дивизий Хубе, зная, что там, на севере, происходит развязка Корсунской битвы. Этот далёкий гром слышали Шпола и Смела, Канев и приднепровские сёла. А здесь, на Бойковом поле, обречённым на гибель, обезумевшим немецким солдатам этот всё нарастающий, раздирающий нервы грохот казался невыносимым.

За огненной линией, опоясавшей Бойково поле, заканчивались приготовления для последнего, смертельного удара. К восточной окраине поля подходили танковые колонны генерала Кириченко. Со стороны Хилек к месту сражения подтягивались казачьи эскадроны селивановцев.

Противник прилагал последние судорожные усилия, чтобы проложить себе путь через кольцо. Остатки отрядов прорыва кинулись в новую атаку по всему южному краю Бойкова поля. И тотчас же в тылу атакующих разнёсся слух о том, что оборона русских прорвана. Со всех концов поля на юг устремились толпы солдат, сток машин и повозок.

В эту минуту с командного пункта генерала Конева был передан условный сигнал. Перед строем танков Кириченко, растянувшихся длинным фронтом вдоль всей окраины поля, на башне головной машины командир взмахнул флажком. Передаваемый от одного танка к другому, сигнал пробежал по всей этой стальной цепочке. Разом заревели сотни моторов, и стальная волна с глухим гудением накатилась на затянутое бураном поле.

А на другой стороне Бойкова поля почти в эту же минуту перед неподвижно замершим строем конников командир казачьей части, донской полковник Мороз, привстав на стременах, выхватил из ножен шашку. Клинок блеснул над головой полковника, и конь Мороза, вздрогнув от толчка щпор, рванулся вниз по склону холма. И сразу же, развёртываясь в атакующую цель, гремя раскатистым «ура», казачьи эскадроны понеслись за своим командиром.

Слух о прорыве немецких авангардов оказался ложным. На южной окраине поля ринувшиеся из тыла солдаты, обозники и раненые столкнулись с отступающими после неудачной атаки цепями пехотинцев и смешались с ними в одну многотысячную толпу, которая была тотчас накрыта огненным валом советской артиллерии. Толпа тяжело шарахнулась назад, спасаясь от снарядов.

И тогда слева, со стороны Комаровки, послышался глухой однообразный шум — рокот сотен моторов, усиливающийся с каждой минутой. Тревожно прислушиваясь, толпа на мгновение остановилась. Рокот превратился в тяжкий рёв, который, казалось, поглотил все остальные звуки. Впереди, в белом снеговом тумане, смутно проступили контуры громоздких машин.

— Panzer! Panzer! — прокатилось по толпе.

Танкисты, уже различив за пеленой снега тёмную массу солдат, открыли огонь. Остатки обеих немецких колонн при виде этой неустойчиво несущейся стальной стены обратились в паническое бегство. С криками ужаса, толкаясь, падая, давя друг друга, толпы солдат бежали от танков к противоположному, правому, краю поля.

А оттуда, навстречу им, по всей ширине поля, приближаясь с непонятной быстротой, нарастало русское «ура» и доносился топот. И вдруг у кого-то из бегущих впереди вырвался полный страха и отчаяния крик:

— Kosak! Kosak!

Наперерез снежным волнам бурана, прямо на обезумевшую от страха толпу немецких солдат неслась плотная казачья лава. Победный, торжествующий клич гремел над рядами конников, увидевших противника.

Последняя воля к борьбе, последние надежды на спасение были сокрушены впрах двойным ударом танков и конницы. Остатки немецких колонн под этим ударом окончательно утратили всякие следы военной организованности и сразу превратились в беспомощное скопище обессиленных, морально раздавленных, полусумасшедших людей. Бросая оружие, поднимая руки, размахивая нашими листовками, они десятками и сотнями стали сдаваться в плен. И когда на середине Бойкова поля встретились танки Кириченко и казаки Мороза, на всей этой обширной холмистой равнине уже не было гитлеровских солдат, а были только пленные немцы.

Разрозненные группы противника ещё бродили в буране, тут и там по временам снова вспыхивала короткая перестрелка. В Шандеровке, с верхушки водокачки меткой пулей снайпера был снят последний немецкий автоматчик. Наши стрелки прочёсывали окрестные озера, вылавливая или уничтожая разбежавшихся солдат. Затихал бой на почтапкинском рубеже.

К утру умолкла стрельба. Прекратился буран, сменившись морозным безветрием. Над заметёнными снегом курсунскими полями, где четырнадцать суток, не смолкая ни днём, ни ночью, громыало могучее сражение, легла глубокая ясная тишина.

Корсунь-Шевченковская битва закончилась.

#### 14. НОВЫЙ СТАЛИНГРАД

В первом часу пополудни 18 февраля 1944 года в эфир понеслись знакомые всему миру позывные московской радиостанции. Как всегда, торжественно и медленно голос радиодиктора произнёс ставшие за последний год привычными слова:

«Приказ Верховного Главнокомандующего...»

Миллионы людей в радостном ожидании замерли у приёмников и репродукторов. Где, на каком участке тысячекилометрового советско-германского фронта сегодня потерпел поражение противник? Кого поздравит сейчас Верховный Главнокомандующий с новой победой?

«Генералу армии Коневу», — читал диктор.

«Войска 2-го Украинского фронта, в результате ожесточённых боёв, продолжавшихся непрерывно в течение четырнадцати дней, 17 февраля завершили операцию по уничтожению десяти дивизий и одной бригады 8-й армии немцев, окружённых в районе Корсунь-Шевченковский».

В ходе этой операции немцы оставили на поле боя убитыми 52 тысячи человек. Сдалось в плен 11 тысяч немецких солдат и офицеров.

Вся имевшаяся у противника техника и вооружение захвачены нашими войсками.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Смирнова, генерал-лейтенанта Коротеева, кавалеристы генерал-лейтенанта Селиванова, танкисты генерал-полковника танковых войск Ротмистрова, генерал-майора танковых

войск Кириченко, генерал-майора танковых войск Полозкова и лётчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова.

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и части представить к присвоению наименования «Корсунских» и к награждению орденами.

Сегодня, 18 февраля, в 1 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, завершившим уничтожение окружённых войск немцев,— двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем войскам 2-го Украинского фронта, участвовавшим в боях под Корсунью, а также лично генералу армии Коневу, руководившему операцией по ликвидации окружённых немецких войск.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».

Торжествующе прозвучала мелодия Гимна Советского Союза, затих протяжный звон кремлёвских часов, и первый залп пушек Москвы гулко прогремел над страной.

Гром московского салюта, долетая по эфиру к линии фронта, сливался здесь с боевыми залпами полевой артиллерии. На Ленинградском и Волховском фронтах пушками столицы вторили раскаты победных боёв — здесь наши войска гнали немцев на запад всё дальше от города Ленина. Словно эхо повторяло этот салют на юге — там, около Кривого Рога, начавшие новое наступление армии генерала Малиновского тоже громили противника.

А на полях Корсунь-Шевченковской битвы боевая гроза уже затихла. Только вдали, в направлении Лисянки, порой взблёскивали огневые зарницы и будто негромко урчал уходящий гром — там, у Гнилого Тиквча, танкисты Ротмистрова продолжали теснить дивизии Хубе.

Неторопливый зимний рассвет постепенно открывал широкую панораму Корсунского побоища. От Стеблева и Шандеровки до Комаровки и Хилек и дальше, до Моренцев, Почапинцев, Джурженцев, заснеженные поля и дороги были загромождены разбитой и брошенной техникой противника. Здесь было вооружение всех видов, были машины всех типов и марок, выпускаемых заводами Германии и оккупированной Европы. Запорошенные метелью, железные скелеты взорванных бронетранспортёров и автомобилей; увязшие в глубоком снегу орудия и тягачи; танки с отлетевшими башнями; вездеходы, лежащие на боку; автобусы, поднявшие колёса вверх; грузовики, взгромоздившиеся один на другой, и сотни, тысячи трупов в самых невероятных позах, уже занесённые снегом, жёстко схваченные морозом, — всё это являло собой картину страшного по своим масштабам разгрома.

По дорогам, ведущим в сторону Звенигородки, бесконечной серо-зелёной рекой текли колонны пленных. Бледные, измождённые, обросшие серой щетиной солдаты, хмурые, мрачно понурившие головы офицеры брели в тыл, зябко поёживаясь под шипками мороза, пряча руки в рукава грязных, обтрёпанных шинелей. Порой два-три наших автоматчика конвоировали далеко растянувшуюся колонну в несколько сот немцев. Пленные и не помышляли о побеге: ужас вчерашнего побоища подавил в них все чувства, все желания, кроме одного — желания жить. Они уцелели, и сейчас этого им было достаточно.

В наших штабах едва успевали допрашивать пленных офицеров. Когда им задавали вопросы о событиях прошлой ночи, о том, что происходило в окружённых войсках в последние часы битвы, выражение неподдельного страха появлялось в их глазах.

— О, это было нечто невообразимое. Это как кошмарный сон! — говорил один.

— Наше командование назвало в своём последнем приказе эту ночную операцию «бегом за жизнью», — рассказывал другой. — Но мы пазывали её «бегом за смертью».

— Это был марш между шинцрутенами, — отвечал третий. — Мы не переживали ничего страшнее этой ночи. Это останется, как вечное клеймо, в сознании.

Они, волнуясь, вспоминали о том, как брошенные своими генералами и штабам: солдаты металась в снежных облаках бешеной вьюги, повсюду натываясь на огонь, как везде косила их смерть. И в тоне их голоса слышалось удивление, словно каждый из пленных недоумевал, как мог он остаться в живых, пройдя через всё это.

На шоссе и просёлках, по которым прошлой ночью двигались немецкие колонны, сейчас работали отряды дорожников. Тягачи растаскивали в стороны взорванные машины, солдаты сносили к обочине мёртвые тела. Местами убитые лежали так тесно, что их приходилось укладывать штабелями, чтобы освободить проезд.

Шагая прямо по глубокому снегу, трофейные команды обходили поле боя, подсчитывая потери противника, осматривая брошенную им технику. На окраине Гойкова поля, близ Хилек, по холмам и оврагам стояли сотни немецких машин, в большинстве своём совсем неповреждённых. Там уже оживлённо хлопотали сельские мальчишки и, дружно подталкивая в гору маленький легковой автомобиль, с хохотом съезжали на нём по заснеженному склону холма. Хозяйственные селяне бродили около взорванных грузовиков и бронетранспортёров, подбирая то коробку от пулемётных лент, то лист железа — всё, что может пригодиться в разрушенном хозяйстве. Командиру части, расположившейся в Шандеровке, принесли большой железный крест, найденный где-то на улице. Пленные объяснили, что этим крестом Гитлер в своё время наградил мотобригаду «Валлония». В помещении немецкого штаба нашли целые мешки крестов и медалей, присланных из Берлина для награждения солдат и офицеров окружённых войск.

В этот день на поле боя был обнаружен труп человека в мундире генерала немецкой армии.

Его нашли в снегу на окраине села, возле большого каменного сарая, наполовину разрушенного нашими снарядами. В сарае стоял стол с несколькими телефонами на нём, мягкое кресло, видимо привезённое сюда из города, на полу был расстелен ковер. Судя по всему, тут помещался какой-то командный пункт.

Человек в генеральском мундире лежал навзничь в снежном сугробе. У него было худое лицо с резкими чертами, искажёнными предсмертной судорогой, седоватый бобрик над высоким лбом, в котором чернело пулевое отверстие, тонкие губы, длинные костлявые пальцы. В кармане мундира нашли воинское удостоверение на имя генерала артиллерии Вильгельма Штеммермана, пачку семейных фотографий, разрешение на право вождения автомашины. Рядом валялся наполовину разряженный пистолет.

Сообщили в штаб войск Трофименко, и оттуда сейчас же приехали офицеры, которые привезли с собой ординарца Штеммермана, захваченного в плен прошлой ночью. Он сразу же опознал своего бывшего начальника. Теперь не было никаких сомнений — мёртвый генерал был командующим Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровских войск Вильгельмом Штеммерманом.

Место его гибели тщательно обследовали. Но было трудно решить, как наступила смерть генерала. То ли поразил его меткий выстрел советского пехотинца, то ли, видя, как гибнут его войска, Штеммерман в отчаянии пустил себе пулю в лоб из своего пистолета.

Тело Штеммермана уложили в кузов грузовика и повезли в Джурженцы. В пути машине пришлось задержаться: в одном месте дорога оказалась ещё не восстановленной — сапёры заканчивали тут ремонт мостика через замёрзший ручей. Пока офицеры, сопровождавшие грузовик, в ожидании прохаживались по дороге, сзади подъехал и остановился легковой автомобиль. Из него вышел командующий фронтом генерал армии Конев.

— В чём задержка? — спросил генерал, оглядывая вытянувшихся перед ним офицеров.

Поспешно подбежавший командир сапёров, волнуясь, доложил, что через десять минут мостик будет готов. Конев кивнул.

— А вы что везёте? — обратился он к офицерам, стоявшим у грузовика.

— Везём труп немецкого командующего, товарищ генерал армии, — был ответ.

— Штеммермана? — живо переспросил Конев. — Да, мне докладывали, что его труп нашли.

Он подошёл к борту грузовика и заглянул в кузов. Потом, обернувшись к офицерам, строго сказал:

— Положите его лучше и накройте как следует. Это генерал, павший на поле боя. И передайте моё приказание — похоронить его, как подобает хоронить генерала.

Вечером того же дня в селе Баранье Поле труп Штеммермана был предан земле. Генерала хоронили его соотечественники. Пленные немецкие солдаты вырыли в морозной земле могилу, и немецкие офицеры из комитета «Свободная Германия» во главе с генералом фон Зейдлиц опустили в неё гроб с телом бывшего командующего разгромленной Корсунь-Шевченковской группировкой.

В наших войсках несколько дней хоронили погибших товарищей. На площадях сёл, у свежих холмиков братских могил, в суровом, печальном безмолвии замирали шеренги бойцов, склонялись к земле простреленные знамёна полков, из толпы собравшихся на похороны колхозников рвались рыдания женщин и, заглушая их, гремели винтовочные залпы прощальных салютов.

Только эти короткие, сухие залпы тревожили сейчас тишину корсунских полей. Постепенно затих даже дальний гул артиллерии, доносившийся со стороны Лисянки, — там тоже положение резко изменилось. Танкисты Ротмистрова, покончив с окружёнными, обратили все свои силы против дивизий Хубе. Наши танки вырвались на южный берег Гнилого Тикича, и под их ударами враг стал быстро откатываться на запад.

Теперь поля Корсунь-Шевченковской битвы стали тыловым районом. Фронт ушёл за 40—50 километров отсюда.

Окрестные сёла уже жили новой, тыловой жизнью. Здесь расположились на отдых наши части. Мирно дымили во дворах и на огородах полевые кухни, заиграл на улице баян, понеслись песни, и к дружному солдатскому хору присоединились высокие голоса сельских девочек. Из части в часть ездили лекторы, бригады артистов, коллективы художественной самодеятельности, кинопередвижки с последними фильмами. В отдыхающих после боёв войсках царило торжественное, праздничное настроение.

Вскоре все узнали о новых Указах правительства. 20 февраля командующему войсками 2-го Украинского фронта генералу армии Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза. Маршалом бронетанковых войск стал генерал Ротмистров. Сотни других воинов — солдаты, офицеры, генералы, отличившиеся в дни Корсунь-Шевченковского сражения, — получили правительственные награды. Некоторые были удостоены звания Героя Советского Союза.

В этом радостном, праздничном настроении войска встретили 26-ю годовщину Красной Армии. Ранним утром 23 февраля радисты приняли текст приказа Верховного Главнокомандующего. В нём были слова, наполнившие особенной гордостью сердца участников Корсунь-Шевченковской битвы.

«Советские войска, — указывал товарищ Сталин, — устроили немцам новый Сталинград на правом берегу Днепра, окружив и уничтожив в районе Корсунь-Шевченковский 10 немецких дивизий и одну бригаду».

Партия и народ высоко оценили корсунскую победу, сравнивая её с великой Сталинградской битвой. С тех пор Корсунь-Шевченковское сражение навсегда вошло в историю Великой Отечественной войны под именем Нового Сталинграда.

Между тем уже закончили свою работу трофейные команды, в штабах подвели итоги потерям противника, и Советское Информбюро сообщило всему миру новые, уточнённые цифры, характеризующие масштаб отгремевшего сражения. Из окружённых войск 55 тысяч солдат и офицеров были убиты в боях и 18 200 попали в плен. Противник потерял 471 самолёт, 271 танк, 110 самоходных орудий, 10 тысяч автомашин и множество другого военного имущества.

Но это было не всё. К потерям самой окружённой группировки следовало прибавить урон, который понёс противник на внешнем фронте, пытаясь пробиться на выручку к дивизиям Штеммермана. 22 февраля Совинформбюро огласило дополнительные данные. В боях на внешнем фронте в период с 5 до 21 февраля немецкие войска потеряли

до 27 тысяч человек убитыми и почти полторы тысячи пленными. Здесь было уничтожено 329 самолётов, 827 танков, 446 орудий, 1638 автомашин. Наши части в этих боях захватили 115 танков, 270 орудий, около двух тысяч автомашин, броневиков, бронетранспортёров и другие трофеи.

Таковы были итоги Корсунь-Шевченковской битвы. Однако она имела и иной, не поддающийся точному учёту результат. Никакими цифрами нельзя было выразить тот моральный, психологический эффект, который произвело это поражение в Приднепровье на всю немецкую армию.

Огромная войсковая группировка, состоявшая из закалённых в боях кадровых дивизий, обладавших мощным вооружением, многочисленной боевой техникой, была меньше чем за месяц стёрта с лица земли. Полтора десятка генералов и офицеров и сотня-другая солдат, прибежавших утром 17 февраля в расположение войск Хубе,— это было всё, что осталось от корсунского котла. Появление этих беглецов произвело на немецкие войска неотразимое действие. Немцы, рвавшиеся на помощь к окружённым, знали, что на корсунских полях идёт ожесточённая битва, но у них не было ясного представления о масштабах и характере этого сражения. Увидев перед собой этих полубезумных, похожих на выходцев с того света людей, услышав их взволнованные, бессвязные рассказы, они испытали невольный ужас. Призрак Сталинграда, за год несколько поблёкший в памяти гитлеровских солдат, снова оживал перед ними в кошмарах Корсунь-Шевченковской битвы.

Солдаты Хубе, уже истощившие свою волю к победе в недавних боях, теперь были окончательно деморализованы встречей с беглецами из котла. Вскоре всем стали известны подробности этой встречи и страшные рассказы беглецов. Неверие в свои силы, уныние и безнадежность охватывали войска. Уже отгремевшая Корсунская битва продолжала оказывать своё влияние на немецкую армию — она морально готовила её к новым поражениям.

Эта битва стоила Южной группе армии, которой командовал генерал-фельдмаршал Манштейн, больше ста тысяч человек, тысячи двухсот танков и восьмисот самолётов. Февральское наступление войск Ватутина и исход Корсунь-Шевченковского сражения резко изменили очертания линии фронта на юге. Теперь советские Украинские фронты угрожающе нависли над южными армиями немцев, суля противнику новые опасные удары.

Для гитлеровского командования, испытывавшего на фронте поражение за поражением, разгром под Корсунем был роковым событием. Слишком часто в последние месяцы приходилось сообщать о «планомерных отходах», «сокращениях коммуникаций» германских войск, и известие об исходе Корсунской битвы неизбежно вызвало бы самую тяжёлую реакцию на фронте и в тылу. В ставке Гитлера решили прибегнуть к обычной тактике лжи и обмана.

Всё время, пока шло сражение, вплоть до 17 февраля, германское командование в своих сводках замалчивало факт окружения войск Штеммермана и даже туманно сообщало об «успешных боях» в Приднепровье. Но когда окружённые были истреблены, стало ясно, что замолчать битву такого масштаба не удастся. И тогда в Берлине опубликовали сводку, где сообщалось, что в районе Корсуня-Шевченковского группа германских войск некоторое время сражалась в окружении, а затем прорвала кольцо русских и благополучно соединилась со своими.

Однако слух о том, что на самом деле произошло под Корсунем, распространялся всё шире, и, чтобы придать достоверность своей лживой версии, фашистские главарь задумали разыграть целый спектакль.

Генералы, бежавшие из корсунского котла, — одни из них заблаговременно улетели отсюда на самолётах, другие дезертировали с поля боя в последний момент — были вызваны в ставку Гитлера. Казалось бы, военачальников, бросивших в бою своих солдат ради спасения собственной шкуры, может ожидать только военный суд и суровое наказание. Но генералов позвали вовсе не для того, чтобы покарать их. Вместо этого Гитлер лично вручил им высшие воинские награды «за их выдающиеся личные заслуги и за мужественную борьбу руководимых ими войск».

В тот же день берлинская печать сообщила, что Гитлер наградил высшим орденом также командующего войсками, сражавшимися под Корсунем, генерала артиллерии Вильгельма Штеммермана. Приводя это сообщение, газеты умалчивали о судьбе Штеммермана, и генерал, которого за несколько дней до этого зарыли в мёрзлую украинскую землю, был представлен немецкому обывателю благополучно здравствующим.

22 февраля Советское Информбюро опубликовало статью «Комедия в ставке Гитлера». Спектакль, поставленный в Берлине, был разоблачён и высмеян перед всей мировой общественностью. «Из комедии, так неумно разыгранной в гитлеровской ставке,— говорилось в сообщении Советского Информбюро,— одно очевидно: плохие времена наступили для немецко-фашистской армии на советско-германском фронте, коль Гитлер начал выдавать свои погибшие войска за действующие и награждать генералов, постыдно сбежавших с поля боя. Для всех очевидно также, что этот новый жульнический трюк потерявших голову гитлеровцев, эта их шитая лыком новая комедия никого не может ввести в заблуждение относительно судьбы уничтоженных советскими войсками десяти немецких дивизий в районе Корсунь-Швченковский».

Скрыть эту судьбу было невозможно. Ложь германской пропаганды разоблачалась не только Советским Информбюро, но и иностранными газетами и радио, подробно сообщавшими о Корсунской битве. О том, что случилось под Корсунем, рассказывали очевидцы и участники боёв. Немецкие солдаты писали об этом на родину. Среди офицеров, которым посчастливилось удрасть из котла, нашлись такие, что, надеясь заработать славу героев, во всеуслышание выбалтывали характерные подробности сражения.

Одним из этих искателей славы был не кто иной, как главарь бельгийских фашистов Леон Дегрелль — бывший политический руководитель мотобригады СС «Валлония», паголову разгромленной войсками Трофименко и Коротцева в Корсуне и Стеблеве. В то время, как весь личный состав вверенной ему бригады либо полёг на поле боя, либо был внесён в списки военнопленных, оберштурмфюрер Дегрелль оказался у себя дома, в Бельгии.

Из котла он, как большинство других генералов и офицеров, бежал на самолёте. Получив в одном из боёв лёгкую царапину, Дегрелль тотчас же воспользовался этим случаем, понимая, что дальнейшие события не сулят ничего хорошего. Он разыграл роль опасно раненного и с помощью своих солдат втиснулся в транспортный самолёт, которому затем удалось перелететь через фронт. Вернувшись в Бельгию и узнав о судьбе своих солдат, он решил выступить по радио с воспоминаниями о пережитом.

«Мотобригада СС «Валлония»,— рассказывал он,— состояла из так называемых ударных частей и всегда занимала наиболее важные позиции. Вернее, мы всегда находились в авангарде. Погода была ужасная. Попробуй окопаться, когда вода натекает в окоп быстрее, чем ты оттуда выбрасываешь землю. В лесу лежит снег, а наступишь на него — провалишься по пояс в мокрую кашу. На полях земля нагрета солнцем, но когда она липнет к ногам пудовыми комьями, ты ненавидишь её — эту проклятую землю. А если ляжешь—потом встаёшь грязный, как чёрт. Артиллерию и миномёты нам по большей части приходилось тащить на руках. Солдаты достигали предела своих сил. Только упорная ярость, сознание близости врага заставляли их ещё держаться на ногах. В последнее время мы стали ощущать недостаток в боеприпасах, в горючем, продовольствии, медикаментах, а самое главное — некуда девать раненых. Боеприпасы, горючее, продовольствие нам пытались доставлять по воздуху, но в течение последних нескольких дней ни один самолёт не мог приземлиться. Грузы начали сбрасывать с самолётов на парашютах, но расстояние между нами и противником было очень малым, и много парашютов, гонимых ветром, попадало к русским. Время от времени Гитлер, обращаясь к нам по радио, спрашивал: «Ну как, вы живы?» Мы, словно из бездны, отвечали: «Живы!» Сотни русских танков атаковали нас с тыла, могуче, всеокрушающие армии теснили нас со всех сторон. Мы вязли по колено в грязи. Часть солдат осталась без сапог, потому что сапоги нельзя было вытащить из грязи, а босиком легче передвигаться. Положенне было невероятно труд-

ным. Мы были вынуждены приказать: «Кто остался без патронов — всё равно никуда не уходит с передовой, а остаётся на своём месте и вместо того, чтобы стрелять, кричит «ура».

Слушая этот не лишённый красок рассказ эсэсовца, немецкие солдаты на фронте и немецкие обыватели в тылу невольно чувствовали, какого характера и масштаба события произошли только что на правом берегу Днепра. Несмотря на уверения берлинской пропаганды, Корсунь-Шевченковская битва вставала перед германской армией и германским народом, как новая катастрофа гитлеровской стратегии, как новый Сталинград.

Буря, разразившийся 17 февраля, казалось, был последней вспышкой зимы. Как только метель улеглась, над заснеженными полями Правобережной Украины заголубело ясное небо и солнце стало пригревать всё сильнее. Весна бралась дружно и весело.

В штабе командующего Южной группой немецких армий генерал-фельдмаршала Манштейна, как и в ставке Гитлера, считали, что в ближайшее время можно не опасаться наступления Советской Армии на Украине. Во-первых, начиналась весенняя распутица — гиблое время непролазной грязи и дождей, когда по всем общепризнанным законам военной науки наступательные действия считались невозможными. Во-вторых, после крупного наступления 1-го Украинского фронта в районе Ровно и Луцка, после Корсунь-Шевченковской битвы, после того как на юге 3-й и 4-й Украинские фронты разгромили никопольскую и криворожскую группировки немцев, — советским войскам потребуется время, чтобы пополниться и перегруппировать свои силы. Немецкие генералы полагали, что их южным армиям обеспечена передышка, по крайней мере, на месяц-полтора, до тех пор, пока подсохнет земля и дороги станут презжими.

Тем неожиданнее были для противника новые удары наших войск. Советское Верховное Главнокомандование, последовательно проводя в жизнь свой план освобождения Правобережной Украины, в кратчайший срок сумело подготовить наступление огромной силы на фронте более чем в тысячу километров.

4 марта снова двинулся вперёд 1-й Украинский фронт, 5 марта нанесли свой удар войска маршала Конева, а днём позднее перешли в наступление и части 3-го Украинского фронта. От белорусских лесов до Чёрного моря советские войска взламывали, рвали немецкий фронт, как ломает и крушит зимний лёд взбухшая, полная весенних сил река.

Ошеломлённые и деморализованные этими внезапными ударами, оставляя за собой накрепко завязшие в грязи колонны машин и боевой техники, армии Манштейна беспорядочно покатались на запад. По раскисшим полям, по размокшим дорогам, далеко оторвавшиеся от своих тылов, снабжаемые боеприпасами с помощью транспортной авиации, наша пехота и танки стремительно преследовали противника, сбивая его со всех промежуточных рубежей. Отбрасывая захватчиков за пределы украинской земли, советские войска форсировали Южный Буг и Днестр.

26 марта 1944 года войска маршала Конева, пройдя через Бессарабию, вышли к берегу Прута — на государственную границу СССР и Румынии. Тринадцать дней спустя на границу Советского Союза с Румынией и Чехословакией вышли войска 1-го Украинского фронта. Армии 3-го Украинского фронта тем временем освободили Одессу, форсировали Днестр и захватили прочный плацдарм на его западном берегу.

Теперь вся Правобережная Украина была освобождена из-под власти оккупантов. Государственный рубеж был восстановлен на протяжении четырёхсот километров, и первый участок его восстановили недавние победители Корсунь-Шевченковской битвы — полки, на знамёнах которых уже были вышиты шёлком присвоенные им наименования «Корсунских».

Они первыми и перешагнули за пограничную черту — правительство отдало Советской Армии приказ перейти границу и преследовать противника вплоть до его разгрома и капитуляции.



## 15. НА ПОЛЯХ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ

На скрещении двух тихих и зелёных улиц Звенигородки стоит сложенный из кирпича обелиск. На железном листе, вделанном в камень, надпись:

«Здесь января 28 дня 1944 года было сомкнуто кольцо вокруг гитлеровских оккупантов, окруженных в районе Корсунь-Шевченковский. Экипаж танка 2-го Украинского фронта, 155-й танковой Краснознаменной Звенигородской бригады подполковника Прошина Ивана Ивановича — лейтенант Хохлов Евгений Александрович, механик-водитель Андреев Анатолий Алексеевич, командир башни Зайцев Яков Сергеевич — пожали руки танкистам 1-го Украинского фронта.

Слава героям Родины!»

Шоссе, прорезающее город насквозь, на западе спускается в широкую долину, а на востоке круто поднимается по взгорью и переваливает через гребень холма. Десять лет тому назад оттуда, с востока, вошёл в город танк лейтенанта Евгения Хохлова — первая машина наступающих колонн генерала Ротмистрова. Тогда за этим холмом, на подступах к Звенигородке, лежали лишь бескрайние поля, чёрные, мокрые и пустынные.

А сейчас с того места, где шоссе переваливает через холм, глазу открывается целый город, раскинувшийся на этих пустынных полях, — кварталы двухэтажных каменных домов и россыпь белых коттеджей; зелёное озерцо городского парка; поднимающиеся здесь и там фабричные трубы; теплоэлектростанция, распустившая по ветру густые дымные хвосты.

Этот город нельзя найти ни на одной географической карте первой половины нашего века. Он возник всего четыре года тому назад и разросся с необычайной быстротой. Здесь работает сейчас несколько заводов и фабрик, и население этого молодого города увеличивается год от года. Этот город — живой памятник освободителю Киева Н. Ф. Ватутину, прославленному советскому генералу, павшему в дни боёв на Украине.

А у противоположной, западной окраины Звенигородки, на развилке двух шоссе, ведущих в Умань и в Белую Церковь, стоит небольшой белый памятник над братской могилой погибших здесь солдат.

Над наклонной могилой плитой, где золотом горит надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» — преклонила колена полная великой тоски фигура матери в скромном платочке. Мать возлагает на могилу венки. А рядом с ней, придерживая у бедра солдатскую каску и опершись другой рукой о древко боевого знамени, во весь рост стоит молодой солдат. Печально склонил он голову, и кажется, что даже в тяжело поникших складках знамени, которое он держит, таится глубокая скорбь.

Могильный холмик лёстр от множества астр и петуний, и невысокая свежеструганная ограда окружает его. Машины и медлительные колхозные подводы, проезжающие по этим дорогам, всегда останавливаются тут, и путники молча стоят у ограды, задумчиво глядя на белые фигуры памятника.

Мимо сёл, окутанных садами, по полям и холмам Белоцерковский шлях ведёт на север от Звенигородки, через районный центр Лисянку, через тихие Джурженцы, где от шоссе ответвляется широкий, затенённый деревьями просёлок. Ещё несколько километров, и дорога вливается в сельскую улицу.

Село всё в зелени. Пышные, раскидистые вербы, старые тополя с обеих сторон ограждают улицу двумя плотными зелёными стенами. Выбеленные мазанки отодвинуты от дороги в гущу палисадных, в чащу фруктовых садов. Если бы не холмы, там и сям поднимающиеся вверх хатки на своих горбах и пологих склонах, можно и не догадаться, что въехали в село.

Люди — на полях, и село лежит пустынное, притихшее. Только лениво перебираются во дворах разморённые жарой собаки, да большое стадо белых гусей, вперевалку шагающих вдоль плетня, провожает встревоженным гоготом только что шумевшую на дороге машину, уже скрытую медленно оседающим облаком пыли.

Дорога поднимается в гору, и село, раскинувшееся на холмах и в ложбинах, открывается глазу во всю свою ширь.

Трудно поверить, что это та самая Шандеровка, где почти десять лет назад разыгрывался финал Корсунь-Шевченковской битвы; Шандеровка, разрушенная, сожжённая и взорванная; Шандеровка, лежавшая в развалинах и дымившаяся пожарами.

Новые, ослепительно выбеленные хаты с затейливо выложенными гребнями соломенных крыш. В палисадниках перед домами — пёстрые купы поздних летних цветов, малёнькие яркие солнца подсолнухов, в садах — тяжело гнущиеся к земле ветви яблонь и слив. Широкими зелёными полосами вытянулись за хатами огороды.

Длинная шеренга столбов электропередачи вбегает в село, спускаясь с северных холмов, со стороны Корсуня и Стеблева. Столбы тянутся вдоль улиц, ныряют в каждый проулок. На площади, у клуба, гремит репродуктор. Вдали, на лугу, близ пруда, медленно шевелится стадо коров. В волнах пшеницы плавают по склону дальнего холма самоходный комбайн. Растут на жнивье огромные золотые скирды соломы, около которых хлопочут женщины в белых платках и пёстрых платьях. Пыля, идёт к селу грузовик с зерном.

В соседней Комаровке уборка тоже в разгаре. На широком колхозном току гудит электромотор и стучит молотилка. Сгибаясь под тяжестью мешков, дюжие молодые хлопцы таскают зерно от весов в кладовую. Рядом, на постройке нового коровника, вперевой тюкают топоры плотников. За селом раскинулись пруды, в которых жители Комаровки разводят зеркального карпа, лучшего во всём районе. А ещё дальше, на склоне холма, с натужным урчанием ползают три бульдозёра, оставляя за собой глубокие чёрные каналы, — там по заказу колхоза сооружаются ещё два новых пруда: зеркальный карп — рыба выгодная, доходная.

Сразу же за комаровскими колхозными сараями, за током начинается широкое холмистое поле, на дальнем краю которого смутно виднеются первые постройки Хилек. Это — Бойково поле, где в памятный метельный день 17 февраля 1944 года под гусеницами танков, под саблями конников, под огнём советской артиллерии нашли гибель остатки войск Штеммермана. Сейчас здесь волнуются моря высокого жита, зеленеют массивы свекловичных плантаций, монотонно шумит трактор.

Мирным покоем, привычным трудовым ритмом осенних будней колхозного села веет от этих картин. Кажется, будто ничто уже не напоминает здесь о тяжком времени войны, будто давно уже стёрты с лица этой богатой, плодородной земли все следы великого сражения, когда-то гремевшего на окрестных полях. Отстроены заново разрушенные и сожжённые хаты, повсюду поднимаются новые колхозные постройки, давно разрезаны автогенем и увезены на переплавку подбитые и взорванные танки и пушки, ржавые остовы немецких машин, торчавшие на улицах и огородах.

Но стоит зайти в любой двор, заглянуть в любой дом, сарай, и тотчас же наткнёшься на вещественные следы происходившей здесь битвы.

В комнатке шандеровского сельсовета, за спиной обложившегося бумагами молодого секретаря, стоит на боку тяжёлый стальной ящик, когда-то содержавший документы немецкого штаба. В крышке ящика — пулевая пробойна и несколько вмятин от пуль, но он, снабжённый большим висячим замком, уже десять лет исправно служит сельской канцелярии вместо несгораемого шкафа.

Во дворе соседней хаты на протянутом между деревьями красном телефонном кабеле сушится бельё. Такой же кабель, явно иноземного происхождения, сплетённый для прочности в несколько жил, навит вместо верёвки на ворот колодца. У дверей сарая девушка чистит над простреленной немецкой каской картошку, и рядом с ней старуха лущит початки кукурузы в зелёную железную коробку, в каких немецкие пулемётчики держали ленты с патронами.

В ограду сада вместо столба забит ствол танковой пушки, и жёлтое ржавое дуло с нарезкой торчит вверх. А у порога одной из хат лежит кусок танковой гусеницы, прилаженный в земле, — рачительный дядько-хозяин приспособил его вместо скребка — вытирать ноги.

И в каждой хате, в каждой семье здесь хранят воспоминания о той далёкой военной зиме. Великие исторические события, происходившие на этой земле десять лет назад, живут в памяти людей.

В городе Корсунь-Шевченковском, на крутой скале над Россью стоит красивый старинный замок — бывшая вотчина князей Лопухиных-Демидовых, где в феврале 1944 года помещался главный госпиталь окружённых войск Штеммермана. Это лучшее в городе здание теперь по решению правительства УССР отведено государственному музею истории Корсунь-Шевченковской битвы.

В высоких, светлых комнатах замка, где когда-то на грязной, полуистлевшей соломе, в окровавленных бинтах валялись раненые немецкие солдаты, сейчас царит торжественная, музейная тишина. Фотографии и картины на стенах, витрины, под стеклами которых собраны экспонаты и документы, груды немецкого оружия, сваленного на полу,— всё переносит посетителя на десять лет назад, в обстановку памятного сражения. Седой экскурсовод-историк неторопливо ведёт свой рассказ, и снова встают перед глазами незабываемые картины тех дней: залитые водой дороги с беспомощно застрявшими машинами и повозками; солдаты, шагающие напрямик по пашне, подоткнув полы шинелей за пояс и тяжело ворочая облепленными землёй сапогами; не стихающий тяжкий гул канонады окрест; шумный посвист февральского бурана с прорывающимся сквозь него яростным перестуком пулемётов; длинные колонны пленных немцев, понуро и устало бредущих в тыл. Это не та дрявяная, книжная история, что рождает у человека лишь удивлённое почтительное любопытство к свершившимся когда-то событиям. Это прошлое, столь недавнее, ещё не остывшее, будит в душах людей иные, сложные чувства: и счастье пережитых тогда побед и острую горечь былых утрат.

Погружённые в эти чувства, молчаливые и задумчивые, выходят из музея посетители. За глубокой аркой старинных ворот, по бокам которых стоят зубчатые средневековые башни, широкий мост соединяет остров, где находится музей, с главной улицей Корсуни. И тотчас же, словно этот мост переброшен не только в пространстве, но и во времени — между прошлым и настоящим,— люди попадают в стремительный поток живой сегодняшней жизни маленького украинского городка.

Тяжело покачиваясь, тянутся через мост один за другим мощные грузовики, и солнце блестит на отполированном металле станков, стоящих в кузовах машин. Это бывший чугунолитейный, а теперь Корсунский станкостроительный завод отправляет на стройку Каховской ГЭС свою продукцию — скоростные токарные станки, только что выпущенные из цехов.

Шумная, весёлая группа молодёжи спускается к Россю по откосу берега. Это студенты Корсунь-Шевченковского педагогического института — будущие сельские учителя.

С моста открывается вид на узкое ущелье, промытое Россью в скалистой гряде. Внизу — беспорядочное нагромождение огромных камней, быстрое пенистое течение воды, крутые стены бурых скал. А вдали, за ущельем, реку перегородила широкая стена бетонной плотины, и на берегу белеет здание ГЭС. Корсунь-Шевченковская гидроэлектростанция, поднятая из развалин, снова даёт свою энергию городу, сёлам и одной из первых в стране электро-МТС, организованной здесь пять лет назад.

В десятке километров выше по течению Россь перегорожена теперь и другой плотинной. Там стоит новая Стеблевская ГЭС, ещё более мощная, чем Корсунская. Обе станции посылают свой ток не только во все сёла Корсунщины, но и снабжают энергией пять соседних районов Киевской и Черкасской областей. На пространстве в сотни квадратных километров густой сетью раскинулись линии электропередач, и в любом здешнем колхозе электрическая лампочка, радиоприёмник, электромотор сделались предметами обычного сельского обихода. Корсунь-Шевченковский район становится районом сплошной электрификации.

Вечером, когда дежурные на станциях включают рубильники, россыпь электрических огней вспыхивает на правобережных холмах. Электрическое зарево встаёт над обновлённым Корсунем, над возрождённой Шандеровкой, над тихой зелёной Ольша-

рой, над новым шумным городом Ватутино, над древним Каневом, где на горе у Днепра стоит простреленная пулями бронзовая фигура Тараса Шевченко.

Это свет труда и мира, свет той желанной жизни, во имя которой десять лет назад на здешних полях и холмах гремела великая Корсунь-Шевченковская битва.

## 16. ДВА ПАМЯТНИКА

22 июня 1953 года датская буржуазная газета «Афтенбладет» поместила на своих страницах следующее сообщение:

«Пиратский флаг снова развевается в Германии.

Открыт памятник эссовцам.

**Гёппинген**, Понедельник. (Ассошиэйтед Пресс). Впервые после окончания последней войны вчера состоялось открытие памятника павшим эссовцам — отборным войскам Гитлера, вызывавшим ужас и в годы войны сеявшим смерть и террор в Европе. Открытие памятника имело место в Гёппингене в присутствии 2 000 бывших эссовцев, в том числе трёх генералов.

Над памятником был поднят чёрный флаг с изображением белого корабля викингов — эмблема дивизии «Викинг». Бывший командир дивизии генерал Герберт Гилле присутствовал при этом и заявил в своей речи о лояльности по отношению к западногерманскому правительству и европейской армии».

Мы не знаем больше ничего о подробностях этого фашистского митинга в Гёппингене — небольшом немецком городке в американской зоне оккупации Германии, близ Штутгарта. Но совершенно очевидно, что реваншистское собрание двух тысяч эссовцев и церемония открытия памятника могли состояться там только с ведома и одобрения американских оккупационных властей. И мы легко можем представить себе, что должны были чувствовать мирные гёппингенские обыватели, видя, как толпы гитлеровских молодчиков весело и свободно бродят по улицам их родного городка; слыша, как один из самых кровавых генералов Гитлера произносит речь, безнаказанно прославляя доблести эссовских разбойников; глядя на то, как над памятником медленно поднимается зловещее чёрное знамя «Викинга».

Десять лет тому назад на полях Корсунь-Шевченковской битвы этот флаг сухопутных пиратов Гитлера был втопан в грязь сапогами советских пехотинцев, гусеницами наших танков, копытами казачьих коней. Десять лет тому назад чёрный эссовский генерал Герберт Отто Гилле потребовал, чтобы окружённые под Корсунем войска отвергли советский ультиматум, и погубил тысячи молодых немцев, а сам, бросив своих гибнущих в бою солдат, бежал с поля сражения. И вот уже снова на площади немецкого города открыто вьётся чёрный флаг, а генерал и его сообщники, мечтая о реванше, готовятся опять надеть военные мундиры, на этот раз так называемой «европейской армии».

Солнечным осенним днём в селе Комаровке, Корсунь-Шевченковского района, был открыт памятник на братской могиле.

На краю большого колхозного сада, там, где к селу подходит Бойково поле, поднимается купа раскидистых тополей. В тени этих деревьев стоят рядом два ровных земляных холмика, обнесённых оградой и пестреющих поздними цветами. Под одним из них лежат похороненные тридцать лет назад красноармейцы и партизаны, погибшие в годы гражданской войны. Второй был насыпан в 1944 году — это могила воинов, павших в дни Корсунь-Шевченковской битвы.

Толпа колхозников — жителей Комаровки, Шандеровки, Хилек — собралась на открытие памятника. Здесь были участники войны — демобилизованные солдаты и офицеры, бывшие подпольщики и партизаны, отцы и матери, жёны и дети погибших воинов. Когда под звуки оркестра было сдёрнуто покрывало, брошенное на статую, толпа замерла, обнажив головы и не сводя глаз с памятника.

В изголовье обеих могил, на высоком постаменте стояла фигура молодого солдата в военной шинели. Скорбно склонил он голову, строгим и печальным было его открытое русское лицо. Одной рукой он придерживал у бедра древко боевого знамени,

полотнище которого опадало вниз тяжёлыми складками. Другая рука сжимала висевший на груди автомат.

Начался митинг. Тихие речи звучали над могилами. Добрым, тёплым словом поминал народ своих защитников, отдавших жизнь за его свободу и счастье. Люди говорили о том, сколько бедствий принёс им враг, о том, как трудились они в послевоенные годы, заживляя раны своей земли, и какой теперь стала под их руками эта опалённая огнём, истребленная металлом земля, в которой спят павшие бойцы. И все заявляли, что они не допустят новой войны, что они хотят одного — мирно жить и трудиться на своей обновлённой, возрождённой земле.

А над толпой, над могилами, над полем давнего сражения возвышалась статуя воина с автоматом на груди.

Солдат стоит здесь, как страж трудового покоя людей, как грозное предостережение всем, кто посмел бы снова посягнуть на эту мирную землю. Сурово и мужественно его лицо. Твёрдо стиснула оружие его сильная рука.



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. КРАМИНОВ

★

## АМЕРИКАНСКИЕ ВСТРЕЧИ

**К**онец 1952 и почти всю первую половину 1953 года мне довелось провести в Соединённых Штатах Америки. Я приехал туда в качестве корреспондента «Правды» на седьмую сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна была закончиться месяца через два с половиной. Однако в декабре сессия, по настоянию американской делегации, была прервана и перенесена на конец февраля 1953 года, после чего она продолжалась ещё два месяца. Таким образом, мне пришлось прожить в Америке более шести месяцев.

Полгода — срок, конечно, небольшой, чтобы глубоко изучить жизнь этой огромной, полной противоречий капиталистической страны. Мне помогло в значительной мере то, что я занимался Соединёнными Штатами сравнительно давно. Во время войны я часто встречался со многими американцами в военной форме. После войны в течение нескольких лет я изо дня в день следил за политической жизнью Америки, поэтому многое в американской политике не было новостью для меня. К тому же Соединённые Штаты пережили за эти шесть месяцев президентские выборы и смену администрации — правительства и большей части государственного аппарата. Эти события с особой яркостью обнажили внутренние противоречия в стране, показав те обычно скрытые пружины, которые движут буржуазными партиями и важнейшими рычагами государственной машины. Стараясь завоевать расположение фактических хозяев Америки — кучки миллиардеров и сверхмиллионеров, — лидеры соперничающих буржуазных партий расхваливали в эти недели себя и поносили друг друга с таким безудержным усердием, что внимательный наблюдатель мог узнать за несколько дней больше, чем иногда за долгие месяцы кропотливого исследования и изучения.

За шесть месяцев мне удалось, помимо Нью-Йорка, побывать неоднократно в столице страны — Вашингтоне, в некоторых её промышленных центрах, посетить шестнадцать штатов. Я проехал более десяти тысяч километров на машине и поездом. Я останавливался на ночлег то в больших городах и роскошных отелях, то в мелких посёлках и бедных гостиницах, питался в дешёвых ресторанах и жалких харчевнях. Это позволяло мне наблюдать жизнь самых разных социальных слоёв и групп населения.

Мне довелось беседовать с несколькими сотнями людей — журналистами, фермерами, дипломатами, рабочими, служителями церкви, артистами, политическими деятелями, художниками, студентами, служащими. По натуре американцы откровенны и словоохотливы. Они готовы вступить в разговор даже с совершенно незнакомыми людьми, без стеснения рассказывают о своих личных делах и охотно выражают свои мнения.

Почти каждая беседа приоткрывала какой-то краёшек американской действительности, добавляла в мою записную книжку новый факт или развёртывала передо мной какую-нибудь человеческую историю. Эти факты и человеческие истории интересовали меня не меньше, чем заявления правительства, определяющие его политику, или цифры, показывающие силу монополий. В них, в этих часто мелких и отрывочных фактах и на первый взгляд простых и случайных человеческих историях, жизнь страны проступала порою не менее ярко, чем в политических шагах правительства или манёврах буржуазных партий.

В своих записях я стремился изложить события и факты так, какими увидел их. К сожалению, мне пришлось опустить или изменить имена почти всех моих собеседников, чтобы не усложнять их и без того нелёгкую жизнь. Я не сгущал красок и не приукрашивал действительности. Мне кажется, что собранные мною факты, высказывания и замечания сами по себе достаточно красноречивы. При всей их отрывочности они, по моему убеждению, создают сравнительно широкую, хотя и не исчерпывающую полную картину положения в нынешних США и так называемого «американского образа жизни» — этой ярко размалёванной пропагандистской ширмы, за которой скрываются бесправие широких народных масс и политическое самодержавие крохотной кучки миллиардеров.

## 1. Ворота Америки

### *Перед статуей Свободы.*

На пятые сутки безостановочного и быстрого хода (50—60 километров в час) крупнейший океанский пароход «Куин Элизабет» приближался к американскому берегу. Впереди, казалось прямо из воды, сверкавшей под лучами солнца, вставали серые коробки нью-йоркских небоскрёбов с едва различимым пунктиром окон; справа, сквозь белёсую пелену, проступали синие леса Лонг-Айленда, а слева вырисовывались тёмные неровные очертания холмов Нью-Джерси. Пассажиры, воспользовавшись тем, что на пароходе были сняты перегородки между классами, высыпали на открытые палубы. Приложив ладони козырьком к глазам, они смотрели вперёд и, подобно матросам Колумба, возбуждённо повторяли:

— Земля! Земля!

Возбуждены были, наверное, все, хотя причины для этого были разные. Одни радовались окончанию длительного путешествия и приближению твёрдой почвы, которая избавит их от изматывающих душу испытаний, подобных позавчерашним, когда эта набитая людьми машина, гопад в полосу ветра, стала раскачиваться с борта на борт и не могла остановиться целый день. Другие, зная о беспощадных американских иммиграционных властях, предстоящих допросах и «Острове слёз», куда попадают нежеланные в Америке гости, испытывали страх за себя, за своих близких. Третьи страшились неизвестного будущего, которое ожидало их там, за гранью горизонта. Не в силах сдержать своё волнение, эти люди переходили с места на место, старались подняться повыше, словно это могло помочь им проникнуть в ожидавшую их неизвестность. Незнакомые заговаривали друг с другом и, вопреки обыкновению, делились своими надеждами и опасениями.

Все двигались, разговаривали непринуждённо и громко. И только на кормовой палубе второго класса одиноко стоял не захваченный общим возбуждением пожилой человек. Повернувшись спиной к американскому берегу, он упрямо смотрел на бурливый белолопный след, который оставлял пароход. Там, подпрыгивая и ныряя, неслись в пене картонные коробки и ящики, выбрасываемые, видимо, с кухни, для того чтобы очистить пароход от хлама до прихода в порт. Над коробками и ящиками реяли, как птицы, обрывки газет, бумаг, пёстрые страницы журналов.

Пожилый человек, как казалось со стороны, был настолько увлечён созерцанием этого, что совсем не слышал восклицаний других пассажиров и не замечал ни общей суеты, ни приближения конца путешествия. По виду это был несомненный американец. Серый, модного полуспортивного покроя пиджак, пёстрый, всех цветов радуги, галстук, зелёные брюки и ботинки цвета бычьей крови свидетельствовали о чисто американской склонности к пестроте, которая не просто бросается в глаза, а повергает в изумление. Эта склонность привита американцам многолетней и вездесущей рекламой, обычно основанной на вопиющем разном и столкновении красок.

Этот пассажир заинтересовал меня. Я подошёл к нему и стал рядом, ожидая повода заговорить с ним. Американец искоса бросил взгляд в мою сторону, не проявляя, однако, ни интереса, ни неудовольствия. Я обратил его внимание на чаек, сопровождавших пароход: время от времени они камнем падали с высоты своего полёта на воду и тут же взмывали с добычей в клюве.

— Да, у них действительно замечательное зрение,— согласился американец и, повернув ко мне своё продолговатое лицо, добавил: — Впрочем, им иначе нельзя. Ведь рыба увёртлива, вода глубока, а эта маленькая птица очень прожорлива и ей требуется почти столько же пищи, сколько крупному животному.

— Кажется, все хищники прожорливы,— заметил я.

— Почти все,— подтвердил он.— И чем меньше хищник, тем больше пищи сравнительно с объёмом его тела он потребляет.

— У людей, как будто, наоборот,— сказал я, стремясь увести разговор от зоологических объектов к темам, более интересующим меня.

Американец бросил на меня удивлённый взгляд и, подумав, словно взвешивая сказанное мною, назидательно поправил:

— Люди не хищники, и сравнивать их с хищниками не стоит.

— Я не сравниваю, а противопоставляю,— попытался оправдаться я.

— Всё равно, и противопоставлять людей хищникам нельзя.

— Почему?

— Потому что, в отличие от хищника, поведение человека давно перестало определяться его физическими потребностями — голодом, жаждой, поисками тепла, — чётко и веско пояснил американец. — Эти потребности ныне играют второстепенную роль. На первое место выходят стремления к наживе и власти, тщеславие, зависть и прочие побудительные мотивы, удовлетворение которых не имсет границ.

— Вы хотите сказать, что человек хуже хищника?

— Не каждый человек, но многие хуже хищника.

— Вы не очень высокого мнения о людях.

— А почему я должен быть высокого мнения о них? — ответил вопросом мой собеседник.

— Видимо, вам сильно насолили,— заключил я после некоторого молчания.

— Мне солят с первого дня моей жизни,— с прежней вескостью объявил американец,— солят каждый день и будут солить до последнего дня моей жизни...

— Вы не выглядите жертзой,— сказал я, оглядывая его плотную, упитанную фигуру.

— Я и не считаю себя жертвой,— возразил он.— Мне солят, я солю другим — в этом и заключается наша жизнь.

— Не кажется ли вам, что это примитивно и жестоко?

— Жизнь всегда была и остаётся примитивной и жестокой,— безапелляционно изрёк американец.

Он говорил уверенно, с апломбом, без каких бы то ни было колебаний. Голос его часто звучал так назидательно, что мне невольно казалось, будто он высокомерно похлопывает меня по плечу. Его самоуверенность вытекала, по всей видимости, не из глубокого знания жизни, а, наоборот, из ограниченности познаний. Столкнувшись с двумя-тремя себе подобными, такие люди переносят их черты на всё человечество, а свой мизерный жизненный опыт распространяют на весь мир и даже пытаются извлекать из него вечные истины, которые обычно внушают другим. Я осторожно спросил, не взяты ли его мрачные оценки жизни из опыта американской действительности.

— Конечно,— ответил он.— Не могу же я основываться на опыте полинезийцев. Родился я, правда, не в Штатах, но возмужал и начинаю стареть здесь. Я — «ненастоящий» американец, как теперь часто говорят тут, но жена моя и дети — американцы по рождению, «чистокровные» американцы. Америку я хорошо знаю и жизненный опыт свой почерпнул здесь.

Мы замолчали и стали глядеть вперёд. Справа теперь уже огчётливо виднелись дома Манхэттена — основного района Нью-Йорка. Между домами и водой по широкой дороге текли в обоих направлениях сотни автомобилей. Они всё ещё казались с парохода игрушечными, хотя уже можно было различить их окраску. Их ветровые стёкла порой вспыхивали под солнцем таким ярким светом, что резало в глазах.

Слева появилась громадная металлическая женщина — статуя Свободы. Упершись огромными ногами в маленький островок, который, как казалось, едва не уходил от



её тяжести под воду, женщина смотрела пустыми чёрными глазницами мимо парохода, мимо людей куда-то далеко, в безбрежный, сине-голубой, сверкающий океан. Покрытая зеленоватой окисью, статуя производила тяжёлое, даже гнетущее впечатление. Во всём её облике — в зеленоватой фигуре, в пустых глазницах, в высоко поднятом факеле, похожем на помёзок маляра, было что-то холодное, мёртвое, пугающее.

— Я представлял её себе несколько иной, — сказал я, кивнув в сторону статуи.

— Люди всегда представляют себе вещи иными, чем они есть на самом деле, — отозвался мой собеседник, снова показывая свою склонность к обобщениям.

— И вы тоже представляли её иной?

— Да... Когда я первый раз подъезжал к Америке — это было почти сорок лет назад, — я смотрел на эту статую, как на символ свободы и равенства, как на покровительницу страждущих, как на благословение жизненного успеха. Я даже опустился на колени, когда наш парходишко проходил мимо статуи, и молился этой железной женщине, прося её помочь мне устроить свою жизнь в Новом свете...

Он вдруг прервал свой рассказ, будто вспомнил что-то. Помолчав с минуту, он поднял голову и, повернувшись ко мне, спросил:

— Вы знаете, что написано на статуе?

— Нет.

— На ней написано: «Я поднимаю этот факел у золотой двери»... Это, видимо, должно означать, — неуверенно продолжал он, — что, проникнув в Америку, человек открывает дверь в мир неограниченных возможностей, успеха и благополучия. И многие из тех, кто искал в Америке убежища, верили в эту «золотую дверь», в необыкновенный мир, который лежит за нею. Верил и я. До сих пор помню, как стоял тогда на коленях и, устремив свой взор на статую, просил: «Открой мне золотую дверь, вступи меня в жизнь, достойную человека...»

Американец снова помолчал немного, затем с виноватой улыбкой добавил:

— Конечно, молод был, наивен, а молодые и наивные, как вы знаете, верят во многое и многое представляют себе легче, светлее, чем это бывает в действительности.

— И что же вы нашли за «золотой дверью»? — спросил я, более заинтересованный его историей, чем глубокомысленными заключениями. — Действительно мир неограниченных возможностей?

— Какие там неограниченные возможности! — воскликнул мой собеседник с явным раздражением. — В Америке не ограничены возможности только для людей с большим, очень большим капиталом. Чем меньше капитал, тем меньше возможностей. А если в кармане денег нет, то и возможностей нет.

— У вас, простите за нескромность, деньги были?

— У меня не было денег.

— С чего же вы начали?

— Я начал с «Острова слёз», — ответил американец. — Меня как человека, не имеющего денег, высадили на острове Эллис, более известном как «Остров слёз», поселили с десятками других в мрачный, тёмный барак и сказали, чтобы я ждал, когда кому-нибудь понадобится. И тут же меня предупредили, что если этого не произойдёт, то я буду выслан назад. Вопреки моим ожиданиям, понадобился я очень скоро. Месяца через полтора приехал на остров какой-то делец, прошёл по баракам, отобрал, как скот, мужчин покрупнее и объявил, что они поедут убирать урожай в Пенсильванию. И хотя плата нам была положена мизерная, мы охотно поехали туда: поля казались нам привлекательнее, чем этот остров-тюрьма. В Пенсильвании я батрачил восемь лет, потом работал несколько лет на железной дороге, затем поступил в мастерскую по ремонту домашней утвари, а лет через двадцать после высадки в Америке завёл собственную мастерскую...

— Значит, пробил себе дорогу?

— Пробил, пробил, — с нескрываемым удовольствием подтвердил собеседник. — Больших трудов мне это стоило, но дорогу себе я пробил.

Опасаясь, видимо, что я не сумею оценить значение этого факта, американец не без гордости объявил:

— Пожалуй, нигде в мире нет такой ожесточённой борьбы за место под солнцем, как в Америке. И всё-таки я устоял в этой борьбе. Меня не сбили с ног, не затоптали...

— Если послушать вас, то выходит, что за «золотой дверью», у которой статуя Свободы поднимает свой факел, открывается не мир неограниченных возможностей, а мир неограниченной борьбы,— заключил я.

Американец снова удивлённо вскинул на меня свои тёмные глаза под карнизом седеющих густых бровей.

— А как же иначе?! Ведь на этом вся наша жизнь стоит!

Я хотел было заметить, что не везде жизнь стоит на этом и что из опыта Америки не следует делать таких далеко идущих обобщений, но над нашими головами раздался продолжительный громкий гудок, заглушивший все голоса, и пароход начал резко замедлять ход, хотя до причалов было ещё далеко. На мой вопрос, что случилось, американец указал рукой на большой катер, идущий нам наперерез, и коротко ответил:

— Нас встречает официальная Америка...

### *Кошельки и души.*

Катер подвалил к борту нашего парохода. Приветствуемые офицерами «Куин Элизабет», на пароход по спущенному трапу стали подниматься не спеша, но и не мешкая, чиновники иммиграционного ведомства США. Равнодушными взглядами окидывали они возбуждённых пассажиров и исчезали в дверях.

— Не люблю их,— заметил мой собеседник, кивая головой в сторону прибывших чиновников.— Бездушные автоматы.

— Они делают, наверное, то, что им приказано,— отозвался я, стараясь быть объективным. Мне было ясно, что не люди, а система повинна в тех неприятностях, которые выпадают обычно на долю иммигрантов, направляющихся в Америку.

— Приказано... — иронически повторил американец.— В том-то и дело, что даже тогда, когда закон приказывает им открыть дверь, они умышленно лишь чуть-чуть приоткрывают её, чтобы человек не мог просто войти в неё, а обязательно либо протискивался с трудом, либо полз на животе...

На пути от Шербура я много слышал о чиновниках иммиграционного ведомства США. Даже пассажиры первого класса, обладающие солидными документами и толстыми кошельками, говорили о них если не со страхом, то с нескрываемым раздражением, жаловались на американские законы, предписывающие чиновникам иммиграционного ведомства определять политические взгляды и убеждения приезжающих в Америку и решать затем, стоит ли их пускать в страну или не стоит. Передавали анекдотические случаи, рассказывали о том, каких баснословных размеров анкеты приходится заполнять перед высадкой на берег.

Не без некоторого беспокойства отправился и я в большой зал на главной палубе, где чиновники проверяли документы пассажиров первого класса.

По вечерам в этом зале устраивались концерты, которые давал постоянный оркестр парохода. После концертов тут обычно играли в лото. Ставки были маленькие, а выигрыши большие, поэтому в игре порою принимало участие до двухсот человек. Днём зал пустовал. Лишь по углам дремали в креслах после небольших доз виски старички или занятые бесконечным вязанием старушки. Впрочем, старики и старушки попадались не только в этом зале. Они бродили по закрытым палубам и верандам, спали в шезлонгах на корме, маячили в вестибюлях. Их было так много, что это вызывало удивление. Лишь вспомнив о высокой плате за проезд на «Куин Элизабет», начинаешь понимать такое странное явление. В первом классе этого парохода ездят только богатые, а богатство обычно приходит к концу жизни, если оно вообще приходит. Богатые старички могли позволить себе роскошь купить билет первого класса, хотя они уже не могли воспользоваться даже половиной того, что давал им этот билет. По дряхлости тела большинство пассажиров первого класса не могло пользоваться, например, ни палубой для спортивных игр, ни бассейном для плавания, ни гимнастическим залом, ни многим другим. Им оставались уютные каюты, роскошный ресторан, закрытые веранды и покойные шезлонги с тёплыми пледами.

Теперь зал главной палубы превратился в огромную приёмную иммиграционного управления США. В глубине зала поставили столы, за которыми уселись американские чиновники с суровыми и непроницаемыми лицами. Во всю длину зала вытянулись несколько рядов стульев для ожидающих пассажиров. Старички и старушки, которые до сих пор бродили с независимым видом хозяев, сейчас скромненько сидели на своих стульях. В руках они держали документы, анкеты, какие-то цветные бумаги.

Очередь медленно подвигалась, пассажиры перемещались со стула на стул, с беспокойством, а иногда и со страхом поглядывая на чиновников. За их столами время от времени вспыхивали споры; слышались взволнованные, упрямые голоса пассажиров и спокойный, суровый голос чиновника. Тягостное молчание ожидающих прерывалось то вздохом, то репликой, то коротким разговором, который возник неожиданно и так же неожиданно угасал.

— ...А недавно сюда не пустили даже члена английского парламента, — услышал я хриплый голос за своей спиной.

Стулья соседней очереди стояли спинками к нашим, поэтому мы невольно слышали разговоры и вздохи соседей.

— Члена парламента? — переспросила женщина и, получив подтверждение, сама же предположила: — Коммунист, наверно...

— В английском парламенте сейчас нет коммунистов, — авторитетно разъяснил хриплый голос.

— Тогда социалист? — снова подсказала женщина.

— Лейборист, — уточнил мужчина.

Мы снова переместились на стульях, и разговорчивая пара осталась позади. Некоторое время за спиной не было слышно ничего, кроме тяжёлого, натужного дыхания. Повернув немного голову, я увидел широкий, увешанный жирными складками затылок и над ним блестящую красную лысину. Рядом с жирным затылком виднелась худая, иссечённая морщинами шея, на которой, видимо, не очень крепко держалась наклонившаяся то в одну, то в другую сторону голова с редкими седыми волосами. Седой пассажир говорил каким-то свистящим шёпотом, убеждая толстяка не волноваться.

— Деловой человек — деловой человек везде, а в Америке в особенности, — изрекал он. — Что им до ваших убеждений, если вы имеете миллион?

— Но я либерал и голосовал всегда за либералов, — возражал толстяк.

— Либерал с миллионом уже не либерал, а желанный гость всюду, — настаивал седовласый. — Деньги всегда открывали и будут открывать любую дверь, и особенно в Штатах, поверьте мне!

— Я это понимаю, очень даже понимаю, — отозвался уныло толстяк. — Но ведь эти иммиграционные чиновники могут не разобраться. Ведь теперь в Америке либерал — то же, что и коммунист.

— Ну, как вы не понимаете! — воскликнул, теряя терпение, седовласый. — Либерал без денег — это действительно почти коммунист, а либерал с миллионом — это миллионер! Уж где-где, а в Америке умеют ценить миллионеров, каких бы взглядов они ни придерживались...

Снова скрип стульев, шорох подошв по полу, и опять мы переместились, подвигаясь всё ближе к столам чиновников. Здесь разговоры стихли. Пассажиры последний раз заглянули в свои паспорта, перелистали бумаги, оцупали бумажники.

Чиновник, перед которым оказался я, был тучен и широкоплеч. Лицо его с чёрной ниточкой усов, прилепившихся к толстой верхней губе, не отличалось особой привлекательностью. Не скрасила его и улыбка, которую он счёл нужным изобразить. Чиновник тщательно просмотрел мой паспорт, долго изучал визу американского посольства, спросил, какой «бизнес» привёл меня в Америку. Услышав, что я приехал на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, он ещё раз посмотрел визу, ещё раз сличил мою фотографию с оригиналом, затем сказал «О'кей!» и начал заполнять те графы, которые предназначались для иммиграционных властей.

На наше счастье, мы прибыли в США ещё до вступления в силу принятого конгрессом закона Маккарэна — Уолтера. Будь этот закон в действии, нам пришлось бы

заполнить анкету вдесятеро длиннее. Среди вопросов, на которые должны теперь отвечать приезжие, есть такие: «Являетесь вы членом коммунистической партии или нет?», «Подвергались ли вы судебному преследованию?», «Не являетесь ли вы психически больным?», «Каких политических взглядов вы придерживаетесь?», «Какими болезнями вы болели?» — и многие другие. Согласно новому закону, положительный ответ на первый и второй вопросы автоматически закрывает доступ в США. Основываясь на законе Маккарэна—Уолтера, вступившем в силу в канун рождества 1952 года, иммиграционные чиновники не разрешили даже сойти на берег двум сотням матросов и офицеров французского судна «Либертэ». Поводы для этого были разные: одни из состава команды оказались коммунистами или социалистами, другие были членами Французской конфедерации труда, которую возглавляют коммунисты, третьи подписали Стокгольмское воззвание о запрещении атомного оружия и о заключении Пакта Мира, четвертые отказались отвечать на издевательские вопросы иммиграционных чиновников. Помощнику шеф-повара парохода было запрещено сойти на берег потому, что на вопрос «Подвергались ли вы судебному преследованию?» он ответил, что во время гитлеровской оккупации был на два года заключён в концлагерь. Иммиграционные власти нашли, что этот человек является безусловно опасным для нынешнего американского режима, и запретили ему сойти на берег.

Рядом со мной, за соседним столиком, оказались толстяк и седовласый человек, разговор которых я слышал. Как предсказывал седовласый, едва чиновник ознакомился с их анкетами, как сразу же превратился из сурового стража закона в услужливого лакея. Он сам заполнил анкеты богатых пассажиров, попросив их не утруждать себя, сам подошёл к соседнему столу, чтобы поставить штамп. Голос его стал необычайно подобострастным и обращался чиновник к ним не иначе, как: «Да, сэръ!», «Нет, сэръ!», «Пожалуйста, сэръ!» Перед толстым кошельком дверь в Америку, как увидели мы, не просто открывалась, а широко распахивалась, и блюститель жестоких иммиграционных законов выступал перед обладателями тугого кошелька в роли заискивающего швейцара.

В силе кошелька я особенно хорошо убедился, когда заглянул во второй, а затем в третий класс. Здесь перед чиновниками вытянулась длинная очередь. В отличие от зала первого класса, почти все пассажиры стояли, очередь двигалась очень медленно, чиновники придирались ко всякой мелочи в документах, отвечали резко и пренебрежительно. Тут проверка обычно тянется несколько часов. Особенно бесцеремонно обращались с пассажирами третьего класса. Американские иммиграционные законы направлены против бедняков, наивно мечтающих найти в США новую родину, и чиновники иммиграционного ведомства доказывали это пассажирам третьего класса с беспощадной наглядностью и цинизмом.

### ***Прыжок в рабство.***

Поднявшись на главную палубу, я по трапу, похожему на узкий коридор, сошёл на пристань. Как на всех больших вокзалах, здесь стояли, прохаживались, бегали, суетились пассажиры, провожающие и встречающие, спешили нагруженные чемоданами носильщики, солидно расхаживали таможенники, спонялись бездельники и ротозей. Огромный зал гудел от топота ног, от громкого говора и выкриков.

Багаж пассажиров первого класса складывается на специальном месте под большими висячими буквами. Найдя свою букву — «К», — я без особого труда обнаружил свои вещи и стал дожидаться таможенников. Ждать их пришлось долго. Они придиричиво осматривали чемоданы всех пассажиров, уделяя особое внимание американцам, возвращающимся из Европы. Американцы, выезжающие за границу, давно перестали быть теми простаками, которых так высмеивал за их наивность и беспомощность Марк Твен. Ныне их чемоданы ломаются от старинной золотой и серебряной утвари, от картин, скульптур и прочих ценностей. На свои доллары, за которыми теперь охотятся западноевропейские правительства, они скупают за бесценок всё, что попадает им под руку в антикварных магазинах и на чёрных рынках Западной Европы. Теперь это проницательные дельцы и спекулянты, которые ухитряются наживаться буквально на всём.

И министерство финансов США, ведающее таможенными сборами, хочет, чтобы какая-то доля этой лёгкой наживы влилась в форме налога в сейфы казны.

Высокий, грузный таможенник, которому было явно нелёгко нагибаться, склонился наконец и над моим чемоданом, перевернул одним движением своих больших, толстых рук его содержимое, затем повторил операцию, окончательно перепутав и перемяв моё бельё, и с удовлетворением отошёл. Вместо него подошёл невысокий, широкоплечий мужчина в синей блузе и маленьком жокейском картузе. Не говоря ни слова, он взял мой чемодан и коротко скомандовал:

— Пошли!

Мы двинулись и тут же остановились. В самом конце пристани, там, где через открытые ворота виднелась серая поверхность Гудзона и далёкий берег Нью-Джерси, послышался сильный шум: кто-то засвистел резко и громко, кто-то закричал отчаянным голосом. Толпа на пристани ринулась к месту происшествия, отрезав нам путь к выходу.

— Что там такое? — спросил я носильщика.

— Прыгун, наверно... — заметил он равнодушно.

— Прыгун? Что это значит?

Носильщик поставил чемодан и недоумённо взглянул на меня, словно я спрашивал о самых обычных вещах, о которых знают даже дети, и пояснил:

— Прыгун — это человек, который прыгает с парохода, когда пароход пристаёт к берегу.

— Зачем же ему прыгать? Ведь имеются трапы...

— Трапы, конечно, есть, но не для всех. Если у человека нет нужных документов, его на берег не пустят, и тот же пароход, что привёз его, увезёт обратно. А если прыгнуть, то сразу оказываешься на американской земле или в американской воде...

— И сразу же попадаешь в руки полиции, а потом в тюрьму?

— Это бывает редко. Чаще всего прыгун попадает в руки шайки, и она пристраивает его к делу.

Я поинтересовался, что это за шайка.

— Видите ли, есть тут такая шайка, — сказал он. — Все знают, что она есть, хотя никто, кроме полиции, не знает, из кого она состоит. Все знают, что эта шайка помогает прыгунам избежать рук полиции. И если прыгун даже попадёт в полицию, шайка быстро вывозит его.

— Зачем же она делает это?

— Да ведь это же доходный бизнес! — воскликнул носильщик.

Он рассказал мне, что шайка состоит из преступников, которые с давних пор безнаказанно хозяйничают на пристанях Нью-Йорка и полностью подчинили себе всех грузчиков и носильщиков. Эта же шайка управляет так называемым «профсоюзом грузчиков Восточного побережья США», во главе которого стоял тогда «король грузчиков» Джо Райан. Шайка не раз пресекала попытки портовых рабочих вырваться из её кабалы и создать свою организацию. В её услужении находится тайная террористическая «Корпорация убийц».

Уже долгие годы шайка занимается «приёмом» прыгунов. Кстати, «прыгунами» теперь называют не только тех, кто действительно прыгал с парохода, но вообще всех, кто нелегально въехал в Соединённые Штаты. Эти люди, укрытые шайкой на американском берегу или выкупленные у полиции, становятся её собственностью и теряют право распоряжаться собой. Они обязаны слепо выполнять всё, что им приказывает шайка, жить так, как диктует шайка. Обычно прыгунов включают в бригады грузчиков и носильщиков, обслуживающих нью-йоркские пристани. Работают они много и зарабатывают немало. Но почти весь их заработок идёт в карманы главарей шайки. Четверть своей заработной платы прыгуны отдают им за то, что они помогли им избавиться от полиции. Затем они платят шайке за жильё и питание, которыми пользуются. Кроме того, шайка взимает с них специальный налог за пребывание в стране.

Несчастные иммигранты попадают в настоящее рабство. Их попытки освободиться из неволи бегством заканчиваются обычно трагически. «Корпорация убийц» находит их, безжалостно избивает и даже убивает наиболее непокорных. Мрачные притоны

портового района Нью-Йорка хранят тайны многих загадочных убийств. Об убитых никто не плачет, убийц никто не ищет. Тем более, что попытки раскрыть убийства, совершённые «Корпорацией убийц», никогда ни к чему не приводили.

Мне показалось странным, что носильщик выдаёт мне, совершенно постороннему человеку, тайны подпольного мира нью-йоркского порта. Впоследствии, однако, я узнал, что никаких секретов он не выдавал, а рассказал лишь то, что уже давно известно большинству ньюйоркцев.

— И много тут таких прыгунов? — спросил я, поражённый услышанным.

— Трудно сказать, — отозвался носильщик. — В нашей бригаде, например, — нас двадцать человек, — всегда имеются три-четыре прыгуна. Босс нашей пристани — я говорю не о владельце пристани, а о старшем над грузчиками и носильщиками, — так вот босс нашей пристани собирает налог с двадцати прыгунов. Только на них шайка зарабатывает около тысячи долларов в месяц.

— А как же смотрит на это полиция?

— Сквозь пальцы, — коротко ответил носильщик, но, подумав немного, добавил: — Ведь полиция тоже зарабатывает на этом деле. И не только она. Наши парни говорят, что и кой-кому повыше перепадает от этого бизнеса...

Толпа освободила дорогу, и мы смогли пробраться к выходу. Спустившись на лифте, мы вышли на улицу. Несмотря на полдень, здесь царил полумрак. Подняв глаза, я увидел, что почти во всю ширину улицы на уровне второго или третьего этажа тянулась воздушная автомобильная магистраль. Машин отсюда не было видно, но сверху нёсся неумолчный шум большого движения.

В ожидании такси мы остановились у гранитного парапета набережной Гудзона. Когда подъехала свободная машина, носильщик сунул в неё мой чемодан, поблагодарил за чаевые и, пожелав мне счастливого пути, направился к пристани. Такси, повертевшись минуты две между столбами — устоями воздушной дороги, ринулось к пологому въезду на неё.

### *Улицы и авеню.*

Минут десять наша машина двигалась в густом потоке быстро мчащихся автомобилей по главной магистрали, потом свернула в сторону. Сделав небольшой полукруг, мы снова оказались внизу. Теперь мы ехали по улице, ведущей от Гудзона к центру. Движение здесь было значительно медленнее, остановки у светофоров чаще и продолжительнее.

Улица была сумрачной и грязной. По обеим сторонам её теснились невысокие тёмные, почти чёрные дома с маленькими окошками. Их упрямые квадратные коробки, ничем не отличающиеся одна от другой, тянулись сплошной стеной. Они были однообразны, грязны и скучны. Тротуары и мостовая были усеяны обрывками газет, апельсинными корками, обёртками от жевательной резины, смятыми бумажными стаканчиками, окурками, упаковкой от сигарет. Толстый слой мусора местами совершенно скрывал тротуары и мостовую. Идущие впереди нас машины оставляли за собой облака пыли. Ветер подхватывал её и нёс в сторону Гудзона.

Понимая, что во всяком большом городе имеются свои «гиблые места», я всё ждал, когда же наконец мы минуем эту унылую улицу. Но мои расчёты на то, что следующие улицы будут чище и привлекательнее, не оправдались. Мы уже проехали пять или шесть улиц, а картина была всё та же. Навстречу нам ползли те же невысокие чёрные дома, те же покрытые мусором тротуары и мостовые, те же клубы пыли неслись мимо окон машины. Вместо величественных небоскрёбов, воспетых рекламой и молвой, я видел вокруг только грязные трущобы. У меня даже появилось подозрение, что шофёр такси преднамеренно выбрал этот, видимо самый непривлекательный, путь к центру, и я высказал своё предположение вслух.

Шофёр недоумённо пожал плечами и произнёс не то вопрошающим, не то осуждающим тоном:

— Ай бэг ё падн?!

Это холодное «Ай бэг ё падн» — «Прошу прощения» — американцы обычно произносят не тогда, когда они чувствуют свою вину, а когда уверены в своей правоте или хотят осадить собеседника.

— Может быть, вы хотели показать мне трущобы? — неуверенно предположил я, пытаясь объяснить своё подозрение.

— Я никому ничего не показываю, пока меня не попросят, — с достоинством заявил шофёр. — К тому же это не трущобы, а деловой центр Нью-Йорка — Даунтаун.

— Но почему же так грязны улицы?

— Они ничем не хуже других улиц Даунтауна.

— Неужели все улицы Нью-Йорка так плохи?

— Нет, зачем же все, — степенно возразил шофёр. — Имеются и очень хорошие улицы, вернее, не улицы, а авеню. Пятая авеню, например, Мэдисон-авеню, Парк-авеню, Риверсайд... Но есть много улиц и похуже тех, что мы проехали.

— Много хуже?

— Конечно, — подтвердил шофёр. — Вот побывайте в Испанском городе, в Гарлеме, в Малой Италии, в Китайском городе, в трущобах Бруклина и сами убедитесь, насколько они грязны и бедны...

Несколько позже я действительно убедился, что улицы во многих районах Нью-Йорка очень грязны и очень бедны. Они пересекают остров Манхэттен с востока на запад. Авеню тянутся с юга на север, — они шире, длиннее и часто богаче улиц. Я увидел, что Нью-Йорк — этот крупнейший и богатейший центр капиталистического мира, его духовная и денежная столица — отнюдь не город гигантских небоскрёбов, каким пытается представить его за рубежом американская пропаганда, а город сравнительно небольших, серых, почти чёрных домов, грязных, запущенных улиц, мрачных трущоб, где внешнее убожество жилищ может состязаться только с нищей их обитателей. Полторы-две дюжины небоскрёбов, вздымающихся над морем унылых трёх-четырёх-пятиэтажных домов, лишь подчёркивают запущенность и бедность города, подобно тому, как полторы-две сотни нью-йоркских миллионеров только подчёркивают нищету и скудость условий существования основной массы ньюйоркцев.

Я убедился также, что трущобы Нью-Йорка, особенно в Гарлеме, в Китайском городе, в Бруклине и — что кажется просто непостижимым — вокруг знаменитого Уолл-стрита, поражают своей запущенностью. Улицы Гарлема и Китайского города, переулки вокруг Уолл-стрита буквально покрыты грязью. Гниющими и смердящими отбросами забиты все дворы и пустыри, на которых играет нью-йоркская детвора. В жару здесь поднимаются густые, как дым, вонючие испарения, а в ветреные дни над всем Нью-Йорком стоит огромное мутное облако пыли; оно настолько плотно облегает город, что даже с крыши знаменитого «Эмпайр стэйт билдинг» невозможно разглядеть ближайшие улицы. Мелкая пыль густой пеленой висит перед домами, заставляя их обитателей постоянно держать окна плотно закрытыми. Но и эта предосторожность мало помогает. Пыль всё же проникает в квартиры, плотным слоем ложится на мебель и вещи. В такие дни ходить по Нью-Йорку нелегко: ветер гонит по мостовой мусор, бросает его в лицо, засыпает глаза.

Хозяева города, как я обнаружил, почти не заботятся о чистоте его улиц. Здесь не знают дворников, не видно машин, подобных тем, что подметают, моют, чистят улицы Москвы. Лишь по утрам — и то не каждый день — улицы объезжают мусороборочные машины, выбирающие содержимое мусорных ящиков. Остановившаяся у подъездов, эти машины со странным скрежетом и воем перетирают мусор, превращая его в пыль, но мусорщики не притрагиваются к сору на тротуарах и мостовых. Этот сор накапливается там до очередного сильного ветра, который развеет его по всему Нью-Йорку, или до ливня, который смоет его в канализационные трубы.

В начале февраля 1953 года отмечалось трёхсотлетие Нью-Йорка. В дни юбилея было написано много статей и произнесено не меньше речей, превозносящих успехи этого города. В эти дни много раз хвастливо вспоминали, как предприимчивый голландец Петер Минуит обманул индейцев и «купил» у них за ящик джина и другую мелочь, то есть по нынешним ценам за 24 доллара, остров Манхэттен, на котором сейчас расположен основной район Нью-Йорка. Рассказывали о том, как Нью-Йорк

поднялся и стал мировым денежным центром, о том, сколько «знаменитостей» побывало и вышло из этого города, и т. д. и т. п.

В шумном потоке хвастливых речей и статей потонул совершенно незамеченный буржуазной печатью доклад специальной комиссии, расследовавшей причины большого пожара в Бруклине (второй по размерам район Нью-Йорка). Комиссия пришла к единодушному выводу, что «крупнейший город в мире уверенно и быстро разрушается. Трущобы возникают быстрее, чем уничтожаются».

Прогрессивные газеты, обратившие внимание на этот доклад, указывали, что строительство жилищ в Нью-Йорке почти совсем прекратилось. Капиталисты нашли, что деньги, вложенные в жилищное строительство, приносят меньше прибыли, чем деньги, вложенные в военную промышленность. За десять лет — с 1940 года по 1950 год — количество квартир в Нью-Йорке, как подчёркивается в официальном отчёте, увеличилось лишь на девять процентов. Однако это «увеличение квартир» (отчёт, видимо, не случайно говорит об «увеличении квартир», а не жилой площади) произошло главным образом в результате деления существующих квартир. Из одной четырёхкомнатной квартиры, например, делают две, три или даже четыре «квартиры». Там, где раньше жила одна семья в пять-шесть человек, теперь порою живут три-четыре такие же семьи, причём квартирная плата вовсе не уменьшается, а возрастает, достигая в большинстве случаев трети заработка.

Но тогда, в день своего приезда, я ещё не знал этого и, откровенно говоря, не очень-то поверил шофёру такси, утверждавшему, что почти все улицы Нью-Йорка, кроме нескольких авеню, запущены и грязны.

Картина изменилась лишь тогда, когда мы приблизились к центру города, расположенному примерно между 42-й и 57-й улицами. Правда, тротуары и мостовые по-прежнему были грязны, но дома стали значительно выше, окна шире и больше. Появились небоскрёбы: внизу кубическая коробка, на ней — одна, другая, третья продолговатые коробки, — чем выше, тем уже. Всё прямолинейно, невероятно серо и скучно. Казалось, что у строителей была лишь одна цель: наставить как можно больше друг на друга разной величины коробок.

У стодвухэтажного «Эмпайр стэйт билдинг» стояли машины и автобусы туристов. Подъём на крышу этого здания — на лифте, разумеется, — давно стал обязательным. За это с туристов берут по доллару. До недавнего времени крыша «Эмпайр стэйт билдинг» привлекала к себе не только туристов, но и самоубийц. Желающих покончить счёты с жизнью прыжком с крыши этого здания оказалось так много, что полиции пришлось распорядиться поставить на крыше высокую колючую ограду. Теперь самоубийцы выбрасываются из окон других небоскрёбов.

В самом центре Нью-Йорка находится «Центр Рокфеллера». Это группа высотных зданий, в которых размещаются штабы огромной нефтяной и финансовой империи Рокфеллеров. Здесь «трудятся» пять братьев Рокфеллеров, воля которых в серьёзной мере сказывается не только на внутренней и внешней политике США, но и на политике многих стран капиталистического мира, зависимых от США. Отсюда, из «Центра Рокфеллера», тянутся нити к Уолл-стрит, к министерствам в Вашингтоне, к нефти Венесуэлы и Саудовской Аравии, к рурскому углю и лотарингской железной руде, к банкам Парижа, Лондона, Рима.

Небольшая площадь, расположенная в этом «центре», принадлежит, однако, не Рокфеллерам, а Колумбийскому университету. Университет великодушно позволяет всем пешеходам и пассажирам легковых машин пересекать эту площадь 364 дня в году. Но один день в году доступ на площадь запрещается, и тогда под угрозой судебного наказания никто не смеет вступить на неё. Делается это лишь затем, чтобы ньюйоркцы не забывали, что она не их собственность, что владелец площади, если он того пожелает, может закрыть её не на один день в году, а на все 365. Словом, помните о великом праве собственности, трепещите перед ним или умиляйтесь до слёз!

Миновав «Центр Рокфеллера», мы проехали километра полтора по Пятой авеню, потом столько же по Мэдисон-авеню и Парк-авеню. Теперь я воочию убедился в том, что в Нью-Йорке действительно имеются прекрасные авеню и роскошные дворцы. Пятая авеню до Центрального парка, Мэдисон-авеню до восьмидесятих улиц сплошь



пестрят дорогими модными магазинами. Здесь же расположены конторы крупнейших корпораций — автомобильных, консервных, парфюмерных и прочих. Это дома из гранита, мрамора, зеркального стекла. Они красивы и благоустроены. Особенно роскошны дома в той части Пятой авеню, которая смотрит на Центральный парк. Когда мы подъезжали к ним со стороны парка, их большие окна пылали под лучами предвечернего солнца, на крышах зеленели сады, в прохладе которых владельцы этих пышных домов могут «убивать» своё время.

— Теперь вы убедились, что в Нью-Йорке есть и прекрасные авеню и настоящие дворцы, — заметил шофёр.

— Да, убедился, — согласился я. — Видимо, тут живут очень богатые люди.

— Очень, — подтвердил шофёр и, помолчав немного, добавил: — Тут живут миллионеры или почти миллионеры.

— Неплохо живут.

— Миллионеры нигде плохо не живут, — заключил шофёр.

### *Город-космополит.*

Несколько дней спустя я снова приближался к Пятой авеню со стороны Центрального парка. День был тёплый, солнечный. На просторных лужайках парка звонко шумела детвора. Нам — мне и моему спутнику Генри Ноксу, американцу, связанному с Обществом американо-советской дружбы, — спешить было некуда, поэтому мы остановились на высокой скале, которая высится как раз на середине между Западной и Восточной сторонами (Центральный парк делит Нью-Йорк на «Запад» и «Восток») и с которой хорошо видна Пятая авеню с садами на крышах домов.

— Сразу видно, где живут ваши миллионеры, — заметил я, указывая в их сторону.

— Да, — коротко согласился Нокс.

Помолчав немного, он заметил:

— В этом городе не требуется ни большой наблюдательности, ни особой проницательности, чтобы обнаружить, где живут богачи, а где простые люди. Пожалуй, нигде барьер, который воздвигают деньги, не бывает таким высоким и прочным, как у нас. Бедному человеку, например, так же невозможно поселиться на Пятой авеню, как старой нищенке стать герцогиней. С другой стороны, когда неудачливый делец или растранивший наследство мот теряет счёт в банке, он вылетает отсюда почти автоматически и оседает где-нибудь в Гарлеме, Китайском городе, если не попадает прямо на Бауэри-стрит — улицу бездомных бродяг и воровских притонов.

— Но город разделён не только на богачей и бедняков. В нём, видимо, есть и другие деления — религиозные, национальные и прочие. Я обнаружил целые районы, где английские вывески совсем исчезают, уступая место то ярким испанским рекламкам, то замысловатым еврейским надписям, то готическим немецким, то китайским иероглифам.

— Деление по религиозному признаку, кажется, вообще мало сказывается в нашей жизни, — возразил Нокс. — Что же касается национального различия, то оно почти не существенно для обладателей солидного капитала. Правда, основные промышленные и финансовые узлы страны сосредоточены в руках коренных американцев-миллиардеров, но имеется значительная группа капиталистов-евреев, а в последнее время появилось даже несколько негров-миллионеров, обитающих на Сахарном холме в Гарлеме. Имеется даже несколько дюжин богачей-пуэрториканцев, нажившихся на безжалостном ограблении своих соотечественников...

— Да, капитал не признаёт национальных границ...

— Капитал никогда не признавал ничего, что было ему невыгодно, — уточнил мой собеседник. — К тому же в таком городе, как наш, трудно провести национальные границы. Ведь Нью-Йорк — город-космополит. Его называют воротами Америки, но у этих ворот оседают почти все, кто прибывает в Штаты. Лишь ничтожная часть иммигрантов отправляется в глубь страны. Здесь собралось сейчас более двух с половиной миллионов евреев со всех концов света, почти столько же итальянцев и ирландцев,

около полумиллиона пуэрториканцев и мексиканцев, около миллиона славян, несколько сот тысяч немцев и скандинавов, столько же китайцев...

— Удивительно, но я не заметил, чтобы какая-нибудь национальная группа, если не считать вывесок и рекламы, конечно, оказала влияние на облик Нью-Йорка,— заметил я.— Город поражает своей безликостью, отсутствием определённых архитектурных стилей и безвкусицей.

— Вст всё это и есть лицо города. Таков результат многостороннего воздействия различных влияний...

На моё замечание, что и сами жители Нью-Йорка, подвергаясь столь разнообразному влиянию, должны стать своего рода безликими космополитами, Нокс неопределённо пожал плечами и, подумав немного, заметил, что среди нью-йоркской интеллигенции — журналистов, писателей, учёных — действительно много космополитов. Американский денежный мешок настолько раздулся, что национальные границы уже служат препятствием для него. Поэтому учёные и литературные слуги американского капитала пытаются обосновать необходимость уничтожения национальных рубежей, чтобы расчистить ему широкое поле для беспрепятственного приложения.

И в то же время в самом Нью-Йорке, как я в этом убедился, процветает самая неприкрытая национальная рознь. Белое население совершенно нетерпимо относится к цветному. Цветные и белые работают плечом к плечу на многих заводах, на стройках, в ресторанах, в отелях. Но за пределами деловых и служебных отношений они не встречаются и не желают встречаться. Даже бедняки-белые, вынужденные жить в Гарлеме, стараются, если в этом нет деловой необходимости, не сталкиваться с неграми.

В последние годы неприязнь белого населения к цветному всё больше усиливается, так как дешёвые рабочие руки негров, пуэрториканцев, мексиканцев дают возможность предпринимателям освобождать белых рабочих или снижать им заработную плату. Капиталисты же от этого выигрывают вдвойне — набивают свой карман и, разбедняя рабочих, ослабляют их сопротивление.

Вражда царит и между самими белыми. В городе весьма силен антисемитизм. Несмотря на то, что капиталисты-евреи играют видную роль в экономике страны, антисемитизм активно поддерживается правящими кругами США.

Для славянского населения Нью-Йорка создан режим, который нельзя назвать иначе, как только дискриминационным. Им не дают ходу в бизнесе, их не допускают к политике, держат вдали от науки и т. д.

— В Вашингтоне, — продолжал Нокс, — Нью-Йорк часто называют Вавилоном на Гудзоне. Это довольно метко. Город действительно многонационален и многоязычен. Не добрая воля, а злая судьба собрала здесь, в этих мрачных каменных ущельях, семь с половиной миллионов человек. Каждый из них старается проложить себе дорогу в жизнь за счёт других. Вражда людей здесь принимает особенно острые формы. У нас говорят, что в мире нет более одиноких людей, чем ньюйоркцы...

## 2. Тень Уолл-стрита

### *Улица в Даунтауне.*

Уолл-стрит более известен в переносном, чем в прямом смысле. Когда говорят об Уолл-стрите, чаще всего представляют себе не «Стенную улицу» в Даунтауне — старой части Нью-Йорка, — а то, что она олицетворяет: кучку американских миллиардеров и сверхмиллионеров, которые командуют экономической и финансовой жизнью страны, направляют её политику и часто диктуют свою волю многим зависимым от США странам. Самой улицей, этим логовом миллиардеров, интересуются мало. Может быть, поэтому, услышав мою просьбу показать Уолл-стрит, журналист-американец Дэвид Портер, с которым я познакомился ещё на фронте в Западной Европе, а затем встретился на процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге, воскликнул с удивлением:

— Зачем? Ведь там нет ничего интересного. Обыкновенная нью-йоркская улица — грязная, узкая, похожая на глубокий коридор. Там даже в ясный полдень не увидишь солнца...

— Нет, это вовсе не обычная улица,— пытался доказывать я.— Тень её ложится не только на этот город, но закрывает все Соединённые Штаты и падает на многие другие страны мира.

— О, вы слишком эффектно выразились,— иронически заметил Портер.— Думаю, хозяева Уолл-стрита были бы польщены, услышав ваши слова. Но у меня, признаться, нет ровно никакого желания забираться в эту грязную и холодную дыру...

Дни стояли тогда сырые, ветреные, и на улицах Нью-Йорка, протянувшихся от Гудзона к Восточной реке, дуло, как в аэродинамических трубах. Ньюйоркцы, не привыкшие к холоду, согнувшись в три погибели, со всех ног бежали к автобусным остановкам либо к примитивным деревянным будкам, прикрывающим лестницы метро от дождя.

Я отправился на Уолл-стрит один. Действительно, по внешнему виду эта улица ничем не отличается от соседних. Она так же узка, темна и грязна; на ней громоздятся такие же каменные коробки многоэтажных домов. Однако внешнее убожество Уолл-стрита отступает на задний план, когда внимательнее всмотришься в эти дома и прочитаешь скромные медные таблички, прикрепленные возле дверей. Тогда обнаруживаешь, что всю эту невзрачную улицу сплошь заселяют банки, банковские тресты, банковские корпорации. Среди них втиснуты лишь здание биржи, жилой дом Морганов да невысокий дом адвокатской фирмы «Салливан и Кромвелл».

Уолл-стрит начинается от Бродвея, как раз напротив почерневшей от времени церкви Троицы, и тянется к Восточной реке. Я прошёл по улице из конца в конец и по старой журналистской привычке — авось когда-нибудь пригодится! — переписал все таблички. Справа от Бродвея шли «Ирвинг траст компани», биржа, дом Морганов с такими толстыми стенами, что крупная бомба, брошенная в него анархистами лет тридцать назад, лишь вышербила в них с дюжину разной формы и глубины ямок, «Юнайтед стэйтс траст компани», «Первый национальный банк Нью-Йорка», «Бразерс Браун энд Гарриман компани» и некоторые другие. Слева расположились: «Первый национальный банк», «Трест банкиров», нью-йоркский филиал министерства финансов, «Лондонский банк», «Манхэттенский банк», снова «Трест банкиров», «Нью-йоркский банк», «Бразерс Соломон энд Хатцлен компани», адвокатская фирма «Салливан и Кромвелл» и другие. На восточном конце улицы эти банки, банковские тресты и корпорации замыкаются невысоким, длинным сараеобразным зданием «Стандард фрут энд шипинг компани».

Правда, мне, слабо знакомому с финансовым миром Нью-Йорка, эти надписи говорили мало. Я знал, что Уолл-стрит — финансовый центр всего капиталистического мира, что через Уолл-стрит ежегодно проходит денег в два раза больше, чем через руки американского правительства и всех его центральных и местных учреждений. Я знал, что на Уолл-стрите работают тридцать тысяч человек и что в зданиях на соседних улицах, тесно связанных с Уолл-стритом, работают ещё семьдесят тысяч человек. Эти люди кормятся, а их хозяева наживают колоссальные состояния тем, что от каждого доллара, который проходит через банки Уолл-стрита, они урывают «маленький кусочек». Все покупки и продажи — акций, займов, предприятий, земель, все финансовые сделки страховых компаний, выплата ими страховок и пенсий, займы правительства США и правительств других стран капиталистического мира проходят через Уолл-стрит. Чем больше денег проходит через банки Уолл-стрита и биржу, тем больше доходы их хозяев. Поэтому их усилия направлены к тому, чтобы заставить все другие банки, корпорации, компании, правительства вести свои дела только через Уолл-стрит.

За несколько дней до моего посещения этой улицы меня познакомили с корреспондентом газеты «Уолл-стрит джорнэл». Произошло это на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи во время выступления говорливого перуанского делегата Белаунде, которого мы, советские журналисты, звали «Балалайкиным», а американцы «Большим ртом», то есть крикуном. От нечего делать корреспонденты болтали, рассказывали анекдоты. Разговорившись с моим новым знакомцем, я спросил его, чем объясняется то, что через Уолл-стрит проходит так много денег.

— Доверием,— коротко ответил он.— Банки очень богаты, а богатство, естественно, вызывает большое доверие.

— Но не всегда же они были богаты?

— Верно, не всегда. Но богатству предшествовала предприимчивость.

И он, полушутя, полусерьёзно, рассказал анекдот об одном крупном банкире, который на вопрос, как он начал свой банковский бизнес, ответил:

— Очень просто. Я повесил на своём доме вывеску: «Банк» — и стал ждать. Приходит некто и сдаёт мне на хранение сто долларов, несколько часов спустя приходит другой и сдаёт двести долларов, ещё позже приходит третий и сдаёт в банк пятьсот долларов. К этому времени я стал настолько уверен в своём предприятии, что вложил в него десять собственных долларов!

Однако, спохватившись, что наговорил лишнего, корреспондент стал уверять, что банки на Уолл-стрите весьма солидны, что они располагают собственным огромным капиталом и что их хозяева и их служащие отличаются особой честностью. Но тут он был прерван нашим соседом.

— Ох, уж эта честность! — воскликнул он и полез в карман за записной книжкой, где, по его рассказам, хранились записи наиболее интересных фактов и данных, замысловатые имена, удачные остроты. — Особая честность! — повторил он, листая книжку. — Я вам сейчас покажу, что банкиры ничуть не честнее любого другого дельца и любят запустить руку в чужой карман, так же как и все другие.

Он показал нам страницу записной книжки, усеянную мелкими, буквально бисерными буквами и цифрами, и торжественно объявил:

— Вот тут вся банкирская честность!

Однако мы ничего там не поняли, и он стал поспешно рассказывать, что совсем недавно в Атлантик-сити состоялся съезд «Ассоциации американских банкиров», который вынужден был обсудить специальный доклад о росте преступности в банковском мире. За пять лет, с 1946 года по 1950 год, только в пятнадцати крупнейших банках США было украдено свыше пяти с половиной миллионов долларов. Ворами оказались 20 президентов банков, 15 вице-президентов, 30 казначеев, 36 помощников казначеев, 39 бухгалтеров, 153 кассира, 20 клерков и два ...швейцара. Главный мотив всех краж — желание быстро разбогатеть.

Расхаживая по Уолл-стриту, разглядывая в высшей степени скромные безымянные таблички, я припомнил и анекдот и статистику воровства в банках, услышанные от американских журналистов, и досадовал, что не могу проникнуть за эти обезличенные вывески и узнать, кто за ними скрывается.

Я свернул в соседние улочки и переулки, обошёл вокруг биржи, которая занимает целый квартал и на которой развивают бурную деятельность тысячи брокеров — агентов банков, корпораций, компаний — и столько же клерков. По узким, глубоким улицам и по самому Уолл-стриту нёсся мокрый, пронизывающий ветер. Он заставлял прохожих съёживаться и втягивать голову в плечи. Однако многие закрывали не только шеи, но и носы. Северный ветер приносил тяжёлые, вызывающие тошноту запахи Фултонского рыбного рынка, к которым примешивались запахи гниения и аммиака. Богатейшая улица мира показалась мне в тот день самой грязной и вонючей.

### ***Застенчивые грабители.***

Недели через полторы или две я снова побывал на Уолл-стрите. На этот раз меня сопровождал коренной ньюоркец, публицист Р. Вильямс, автор нескольких книг об американских монополиях, весьма основательно знающий дела Уолл-стрита. В противоположность Портеру, который не видел на Уолл-стрите ничего интересного, Вильямс, выслушав мою просьбу, сказал:

— Это интересно. Чтобы понять характер зверя, следует побывать в его логове. Поедемте...

Мы прошли с ним по Уолл-стриту, заглянули на соседние улицы, постояли несколько минут перед 38-этажным зданием «Чэйз нэйшнл бэнк» — третьим по величине банком Америки, потом снова вернулись на Уолл-стрит и вышли на Бродвей. Как и в прошлый раз, с Уолл-стрита дул холодный ветер. Он гнал по мостовой мусор,

поднимал клубы пыли и нес её в нашу сторону. Мы подошли к церкви Троицы и уселись на скамеечке рядом с входом. Повернувшись лицом к улице банков, мы продолжали разговор о ней. Вильямс многое знал о хозяевах Уолл-стрита, о закулисных влияниях, связях, о тех, кто держит в своих руках нити огромной финансовой машины, определяющей ритм хозяйственной жизни США и многих других капиталистических стран.

Во время прогулки по Уолл-стриту я, естественно, пытался выяснить у Вильямса, кто скрывается за теми обезличенными вывесками, которые мы только что видели. Мой спутник заранее предупредил меня, чтобы я не надеялся увидеть здесь хозяев Уолл-стрита. На мой вопрос: «Почему?» — он ответил, что они предпочитают действовать издалека.

— Делец типа старого Джона Рокфеллера, — говорил он, — который начал с четырёх долларов в неделю, а кончил двумя миллиардами и который держал всё своё огромное дело в собственных руках, или типа старого Пирпонта Моргана, который лично управлял своей финансовой империей и вёл свой собственный учёт, — делец такого типа отошёл в область преданий. Ныне крупные дельцы или финансисты не решаются действовать в одиночку. Их хозяйство теперь стало настолько велико, сложно и многообразно, их интересы настолько многосторонни и широки, что одному за всем не уследить, со всем не справиться. Теперь каждого крупного дельца или финансиста окружают подбираемые обычно им самим правления, комитеты, советы, консультанты, эксперты и прочее. Эти дельцы и финансисты привлекают к себе на службу крупнейших администраторов, лучших инженеров и экономистов, проницательных торговцев, мастеров рекламы, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы «породить спрос» на товары и т. п. Теперь каждый крупный делец или финансист — нечто вроде царька, у которого есть свои министры, свои пропагандисты, свои суды и полиция.

— Значит, на Уолл-стрите бывают только «министры»?

— Сравнительно редко. Машина Уолл-стрита работает часто и без них...

Когда я заметил, что по своему богатству эта улица могла бы вместо серых каменных коробок иметь дворцы из чистого золота, Вильямс охотно согласился:

— Конечно, могла бы. Но капитал, как известно, не тщеславен.

— Капитал, конечно, не тщеславен, но этого, кажется, нельзя сказать про его хозяев, — заметил я. — К концу жизни, как известно, многие из них стараются увековечить себя: одни создают фонды своего имени, другие строят госпитали и церкви, третьи жертвуют большие суммы в пользу бездомных...

— Да, но на это их толкает не столько жажда популярности, сколько желание избежать налога на наследство, — возразил Вильямс. — Налог на наследство довольно высок, передача же части наследства в фонд, носящий марку благотворительности, спасает капитал от налога на наследство и полностью сохраняет его в руках наследников. Вообще же владельцы капиталов предпочитают держаться в тени. Уолл-стрит — пример тому. На этой улице переплетаются ветви и корни всех банкирских династий и промышленных империй страны. Тут представлены все крупные американские монополии, но только Морганы открыто имеют здесь свой дом, в котором, кстати сказать, ни один из братьев не живёт. А между тем эта улица принадлежит — и в прямом и в переносном смысле — нескольким семьям, имена которых вам, конечно, известны, — это миллиардеры Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны, Меллоны, Гарриманы и некоторые другие...

С чёткостью и ясностью человека, который долго изучал дела американских монополий, Вильямс изложил мне основные факты, относящиеся к Уолл-стриту, и показал, что скрывается за теми скромными медными вывесками, которые интриговали меня.

Оказалось, что за вывесками «Первый национальный банк Нью-Йорка» и «Трест банкиров» стоят прежде всего братья Морганы, за вывеской «Чэйз нэйшнл бэнк» — братья Рокфеллеры, под вывеской адвокатской фирмы «Салливан и Кромвелл» действуют братья Даллесы. За другими вывесками опять-таки стояли имена тех же Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов, Меллонов, чикагских, кливлендских и бостонских миллиардеров и миллионеров.

Несомненно, на Уолл-стрите основную роль играли Морганы и Рокфеллеры, с которыми соперничали другие семейные и региональные монополистические группы. Между Морганами и Рокфеллерами с давних пор шла и всё ещё идёт борьба за главенство над монополистическими группами, причём пять более молодых и более энергичных братьев Рокфеллеров проявляют наибольшую активность. В последние полтора-два года между этими самыми богатыми семьями мира намечилось некоторое сближение. Год назад Рокфеллеры вернулись в моргановский «Первый национальный банк Нью-Йорка», из которого они ушли почти двадцать лет назад, после того как Морганы ушли из рокфеллеровского «Чэйз нэйшнл бэнк». Вместе с «Чэйз нэйшнл бэнк» «Первый национальный банк Нью-Йорка» является основным каналом американских вложений за рубежом. Моргановский банк имеет там более пятидесяти отделений. «Первый национальный банк Нью-Йорка» всегда оказывал серьёзное влияние на внешнюю политику правительства США. С возвращением Рокфеллеров этот банк стал ещё более решительно влиять на американскую дипломатию.

Вместе с «Чэйз нэйшнл бэнк» «Первый национальный банк Нью-Йорка» владеет банком «Диллон, Рид и К°», который играет особую роль в американской внешней политике. Через этот банк американские миллиардеры и миллионеры финансировали возрождение германской военной промышленности после первой мировой войны. Они помогли германским монополистам воссоздать рурско-вестфальскую кузницу войны, которая позволила им развязать вторую мировую войну. Через банк «Диллон, Рид и К°» и банк «Бразерс Браун энд Гарриман» прошло 86 процентов всех кредитов, предоставленных американским капиталом германским военно-промышленным концернам. Вместе с банком Шредера — финансовым агентом Гитлера в США — банк «Диллон, Рид и К°» сам создал в гитлеровской Германии ряд промышленных корпораций, занимавшихся преимущественно производством вооружения. Их детищем был германский «Стальной трест», который финансировал Гитлера. Чтобы после капитуляции гитлеровской армии корпорации не были разгромлены, а предприятия не демонтированы, «Диллон, Рид и К°» послал в Германию к концу войны своего вице-президента Уильяма Дрэйпера, действовавшего в Западной Германии в качестве «экономического советника» американского главнокомандующего, а на самом деле в качестве экономического диктатора.

Ныне этот банк, выполняя волю Морганов и Рокфеллеров, финансирует германо-французское угольно-стальное объединение. Стремясь обеспечить получение высоких прибылей, Морганы и Рокфеллеры пытаются выжать максимум того, что можно, из французской железной руды, рурского угля и из дешёвой французской и немецкой рабочей силы. Во имя этих прибылей они заставляют американскую дипломатию добиваться так называемого «объединения Европы» и воссоздания западногерманской армии. Они послали зятя Меллона — Брюса — специальным уполномоченным для наблюдения за германо-французским угольно-стальным объединением, президента банка «Диллон, Рид и К°» — Дугласа Диллона — послом во Францию, а президента «Чэйз нэйшнл бэнк» — Уинтропа Олдрича — послом в Англию.

Во имя максимальных прибылей Морганы вместе с Рокфеллерами, Дюпонами, Меллонами и другими миллиардерами диктуют американскому правительству агрессивный авантюристический курс во внешней политике. В протоколах американского конгресса сохранились признания видных представителей крупнейших американских монополий о том, что доверенные люди Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов и Меллонов встречались в 1937 году с доверенным Гитлера и вели переговоры о путях сближения гитлеровской Германии с США с целью совместной борьбы против Советского Союза. При этом представители американских монополий спрашивали совета у гитлеровских эмиссаров, как легче и лучше всего применить гитлеровские методы к «домашним американским делам». Тогда сговор наиболее реакционных американских кругов с наиболее агрессивными силами в Европе провалился. Теперь делаются новые попытки вступить в подобный сговор с теми же наиболее агрессивными силами в Европе — с западногерманскими милитаристами-реваншистами.

Роль братьев Рокфеллеров не менее значительна. Помимо крупнейшего «Чэйз нэйшнл бэнк», до недавнего времени возглавлявшегося их дядей — Уинтропом Олдри-

чем, а ныне — Макклоем, им частично принадлежат многие другие банки, нефтяная монополия «Стандард ойл оф Нью-Джерси» со многими дочерними нефтяными корпорациями, многие авиационные заводы и т. д. и т. п. Братья весьма тщательно поделили свои обязанности. Старший брат, Джон, управляет «Фондом Рокфеллера», который превышает сейчас восемьсот миллионов долларов. Нельсон представляет семейство в правительстве. Во время войны он возглавлял специальное управление, которое ведало отношениями между США и Латинской Америкой, в предприятия которой вложены большие капиталы Рокфеллеров. Затем он стал помощником государственного секретаря США по делам Латинской Америки. По слухам, через рокфеллеровский «Чэйз нэйшнл бэнк» в Латинскую Америку вложено около пяти миллиардов долларов. Естественно, что Рокфеллеры захотели взять под контроль применение этого капитала, и правительство США не могло отказать им. Третий брат, Лоренс, представляет семейство на нью-йоркской бирже, где происходят схватки между самими монополиями и корпорациями. Он наблюдает также за той частью авиационной промышленности, которая принадлежит Рокфеллерам. Рокфеллеры заинтересованы преимущественно в авиационной промышленности, производящей военные самолёты последних марок. Уинтроп руководит операциями нефтяных монополий и корпораций Рокфеллеров. Дэвид фактически возглавляет «Чэйз нэйшнл бэнк», в котором он является старшим вице-президентом.

Братья Рокфеллеры настойчиво стремятся объединить силы крупнейших американских промышленников и банкиров, чтобы совместно бороться за упрочение капиталистической системы. Нельсон даже провозгласил примерно такой лозунг: «Спасение капитализма — дело самих капиталистов, а не наёмных слуг в правительствах, печати и университетах». Он призвал крупных промышленников и финансистов США помочь американскому правительству в его борьбе против социализма всякого рода. В самих Соединённых Штатах братья Рокфеллеры были инициаторами так называемого «Комитета специальных конференций», в который входят сейчас двенадцать самых крупных корпораций, принадлежащих тем же Морганам, Дюпоном, Меллонам, Фордам и другим миллиардерам. Эти «специальные конференции» собираются для того, чтобы хозяева монополий могли наметить единую политику в отношении рабочего класса и демократического движения, разработать согласованную реакционную политику внутри страны.

Одновременно «Фонд Рокфеллера», возглавляемый старшим братом, выделяет в дополнение к весьма значительным правительственным ассигнованиям крупные средства для финансирования реакционных сил за пределами США. Деньги Рокфеллеров помогают американской разведке готовить и проводить реакционные перевороты в странах Латинской Америки. Их деньги идут на оплату реакционных и фашистских заговоров за рубежом, на их деньги готовятся шпионы и диверсанты, которых забрасывает американская разведка в страны социалистического лагеря.

В «Тресте банкиров», возглавляемом Морганом, представлены многие крупные корпорации, среди которых первое место, несомненно, принадлежит братьям Дюпоном. Это очень старые братья: самому молодому из них перевалило за 75 лет. В их руках находится американская кузница войны. Им принадлежит главный военный концерн США «Дженерал моторс», хотя его акциями владеют также Морган и Меллон. Они владеют военной корпорацией «Ремингтон армс». Они построили первые атомные заводы, а ныне строят завод водородных бомб на реке Саванне на юге США.

Как и все американские миллиардеры, Дюпоны непосредственно заинтересованы в агрессивной внешней политике и особенно в войне, которая служит для них основным средством быстрой наживы. В годы корейской войны их концерн «Дженерал моторс» получил наивысшую прибыль. Когда однажды в конгрессе представитель конкурирующей монополии обвинил их в нарушении интересов страны, один из Дюпонов бросил грубое, но откровенное замечание:

— Это наша страна, а не страна конгресса...

Братья Дюпоны активно участвовали во всех реакционных мероприятиях, которые проводились американскими монополиями. Когда конгресс принял так называемый закон Вагнера, который капиталисты сочли невыгодным для себя, Дюпоны наняли

57 крупных адвокатов, чтобы сорвать этот закон в верховном суде. Они обратились с воззванием к предпринимателям, призывающим не признавать нового закона. Они финансировали и продолжают финансировать все фашистские и профашистские организации и банды. В борьбе против рабочих они используют наёмные шайки гангстеров, которые убивают руководителей профсоюзов и других прогрессивных деятелей.

— Конечно, Морганы, Рокфеллеры и Дюпоны главные, но не единственные хозяева Уолл-стрита, — заключил свой обзор Вильямс. — Имются тут и другие, которые представляют чикагскую, кливлендскую и бостонскую монополистические группы. Как видите, они довольно застенчивы и избегают рекламировать себя или свою деятельность. Поэтому-то они предпочитают прятаться за обезличенными вывесками.

### *Пауки в банке.*

На мой вопрос, насколько согласованно и единодушно действуют хозяева Уолл-стрита, Вильямс ответил не сразу. Он пожал плечами, посмотрел в сторону Уолл-стрита и произнёс:

— Единодушно!.. Как пауки в банке. Они единодушно набрасываются на свою жертву и поедают её. Когда же подходящей жертвы нет, они набрасываются друг на друга — и более сильные пожирают слабых.

Вильямс изложил мне коротко хищническую историю американских монополий, которая развёртывалась в постоянной и ожесточённой борьбе за право эксплуатировать рабочих, фермеров и получать наивысшие прибыли. В этой борьбе крепили, росли одни монополии, хирели, слабели и погибали другие. Пожирание слабых сильнейшими привело к тому, что вся финансовая и экономическая жизнь США и зависимых от них стран направляется ныне несколькими семейными и региональными богатейшими и могущественнейшими монополистическими группами: моргановской, рокфеллеровской, дюпоновской, меллоновской, фордовской, а также кливлендской, бостонской и другими. Некоторые из этих групп также связаны между собой семейными, родственными, экономическими и финансовыми узами. Сейчас уже трудно найти более или менее крупную корпорацию, в которую не был бы вложен капитал этих монополистических группировок.

Как голодные собаки бросаются к выброшенной хозяйкой кости, так и монополии кидаются к любому большому и прибыльному делу, вроде военных заказов правительства. Против казны, то есть против кармана налогоплательщика, они действуют единодушно и согласованно. Однако этой согласованности хватает только на то, чтобы ограбить казну. При дележе добычи начинаются драки, возникает ожесточённая борьба, которая ведётся непрерывно и в самых разных формах.

С давних пор идёт борьба между Рокфеллерами и Морганом за главенство в нью-йоркской (восточной) группе. Морган, стремясь подорвать финансовую прочность Рокфеллеров, иногда неожиданно изымал свои капиталы из рокфеллеровского «Чэйз нэйшнл бэнк» и выбрасывал на рынок в большом количестве акции рокфеллеровских корпораций. На эти удары Рокфеллеры отвечали контрударами: изымали свои средства из моргановского «Первого национального банка Нью-Йорка», выбрасывали тысячи акций моргановских компаний. В последние годы Рокфеллеры помогли бостонским миллионерам Хэнкокку и Хохчайлду отнять у Морганов Большую центральную железную дорогу. С их помощью из империи Морганов пытаются вырваться братья Лэманы, захватившие в свои руки значительную часть внутренней торговли страны. Морган со своей стороны стремится ослабить империю Рокфеллеров, нанося удары по её наиболее чувствительному месту — по нефтяной монополии.

В последние год-полтора Морган и Рокфеллеры почувствовали, что им бросают вызов чикагская и кливлендская монополистические группы, которые поддерживает бостонская группа. Борьбу против нью-йоркской группы возглавляют братья Дюпоны, которые уже с давних пор выступают как соперники Морганов и Рокфеллеров во многих областях и прежде всего в области производства вооружений. Во время второй мировой войны Дюпоны захватили в свои руки заводы по производству атомных бомб. Огромные правительственные ассигнования, открытия учёных многих стран, опыт нан-



более квалифицированных технических сил, работавших над превращением энергии атомного ядра в разрушительную силу, — всё стало достоянием Дюпонов. Их люди сидели в правительственной комиссии по атомной энергии и предписывали правительству, что ему делать в этой области. Их люди разрабатывали план международного контроля над атомной энергией, который обеспечивал бы сохранение за США монополии на производство атомных бомб.

Морганы прилагали все усилия, чтобы вышибить Дюпонов из атомной промышленности, чего и добились в 1947 году. Из рук дюпоновской корпорации «Дженерал моторс» атомные заводы перешли в руки моргановской корпорации «Дженерал электрик». Люди Морганов стали заправлять в правительственной комиссии по атомной энергии. И в атомной дипломатии США решающее слово стало принадлежать Морганам.

Однако Дюпоны не примирились со своим поражением. С началом войны в Корее им снова удалось вернуться в атомную промышленность. Они снова начали строить заводы по производству атомных бомб. Более того, они ухитрились получить правительственный заказ на строительство завода по производству водородной бомбы.

Ещё в 1943 году Дюпоны вместе с Морганам создали крупную корпорацию «Американская ассоциация предпринимательства». Эта ассоциация предназначалась для того, чтобы, пользуясь военной обстановкой и возможностями военного времени, захватить огромные естественные богатства южных штатов, которые в сочетании с дешёвой рабочей силой могли принести огромные прибыли. Южные штаты начали создавать промышленные предприятия лишь с началом войны. Рабочий класс здесь был совершенно неорганизован. К тому же тут имелось большое количество негритянских рабочих рук. Негры в США оплачиваются в три-четыре раза дешевле, чем белые рабочие, что создаёт дополнительный источник прибыли.

Правительство построило на Юге во время войны большое число заводов, стоимость которых перевалила за четыре миллиарда долларов. После войны эти заводы попали в руки «Ассоциации предпринимательства». Братья Дюпоны настойчиво пытаются сейчас вытеснить Морганов из этой ассоциации, чтобы распоряжаться там единолично. В борьбе против Морганов они опираются на поддержку бостонской группы, видный представитель которой — Синклер Уикс — был назначен Дюпонами ещё в 1948 году президентом этой ассоциации.

В последнее время усилия Дюпонов были направлены к тому, чтобы захватить промышленность юга США безраздельно в свои руки. Но и моргановская корпорация «Дженерал электрик» бросила в южные штаты свои капиталы и технические силы. Она захватывает правительственные предприятия с такой поспешностью, что агенты Дюпонов иногда не успевают даже узнать во-время об этом.

Не менее ожесточённая борьба идёт между Дюпонами и Морганам за обладание крупнейшим военно-промышленным концерном США — «Дженерал моторс». Хотя этот концерн принадлежит Дюпонам, Морганам и Меллонам, но фактически им распоряжается семья Дюпонов, которая держит контрольный пакет акций. Все попытки заставить Дюпонов продать часть этих акций и таким образом потерять контроль над «Дженерал моторс» ни к чему до сих пор не приводили.

Через своих ставленников в правительстве Морганов подготовили судебный процесс против братьев Дюпонов. Подготовка процесса шла три года, самый процесс, как ожидают, продлится несколько лет. На процессе, который начался 18 ноября 1952 года, в качестве обвиняемых привлечены сто семнадцать членов семьи Дюпонов, в качестве прокуроров выступает тридцать один человек, адвокатов — около двухсот человек. Слушание обвинения заняло больше двух месяцев. Братья Дюпоны были изображены в обвинительном заключении как «инициаторы и главные исполнители заговора с целью уничтожения конкуренции на рынке».

Допрос подсудимых начался в середине февраля. Старший брат, 83-летний Пьер Дюпон, защищая свою семью, заявил, что Дюпоны всегда заботились об обороноспособности США, снабжая правительство всем необходимым для войны, начиная от пороха, кончая атомными бомбами. Не называя своих главных обвинителей по имени, Пьер Дюпон намекнул, что Морганов сотрудничали с немцами во время первой мировой войны и были не прочь сотрудничать с Гитлером во время второй мировой войны.

Между всеми крупными монополистическими группами США идёт непрерывная борьба. Она ведётся по образцу войн, в ходе её заключаются различные блоки и союзы, составляются заговоры против своих же союзников и соглашения со своими противниками.

### *Хозяева выражают свою волю.*

Сравнительно скоро мне удалось увидеть и самих «застенчивых грабителей». Произошло это в крупнейшем и роскошнейшем отеле Нью-Йорка — «Валдорф-Астория» на Парк-авеню, где в начале декабря состоялась очередная конференция Национальной ассоциации промышленников. На эту конференцию меня повёз прогрессивный журналист Ридсдэйл, который работал до недавнего времени в газете «Дэйли компас», а после её закрытия занялся писанием статей на экономические темы для разных газет и журналов. В это время он готовил статью для либерального еженедельника о влиянии «большого бизнеса» на политику правительства и поэтому проявлял к Национальной ассоциации промышленников особый интерес. Мне название этой организации было хорошо известно, хотя я плохо представлял себе её силу и связи с правительством. По пути к «Валдорф-Астории» я расспрашивал об этом своего спутника.

— Как велика эта ассоциация?

— Сейчас в неё входит более восемнадцати тысяч членов, то есть корпораций, компаний, трестов. На их предприятиях занято 75 процентов всех промышленных рабочих страны. Они производят 80 процентов всей продукции США.

— Кто руководит этой ассоциацией?

— Те же, кто хозяйничает на Уолл-стрите, те же Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны, Меллоны, чикагские, кливлендские и бостонские миллиардеры. Словом, все, кто командует экономической и финансовой жизнью страны. Их люди входят в совет директоров Национальной ассоциации промышленников, который направляет её деятельность. Их же представители сидят в восемнадцати постоянных комитетах, которые руководят практической работой ассоциации в промежутках между её конференциями. В их же руках находится Особый совещательный комитет, который разрабатывает политику ассоциации. Обычно ассоциация финансирует избирательную кампанию обеих партий — и республиканской и демократической. Поэтому, независимо от того, кто победит, её интересы будут всегда обеспечены. Чтобы конгресс не мешал правительству проводить волю «большого бизнеса», Национальная ассоциация через свои отделения и филиалы финансирует выборы сенаторов и членов палаты представителей. Мало того, десять крупнейших издательских корпораций, в руках которых фактически находится вся печать страны, входят в ассоциацию и, разумеется, не шадят усилий, чтобы через тысячи газет и журналов, издаваемых в десятках миллионов экземпляров, навязать её волю правительству, конгрессу, стране.

— И всё это, конечно, делается под видом свободы общественного мнения?

— Конечно. Миллионеры, в руках которых находится американская печать, разумеется, никогда не представляют себя защитниками интересов кучки миллиардеров и сверхмиллионеров, а выступают лишь как выразители «общественного мнения».

— Странно, если Национальная ассоциация промышленников имеет столько возможностей влиять на правительство, зачем же ей ещё заводить своих агентов в министерствах, в конгрессе?

— Ассоциация влияет на политику правительства в широком смысле. Она, например, подсказала правительству Трумэна «план Маршалла», который позволил американским промышленникам сбыть за счёт американского налогоплательщика лежалые товары в Западную Европу. Не будь «плана Маршалла», эти товары пришлось бы либо уничтожить, либо выбросить на внутренний рынок, что привело бы к резкому падению цен, общему кризису и, возможно, к экономическому краху. Этим ловким ходом американские монополии убили сразу двух зайцев: и кризис у себя отдалили и «благодетелями» Европы прослыли. Правительство с готовностью подхватило замысел ассоциации. Но, чтобы заставить правительственные учреждения закупить для отправки в Западную Европу товары своих главных корпораций, ассоциации пришлось основательно потрудиться: там подмазать, здесь подкрутить. В Вашингтоне всем известно, что Нацио-

нальная ассоциация промышленников имеет в конгрессе и в министерствах самых надёжных лобби, то есть агентов, выполняющих её поручения. Да и какой конгрессмен или даже министр не мечтает заслужить расположение ассоциации, чтобы, закончив свою беспокойную политическую карьеру, получить доходный и надёжный пост директора корпорации?!

Ридсдэйл рассказал затем, как зосторженно поддержала ассоциация войну в Корее. Сейчас она усердно ратует за продолжение гонки вооружений, рассматривая это обременительное для народа дело как единственное спасение от кризиса. Нечего говорить, что газеты и журналы, принадлежащие десятн корпорациям, входящим в ассоциацию, из кожи лезут вон, чтобы доказать необходимость дальнейшего роста вооружений. Как и всегда, они, конечно, не говорят, что гонка вооружений нужна Национальной ассоциации промышленников для получения высоких прибылей, а кричат об угрозе безопасности страны, о патриотизме и прочих всщах.

У бокового входа «Валдорф-Астории» нас встретил швейцар, солидный и внушительный, похожий на отставного генерала. Ридсдэйл сказал ему, что мы приглашены на конференцию Ассоциации промышленников, и он почтительно пропустил нас вперёд. По толстым коврам, скрадывающим шум шагов, мы пересекли большой вестибюль, затем поднялись на лифте, долго шли по коридорам, устланным коврами, и, наконец, оказались у дверей зала, который больше походил на ресторан, чем на место делового совещания. В Америке почти все собрания и встречи богатых людей проходят обычно за едой и выпивкой.

Участники конференции сидели за столами, уставленными бутылками и столовыми приборами с салфетками, возвышающимися острыми конусами. За большим столом президиума, особенно нагруженным напитками, восседали руководители ассоциации Бантинг, Прентис, Арендс; крупные промышленники, почётные гости — будущий министр финансов Хэмфри, будущий министр торговли Уикс, бывший командующий американскими войсками на Дальнем Востоке генерал Макартур — ныне директор дюпоновского концерна «Ремингтон».

Речи промышленников не отличались ни краткостью, ни выразительностью. Вопреки распространённому мнению, дельцы любят поговорить, когда перед ними оказываются не их подчинённые, а слушатели со стороны. Чтобы доискаться главной сути в их речах, мне пришлось потом внимательно перечитать их. Так, Прентис, адресуясь к правительству, заявил, что «промышленники нуждаются в поощрении, а не в опеке». Арендс потребовал, чтобы «представители индустрии имели больший голос в органах правительства, планирующих программу вооружений». Будущие министры Хэмфри и Уикс (об их назначении в новое республиканское правительство уже было объявлено) заверили конференцию, что республиканское правительство совсем отменит налог на сверхприбыли, который особенно беспокоил крупных дельцов. Будущие министры — оба сверхмиллионеры — объявили о намерении нового правительства поощрять предпринимательство.

Решение конференции было лаконичным и звучало достаточно решительно. Конференция единодушно высказала убеждение, что новое правительство «прекратит совсем докучливое вмешательство государства в управление предприятиями», «обеспечит свободу инициативы деловых людей», «ограничит домогательства профсоюзов, вернёт рабочих в профессиональные рамки и восстановит авторитет хозяина и руководителя предприятия».

Когда мы покидали «Валдорф-Асторию», Ридсдэйл ожесточённо сплюнул и выругался.

— Кого это вы? — спросил я.

— Вы слышали, что сказал этот Бонтинг? — спросил он.

— Слышал, но не нашёл ничего такого, что заставило бы так отплёвываться.

— Значит, плохо слушали, — отрезал Ридсдэйл. — Бонтинг заявил, что недавние президентские выборы означают, будто американский народ «возложил бремя руководства страной на деловые круги». Вы видите — они даже перестают прятаться за ширму правительства и конгресса.

— Чего же вы возмущаетесь? — пытался урезонить я его. — Вы же знали и сами говорили мне, что Национальная ассоциация промышленников навязывает свою волю правительству и конгрессу. Вы приехали сюда, чтобы найти наиболее убедительные доказательства этого. Вы нашли эти доказательства, а теперь негодуете...

— Всё это так, — сердито отозвался Ридсдэйл, — всё это так! Меня возмущает то, что эти денежные мешки настолько почувствовали свою силу, настолько вошли в раж, что не считают нужным даже маскировать своё господство в стране. Это возмущает...

— По-моему, это должно не столько возмущать, сколько вызывать стыд, — замес-тил я.

Ридсдэйл смерил меня с ног до головы взглядом, хотел, видимо, сказать что-то, но осекся. Молча дошли мы до конца квартала, где наши пути расходились.

— А вы, кажется, правы, — сказал он, пожимая мне руку, — этого надо стыдиться...

### 3. Выборы президента

#### *Поиски кандидата.*

Когда я приехал в США, предвыборная кампания была здесь в полном разгаре. С почерневших стен домов, с грязных заборов к прохожим взывали огромные, ярко раскрашенные плакаты: «Хотите мира и процветания, голосуйте за Эйзенхауэра и Никсона!», «Хотите мира и процветания, голосуйте за Стивенсона и Спаркмана!» На рекламных щитах, на витринах магазинов, на окнах машин и даже на тротуарах появлялись короткие надписи: «Ай лайк Айк» — «Мне нравится Айк» (Эйзенхауэр). Рядом стали возникать более решительные: «Ай эм мэдл фром Эдли!» — «Я без ума от Эдли» (Стивенсона). Буржуазные газеты были заполнены описаниями выступлений и изложением речей Эйзенхауэра и Стивенсона. Каждый их шаг, жест, слово воспроизводились на страницах газет и журналов, на экранах кинотеатров и телевизионных аппаратов.

Между журналистами, политическими наблюдателями и просто обывателями стали, по давнему обычаю, заключаться пари: чей кандидат победит? Пари заключались не только на деньги. Порой проигравший обязывался переменить партию, или съесть зараз пять дюжин яиц, или расплющить собственным лицом торт с кремом и пройти в таком виде по улице.

Меня интересовал как ход, так и исход избирательной кампании. Ход кампании интересовал потому, что в ней наиболее ярко раскрывалась вся фальшь и лицемерие американской демократии, которая служит только ширмой ничем не ограниченной диктатуры кучки миллиардеров и сверхмиллионеров. Исход выборов интересовал потому, что приход к власти той или другой буржуазной партии, хоть и не меняет в принципе политики правящей клики, вносит всё же в её практическое осуществление кой-какие изменения, придаёт ей некоторые нюансы.

Предвыборная кампания развёртывалась на моих глазах. Мне оставалось только внимательно следить за её ходом, поворотами и зигзагами, что я и старался делать. Однако, чтобы предвидеть исход кампании, надо было разобраться в расстановке сил, в том, как выдвигались кандидаты в президенты, и особенно в том, кто стоит за ними. Я прочитал огромное количество статей в американских журналах, изучил программные документы республиканской и демократической партий, так и не обнаружив в них существенных расхождений, и решил, что на выборах, как предсказывали многие газеты и журналы, победит демократическая партия и её кандидат — губернатор штата Иллинойс Эдлай Стивенсон.

Свою уверенность я выразил как-то в присутствии Джеймса Флейшера, американского журналиста, с которым мы уже неоднократно сталкивались в годы войны, а после неё, в конце 1947 года, почти две недели дежурили целыми днями в приёмной Ланкастер-хауса в Лондоне, где тогда заседал Совет министров иностранных дел четырёх великих держав. Работал он в крупном телеграфном агентстве, называл себя «прогрессивно настроенным, но пассивным», к Советскому Союзу относился во время войны очень благожелательно, после войны — насторожённо, но не враждебно. Встретил он

меня в Нью-Йорке без всякого энтузиазма, однако предложил мне помощь, если она потребуется. Услышав моё замечание, что победят, по всей видимости, демократы, Флейшер иронически усмехнулся и коротко бросил:

— Мало вероятно.

— Почему?

— Потому что редко побеждали те, кто не хочет победы.

— Почему вы думаете, что демократы не хотят победы?

— Я не думаю, я знаю, — уверенно ответил Флейшер. — Они понимают, что на этот раз ставка сделана на определённую лошадь, а не на ту, которая, как это было раньше, победит на предвыборных скачках...

— Вы говорите загадками. Расскажите же, что вы знаете!

Вместо ответа Флейшер криво усмехнулся и сказал, что пора идти на заседание. По дороге в зал заседаний ООН я ещё раз попросил его, если он хочет мне помочь, рассказать о том, что он знает о выборах. Флейшер заметил, что он знает только то, что знает почти каждый журналист в Нью-Йорке, и что никакими закулисными тайнами он не владеет. Тем не менее он охотно принял моё приглашение пообедать вместе и предложил мне зайти за ним завтра в «Центр Рокфеллера».

Адрес его не удивил меня. К этому времени я уже знал, что «Центр Рокфеллера» — это не только обиталище семейства Рокфеллеров, но и их крупное доходное предприятие. Воспользовавшись во время кризиса 1929—1933 годов дешёвыми строительными материалами и дешёвой рабочей силой, Рокфеллеры приобрели на 99 лет в самом центре Нью-Йорка большой участок земли, принадлежащей Колумбийскому университету, и построили на нём пятнадцать высотных зданий общей служебной площадью в пять с половиной миллионов квадратных футов. Эта площадь сдаётся под различные «офисы» по цене четыре с половиной доллара за квадратный фут и ежегодно приносит Рокфеллерам свыше двадцати миллионов долларов. Здесь, помимо штаб-квартиры нефтяной и финансовой империи Рокфеллеров, помещается большое число крупных корпораций, в том числе Национальная ассоциация промышленников, а также крупнейшее телеграфное агентство США — Ассошиэтед Пресс, отделения телеграфных агентств многих других стран, корреспонденты газет почти всего мира и крупный издательский концерн, который издаёт журналы «Тайм», «Лайф», «Форчун» и другие.

В одном из этих зданий работал Джеймс Флейшер, которого я застал за просмотром корреспондентских телеграмм. Показав мне телеграмму из Вашингтона о том, что президент Трумэн предоставляет своим министрам полную свободу в управлении своими министерствами, Флейшер заметил, что в Америке каждый президент, который по конституции является главой не только государства, но и правительства, устанавливает свои порядки: один позволяет своим министрам действовать совершенно самостоятельно, другой делает их простыми исполнителями своей воли. Тут же он рассказал анекдот о Линкольне, который однажды поставил на голосование кабинета воззвание об освобождении негров, хотя знал, что министры не поддержат его. Из восьми присутствующих семь высказались против и только один — сам президент — за. Но это не обескуражило Линкольна. «Семь — против, один — за; воззвание единогласно принимается», — объявил он и обнародовал воззвание.

Обедать мы с Флейшером отправились в маленький ресторанчик «Золотой рог», расположенный рядом. Едва усевшись за стол, я начал свой допрос, и Флейшер ознакомил меня с закулисной стороной избирательной кампании. Кое-что об этом я, правда, уже слышал от других, но многое было для меня новостью.

Как обычно предвыборная кампания 1952 года началась месяцев за восемнадцать до дня голосования. Готовясь к выборам, республиканская и демократическая партии стали сыпать обещаниями и прибегать к манёврам, рассчитанным на то, чтобы заработать политический капитал, приобрести популярность и выиграть предстоящие президентские выборы.

Я знал, что претенденты на пост президента от обеих партий уже давно появились на политической арене. Недостатка в них никогда не было, а на этот раз претендентов оказалось больше обычного. Они появлялись, не дожидаясь благословения руководства

своих партий. Так, например, сенатор-демократ Кефвер, приобретший некоторую известность разоблачением преступлений, начал самочинно «улавливать» голоса избирателей. Он ездил из города в город, из штата в штат, произносил речи, фотографировался с детьми, с женщинами, участвовал в местных конкурсах, пожимал руки отцам городов и матерям больших семей, ласкал собачек, гладил коров. Ему удалось заполучить голоса многих избирателей демократической партии не только в мелких городках, но и в отдельных штатах. Это обеспокоило других претендентов от демократической партии.

Миллионер Гарриман вдруг объявил, что он готов быть президентом США. Сила его миллионов произвела немедленное действие. О нём заговорили газеты. Одни превозносили его как «слугу народа», другие поносили как миллионера и защитника миллионеров. Гарриман тоже начал фотографироваться с детьми, устраивать приёмы в своих роскошных виллах, сулить избирателям золотые горы. Расторопные журналисты, почувяв возможность хорошо заработать на богатом кандидате в президенты, стали расписывать его прошлое, настоящее и будущее. Демократическая партия в штате Нью-Йорк — крупнейшем штате США — изъявила готовность голосовать за Гарримана, хотя и высказала опасение, что его слишком явные связи с Уолл-стритом могут оттолкнуть многих избирателей, которые обычно голосовали за демократов.

Почти одновременно на сцене появился ещё один претендент — вице-президент Беркли. Правда, Беркли было 72 года и за время своего вице-президентства он прославился в Вашингтоне лишь умением рассказывать анекдоты. Чтобы показать, что он не так уж стар, Беркли отказался от машины и стал ходить пешком. Он даже выступил несколько раз по радио и телевидению. Речи его, как выяснилось потом, были написаны «писателем-призраком» — безымянным писателем. Но это, конечно, была мелочь. В Америке почти каждый видный деятель имеет такого «писателя-призрака», который за него пишет статьи, составляет речи, разрабатывает проекты и т. п.

Внимательные наблюдатели уже тогда понимали, что официальным кандидатом демократической партии будет губернатор штата Иллинойс — Стивенсон. Хотя на все вопросы корреспондентов, согласен ли он быть кандидатом в президенты, Стивенсон отвечал решительным отказом, тем не менее он лихорадочно готовился к этой роли. Газеты и журналы были заполнены его статьями и статьями о нём. Стивенсон настойчиво рекламировал свои взгляды по внутренним и внешнеполитическим вопросам. Пропагандистская машина демократической партии всячески расписывала достижения в управляемом им штате Иллинойс. Местным организациям партии уже давали понять, что демократы могут рассчитывать на победу, если они согласятся принять Стивенсона в качестве своего кандидата. На самом деле, как выяснилось позже, руководители демократической партии не рассчитывали на выигрыш и не намерены были серьёзно добиваться его.

Флейшер рассказал мне, как хозяева страны — миллиардеры и сверхмиллионеры — подбирали кандидатуру будущего президента США, как они навязали затем эту кандидатуру республиканской партии и приняли меры, чтобы обеспечить его победу на президентских выборах.

Наученные опытом прошлых лет, когда ожесточённая борьба между кандидатом нью-йоркской (восточной) монополистической группы — Дьюи — и кандидатом средне-западной монополистической группы — Тафтом — приводила к поражению республиканской партии на президентских выборах, главари монополистических групп решили заранее договориться между собой и выставить одну кандидатуру. Братья Рокфеллеры были инициаторами этого сговора. Они устроили встречу руководителей нью-йоркской, чикагской, кливлендской и бостонской групп, чтобы совместно подобрать, как выразился Флейшер, «подходящего парня».

Однако эта встреча вначале не принесла желаемого результата. Морганы и Рокфеллеры не отступались от своего ставленника Дьюи и категорически отвергали ставленника чикагских и кливлендских монополий — Тафта. Последние были столь же непримиримы в отношении Дьюи. Тогда представители бостонской группы, одинаково близкие как к Морганам, так и к Дюпонам, предложили новую кандидатуру — гене-

рала Эйзенхауэра. Эйзенхауэр не был связан ни с одной монополистической группой, он был достаточно популярен в массах и вероятнее, чем любой другой кандидат, связь которого с монополиями известна, мог, по их мнению, победить на выборах. Кандидатура генерала, находившегося тогда во Франции, всем пришлась по душе.

Гоним от монополистических групп во Францию отправился видный представитель бостонской группы, сенатор Генри Кэббот Лодж — нынешний представитель США в ООН. Его задача состояла только в том, чтобы получить согласие генерала на выдвижение его кандидатуры в президенты. Эйзенхауэр охотно согласился. После возвращения Лоджа из Франции главари монополистических групп «утвердили» Эйзенхауэра будущим президентом США. С этим решением во Францию поспешил человек Морганов, бывший генерал, а ныне президент их корпорации «Континентал кэн» — Льюис Клей. Он передал генералу не только решение миллиардеров, но и их условия: генерал должен будет составить новое правительство из людей, заслуживающих их доверия. Генерал согласился. Согласился он также проводить и определённый курс во внутренней и внешней политике США, изложенный ему Клеем. Эйзенхауэр просил лишь устроить так, чтобы он выступал на выборах как кандидат обеих партий. Клей ответил, что этого сделать нельзя: хозяева монополий не хотели рисковать обеими партиями.

Трумэн, пронюхавший о том, что миллиардеры остановили свой выбор на Эйзенхауэре, предложил ему стать кандидатом в президенты от демократической партии. Но Эйзенхауэр отклонил это предложение.

После того как Клей договорился с Эйзенхауэром, в Париж направился человек Рокфеллеров — адвокат Герберт Браунэлл, нынешний министр юстиции и генеральный прокурор, — который привёз Эйзенхауэру программу избирательной кампании. Теперь уже каждый шаг, каждое слово и поступок генерала строго определялись Браунэллом, которому Рокфеллеры поручили вести кампанию от начала до конца.

### *Боссы и массы.*

Хозяев монополий не смутила мысль о том, что они диктаторски навязывают республиканской партии в качестве её лидера человека, который всегда был далёк от этой партии. Правда, отец Эйзенхауэра когда-то голосовал за республиканцев, сам Эйзенхауэр дружил с некоторыми республиканцами, но его брат Мильтон, под влиянием которого он, по его собственному признанию, находился, долгое время служил в правительстве демократов, был ближайшим помощником Уоллеса, слывшего среди буржуазных политиков за «левака», и активно поддерживал «новый курс» Рузвельта.

Среди «старой гвардии» республиканской партии выбор хозяев вызвал смятение и обиду. Сподвижники сенатора Тафта открыто объявили, что они намерены бороться против Эйзенхауэра, потому что он не сможет обеспечить республиканцам победу. Они пытались убедить лидеров монополистических групп, что те сделали ошибку, выбрав политически неопытного генерала своим кандидатом в президенты. Но их никто не послушал. Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны, Меллоны, Форды, Хэнкок, Лэманы и другие миллиардеры и сверхмиллионеры хорошо знали свою силу в стране. Пять их монополистических групп владеют 210 крупнейшими корпорациями, которые господствуют во всей экономической и финансовой жизни США. Семьдесят восемь самых крупных корпораций находятся в руках трёх семей — Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов.

Братья Рокфеллеры предложили другим миллиардерам и сверхмиллионерам создать на время выборной кампании Объединённый финансовый комитет. Во главе этого комитета они поставили своего дядю — президента «Чэйз нэйшнл бэнк» Уинтропа Олдрича. В короткое время комитет собрал огромную сумму денег на финансирование избирательной кампании Эйзенхауэра. Банкиры очень легко обошли закон, запрещающий вносить в кассу партий из одного источника более пяти тысяч долларов. Они стали дробить свои взносы. В числе «богатых жертвователей» оказалось большое число подставных лиц, начиная от директоров мелких предприятий, кончая кассирами и швейцарами банков. Только к концу кампании стало ясно, что миллиардеры и

сверхмиллионеры не пожалели для избрания удобного им кандидата более ста миллионов долларов.

Одновременно Морганы, Дюпоны и бостонские миллионеры, распоряжающиеся в Американской ассоциации предпринимательства, приняли меры к тому, чтобы помочь Эйзенхауэру на юге страны. Одиннадцать южных штатов по традиции голосуют за демократов. Выборы президента в США — не прямые, а двухстепенные. Сначала избираются выборщики общим числом 531 человек. Выборщики собираются шесть недель спустя после голосования и выбирают президента. Но эти «выборы» носят чисто формальный характер. Выборщики выделяются соперничающими партиями, волю которых они, за редчайшим исключением, выполняют. Южные штаты избирают 118 таких выборщиков. Три пограничных штата — Оклахома, Кентукки и Западная Виргиния — обычно дают демократам дополнительно ещё 26 выборщиков. Для победы на президентских выборах демократической партии достаточно было набрать во всех остальных штатах ещё 122 голоса, чтобы иметь большинство выборщиков — 266 человек. Республиканцы могли быть уверены лишь в голосах 40 выборщиков, и им надо было завсёвывать 226 голосов.

В южных штатах засилie демократической партии было так велико, что республиканская партия во многих местах даже не пыталась создавать свои организации и просто не выставляла своих кандидатов. Американская ассоциация предпринимательства не стала тратить время на создание в южных штатах организаций республиканской партии. Она предписала зависимым от неё дельцам — членам демократической партии — образовать внутри их партии фракцию «Демократы — за избрание Эйзенхауэра в президенты». Это было, конечно, немедленно сделано. Ассоциация создала и сцементировала на свои средства сильный блок республиканцев и политиков демократической партии на Юге. Во главе организации «Демократы — за избрание Эйзенхауэра» оказались один из крупнейших землевладельцев Юга — плантатор Андерсон, нынешний министр военно-морского флота, и жена видного издателя в Хаустоне — Овета Калп Хобби, нынешний министр здравоохранения, социального обеспечения и образования.

После серьёзной предварительной работы миллиардеры стали ждать приближения съезда республиканской партии, где их выбор должен был получить официальное оформление. По рекомендации адвоката Рокфеллеров — Браунэлла, который был назначен советником Эйзенхауэра на время предвыборной кампании, генерал выступил лишь с несколькими речами, в которых он, однако, не показал ни своей позиции, ни своих намерений. Это дало возможность «старой гвардии» республиканцев, которая ещё не теряла надежд убедить хозяев монополий изменить свой выбор, обвинить Эйзенхауэра в «бесцветности», в «неясности» и прочих грехах.

На съезде республиканской партии в Чикаго вокруг кандидатуры генерала развернулась ожесточённая борьба. Большинство делегаций среднезападных и западных штатов выступило против Эйзенхауэра. Они хотели голосовать только за давнишнего, признанного лидера партии — сенатора Тафта. Браунэлл, который возглавлял все закулисные комбинации, вынужден был сообщить своим хозяевам в Нью-Йорк, что масса делегатов, представляющих местные организации партии, отвергает генерала. На помощь Браунэлли прибыл Генри Форд-младший, который стал принимать влиятельных делегатов и уговаривать их отказаться от Тафта и голосовать за Эйзенхауэра. Это помогало мало.

Тогда-то за кулисами съезда появился никогда не принимавший никакого участия в политической деятельности президент крупнейшей в США корпорации — военно-промышленного концерна «Дженерал моторс» — Чарльз Вилсон, нынешний министр обороны. Он вызвал к себе председателя Национального комитета республиканской партии Саммерфилда (нынешний министр почт) — крупного оптового торговца автомобилями «Дженерал моторс». Вилсон объявил ему, что республиканцы должны голосовать за Эйзенхауэра. И хотя президент «Дженерал моторс», как утверждал Флейшер, не нашёл нужным объяснить, почему они должны голосовать за далёкого от партии генерала, а не за хорошо известного сенатора, делегации послушно согласились следовать его воле. Давний спор между делегациями, находящимися под влиянием Форда,



и делегациями, представляющими другую крупную автомобильную компанию — «Крайслер», — немедленно прекратился. Дельцы, играющие в политику, не осмелились ослушаться босса, который в свою очередь получил соответствующее распоряжение от своих боссов — Морганов и Дюпонсов. По признанию «Нью-Йорк таймс», сделанному значительно позже — в день объявления о назначении Вилсона министром обороны США, — его вмешательство на съезде республиканской партии сразу же решило исход борьбы в пользу Эйзенхауэра.

После этого дело оставалось только за рекламой и пропагандой, которые ещё бесспорнее, чем голоса делегатов на чикагском съезде республиканской партии, находились в руках хозяев монополий. Печать, кино, радио, телевидение получали приказ внушить избирателям, что президентом страны должен быть именно этот человек, которого уже избрали хозяева монополий. В газетах и журналах запестрели статьи, всячески прославляющие генерала, на экранах кино и телевизоров зачастило его лицо, по радио стал всё чаще и чаще раздаваться его голос. Буржуазная пропаганда «делала» кандидата в президенты.

Быть кандидатом в президенты не легко. Он должен произносить речи, писать статьи, давать интервью. Речи надо составлять, статьи, по крайней мере, редактировать, интервью обдумывать. Морганов и Рокфеллеры и тут пришли на помощь кандидату монополий. Для составления его речей и подготовки интервью были выделены в качестве «писателей-призраков» издатель журнала «Форчун» Чарльз Джексон и издатель журналов «Тайм» и «Лайф» Генри Люс. Предвыборные речи кандидата республиканцев в президенты готовились в Нью-Йорке, в «Центре Рокфеллера», утверждались Браунэллом, затем передавались по телеграфу в поезд Эйзенхауэра. Будущий президент иногда был вынужден читать их, даже не успев предварительно хотя бы бегло просмотреть. Небезынтересно, что Эйзенхауэр не забыл своих «писателей-призраков»: Джексона он назначил своим советником по вопросам «холодной войны», а Люса отблагодарил назначением его жены — Клер Люс — послом США в Италию.

Когда Флейшер закончил свой рассказ, я почувствовал себя в затруднительном положении. Многое показалось мне настолько невероятным, что я подумал, не вводят ли меня в заблуждение. Я, конечно, знал, что крупнейшие монополии США направляют деятельность буржуазных партий, что они определяют политику правительства страны, но я не представлял себе, чтобы это носило такой откровенный, циничный характер. Миллиардеры и сверхмиллионеры навязывали на этот раз партиям, стране, американским избирателям свою волю с такой бесцеремонностью, с какой только самодур, помещик-крепостник распорядился в своём поместье. На мой вопрос, неужели этого тут никто не видит, Флейшер спокойно ответил:

— Почему же? Многие видят. О том, что я рассказал вам, знают очень многие, по крайней мере среди интеллигенции.

— Странно — многие видят, но ничего не делают?

— А что можно сделать? В руках Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов — всё: концерны, газеты, кино, радио. Кто же будет с ними тягаться?

### **„Реклама“ кандидата.**

В эти же дни я услышал об одном хотя и мелком, но весьма характерном для Америки случае. Группа американских дельцов, разыгрывающих из себя не просто эксплуататоров, а эксплуататоров идейных, «теоретизирующих» и поэтому собирающих время от времени не для простой выпивки, а для выпивки вперемежку с умными речами, пригласила приехавшего в США видного иностранного публициста, чтобы послушать его мнение о стране. Публицист выступил перед подвыпившими дельцами, кое-что похвалил, кое-что осудил, кой о чём умолчал. Дельцы потребовали ясного ответа на вопрос: что более всего характерно для США?

— Умение продавать, — коротко ответил гость. — Без этого не было бы нынешней Америки...

— Как так? — удивились хозяева.

— Именно так. Без умения навязать товары, которые вы изготавливаете, вы никогда бы не достигли нынешнего уровня производства. Ведь вы навязываете потребителю такие товары, какие ему не нужны, вы создаёте искусственный спрос и искусственно раздуваете ваше производство. Без умения продавать вы были бы второразрядной страной...

Хозяева сперва обиделись, но потом решили превратить всё в шутку и стали смеяться.

Умение продавать, действительно, рассматривается здесь как самая большая доблесть человека. Термины «продать», «продажа» применяются тут не только при торговых сделках. Учёные говорят: «продать идею», министры — «продать человека», конгрессмены — «продать законопроект». Остряки «продают» шутки, поговорки, удачные выражения. «Продать» в американском понятии чаще всего означает: навязать, сбыть всеми правдами и неправдами.

Вполне естественно поэтому, что когда партийные съезды утвердили кандидатов в президенты и вице-президенты, газеты и политики занялись «продажей» их избирателям. Прежде всего им стали создавать известность — этим занялись газеты и журналы. Правда, Эйзенхауэр был хорошо известен американцам. В течение почти десяти лет его имя не сходило со страниц газет США. Он возглавлял союзные войска, которые высадились в Северной Африке. Он руководил высадкой союзников во Франции. Он командовал американскими войсками в оккупированной Германии, затем командовал вооружёнными силами Атлантического блока. Однако имя его неизменно сопровождалось приставкой «генерал». Население же страны всегда с недоверием относилось к генералам и вообще к военным. Опыт истории к тому же показывал, что, кроме Джорджа Вашингтона, все популярные генералы оказывались потом плохими президентами. Поэтому пресса стала доказывать, что Эйзенхауэр является разносторонним политическим деятелем, знатоком финансовых дел, большим дипломатом, умелым администратором и т. д. и т. п. В прессе, обращённой к широким слоям населения, его расписывали как человека демократичного, сторонника различных реформ и начинаний. А в прессе, читаемой узким кругом дельцов, кандидата в президенты расписывали как весьма консервативного человека. Среди негров Юга его рисовали поборником полного гражданского равенства, среди белых плантаторов — сторонником расовой дискриминации.

Сам же кандидат старался вести себя так, чтобы давать пропаганде соответствующую пищу. Чтобы показать своё расположение к неграм, он, например, отправился к неграм-богачам на Сахарный холм в Гарлеме, где пробыл ровно столько, сколько необходимо для сентиментального снимка: улыбающийся Эйзенхауэр стоит среди улыбающихся негритянских дельцов, и один из них размещивает своей ложечкой чай в чашке будущего президента. Когда среди евреев в Нью-Йорке распространились слухи, что за спиной Эйзенхауэра стоят известные антисемиты, он немедленно отправился к миллионеру Баруху, который поспешил опубликовать письмо, доказывающее, что республиканский кандидат в президенты был, есть и будет противником антисемитизма.

Но вот кандидаты буржуазных партий поехали по стране. Их сопровождала целая свара журналистов, которые фиксировали и расписывали каждый их шаг, каждый жест, каждое слово. Эйзенхауэра они сопровождали в специальном поезде, который, кстати сказать, оплачивался кассой партии, вернее — кассой Объединённого финансового комитета. Стивенсона, предпочитавшего летать в самолёте, сопровождал специальный самолёт с корреспондентами, кинооператорами, фотографами.

Каждый день в течение трёх месяцев жители США, раскрывая утром газету, видели прежде всего занимающие всю первую страницу сообщения о выступлениях главных кандидатов буржуазных партий. Пространные описания сопровождались фотографиями кандидатов — с детьми, с рабочими, с фермерами. Газеты выбирали из речей кандидатов только то, что могло больше всего понравиться их читателям.

Однако наибольшую роль в «продаже» играли, конечно, радио и особенно телевидение. Радиостанции целыми днями трубили о кандидатах буржуазных партий, расхваливали их, пропагандировали их взгляды, высказывания. Телевидение объединило в себе оперативность радио и наглядность кино. Оно не только отмечало каждый шаг и

жест кандидатов в президенты, но и воспроизводило их. Оно помогало буржуазным партиям придвинуть избирательную кампанию вплотную к каждому избирателю, перенести её, так сказать, к нему на дом.

Телевизионные центры передавали специальные инсценировки, в которых главными действующими лицами были кандидаты в президенты. На минуту на экране появлялось лицо кандидата, рядом с которым возникали лица неизвестного рабочего, домохозяйки, школьника, фермера, девушки. Они задавали ему только один вопрос: что он думает о том или ином зле, которое больше всего затрагивало данную группу населения? Чаще всего американец видел на экране Эйзенхауэра. Он обычно в двух-трёх фразах поносил какое-то зло и неизбежно кончал словами: «Настало время для перемен». Студенты показывали Эйзенхауэру маленький доллар, отпечатанный для этого случая, и спрашивали, что надо сделать, чтобы доллар приобрёл свой прежний размер. (На нынешний доллар можно купить столько же товаров, сколько до войны можно было купить на 43 цента.) Эйзенхауэр отвечал стандартной фразой: «Наступило время для перемен» — и удовлетворённые студенты уходили. Режиссёры не позволяли им задать законный и естественный вопрос: как он, кандидат в президенты, намерен добиться возвращения доллару его прежней покупательной способности?

Несмотря на детскую наивность и примитивность этих инсценировок, они всё же действовали на рядовых американцев. Наверное поэтому давний и наиболее доверенный агент Морганов и Рокфеллеров в республиканской партии — губернатор штата Нью-Йорк Дьюи, которого им из-за сопротивления чикагских и кливлендских миллиардеров не удалось протолкнуть кандидатом в президенты, — в самый канун выборов тоже устроил по телевидению представление, в котором был главным действующим лицом и которое продолжалось с шести часов утра до двенадцати часов ночи, то есть восемнадцать часов. Восемнадцать часов подряд перед зрителями телевизоров ломался маленький человечек с чёрными жёсткими усами и толстыми губами, которые едва прикрывали хищные редкие зубы. Он разыгрывал пятиминутные сценки с домохозяйками, которые будто бы приходили к нему со своими вопросами и пожеланиями, он обнимал и сажал к себе на стол детишек, которые невнятно бормотали заученные фразы о плохом правлении демократов, он ходил в обнимку с фермерами, которые якобы видели выход из неизбежного кризиса сельского хозяйства только в приходе к власти республиканцев. Ему приносили письма и телеграммы, которые он тут же вскрывал и зачитывал. Известные корреспонденты, разумеется, восхваляли республиканскую партию и её кандидатов в президенты и вице-президенты. Ему звонили по телефону неизвестные женщины, которые клялись голосовать за республиканских кандидатов потому, что только с ними они рассчитывают упрочить устои семьи и святость брака. На глазах зрителей он закусывал, демонстрируя свой скромный рацион — пару сэндвичей и сосиски: смотрите, насколько непритязательны в пище республиканские лидеры!

Выступление Дьюи перед экраном телевизоров стоило республиканцам несколько сот тысяч долларов. Но организаторы предвыборной кампании не стеснялись в расходах. В их распоряжении была касса Объединённого финансового комитета миллиардеров и сверхмиллионеров.

В журналистских кругах утверждали, что реклама в печати, по радио и по телевидению стояла республиканской партии многих десятков миллионов долларов. «Продажа» кандидатов недёшево обошлась хозяевам монополий!

### *„Избранники“ и избиратели.*

В сумерки холодного и пасмурного дня мы возвращались из столицы штата Нью-Йорк — Олбани, которая находится на большом расстоянии от города Нью-Йорк. Федеральная дорога, идущая оттуда, привела нас прямо на Бродвей. Где-то на двухсотых улицах, вытянувшихся через бугры и пади нью-йоркской окраины, среди одноэтажных домишек и мелких лавчонок нам попался на глаза избирательный центр республиканской партии. Он отличался от жилых домов и пивных тем, что его окна были оклеены плакатами: «Голосуйте за Айка и Дика!» Перед окном стояло человек пять, по виду явно рабочих: все они были в комбинезонах, кепках и шейных шерстяных платках. Нам показалось, что они внимательно читают рекламные плакаты, выставлен-

ные в окне избирательного центра, и даже обсуждают их. Это было настолько необычно здесь, что мы остановились, вышли из машины и подошли к ним.

Рабочие тут же отвернулись от плакатов и стали с интересом наблюдать за нами. Мой замысел подойти к ним незаметно и послушать, что они говорят о кандидатах республиканской партии, не удался. Нам пришлось сказать им «Добрый вечер» и поневоле вступить в разговор. Действуя по старому журналистскому правилу: «Спрашивай сам, если не хочешь, чтобы спрашивали тебя», — мы стали задавать им вопросы. Я поинтересовался, кто это — Айк и Дик, хотя хорошо знал, что это Эйзенхауэр и кандидат в вице-президенты Никсон. Рабочие промолчали. Они переглянулись между собой, недоуменно пожали плечами, взглянули на плакат, словно рассчитывали там получить справку. Затем пожилой рабочий с морщинистым, очень худым лицом неохотно ответил:

— В знакомстве с ними не состоим. Но, видно, тузы большие, раз за них голосовать велят и даже денег дать обещают.

— Кто же общает за них деньги?

— Да вот те, что там сидят, — указал рабочий на избирательный центр.

— Куда их выбирают? — спросил я, кивая головой на плакат, призывающий голосовать за «Айка и Дика».

— Да куда-нибудь наверх... — ответил тем же тоном пожилой мужчина.

— Какая партия их выставила?

Молчание.

— Когда будут происходить выборы?

Снова молчание. Рабочий в кожаной тужурке на «молнии», желая, видимо, избавиться от расспросов, быстро кинул своим товарищам «До скорого» и ушёл. Собрался уходить и пожилой рабочий. Нам не оставалось ничего другого, как тоже отправиться восвояси.

Этот эпизод немного напомнил мне недавнее выступление Трумэна на седьмой Национальной конференции по вопросам гражданства. Тогдашний президент США сетовал на то, что население страны чрезвычайно равнодушно к выборам, к избираемым им людям, к своим гражданским обязанностям. В выборах 1950 года, например, говорил он, принимало участие лишь 44 процента избирателей. Три четверти из голосующих не знали имени кандидатов, включённых в списки. В 1948 году 35 процентов голосующих не знало, что каждый штат избирает в сенат двух членов.

С наигранным пафосом Трумэн уверял, что такое равнодушие избирателей к выборам и выборным органам грозит стране большой опасностью, хотя именно это безразличие широких слоёв населения помогает политическим дельцам осуществлять свои махинации. Тот же Трумэн, как подсчитал профессор Дьюбойс, стал президентом США голосами только 25 процентов избирателей страны. Президенты США последних лет были президентами меньшинства: большинство населения страны голосовало против или воздерживалось от голосования.

По пути домой в тот вечер мы останавливались у нескольких избирательных центров обеих буржуазных партий. Несмотря на яркие плакаты, зазывающие избирателей, помещения пустовали. Там сидели, обложившись брошюрами, прославляющими кандидатов, платные агенты партий. Завидев нас, они оживлялись, начинали суетиться, но, узнав, что перед ними корреспонденты, разочарованно усаживались.

Раза два или три мы встречали уличных ораторов, которые за небольшую плату брались перевозить или же поносить кого угодно и как угодно.

На перекрёстке 98-й улицы и Бродвея выступал высокий мужчина в сером пальто и широкополой шляпе, которую он всё время придерживал рукой, чтобы не снесло ветром. Вооружившись микрофоном, он ругал республиканскую партию как партию «большого бизнеса», партию миллионеров, банков и концернов. Однако он ловко обходил имя республиканского кандидата в президенты — руководство демократической партии дало указание не трогать Эйзенхауэра — и весь запас своей оплаченной злости выливал на голову Никсона. Никсон только что оскандалился своим взяточничеством, и газеты, поддерживающие демократическую партию, ещё были полны описаниями его грязных финансовых махинаций, поэтому нападать на Никсона было легко.

Я наблюдал, как между 86-й и 85-й улицами, стоя на крыше автомашины, выступала высокая тонконогая женщина. Громким, визгливым голосом она восхваляла республиканскую партию и поносила демократов, правление которых отличалось особым взяточничеством и казнокрадством. Вокруг машины стояли несколько человек, которые молча разглядывали женщину — её длинную нескладную фигуру и красный нос. Поглазев несколько минут, слушатели отходили прочь. Вместо них останавливались на несколько минут другие, которые, оглядев в свою очередь визгливого оратора, также уходили. Это был не политический митинг, а обычный уличный аттракцион.

Выступления главных ораторов буржуазных партий — кандидатов в президенты и вице-президенты — тоже были подобны аттракционам. Они обставлялись с большой пышностью, для них снимались огромные залы. Выход кандидатов сопровождался невероятной помпой. Передвижение кандидатов в президенты по улицам происходило с таким шумом, какой у нас вызывает только пожарная команда. Впереди автомобиля кандидата, сбоку и сзади с бешеной скоростью, гудя во все сирены, мчатся полицейские машины и мотоциклы. Эта воющая и рычащая моторизованная кавалькада пронесется по улицам и дорогам, заставляя прохожих шарахаться в подьезды домов, а водителей машин — поспешно сворачивать и съезжать либо на тротуар, либо в кюветы.

Тщетно было искать в речах главных кандидатов буржуазных партий какие-либо расхождения по важнейшим вопросам политики. Таких расхождений не было. Не случайно одна буржуазная газета заметила, что основные усилия кандидатов в президенты от республиканской и демократической партий направлены к тому, чтобы как можно больше походить друг на друга. Один буржуазный журнал, приведя десятка полтора высказываний Эйзенхауэра и Стивенсона по основным вопросам и отметив их полное совпадение, пытался объяснить это обстоятельство сходством характеров и даже лиц кандидатов. Он опубликовал снимок, на котором правая часть лица принадлежала Эйзенхауэру, а левая — Стивенсону. Совпадение формы лба, рисунка бровей, глаз, носа, рта и подбородка было настолько удивительно, что с первого взгляда всем казалось, будто это одно лицо, а не половинки двух разных лиц.

Лишь за несколько дней до выборов кандидат республиканской партии внёс в свою программу кое-что отличавшее её от программы кандидата демократической партии: Эйзенхауэр туманно пообещал добиться окончания войны в Корее. Но и при всей своей неясности это обещание вызвало среди широких слоёв избирателей ошутимый отклик. Семьи, сыновья которых находились в Корее или даже просто в армии, решили голосовать за республиканскую партию, которая давала им надежду на возвращение детей. Люди, постоянно голосовавшие за демократическую партию, покидали её и переходили к республиканцам. Это особенно сильно чувствовалось в фермерских районах, которые больше всех терпели от войны. Обследование, проведённое после выборов, показало, что многие фермерские семьи решили голосовать за республиканских кандидатов в последние три дня.

Но руководители демократической партии упорно не желали обещать окончание войны в Корее. Их пропаганда продолжала твердить, что «американцам никогда не было так хорошо» и что «либо война и процветание, либо мир и депрессия». Простые избиратели, как показали опросы, проведённые профсоюзами, отвергали бессмысленное, насквозь фальшивое утверждение о том, что им якобы «никогда не было так хорошо», и отказывались покупать процветание ценой крови и жизни американской молодёжи.

Демократически настроенная интеллигенция, левобуржуазные публицисты и профессор усердно уговаривали лидеров демократической партии сделать заявление относительно окончания войны в Корее. Призывы к такому шагу стали раздаваться на митингах демократической партии, в её печати. Но лидеры партии не внимали этому. Они не хотели менять ход кампании, хотя всем было ясно, что демократы потерпят поражение, если не выступят с заявлением о корейской войне.

Тогда-то среди журналистов уже открыто заговорили, что руководство демократической партии не хочет мешать Эйзенхауэру стать президентом. Рассказывали, что Трумэн и верхушка партии, зная волю хозяев монополий, не осмелились осложнять их планы. Говорили, что вся избирательная кампания демократической партии велась

с таким расчётом, чтобы обеспечить приход к власти республиканцев, чего желали главари крупнейших монополистических групп. Значит, Флейшер был прав — демократы действительно не хотели своей победы.

### *Равнодушие и шум.*

День выборов, завершивший избирательную кампанию, прошёл так же, как и сама кампания. Чем равнодушнее вёл себя рядовой избиратель, тем с большим шумом действовала огромная пропагандистская машина.

Утро в тот день было солнечным, тёплым. Мы поехали по городу. На улицах не замечалось никакого оживления, никакой приподнятости или торжественности. Нью-Йоркцы спешили по своим делам — на службу, в магазины, совершенно не обращая внимания на объявления и стрелки, указывающие местонахождение избирательных участков.

Избиратели явно не торопились выполнить свой гражданский долг. Ни в центре, ни на окраинах мы не встретили возле избирательных пунктов ни одной очереди, ни малейшего скопления людей. Проехав почти весь Манхэттен, мы пересекли Бронкс, затем через Вашингтонские высоты снова выбрались на Бродвей. Изредка мы останавливались и заходили в избирательные участки.

Избирательные комиссии, составленные обычно из старичков, ушедших на покой, из домохозяек и технических работников государственного аппарата, уныло сидели над списками и ждали избирателей. Рядом со столами комиссий, отгороженные занавеской, находились машины для голосования. Это продолговатый ящик серо-зелёного цвета, на левой стороне которого укреплено сверху вниз с полдюжины рычажков, похожих на оконные шпингалеты. Рычажки помечены буквами: А, В, С, D и т. д. Каждой партии присвоена определённая буква. Голосующий искал нужную ему букву и поворачивал рычажок. Машина автоматически прибавляла к ряду этой партии новый голос. Избиратель голосовал за всех сразу — за президента, вице-президента, сенатора, члена палаты представителей, члена ассамблеи штата, которые избирались одновременно и шли по одному списку.

Почти такая же механизированная скука царил в избирательных участках в центре города, где они были расположены, как правило, в вестибюлях отелей. Здесь комиссия отгородила небольшие уголки, вокруг сновали, шумели, смеялись посетители отеля, шныряли бои и посылынные, таскали чемоданы носильщики, степенно расхаживали швейцары. Гомон и шум стояли настолько сильные, что избирателям приходилось наклоняться к самому уху членов комиссии и выкрикивать свои фамилии.

После окончания рабочего дня число голосующих несколько увеличилось. Но это продолжалось очень недолго. Скоро их стало меньше, наконец они совсем перестали появляться, и избирательные участки стали закрываться.

Первые результаты голосования начали поступать уже около девяти часов вечера. Они передавались по всем радиостанциям и всем телевизионным центрам. Эти передачи были куплены крупнейшими корпорациями: мелло-моргановским «Вестингауз», дюпоновским «Шевроле», фармацевтическим концерном и некоторыми другими. За эти передачи владельцам телевизионных центров были заплачены большие деньги: дельцы решили использовать передачи о результатах президентских выборов для рекламы своих товаров. Обычно передачи прерывались на самом интересном месте, и диктор в течение одной-двух минут расхваливал несравненные качества товаров данной фирмы и советовал купить их. В этот вечер «Вестингауз» и «Дженерал электрик» усиленно рекламировали новый холодильник, «Шевроле» — новую машину с откидным верхом, а фармацевтический концерн — новое средство от пота и какой-то удивительный препарат для очищения желудка.

Уже первые сообщения о результатах выборов показали, что они прошли несколько необычно. В южных штатах, которые всегда стояли за демократов, кандидат республиканцев Эйзенхауэр оказался впереди кандидата демократов Стивенсона. Фермерские районы, которые также обычно отдавали свои голоса демократам, на этот раз повернулись к ним спиной. Это настолько противоречило практике и ожиданиям многих, что

уже около одиннадцати часов вечера стали раздаваться первые голоса, предсказывающие победу Эйзенхауэру. Правда, пророчества эти сопровождалась неизбежными и серьёзными оговорками, но они всё же свидетельствовали о первой неожиданности в выборах.

Около одиннадцати часов вечера Эйзенхауэр в смокинге и в галстук «бабочка» появился в бальном зале отеля «Коммодор», где находилась его штаб-квартира. Толпа приверженцев, собравшаяся там, восторженно встретила его свистом и приветственными воплями. Несколько утихомирив своих поклонников, Эйзенхауэр обратился к ним с краткой речью, в которой объявил, что дела идут хорошо, что вести со всех концов страны поступают прекрасные. В ответ на это толпа завопила ещё громче: «Вы уже победили! Вы уже победили!» Подняв обе руки и улыбаясь, Эйзенхауэр скрылся в своей комнате.

Сведения, поступающие через каждые три-четыре минуты, всё настойчивее и определеннее показывали, что Эйзенхауэр идёт впереди во многих штатах и разрыв между ним и Стивенсоном становится всё больше и больше. Сообщение, что штаты Новой Англии—Мэн и Коннектикут — высказались за Эйзенхауэра, никого не удивило, к тому же число выборщиков, которыми располагают эти штаты, было незначительным. Зато форменную сенсацию произвело сообщение с Юга, пришедшее около половины двенадцатого: южные штаты, опора и цитадель демократической партии,— Вирджиния, Техас и Флорида — примкнули, как выразились комментаторы, «к колонне Эйзенхауэра».

К полуночи стало ясно, что большинство избирателей в крупнейшем штате страны — Нью-Йорк,— который имеет 48 выборщиков, высказалось за кандидата республиканцев. Перевес демократов в самом городе, который с давних пор голосовал за демократическую партию, был незначительным. Теперь уже не оставалось сомнений, что и весь штат окажется на стороне Эйзенхауэра (по американским законам, достаточно одного лишнего голоса, чтобы завоевать весь штат). Около двенадцати часов ночи руководитель демократической партии штата Нью-Йорк Патрик признал, что демократы потеряли этот штат.

После этого из Спрингфилда — столицы штата Иллинойс, где находилась штаб-квартира Стивенсона,— сообщили, что в окружении кандидата демократической партии «настроение мрачное», но что Стивенсон и его приверженцы всё же не собираются сдаваться. Комментаторы одобрили его позицию: складывать оружие действительно ещё рано. Обозреватель Митчелл напомнил, что во время президентских выборов в 1948 году газета «Чикаго трибюн» вышла около часу ночи с заголовком на всю первую страницу: «Дьюи победил!» Газета продавалась уже более часа, когда пришлось приостановить печатание тиража и заменить заголовок на «Победил Трумэн!» Подкрепляя своё утверждение, что сдаваться ещё рано, комментаторы привели сообщение из Вашингтона, в котором говорилось, что в Белом доме, то есть в окружении Трумэна, не признают ещё поражения и даже уверены в победе.

Однако положение для демократов становилось всё хуже. Штат за штатом «примыкал к колонне Эйзенхауэра». В бальном зале «Коммодора» приверженцы Эйзенхауэра от восторга ревели, плясали, пели, смеялись. Композитор Воринг, вооружившись тростью вместо дирижёрской палочки, пытался заставить всех петь: «Глори, глори, аллилуйя!» Пение возникало, но тут же прерывалось и тонуло во взрывах смеха, выкриках, воплях.

Почти то же самое происходило в это время в бальном зале отеля в Спрингфилде. Сторонники Стивенсона также плясали, смеялись, выкрикивали поздравления, торжествуя предстоящую победу. Так продолжалось здесь до начала второго часа ночи, когда появился торжественный и печальный Стивенсон. Поднявшись на подмостки, он зачитал телеграмму, в которой поздравлял Эйзенхауэра с победой. Раздались негодующие восклицания, послышались вопли разочарования и даже плач: ближайшее окружение кандидата в президенты связывает обычно с его избранием столько собственных надежд и расчётов, что его поражение для многих часто означает серьёзную неудачу. Сам Стивенсон заявил, что он чувствует себя, как мальчишка, который вырвался из прищемившей его двери: свободен, но очень больно. Несколько дней спустя он опубликовал письмо, в котором горько сетовал на двуличие американцев:

многие из них выражали сочувствие ему, а голосовали за Эйзенхауэра. Стивенсон предпочитал, чтобы они действовали наоборот.

Около двух часов ночи в бальном зале «Коммодора» снова появился Эйзенхауэр. Его сопровождали жена и брат с женой, а также большая свита из Секретной службы министерства финансов, которая несёт охрану президента. Под восторженные вопли толпы Эйзенхауэр зачитал телеграмму Стивенсона. Присутствующие продолжали кричать, свистеть, обниматься, плясать. Для сторонников и активистов избирательной кампании республиканской партии победа Эйзенхауэра означала многое: для одних — тёплое и доходное местечко в государственном аппарате, для других — кредит из государственной казны, для третьих — выгодный правительственный заказ, для четвёртых — награда, для пятых — посылка сына в высшее учебное заведение и т. д. Все сторонники республиканской партии торжествовали победу, потому что теперь они, а не демократы получали место у огромного и жирного государственного пирога, и каждый рассчитывал, что какой-то кусок или хотя бы кусочек перепадёт и ему.

#### 4. Заглушённый голос

##### *Кандидаты мира.*

За несколько дней до выборов писатель Говард Фаст, который был выставлен в качестве кандидата прогрессивной партии для голосования в конгресс в рабочем районе Бронкса, пригласил нас познакомиться с его избирательным округом. В его старой, издававшей виды машине мы отправились сначала в избирательный центр прогрессивной партии, который помещался в длинной, полутёмной комнате на втором этаже невзрачного здания на извилистой узкой улице. Как в экспедиции почтамта, здесь все столы были завалены конвертами, бандеролями, пакетами. Несколько женщин, склонившись над столами, надписывали адреса на конвертах и складывали их в мешки. Письма и брошюры рассылались избирателям. Кандидат прогрессивной партии обращался таким образом к своим избирателям, поскольку другие пути для него были почти отрезаны. Американская буржуазная печать, кичащаяся своей «объективностью» и «свободой», не дала ничего ни о кандидатах прогрессивной партии в конгресс, ни об её кандидатах в президенты и вице-президенты, ни об их программе, речах и заявлениях.

Затем мы отправились на Грэйт-Конкорс — центральную улицу Бронкса, где женщины этого района устраивали чай в честь Шарлотты Басс — кандидата прогрессивной партии в вице-президенты. Там мы послушали выступления местных активисток. Говорили они не очень умело, но искренне. Говорили, в первую очередь, о корейской войне, о жизни, которая становится всё труднее и труднее именно потому, что идёт эта проклятая война и готовится другая, ещё более страшная. Их речи сводились к одному: им нужен мир, и этот мир могут обеспечить немедленно, сейчас же, только президент и вице-президент, выдвинутые прогрессивной партией.

— Вы не должны никогда забывать, — сказала пожилая, полная женщина, обращаясь к столу президиума, — что вы — кандидаты мира...

За столом поднялась маленькая женщина с седой, почти белой головой и тёмным, почти чёрным лицом — Шарлотта Басс — и, поклонившись в сторону оратора, мягким, чётким голосом сказала:

— Мы этого никогда не забудем...

Женщины — их собралось, наверное, человек двести — подхватили эти слова дружными аплодисментами. Они понимали, что их надежды на немедленный мир в Корее, на устранение опасности новой войны, на ослабление международной напряжённости, которая тяжёлым бременем ложится на плечи трудового люда, связаны с именами деятель прогрессивной партии, с борьбой миролюбивых сил США.

Вся предвыборная работа прогрессивной партии и американской рабочей партии Нью-Йорка развёртывалась вокруг борьбы за мир в Корее. Вопрос о мире был основным на съезде прогрессивной партии в Чикаго, который выдвинул кандидатами в президенты и вице-президенты США видного адвоката и прогрессивного общественного



деятеля Винсента Холлиэна и деятельницу негритянского движения Шарлотту Басс. Съезд прошёл под лозунгом борьбы за немедленное прекращение военных действий в Корее, за устранение опасности новой мировой войны, за укрепление мира и международного сотрудничества.

Когда съезд выдвигал кандидатуру Холлиэна, его самого не было в Чикаго. Он находился в тюрьме за то, что, защищая прогрессивных профсоюзных деятелей перед судом, осмелился поставить под сомнение объективность американского суда. Холлиэна осудили на шесть месяцев тюрьмы и отказались выпустить даже тогда, когда он стал официальным кандидатом в президенты США. Вопреки обычаям и традициям, предписывающим государству обеспечивать кандидатам в президенты все возможности для ведения предвыборной кампании и даже бдительно охранять их, кандидат прогрессивной партии был посажен за решётку и тюремщики третировали его, как преступника.

От имени Холлиэна согласие на его выдвижение кандидатом прогрессивной партии в президенты США дали съезду его жена и шестнадцатилетний сын. Сын поклялся вместе с отцом бороться за мир, поскольку война грозит уничтожить прежде всего молодое поколение. Съезд встретил их заявление возгласами:

— Мир в Корее немедленно! Мир в Корее немедленно!

Этот лозунг стал основным на предвыборных митингах прогрессивной партии. Он украсил её предвыборный плакат: «Мир в Корее немедленно! Голосуйте за Холлиэна и Басс!» Этот лозунг появился на заборах, на стенах домов, на тротуарах и даже на мостовых рабочих окраин промышленных городов США. Его писали краской, мелом, углем; писали взрослые рабочие, писали мальчуганы, женщины. Его провозглашали простые люди даже на предвыборных митингах буржуазных партий. Они решительно отвергали попытки кандидатов демократической и республиканской партий интересы простого народа подчинить заинтересованности монополий в войне.

Рядовые американцы единодушно осуждали корейскую войну. Об этом они открыто говорили корреспондентам буржуазных газет, которые интересовались перед выборами настроениями избирателей. Фермер Джеймс Стринг из штата Айова заявил, например, публицисту Любеллу: «Мы должны перестать торговать кровью. Каждый знает, что корейская война поддерживает цены, но я предпочёл бы видеть падение цен, чем их поддержку войной». Рабочий автомобильного завода из Детройта сказал: «При правительстве демократической партии мы зарабатывали хорошо. Но я пришёл к выводу, что это деньги, заработанные чужой кровью. Мы готовы получать меньше, только бы кончилась корейская война». Домашняя хозяйка Юргенс из Сан-Франциско, у которой два сына в армии, заверяла Любелла, что, по её глубокому убеждению, «корейская война никому из простых людей не была нужна». Фермер Джордж Рекер из Дайерсвилла (Айова) задал вопрос: «Почему мы не можем добиться хороших времён без войны? Два моих сына ранены в Корее. Это слишком большая плата за так называемое процветание».

Именно потому, что прогрессивная партия пошла на президентские выборы под лозунгом немедленного мира в Корее — лозунгом, который разделяло абсолютное большинство американского народа, правящая клика США обрушила на прогрессивные силы страны всю мощь своего репрессивного аппарата, всю силу своей огромной пропагандистской машины. В разгар избирательной кампании правительство Трумэна произвело аресты наиболее активных деятелей прогрессивного лагеря. Оно посадило в тюрьму руководящих работников Коммунистической партии США в Нью-Йорке, во всех промышленных центрах страны, на Западном побережье. Правда, часть арестованных была выпущена на поруки, однако условия освобождения исключали возможность их активной деятельности. «Свобода» для них означала только пребывание вне стен тюрьмы, в остальном их режим мало чем отличался от тюремного. В Нью-Йорке был организован провокационный процесс над руководящими деятелями Центрального комитета Коммунистической партии, который был использован для разжигания бешеной антикоммунистической травли.

Поскольку прогрессивная партия получала активную поддержку со стороны наиболее угнетаемого и бесправного населения страны — со стороны негров и других

национальных меньшинств,— власти попытались запугать и деморализовать в первую очередь их. Против негров они состряпали два процесса: один на Юге, обвинив негра в попытке изнасиловать белую женщину, другой — в средних штатах, обвинив негра в убийстве. Оба обвинения провалились, как вздорные и вымышленные от начала до конца. Но эти процессы дали возможность буржуазной прессе вопить в течение всей предвыборной кампании об опасности со стороны негров. Газеты из кожи лезли вон, чтобы запугать американского обывателя неграми и оттолкнуть его как можно дальше от прогрессивной партии, которая находит массовую опору у негров.

Против национальных меньшинств власти обрушились самым настоящим и ничем не прикрытым террором. Министр юстиции отдал приказ, широко разрекламированный печатью, радио и телевидением, чтобы все американцы, являющиеся выходцами из других стран, прежде всего из России и Восточной Европы, и поддерживающие прогрессивную партию, были схвачены и доставлены на «Остров слёз». Без всякого суда и следствия тысячи американских граждан, проживших в Америке десятки лет, либо высылались из страны, либо оказывались в заточении на острове-тюрьме. Они не могли ни опротестовать этого приказа, ни апеллировать против него.

Разумеется, эти террористические меры, направленные против широких слоёв населения, права которых и без того сильно ограничены, не могли не запугать людей. Многие из тех, кто искренне сочувствовал программе и борьбе прогрессивной партии, боялись выразить своё действительное отношение к ней.

Вместе с тем буржуазные газеты, радио, телевидение, которые от начала до конца замалчивали предвыборную программу прогрессивной партии и её кандидатов, на протяжении всего времени, изо дня в день, травили прогрессивные силы и их деятелей. Не было такой клеветы, гнусной выдумки, лжи, которую эта печать, радио и телевидение постеснялись бы распространять о них. Их называли «заговорщиками» против существующего в США строя. Их расписывали как «конспираторов» и «шпионов» иностранной державы. Буржуазная пропаганда действовала по рецепту Геббельса — чем больше ложь, тем вероятнее, что ей поверят. Она настойчиво стремилась к тому, чтобы дискредитировать силы, которые действительно выступали за мир в Корею, действительно боролись за укрепление международного сотрудничества.

### *Митинг в Мэдисон-сквер-гарден.*

Большой предвыборный митинг прогрессивной и американской рабочей партий состоялся за несколько дней до выборов в крупнейшем зале Нью-Йорка — Мэдисон-сквер-гарден. В этом зале, похожем на огромный крытый стадион, помещается до двадцати тысяч человек. Скамьи, расположенные вытянутым кругом, поднимаются почти к самому потолку. Над ними в тот день повисли полотнища с лозунгами: «Лучшая оборона для Америки — мир!», «Все, кто зарабатывает себе на пропитание, голосуют за ряд D!» (ряд прогрессивной партии в машинах для голосования), «Мы отвергаем законы Тафта — Хартли — Смита и Маккарэна!», «За равные права! Немедленное представительство неграм!»

К началу митинга в зале собралось тысяч восемнадцать. Это были очень различные люди: и хорошо одетые интеллигенты, и чернорабочие, не успевшие сменить свои синие комбинезоны, и артисты, одетые с модной вычурностью, и пожилые работницы в пёстрых дешёвых платьях, и служители культа в чёрном одеянии, с неизменными белыми стоячими воротничками, и богемсы, энци литераторы в каких-то странных блузах с цветными шарфами вместо галстуков. Были тут и негры всех оттенков кожи, и белые, и коренные американцы, и евреи, и славяне из России, Чехословакии, Польши, Югославии, Болгарии, и мексиканцы, и пуэрториканцы, и китайцы, и итальянцы, и многие другие. По одному виду участников этого митинга можно было безошибочно судить, что вокруг прогрессивной партии объединяются в борьбе за мир и гражданские права люди самых различных социальных групп, самых различных национальностей.

Митинг начался гимном, который исполнила поразительно чистым и сильным голосом молодая негрятка. Зал стоя выслушал гимн и наградил певицу щедрыми апло-

диссидентами. Затем священник-негр прочитал молитву и произнёс краткую проповедь. После этого начались выступления. Речей было много. Председатель митинга представлял собравшимся каждого оратора. Он хвалил их, не жалея слов. Они клялись быть достойными этих похвал. Говорили все с жаром, с пафосом и доводили слушателей до крайней степени возбуждения. Восемнадцать тысяч человек то громко и одобрительно кричали и свистели, то яростно аплодировали, поддерживая требования оратора, то осуждающе шикали.

Без рекомендаций председателя выступали только руководитель американской рабочей партии Нью-Йорка Вито Маркантонио, кандидат прогрессивной партии в сенаторы Корлис Ламонт, Поль Робсон, Шарлотта Басс и кандидат в президенты Винсент Холлинэн.

После Корлиса Ламонта, выступившего со своей предвыборной речью, на трибуне появился Поль Робсон. Его встретили такими громкими и восторженными криками и таким оглушительным свистом (свист в Америке — знак одобрения), что мне с непривычки минут пять пришлось затыкать уши.

Он стоял на трибуне, немного наклонив вперёд свою большую курчавую голову, и улыбался. Затем Робсон заговорил. Говорил он о борьбе за мир, о дружбе между народами. В подтверждение своих слов о том, что все народы хотят мира и дружбы, Робсон пропел тут же песни нескольких народов на их языках, в которых говорится о дружбе.

— Нас упрекают в том, что мы меньшинство,— говорил он,— что нас мало и что поэтому мы слабы. Но мы такое меньшинство, которое выражает интересы большинства, защищает эти интересы и готово бороться за них. Сердцем и душой нас поддерживает весь народ, поэтому мы сильны, поэтому, к каким бы провокациям, травле, преследованиям и террору ни прибегали правящие круги Америки,— мы непобедимы! Они боятся нас именно потому, что с нами и за нами стоит народ.

Когда он, кончив свою речь, сошёл с трибуны, все восемнадцать тысяч участников митинга поднялись и стали аплодировать, кричать, свистеть, стучать. Так продолжалось до тех пор, пока Робсон снова не появился на трибуне. Он широко раскинул свои большие руки, показывая, что обнимает весь зал, и, улыбнувшись всем своей широкой и доброй улыбкой, снова ушёл.

Однако через минуту он опять появился на арене, ведя под руку маленькую чёрную женщину с седой, почти белой головой — Шарлотту Басс. Басс говорила о том, что борьба прогрессивной партии и всех прогрессивных и миролюбивых сил страны не кончается с окончанием выборов.

— Нет,— звонко и решительно заявила она,— эта борьба только начинается. Мы будем вести её, пока не добьёмся нашей благородной цели...

К самому концу митинга, когда уже все устали, наговорились, накричались, нашумелись и хотели скорее добраться до дома и до постели, выступил кандидат в президенты — Винсент Холлинэн. По американскому обычаю, он должен выступать на предвыборных митингах последним, скрываясь в течение всего митинга в соседней комнате. Как-то он сам, смеясь, рассказывал, что ему пришлось просидеть в закрытых комнатах в течение предвыборной кампании в общей сложности больше, чем в тюремной камере.

Винсент Холлинэн — известный сан-францисский адвокат. У него вьющиеся волосы, лоб покрыт глубокими морщинами, прямой длинный нос, упрямый подбородок. Вокруг рта у него складки не то морщи, не то внутренней боли. Глаза маленькие, запрятавшиеся под густыми бровями. Говорил он очень чётко, спокойно, убедительно, веско. Холлинэн почти избегал жестикюляции, лишь иногда поднимал указательный палец, чтобы подчеркнуть этим свою мысль. Тон у него был такой, как будто перед ним не восемнадцать тысяч слушателей, а несколько его близких друзей, с которыми он делится своими соображениями, наблюдениями, которым он хочет рассказать о своих надеждах и сомнениях.

Видимо, именно поэтому, несмотря на позднее время — было уже около часа ночи, а трудящиеся ньюйоркцы обычно ложатся около одиннадцати,— его слушали с исключительным вниманием. Поразительная для такой огромной аудитории тишина

прерывалась только громкими одобрительными аплодисментами или дружным смехом, который он время от времени вызывал, метко вышучивая лидеров республиканцев и демократов.

С предельной чёткостью и ясностью Холлинен изложил мирную программу прогрессивной партии.

— Эта программа проста и ясна,— говорил он.— Надо прекратить военные действия в Корее немедленно и добиться установления длительного мира на Дальнем Востоке, устранить причины нынешней напряжённости в международных отношениях и обеспечить условия для сотрудничества между народами, которое выгодно всем странам.

Холлинен тепло отозвался об усилиях Советского Союза в борьбе за укрепление мира и призывал американский народ поддержать требования международного движения за мир, настаивающего на переговорах великих держав. Он осудил антикоммунистическую травлю, которую широко развернули правящие круги США, и резко высмеял антикоммунистическую истерию. Холлинен закончил своё выступление обещанием:

— Борьба за нашу программу с окончанием выборов не кончается. Мы будем вести её, пока не победим!

### **„Скорпионы“.**

В самый разгар избирательной кампании прогрессивной партии в её избирательный центр в Бронксе позвонила какая-то женщина и, волнуясь, рассказала, что известная во всём районе хулиганская шайка, называющая себя «скорпионами», отправилась громить митинг прогрессивной партии на Южном бульваре. Шайка, насчитывающая человек двадцать пять молодых парней, вооружена железными прутьями, обломками водопроводных труб и резиновыми дубинками.

Избирательный центр не мог согласиться на роспуск митинга — ведь те, кто послал этих хулиганов сейчас, будут посылать их потом на каждый митинг прогрессивной партии, чтобы сорвать её предвыборную кампанию в Бронксе. Распустить этот митинг означало капитулировать перед врагом. Обращаться к полиции за помощью было бессмысленно. Хулиганы были несомненно посланы какой-то фашистской или полуфашистской организацией, имеющей связь с полицией. Полиция либо не явится вовсе, либо явится слишком поздно, либо явится, чтобы помочь хулиганам избивать рабочих избирателей. Принимать бой было также невыгодно. Несомненно, те, кто нанял и послал хулиганов, ищут повода начать против прогрессивной партии шумную клеветническую кампанию. В таких шайках бывали дети рабочих, ремесленников, низкооплачиваемых служащих. Избиение этих парней значительно осложнило бы отношения между рабочими избирателями Бронкса и кандидатами прогрессивных сил в этом районе.

Было решено встретить «скорпионов» мирно. Один из организаторов митинга вышел им навстречу за квартал от места собрания. Парни окружили его, стали угрожать, замахиваясь, явно провоцируя драку. Но он не поддавался провокации и пытался задержать их на месте. Это удалось. Парни начали спрашивать, чего он хочет от них. Воспользовавшись их вниманием, посланный коротко рассказал им, что прогрессивная партия борется за то, чтобы таким ребятам, как они, жилось лучше, чтобы они имели работу, могли учиться, кто где хочет, чтобы их не гнали на войну. Парни сначала недоверчиво посмеивались, задавали каверзные вопросы, иронически комментировали отдельные его замечания и фразы, а иногда просто бесцеремонно прерывали. Но всё же видно было, что у них пробудился интерес, они стали спрашивать и делать свои замечания всерьёз.

К тому времени, когда туда примчался Госард Фаст, на углу уже шумел второй, хотя и очень небольшой, митинг, на котором желающих высказаться было значительно больше, чем желающих слушать. Фаст решил, что эти парни, посланные, чтобы вредить предвыборной кампании прогрессивной партии, могут оказать ей пользу. Он уговорил их пойти с ним в избирательный центр. Вся ватага ввалилась в ту самую мрач-

ную комнату, которая показалась мне так похожей на экспедицию почтамта. Тут они расселись на столах, ящиках, подоконниках. Беседа с ними продолжалась три часа и закончилась поздним вечером. Уходя, ребята дружески прощались с активистами избирательного центра за руку и обещали оказывать кандидатам прогрессивной партии всяческую помощь на протяжении всей кампании. И своё обещание они добросовестно сдержали.

Они расклеивали предвыборные плакаты на таких местах, откуда их трудно было сорвать не только сторонникам демократической и республиканской партий — здесь в обычае срывать или заклеивать своими плакатами плакаты соперничающих партий, — но и полиции. Они ухитрялись писать яркие, огромные буквы призывов прогрессивной партии в таких местах — на заводских трубах, на крышах и на глухих стенах высоких домов, — откуда их можно было удалить только с помощью пожарной команды.

Боле того. Они сообщили Фасту, что их бывший босс, делец, связанный с Американским легионом, готовится разгромить избирательный центр прогрессивной партии в Бронксе. Адвокаты партии пригрозили боссу начать против него судебный процесс, что заставило его несколько утихомириться. «Скорпионы» ревностно охраняли собрания прогрессивной партии и несколько раз жестоко избивали хулиганов, пытавшихся сорвать митинги.

Я встретил вожakov «скорпионов» за несколько дней до выборов, как раз в тот момент, когда они докладывали Фасту о своей вчерашней вечерней и ночной работе — расклейке плакатов, вопреки запрету полиции. Трое парней — один крупный, даже толстый и очень неповоротливый на вид, другой, наоборот, долговязый и тонкий, третий не очень высокий, но крепкий и слишком широкоплечий для своих семнадцати лет, — наперебой рассказывали, что каждый из них сделал. Толстяк, оказывается, взобрался на крышу большой пивоварни, которая хорошо видна с Трайборского моста, и написал призыв: «Голосуйте за ряд D!» Второй наклеил плакаты на призывы республиканской и демократической партий. Третий разнёс и рассовал по почтовым ящикам двухсот квартир листовки прогрессивной партии.

Парни докладывали о своих делах с серьёзным, независимым, внешне даже как будто равнодушным видом. Но в глазах их светило столько мальчишеского хвастовства и чувствовалось такое желание, чтобы их похвалили, что похвала напрашивалась сама собой. И Фаст одобрил все их действия, вызвав на лица парнишек краску не то смущения, не то гордости.

— Что же заставило «скорпионов» из врагов прогрессивной партии стать её друзьями? — спросил толстяка мой спутник-журналист.

Толстяк сердито посмотрел на него, повернулся к Фасту, словно спрашивая, стоит ли ему разговаривать с нами. и резко ответил:

— А мы не были её врагами!

— Ну, как же, — настаивал мой спутник, — ведь вы же собирались разогнать митинг прогрессивной партии на Южном бульваре, а затем разгромить вот этот самый центр?

Разговор на эту тему и особенно последнее напоминание были явно неприятны парням.

— Ну, собирались, — угрюмо согласился вожак «скорпионов». — И что ж из этого?

— Но вас остановили и привели сюда. Что вас заставило прийти сюда?

— Вот он заставил нас прийти сюда, — кивнул парень в сторону Фаста.

— Но он же не мог силой заставить вас? Вас было двадцать пять, а Фаст — один.

— Мы сами пришли.

— А почему?

— Почему, почему! — вдруг обзлился парень. — Потому, может быть, что с нами первый раз по-человечески заговорили: и первый раз заставили задуматься над своей жизнью... Мы ведь и хулиганим от того, что ни дома, ни на улице, ни в школе никакого просвета не видим. Везде такая скука, что хоть вешайся... — уже несколько тише и спокойнее добавил он.

То ли от волнения, то ли от умственного напряжения на лбу толстяка выступил пот. Тут на помощь ему пришёл высокий паренёк.

— Мы пришли сюда просто из интереса,— сказал он, смело поглядывая то на моего спутника, то на меня.— А остались потому, что увидели, что тут работают хорошие люди и работают без всякой корысти. И ещё потому, что тут к нам хорошо относятся. И ещё потому, что тут говорят так же, как говорят у нас дома.

— И вовсе не поэтому,— вмешался в разговор крепыш.— Мы увидели, что наш бывший босс — их враг и полиция — их враг. Но ведь босс и полиция наши враги тоже! Поэтому мы решили помочь этим людям.

Высокий возразил ему, крепыш стал горячиться, толстяк тоже что-то начал доказывать им обоим. Разговор перешёл на такой быстрый бронкский диалект, что мы перестали понимать. К чему пришли спорщики, мы так и не узнали. Судя по сердитым взглядам, которые они бросали друг на друга, покидая избирательный центр, друзья остались каждый при своём мнении.

Когда они ушли, мы вопросительно взглянули на Фаста.

— Не так важно, почему они пришли к нам или почему каждый из них с риском для себя помогает нам,— сказал Фаст, разъясняя наши недоумения.— Важно то, что, несмотря на многие годы антикоммунистической клеветы и лжи, которыми буржуазные газеты, радио, телевидение пичкают население, рабочие относятся к Коммунистической партии, к прогрессивным силам с большой симпатией. В глубине души каждого рабочего и его детей лежит сознание того, что это его партия, что эти силы действуют во имя его интересов...

### *Человек у двери.*

В эти же дни мне удалось встретиться с одним из тех рядовых американцев, которые вынесли на своих плечах тяжёлую предвыборную кампанию прогрессивной партии. Встреча произошла в моей квартире, причём я не пригласил этого человека, так же как у него не было намерения встречаться именно со мною. Просто он обходил квартиру за квартирой в доме, где я жил, беседовал со всеми обитателями, убеждая их голосовать за прогрессивную партию. Впрочем, он даже не уговаривал их голосовать за ряд D, он лишь рассказывал им о программах всех партий, выступающих на выборах, и показывал, что интересы простого народа защищает только одна прогрессивная партия.

Он позвонил у моих дверей уже в сумерки. Выйдя на звонок, я увидел перед дверью невысокого, аккуратно, но бедно одетого человека лет сорока, который, вежливо сняв шляпу, просил выслушать его, добавив при этом поспешно, что он не торговый агент и не нищий. Добавление было весьма уместно. Агенты торговых фирм довольно часто врываются в квартиры, начинают быстро тараторить, расхваливая какой-нибудь товар и стараясь навязать его растерявшейся хозяйке. И, прежде чем та сообразит, в чём дело, напористый агент всучит ей вещь, которая, как правило, ей совсем не нужна. Нередки и визиты нищих. Нищие менее шумны, но почти так же настойчивы. Поэтому обитатели нью-йоркских квартир, увидев перед своей дверью незнакомого человека, стараются поскорее захлопнуть её.

— Чего же вы хотите? — спросил я.

— Ничего особенного,— ответил он.— Я хотел бы поговорить с вами о том, что в эти дни интересуется вас больше всего или, по крайней мере, должно интересовать больше всего.

— Уж не выборы ли вы имеете в виду?

— Именно. Ведь от того, как вы проголосуете, зависит, будем ли мы продолжать жить в страхе и тревоге за себя, за своих детей или мы заживём спокойной жизнью, достойной людей. Ваше будущее в ваших руках...

— Кто вы? — спросил я.

— Безработный.

— Ага, понимаю. Вас наняла какая-нибудь партия?

— Нет, никто меня не нанимал.

— Но всё же вы выступаете за какую-то партию?

— Да, я выступаю за партию, которая зовётся «американский народ».

Этот человек положительно заинтересовал меня. Я пригласил его войти и сесть. Затем предложил ему чашку чаю, от которой он не отказался, сообщив мимоходом, что он уже с утра на ногах — обходил квартиры нашего квартала. За чаем я старался выведать, кто послал его сюда, за кого он в действительности агитирует, за кого убеждает голосовать.

Человек отвечал охотно и, как мне показалось, искренне. Рассказал он и о себе. Вот уж почти два года он без работы. Работал много лет на текстильной фабрике в Квинс (район Нью-Йорка), пока её не закрыли. Хозяин забросил текстиль и подался куда-то на Запад, где ему обещали доходное дело, связанное с военными поставками. Месяца через три вернулся его сын и стал звать рабочих ехать с ним. Дело их развёртывалось там так хорошо, что местной рабочей силы им уже не хватало. Некоторые рабочие, главным образом одинокие, уехали туда, большинство же семейных осталось в Нью-Йорке — им трудно гнаться за возникающими то там, то здесь военными предприятиями.

Безработные текстильщики надеялись, что, как только кончится корейская война, их фабрика в Квинс снова заработает и они, старые потомственные прядильщики и ткачи, снова вернутся к своим станкам. Но война тянулась месяц за месяцем, год за годом, и не было видно её конца. Пособия по безработице едва хватало на оплату жилья, хлеба и самого необходимого. К тому же профсоюз уже не раз грозил отнять пособие, обвиняя безработных в том, что они не хотят работать. Безработные обычно отвечали, что они хотят работать, но не хотят на старости лет переучиваться и из квалифицированных текстильщиков становиться неопытными, неквалифицированными металлистами или машиностроителями, а то даже и просто чернорабочими на военных предприятиях.

Люди сначала выжидали, затем стали выражать недовольство. Они обратились в свой профсоюз. Там сказали, что помочь им ничем не могут, посоветовали бросить Нью-Йорк и переменить квалификацию: текстильная промышленность всей страны находилась в состоянии глубокого кризиса, число безработных текстильщиков уже давно перевалило за сотню тысяч. Надежд на новый подъём в текстильной промышленности до возвращения мирных времён у профсоюзных чиновников не было, поэтому они снова и снова предлагали безработным ткачам и прядильщикам подумать о переходе в другие отрасли промышленности.

Тогда было принято решение действовать самостоятельно. Они написали и послали президенту Трумэну петицию, подписанную всеми бывшими рабочими их фабрики и членами их семей, в которой они требовали прекращения войны. Когда началась предвыборная кампания, они собрали основные программные документы всех партий, выступающих на выборах, вместе обсудили их и решили, что они сами и члены их семей будут голосовать за ту партию, которая наверняка обеспечит окончание военных действий и мир в Корее.

— И что же это за партия, если это не секрет? — спросил я.

— Нет, это не секрет, — ответил безработный. — По нашему глубокому убеждению, это прогрессивная партия.

Однако мало самим голосовать за эту партию. Его товарищи решили всеми имеющимися в их распоряжении средствами помочь этой партии завоевать голоса других избирателей. Они договорились пойти по квартирам жителей Нью-Йорка и убеждать избирателей голосовать за ту партию, которая действительно хочет добиться мира. Мой собеседник обходил нью-йоркские квартиры уже третью неделю.

— Ну и каковы результаты?

— О результатах пока ничего нельзя сказать, — вразумительно ответил он, — результаты скажутся в день выборов.

— А каково настроение людей? Как они относятся к вашим словам, к вашим убеждениям?

— По-разному. Никто не хочет войны. Но торговцы, мелкие дельцы, даже некоторые рабочие, особенно рабочие военных предприятий — а таких сейчас много, — так вот те опасаются, что мир приведёт к новому страшному кризису, который разорит их и

оставит без работы. И всё же большинство не хочет войны, несмотря ни на какие последствия.

— Ну, а те, кто не хочет войны, несмотря ни на что, как они относятся к прогрессивной партии?

— Тоже по-разному. Одни уверены, что только прогрессивная партия может обеспечить мир, и готовы голосовать за неё. Другие верят в то же самое, но собираются голосовать за других, потому что у прогрессивной партии, по их убеждению, нет ни малейших надежд победить на выборах. Третьи верят туманным обещаниям Эйзенхауэра и готовы голосовать за него, хотя и считают, что кандидаты прогрессивной партии обеспечили бы мир более определённо и прочно.

— А вы сами? В кого верите вы?

— Я уже сказал: мы решили голосовать за прогрессивных кандидатов.

— А вы верите в то, что они добьются победы?

Мой случайный гость обиженно посмотрел на меня, словно я спрашивал, честный ли он человек, но тем же тихим и спокойным голосом ответил:

— Я верю в то, что народ добьётся в конце концов своей победы.

Он, видимо, понимал, что не отвечает на мой вопрос по существу, поэтому решил поправить, прибегнув к своего рода аллегории:

— Если человек не уверен, что ему удастся с первого же раза взобраться на вершину крутой горы, это не значит, что он не должен пытаться вылезть на неё. Наоборот. Надо лезть, даже если веришь, что взберёшься лишь на ближайший выступ, надо лезть, может быть срываться, но лезть снова и снова. Только тогда по-настоящему испытаешь свои силы, натренируешь ноги и руки и в конце концов достигнешь вершины обязательно... Разве я не прав?

Я промолчал. Но и тогда я думал и теперь думаю, что человек этот был прав. Он дал мне самое наглядное представление о характере борьбы прогрессивных и миролюбивых сил США вокруг выборов. У них было мало шансов выиграть выборы, но они верили, что вершина в конце концов будет взята, после того как американский народ достаточно натренируется в политической борьбе, которая в США не менее сложна, рискованна и опасна, чем восхождение на высокую вершину.

## 5. Восемь миллионеров и один водопроводчик

### *„Большой бизнес“ формирует правительство.*

В Вашингтон — столицу Соединённых Штатов — я приехал впервые в сумерки, которые зимою и здесь наступают рано. Тем не менее улицы вдоль главной магистрали столицы были уже пустыни. Изредка в подъездах домов, в дверях овощных и бакалейных магазинов появлялись люди. Порою мы обгоняли редкие пустые трамваи и такие же автобусы. Вокруг резиденции президента США — Белого дома — также царил тишина. Тёмные улицы, уставленные машинами, были безлюдны. Чёрные деревья шуршали листьями, которая, падая, устилала тротуары и мостовые.

После шумного, залитого огнями Нью-Йорка тишина и полумрак Вашингтона казались настолько странными, что я даже спросил своих спутников, не случилось ли чего.

— Столица ложится спать рано, — сказали мне.

Министерства и правительственные учреждения начинают работать очень рано и так же рано оканчивают работу. Президенты — обычно люди пожилые — начинают приём посетителей с восьми часов утра, и в восемь часов вечера они отправляются на покой. К десяти часам вечера весь Белый дом погружается в сон. Министры, чиновники, дипломаты, конечно, не ложатся спать так рано, но никто из них не работает в своих служебных кабинетах. Их «деятельность» переносится в гостиные, где проходят приёмы, «вечера», «чаи», «дружеские встречи», или в рестораны, где за стаканом вина агенты корпораций — лоббисты — оформляют сделки и контракты между их корпорациями и министерствами. В гостиных и ресторанах обсуждаются и решаются многие вопросы: здесь договариваются о назначениях и перемещениях, здесь скапливается, перемалы-



ается и отсюда растекается во все стороны информация о закулисных делах Вашингтона.

Мой давний приятель Эрни Стиллтон, прогрессивный журналист, с которым нас уже неоднократно сводила профессиональная судьба и с которым я встретился в первый же вечер, посоветовал побывать хотя бы в одной гостиной, где встречается вашингтонская знать.

— Нет необходимости бывать во всех гостиных и ресторанах, — говорил он, — чтобы знать, о чём судачит столица. Новости и пересуды из одной гостиной, как в сообщающихся сосудах, неизбежно переливаются во все остальные.

Однако у меня было очень мало надежд попасть за короткий срок моего пребывания в столице хотя бы в одну такую гостиную. Поэтому я начал расспрашивать моего приятеля, о чём же судачат сейчас в гостиных Вашингтона.

— Конечно, о формировании нового правительства. Жизнь большей части обитателей Вашингтона тесно связана с правительством, поэтому почти каждый хочет знать, кто будет его новым хозяином.

— Что же говорят об этом?

— Пока больше всего говорят о том, кто и как его формирует.

— Это любопытно! Надеюсь, вы поделитесь со мной новостями?..

— Ну что ж, раз сказал «а», придётся сказать и «б», — рассмеялся Стиллтон.

Вот, вкратце, что рассказал он мне.

Сразу же после выборов Эйзенхауэр, как известно, вылетел в маленький городок Аугусту, в штате Джорджия, в окрестностях которого он предполагал отдохнуть десять дней. Перед вылетом из Нью-Йорка он встретился с Льюшесом Клеем, Полем Гофманом и Гербертом Браунеллом. Эти люди, особенно Клей, постоянно бывали у него в Нью-Йорке, навещали его в Аугусте, а Клей даже летал к нему на Тихий океан, когда будущий президент возвращался после посещения корейского фронта домой.

Эти три человека, по словам моего приятеля, подтверждённым затем американской буржуазной прессой, сыграли решающую роль в формировании нового республиканского правительства.

Кто они? И почему их роль была действительно решающей?

Наиболее влиятельный из них — Льюшес Клей, которого журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» назвал однажды «Гопкинсом Эйзенхауэра», а другие журналы именовали «полковником Хаузом Эйзенхауэра», намекая на то, что Клей — не просто советник нового президента, а его вдохновитель и наставник. Сын сенатора от штата Джорджия, Клей почти одновременно с Эйзенхауэром кончил военную академию в Уэст-Пойнте, получив звание младшего лейтенанта. Но офицером он оказался посредственным и за четверть века военной службы дослужился до чина капитана. Во время второй мировой войны он ухитрился устроиться в ведомство, которое занимается снабжением армии. Клей установил контакт со всеми корпорациями, работающими на войну, и щедростью за счёт казны добился расположения их хозяев и директоров. Они оценили его усердие и поддержали его. С их помощью Клей быстро пошёл в гору и к началу 1945 года стал заместителем директора Управления военной мобилизации и реконверсии. После поражения американской армии в Арденнах Клей решительно прижал все отрасли промышленности, не работающие на войну, и открыл широко дорогу военной промышленности.

Хозяева монополий, нажившиеся на войне, наградили усердие Клея. По их воле сапёрный капитан, ни разу не бывший на поле боя, за очень короткое время превратился в генерал-лейтенанта. Монополии, имеющие свои виды на Германию, и прежде всего Морганы и Рокфеллеры, могли в этом чине послать его туда, чтобы охранять их интересы.

Клей прибыл в Германию в качестве заместителя американского военного губернатора и командующего войсками США в Европе генерала Эйзенхауэра. Но скоро Эйзенхауэр был отозван, и Клей надолго остался единственным и бесконтрольным полномочным Морганов и Рокфеллеров в Западной Германии.

Заслуги Клея перед Морганами и Рокфеллерами также были щедро отмечены. После возвращения генерала Клея из Германии Морганы приблизили его к себе. Он

стал президентом крупной корпорации «Континентал кэн», в которой, помимо Морганов, представлен капитал бостонских миллиардеров, а также братьев Лэманов и Баруха. Одновременно он получил директорские посты в корпорациях Рокфеллеров, Меллоков, Дюпонов и других. Он заслужил право быть доверенным человеком хозяев нескольких монополистических групп. Это придало ему особый вес в глазах правительства и политических партий. Его совет или приказ рассматривался и рассматривается как совет или приказ всей правящей верхушки.

Правда, Эйзенхауэра связывают с Клеем и давнишние личные отношения, но отнюдь не они играли решающую роль в том, что Клей «рекомендовал» новому президенту состав его правительства. Он передавал ему лишь волю своих хозяев. Во время формирования нового правительства самолёт Клея регулярно курсировал между Аугустой, где отдыхал будущий президент, и «Островом миллионеров», где в то время находились ведущие представители династий Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов, Лэманов, Хэнкокка, Меллонов и других. И, разумеется, не случайно каждый раз после полёта Клея в Аугусту секретарь президента по делам печати Хагерти объявлял о назначении нового министра.

Поль Гофман — глава крупной автомобильной корпорации «Студебеккер» — тесно связан с промышленными и финансовыми кругами средних и западных штатов США. Он уже давно служит Фордам, которые, подобно Рокфеллерам, не пожалели ни денег, ни личных усилий, чтобы обеспечить выдвижение Эйзенхауэра кандидатом в президенты от республиканской партии. Во время войны Гофман заботился о том, чтобы военно-промышленные концерны США получили полную долю заказов и полную долю военных прибылей. После войны Гофман возглавил Управление по реализации «плана Маршалла». Гофман рекомендовал Эйзенхауэру людей, которые представляли бы в правительстве монополистические группы средних и западных штатов страны.

Герберт Браунэлл, также оказавший большое влияние на подбор министров в новом правительстве, выступал тоже не от своего имени. Он был известен до недавнего времени как «тень Дьюи», «посыльный Дьюи». Мало кто знал, что Браунэлл — видного участника адвокатской фирмы «Лорд, Дэй энд Лорд» — братья Рокфеллеры особо приблизили к себе перед началом предвыборной кампании 1952 года. Фирма «Лорд, Дэй энд Лорд» стала всё чаще выполнять поручения этих миллиардеров. Сам Браунэлл — хороший организатор, ловкий и смелый делец — был избран ими на пост главного руководителя избирательной кампании Эйзенхауэра.

Браунэлл умело дирижировал выступлениями кандидата в президенты, его главными ораторами и литературными помощниками («писателями-призраками»). Он подчинил себе весь аппарат республиканской партии и был, по сути дела, фактическим начальником штаба всей избирательной кампании. Когда кампания кончилась, Браунэлл не сложил своих полномочий. Он продолжал оставаться в штаб-квартире Эйзенхауэра, принимая активное участие в формировании правительства. Пытаясь оттереть от государственного пирога соперничающие с Рокфеллерами монополистические группы средних и западных штатов, Браунэлл спровоцировал открытый конфликт между Эйзенхауэром и Тафтом. Вопреки традиции, требующей, чтобы назначение в правительство людей из того или иного штата совершалось с предварительного одобрения сенаторов этого штата, Браунэлл объявлял о назначении в правительство, не только не спрашивая одобрения сенаторов, но даже и не ставя их в известность. Они узнавали о назначениях, как и все, — из газет. Он посоветовал Эйзенхауэру попросить у Тафта список лиц, которых тот рекомендует в состав правительства. Получив этот список, Эйзенхауэр, по совету Браунэлла, бросил его в корзину.

Тем не менее «старая гвардия» республиканцев не осмелилась «бунтовать» против действий навязанного им руководителя партии: президент по положению является главой государства, главой правительства, главнокомандующим вооружёнными силами и главой правящей партии. Не осмелилась она восстать и против его советников. Было известно, что эти советники — Клей, Гофман и Браунэлл — лишь передают новоизбранному президенту волю хозяев крупнейших монополистических групп.

### *Кабинет денежных мешков.*

— Мне непонятно одно, — перебил я Стиллтона, — как же Эйзенхауэр назначал министров? Ведь советники-то советовали разное: один — одно, другой — другое, третий — третье...

— Едва ли это было так, — усомнился он. — Насколько мне известно, хозяева крупнейших монополий заранее договорились поделить важнейшие министерства между собой и поставить во главе их не второстепенных агентов монополий, а крупнейших их деятелей — самих миллионеров.

По словам Стиллтона, Рокфеллеры взяли себе пост государственного секретаря: их доллары прокладывают дорогу американской дипломатии и подкрепляют её — их человек по традиции возглавляет государственный департамент США. Пост министра обороны потребовали себе Дюпоны: они держат в своих руках американскую кузницу войны — их человек будет возглавлять министерство обороны. Министерство финансов пожелала взять кливлендская группа: её интересы лежат в основном внутри страны — их человек должен определять налоговую политику. Морганы согласились на это при условии, что традиционный пост специального заместителя министра финансов будет, как и во всех прошлых правительствах, передан им.

Как миллиардеры решили, так и было сделано. На пост государственного секретаря США был назначен человек Рокфеллеров и Морганов, глава адвокатской фирмы «Салливан и Кромвелл» — миллионер Джон Фостер Даллес. Более сорока лет Даллес вёл дела крупнейших корпораций и монополий. Он настолько вошёл в их доверие, что они сделали его директором пятнадцати крупных корпораций, в том числе «Международного никелевого концерна», в котором объединились интересы Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов и Меллона. Морганы назначили его директором своего «Первого национального банка Нью-Йорка». В течение долгих лет Даллес находился в тех звеньях монополий, где перекрещивались интересы американских финансистов с интересами английских, немецких, японских, испанских и других заграничных монополий. Он был своего рода связным между американскими и зарубежными монополистами. Он помогал им при заключении картельных сделок, участвовал во всех их тайных махинациях. Он, в частности, сыграл большую роль в финансировании американским капиталом немецкой военной промышленности, хозяева которой подняли Гитлера к власти, возродили вместе с ним реваншистскую немецкую армию и развязали вторую мировую войну. В последние годы Даллес помогал другим представителям Морганов и Рокфеллеров в государственном департаменте США — Бирнсу, Маршаллу, Ачесону — формулировать основы американской внешней политики.

Пост министра обороны был предоставлен человеку Дюпонов — президенту крупнейшей в США корпорации «Дженерал моторс», миллионеру Чарльзу Вилсону, по прозвищу «Чарли-Мотор», в отличие от «Чарли-Электрика» — Чарльза Вилсона, президента крупнейшей моргановской корпорации «Дженерал электрик». Как и Даллес, который начал свою карьеру клерком с жалованьем в пятьдесят долларов в неделю, а кончил миллионами, Вилсон начал свою службу у Дюпонов простым инженером «Дженерал моторс», а впоследствии стал президентом компании и миллионером. Он, правда, считает себя «бедным миллионером» (его капитал оценивается в пять-шесть миллионов долларов, а капитал его жены — «только» в один миллион) и называет себя «трудящимся человеком». Объясняя в сенате источники своих доходов, Вилсон говорил:

— Я помогал создавать богатство. Кусок его пристал и к моим рукам...

Помимо Дюпонов, Вилсон служит Морганам и Меллонам. Морганы сделали его директором «Первого национального банка Нью-Йорка». Хозяева считают его энергичным человеком, который для достижения нужной им цели не остановится ни перед чем. По их поручению ещё в 1946 году Вилсон собирал руководителей моргановских корпораций «Юнайтед Стэйт стил», «Дженерал электрик», меллоно-моргановской корпорации «Вестингауз», меллоно-рокфеллеровской корпорации «Бетлехем стил» и других корпораций, чтобы «обзудить, как выразился он, «в каком дьявольском положении мы (руководители корпораций) оказались из-за силы организованных рабочих». 10 декабря того же года он открыто выступил с требованием к правительству запретить

коллективные договоры рабочих с владельцами заводов и отнять у профсоюзов право вести переговоры от имени рабочих целой отрасли промышленности.

На пост министра финансов был назначен один из крупнейших дельцов страны и заправил в кливлендской монополистической группе — миллионер Джордж Хэмфри. Это назначение было неожиданным для очень многих. Хэмфри избегал рекламы, держался в тени, хотя, как сообщал 21 ноября 1952 года корреспондент агентства Ассошиэтед Пресс из Кливленда, «Хэмфри был лидером железной, стальной и угольной промышленности в течение четверти века». День спустя «Нью-Йорк таймс» писала, что «только лидеры знали его как действительную силу, стоящую за кулисами». Как Даллес и Вилсон, Хэмфри начал скромным адвокатом фирмы «М. А. Ханна», а кончил президентом этой, как её именует журнал «Рипортер», «великой империи железной руды, стали, угля, пароходства, искусственного шёлка и пластических масс». Кроме того, Хэмфри является президентом или директором тридцати других крупных корпораций и компаний, в том числе директором моргановского «Первого национального банка Нью-Йорка».

Пост специального заместителя министра финансов, который был введён лет тридцать назад, по предложению старого Пирпонта Моргана, только для Морганов, занял президент «Первого национального банка Нью-Йорка» Рандольф Барджес. Он будет заниматься государственными долгами, которые почти все учтены банками Морганов. Долгов набралось уже так много, что «неумелое» обращение с ними со стороны правительства может принести Морганам большой вред, а «умелое» — колоссальную прибыль за счёт казны. Поэтому Морганы хотят держать и держат уже три десятилетия это дело в своих руках.

Пост министра торговли получил один из крупнейших воротил бостонской монополистической группы — миллионер Синклер Уикс, тесно связанный как с Морганом, так и с Дюпоном. Уикс — глава Американской ассоциации предпринимательства, директор Национальной ассоциации промышленников, директор многих корпораций и банков.

Министром земледелия был назначен крупный землевладелец, видный делец сельскохозяйственных монополий — миллионер Эзра Бенсон. Бенсон всегда считал, что в США развелось слишком много фермеров. Став министром земледелия, он сразу же взял курс на то, чтобы сократить число фермеров и расчистить место для деятельности монополий.

Пост министра юстиции, который одновременно является генеральным прокурором и главой тайной полиции, взяли себе братья Рокфеллеры. Они предложили на этот пост Герберта Браунэлла. Этот владелец крупной адвокатской конторы и директор нескольких компаний не может равняться по своему богатству с Даллесом, Вилсоном, Хэмфри, Уиксом, Бенсоном, но молва также — не без основания — причисляет его к миллионерам.

Посты министров внутренних дел и почт были поручены людям Дюпона — Маккею и Саммерфилду. Оба были до тех пор крупными оптовыми продавцами автомобилей «Дженерал моторс», директорами различных дюпоновских корпораций и компаний. Оба богаты, хотя, конечно, не так, как их хозяева Дюпоны, и даже не так, как их непосредственный «босс» — Вилсон.

И только министр труда Даркин оказался не миллионером. Этого бывшего председателя профсоюза водопроводчиков и водопроводчика по профессии избрали на пост министра труда по довольно веским соображениям. Во-первых, люди, стоящие за Эйзенхауэром, рассчитывали, что назначение видного работника Американской федерации труда в правительство усилит трения между этой федерацией и Конгрессом производственных профсоюзов и таким образом помешает усилению мощи профсоюзных главварей, которые ныне часто и усердно дерутся между собой. Во-вторых, все непопулярные антирабочие мероприятия правительства будут проводиться в жизнь не каким-нибудь известным миллионером, а одним из рабочих лидеров. В-третьих, — а это, пожалуй, особенно важно — по своей реакционности Даркин вполне под стать министрам-миллионерам<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Осенью 1953 года Даркин вынужден был уйти в отставку. Ни одно из обещаний президента, данных им во время предвыборной кампании, не было выполнено, мини-

Кабинет министров — в него вначале входили девять человек — удивил политических наблюдателей и вызвал нескрываемое торжество среди промышленников, финансистов и других дельцов страны. Члены правительства, по подсчётам журнала «Марч оф Лэйбор», занимали директорские посты в 86 самых крупных корпорациях страны, основной капитал которых превышал 20 миллиардов долларов. «Главными советниками Эйзенхауэра, — с восторгом писала 23 ноября 1952 года «Нью-Йорк таймс», — будут... практичные «люди дела» — промышленники, банкиры, бизнесмены, адвокаты корпораций. Они будут задавать тон в определении политики. Это особенно будет заметно в министерстве обороны».

Один из главных агентов монополистических групп, давнишний слуга Морганов — Джэймс Бирнс не мог удержаться от восторженного словозлияния. «Это блестящий кабинет! — восклицал он на страницах реакционного журнала «Таймс». — Назначение бизнесменов на правительственные посты — прекрасная вещь! Побольше методов бизнеса в правительстве и поменьше ненужного вмешательства правительства в дела бизнеса. Прекрасная идея — иметь одного из рабочих лидеров в таком кабинете».

Журнал «Юнайтед Стэйтс ньюс энд Уорлд рипорт» писал тогда же: «Вообще говоря, правительство берут в свои руки люди, имеющие успех в бизнесе. Они занимают главные посты... Эти посты уступаются людям, которые до прихода в правительство не имели ни того дохода, ни той власти. Там будет обычная квота адвокатов, но это адвокаты первого, а не второго или третьего ранга. Промышленники займут более видное положение. Руководители бизнеса будут центральными фигурами».

Национальная ассоциация промышленников в связи с образованием нового правительства выступила со специальным обращением, в котором заявляла, что «аплодирует» ему. Торговая палата приветствовала новое правительство таким восторженно выспренным заявлением, какого от этих чёрствых торгашей трудно было даже ожидать. Биржа отметила создание нового правительства резким скачком многих акций, особенно акций военных предприятий.

— А как же американский народ? Как отнёсся он к своему новому правительству?

— У американского народа не было и нет никакой возможности выразить своё мнение, — ответил на это Стиллтон. — У него нет ни газет, ни радиостанций, ни телевизионных центров.

Он напомнил недавнее замечание корреспондента газеты «Нью-Йорк пост», который спросил случайного шофёра такси, что он думает о новом правительстве. Шофёр равнодушно ответил:

— А что же о нём думать? Восемь миллионеров и один водопроводчик...

Мы согласились, что это, несомненно, самая краткая и самая выразительная характеристика нынешнего правительства США. Фраза о «восьми миллионерах и одном водопроводчике» стала крылатой, её повторяли часто, хотя число миллионеров в правительстве резко возросло. Теперь на постах министров, их заместителей, руководителей центральных правительственных учреждений, приравненных к министерствам, появилось, по меньшей мере, ещё десять миллионеров. Миллионеры возглавили министерства: армии (Роберт Стивенс — человек Морганов), военно-морского флота (Роберт Андерсон — человек Рокфеллеров и Дюпонов), авиации (Гарольд Гальбот — человек Рокфеллеров и Морганов). Миллионер Додж — человек Дюпонов и Медлона — возглавил Бюджетное бюро.

— Когда-то Линкольн говорил, что правительство должно быть от имени народа, для народа и народа, — напомнил мне Стиллтон в заключение и добавил: — Новое республиканское правительство — это правительство от имени миллиардеров, для миллиардеров и миллиардеров...

---

старство труда было поставлено в такие условия, что оно практически ничего не могло делать. Поняв, что дальнейшее пребывание Дарвина ещё более скомпрометирует их, главари АФТ предложили ему уйти в отставку.

### *Две стороны медали.*

Вскоре после того, как Эйзенхауэр вступил в свои президентские права, мне довелось снова посетить Вашингтон. Это было в двадцатых числах января. День выдался тёплый, солнечный, на обнажённых деревьях по-весеннему гомонили птицы, задерживаться в прокуренном ресторане не хотелось, и, видимо, поэтому два знакомых американских журналиста, с которыми я обедал, охотно согласились прогуляться по Пенсильвания-авеню. Мы вышли из ресторана и направились в сторону Белого дома. Здесь было тепло и тихо. Напротив Белого дома плотники разбирали дощатый настил, на котором во время церемонии вступления нового президента в должность находились почётные гости. Звонкий стук топоров и молотков разносился далеко вокруг.

Ворота к Белому дому были открыты, и туда струйкой текли посетители — два раза в неделю часть Белого дома показывают всем желающим. Я предложил своим спутникам заглянуть туда. Белый дом был им хорошо знаком, и, по их мнению, там ничего интересного нет. Всё же они согласились сопровождать меня.

Мы прошли по галлерее нижнего этажа, увешанной портретами бывших президентов, и поднялись на второй этаж. Здесь мы мельком оглядели столовую президента, зелёную, красную и голубую гостиные и задержались в зале, где происходят торжественные акты.

— Тут, — сказал один из моих спутников, — Трумэн простился со своими министрами.

— Как же это происходило? — спросил я.

— Не очень торжественно и не очень умно. Трумэн подарил каждому свой портрет с автографом, затем объявил, что история докажет, что ни один президент США не имел таких умных и талантливых министров. После этого министр финансов Снайдер рассказал анекдот: однажды собрались три священника, выпили как следует и решили открыть друг другу свои самые тайные пороки, условившись, что услышанное останется между ними. Один сказал, что самый большой его порок — пьянство и что он никогда не мог устоять, если представлялась возможность выпить. Другой сказал, что самый большой его порок — прелюбодеяние и что он никогда не отказывался совратить свою прихожанку, если это было возможно. Третий сказал, что самый большой его порок — наушничество и что он никогда не упускал случая донести. С этими словами третий священник покинул своих собутыльников и побежал к епископу. «Я чувствую себя в положении этого священника», — сказал Снайдер, поднимаясь. Все рассмеялись и разошлись. Это был последний акт правительства Трумэна.

Мы также посмеялись и пошли к выходу. В саду Белого дома второй спутник обратил наше внимание на вереницу длинных, сверкающих лаком автомобилей. Это были все «кадиллаки», которые производит корпорация «Дженерал моторс».

— «Правительство «кадилака», — бросил один из моих спутников.

— Вернее сказать: «правительство на «кадилаках», — поправил его другой.

— Нет, именно «правительство «кадилака», — решительно возразил первый.

Он, конечно, выражался фигурально, когда говорил о «правительстве «кадилака», но был, пожалуй, прав. Действительно, в новом республиканском правительстве военно-промышленный концерн «Дженерал моторс», производящий роскошные «кадиллаки», представлен наиболее густо. «Дженерал моторс» имеет в правительстве трёх министров — обороны, внутренних дел и почт. Однако самым показательным для нынешнего подчинения государственного аппарата монополиям является положение в Пентагоне (министерство обороны США), где президент «Дженерал моторс» Вилсон стал министром, а его вице-президент Кайс — первым заместителем министра. Теперь даже знатокам вашингтонских дел трудно будет установить, где кончается «Дженерал моторс» и начинается Пентагон, и наоборот.

Концерн «Дженерал моторс» давно стал военной кузницей США. Во время второй мировой войны, как отмечала «Нью-Йорк таймс» ещё 21 ноября 1952 года, этот концерн получил от правительства на 12 миллиардов долларов военных заказов и выколотил почти три четверти миллиарда чистой прибыли. «Дженерал моторс» произвёл за годы

войны четверть всех изготовленных в США танков, броневедомостей и авиационных моторов, половину всех пулемётов и винтовок, две трети всех грузовиков и три четверти дизелей для военно-морского флота.

В годы корейской войны заказы «Дженерал моторс» и его прибыли возросли почти в пять раз. Только в одном 1952 году этот концерн имел правительственных военных заказов на три с половиной миллиарда долларов. Прибыли концерна со 175 миллионов в год во время второй мировой войны поднялись до 670 миллионов в год во время корейской войны.

Сами хозяева «Дженерал моторс», в том числе и Вилсон, который владеет акциями концерна на два с половиной миллиона долларов, уже перестали видеть разницу между интересами правительства и своими и стали рассматривать страну как часть собственной монополии. Поэтому, конечно, не случайно Вилсон, выступая в сенатской комиссии по военным делам, заявил:

— Годами я думал о том, что то, что хорошо для нашей страны, то хорошо для «Дженерал моторс», и наоборот...

С этим не могли согласиться даже послушные монополиям сенаторы. Правда, находящиеся в оппозиции демократы не решались дать Вилсону настоящий отпор. Они прибегли к робким полупризнаниям и вежливым возражениям.

— Ни одно частное предприятие,— говорил лидер демократов в сенате Джонсон,— не является более важным для министерства обороны, чем «Дженерал моторс». С другой стороны, ни одно правительственное учреждение не является более важным для «Дженерал моторс», чем министерство обороны. Тем не менее, что хорошо для одного, не хорошо для другого, и наоборот...

Когда некоторые сенаторы осмелились выразить сомнение в пригодности президента «Дженерал моторс» на пост министра обороны, Вилсон не постеснялся показать им, кто настоящий хозяин в стране. Он, правда, не решился повторить знаменитую фразу одного из братьев Дюпонов, брошенную в своё время в комиссии сенатора Ная: «Это наша страна, а не страна конгресса», но Вилсон разговаривал с сенаторами пренебрежительным и начальственным тоном и даже грубо прикрикнул на них.

— Я хотел бы сказать вам, люди,— объявил он сенаторам, называя их не «досточтимыми джентльменами», как это принято в сенате, а просто «люди», как он привык разговаривать с подчинёнными ему служащими концерна,— я хотел бы сказать вам, люди, что в стране произошли изменения. Народ (кого он имел в виду под словом «народ» — непонятно!) не боится таких бизнесменов, как я...

Сенаторы, изображающие себя перед избирателями вершителями политических судеб страны, были обескуражены и смущены поведением Вилсона — они сразу почувствовали крепкую хозяйскую руку. Разумеется, на заседании сенатской комиссии они не решились одёрнуть президента «Дженерал моторс», но в кулуарах один из них жаловался корреспонденту «Нью-Йорк пост»:

— Он разговаривал с нами, как со своими директорами...

А газета «Вашингтон пост», слышущая либеральной, не решилась на большее, как опубликовать довольно-таки туманную карикатуру, которая высмеивала то ли Вилсона, то ли сенаторов. На ней был изображён большой «кадилак», въехавший в зал сената к самому столу председателя. В «кадилаке», небрежно развалившись и положив одну ногу на руль, сидел Вилсон. За столом в испуганно-почтительной позе изогнулись члены сенатской комиссии по военным делам. Подпись гласила: «Но, мистер Вилсон, это же не принято въезжать сюда на машинах...» Влиятельные представители могущественных монополий, пришедшие в правительство, вовсе не намерены были считаться с тем, что «принято» или «не принято» в парламентской практике США. Они действовали так, как это более всего соответствовало их интересам.

Тот же Вилсон, выступая после своего назначения министром обороны на банкете, устроенном крупными дельцами в нью-йоркском отеле «Валдорф-Астория», с присущей американским лельцам саморекламой заявил:

— Наконец-то в стране найдено настоящее руководство. Социалистическая экономика отступает в сторону...

Под «социалистической экономикой» Вилсон понимал попытки правительства демократической партии помочь мелким и средним предпринимателям путём предоставления им части правительственных заказов. Он пообещал положить конец этой «нездоровой политике». И вскоре министерство обороны США, действительно, объявило, что отныне правительство будет предоставлять военные заказы только крупным корпорациям, имеющим достаточный опыт в военном производстве и располагающим современным оборудованием, квалифицированными рабочими и техническими кадрами.

Промышленники быстро сообразили, что президент и вице-президент «Дженерал моторс», получив бразды правления в министерстве обороны, намерены передать все военные заказы правительства не кому иному, как своему собственному концерну. Даже буржуазная печать, которая, захлёбываясь от восторга, описывала каждый шаг новых министров-миллионеров, нашла, что Вилсон и его заместитель Кайс хотя бы для «Дженерал моторс» слишком много. Газеты почтительно уговаривали их поделиться с другими монополиями: ведь правительственные ассигнования на вооружение так велики — теперь их накопилось 75—80 миллиардов, — что всем достанется изрядно.

На Вилсона и Кайса эти уговоры подействовали мало. Они не отказались от своего намерения передать основную массу правительственных военных заказов «Дженерал моторс» и некоторым другим крупным корпорациям, вроде моргановской «Дженерал электрик» или рокфеллеровских авиационных корпораций, производящих реактивные самолёты. Они недвусмысленно подчеркнули, что крупные монополии взяли в свои руки управление Пентагоном вовсе не для того, чтобы правительственные заказы доставались кому-то, кроме них самих.

Перспектива получения максимальных прибылей настолько сузилась, что монополистам приходится отказываться от старых методов хозяйничанья. Они не останавливаются теперь перед самыми крайними мерами, чтобы захватить в свои руки важнейший источник получения этих прибылей — военные заказы. Они рассчитывают спасти этими заказами свои монополии от угрозы кризиса и раздавить своих конкурентов. Именно поэтому Дюоны, Морганы и Меллоны послали президента и вице-президента «Дженерал моторс» руководить Пентагоном. Военное дело стало теперь для них частью их бизнеса, и они намерены сами управлять им.

### **„Сиамские близнецы“.**

Насколько крепко Дюоны держат в своих руках министерство обороны и направляют политику вооружений США, настолько же крепко Рокфеллеры держат в своих руках государственный департамент и направляют внешнюю политику страны. Подобно Дюонам, которые «не поскупились» и послали в правительство президента и вице-президента своей крупнейшей корпорации — «Дженерал моторс», а также двух её виднейших и богатейших дельцов (Маккея и Саммерфилда), Рокфеллеры послали в государственный департамент главу адвокатской фирмы «Салливан и Кромвелл» Джона Фостера Даллеса, а на важнейшие дипломатические посты — президента своего «Чэйз нэйшнл бэнк» Уинтропа Олдрича (послом в Англию) и президента банка «Диллон, Рид и К°» Дугласа Диллона (послом во Францию). Кроме того, директор их «Шредерсовского банка», созданного специально для связей с Германией, — Аллен Даллес — стал начальником Центрального разведывательного управления, которое играет большую роль в проведении американской внешней политики, а зависимый от них издатель журнала «Форчун» Чарльз Джексон стал главным советником президента по вопросам так называемой «холодной войны», которая ныне является существенной частью американской внешней политики.

Братья Даллесы удостоились особого доверия Рокфеллеров и Морганов не случайно. Они долгое время действовали в той сфере (Западная Европа и Германия особенно), которая ныне интересует Рокфеллеров и Морганов больше всего. Через банк Шредера, в котором Аллен был директором, а Джон Фостер — членом правления, братья Даллесы помогали Рокфеллерам и Морганам восстановить немецкую военную промышленность, привести Гитлера к власти и подготовить вторую мировую войну. В 1924 году Аллен Даллес принимал участие в разработке плана Дауэса, который с помощью аме-



риканского капитала облегчил и ускорил восстановление немецкой военной промышленности. После он поддерживал постоянные тесные связи с крупными немецкими промышленниками. Это помогло ему во время второй мировой войны установить контакт с правящими кругами Германии, которые пытались предотвратить разгром гитлеровской Германии путём заключения сепаратного мира с западными союзниками. Возглавив европейский филиал американской разведки, который находился тогда в Швейцарии, Аллен Даллес благословил немецких промышленников и военных «убрать» Гитлера и тем самым открыть дорогу для сговора между ними и правящими кругами США и Англии.

Тесные связи с немецкими монополистами и активное содействие подъёму нацизма в Германии заставили братьев Даллесов занимать перед второй мировой войной ярко выраженную прогитлеровскую позицию. Когда в США стали раздаваться требования обуздать Гитлера и помешать ему начать войну в Европе, Джон Фостер Даллес выступил «идеологом» так называемого американского «изоляционизма». Он призывал не мешать Гитлеру, Муссолини и японским милитаристам проводить свою политику. Проповедуя в 1939 году «изоляционизм», Даллес говорил: «Только истерия выдвигает идею, что Германия, Италия и Япония готовят войну против нас». В своей книжке «Война, мир и изменения» он назвал немцев, итальянцев и японцев предвоенного времени «динамичными народами» и требовал ревизии международных договоров, которые мешают их «динамизму».

После войны связи Рокфеллеров и Морганов с Западной Германией стали ещё теснее. Американский капитал фактически захватил сейчас основные отрасли западногерманской промышленности. Используя дешёвую немецкую рабочую силу, американские монополисты наживаются в Западной Германии не меньше, чем в колониях и полуколониях. Рокфеллеровско-моргановский банк «Диллон, Рид и К°» служит ныне главным каналом американского финансирования западногерманской военной промышленности.

Внешняя политика США направлена на то, чтобы не только сохранить господствующие позиции американских монополий в Западной Германии, но и распространить их на всю Германию, на соседние с нею страны. Известно, например, что старания американской дипломатии создать германо-французский угольно-стальной концерн продиктованы тем, что банк «Диллон, Рид и К°» вложил в это дело огромные средства. Этот концерн, с американским управляющим за кулисами, должен помочь американским монополиям поглотить и поставить себе на службу всю экономику европейских стран. Совершенно не случайно Рокфеллеры выбрали для проведения этой политики братьев Даллесов. От успешного проведения этой политики зависит не только рост прибылей Рокфеллеров и Морганов, но и рост личных доходов братьев, которые вдвоём являются директорами почти тридцати корпораций и компаний, имеющих в большинстве своём международные интересы.

Не случайно также и то, что один из братьев возглавил государственный департамент, то есть дипломатию, проводящую внешнюю политику американских монополий открытыми средствами, а другой — Центральное разведывательное управление, то есть правительственный орган, проводящий внешнюю политику США подпольными, тайными средствами. Американская дипломатия ныне настолько переплелась с разведкой, что теперь, видимо, даже сами американцы за границей не могут установить, кто из них дипломат, а кто разведчик, кто дикпурьер, а кто диверсант. В отношении стран социалистического лагеря подрывная деятельность, провокации, шпионаж, диверсии стали основными методами американской внешней политики.

Такая «дипломатия» по душе обоим братьям. Аллен Даллес — профессиональный разведчик-диверсант. Во время войны, работая в Бюро стратегической информации, он увлекался преимущественно организацией крупных диверсий. Несмотря на ничем не примечательную и довольно скучную внешность учителя колледжа, Аллен Даллес склонен, как утверждают его биографы, к риску, смелым шагам и авантюризму. Джон Фостер Даллес занимался разведкой только в ранней молодости, во время первой мировой войны. Однако задолго до того, как стать государственным секретарём, он неустанно пропагандировал диверсии, шпионаж, провокации и все другие виды подрывной дея-

тельности в качестве решающих методов «положительной дипломатии» США. Он призвал устраивать побег недовольных из стран демократического лагеря и после специальной подготовки забрасывать в качестве диверсантов на их бывшую родину.

Под стать им и их главный помощник — заместитель государственного секретаря, бывший начальник Центрального разведывательного управления, Бэделл Смит. Этот военный по званию и дипломат по служебному положению почти всю свою сознательную жизнь занимался разведкой, независимо от должности, которую он занимал. В 1950 году Смит возглавлял Центральное разведывательное управление, и, как писал о нём «Нью-Йорк таймс мэгэзин» 1 марта 1953 года, он руководил «собственным департаментом грязных дел, который занимался подпольным аспектом американской внешней политики». Смит настроен резко антисоветски и антирусски вообще. Он горячий поклонник лорда Пальмерстона, вдохновителя и организатора антирусской коалиции в середине прошлого века. Изречения его он любит приводить к стати и не к стати. Выступая в сенатской комиссии по иностранным делам, Смит высказался за проведение «жёсткой политики» в отношении Советского Союза. «Она должна быть динамичной, — говорил он, — и должна означать именно то, что подразумевается под термином «решительная оппозиция». Расшифровывая термин «решительная оппозиция», он призвал к развёртыванию подрывной деятельности против Советского Союза. «Я знаю русских людей, — хвастливо заявлял он сенаторам, — они не хитрее других. Я знаю, их можно заставить работать друг против друга».

Эту «тройцу» вполне дополняет главный советник президента по вопросам «холодной войны» — Чарльз Джексон. Как Аллен Даллес и Бэделл Смит, Джексон долгое время работал в американской разведке и занимался организацией диверсионной и подрывной работы. Ему поручено сводить воедино диверсионные и подрывные планы различных министерств и учреждений и докладывать их президенту, чтобы получить его высокое благословение. Джексон, кроме того, обязан заботиться о том, чтобы всячески прикрывать пропагандистской ширмой неблагоприятную деятельность американских официальных органов, ведущих подрывную, диверсионную и шпионскую работу. Он даёт американской печати, «Голосу Америки» и другим органам пропаганды указания, какую кампанию вести, как преподнести американскому и международному мнению «успехи» или провалы американской дипломатии и разведки.

Так миллиардеры проводят в США внешнюю политику, и проводят её методами и средствами, наиболее удобными для осуществления своих авантюристических замыслов.

*(Окончание следует)*



---

---

# ДНЕВНИК ИСКУССТВ

ГАЛИНА УЛАНОВА

★

## ШКОЛА БАЛЕРИНЫ

**Н**ет, я не хотела быть балериной. И хотя первое посещение театра потрясло моё воображение, я совсем не испытала того безудержного стремления попасть в этот «волшебный мир сцены», которое приводило на подмостки так много артистов.

Конечно, первым спектаклем моей жизни был балет. Отец — режиссёр балетной труппы Марининского театра — взял меня на «Спящую красавицу». Всё было бы хорошо, если бы при появлении феи Сирени я вдруг не закричала на весь зал: «Это мама! Это моя мама!..» Конфуз был страшный, но я так и не могла понять, почему все сидевшие в артистической ложе были так шокированы. Ведь это была правда: фею танцевала моя мама, и она была так хороша, так нарядно одета, так красивы были все её движения, что мой наивный восторг был как нельзя более объясним: пусть все знают, что эта сказочная волшебница не чья-нибудь, а именно и только моя мама!

Так театр впервые вошёл в моё сознание в самом дорогом, в самом понятном для меня образе — таком живом и тёплом, что до сих пор, думая, например, о «Спящей красавице», я раньше всего вижу свою первую фею Сирени, а уж потом других исполнительниц и свои собственные выступления в этом и других балетах.

Но к ним лежал долгий путь школьных лет и артистической юности. Историей суждено было, чтобы в самом начале этого пути совершился величайший социальный переворот... Как смутное, но непреходящее воспоминание, встают в моей памяти обыск в нашей квартире летом 1917 года, тяжёлый топот патрулей, а потом рдеющие знамёна революции и её первые выстрелы — провозвестники рождения свободы.

Она по-новому озарила цели и задачи искусства, и нам выпала честь внести свою лепту в формирование советского театра, балета советской эпохи. Однако понимание этих почётных задач советского артиста и его ответственности перед народом пришло уже в пору зрелости, а тогда, на заре нового дня нашей Родины, мне едва исполнилось семь лет — возраст, в котором не может быть понимания не то что исторических событий, а даже собственного призвания.

Вероятно, от этого неумения понять своё жизненное назначение «я горько плакала со страха», когда меня «ввели в семью чужую» петроградской хореографической школы. В этом была насущная необходимость не только потому, что надо же мне было где-то учиться. В те трудные годы мои родители очень много работали: помимо почти ежедневных спектаклей, они должны были выступать трижды в вечер перед сеансами в кино. Тогда, чтобы приблизить искусство к народу, лучшие артисты академических театров давали бесплатные концерты в кино. Я помню, как меня — продрогшую, засыпающую — через весь завьюженный и холодный город отец нёс на руках с этих выступлений. Родители должны были брать меня с собой, потому что дома за мной некому было присмотреть.

Я помню маму — замёрзшую, плохо гнущимися пальцами снимающую валенки и завязывающую ленты розовых балетных туфель; помню, как в холоде закулисной каморки, за киноэкраном, она надевала блистающую воздушную пачку и с улыбкой появлялась на эстраде. Я видела, как ей трудно, как это всё утомительно, и, наверно, поэтому, когда мне сказали: «Будешь учиться танцевать, как мама», — я решительно заявила: «Не хочу!» И всё-таки я оказалась в школе и её интернате — другого выхода не было.

Но на первом же уроке я бросилась к маме, когда она — наш педагог — пришла в класс, и категорически потребовала взять меня домой. Так было не однажды, пока мама не пообещала выполнить мою просьбу к Новому году. Я обрадовалась, успокоилась и... незадолго до вождленной даты поймала себя на мысли, что мне не хочется бросать школу и её интернат. Здесь у меня уже были друзья — Таня Вечеслова и другие девочки; здесь я училась у мамы и других хороших педагогов; здесь, хотя мне было очень нелегко освоить экзерсис у палки, я уже чему-то научилась, и впервые испытанное удовлетворение ребёнка, увидевшего результаты своего труда, рождало к этому труду интерес и уважение.

Мне уже нравился самый ритм нашей работы, её музыкальность, каждодневная последовательность упражнений. Мне льстило, что меня с Таней и другими девочками выбрали из многих первоклашек для участия в настоящем спектакле Академического театра оперы и балета. Правда, «участие», пожалуй, слишком громкий термин для тех нескольких «ползающих движений», которые мы, избравшие божьих коровок, должны были делать в балете Дриго «Капризы бабочки».

Тем не менее этот «дебют» уже дал первое ощущение сцены, и первый испуг перед чёрной бездной зрительного зала, и первую радость от сознания, что всё, слава богу, сделано правильно, в согласии с музыкой и счётом, преподаанным тебе ещё в классе. Потом пришла и «первая роль»: то была птица в «Снегурочке» Римского-Корсакова. Нам были понятны сюжет сказки и события, происходившие на сцене. Мы теснились вокруг красавицы Весны, и стеклянная капля звуков музыки рождала ощущение прохлады и первого веяния тепла...

В этих «ролях» был, конечно, элемент детского восприятия своих задач на сцене: я верила или, во всяком случае, очень легко представляла себе, что я — божья коровка или весенняя птица... В детстве эта вера давалась очень просто. И как жаль, что эту детскую веру в происходящее на сцене, за которую всю жизнь ратовал Станиславский, так трудно сохранить впоследствии и приходится так много, порой так мучительно работать, прежде чем удастся «войти в образ» и поверить в него так глубоко, чтобы заразить этой верой и зрителя. Да, в какой-то мере мои тогдашние «роли» были и игрой ребёнка, верящего своему воображению больше, чем действительности. Но раньше всего это была моя работа, моя прямая обязанность сделать то, что мне поручили, возможно лучше. Я должна сделать то-то. Для этого я должна заниматься, готовиться, работать так-то. Я должна... Эта формула в моём сознании появилась куда раньше, чем стремление к творчеству, чем желание играть и танцевать на балетной сцене, чем понимание своих задач в каждой роли.

И этим развитием чувства долга я всецело обязана советской школе, самому близкому для меня примеру родителей, неутомимых тружеников балетного театра.

Танец требует огромного, каждодневного труда. Даже летом, на отдыхе, всё равно надо заниматься. И я довольно рано поняла, что только труд может создать лёгкость, красоту и вдохновенность танца. Впрочем, я никогда не любила этих пышных слов: они всегда казались мне очень приблизительными, даже далёкими от сути нашей работы. Но уж если надо объяснить истоки мастерства, то лучше всего сослаться на Горького: талант — это работа. Кажется, так.

И ведь, в сущности, о том же говорил тридцать лет назад Станиславский молодым актёрам МХАТ перед выпуском спектакля «Битва жизни»: «Обывателю кажется, что самый «радостный» труд — это танец прима-балерины в «Дон-Кихоте» или «Лебедином озере». Он не знает, сколько должна отдать сил, внимания, труда Екатерина Васильевна Гельцер, чтобы подготовить своё знаменитое «па-де-де» в этих балетах, и как она выглядит у себя в уборной после такого танца. Пот льёт с неё в семь ручьёв, а в душе она упрекает себя за малейший пропущенный нюанс... Да, «радость творчества» существует и приходит к подлинным художникам после громадного труда в любой избранной и свято любимой ими области, когда они достигают поставленной себе высокой цели».

Слова «высокая цель» (как и другие в приведённой выдержке из его беседы) подчеркнуты Станиславским. Именно и только в высокой цели и её достижении — смысл искусства. Но в те годы, когда росла и училась я, ещё никому и в голову не приходило

говорить об этом с артистами балета. Даже выйдя из школы, мы были предоставлены самим себе и в идейном и в творческом отношении. Дай сцене то, чему тебя научили в школе. Работай! Вот и всё наше тогдашнее несложное «кредо».

Правда, работа не только физическая — не только работа рук, ног, корпуса. Конечно, работа и ума и сердца — работа мысли — играет далеко не последнюю роль в том, что делает артист балета. Но и эта работа мысли начинается не сразу, развивается постепенно, под влиянием не только, а быть может, не столько театра, музыки, либретто и режиссуры — всего того, что тебя окружает с детства, со школьной скамьи. Мысль артиста обретает самостоятельность, смелость, широту лишь с накоплением жизненного опыта и наблюдений вместе с постижением самой великой науки — науки жизни... Но об этом-то значении знаний, «опыта быстротекущей жизни» я постараюсь рассказать потом, вместе с описанием моей «взрослой школы». А сейчас, говоря о годах ученичества, я прежде всего вспоминаю долгую, беспрестанную, упорную и «нудную» работу — в самом примитивном понимании этого слова, — работу рук, ног, корпуса — работу у балетного «станка», у палки.

Было бы непростительным самообманом, если бы сейчас, спустя столько лет, я представляла свою юность как сплошное подвижничество в труде. Отнюдь. Сколько раз, уже окончив школу, уже став взрослой и самостоятельной, я, чуть не плача, становилась по утрам, в дни летнего отдыха, к ненавистой палке и, точно ворочая жернова внутреннего сопротивления, начинала извечный экзерсис. О, как я тогда ненавидела этот ужасный балет, это, по выражению одного поэта, «наше злое искусство»! Как мне хотелось (особенно если дело было летом, возле моего любимого Селигера) плюнуть, бросить всё и вместе со всеми убежать на озеро, взять байдарку и самой грести и плыть, плыть по сверканью воды, под синью неба, среди шушанья камышей.. Но какой-то противный, невидимый голос настойчиво повторял: «Занимайся! Занимайся! Ведь если ты не станешь заниматься, ты будешь ничем, у тебя не будет даже профессии, ты будешь никчёмной балерипой... Надо, надо работать!»

И — странное дело: проходило всего несколько минут, я едва успевала сделать свои первые упражнения, и, точно сдвинув наконец эти тяжелейшие жернова, я испытывала чувство какого-то блаженного облегчения. Сознание, что я осталась верна своему долгу, устояла перед соблазном прогулки, давало мне прямо-таки тщеславное удовлетворение. И наступал миг, который я очень любила, — когда я понимала, что долг мой выполнен: я «отзанималась» положенное время и теперь заслуженно, с утроенным удовольствием целый день могу наслаждаться свободой и, сев в свою байдарку, догнать всю компанию...

Вот это чувство долга по отношению к своей профессии, к своим занятиям, привычка к ним остались у меня на всю жизнь и во многом определили выпавшие на мою долю действительно радостные успехи.

Однако, даже окончив школу, я была далека от той хореографической техники, когда она из диктатора, держащего балерину в плену вечного страха ошибиться в движении, превращается в помощника столь верного, что его никто не замечает: ни публика, ни даже сама балерина.

Смутно вспоминая свой выпускной спектакль — исполнение заглавной партии в «Шопениане» и дебют в театре в столь памятной для меня «Спящей красавице» (Флорина), — я должна сказать, что была далеко не так технична, как мне бы того хотелось.

Как и полагается дебютантке, я вышла на сцену ни жива ни мертва. То, что у меня получалось на репетиции, не вышло на сцене. Я танцевала, стараясь изо всех сил, а меня относил куда-то в сторону... Никаких мыслей, никаких ощущений, кроме страха и стремления сделать всё только так, как тебя учили.

Даже заглавные партии, даже такую роль, как Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», которую мне, восемнадцатилетней балерине, доверили через четыре месяца после дебюта, я исполняла без глубокого понимания образа. И так было не первый год в театре, а в течение целых пяти-шести лет! Первые годы в театре ушли на то, чтобы включиться в его жизнь, отойти от привычек и ритма школьницы, физически окрепнуть и обрести ту профессиональную свободу, которая так нужна балерине.

К. С. Станиславский писал об идеале пластичности, к которому должен стремиться всякий артист: «Есть танцовщицы и драматические артисты, которые раз и навсегда выработали в себе пластику и не думают больше об этой стороне физического действия. Пластика стала их природой, свойством, второй натурой. Такие балерины и актёры не танцуют, не играют, а действуют и не могут этого делать иначе, как пластично».

Это — идеал. К нему надо стремиться всю жизнь, стремиться действительно, хотя бы в процессе той же ежедневной работы. И тогда пластика если и не станет «второй натурой», обязательно станет органичной и естественной, так как войдёт «в плоть и кровь» моих привычек, моих движений на сцене. Я не знаю таких счастливых — балерин и танцовщиков, — которые могли бы «совершенно не думать об этой стороне физического действия» — о технике танцевальных движений. А если такие баловни Терпсихоры и есть, то я, увы, не отношусь к их числу. Всегда, всю жизнь думала я и думаю на каждом спектакле о том, что надо делать такие-то движения, и чем они труднее — тем больше отнимают сил мысли о том, что вот сейчас их надо сделать... В сотый и пятисотый раз танцую Джульетту, я всё равно буду внутренне готовиться к самым сложным па адажио первого или третьего акта.

Всё дело в том (для меня, по крайней мере), чтобы владеть техникой с максимальной свободой, чтобы превратить её в силу, благодаря которой ты можешь выразить главное: беспредельность чувства, захлестнувшего сердце Джульетты, смятение, порыв, любовь Одетты... Нужно владеть техникой, по меньшей мере, так, чтобы публика не видела, не подозревала, что ты внутренне готовишься к сложным па; так, чтобы ты их выполняла легко и точно, достигая той чёткости и ясности линий, которые отличают рисунки больших художников-графиков.

Красоту и человечность чувства героини балета можно выразить, только владея техникой. Пусть не так, чтоб уж «не думать о ней» вовсе (это — идеал, начертанный Станиславским правильно, но идеал, повторяю, к которому можно и нужно стремиться, но которым я, скажем, ещё не овладела), но хоть так, чтобы сделать всю эту технику, всю нашу «кухню» незаметной для публики.

Говоря о технике, я имею в виду не только чёткость и виртуозность движений (то, что обычно называют «блестящей техникой балерины»), но и балетную технику в широком смысле слова: здесь и пластика танца, и общение партнёров на сцене, и музыкальность, понятая не как ритmicность (она — необходимое свойство всякого грамотного танцовщика), а как умение выразить содержание музыки танцем. Чем больше душа балерины будет заполнена чувством, которым проникнута музыка композитора, чем ближе к идеалу будет техника балерины, тем завершённое будет тот образ, который увидит зритель.

Когда спустя пять лет со дня начала моей работы в театре мне привелось исполнить Лебедь в новой постановке А. Я. Вагановой, эта роль получила для меня особый смысл. Уже несколько лет исполняя Одетту-Одиллию, я сейчас по-новому подошла к этой роли, потому что она следовала за такой работой, как Мария в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева.

Этот балет, о котором я расскажу ниже, принёс в мою работу так много нового, так глубоко раскрыл мои задачи на сцене — сделал их настолько «человечней», что после него уже невозможно было попрежнему исполнять старые партии.

Маша в «Шелкунчике», Аврора в «Спящей красавице», Комсомолка в «Золотом веке» Шостаковича, Раймонда, Сольвейг, Царь-девица — вот мои роли тех лет. Роли немаловажные, но многие из них показались мне теперь попросту неинтересными, бессодержательными, а роль Лебеди словно осветилась новым светом.

Прошедшие годы обогатили меня не только профессионально. Множество жизненных наблюдений, раздумий не только над балетной, но и над симфонической и оперной музыкой, музыкой Чайковского, книги подсказали мне, что образ этот необычайно глубок. Сама музыка раскрывалась передо мной как-то заново, и порой мне казалось, что я слышу её впервые, — такие чарующие танцевальные, поэтические «открытия» сделала я для себя в партитуре на этот раз. Мне очень много дала работа с Вагановой — взыскательным и беспокойным художником, стремившимся по-новому прочесть

«Лебединсе озеро». Меня — балерину, актрису — она обогатила неизмеримо и за одно это (не говоря уже о других её бесчисленных заслугах перед нашим балетом) я на всю жизнь сохраняю благодарную память об Агриппине Яковлевне.

Огромную роль в моей жизни именно в тот период сыграла встреча и дружба с семьёй Тиме-Качаловых — людей прекрасной души и большого сердца, артистов в самом истинном и широком смысле этого слова.

Мы встретились в Эссентуках, куда я приехала лечиться. Как ни юмористически это звучит теперь, но, ей-богу, может быть, славой балерины лирического склада я отчасти обязана своей тогдашней прозаической болезнью: я слишком быстро уставала, мне всегда хотелось двигаться возможно менее порывисто и резко, я редко улыбалась, мало бегала и прыгала. Кроме того, от природы я была очень застенчива. Вот так, быть может, и выработалась мягкость движений и линий, которые мне не раз ставили в заслугу и начало которых (как знать?) было вовсе не во мне, а в том, что привело меня в Эссентуки. Но раз этот кавказский городок свёл меня с такими замечательными людьми, то и ему я благодарна.

Елизавета Ивановна Тиме, актриса Ленинградского Академического театра драмы имени Пушкина, и её муж, инженер, профессор Николай Николаевич Качалов, начали с того, что подняли на смех мою болезнь и потребовали, чтобы на оставшиеся у меня после курорта свободные две недели я уехала с ними на озеро Селигер. Их заразительная жизнерадостность, открытая сердечность и благожелательность подействовали на меня прямо исцеляюще. С Селигера, где мои новые друзья как-то совсем по-иному заставили меня понять и полюбить ликующую красоту природы, где, по слову шуточного стихотворения, мне была «байдарка — милая сестра», где я, вопреки медицинским противопоказаниям, ела свежий хлеб и пила парное молоко, я вернулась преобразённая: поздоровевшая, весёлая, жадная до работы.

Как часто после спектакля, прямо из театра, я уходила теперь к Тиме, где всегда собиралось много народу, остроумного, жизнелюбивого, вечно спорящего об искусстве. Его любили глубоко и по-настоящему, без позы и аффектации — так, как только могут любить люди, для которых искусство — не забава, а дело всей жизни. Здесь всегда было шумно и оживлённо. Здесь всегда было много артистов, художников, поэтов и никогда не появлялось и тени отвратительного тона богемы, которую лишь безнадежная пошлость и каботинство могут отождествлять с искусством. Атмосфера духовного артистизма, интеллигентности и чистоты всегда царила в этом приветливом доме.

В нём я узнала Корчагину-Александровскую и Студенцова; Юрьева и Толстого; Певцова, Горин-Горяинова и Вивьена... В нём меня, не уча, но менторствуя, научили понимать прелесть и смысл драматического театра, и, хотя тут не было длинных разговоров о Станиславском и его «системе», я поняла важность игры естественной и яркой, без которой театр перестаёт быть театром.

Мне часто говорили: обязательно посмотри такой-то спектакль. И я послушно это делала, зная наперёд, что, когда меня потом заставят объяснять, что и почему мне понравилось или не понравилось, я извлеку из этого разговора для себя, для своего искусства бесценную пользу.

Елизавета Ивановна — сама выдающаяся драматическая актриса — страстно любила балет. И не было для меня минут дороже, чем те, в которые она, всегда необычайно бережно и критично, ничего своего мне не навязывая, «разбирала по косточкам» моё последнее выступление — мои промахи и удачи.

Вначале я многого не понимала. Слишком уж прочны были хореографические привычки и каноны, и, когда мне говорили: «Надо бы, Галя, сделать танец драматичнее, выразительнее», я спрашивала: «А как я это сделаю?!» И тут мне рассказывали о том, что происходило в душе Лебеди, — рассказывали такое, чего я сама ещё не подозревала; объясняли мне, почему на последнем спектакле моя Жизель оставила равнодушной... Но если я повторяла: «Я ж не умею по-другому! Ну как я сделаю то, что вы хотите? Меня ж этому не учили!» — мне отвечали: «Не знаю как. Ты сама, глядя на драматических артистов, раскрывающих те же чувства, сообрази с возможностями выражения их танцем. Надо, чтобы ты больше над этим размышляла и, главное, возможно сильнее и глубже переживала сама судьбу Лебеди или Жизели...»

Иногда такие разговоры велись как бы между прочим. Иногда к ним присоединялись все собравшиеся, и разгорался спор о средствах сценической выразительности, такой жгучий, что мне, старавшейся запомнить каждую мысль или тут же опровергнуть её, казалось, что вот тут, сейчас, я и пойму самое главное. И я, действительно, поняла, что все сценические искусства имеют одни истоки: подобно драматическому артисту, балерина, приступая к новой роли, должна прежде всего обдумать её, найти в ней главное и главному подчинить второстепенное. Я поняла, что, как бы ни была совершенна форма внешнего рисунка роли, она будет холодна и пуста, если её не заполнит мысль. Но при этом драматическому артисту легче: владея формой, он иногда, даже ничего не чувствуя, может выразить многое, так как в его распоряжении живое слово, часто гениальный текст. У нас же ничего, кроме музыки и безмолвного движения, нет. Значит, мы должны научиться мысль выражать движением так ясно и убедительно, чтобы танец заменил слово.

Как это сделать? Ни одна книга по балету, ни один артист балетного театра не давали (и не дают) ответа на этот вопрос. А между тем история оставила немало примеров такого хореографического творчества, которое было выразительно, как живой язык. Ведь если Пушкин сделал бессмертным имя Евдокии Истоминой, то уж, наверно, не за то, как она «быстрой ножкой ножку бьёт», а потому, что она позволяла увидеть «русской Терпсихоры душой и исполненный полёт»... Вот это и было главным. Душа — мысль, настроение, стремление к прекрасному, возвышенность чувств человека — вот что умели, очевидно, передать в своём танце Мария Тальони и Анна Павлова, да и многие русские балерины, которых довелось видеть мне и на искусстве которых я училась сама. Их танец, действительно, был выразителен и ясен, как речь... А как они этого достигали, как этого достичь нам?

Никто не отвечал мне на этот вопрос прямо. И до сих пор я убеждена, что на него и нельзя ответить с точностью рецепта. Да, у нас есть набор простейших движений, которые можно сравнить с буквами алфавита, с азбукой. Да, из этой азбуки можно составить разные «слова» и «фразы», образующие танец. Но ведь и из настоящей азбуки можно составить слова прекрасной поэмы и бездарных виршей... И как нет рецепта создания истинно поэтических стихов, так нет и не может быть рецептуры создания яркого, одухотворённого мыслью и чувством, то есть ясного, хотя и безмолвного, но прекрасного искусства танца.

Конечно, поэт должен знать не только азбуку, но и грамматику и синтаксис родного языка. Он должен владеть им свободно, во всех тонкостях и нюансах. То же — и артист балета. Но как безупречное знание языка — лишь предварительное условие для творчества поэта, так и безупречное владение своей техникой — своей «азбукой» — есть непременно, но лишь предварительное условие нормальной работы артиста балета. А что же является не предварительным, а основным условием превращения «нормальной работы» в искусство?

Много лет спустя на последней странице книги Станиславского «Работа актёра над собой» я прочла заключительные строки: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам — экзерсисы, а сценическим артистам — тренинг и муштра по указаниям «системы». Захотите крепко, проведите такую работу в жизнь, познайте свою природу, дисциплинируйте её, и, при наличии таланта, вы станете великим артистом».

«При наличии таланта»... А талант — это работа. Так что же, замкнутый и порочный круг? Не думаю. Не думаю, чтобы надо было с точностью математического закона формулировать понятие «таланта». Да, это и работа, и не только сама по себе работа, её процесс, но умение работать, любовь к труду, потребность в нём. Да, это и умение чувствовать, думать, учиться и по книгам и общаясь с самыми разными людьми, видя в каждом его драгоценное индивидуальное человеческое начало — благородное и сердечное. Это — умение наблюдать и накапливать жизненные впечатления, обращая их на пользу своего дела, своего искусства. Да, это и ещё нечто такое, для характеристики и объяснения чего у нас нет ещё ясных и точных слов, но что, тем не менее, существует реально и объективно. Я не вижу ничего страшного в том, что это «нечто» ещё не расшифровано, не объяснено, не вычислено на логарифмической



линейке. Я думаю, что если эта работа и будет когда-нибудь проделана — талантов от этого не прибавится.

Мне же кажется, что каждый человек — талант. Всё дело только в том, чтобы своевременно этот талант раскрыть, объяснить человеку его призвание... Будет время — талантов станет появляться (мы стоим у истоков этого процесса) всё больше и больше во всех сферах жизни. И в балете, конечно. К этому идёт...

...Нет, я не отвлеклась от рассказа о том, что помогло мне научиться думать о своём искусстве, выражать его средствами мысль и чувство. Конечно, тогда, в тридцатых годах, я не думала всего того, что сказала только что. Но именно тогда, два десятилетия назад, под влиянием всех событий окружающей жизни, к которой я начинала относиться более вдумчиво и сознательно, под влиянием Тиме, среды советской художественной интеллигенции, развилось во мне умение размышлять и о том, чему посвящены предыдущие абзацы. И в этих размышлениях я находила пищу для углубления своего искусства.

Порой разговоры и споры у Тиме затягивались до глубокой ночи. И однажды, весной, после такой беседы Ю. М. Юрьев повёл меня смотреть город, который, мне казалось, я знаю, как свои пять пальцев. Но разговор с Юрьевым, его тихий, живой, увлечённый и увлекающий рассказ мгновенно доказал противное, заставив меня подумывать, как относительно представления человека о его собственных знаниях.

Я не представляю себе человека, который знал бы Петербург, Петроград, Ленинград так, как этот великий артист. Мы ходили по улицам, фантастичным и лёгким в неверном свете белой ночи, и каждое здание словно начинало дышать и жить в рассказах моего спутника. Вот здесь было собрание, решившее поворот истории; тут собирали драгоценные скульптуры; там заседала масонская ложа; в этом саду росли все экзотические цветы мира; а вот дом, где так любил бывать Пушкин...

Вот всё это вместе — бурлящая и разноликая советская жизнь, встречи и разговоры у Тиме, общение с большими и взыскательными художниками — и дало мне ту «взрослую школу» (всё бывшее в годы хореографической учёбы и первые пять лет в театре я называю «детской школой»), которая ввела меня в круг больших театральных интeресов и глубоких образов. Это была очень правильная школа: жизнь, живой творческий опыт балетного и драматического театра, общение с людьми выдающегося таланта обогащали меня неизмеримо, подводя к новому решению уже исполнявшихся партий Лебеди и Жизели и как бы готовя к решению ещё более сложных задач в Джульетте и Тао Хоа...

Когда же в те первые месяцы знакомства с Тиме-Качаловыми я готовила «Лебединое озеро», всё окружающее представлялось мне освещённым этой работой. Всё, что я видела, читала, слушала, воспринималось мной «сквозь магический кристалл» этого балета и моих задач в нём. Для меня Одетта была образом вечной женственности, трогательности и благородства. Как должен был проявиться этот образ во мне?

Здесь уместно вспомнить, что в той постановке главная партия была поделена на две. Одетта — сказочная Лебедь, и Одиллия — реальная и коварная... Мне надо было исполнить первую. Причём, по новому либретто и замыслу балетмейстера, Одетта в действительности была лебедем и лишь Зигфриду она показалась девушкой. Поэтому мне надо было искать какие-то движения то настоящей птицы, то кажущейся девушки.

Но дело было не в технике этих движений, хотя овладеть ими и было очень трудно. Моя Лебедь должна была рассказать не столько о терзаниях души, сколько о трепетном томлении первого девичьего чувства, о его святости, убеждённости и всепоглощающей силе. И я не знаю, удалось ли бы мне это сделать, если бы не всё узнанное в эти годы в моей «взрослой школе», если бы не всё то, что я узнала и передумала в доме Тиме-Качаловых, в среде друзей, живших успехами, ростом, печалью и радостями молодой советской театральной культуры.

Весь процесс её становления, весь ход развития советской хореографии приводил к углублению её образов, к появлению новых тем. Идеинный рост нашей хореографии, приобщение к ней широчайших народных масс, их взыскательная требовательность к театру, к балету действительно звали на сго сцену образы более содержательные и

значительные. От ультрареволюционных «Красных вихрей» и ультраиндустриального балета «Болт» мы шли, иногда путём мучительным, полным исканий, срывов и подлинных находок, к новым, поэтичным и реалистическим спектаклям. Впервые на балетную сцену пришла большая литература и новая тема. Пушкин и Бальзак.. «Утраченные иллюзии», «Красный мак», «Пламя Парижа».. А для меня лично раньше всего и прежде всего Пушкин с его «Бахчисарайским фонтаном».

До новых советских балетов (я имею в виду их лучшие образцы, а их было немало, есть много и будет, конечно, ещё больше) музыка, за исключением гениальных балетных страниц во многих классических операх, произведений Чайковского, Глазунова и нескольких западноевропейских композиторов, преследовала одну цель: она должна была помогать танцу, отмечая его ритмические акценты. Музыка надлежало быть «дансантажной» — танцевальной, удобной для балерины. Удобство музыки для танца — дело великое. Но если вся «идейная нагрузка» музыки исчерпывается её «дансантажностью», — где уж тут воссоздавать «жизнь человеческого духа» на балетной сцене!

А ведь и там должен воплощаться этот великий завет Станиславского. Иначе зритель не будет жить чаяниями и думами героев балета. Они попросту будут неинтересны народу. Ведь тот, для кого балет создаётся в наше советское время, ни за что не удовлетворится пусть тысячу раз блестящим, но пустым, развлекательным зрелищем. В красивую и изящную форму классического танца должно быть вложено новое содержание — вот как мы понимаем требования народа, и это понимание рождалось в нас два десятилетия назад, когда среди исканий, ошибок и радостных находок формировалась и утверждалась советская хореография, которая и по сей день находится в непрерывном движении, в непрестанных поисках.

Советская хореография начиналась с музыки, и в одном том, что не музыка подготавливалась к задаче создания набора технически блестящих танцев, а балетмейстер и артисты исходили из идеи музыки, уже был залог того, что содержание балетов станет глубже, а у исполнителей появятся серьёзные сценические задачи, органически вытекающие из музыкальных характеристик героев.

Новь пришла в балетную музыку: она соединила в себе мысль и действие, и это помогло сделать танец не только действенным, но и полным мысли. Танец ставился не ради милого мотива вальса или галопа, а ради выражения идеи и чувства.

Такая музыка могла уже характеризовать не только образы сказочных персонажей, мир бесплотной мечты, но реальный мир живых людей с их живыми страстями. И композитору Асафьеву это удалось в «Бахчисарайском фонтане». Точные музыкальные характеристики Марии, Заремы, Гирея; живописность музыки — глубокой и удобной для танца одновременно, — вот что знаменовало новизну балетного театра, его «измену» нимфам и дриадам — существам, быть может, и очаровательным, но никак не мыслящим...

Конечно, и в старом русском классическом балете были не только феи и принцессы с их блестящими вариациями, а и мысль, и душа, и идея. Они наличествовали во многих спектаклях, особенно когда в них участвовали выдающиеся артисты, создавая всемирную славу нашему балету не только как технически непревзойдённому зрелищу, но и как искусству, несомненно, одухотворённому. Однако господствующей фигурой, если можно так выразиться, в «императорском балете» была танцовщица — сильная, техничная, блестящая, от которой прежде всего требовалось, чтобы она «радовала глаз...»

Вероятно, поэтому покинула родину Анна Павлова. Её дарование не могло уместиться в рамках старого, закостеневшего в штампах и традициях балета, где бездумье «нимф» и «дриада» глушило мысль и живое человеческое чувство.

И только в наше время человек — во всём многообразии своих эмоций и поступков — оказался куда более достойным занять центральное место на балетной сцене. Это неизмеримо усложняло задачи хореографического театра. Но ведь и эпоха наша куда сложнее, глубже, интереснее.

Новая идеология побеждала и в этой, едва ли не самой консервативной, области искусства. «Всё в человеке, всё для человека!» — эта основополагающая идея советского

гуманизма, идея веры в человека, в его силу, красоту, волю к борьбе за счастье — стала девизом современного балетного театра.

До этого язык балета был не только условен (условность эта осталась и останется впрямь), но и часто совершенно беспомощен: самый танец ничего, как правило, не выражал. Танец сменялся пантомимой, объяснявшей всё, что в танце происходило. Затем опять следовал танец и опять пантомима. Не знаменательно ли, что именно обращение к реализму Пушкина — певца человека — ломало это правило решительнее, чем все наши попытки сломать его в новых постановках старых балетов? «Бахчисарайский фонтан», поставленный в 1934 году в Ленинградском Академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова, явился, думается, с этой точки зрения, этапом в росте нашей хореографии.

Постановщик Р. В. Захаров и мы, исполнители, в работе над «Бахчисарайским фонтаном» старались найти правду человеческих отношений, без которой немислимо раскрытие пушкинского замысла, невозможно воссоздание чудесных образов поэта. Играя в произведении Пушкина, нельзя показывать танец «вообще», сам по себе танец, который можно перенести в любой другой балет, написанный на любые другие мотивы, заменив, может быть, только костюмы исполнителей. Нет, его нужно индивидуализировать, сделать его органически свойственным только Марии или, допустим, только Зареме. Наполнить его нежной грустью для одной или ревнивой страстью для другой. Построить танец на движениях плавных, ускользающих или порывистых и страстных — в зависимости от того, какое состояние героини должен он выражать в данный момент.

Так нам удалось решить «диалог» Марии — Заремы. В этом танце мимически выражались чувства обеих женщин, и никакая пантомима уже ничего не должна была «объяснять» — танец всё рассказывал самостоятельно. Так же действительно были решены и сцена объяснения Марии с Гиреем, и её монологи — воспоминания о родине, о близких, и танцы Заремы.

Как и над другими своими любимыми партиями, я до сих пор продолжаю работать над образом Марии. К уже найденным чертам Лебеди и Жизели Мария прибавила большую человечность, большую жизненность образа. И если вначале он был окрашен всего лишь одной основной краской — печалью, то с годами моя Мария как будто оживает. Более сложным становится рисунок роли, более многогранным характер героини. Находятся для неё и краски радости, юности, жизни, выраженные в танце первого акта... Я люблю свою партию в «Бахчисарайском фонтане» за то, что поэзия Пушкина нашла своё выражение в музыке и танце, создавших тонкий и волнующий спектакль.

Пушкинская Мария заставила многое пересмотреть в моих прежних партиях и сыграть их заново. Это сказалось и на такой, например, роли, как Жизель. В ней мне надо было показать любовь реальную, радостную в первом действии, трагичную — во втором, но в обоих актах любовь живую, сильную настолько, что она побеждает злую волю Мирты и самую смерть. В этом, а не в истории простушки, соблазненной богатым феодалом (как это думают люди, склонные вульгаризировать «Жизель»), смысл балета.

Работая над Жизелью, поставленная перед необходимостью найти образ «простой девушки», я инстинктивно, как и в Марии и во всех спектаклях после «Бахчисарайского фонтана», искала то магическое «если бы», которое перенесло бы меня в трагедию Жизели и заставило поверить в неё настолько, чтобы в неё поверила и публика.

Так новое осмысление всех предыдущих партий приблизило меня и к Джульетте.

Как в Марии «Бахчисарайского фонтана», я должна была идти от музыки. Содержательность музыки — то драгоценное, что дали советские композиторы нашей хореографии, — мелодия, раскрывающая духовный мир героев, была для нас главным в выборе танцевальных и выразительных средств.

В музыке Прокофьева было много неожиданного, непривычного, «неудобного» для танца, — частая смена ритмов, например, затрудняла исполнителя, мешала ему. Помню, когда все мы — участники, авторы спектакля, композитор — собрались после первого представления, я даже не могла удержаться, чтобы не сказать: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете...» Но это была шутка, а серьёзным было другое: ещё более полное, чем в «Бахчисарайском фонтане», слияние мысли и действия

и, при всей новизне и современности звучаний, удивительное соответствие балета Прокофьева трагедии Шекспира. Я думаю, что тут-то и скрыта причина успеха этого спектакля, секрет его неувядаемой свежести.

Но когда почти пятнадцать лет назад я приступала к этой работе, она казалась мне непосильной. Чем больше я думала о её задачах, тем неразрешимее они мне казались. Ведь в этой героине надо было раскрыть вечную, общечеловеческую тему, которую можно выразить словами Данте: «Любовь, любить велящая любимым...» Дело ведь было не в том, чтобы воссоздать быт, а в самой теме. А она куда шире темы вражды Капулетти и Монтекки.

У всех народов есть незабываемо трогательные легенды, предания и поэмы о несчастной, всепоглощающей любви, которой мешают внешние обстоятельства, бесильные, впрочем, любовь заглушить и уничтожить. Ромео и Джульетта. Ферхад и Ширин. Лейла и Меджнун. Абессалом и Этери... Это всё одна тема, и её надо было обобщить и воплотить в шекспировских образах, с шекспировской полнотой. Где было взять для этого силы? В работе.

Джульетта — образ предельной конкретности, по-шекспировски красочный, живой, и мне надо было добиться, чтобы он не утратил ничего в этом смысле. Сам Шекспир подсказал мне беспечность первых сцен, удивление и смятение бала, восторг первого свидания, целомудренную чистоту свадебного обряда, мужественное преодоление страха смертного ложа... Внешний облик я искала в портретах Возрождения, в женских образах Боттичелли: разве *grapevaga*, весна — не сама Джульетта?

Прокофьев своей сильной и своеобразной музыкой, такой близкой нашему восприятию и в то же время столь созвучной Шекспиру, — музыкой, содержащей такие ясные, яркие характеристики, что они диктовали нам выразительность, смысл наших действий, движений, — требовал: можно, нужно поступать так и только так, как говорит, как велит музыка. Это очень облегчало нам определение характера танца. Но ведь и его надо было создать, сочинить из той небольшой «азбуки» известных балетных движений, которой мы располагаем.

Балетмейстер Л. М. Лавровский поставил спектакль, отвечающий музыке и содержанию трагедии.

Готовя эту постановку, мы много экспериментировали. Нам помогало то, что уже несколько лет мы, учаь на своих же спектаклях драматическому мастерству балетного актёра, приобрели кое-какой опыт, который и давал нам смелость поставить на балетной сцене одно из величайших творений Шекспира.

Вечно живое, оно живёт на сцене, всё время обогащаясь, развиваясь, всё время требуя современного осмысливания. «Свежими и нынешними глазами» смотрим мы на Шекспира сегодня, и этот взгляд отличается от вчерашнего, а завтра он, наверно, опять изменится. Спустя несколько лет, уже работая в Государственном Академическом Большом театре, где возобновлялся лучший балет Прокофьева, я как бы заново задумывала свою героиню: она казалась озарённой всем опытом моей жизни, годами только что победно завершившейся войны.

В Джульетте увидела я волю необыкновенной силы, способность и готовность бороться и умереть за своё счастье. Отсюда новый, обострённый драматизм сцены с отцом — отказ стать женой нелюбимого Париса — и та решимость, отчаяние и мужество, которые я стремилась выразить в танце... Я увидела в новой Джульетте такие духовные качества, которые в других условиях повели бы шекспировскую героиню на подвиг общенародного значения.

В этой Джульетте я хотела, я чувствовала настоятельную потребность показать человека, близкого нам по духу, в какой-то мере нашу современницу. Трагедия, написанная четыреста лет назад, должна была прозвучать современной темой в балете, должна была восприниматься как новый балет.

И тут я должна сделать оговорку. Под новым балетом я, всячески приветствуя современную тему, отнюдь не разумею лишь прямое «отображение сегодняшнего дня». Эта задача для нас актуальна, но вряд ли разрешима легко и просто — «в лоб». Новое в искусстве, а значит и в балете, — это всё, что созвучно нашему миропониманию и нашим стремлениям, что помогает нашей борьбе и приближает наши великие победы.

Поэтому нам так дороги и близки Пушкин, Бетховен, Шекспир, Леонардо да Винчи... Поэтому мы говорим, что необыкновенно расширился горизонт тем и сюжетов для балетов: от событий гражданской войны до восстания римского гладиатора Спартака, от борьбы за мир в Италии до философских поэм Низами, от героизма матросов крейсера «Аврора» до жизни колхозной молодёжи — всё, всё доступно выражению языком новой хореографии, и всё это должно прийти, уже приходит на нашу сцену.

И когда мы ставили балет «Ромео и Джульетта» в Москве, он воспринимался нами как произведение современное. В этом восприятии немалую роль сыграло всё пережитое и пережитое в годы войны.

Артист живёт, накапливает жизненные наблюдения и впечатления, редко задумываясь над тем, что они ему понадобятся для работы вообще и, тем менее, для какой-нибудь конкретной роли. Но вот эта роль получена. Она отвечает твоим внутренним устремлениям, твоим художественным мечтаниям. И «вдруг» оказывается, что всё, что было с тобой перед этим, словно специально готовило тебя именно к этой любившейся роли. Все воспоминания, встречи, разговоры, случайные мысли и сравнения, прочитанные книги словно приходят в движение, начинают бродить в тебе и выкристаллизовываться именно в тот единственный сейчас для тебя образ, с которым познакомила новая роль. Так было и с моей новой Джульеттой, которой многое «подказали» годы войны.

Дело, разумеется, не в каких-то более или менее прямых ассоциациях. Дело, наверно, в том, что, подобно тысячам и миллионам простых советских людей, чья честь, достоинство, возможность заниматься любимым делом были спасены трудовым и ратным подвигом народа, я почувствовала себя связанной со всем народом так тесно, как никогда.

Я увидела сплочённость народа и его подвиг. Я увидела, как самоотвержен советский человек и как действительна его любовь к Родине. С полной отдачей себя, всех своих нравственных и физических сил жил он в те дни. И эта жизнь научила меня новыми глазами взглянуть на мою первую послевоенную роль — роль Джульетты — и придать ей те черты мужества и решимости, которые раньше были не так выявлены.

И мы, артисты, жили одной жизнью с народом, чувствуя, что мы нужны ему, быть может, больше, чем прежде.

В городах Молотове и Алма-Ате — за тысячи вёрст от кровопролитных боёв — сберегалось и лелеялось наше искусство. Гремели пушки, а музы не молчали: они несли народу радость высокого наслаждения театром. Не проходило дня без подтверждения того, что театр безмерно дорог сражающемуся народу. И я, как и многие другие артисты, часто получала письма с фронта. Писали люди незнакомые, но неизменно дорогие мне потому, что благодаря их усилиям, мужеству, храбрости была сохранена наша страна, было сохранено искусство.

Мне писали и ленинградцы, фронтовики, которые ещё до войны видели меня на сцене и помнили балеты, в которых мне довелось выступать. Никогда мне не забыть письма, полученного в городе Молотове, где работал театр имени Кирова во время эвакуации. Мой корреспондент писал, как в каком-то домике, в деревне, откуда только что выбили фашистов, «я нашёл вашу фотографию в роли Одетты из «Лебединого озера». Фотография в нескольких местах прострелена, но бойцы забрали её себе, и, пока мы на отдыхе, у дневального появилась дополнительная обязанность: вступая в дежурство, сменять цветы, которые ежедневно ставятся возле этой фотографии. Ваш Алексей Дорогуш».

Я рассказываю всё это не только и не столько для того, чтобы признаться, как приятно и трогательно было такое внимание, внимание людей, каждую минуту готовых ринуться в бой, быть может, на верную смерть, и всё же помнящих о театре, об искусстве. Я говорю сейчас о том, как приходит ощущение кровной, нерушимой связи с народом, своего неоплаченного долга перед ним, перед каждым солдатом, с такой нежностью хранившим память о радости, полученной некогда в театре.

До сих пор меня не перестаёт поражать, волновать и радовать это благоговейное восприятие нашими людьми каждого концерта или спектакля. Как, чем, какими стараниями должен ответить артист на такое отношение к его искусству?

В дни войны в зале Московского Большого театра большинство зрителей были военные. Приехав на день в Москву, они во что бы то ни стало стремились попасть в театр. И в этом было такое несомненное доказательство высоты духовной культуры, чистоты и возвышенности народа, воинов Советской Армии, что над этим нельзя было не задуматься: для них надо было создавать искусство новое, по-новому передумывать то, что уже было сделано прежде.

Я вспоминаю свои выступления специально для советских воинов, когда, как в Молодове, театр иногда целиком отдавали в их распоряжение. Как восторженно и благодарно принимали они артистов!

Я вспоминаю сейчас, как десять лет назад, в 1944 году, в Ленинграде, в Аничковом дворце, на маленькой, импровизированной эстраде выступали мы перед ранеными бойцами. Это очень волновало. Так, как редко бывает даже на залитой огнями сцене в Большом театре...

Нет, я не отвлекаюсь, рассказывая об этих славных, поистине незабываемых годах Великой Отечественной войны. Дело ведь не в прямом отношении того или иного события, событий войны в частности, к той или иной конкретной роли. Дело в тех близких или далёких, прямых или косвенных ассоциациях, «подсказах» жизни искусству, которые обогащают, углубляют и облагораживают его.

Именно в годы войны я больше всего думала о современности искусства, о том, каким оно должно быть, чтобы ответить устремлениям нашего народа — труженика и солдата.

Жизнь учила меня любить мой народ всё больше.

Когда я впервые в 1945 году, поехала за границу и увидела плачевное положение театра в Австрии, я не могла не вспомнить свою страну, которая сумела даже в дни самых страшных битв не только сохранить свой театр, но и приумножить его славу.

В 1949 году я участвовала в конгрессе итальянских женщин в защиту мира. Меня потрясли контрасты этой страны — роскошная природа и вопиющая бедность простого народа. Люди, едва прикрытые лохмотьями, высохшие и почерневшие от голода; рахитичные, трахомные, никогда не улыбающиеся дети; рабочие, дрожащие за свой кусок хлеба, потому что их предприятия вот-вот могли быть закрыты «по плану Маршалла»; бывшие певцы и музыканты Ла Скала, выступающие в неаполитанском ресторанчике и собирающие по столикам себе на пропитание; углекопы-дети, работающие на шахте, где нет подъёмников, и доживающие только до 15—16 лет... И рядом — сверхроскошь, наглая и неприличная роскошь отелей для американцев... Дети, умирающие от авитаминоза в стране винограда, апельсинов и оливок; мужчины и женщины, бастующие, чтобы не разгружалось американское оружие, распространявшие в те дни газету «Унита», несмотря на угрозу жестокой расправы... Сотни, тысячи простых людей, взвращенных на советских граждан с молитвенной преданностью и надеждой, — могут ли такие впечатления остаться безразличными для душевной жизни, для работы советского артиста?..

Когда я год назад была в Китае и видела, как велика сила примера созидания и трудового героизма советских людей, как свята и нерушима дружба двух наших могучих стран, это не могло не обогатить мою душу советского человека и советской актрисы.

И опять-таки дело не в каких-то прямых связях полученных впечатлений и танца: что вот, мол, побывав в Китае, я как-то по-другому стала танцевать мою Тао Хоа — героиню балета Глиэра «Красный мак»... Нет, я танцую её попрежнему. Но я лучше гонимаю её народ, больше его люблю, и какие-то его живые черты, которые я близко наблюдала, помогают мне показать их со сцены с большей достоверностью, сделать образ шире и ярче.

Это была роль, о которой я давно мечтала, — роль героического плана, где лиризм сливался бы с доблестью и отвагой дочери народа. То была Тао Хоа — Красный мак, имя девушки, ставшее названием балета.

Новые задачи и новые трудности подстерегали меня в этом балете. Было в высшей степени ответственно и сложно показать нашему народу — другу и брату народа китайского — отважную и нежную, трепетную и мужественную героиню борющегося Китая!

Внутренне образ китаянки был подготовлен предыдущими партиями, той же Джульеттой. Но Тао гибнет ради того будущего, которое она уже представила себе и в которое поверила. И хотя жизнь Тао приходится на двадцатые годы, хотелось придать ей сегодняшние черты. Образ должен был постепенно и жизненно убедительно развиваться и находить своё логическое завершение в самопожертвовании, в героическом подвиге во имя народа. От смутной веры в то, что Ма Ли-чен и его друзья бьются за правду, до сознательной борьбы за свободное будущее Китая — вот путь Тао. Она умирает улыбающаяся, потому что знает: после неё народ будет жить счастливо.

И после того, как я увидела таких живых и мужественных, как Тао, китаянок, после того, как я узнала и ещё больше полюбила этот народ, мне, конечно, стала ещё ближе и дороже эта роль.

После «Мака» мне всё больше хочется пробовать свои силы в других народно-героических ролях. Такие образы, как Жанна д'Арк или наша бессмертная Зоя, манят меня неудержимо, как и множество образов классической литературы и нашей живой действительности.

Всё то, что я искала и нашла в партиях Лебеди и Жизели, Марии, Джульетты и Тао Хоа, — лиризм, целомудрие, мужество, вера в человека, в его разум и волю, — разве не эти черты определяют душевный облик нашего современника? Разве качества советского гражданина, бесстрашного борца за мир и справедливость, его большое сердце, скромность, самоотверженная любовь к Родине, — качества, с которыми нас на каждом шагу сталкивает жизнь, не могут, не должны быть воплощены в балете?

Конечно, создать такой балет нелегко. Да и вообще балет — трудное искусство. Но ведь без труда не будет ни хлеба, ни машин, ни стихов... Искусство требует труда и труда всей жизни. Перефразируя известные слова И. П. Павлова, можно сказать, что если бы нам было дано две жизни, то и их следовало бы отдать искусству, и при этом их бы всё равно было мало...

Что ж, я не думаю, чтобы эта истина, известная всякому художнику, остановила его. Если он художник — композитор, либреттист, артист балета, — он всеми силами души, всеми выразительными средствами, имеющимися в его распоряжении, будет всю свою жизнь стремиться к созданию новых балетов.

Это трудно, конечно. Но тем благодарнее и благороднее задача!



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. МАШИНСКИЙ

★

## УКРАИНСКИЕ КЛАССИКИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

**Л**учшие русские писатели всегда поддерживали развитие украинской литературы. Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов, Тургенев и Писарев содействовали успехам Шевченка, Марко Вовчок, Федьковича, помогали их произведениям прорываться через царскую цензуру и доходить до русского читателя. В «Отечественных записках» появились переводы произведений Квитки-Основьяненко, Гребёнки. В «Современнике» Некрасова и Чернышевского печатались переводы произведений Шевченко. Марко Вовчок выступала на страницах «Русского слова» Благосветлова и «Отечественных записок» Некрасова и Щедрина. Впоследствии Горький, Короленко, критики-«правдисты» горячо поддерживали и пропагандировали творчество Михайла Коцюбинского, Ивана Франко, Леси Украинки, Василя Стефаника.

Ещё в царское время Горький положил много труда для популяризации национальных литератур различных народов России, в частности литературы украинской. «Я питаю влечение, род недуга к литературе Украины», — признавался он. Но только после Октября могла осуществиться его давняя мечта о том, чтобы все значительные произведения каждой национальной литературы нашей Родины стали достоянием культуры всех народов Советского Союза.

Произведения любой национальной литературы, переведённые на русский язык, становятся доступными колоссальной читательской аудитории не только нашей страны, но и всего мира — в первую очередь стран народной демократии. Это делает перевод украинских классиков на русский язык чрезвычайно важной задачей для наших литераторов. Издание украинских классиков в русских переводах непрерывно

расширяется. За последние годы вышли в свет собрания сочинений Тараса Шевченко (в пяти томах), Ивана Франко (в пяти томах), Михайла Коцюбинского (в трёх томах), Леси Украинки (в трёх томах), Панаса Мирного (в четырёх томах), Павла Грабовского (в одном томе), Василя Стефаника (в одном томе).

Эти издания свидетельствуют не только о возросшем интересе читателей всего Советского Союза к украинской классической литературе, но также о росте переводческого искусства и качества научного, историко-литературного аппарата.

Новые издания отличаются от прежних гораздо большей полнотой. В них помещены ранее не переводившиеся повести И. Франко «Столпы общества», «Пути-дороги», драмы Л. Украинки «Одержимая» «Кассандра», «Осенняя сказка» и другие, много стихотворных произведений И. Франко, Л. Украинки, П. Грабовского.

Разумеется, ещё далеко не все выдающиеся создания украинской классики переведены на русский язык. В пятитомнике Ивана Франко не представлена достаточно полно его драматургия, в частности нет замечательной драмы-сказки «Сон князя Святослава», посвящённой теме единства Руси. Из драматургии Леси Украинки русскому читателю всё ещё остаются неизвестными такие произведения, как «Оргия» — одна из поздних и самых значительных вещей украинской поэтессы. Не переведены также драматические поэмы «Вавилонский плен» и «На руинах», драматический этюд «Йоганна, жена Хусы». Из громадного литературного наследия И. Франко поныне не переведены многие его поэмы («Похороны», «Поэма о белой сорочке», «Сатни и Табу-



бу» и другие), большие прозаические циклы — например, «Сказки и сатиры», «Русины», множество стихотворных произведений. Не вошла в пятитомник и политическая публицистика И. Франко, без которой творчество украинского поэта-революционера не может считаться представленным всесторонне.

Ещё не всё обстоит благополучно с выбором произведений для перевода. Это особенно касается отбора лирических произведений — в тех случаях, когда переводятся не все стихи, а избранные, как, например, в трёхтомнике Л. Украинки, в пятитомнике И. Франко.

Приходится встречаться с такими странными явлениями: из книги стихов, задуманной как единый, органически цельный цикл, составитель произвольно отбирает для «Избранного» те или иные стихотворения. И вот такие разрозненные, искалеченные «циклы» порой кочуют из одного издания в другое.

Покажем на одном примере, к каким последствиям приводят подобные операции. Сборник Ивана Франко «Увядшие листья» имеет подзаголовок: «Лирическая драма». Сложный и тонкий психологический конфликт развивается в нём от стихотворения к стихотворению, как от одного акта драматического произведения к другому. Между тем составители русского собрания сочинений И. Франко разрушили сюжетное единство сборника, исключив из него отдельные (притом далеко не всегда более слабые) стихотворения.

Так же разрушены циклы И. Франко «Вольные сонеты», «Тюремные сонеты» или циклы Л. Украинки «Невольничьи песни», «Мгновенья», «Осенние песни» и другие. В первом томе сочинений Л. Украинки, где представлена её лирика, почему-то вырваны из циклов и разбросаны среди других стихотворений «Ты не умрёшь» и «Осенний плач, глухой напев» — из цикла «Осенние песни»; «Хочешь знать», «Бывало, обойду», «Тёмная туча» и другие — из цикла «Мгновенья».

Нельзя ничем объяснить, почему в собрании сочинений И. Франко нет стихотворений «Разговор в лесу», «Поединок», «Песня будущего», «Незрячие головы» и ряда других, в том числе сонета с упоминанием о чтении романа Чернышевского «Что делать?»:

...В дні юності, в дні щастя і любові  
Читали ми «Что делать?» і розмови  
Йшли про часи будущі, певідомі.

Из произведений Леси Украинки следовало бы включить в собрание сочинений поэмы «Лунная легенда», «Якутская поэма», стихотворения «Народ к пророку», «Дьявольское наваждение», ряд стихотворений, пропущенных в циклах. Недостаточно представлена интимная лирика Леси Украинки; между тем её лирические стихи чрезвычайно характерны для творческого облика поэтессы и написаны с подлинным художественным блеском.

Огромное значение имеет качество переводов, особенно стихотворных.

Перевод стихов Шевченко — задача необычайно сложная. Поэтому особенно примечательны успехи в этой области. Несомненными творческими удачами нужно признать мастерски выполненные переводы поэм Шевченко — «Катерина» (перевод М. Исаковского), «Мария» (перевод Б. Пастернака), стихотворений «Тяжко, тяжело жить на свете» и «Как умру, похороните» (перевод А. Твардовского), «Думы мои, думы мои», «Юродивый», «Горы мои высокие» (перевод А. Суркова), «И богата я» (перевод А. Прокофьева), «Муза» (перевод М. Рылского), «Исайя. Глава 35» (перевод П. Антокольского).

Правда, вызывает сомнения обычай, по которому к переводу одного автора привлекается большое количество переводчиков; это неизбежно создаёт стилистическую разногласию. Далеко не все переводчики умеют передать интонацию переводимого автора — как известно, самое трудное в искусстве перевода. Вместе с тем даже наиболее талантливым поэтам-переводчикам не всегда удаётся сдерживать проявление своих индивидуальных особенностей. Но в большей части переводов верно воспроизводится своеобразная ритмика и интонация Шевченко, передаётся революционная энергия шевченковских стихов. В лучших переводах можно уловить и задумчивую проникновенность, свойственную поэзии великого Кобзаря. Так, совершенно по-шевченковски звучат хотя бы такие строчки:

За думою дума летит — вылетает;  
Одна давит сердце, другая терзает,  
А третья тихонько рыдает в обиде,  
У самого сердца — и бог не увидит!..

Все оглохли, все ослепли,  
В кандалах поникли...

Ты смеешься, а я плачу,  
Друже мой великий!  
(«Гоголю», перевод М. Исаковского)

Выразительны в переводе А. Суркова  
гневные строки «Юродивого»:

А мы смотрели и молчали,  
Да молча мы скребли чубы,—  
Немые, подлые рабы,  
Холопы царские, лакеи  
Капрала пьяного! Не вам,  
Не вам, распятые ливреи,  
Докосчики и фарисеи,  
За правду пресвятую встать  
И за свободу! Распнать,  
А не любить учились брата!  
О, род презренный и проклятый,  
Когда издохнешь ты?..

Точно передаёт Н. Асеев разнообразные смены ритмов «Гамалей», П. Антокольский мастерски воспроизводит сложную ритмическую полифонию знаменитой «Порченой» («Ревёт и стонет Днепр широкий»). Подобных переводов не было в прежнее время.

Тем более досадно встречать в новых изданиях неудовлетворительные переводы Ф. Сологуба (поэмы «Солдатов колодез», вариант 1857 года, «Подземелье» и другие) и публикацию новых переводов, хотя и правильно передающих букву текста Шевченко, но далёких от понимания его духа.

Давно уже стала общеизвестной истина, что надо быть точным в переводе. Но что это значит? Есть точность переводчика-художника, который прежде всего заботится о том, чтобы бережно донести до читателя самое главное в подлиннике — движение мысли поэта, развитие образа. Но есть точность копирувальщика, заботящегося лишь о том, чтобы правильно передать на другом языке слова — и ничего больше. И нет таких ошибок и неточностей в переводе, которые исказили бы оригинал больше, чем этакая холодная ремесленность, чем бездушное перестукивание текста строка за строкой.

Притом же стремление к внешней «точности» перевода не исключает, как это ни парадоксально, чрезмерно свободного обращения с текстом оригинала.

Поэма Шевченко «Гарасова ночь» в переводе Б. Турганова начинается так:

Сидит козварь при дороге,  
На кобзее играет;  
Кругом хлопцы да дивчата —  
Как жар-цвет сияют.

Между тем у Шевченко никакого пышно-сказочного «жар-цвета» нет и в помине, у него очень скромно и точно: «як мак процвітає».

Дальше в переводе есть такие строки:

Запродана врагам вера,  
Печать на иконел..

А у Шевченко просто: «В церкву не пускають».

«Червоні» (красные) жупаны превращаются у переводчика в «цветные». И концовка поэмы — «найду жінку, почастую, з вороженьків покепкую» (то есть: найду жёнущку, угошу, над врагами посмеюсь или поиздеваюсь) — в переводе Б. Турганова звучит так: «Да гостинец ей отвешу,— свою душеньку потешу».

Также переведены и «Гайдамаки» — одно из важнейших произведений Шевченко. Б. Турганов вводит в поэму множество диалектизмов, тяжёлых синтаксических конструкций.

В переводах лирики Ивана Франко ряд стихотворений хорошо переведён М. Исаковским («Письмо из Бразилии»), а также А. Сурковым, Е. Долматовским, А. Прокофьевым, В. Звягинцевой. Значительно менее совершенны отдельные переводы Б. Турганова. К сожалению, в их числе — и такое важное произведение Ивана Франко, как «Гимн» («Вечный революционер»), поставленное поэтом во главе двухтомного издания его стихов в качестве программного произведения. В печати уже отмечался низкий уровень этого перевода, по существу ослабляющего идейное звучание замечательного стихотворения.

Не вполне удовлетворительно переведены также и другие стихотворения Франко, знакомые на Украине каждому школьнику: «Каменоломы» (в переводе Н. Ушакова), «Товарищам из тюрьмы» (С. Городецкого), «Беркут» (В. Державина), вступление к поэме «Лесная идиллия» (Л. Длигача).

Особенно огорчает чтение перевода лебединой песни поэта и высочайшего создания его гения — поэмы «Моисей». Опубликован поэму в переводе П. Дятлова («в обработке Б. Турганова», как указано в оглавлении), редакция допустила ошибку тем более прискорбную, что этот перевод был уже в своё время оценён по заслугам М. Горьким, которому переводчик присылал свой труд. Горький писал: «Книгоиздатель-

ство «Прибой» отказалось издать Ваш перевод, найди его несовершенным. Мне тоже кажется, что перевод не удался Вам»<sup>1</sup>.

И в самом деле, достаточно лишь бегло сопоставить оригинал с переводом, чтобы почувствовать полную несостоятельность работы Дятлова. Переводчик нередко совершенно искажает мысль поэта, придавая ей прямо противоположное значение. Например, у Франко Моисей, не видя перед собой ясной цели, идёт «хоч насліпо, та сміло», а в переводе: «хоть и слепо, но к цели».

В этом переводе русский язык звучит так:

Пусть, как снегом, его голова  
Процвела сединою,  
Но стоит ещё два завитка  
Над его головою...

У Франко сказано, что одиночество овладевает Моисеем; в переводе эта мысль выражена так: «одиночество возле меня». По воле переводчика Моисей вынужден изрекать такие, например, фразы: «Горе вам, злого бунта умы!»

Так одно из совершеннейших поэтических созданий Ивана Франко предстало перед читателями в неузнаваемо изуродованном виде. И только пролог к «Моисею» (который Пётр Дятлов, к счастью, не успел перевести!) дан в хорошем и поэтически точном переводе Б. Пастернака, которому удалось в жёсткой форме терцин передать всю могучую энергию, всю прелесть стихов Франко.

Стихи Л. Украинки во многих отношениях представляют меньше трудностей для переводчика, чем поэзия Шевченко или Франко; тем не менее передать по-русски аромат мужественной и в то же время необыкновенно нежной, задумчивой поэзии Леси Украинки представляется делом далеко не столь простым.

Хорошо переведены М. Комиссаровой образцы гражданской лирики украинской поэтессы: «Да будет тьма!», «Грешница», «В ненастную тучу собралась кручина моя», «Слово, зачем ты не стала боевая», «Забывшая тень» и другие. Эти переводы, как и её

же перевод поэм «Одно слово» и «Вилла-посестра» и драм «Кассандра» и «Лесная песня», принадлежат к числу лучших во всём издании.

Удачно выполнены также переводы М. Алигер: «Мечты» (из цикла «Крымские отзвуки»), «Минута отчаяния» (из цикла «Невольничьи песни», что, кстати, не указано в издании), драматическая поэма «Каменный хозяин» — выдающееся произведение Леси Украинки, во многом по-новому интерпретирующее старинный сюжет о Дон-Жуане. Высокой оценки заслуживают переводы и других поэм Л. Украинки: «Роберт Брюс, король шотландский» (Г. Шенгели), «Старая сказка» (М. Светлов), «Изольда Белорукая» (П. Антокольский), «Сказка про Оха-чародея» (Н. Заболоцкий).

Гораздо слабее переводы других произведений. Грубые искажения допущены в переводе стихотворения «Сонтра спет зресо» (перевод Н. Ушакова), где пропущены две превосходные строфы, имеющиеся в том самом издании сборника «На крыльях песен», на которое ссылается редактор в примечании:

Я не дам своему серденьку спати,  
Хоч кругом буде тьма та нудьга,  
Хоч я буду с ма почувати,  
Що на груди вже смерть наляга.

Смерть наляже на груди важенько,  
Світ застеле суворая мгла,  
Але дужче заб'ється серденько, —  
Може, лютую смерть подола.

Эти две строфы, правда, отсутствуют во втором издании сборника Леси Украинки «На крыльях песен»; но, как известно, это издание было испорчено вмешательством цензуры, и ориентироваться на него не было решительно никаких оснований. Любопытно, что даже в примечаниях к первому тому сочинений Леси Украинки, где напечатан перевод этого стихотворения, сказано, что во втором издании сборника «На крыльях песен» (1904) оно воспроизведено «не полностью». Зачем же, спрашивается, и в русском издании печатать стихотворение «не полностью», когда нам известен его полный текст?

Перевод Н. Ушакова весьма уязвим и в другом отношении. Стихотворение Леси Украинки, о котором идёт речь, проникнуто трагическим сознанием своей физической немощи, и вместе с тем оно дышит страстной волей к жизни. По-

<sup>1</sup> См. М. Пархоменко «Горький і Західна Україна», Львов, 1946, стр. 73—74. Здесь же опубликована часть переписки П. Дятлова с Иваном Франко по поводу перевода «Моисея».

ражѣнная тяжким недугом, поэтесса не утратила изумительной силы духа, жизнелюбия. Воля, стойкость, неискоренимая вера в будущее — таков пафос стихотворения «*Contra spem spero*» («Без надежды надеюсь»). К сожалению, этот пафос очень слабо выражен переводчиком. Повторяющаяся у Л. Украинки строка «буду кризь слѳози сміятись», ставшая крылатой в украинской литературе, передана Н. Ушаковым при помощи вялого и невыразительного «улыбнусь и в ненастную ночь». Одно дело — сказать, как Леся Украинка, «шукатиму зірку провідну», и совсем другое, как это сделал переводчик, заменить активное «шукатиму», то есть «буду искать», пассивным «дожидаясь путеводной звезды».

Стоит сравнить энергические строчки оригинала с бледным, анемичным и не вполне грамматически ладным переводом:

#### Леся Украинка

І від слѳ тих гарячих розтане  
Та кора льодова, мїзна,  
Може, квіти зійдуть, і настане  
Ще й для мене весела весна.

#### Н. Ушанов

И холодного снега не станет,  
Ледяная растает броня,  
И цветы зацветут, и настанет  
День весны и для — скорбной — меня.

Отчего растает снег — неясно. Пропущено тонкое «може» (возможно, может быть). А последняя строка звучит совершенно не по-русски.

Всѳ стихотворение, звучащее в оригинале как страстный, мощный порыв, в переводе оказывается каким-то спутанным, стреноженным и топчущимся на месте.

В оригинале третья строфа построена на троекратной анафоре: «буду сіяті барвисті квітки», «буду сіяті квітки на морозі» и «буду лить на них слѳози гіркі». В переводе этого волевого, энергичного единоначатия нет и в помине.

В оригинале в начале стихотворения: «хочу... серед лиха співати пісні». В конце стиха, после всех перипетий, нарастающий порыв венчается категорическим: «буду... серед лиха співати пісні». В переводе в обоих случаях бесцветное (и снова синтаксически не вполне благополучное): «и в горе я петь не забуду».

Мы умышленно столь подробно остановились на одном из переводов, принадлежащих перу поэта квалифицированного,

опытного, много и во многих случаях вполне удовлетворительно работающего в этой области. Видимо, дело здесь в самом подходе к переводимому материалу — в том подходе, который в данном случае обрѳк на неудачу Н. Ушакова. Этот подход коренится в пользовании заранее заготовленными специфически переводческими штампами, в разрушительной и начисто обесценивающей подлинник манере нанизывания стандартных рифм и фраз.

Результат получается самый неутешительный: с одной стороны — перевод невозможно читать без оригинала (подчас просто нельзя понять буквальный смысл стиха!), а с другой — переводчик в ряде случаев рабски передаѳ обороты и синтаксические построения подлинника, перенасыщает свой перевод украинизмами («кат», «хлопцы», «дивчата», «хата», «криница», «скриня», даже «вдовиченко» — сын вдовы — не сходят со страниц многих переводов), кои должны, очевидно, воссоздать «национальный колорит» оригинала.

Так же выглядят и многие переводы А. Островского, Г. Литвака, С. Гордеева. Переводчики, видимо, знают украинский язык; по крайней мере, теперь гораздо реже, чем раньше, можно встретить в переводах ляпсусы, подобные тем, которые допускали Ф. Сологуб и другие. Но более тонкие оттенки — например, оттенки индивидуального поэтического словаря — нередко ускользают от переводчика, который в одной манере переводит Шевченко, Франко, Лесю Украинку. А поэты-то ведь совсем разные, хотя у каждого есть и «мрія», и «хата», и «серденько»...

У Леси Украинки есть чудесное стихотворение — «Мріє, не зрадь!», написанное в августе 1905 года (в русском издании — опечатка: «июль»), в момент нарастания освободительного движения в стране, и отражающее воодушевление поэта, который связывает свои самые сокровенные надежды с развитием революционных событий. Но переводчик А. Островский с первой же строки уведит речь в какую-то другую, совершенно абстрактную область, делая это едва заметной подменной синонимов.

Леся Украинка говорит: «мріє, не зрадь», то есть «мечта, не измени», а у переводчика оказывается: «мечта, не предай!» Кажется — почти то же самое. Но именно «почти». В контексте это «не пре-

дай!», обращённое к мечте, по меньшей мере, затемняет смысл стихотворения.

В оригинале поэт «тоскует» («я так долго... тужила»), а в переводе он просто «томится». В оригинале поэт вкладывает всю свою душу в мечту и называет её «світлом безсонних очей». А переводчик слово «світло» (свет) заменяет каким-то непонятным и почти мистическим «светильником»: «О, не угасни, светильник бессонных очей!» Л. Украинка говорит, что мечта о революционном восстании заполнила её сердце и уже теперь от этой мечты не отвлекут её «примари» (призраки, либеральные иллюзии). А. Островский вместо «уже ж тепера мене не одб'ють від тебе примари» говорит: «не отторгнут меня от тебя никакие кошмары». Образ снова увидит читателя куда-то в сторону.

В результате стихотворение лишается своей политической остроты и приобретает какие-то условно романтические контуры, неясные и неинтересные. И читателю становится непонятно, почему это стихотворение могло быть опубликовано только в советское время.

Далеко не все переводы драматических произведений Леси Украинки можно признать удавшимися. Есть переводы слабые — например, выполненный М. Сандомирским перевод такого важного произведения, как фантастическая драма «Осенняя сказка», которую на Украине изучают даже в средней школе.

«Осенняя сказка» была закончена в январе 1905 года и отразила душевный подъём, переживаемый в ту пору поэтессой, её глубокую веру в рабочий класс.

М. Сандомирский перевёл эту драму вялым и неточным стихом, в ряде случаев обкорнав или же просто исказив и образы и идеи оригинала. Так, говоря о борцах, рвущихся на крутую скалу, чтобы освободить из заточения принцессу, автор вкладывает в уста принцессы восклицание: «Сто п'ятий рятівник (то есть спаситель, освободитель), упав додолу (вниз)...» А в переводе: «Сто пятый обречённый пал на землю». Ясно, что это совсем не то же самое! У Леси Украинки подчёркивается происхождение принцессы: она — простая «босоніжка, посполита», то есть крестьянка. В переводе эта важная деталь совсем опущена. Дальше говорится, что принцесса эта — «роду незначного», а в переводе совершенно

иначе: «неведомого рода». Ясно, что это также не одно и то же!

Разоблачая рыцаря, впавшего в уныние, разочаровавшегося в возможности победить тиранию самодержавия, Лесья Украинка вводит ремарку, лишаящую «рыцаря» романтического ореола: «Лицар (понуру, сидячи нерухомо...)». М. Сандомирский, не улавливая характера эпитета, переводит его словом, как раз усиливающим «романтический» колорит: «Рыцарь (мрачно...)»!

Можно было бы привести множество других примеров нечуткости переводчика к смысловым оттенкам оригинала (так, слово «клунэк», то есть «узелок», он переводит «котомка», когда из контекста видно, что никакой котомки здесь не может быть). Следует отметить, что М. Сандомирский, видимо, плохо ощущает также и своеобразную грацию пятистопного ямба, вследствие чего вводит в свой перевод четырёхстопные стихи: «Вновь голос тот иль сновиденье» (в начале драмы).

Общий уровень переводов прозаических произведений, помещённых в русских изданиях сочинений И. Франко, Л. Украинки, М. Коцюбинского, достаточно высок. Из сочинений И. Франко особенно хорошо переведены на русский язык повести «Борислав смеётся» и «Столпы общества» Е. Мозольковым и Е. Нежинцевым. Прекрасно переведён также ряд рассказов Г. Петниковым.

Правильно поступила редакция издания, поместив некоторые рассказы Франко в прежних русских переводах Леси Украинки и Максима Богдановича. Эти переводы могут считаться и поныне образцовыми. Они отличаются художественной выразительностью и точностью, хорошо передают своеобразие стиля Франко-прозаика на языке, свободном от нагромождения украинизмов и звучащем синтаксически совершенно непринуждённо.

Но в иных переводах, как и в стихах, приходится отметить тот же дурной вкус переводчика, злоупотребление диалектизмами и недопустимые нарушения норм школьной грамматики.

Вот, например, Б. Турганов пишет: «самый большой русский критик» (речь о Добролюбове — том V, стр. 152), тогда как у Франко слово «найбільший» означает здесь «крупнейший», «великий», но никак

не «самый большой»! В рассказе «Гриць в школе» (тоже перевод Б. Турганова) мы читаем: «Все мальчики, как вспугнутые воробьи, разбежались по скамьям» (том III, стр. 38). Никто не поверит, чтобы «вспугнутые воробьи» разбежались, а не разлетались! У Франко так и сказано: «попирскали до лавок», а в примечаниях он сам поясняет: «пирснути — відлетіти від удару» (см. Иван Франко. «Твори в 20 томах». Київ, 1950, т. II, стр. 432).

Несколько слов следует сказать о проблемах текстологических, возникающих перед составителями собраний сочинений украинских классиков. Многие произведения писателей существуют в различных редакциях или вариантах. Какой из них брать для перевода?

В иных случаях варианты так существенно разнятся, что приходится говорить о различных произведениях, со всеми, так сказать, вытекающими отсюда для составителя и переводчика последствиями. Вот почему совершенно верно поступила редакция пятитомника Шевченко, печатая ряд произведений украинского классика в разных вариантах («Солдатов колодець» в редакциях 1847 и 1857 годов, стихотворение «Я считаю в ссылке дни и ночи» в двух вариантах — 1850 и 1858 годов). В других случаях в примечаниях отмечены различия, встречающиеся в различных редакциях текста того или иного стихотворения.

Но в большинстве случаев нет необходимости в массовых изданиях целиком воспроизводить несколько вариантов одного произведения. И тогда редактор, как правило, обязан отдать предпочтение варианту наиболее позднему, то есть тому, который был окончательно санкционирован автором. Между тем составители пятитомника сочинений Ивана Франко включили (иногда даже без всяких оговорок) переводы не позднейших, а первых, во многом менее совершенных редакций отдельных произведений. Например, в составе книги стихов «Увядшие листья» помещено в переводе А. Островского стихотворение «В вагоне», для которого почему-то избрана ранняя редакция (опубликованная посмертно, в 1926 году), а не редакция прижизненного издания: эта редакция художественно более отточена, ирония здесь звучит тоньше и острее. К тому же переводчик и от себя добавил какие-то сомнительные «новшества»:

«убсгает с рёвом насыпь», железнодорожное полотно ассоциируется у него с «полотенцем» и т. д.

Ещё пример. Стихотворение И. Франко «Товаришам из тюрьмы, однажды напечатанное в журнале «Громадський друг» в 1878 году, затем не перепечатывалось автором ни разу вплоть до 1911 года, когда поэт поместил это стихотворение в новой редакции в своём сборнике «Давне і нове» и затем в том же виде перепечатал в 1914 году в книге «Із літ моєї молодості». Редакция русского пятитомника произвольно включает это стихотворение (в первой редакции) в состав сборника «Вершины и низины», где оно никогда не печаталось, и ни единым словом не упоминает о позднейшей редакции, в идейном и художественном отношении более интересной.

Спорно также включение в русское издание раннего варианта повести Франко «Боа-констриктор», печатавшейся автором в двух резко отличных редакциях — 1878 и 1907 годов. В заметке, предпосланной составителями второму тому, даётся следующая мотивировка: «Первая редакция повести более характерна для творчества Франка 70-х годов, когда он открыто выступал с критикой капитализма... Между тем позднейшая редакция заканчивается гибелью одного из основных персонажей, Германа Гольдкремера...»

Тезис, разумеется, недостаточно убедительный и игнорирующий огромную работу, проделанную впоследствии автором над художественными образами повести, над её языком.

Немаловажное значение для пропаганды творчества переводимых классиков имеет научный аппарат — вступительные статьи и примечания. Уже отмечалось, что ныне уровень сопроводительного аппарата гораздо выше, чем в прошлые времена. И это прежде всего относится к вступительным статьям, содержащим полезный и интересный для русского читателя материал. Назовём статьи А. Белецкого «Русские повести Т. Г. Шевченко» (сочинения Шевченко, т. V), А. Корнейчука «Великий поэт-демократ» (сочинения Шевченко, т. I), А. Дейча «Леся Украинка» (сочинения Л. Украинки, т. I). Вопросы творчества классиков украинской литературы рассматриваются здесь в связи с важнейшими событиями освободительного движения на-

рода и в тесных взаимосвязях с братской русской литературой. Значительный интерес представляют статьи: М. Рыльского «Поэзия Тараса Шевченко» (сочинения Шевченко, т. II), И. Айзенштока «Дневник Т. Г. Шевченко» (сочинения Шевченко, т. V), а также предисловие покойного драматурга И. Кочерги — «Драматический элемент в творчестве Шевченко» (сочинения Шевченко, т. IV).

Гораздо менее благополучно с примечаниями. Приходится с сожалением отметить прежде всего, что в этой области царит поразительный разноречивый. В одном случае примечания содержат более или менее развернутую характеристику того или иного произведения или цикла произведений, а также обильный фактический материал, помогающий уяснить их смысл и творческую историю, в другом случае примечания представляют собой художочные, маловразумительные справки преимущественно библиографического характера. (Характерный пример тому — примечания к первому тому сочинений Леси Украинки.) Бывает и хуже: многие примечания в свою очередь нуждаются в примечаниях, ибо изобилуют неясностями и ошибками. Например, в первом томе сочинений Франко автор примечаний Б. Турганов называет И. Котляревского «основоположником новой украинской литературы» (стр. 579), хотя, как известно достаточно широко, подлинным основоположником украинской литературы является Т. Г. Шевченко. Лютый враг украинского и русского народов Иван Выговский, чьё имя стоит в истории в одном ряду с именем Мазепы, благодушно характеризуется автором этих примечаний так: «один из ближайших соратников Хмельницкого, впоследствии избранный гетманом Украины» (стр. 591).

Вообще в примечания часто попадают устаревшие, давно отброшенные версии. Например, в примечаниях к сочинениям И. Франко (т. I, стр. 588) указывается, что стихотворение «О. Лунатику» обращено к В. Щурату. На самом деле давно известно, что адресат этого резкого стихотворения совсем не Щурат, с которым Франко был в дружеских отношениях, а воинствующий декадент Остап Луцкий, один из организаторов «Молодой музы». Он выпустил сборник пародий на прогрессивных украинских писателей «Без маски» под псевдонимом О. Лунатик. И эпиграф к стихотворению

Франко взял не из стихотворения В. Щурата «Без маски», как утверждает автор примечаний, — такого стихотворения не существует, — а из пародии О. Луцкого, носящей заголовок «Иван Храмко. Из сборника «13 дней тоски». Эта пародия помещена в сборничке «Без маски» на стр. 6 (издан в Коломые в 1903 году).

Есть у Леси Украинки стихотворение «Дым». Оно начинается двумя заковыченными строчками: «Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та коханий». В примечаниях к первому тому эти строчки толкуются как цитата из «Горя от ума», между тем общеизвестно, что упомянутая фраза в речи Чацкого заключена в кавычки и является цитатой из державинской «Арфы».

В примечаниях к трёхтомнику Л. Украинки добросовестно поясняется, кто такие Надсон, Мечников, Станюкович, но об М. Драгоманове сказано только: «дядя поэтессы с материнской стороны» (т. I, стр. 337). Ясно, что современному русскому читателю следовало бы подробнее пояснить ряд имён, встречаемых в письмах и статьях Л. Украинки, И. Франко, многие специальные термины и исторические события, упоминаемые в драматических произведениях этих писателей, — это гораздо важнее, чем подробно излагать, например, биографию Данте (примечание на стр. 342, т. I сочинений Л. Украинки) или объяснять, кто такие Щепкин, Мей, Даргомыжский (примечания к т. V сочинений Шевченко).

Печальные промахи да и вообще невысокий уровень большинства примечаний к рецензируемым изданиям украинских классиков объясняются тем, что эти примечания, очевидно, оказываются вне серьёзного контроля со стороны редакционных коллегий, состоящих из высококвалифицированных и авторитетных специалистов. Это — первая мораль. А вторая — в осуждении странной и довольно стойкой традиции, в силу которой к составлению примечаний чрезвычайно редко привлекаются специалисты — историки литературы, живущие на Украине...

Издание собраний сочинений украинских классиков в русских переводах — событие большого культурного значения. Оно — символ плодотворной и незыблемой дружбы

народов нашей страны, яркое свидетельство непрерывно развивающегося культурного общения двух братских народов, которые в нынешнем году отмечают историческую годовщину — трёхсотлетие своего государственного воссоединения.

Вышедшие на русском языке собрания сочинений украинских писателей — начало

большой и чрезвычайно нужной работы. На очереди издание переводов многих других произведений украинской классики, обстоятельного знакомства с которыми ждёт советский читатель. Надо лишь позаботиться при этом, чтобы недостатки предыдущих изданий были учтены и исправлены, а не переходили «по наследству» в новые.





# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Кардин.** «Советское Приморье». — Полковник **Н. Денисов.** Три книги о советских лётчиках. — **М. Рылский.** «Энеида» И. П. Котляревского на русском языке. — **М. Бовченко.** Патриотическая пьеса Ивана Франко. — **Я. Билинис.** Творческий путь Некрасова. — Кандидат исторических наук **М. Соловьёв.** В древнем царстве Урарту. — **П. Топер.** «Новая немецкая литература».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Стадиченко.** Молодёжь нового Китая. — **Вен. Мотылев.** Американские женщины на работе и дома. — **Ю. Шилин.** Экономика современного капитализма. — Кандидат исторических наук **А. Николаева,** Москва в XVIII веке. — Доктор географических наук **Д. Лебедев,** кандидат географических наук **И. Каманин.** Открытия советских географов. — **П. Федоренко.** Техника древней Руси.

## Литература и искусство

### «Советское Приморье»

**В** статьях и рецензиях, посвящённых писателям, работающим в областях и краях, очень часто выдвигают требование: отображать жизнь своей области, своего края. Смысл этого требования представляется настолько очевидным, что критики, не вдаваясь в разъяснения, порой прямо дают перечень тех объектов, над которыми следует трудиться местному автору: «Кто слышал прежде о пристанционном посёлке Рубцовке? А ныне из города Рубцовска выходят на поля страны мощные тракторы «АТЗ», рыбаки Баренцова моря благодарят алтайских мастеров за безотказные дизели, в Барнауле работает первый и крупнейший в Сибири хлопчатобумажный меланжевый комбинат, работают сахарные заводы, мясокомбинаты» и т. д.

Это не отрывок из путеводителя по Алтайскому краю, не выдержка из передовой статьи местной газеты. Это — начало рецензии на альманах «Алтай», опубликованной недавно в одном из московских журналов и определяющей, по существу, «круг тем» для алтайских писателей.

Альманах «Советское Приморье», № № 12 и 14 за 1952 год и № 15 за 1953 год.

Иногда местных авторов «наталкивают на материал», рекомендуя им предприятия уже не всей области, но одного города или даже близлежащих улиц. В рецензии на альманах «Литературный Донбасс», помещённой в январе 1953 года в «Литературной газете», говорится: «На улице имени Артёма в городе Сталино помещается Донецкое отделение Союза советских писателей Украины. Неподалёку расположены один из крупнейших металлургических заводов страны, известные предприятия угольной промышленности шахты № 1/2 «Смолянка», № 8 «Ветка», «Центрально-заводская» и другие». После такого перечисления автоматически следует привычный вопрос: «Как же писатели Донбасса отражают в своём творчестве кипучую жизнь края?»

Хотя этого авторы рецензий или нет, у них появляется особый подход к «периферийным писателям», которые оказываются невольны в выборе тем, как «столичные» писатели.

Несомненно, в каждой области есть свои народнохозяйственные задачи, определяемые своеобразием природных условий,

транспортными связями, наличием кадров, отдалённостью от главных центров страны и многими другими причинами. Есть во многих областях и районах свои национально-культурные особенности. Каждый писатель-реалист, какую бы тему он ни разрабатывал, отразит те или другие из характерных черт непосредственно наблюдаемой, годами известной ему жизни. Быть может, — это бывает нередко — исследование и осознание конкретных вопросов, характерных для местности, где родился и вырос, где живёт писатель, будет той дорогой, которая выведет его на простор больших жизненных проблем. Конкретный «местный материал» в произведениях такого писателя приобретёт всеобщий интерес, всеобщее значение. Однако отсюда вовсе не следует, что «периферийному» писателю нужна другая степень и разновидность литературной конкретности, чем его столичным собратьям, и что он должен сосредоточить всё своё внимание на вопросах местной экономики, производства, краеведения.

Настойчивые призывы к местной тематике, по существу, заключают в себе требование отображать специальности, которые наиболее широко распространены на территории области; в результате автор, особенно молодой, уходит в технологические процессы, забывая, что предметом его творчества является человек, что производственные вопросы связаны с политическими и нравственными, что духовные силы советского человека могут проявляться в любой профессии, на любом поприще. А рецензенты, которые толкнули писателя к этой ошибке, ещё его же и попрекают тем, что он не полно, не всесторонне показал советских людей...

При таком «краеведческом» отношении к литературе эстетическая сторона, интерес к художественной ценности публикуемых в альманахе произведений отходит на второй план. Недооценка художественных вопросов — естественное следствие такого подхода к произведениям местных писателей, какие бы тут ни делались оговорки.

В повестях и рассказах о наших днях, помещённых в альманахе «Советское Приморье» в 1952—1953 годах (эти повести и рассказы занимают больше всего места в трёх номерах из четырёх, вышедших за это время; они определяют лицо альманаха, и лишь о них будет идти речь в настоящей

рецензии), действуют представители самых различных профессий — водолазы и пчеловоды, научные работники и токари, педагоги и моряки, геологи и офицеры. Эти произведения создают некоторое представление о далёком таёжном крае, приобщённом волей народа и его партии к грандиозному коммунистическому созиданию. Но ни местного, ни всесоюзного читателя они не смогут удовлетворить, потому что мы не найдём в них изображения того, как общественные процессы отражаются в сознании людей, как они определяют чувства, взаимоотношения, личную судьбу людей. В этих произведениях нет своей, живой мысли, нет перспективы. Герои их наглухо замкнуты в узкопрофессиональных интересах, а выходя из их круга, произносят лишь общеизвестные, безличные слова.

В повести Татьяны Корчагиной «Лауреат Сталинской премии» (12-й номер альманаха) рассказывается о том, как молодой пчеловод, комсомолец Андрей Власов, добился рекордного медосбора, за что и удостоился почестей. Автор всячески оберегает героя от какой-либо возможности проявить свою человеческую натуру. Путь Власова настолько прям и прост, что диву даёшься: как никто не додумался раньше до всех его новшеств, тем более, что у Андрея и знаний немного, да и практическим опытом он ещё не богат. Конечно, открытия делают не только высокообразованные и умудрённые годами люди. У нас хорошо известны имена многих молодых новаторов. Но каждое их достижение — результат больших раздумий, поисков, труда. А Власов идёт к своему рекорду прямо и легко, и если перед ним появляются трудности, то только природные, и устраняются они моментально.

Запоздалый мороз погубил молодые побеги, иссушил нерасцветшие серёжки лещины. Пчёлы могут остаться без корма. В приступе раздражения Андрей «с досады грубо пнул ногой ближайший пук ветвей, весь увешанный бестолковыми, никому не нужными висюльками». Когда пучок от удара упал на пол, вокруг него образовалось жёлтое пятно пыльцы. «Андрей от неожиданности замер», а потом «засвистел первый пришедший ему на ум весёлый мотив». Теперь нужно было лишь собрать пыльцу и поскорее отдать её пчёлам.

Возможна ли такая счастливая случайность? Возможна. Но Власов все свои открытия делает случайно. Поэтому он и производит впечатление не труженика-исследателя, а счастливица, баловня судьбы. Пусть судят специалисты, насколько писательница знает пчеловодство; но многочисленные, даже достоверные, профессиональные подробности не могут сами по себе создать человеческий характер, в особенности характер творческий, ищущий.

Противник Власова — заместитель директора опытной станции по научной части Порфирий Павлович Савушкин — перестраховщик, карьерист и консерватор. Едва только в повести появляется Савушкин, о нём говорится: «Всегда опрятный, гладко выбритый, он носил на мизинцах слегка изогнутые прозрачные ногти. Злые языки утверждали, будто бы этими ногтями Порфирий Павлович цепко держался сразу за несколько доходных мест».

При первом же знакомстве Савушкин до конца избалован в глазах читателя, который узнаёт и о его принципах и о его честолюбивых замыслах: «Два телефона на столе, один — иногородний, другой — для разговоров по хозяйству... Нет! Он не будет бегать по территории станции и соваться в каждую щель! Телефон! Телефон в его личном распоряжении... В кабинете — только дубовая мебель... ковровая софа... зелёная дорожка на полу. В установленных часах горячий чай приносит ему миловидная девушка — его личный секретарь...»

После такого «кредо» никто, конечно, в Савушкине не ошибётся. Но не ошиблась ли писательница, думая, что примитивные характеры следует разоблачать с помощью примитивных приёмов?

Ровно и мирно, по наезженной дороге литературных канонов, развивается любовь Андрея. В начале повести мы узнаём, «что есть на свете девушка с большими серыми глазами, которая вернула ему жизнь и унесла покой». Где находится эта девушка сейчас, неизвестно никому. Однако Андрей надеется получить от неё весточку. Его трудно объяснимая уверенность вызвана тем, что в жилах юноши течёт частица крови почти неизвестной ему его возлюбленной, которая во время войны, работая сестрой в госпитале, дала свою кровь для переливания раненому Андрею.

Любовь Андрея носит настолько заоблачный характер, что, занятый пчёлами, он о ней почти и не вспоминает. Лишь однажды он неожиданно спускается на землю, мы бы сказали, в самом буквальном смысле. Как-то весной, возвращаясь из лесу, он встречает колхозную свинарку Веру, заливающуюся соблазнительным смехом. «В один прыжок Андрей очутился рядом. Им овладело бурное желание схватить в объятия эту весёлую пересмешницу и затиснуть в рыхлый снег всю целиком вместе с расстёгнутым на груди полушубком и сбитым на затылок белым пушистым платком». Андрей потерпел фиаско в этом предприятии, и ему «вдруг так остро захотелось уюта, ласки и тепла, что он невольно приостановился, оглянувшись, но девушки уже не было...»

Когда работа Власова приближается к концу, на опытную станцию в Приморье приезжает из Москвы на практику студентка Сельскохозяйственной академии Наташа Королькова — та самая девушка, чья кровь течёт в андреевых жилах. В первую минуту Андрей произносит: «Я никогда не забывал тебя!» — «Я тоже... — безотчётно поддавшись большому, вдруг охватившему её чувству, тихо ответила Наташа и смутилась».

Смущает её, видимо, некоторое неравенство: у Андрея нет высшего образования. Однако она вскоре убеждается, что он достаточно образован: «Вечер Наташа с Андреем провели вместе в нескончаемых беседах о приморском пчеловодстве, о его неиссякаемых возможностях. Наташа зачитывала свои конспекты, Андрей внимательно слушал, вносил поправки». Эти пчеловодческие беседы заменяют им любовные объяснения. Да и о какой любви может идти речь, когда любить здесь некому и некого, ведь людей в повести нет! В этом основной, хотя и не единственный недостаток повести, о литературных качествах которой можно довольно точно судить по приведённым выдержкам.

Мысль о том же основном недостатке — о безразличии к реалистическому изображению людей — не покидает нас и тогда, когда мы читаем повесть Михаила Матюшина «В порту». Это повесть о людях, лишённых примет, о людях, лишённых своих мыслей, своих чувств, своих потребностей.

Что известно о главном герое повести Илье Лапине? Он служил во флоте, имеет орден. У Ильи есть отец — старый дёвонец по специальности, литературный «бодрячок» по амплу. Есть заботливая мать, лишённая каких-либо особых примет. Круг интересов Ильи Лапина сведён к тому, что он изобретает «штывщик». Только о «штывщике» автор и рассказывает, не жалея ни времени, ни места. Он подробно объясняет, как при засыпке в трюм сыпучих грузов на транспортёре постепенно скапливается многотонный конус, и тогда приходится прекращать работу механизмов, направлять в трюм грузчиков, которые лопатами разгребают груз к переборкам — штывают. Попытки инженеров создать нужную машину ни к чему не приводят. Эту задачу успешно решает Илья Лапин.

У нас много читателей, с интересом читающих о технике и науке, если даже эти вопросы далеки от их собственных профессиональных занятий. Мы охотно прочли бы популярную статью о проблеме штывки. Но в художественном произведении нам интересен больше всего человек, увлечённый пусть даже узкоспециальной проблемой, а не сама проблема. Если не удалось инженерам сконструировать столь нужный механизм, а удалось это сделать рабочему, значит есть что-то в этом человеке, есть в нём какие-то сильные и своеобразные качества, есть характер. Какие многообразные человеческие отношения могут складываться вокруг такого характера! Но как раз всё это либо вовсе выпало из поля зрения автора, либо упомянуто бегло. То же, что должно означать любовное признание, изложено в последних абзацах повести в настолько «производственном» плане, что здесь можно заподозрить автопародию.

«Они помолчали. Потом Илья тихо заговорил:

— Стою я сейчас и представляю: покачивается мой «штывщик» на тросах, а соль сыплется, сыплется в трюм, заполняет все его углы, шуршит... А дальше? Дальше судно отойдёт от причала и возьмёт курс в море. Будет идти день, два, неделю, а то и две. Море сейчас осеннее, беспокойное. А соли-то в трюмах многие тонны, слежится она, спрессуется, попробуй её взять тогда — хоть рви аммоналом... Нельзя ли сделать, чтобы выгрузка соли стала лёгкой и быстрой. Как ты думаешь, Нина?

Нина доверчиво прижалась к нему и нежно погладила по голове.

— Беспокойный ты мой, — негромко сказала она, — сделаем, обязательно сделаем».

Сюжеты этих двух повестей до странно-го похожи. Похожи, как близнецы, и главные лица — «новаторы»; разница лишь в том, что Андрей Власов — борец за увеличение медосбора, а Илья Лапин — изобретатель «штывщика». И у Лапина есть «карманный» противник — начальник механизации района инженер Юрий Ефимович Урюпин, полный зависти и неприязни ко всякому новаторству. Но Урюпин не опасен Лапину, так как начальник района товарищ Хлебов — «отменной души человек», а парторг Чистяков — тоже человек, приятный во всех отношениях...

Авторы этих повестей не заимствуют друг у друга. Они просто недостаточно знают подлинную жизнь и более чем достаточно — литературные шаблоны.

14-й номер альманаха открывается большой повестью Александра Щербака «Дело чести», в которой сделана попытка показать роль коллектива в работе новатора, выяснить стимулы его труда. Отношения между людьми здесь, на первый взгляд, не так просты. Но именно потому, что автор поставил перед собой более сложные задачи, особенно наглядна вся пагубность схемы, если даже она несколько больше детализована.

По этой схеме выходит, что при нынешнем высоком уровне развития науки и техники основным достоинством человека, желающего стать выдающимся изобретателем, является одна черта его умственного и душевного склада — настойчивость, причём настойчивость как некое неизменное качество, присущее герою от рождения и прилагаемое прямо к предмету его работы. Сами новаторы рисуются, как настолько уже устоявшиеся фигуры, что они проходят через повесть, ничего не теряя и ничего не приобретая, разве что в конце повести обзаведутся невестой.

Схема низводит роль партийной организации до единичных и внезапных выступлений в аварийных случаях. Этот принцип наиболее чётко определён секретарём парторганизации Захаровым в повести Т. Корчагиной «Лауреат Сталинской премии»: «Он держался такого мнения, что молодёжь сама должна решать свои дела, и

вмешивался лишь тогда, когда видел явную ошибку».

В произведениях, написанных по «производственной» схеме, рабочий коллектив, в лучшем случае, подобно хору в античном театре, изображает «идеального зрителя», в худшем случае — изображает «массу» где-то за кулисами. Единственная индивидуальная черта, которую разрешается иметь некоторым представителям этой «массы», — аскетизм. Если у М. Матюшина старый больной деповец с негодованием отказывается ехать в санаторий, то у А. Шербака старый токарь не желает переезжать в большую и лучшую квартиру.

Яростными, но на деле безопасными противниками нового выступают в схематических повестях «о новаторстве» чаще всего специалисты, инженеры и, в первую очередь, как раз те, в обязанность которых непосредственно входит поддержка новаторов. А. Шербак считает, что среди инженеров «есть у нас... к сожалению, такая категория людей... Где уж им к слову простого рабочего прислушаться?» И когда один из инженеров в повести «Дело чести» в порядке своего служебного долга всё же помогает токарю-изобретателю Ромашкину конструировать станок, то автор не даёт этому инженеру ни имени, ни фамилии, полагая, видимо, что эта фигура внимания писателя не заслуживает.

В таком схематическом произведении и само новаторство — процесс созидания и открытия — лишается истинных признаков творчества.

А. Шербаку в повести «Дело чести» не удалось реализовать свой замысел, так как, вопреки хрестоматийной истине о том, что «писатель мыслит образами», он мыслил по готовой и ложной схеме.

В самом начале повести перед руководством завода встаёт вопрос о механическом цехе: начальник цеха, молодой инженер Лопухов, по словам автора, высокомерен, болезненно реагирует на критику, оторвался от масс.

Директор завода Добронравов требует личное дело Лопухова:

«Так. Сын учителя... Инженер-механик... Понимаешь, товарищ Воронков (парторг ЦК на заводе.— В. К.), институт он окончил с отличными оценками.

Затем директор вслух прочитал характеристику дирекции института и недоуменно пожал плечами:

— Ничего плохого».

Если бы вдруг выяснилось, что у Лопухова в родне были «чуждые элементы» или что он получил не отличную, а посредственную оценку по какому-нибудь предмету, тогда директору «всё было бы ясно». А теперь ему приходится голову ломать. Действительно, как могло случиться, что сын советского учителя, способный инженер, едва окончивший институт, прежде не проявлявший себя с дурной стороны, вдруг зазнался, оторвался и т. д.? Может быть, тут есть вина самого директора, быть может, что-то неладно с его собственным методом руководства?

Однако директор не теряет надежды найти ключ к разгадке человека в анкетных графах и среди бумаг с печатями. И находит с помощью парторга.

«А вот на эти строки вы обратили внимание, Афанасий Павлович? — указал парторг на отзыв с того завода, где Лопухов проходил практику. — Тут ведь говорится, что Лопухов теоретически подготовлен хорошо, но в практике слаб».

Откуда же студент-практикант может быть так уж силён в практике? Но Добронравов, обрадованный пронизательностью парторга, не задумался над этим: «Так, — заключил директор. — Как же мы раньше этого не заметили? Вот что значит плохо изучать кадры (!). Выходит, ошибку сделали, что назначили его начальником цеха. Поторопились. Давайте вместе её исправлять».

И эту анкетоманию, эту уверенность, что ответ на вопрос, поставленный жизнью, можно вернее всего найти в «личном деле», автор выдаёт за норму руководства, не понимая, что на самом деле перед нами бюрократическое извращение большевистских принципов подбора и воспитания кадров.

Директор завода, о котором А. Шербак пишет с восхищением, вызывает как деятель совсем иные эмоции у читателя. И в оценке личных взаимоотношений персонажей повести читатель далеко не всегда может быть солидарен с автором.

А. Шербак уверен, что поступки и мысли учительницы Вари Калитиной безусловно нравственны и безусловно правильны. Но попробуйте взглянуть на её поступки без авторской предвзятости.

Инженер Лопухов сделал Вале предложение. Нет ничего зазорного в том, что она решила посоветоваться по этому поводу с

отцом. Но любопытно: в чём же сомневается, о чём советуется Варя? Ведь она не любит Лопухова и даже относится к нему неприязненно. Значит, она может советоваться лишь об одном — выходить ли замуж за нелюбимого и неприятного ей инженера. Для «чистой девушки» альтернатива довольно сомнительная.

На следующий день Варя через свою подругу Ларису узнаёт, что Лопухов чуть ли не ежедневно получает письма из Ленинграда от какой-то Анны. Лариса предусмотрительно узнала даже адрес Анны. Методом исключения, с помощью пронырливой Ларисы Варя устанавливает, что Анна может быть либо невестой, либо женой Лопухова, и решает помочь ей «как девушка девушке». Это помощь в том смысле из Ленинграда её понимают бесцеремонные кумушки, благодаря которым жизнь «облагодетельствованных» ими превращается в сплошной ад. Варя не пытается по-человечески поговорить с Лопуховым. Она пишет поразительное по своей бестактности письмо незнакомой ей Анне. «...Я узнала о ваших взаимоотношениях (что знает Варя, кроме того, что Анна — корреспондентка Лопухова? — В. К.) и порываю с ним, желая, чтобы он вернулся к вам, если вы на это согласитесь...»

Так Лопухов, сам того не подозревая, сделался разменной монетой в руках двух девушек, из которых одна, не любя его и считая едва ли не негодяем, великодушно уступает другой.

После отказа Вари выйти за него замуж Лопухов подвергает себя яростному самоубийству: «Это было жестоко, но оп, Лопухов, заслужил такую жестокость! Нельзя было любить одну и думать о другой?» (?)

Терзаться Лопухову приходится недолго. Анна бросает Ленинград и приезжает к нему. В первый момент она пытается быть холодной. Но едва Лопухов собрался рассказать всем, что приехала жена, ей «вдруг сделалось легко и вместе с тем радостно». И вот «муж и жена Лопуховы принялись за монтаж нового станка».

Автор сам вяжет гордые узлы из гнилых ниток, сам рубит их картонным мечом. Подлинные человеческие проблемы остаются не только нерешёнными, но и непоставленными.

Многое из сказанного относится и к рассказу Олега Щербановского «На краболо-

ве», опубликованному также в 14-м номере альманаха. Этот рассказ — слово писателя в защиту комбинированного лова крабов с применением трала. Преимущества такого лова показаны очень убедительно. Но рассказ выиграл бы, если бы автор больше сосредоточился на тех, кто ловит крабов, а не на том, как ловят крабов.

В литературной схеме, о которой мы писали выше, герой одновременно с производственной победой одерживает и личную победу; до того, как он признан ценным работником-новатором, героини обычно увлекаются кем-то менее достойным, или колеблются в выборе, или же безразличны ко всем искателям.

О. Щербановский тоже знает, что не единими крабами жив человек. Герой его рассказа, Илья Свирилов, старшина ловецкого катера, влюблён в младшего научного сотрудника Лену Коркину, влюблён с первого взгляда.

Но ведь Лена Коркина не полюбила Илью ни с первого, ни со второго взгляда. Почему же она, этот молодой учёный, «немножко кокетничающий в своих синих лыжных шароварах», должна во что бы то ни стало полюбить старшину ловецкого катера, даже если это «обаятельный» старшина? Только лишь потому, что Коркина — тоже сторонница тралового лова? Однако не все сторонники применения трала связаны любовными отношениями...

Автор не учитывает, что ему не принадлежит неограниченная власть над своими героями и чем глубже образ, тем независимее он в своих действиях от воли писателя. Правда, Лена Коркина — образ слабо разработанный. Но даже та намётка, которая сделана, не даёт права автору смотреть на свою героиню, как купец Большой на Липочку: «Моё детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю».

Мы рады отметить, что в следующем рассказе О. Щербановского — «Счастье» (15-й номер альманаха) — личные судьбы героев раскрыты глубже и естественнее. Это рассказ о счастье, которое доступно лишь тем, кто сам способен дать его другим, и которого никогда не узнает профессиональный «искатель счастья».

В этом рассказе любовь агронома Риты и геолога Анатолия Боброва развивается естественно. Жаль только, что автор, не доверяя догадливости читателя, всё время объясняет своих героев, Многословные ком-

ментарии портят рассказ. Действие кончено, сюжетная линия логически завершена, герои «поняли, что говорить ничего не нужно», поняли это и читатели, которые не сомневаются ни в любви героев, ни в том, что Анатолий найдёт руду, но автор не может остановиться. Он сообщает, что действительно назавтра Анатолий обнаружил месторождение, что возникают разногласия между Анатолием и Ритой о месте их совместной жизни, но это разногласия несерьёзные, так как Анатолий вскоре вернётся для детальной разведки, потом сюда протянут железную дорогу, потом вырастет целый город. И это не всё. Автор беспокоится, что читатель не понял идеи рассказа, и дополнительно клеймит уже давно заклеянного «искателя счастья» Громаду.

Интересный рассказ испорчен отчасти и книжной романтизацией Риты, выражающей свою любовь к тайге в плохих стихах.

В «Советском Приморье» нередко печатаются произведения для детей. В 1952—1953 годах опубликованы рассказы Евсея Баренбойма «Юнга», повесть Михаила Матюшина «В большой семье», первая часть повести Георгия Халилецкого «В большое плавание». При различном подходе к теме и различной степени художественности все три произведения варьируют одну и ту же ситуацию: ребёнок неожиданно попадает в среду моряков. Упорное обращение приморских авторов к такой ситуации объясняется, вероятно, не только близостью Тихого океана, но и пристрастием к испытанным литературным коллизиям. Однако и привычная, давно известная литературная ситуация может быть основой интересного произведения, если автор увидит и найдёт в ней то, чего не видели другие.

Жизнь ребёнка среди моряков — случай в наши дни редкий. Но он имеет право на литературное отображение, потому что даёт возможность ярко вывить типические черты и взрослых и детей.

В рассказе Е. Баренбойма «Юнга» правдиво передана обстановка, в которую попал двенадцатилетний сирота Евграф Новопавловский, взятый юнгой на военный корабль. Трогательным вниманием окружают ребёнка военные моряки. Они заботятся не только о том, чтобы мальчик был сыт и «экипирован», но прежде всего о том, чтобы он вырос честным, скромным и мужественным советским патриотом. На формирование дет-

ского характера оказывают благотворное влияние дисциплинирующая обстановка корабельной жизни.

Но воспитывает не только весь коллектив в целом, а также его отдельные представители. Именно их образам в рассказе «Юнга» недостаёт художественной конкретности. Индивидуализация героев здесь чисто декларативная — спокойный малоразговорчивый Бородаёв, балагур Перепелица, горячий и добрый Рухадзе — или исчерпывается такими несущественными признаками, как, например, то, что один матрос говорит по-русски с украинским акцентом, второй — с грузинским, а остальные — без всякого акцента.

Автор хорошо знает жизнь флота, но писать образы людей умеет лишь общими чертами.

Наша критика не раз отмечала ошибочность мнения, будто в детской литературе взрослые персонажи должны служить лишь «фоном» для детей или для того, чтобы поучать их и читать мораль. Судя по «Батарейцам» — отрывку из повести «В большое плавание» (15-й номер альманаха), — это мнение отчасти разделяет и Георгий Халилецкий.

Повесть написана с большим профессиональным умением, чем остальные рассказы и повести, помещённые за последние два года в «Советском Приморье». Удался автору главным героем «Батарейцев» — Серёжа Гусев. С увлечением рассказано о буднях береговых артиллеристов, запоминается описание калибровой стрельбы. Но как бедны и незначительны люди батареи, начиная со скучного и склонного к нравоучениям командира батареи капитана Новикова! Невольно приходят на ум слова Горького о том, что «человек должен быть показан ребёнку прежде всего как герой, как смелый путешественник по неизвестным странам, как рыцарь духа, борец за правду, революционер и мученик идеи, как фантазёр, влюблённый в свою мечту и оплодотворяющий её своей фантазией, оживляющий силой воли своей» Ведь не за каменистые берега и даже не за калибровую стрельбу полюбил мальчик батарею. Он искренне привязался к её людям. Взрослые люди — это самое интересное, самое интригующее и заманчивое для ребёнка, особенно если эти люди заняты таким славным делом, как охрана Родины. Вот о них бы правдиво и ярко рассказать писателю.

Хочется верить, что во второй части повести Г. Халилецкий восполнит этот пробел. Только не надо, говоря о взрослых, подлаживаться к ребёнку («... Ах, какой отец был у Серёжи! Наверное, у каждого мальчика хороший отец, но у Серёжи был особенный, исключительный — другого такого на всём белом свете не найти!»).

Отметим ещё один момент, имеющий общее значение. Береговая батарея или корабль — это не самая идеальная для воспитания ребёнка среда, и встречается здесь ребёнок не только с тем, что на него влияет благотворно. Г. Халилецкий поступил правильно, сделав попытку ввести в повесть и отрицательный персонаж — матроса Скачкова. Но потом усомнился (не дай бог ребёнок подумает, что на свете есть и нехорошие дяди) и заставил Скачкова на ходу, без всякой подготовки и оснований, перестроиться: «Подменили его, что ли?.. И исполнитель стал, и вежлив, и пересмешничает меньше. Чудеса да и только!»

Повесть Михаила Матюшина «В большой семье» (14-й номер альманаха) написана так, как будто дети — это те же взрослые, только глупее и примитивнее. Усилия автора направлены на то, чтобы убедить юных читателей, что «учение — свет, а неучение — тьма». Для этого тринадцатилетний воспитанник детского дома Захар Дубов с помощью ряда обстоятельств, не только маловероятных, но и малоинтересных, водворяется на пароход «Лазо», на котором плавал боцманом его погибший отец. Несмотря на своё волнение, мальчик неожиданно засыпает, сон переходит в тяжёлую болезнь. Это необходимо автору, чтобы увести ребёнка подальше от берега и исключить возможность немедленно возвратиться его на сушу. Очевидно, вернись сейчас мальчик в детский дом, мысль о том, что надо изучать науки, так и останется недоказанной. На пароходе же её доказывают без конца. Мальчику, мечтающему о морских походах, менторы в тельняшках читают тягучие проповеди о том, что «учиться надо в твои годы не на палубе, а в школе за партой». Кок, в распоряжение которого попал Захар, «каждый день рассказывал ему о том, как он когда-то тоже «горел» таким желанием и что это желание осуществилось лишь после того, как он закончил семь классов, а затем курсы поваров». Рулевой заверяет мальчика, что «штурвал — это не игрушка... Тут, парень, знания требуются»; Захар

«уныло слушал о том, что, прежде чем стать к штурвалу, рулевой изучал физику, математику, геометрию, географию...» Даже ночью во сне Захар является маленький вертлявый старичок, держащий в руках большой ученический треугольник и железную трость. Громовым голосом старичок требует, чтобы Захар ответил ему, что такое пеленг. Автор описывает сцену, где группа матросов во главе со старшим помощником капитана сообщает «гонимому» от стыда ребёнка по карте лишь для того, чтобы старший помощник капитана мог изречь: «Учиться тебе надо — без грамоты не проживёшь». Славной ребячьей романтике противопоставляется банальная назидательность взрослых, и назидательность, конечно, «побеждает» романтику.

Доказательство тривиальных истин не может послужить ещё основой для создания полноценного художественного произведения. Как ни справедливы требования переходить улицу при зелёном свете светофора или мыть руки перед едой, нельзя представить себе повесть или рассказ, ратующие за это.

Об одном из воспитанников детского дома М. Матюшин говорит: «Конечно, это был не детдомовец времён Макаренко, взятый с улицы, познавший «свободу» беспризорной жизни». Слов нет, сейчас изменился состав детдомовцев, соответственно изменились и методы воспитания. Но несколько не устарело макаренковское отношение к детям — прямое, серьёзное, уважительное, честное, исключая фальшь, сентиментальность, скучную дидактику. Вот этого-то отношения к детям прежде всего недостаёт повести «В большой семье».

Помещённый в 15-м номере альманаха рассказ водолаза Ивана Попова «В шторм» (литературная обработка Г. Гука) характерен как случай непонимания того, что не всё происшедшее в жизни, записанное на бумагу, станет рассказом. Одно водолаза во время шторма придавила тяжёлая платформа. Его жизнь в опасности. Но во время подоспел второй водолаз, который выручил его. Поднявшись наверх, он говорит младшему товарищу: «Всё кончилось благополучно. А могло быть хуже... Никогда нельзя стоять под тяжеловесом... Ты это запомни. Лёня...»

Скорее всего, Лёня это запомнит. А читателю запомнить нечего, потому что рассказа, собственно, нет. Есть бледная иллюстрация



«в лицах» к одному из пунктов инструкции для водолазов.

Мы вынуждены были отметить существенные недостатки повестей и рассказов на современные темы, опубликованных в «Советском Приморье» за 1952 и 1953 годы. По нашему убеждению, этих недостатков могло быть намного меньше и писатели, среди которых есть люди, несомненно, одарённые, могли бы работать значительно успешнее, если бы они решительно отrekliсь от литературных предрассудков и схем и приняли бы более высокий критерий реалистической подлинности художественного произведения. Мы считаем вреднейшим предрас-

судком тот взгляд, что обращение к фактам местной производственной жизни служит достаточным основанием, чтобы печатать сырую, непродуманную и неотделанную вещь, что описание технических новшеств само по себе является таким достоинством, за которое можно простить писателю отсутствие новой мысли, низкий уровень литературного умения и даже стандартный, безразличный подход к главной задаче искусства — изображению человека. Чем решительнее будет покончено с этим заблуждением, тем плодотворнее будет работа приморских писателей.

В. КАРДИН.

★

### Три книги о советских лётчиках

На исходе минувшего года наша книжная полка пополнилась несколькими художественными произведениями, в которых рассказано о жизни, учебной работе и подвигах славного Советского Воздушного Флота.

Повесть В. Мельника «Истребители» изображает лётчиков-истребителей, людей того большого и героического отряда советской авиации, который в годы Великой Отечественной войны вынес на себе главную тяжесть ожесточённой борьбы с воздушным противником. Усилиями советских лётчиков-истребителей, действовавших в содружестве с войнами зенитной артиллерии и экипажами других родов авиации, было завоёвано безраздельное господство в воздухе, многие наши города были избавлены от вражеских бомбардировок, а сухопутные войска получили необходимую им свободу действий.

События, изображённые в повести, относятся к лету 1943 года — года коренного перелома в войне. Авиационный полк, в который прибывают с лётно-испытательной работы прежние его питомцы — лётчики Леонид Болотонос и Григорий Костюш-

ко, — участвует в исторической битве на Курской дуге. В дальнейшем лётчики полка сражаются за освобождение Брянска.

Григорий Костюшко, от чьего лица ведётся повествование, показывает героев книги в воздухе, в такие минуты, когда «все чувства и мысли поглощает бой. Тоснота под ложечкой, ощущение потной одежды и прилипших перчаток. Весь мир — круговой быстрый взгляд, автоматические движения рук и ног, сетка прицела. Даже не различаешь рёва мотора. Кажется, гудит в голове и пушки стучат в висках...». Мы видим лётчиков и за учебной работой, и на партийном собрании, и во время отдыха.

Не всё удачно в этой повести. Лучше всего переданы некоторые колоритные чёрточки быта на прифронтовом аэродроме. Но когда дело касается вещей, составляющих самую суть боевой службы советских лётчиков-истребителей, сказывается недостаточно глубокое понимание того, как решались нашими авиаторами сложнейшие боевые задачи в описываемый период войны.

Одна из главных батальных сцен и, по сути, одно из главных мест всей повести — весьма наивная история охоты чуть ли не всех лётчиков полка за гитлеровским асом фон Гешке. Нагнетая «увлекательность», автор заставляет лётчиков совершать поступки, противоречащие самым элементарным требованиям боевой службы и просто невозможные в условиях современной войны.

С некоторого времени в зоне действия истребительного полка, сообщается в пове-

В. Мельник. «Истребители». Повесть. Издательство «Радянський письменник», Киев, 1953; Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, М., 1953.

В. Тимофеев. «Штурмовики (записки авиационного командира)». Документальная повесть. Литературная обработка Я. Таврова. Латгосиздат, Рига, 1953.

Г. Семенович. «Испытание». Повесть. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, М., 1953.

сти, то один, то другой лётчик не возвращался с задания на свой аэродром. Обычно это случалось после встречи с парой «Фокке-Вульфов», один из которых был разрисован свастикой и изображением дракона. Разведка установила, что на вражеский аэродром, расположенный в районе населённого пункта Сельцо, недавно прибыл некий фон Гешке, которого зарубежная пресса называла «сверхлётчиком» и «небесным змеем».

Командир полка, забросив чуть ли не все другие дела, организует поиски фон Гешке. Но поиски эти, несмотря даже на пример командира, лично поднимавшегося в воздух, ни к чему не приводят. И вот Леонид Болотонос — друг Костюшко и его ведущий — втайне от всех и даже от своего напарника решает вызвать фон Гешке на воздушную дуэль. Болотоносову вместе с Костюшко поручили произвести аэрофото съёмку вражеской авиабазы в районе Сельцо. В этом полёте он, имитируя слачу в плен, снижается над неприятельским аэродромом и сбрасывает вымпел с запиской: «Если вы, господин фон Гешке, уверены, что у вас храбрости немного больше, чем у других ваших пилотов, то я жду вас 16-го этого месяца в 9.00 утра в квадрате 7 (по вашей карте). Лейтенант Л. Б.».

Эпизод сопровожждён мелодраматическими переживаниями Костюшко. Видя, что его ведущий, попав в сильный зенитный огонь, без всякого предупреждения стал снижаться, выпустил шасси и, кажется, совсем готов приземлиться на гитлеровском аэродроме, Костюшко уже решил было расстрелять его как изменника. «Большие пальцы легли на шероховатые площадки гашеток, руки до боли сжали штурвал. Концентрические круги прицела перечеркнули Лёнькину кабину... «Ну, что ты медлишь? — что-то кричит внутри.— Жми гашетки! Жми, жми...» Но стрелять Костюшко, конечно, как и следовало ожидать, не стал.

Фон Гешке вызова не принял, но через некоторое время Болотоносову удалось случайно встретиться с ним в воздухе. Вопреки реальной фронтовой действительности и всем правилам боевой лётной службы, автор удалил из этого района все другие самолёты. Встреча вылилась в поединок. В этом бою была наконец раскрыта коварная уловка, к которой прибегал фон Гешке: он имитировал с помощью дымообразующего вещества своё поражение, а затем, что на-

зывается, из-за угла, воровски набрасывался на противника. Болотонос, сражаясь дерзко, умело и стойко, одерживает победу над гитлеровским ассом.

Сцена боя Болотоносова с фон Гешке написана эмоционально, и её читаешь с интересом. Но зачем понадобилась вся предшествующая история с запиской, с мнимой изменой Болотоносова и т. д.? Автор ссылается на то, что так бывало в годы гражданской войны (а так действительно однажды сделал краснолёт Г. Сапожников, вызвавший запиской, сброшенной им на вражеский аэродром, нескольких лётчиков авиации интервентов на бой). Но эта ссылка несколько не спасает положения. Нельзя же механически переносить всё то, что случалось в первой мировой, а затем и в гражданской войне, в условия Великой Отечественной войны, в которой наша истребительная авиация своими умело спланированными и хорошо управляемыми массированными действиями нанесла гитлеровскому воздушному флоту тяжёлое поражение.

Немало погрешил В. Мельник против истины и в рассказе о тех творческих усилиях, которые прилагали лётчики для того, чтобы достичь большого успеха в борьбе с врагом. Лётчик Баранов, обладая какой-то «сверхскоростной» реакцией, вопреки всем авторитетным утверждениям авиационной медицины, мог при лобовой атаке отворачивать свою машину в сторону от самолёта противника на расстоянии, исчисляемом несколькими метрами. Свой необыкновенный дар Баранов хочет передать другим товарищам и создать в полку хотя бы одну эскадрилью «лобовников» (то есть мастеров лобовых атак), обучив своим приёмам некоторых однополчан. Он же мечтает и о том (на третьем-то году войны!), чтобы сделать таран обычным приёмом воздушного боя.

Как это далеко от подлинной действительности! Наши лётчики-истребители в ту пору, о которой идёт речь в книге, больше задумывались, как сделать свой огонь метким, как сочетать манёвр с огнём, бьющим врага наверняка. Осваивая выработанную трижды Героем Советского Союза А. Покрышкиным и другими передовыми советскими истребителями такую формулу воздушного боя, как *высота — скорость — манёвр — огонь*, они творчески находили десятки действительно новых и оригинальных тактических приёмов, которые

помогали им добиваться победы в самых различных условиях воздушной обстановки.

Вторая часть повести, написанная лучше первой, содержит несколько удачных эпизодов: устройство в лесу посадочной площадки; совместный полёт с штурмовиками; партийное собрание с разбором вопроса о воспитании боевых качеств у лётчиков и т. д. Однако и здесь автор пытается, прибегая к чисто внешним приёмам, хоть как-нибудь острить повесть. Нам кажется, было бы чрезвычайно полезным для автора, если бы он убедился, что «как-нибудь» это делать нельзя. Кого, например, заденет история с молодым лётчиком Ломакиным, который где-то когда-то проявил недостаточную боевую устойчивость и чуть ли не стал считаться трусом? Автор, выдвинув такое тяжкое обвинение, не счёл нужным поработать над тем, чтобы читатель поверил в его верность или неверность. Поэтому, читая о том, как Болотонос, заместитель командира полка по политчасти Вахрушев и другие офицеры изо всех сил стараются сделать Ломакина хорошим воздушным бойцом, нельзя отделаться от впечатления, что они усердно ломаются в открытую дверь.

Читая повесть, можно догадаться, что автор служил в авиации и лично знал лётчиков. Но, видно, этого ещё недостаточно, чтобы познакомиться с этими лётчиками и читателя: все герои — на одно лицо, они мало отличаются друг от друга и мыслями и поведением.

Недостатки повести усугубляются совершенно неправильной, нарочитой манерой письма, которую избрал В. Мельник. Все герои — от балагура лётчика Пикуровского и до командира части Орлова — изъясняются на псевдолётном жаргоне, а об их поступках рассказывается в наигранно беспечном тоне.

Автор книги «Штурмовики» — командир авиационного соединения гвардии полковник В. Тимофеев. Жанр этой книги определён весьма расплывчато: «Документальная повесть». Думается, сделано это напрасно, ибо нет, пожалуй, лучшего способа уменьшить доверие читателя, как заставить его теряться в догадках: что из описываемых событий было на самом деле, а что выдуманно. Имена большинства действующих в повести лиц изменены, и даже автор выступает не под своим именем (хотя

в основе книга мемуарная), а ведёт рассказ от лица «полковника Трифонова».

Первые два года войны автор провёл вдали от фронта в качестве начальника авиационной школы. Рассказ о том, с какими трудностями приходилось встречаться и командному составу и курсантам на пути к овладению лётным мастерством, составляет содержание первой, довольно интересной главы «Записок».

Обладая незаурядным опытом командной и педагогической работы, автор высказывает много интересных мыслей о воинском воспитании курсантов. Жаль, что воспоминаниям об этом периоде деятельности уделено очень мало места — всего лишь одна глава.

И ещё одно небольшое замечание о разделе «Школа». Здесь, на наш взгляд, надо было больше сказать об особенностях воспитания лётных кадров штурмовой авиации. Лётчик-штурмовик должен обладать многими такими качествами, которые необязательны, скажем, для лётчика-бомбардировщика или разведчика. Действия на поле боя, разнообразие целей, по которым надо быстро и точно наносить удары в интересах своих сухопутных войск, готовность к тому, чтобы почти в каждом полёте преодолевать сильный огонь чуть ли не всех зенитных средств врага — эти и многие другие особенности боевой службы лётчиков-штурмовиков требуют от них исключительной находчивости, самообладания, стойкости. Где, как не в школе, готовящей лётчиков штурмовой авиации, должны развиваться эти качества? Но об этой важной части всей работы автор, к сожалению, почти ничего не говорит.

Последующие главы посвящены фронтовым делам. Автор в качестве заместителя командира дивизии участвует в сражениях на Курской дуге, затем формирует новую штурмовую дивизию, командует ею во время боёв за освобождение Польши, в операциях на Одере и в заключительном сражении Великой Отечественной войны — под Берлином. Полковнику В. Тимофееву довелось встретиться на фронте со многими выпускниками авиационной школы, начальником которой он был, и не только встретиться, но даже и кое-чему поучиться у них, уже ставших опытными, бывалыми воинами.

Главы «На главном направлении» и «Последние рубежи» хорошо передают обстановку боевых действий, высокий наступ-

тельный порыв, живший в сердцах всех советских воинов, их отвагу и мастерство, проявляемые в схватках с врагом. Просто, без излишних отступлений автор рассказывает о том, что приходилось ему видеть в эти дни, о том, как действовали подчинённые ему лётчики. Вот они ведут бой за аэродром возле Сохачува; вот лейтенант Андрей Конякин, приземлив самолёт подле подбитой машины своего однополчанина Виктора Кухлина, вывозит его из-под огня вражеских автоматчиков; вот в разгар боёв на берлинском направлении партийное бюро, заседающее под крылом «Ильюшина», принимает в ряды Коммунистической партии лётчика Зыкина, только что возвратившегося из боевого полёта; вот группы штурмовиков помогают нашей пехоте овладеть Зееловскими высотами, содействуют танкистам в их прорыве к Берлину.

Слабее других обрисованы те лётчики и командиры, чьи личные качества оказались невысокими. К их числу относится командир эскадрильи Жукевич, который «хорошо летает, но нет в нём той страстной приверженности к авиации, когда человека просто невозможно представить не лётчиком», и который оказывается трусом; таковы и инструктор Свирилин, по своей вине разбивший самолёт, и бездельничающий политработник Манюрин, и недостаточно чистоплотный в боевой службе и морально дряблый лётчик Рахимов, и некоторые другие лица. К сожалению, автор ограничился лишь описанием внешней стороны их поступков и не раскрыл нам ни психологии этих людей, ни той борьбы, которую вела с ними вся масса авиаторов и, в первую очередь, партийные организации подразделений и частей.

Существенным недостатком «Записок» является то, что в них весьма скупое — если не считать немногих эпизодов на рации наведения да в двух-трёх штабах общевоинских соединений — показано боевое содружество лётчиков штурмовой авиации с воинами сухопутных войск. Правда, многие боевые полёты, о которых рассказывается в книге, имеют отношение к действиям нашей пехоты или танкистов. Однако в ряде случаев эта «увязка» носит чисто формальный характер и почти лишена конкретных черт.

Зная незаурядный опыт службы В. Тимофеева в Советском Воздушном Флоте, мы вправе предполагать, что он обладает

запасом свежего и интересного материала, который ещё значительно обогатил бы его «Записки». Дело, очевидно, за тем, чтобы построже и продуманнее расположить этот материал, более ясно определить цель и характер книги как достоверного, фактического свидетельства участника описываемых в ней событий, избавить повествование от всего наносного, привходящего со стороны, сделать книгу более поучительной, повысить её идейно-воспитательное звучание. Помочь автору в решении этих вопросов — значит содействовать ему в дальнейшей работе над книгой, безусловно интересующей советского читателя и раскрывающей ему одну из сторон боевой жизни нашего Воздушного Флота.

Третья из рецензируемых книг посвящена жизни и трудам советских военных лётчиков в наши дни. Повесть Г. Семенихина «Испытание» рассказывает читателю о том, с какой страстностью, с какой патриотической устремлённостью несут они свою верную службу Родине, сколько сил и энергии вкладывают они в то, чтобы отлично овладеть передовой советской авиационной техникой.

Примечательным достоинством книги Г. Семенихина является то, что в ней на совершенно конкретном примере, взятом из повседневной действительности, хорошо и убедительно раскрыты некоторые противоречия, встречающиеся иной раз в послевоенной жизни наших лётчиков, в довольно острой форме поставлен вопрос о необходимости личного примера бывалых авиаторов в обучении и воспитании нового, молодого поколения лётчиков, которые в то время, когда их теперешние командиры уже держали в руках штурвалы боевых машин и отважно сражались с врагом, «были ещё подростками и таскали в школьных ранцах учебники для седьмого класса».

Сюжет этой поучительной повести вкратце таков.

Три года назад в Н-скую авиационную часть, расположенную в гористом районе неподалёку от государственной границы, приехал только что окончивший военную академию майор Сергей Мочалов. Он вступает в командование эскадрильей истребителей. Этой передовой эскадрилей временно командовал его друг и фронтовой товарищ — Герой Советского Союза капитан Кузьма Ефимков. Теперь, по приезде Мо-

чала, он становится его заместителем. Новый командир, подмечая допущенные Ефимковым недостатки в обучении и воспитании молодых лётчиков, старается как можно быстрее исправить их. Одной из причин, вызвавших эти недостатки, является ошибочный взгляд Кузьмы Ефимкова на подготовку лётчиков. Он считает, что для них главное — практика, а что касается теории лётного дела, то её можно знать в самых общих чертах. Ефимков искренне возмущён, когда инженер, проверяя, насколько лётный состав знает новый навигационный прибор, задаёт вопросы теоретического характера. «Да меня формулы физические и законы спрашивают,— взорвался Кузьма,— словно я профессором физики или аэродинамики собираюсь стать. Всё, что касается практического применения прибора, я знаю. И мне, лётчику, чтобы вести машину в воздухе, этого вполне достаточно».

Характеризуя Кузьму Ефимкова, автор не ограничился приведённой выше чёрточкой. Ефимков — натура сложная. В глубине души он признаёт, как важно непрерывно пополнять знания: ведь когда кончилась война, он, занимаясь самостоятельно, сдал экзамены за десятилетку. Но он прикрывает своё действительно отношение к учебным делам шутивными или раздражёнными фразами. Ефимков противопоставляет практику якобы ненужной теории потому, что, обладая незаурядным лётным опытом, отлично летая и теперь, он в этой области легко поддерживает свой престиж. Потому-то он и поговаривает: «Знаешь пословицу: «Рыбу в воде не ценят, если её не видят». Я к чему — ты меня в воздухе смотри и цени, а не у библиотечной полки».

«В воздухе энергичен, а на земле ленив, в особенности когда за книгу сажают», — так характеризует Кузьму Ефимкова командующий соединением генерал Зернов. И Ефимков, в конце концов, терпит жестокое поражение. В один из лётных дней в течение нескольких минут рушится его слава опытного и умелого лётчика, способного выполнить любое задание. Попав в несколько усложнённую обстановку и не умея как следует обращаться с современной аппаратурой, установленной на его машине, он оказывается не в силах решить учебно-боевую задачу — перехватить в воздухе самолёт «противника». На разборе полётов командир эскадрильи майор Мочалов круто осу-

ждает поведение своего друга, раскрывает причины его неуспехов.

Весь коллектив эскадрильи огорчён неудачей Ефимкова. Суровое осуждение товарищей, их деловая поддержка, влияние партийной организации помогли Кузьме Ефимкову — прямому, душевному и горячо любящему своё дело человеку — победить своё упрямство и ложно направленное самолюбие, крепко взяться за учение и тренировку.

Случилось так, что в то время, когда майор Мочалов в паре с молодым лётчиком Спицыным находился в воздухе, нашу государственную границу, пролегающую за горным хребтом, нарушил иностранный самолёт. Советские лётчики получили по радио боевой приказ: следовать в этот район, дать сигнал нарушителю о посадке на нашем аэродроме, а в случае сопротивления открыть огонь. Выполняя приказ, Мочалов и Спицын приближаются к самолёту-нарушителю. Экипаж иностранной машины, не подчиняясь сигналам, пытался уйти за линию государственной границы. Наши истребители умелым манёвром отрезали ему путь. Воздушный стрелок иностранного самолёта открыл огонь по советским машинам. Следуя приказу с командного пункта, Мочалов и Спицын привели в действие мощные пушки, установленные на истребителях. Самолёт-нарушитель с резким снижением пошёл к земле. Лётчикам видно, как от него отделились чёрные точки и повисли на куполах парашютов. На земле непрошенных гостей встретили пограничники.

Перехват иностранного самолёта-нарушителя занял много времени. На самолётах Мочалова и Спицына, едва они достигли хребта, иссякло горючее. Лётчикам пришлось идти на вынужденную посадку. К счастью, в этом районе оказалась ровная площадка, оборудованная в горах геологами-изыскателями. На неё-то и приземлились машины. Здесь, в горах, вдали от населённых пунктов, командир эскадрильи и его подчинённый, голодая и страдая от холода, провели несколько суток. Снегопады и туман, закрывший горы, отрезали случайную посадочную площадку от внешнего мира.

И вот тут-то Кузьма Ефимков смог снова во всю силу проявить своё лётное мастерство, умноженное новыми знаниями. Генерал Зернов поручил ему, несмотря на край-

не сложные метеорологические условия, вылететь на поиск Мочалова и Спицына, с которыми несколько суток не было связи. Искусно обращаясь с техникой, лётчик уверенно пробил плотную толщу облаков и, выйдя в район главного хребта, разыскал потерпевших бедствие. Сбросив им тук с продовольствием, тёплыми вещами, аптечкой и запиской: «Ребята, держитесь, помощь близка. Вами гордится вся часть», — Кузьма Ефимков радировал на землю о том, где именно находятся лётчики и самолёты. Вскоре сюда добрались альпинисты.

Кроме Сергея Мочалова, Кузьмы Ефимкова, Бориса Спицына, генерала Зернова и замполита Оботова, описанных довольно подробно, в повести есть много других лётчиков и авиационных командиров; но они очерчены более слабо. Есть в книге и не-

мало сцен сухих, невыразительных, несущих чисто служебную роль.

Взяв безусловно интересную тему и привлекая для её разработки богатый жизненный материал, Г. Семенихин, к сожалению, не вполне справился с художественно-изобразительными задачами. Книга написана неровно, многие её места больше напоминают расширенный газетный очерк, нежели полновесные части единого художественного произведения. Язык недостаточно выразителен — очень часто герои разговаривают друг с другом правильными, но неяркими и однотонными фразами.

Пожелаем автору, чтобы он как писатель проявил в своей работе ту настойчивость и взыскательность, которые являются неотъемлемым качеством лётчиков, живущих и действующих в его повести.

Полковник Н. ДЕНИСОВ.

★

### «Энеида» И. П. Котляревского на русском языке

Русский перевод шуточной и в значительной мере сатирической поэмы И. П. Котляревского «Энеида», с которой начинается своё летосчисление новая украинская литература XIX—XX столетий, появляется впервые. А ведь первое издание поэмы увидело свет свыше полутора столетий тому назад! Почему же до сих пор это популярнейшее произведение не привлекло внимания русских поэтов-переводчиков?

Было много причин. Основная — следующая: полагали, что вся суть, вся прелесть украинской «перелицовки» вергилиевой поэмы заключается в том, что «перелицовка» эта написана на украинском языке. С переводом, мол, вся прелесть, вся суть утрачивается. Высказывалась и такая мысль, что русский переводчик должен будет поневоле возвратиться в какой-то степени к той русской трагедийной «Энеиде» Осипова, которая оказала известное влияние на Котляревского не только в смысле построения поэмы (здесь, впрочем, и Осипов и Котляревский следовали за Вергилием), но и в языке, стиле, характере изложения.

Признаюсь, я и сам долгое время колебался в вопросе о целесообразности рус-

ского перевода украинской «перелицовки». Теперь я изменил своё мнение.

Прежде всего «Энеида» Котляревского не только шуточно-сатирический перепев классической поэмы на украинском языке, но и, так сказать, переложение древнеримского образца на нравы и черты украинского общества XVIII столетия, с довольно сильной обличительной струёй, с изумительным богатством бытовых красок.

Далее — осиповская «Энеида», как это не раз уже отмечалось и как показывает на убедительных примерах автор вступительной статьи к рецензируемой книге И. Ерёмин, не может быть даже отдалённо сравнена с «Энейдой» Котляревского по художественной силе и идейной глубине.

Сверх этого следует вспомнить и высказывание «Отечественных записок» (1839), приводимое И. Ерёминим:

«Коренные русские, читавшие «Энеиду» Котляревского, хотя и вполнину понимали её (подчёркнуто мною. — М. Р.), однако ж дивились и чудному языку её и остроумию автора, между тем как переделка «Энеиды» на великорусское наречие Осипова, совершенно им доступная, наводила глубокий сон».

«Вполнину понимали...» Одним этим уже оправдывается стихотворный перевод украинской «Энеиды» на русский язык. Зачем

И. П. Котляревский. «Энеида». Перевод с украинского И. Бранкина. Государственное издательство художественной литературы, М. 1953.

«понимать вполнину», когда можно понимать всё? Дело только в художественной и идейной верности перевода, дело в том, как-то будет перевод, даст ли он правильное и более или менее полное представление о подлиннике, произведёт ли он на читателей такое же впечатление, какое производит оригинал.

Эти соображения могут быть пополнены и таким: классическое произведение украинской литературы должно стать достоянием всех народов Советского Союза, и для этого единственное орудие — русский язык.

И. Бражнин взял на себя большую задачу. И он с ней, в общем, справился. Украинская «Энеида» не потеряла в русском переводе своих красок, своего звучания, своего «веяния». Перевод (под редакцией Н. Брауна и А. Прокофьева) сделан любовно и тщательно.

Возьмём, к примеру, начало поэмы у Котляревского:

Эней був парубок моторний  
І хлопець хоть куди козак,  
Удавсь на всеє зле проворний,  
Завзятіший од всіх бурлак.  
Но греки як, спаливши Трою,  
Зробили з неї скирту гною,  
Він, взявши торбу, тягу дав;  
Забравши деяких троянців,  
Осмалених, як гиря, ланців,  
П'ятами в Трою наживав.

У Бражнина:

Эней детина был проворный  
И парень — хоть куда козак.  
На дело злой, в беде упорный,  
Отчаяннейший из гуляк.  
Когда спалили греки Трою,  
Сровняв её навек с землёю,  
Эней, не тратя лишних слов,  
Собрал оставшихся троянцев.  
Отплетых смуглых оборванцев,  
Котомку взял и был таков.

Удачей переводчика следует считать и знаменитое сатирическое описание ада, куда спускается с Сивиллой Эней (третья часть поэмы). Вообще перевод верен подлиннику. Текстуральной точности от поэтического перевода могут требовать только люди, не понимающие сущности дела. С ними и спорить не приходится.

Любопытно, между прочим, как передаёт И. Бражнин «бурсацкую речь», построенную на том, что (как формулирует автор примечаний В. П. Петушков) «половина сдного слова переносится в другое, из ко-

торого, в свою очередь, переносится слогдва в первое слово». Речь идёт о начале четвёртой части — «Борщів як три не поденькуеш» и т. д. Оно выглядит так:

Харча как три не поденькуеш,  
Мутердце так и засердчит;  
И враз тоскою закишкнешь,  
И в бучете забрюхорчит...

Здесь переводчик проявил много остроумия и изобретательности. Подлинным весельем веет от таких сочетаний, как «что чепухиться с возитою» (что возиться с чепухой), «не басню кормом соловьят» и т. п.

Идейно-общественное содержание поэмы Котляревского — человека, близкого к переловым движениям своего времени, друга будущего декабриста М. Н. Новикова и великого основоположника русского (и украинского, кстати) реалистического театра М. С. Щепкина — передано И. Бражниным с надлежащей полнотой, без каких-либо ощутительных нарушений общего тона.

Есть у меня, однако, и некоторые замечания, некоторые сомнения по поводу отдельных мест перевода. Будучи принципиальным противником того метода, который обозначают довольно неуклюжим термином «буквализм», я всё же не могу не привести нескольких примеров нарушения стиля и характера подлинника.

Так, мы читаем:

Но тут Юнона, сучья дочка,  
Вдруг раскудахталась, как квочка,  
Что вовсе не к лицу богам...

Минувя несколько сомнительное с точки зрения принадлежности его к русскому языку слово «квочка», приведу процитированные строки в украинском подлиннике:

Но зла Юнона, суча дочка,  
Розкудкудакалась, як квочка,—  
Енея не любила — страх...

«Что вовсе не к лицу богам» — сочинено автором перевода. Без таких «сочинений» стихотворный перевод невозможен, но сочинено-то неудачно. Всё дело в том, что для Котляревского (как и для Вергилия) ничто человеческое не чуждо богам. Поэтому данная сентенция выглядит в контексте перевода как чужеродное тело.

На той же странице описываются сборы Юноны, решившей нанести деловой визит Эолу:

Готовя недругу расправу,  
Впрягла в резные санки паву,  
Моментом прибрана коса;  
Корсет и юбку нацепила...

Не говоря уже о том, что вряд ли можно «нацепить» корсет и юбку, решительное возражение вызывает у меня это не очень русское, а главное, совсем не в духе Котляревского и его эпохи слово «моментом».

Весьма жаль, что пропало в описании бегства ветров от разгневанного Эола колоритное «До ляса мов ляхи шатнулись».

«Все пили снова, ели снова» вряд ли годится для описания первого пира троянцев у Дилоны. Котляревский пишет: «Тут їли різні потрави».

Посланный Зевсом Меркурий так обращается (у И. Бражнина) к загулявшему Энею:

«Скотина, всё глушишь сивуху?» Никакой «скотины» в подлиннике нет, а главное, слово это в устах гонца (хотя бы и посланного Зевсом) неуместно.

В другом месте читаем:

Эней правдивый был парняга,  
Увидевши такой афронт  
И глядя, как врагов ватага  
Переменила сразу фронт,  
Вскричал...

Ни «фронта», ни «афронта» у Котляревского нет и быть не могло.

Нам кажется, далее, что переводчик несколько злоупотребляет «украинизмами» (умеренное пользование можно бы, полагаю, допустить). Мы встречаем у него такие сомнительные в русском тексте слова и обороты, как «с дивчатами заженухался», «тата милый» (в смысле—милый отец, батюшка), «балакали» и т. п.

Ещё большее сомнение вызывают у меня слова, явно взятые из современной нам, во всяком случае чуждой эпохе Котляревского лексики:

Горилной быстро накачалась.  
Пирушки, игры, пляски, пьянка.

Слово «пьянка», насколько я знаю, вошло в русский язык всего несколько десятилетий тому назад.

«А там пошли пиры, банкеты». Мы можем себе представить запорожские (ведь троянцы выведены Котляревским в виде запорожцев) «бенкети» (пиры, гулянья, пиршества, кутежи), но запорожские «банкеты» — нечто невозможное.

Эти примеры — их можно было бы, разумеется, набрать больше — приведены мною с той целью, чтобы И. Бражнин учёл то, что найдёт для себя приемлемым, готовя свою работу для переиздания. А надобность в переиздании, думается, возникнет скоро: малый тираж нынешнего издания вызывает недоумение читателя.

Что касается содержательной вступительной статьи И. Ерёмкина («И. П. Котляревский и его время»), то у меня есть к ней только два замечания.

Говоря о том, что Котляревский в своей «шуточной» поэме даёт правдивую картину украинской жизни XVIII века и не раз переходит из юмористического тона в серьёзный, И. Ерёмкин упускает из виду те патристические места, в которых и следа не остаётся от бурлескной манеры. Таково, например, знаменитое высказывание в пятой части поэмы:

Где к родине любовь вскипает,  
Там сила вражья отступает,  
Там груди крепче медных лат.

В подлиннике:

Любовь к отчизні де героїть,  
Там сила вража не устоїть,  
Там грудь сильніша од гармат.

В конце статьи, правильно говоря о том, что Котляревский своей «Энеидой», написанной четырёхстопным ямбом, нанёс решительный удар школьной силлабике, И. Ерёмкин утверждает:

«После Котляревского никто из украинских поэтов не возвращался назад, к давно пережившему себя силлабическому стиху...»

Это не совсем так. Значительная часть поэтического наследия Шевченко написана силлабическими размерами. Правда, эти размеры восходят не так к школьной поэтике, как к народным песням.

Выход «Энеиды» в переводе И. Бражнина, снабжённой скромным по размерам, но весьма полезным и толковым «аппаратом» и хорошо оформленной, можно и следует приветствовать. Особенно хочется отметить, что книга эта вышла в дни, когда русский и украинский народы и все народы Советского Союза празднуют трёхсотую годовщину воссоединения Украины с Россией.

М. РЫЛЬСКИЙ.



## Патриотическая пьеса Ивана Франко

**Ж**урнал «Советская Украина», выходящий в Киеве на русском языке, помещает на своих страницах выдающиеся произведения украинской литературы дооктябрьского периода под постоянной рубрикой «Новые переводы украинской классики». В минувшем году под этой рубрикой были напечатаны: драматическая поэма Леси Украинки «Каменный влостелин» в переводе Н. Ушакова, драма-сказка в стихах Ивана Франко «Сон князя Святослава» в переводе Леонида Хинкулова и несколько стихотворений Юрия Федьковича в переводе Гр. Петникова.

За последнее время количество новых переводов украинской классики на русский язык возросло; однако же ряд весьма значительных явлений из истории богатой и самобытной литературы братского народа ещё недостаточно известен русскому читателю. Так, например, даже с выходом на русском языке первого собрания сочинений Ивана Франко в пяти томах многостороннее творчество этого замечательного украинского поэта и романиста, драматурга и новеллиста, критика и историка литературы, публициста и фольклориста, учёного и политического деятеля далеко не в полной мере раскрыто перед русским читателем.

Не вошла, между прочим, в русский пятитомник и драматическая сказка Ивана Франко «Сон князя Святослава», посвящённая патриотической теме единства Руси и представляющая особый интерес в год всенародного празднования трёхсотлетия воссоединения Украины с Россией. Основная идея «Сна князя Святослава» — необходимость единства Руси и гибельность её расчленения, вековечное стремление изших народов к тесному союзу. Хотя действие драматической сказки происходит во времена Киевской Руси, в XII веке, когда древнерусская народность ещё не разделилась на отдельные национальности — русскую, украинскую и белорусскую, — идея единства выражена Иваном Франко с большой силой.

Ни одно из действующих лиц драмы не является в настоящем смысле слова историческим лицом: все персонажи её — это обобщение знакомых нам из истории об-

разов и, в ещё большей степени, обобщение определённых социальных идей. Сказочный сюжет представляет собой разработку народных легенд «Про царя, що ходив красти» и «Повесть о едином королі, который ходив со злодеем в ночи красти»; если бы был красти не пошёл, то бы был изгинул злою смертию».

Главный герой пьесы — шестидесятилетний Святослав, киевский князь, глубоко и искренне преданный своему народу, своему государственному долгу. К Святославу приходит со своими малолетними детьми Предслава — жена боярина Овлура, превращённого в изгоя за убийство боярина Добрыни. (Позднее выясняется, что Овлур убил Добрыню, узнав от него о предательском умысле на Святослава, но, не имея доказательств, вынужден был молчать на суде.) Предслава хочет сообщить князю какое-то важное известие, но он откладывает разговор до утра. После ухода Предславы князь засыпает, и во сне ему является видение; это не выходец из потустороннего мира, а воплощение всех лучших чувств и побуждений самого Святослава, это всё «...что светом сердце, а дух добром высоким озаряло, всё, что любовь и радость возбуждая, внушало лучшие порывы и желанья». Внешним своим обликом видение это напоминает Святославу всех самых любимых им людей. Повинуясь своему видению, Святослав тайно покидает Киев и бежит в лес, чтобы стать разбойником. Его внутренний голос, персонализированный в его видении, говорит ему:

А если не послушаешься — помни:

Несчастье страшное весь край постигнет!

Следующее действие переносит зрителя в лес вблизи Киева; Святослав встречается с Овлуром, который стал атаманом и принимает в свою разбойничью дружину неузнанного князя. Овлур берёт с собою Святослава в отчаянное предприятие — грабить замок Гостомысла, воеводы, приближённого князя.

В третьем действии Гостомysl, лицемерный и себялюбивый царедворец, готовя свою дружину к бою и беседуя со своей женой, раскрывает предательский умысел: нынче ночью умертвить Святослава и захватить власть в Киеве, чтобы пере-

Иван Франко. «Сон князя Святослава». Драматическая поэма в пяти действиях. Журнал «Советская Украина» № 9 за 1953 год.

дать княжество жестокому и коварному Всеславу, чьи войска уже приближаются к городу. Овлур, незаметно проникший в спальню Гостомысла, узнаёт о заговоре. Тогда он оставляет свой замысел — ограбить ненавистного ему воеводу, единомышленника предателя Добрыни. Теперь перед Овлуром высшая цель — спасти князя, который отстаивает русское единство и возглавляет оборону против воинственных соседей.

Четвёртое действие — снова в лесу. Перед зрителем проходят колоритные фигуры разбойников — простых смердов, бежавших от тяжкой феодальной эксплуатации и всю свою ненависть обращающих против боярства. Возвратясь из замка Гостомысла и получив дополнительные сведения от Кунаша (пойманного разбойниками приближённого Гостомысла), Овлур и Святослав отправляются со своей ватагой в Киев.

Развязка происходит в пятом действии: Святослав с помощью Овлура и его разбойничьей дружины подавляет заговор Гостомысла, народ карает изменников и готовится во всеоружии встретить войска «братоубийцы Всеслава». Драма заключается восклицанием Овлура, выражающим основную идею всего произведения: «Смерть всем, кто распрями терзает Русь!»

Автор перевода «Сна князя Святослава» на русский язык, Леонид Хинкулов, в предосланной драме вступительной статье справедливо подчёркивает, что Иван Франко пользуется исторической легендой, чтобы и в этой форме пропагандировать мысль, лежащую в основе ряда его произведений: мысль о благотворности единения народов Украины и России в их борьбе за свои права.

Драма «Сон князя Святослава», направленная против буржуазных националистов, которые стремились посеять разлад между русским и украинским народами и ориентировать Украину не на единение с Россией, а на «запад», явилась во время своего создания (1895) ярким политическим выступлением на жизненную для судеб Украины тему.

В своей вступительной статье Леонид Хинкулов убедительно связывает работу Ивана Франко над «Сном князя Святослава» с его (сделанным в то же время) переводом на украинский язык поэмы

Н. Г. Чернышевского «Гимн деве неба». Драма о Святославе была впервые опубликована в издававшемся Иваном Франко журнале «Житте і слово», в книжках 1-й и 2-й за 1895 год, а свой перевод «Гимна деве неба» Иван Франко напечатал в книжке 6-й за тот же год. Историки литературы до сих пор не обращали внимания на этот знаменательный факт. Между тем, указывает Л. Хинкулов, «идея поэмы Чернышевского — «легче рабства смерть», как и отразившийся в ней непреклонный дух народа, отстаивающего свою свободу и независимость, — идеи, близкие Ивану Франко и непосредственно воплотившиеся в его драматической сказке».

Подобно Чернышевскому, Иван Франко использует легендарно-историческую канву драматической сказки лишь как художественное средство для образного выражения своих политических взглядов на задачи служения народу, народным интересам.

Древнерусский сюжет драмы Франко (как и древнегреческий — в поэме Чернышевского) не только не уводит поэта-борца от задач современности, но позволяет ему необыкновенно ярко и выразительно донести до читателя самые актуальные идеи народного единства в борьбе за счастье и отразить презрение трудящихся к эксплуататорам, глубокую уверенность народа в торжестве демократических сил.

«Сон князя Святослава» построен с предельной драматической напряжённостью. Действие всех пяти актов развёртывается на протяжении одной ночи: первый акт начинается вечером, последний заканчивается на заре следующего дня. За этот отрезок времени перед читателем не только проходит целая цепь событий, связанных в крепчайший сюжетный узел, но и раскрываются разнообразные человеческие характеры, вырисовываются сложные жизненные судьбы и глубокие социальные конфликты.

Основные положительные персонажи пьесы объединяются в стремлении выполнить свой патриотический долг, спасти Русь от измены; они объединены идеей верности родине, народным и государственным интересам. Недаром Овлур главную заслугу князя Святослава перед страной усматривает в том, что Святослав, легендарный народный герой (вроде «мужицкого короля» польских легенд),—

...нас водил  
 На половцев и на Литву, и всюду  
 Своим мечом писал Руси он славу!  
 Порядок он завёл у нас в стране...  
 ...бояр он вправду обуздал,  
 Всем воеводам он подрезал крылья...  
 ...ему за это лишь спасибо!

(Действие IV, явление V)

Святослав тем и силён, что за него стоит народ. Когда б киевляне прослышали о заговоре Гостомысла, они тотчас «ударили бы в колокол да всех бы... тут же порубили на капусту» — всех изменников, которые ради своих личных выгод, ради удовлетворения своего властолюбия задумали продать Русь иноземцам. В монологе Святослава воспроизводится широкая картина мирного процветания, к которому обязан стремиться руководитель страны:

Русь трудится. По тихим хуторам,  
 По укреплённым городам народ  
 Работает, достатки умножая.  
 Из дальних стран, из-за моря купцы  
 К нам едут. Из Моравии, от греков,  
 Из Индии, Венеции везут  
 На Русь свои сокровища...

(Действие I, явление V)

Таков идеальный порядок, являющийся целью правления и мерилom его достоинств. Однако же драматург весьма далёк от того, чтобы идеализировать управляемое Святославом государство и отождествлять чаемое с сущим. Судьба многих действующих лиц в этой пьесе обнажает классовые противоречия, не устранимые той справедливостью, дальше которой не может пойти князь. Разбойники, которых он во времена своего безмятежного княжения неумолимо преследовал как людей, извращённых по своей природе, оказываются мирными тружениками, мечтающими о возврате к семьям и труду; своеволие и жадность бояр, социальная несправедливость всего общественного устройства сделали их отщепенцами. Те строгие правила формальной справедливости, которые твёрдо усвоил Святослав, считая их основой доброго княжения, показывают свою недостаточность в том, что их может использовать изменник Гостомysl против верного Овлура, а сам князь лишь в час крайней опасности для него самого и для государства оказывается способен различить истину от лжи. И напрасно князь Святослав долго тешил себя мыслью, что он сам не виновен ни перед кем из под-

данных в несправедливости. Когда он говорит это нищей, измученной и всё-таки верной жене изгоя Предславе, она отвечает ему с горькой насмешкой:

Да, это так: князя всегда безгрешны!  
 Они ведь не обидают никого.  
 А если явится охота погубить —  
 Тотчас найдут услужливых холопов,  
 Что на душу л...чо возьмут их грех!

(Действие I, явление II)

Следует помнить, что «Сон князя Святослава» — драма-сказка, реалистическая по содержащейся в ней идее, но поэтически написанная в духе революционного романтизма; в ней не надо искать верности исторических черт. Несомненно, не историческому боярину древней Руси принадлежат те мысли, которые высказывает Святославу Овлур, определяя, на чём основана его крепкая связь с разбойниками, избравшими его своим атаманом:

**Овлур.**

...наш закон — присяга на мече.  
 Присяга верным быть всегда, до  
 гроба.

И мне, и всем товарищам своим...  
 Ни муки лютые, ни даже смерть —  
 Ничто не сможет нас склонить к измене.

...Я ведь  
 Такою же присягой тоже связан.  
 И я для дела общего готов  
 Отдать себя всего. И только то  
 Другим приказываю, что для всех  
 Добром считаю, или то, что все  
 Предложат...

(Действие II, явления IV и V)

**Князь.**

Проворные ребята у тебя!

**Овлур.**

Я им товарищ, брат — вот почему!  
 И знают хорошо они, что сам я  
 Себе наживы не ищу, а в деле  
 Опасно — первый грудь подставляю...

(Действие II, явление VI)

Образ Овлура с точки зрения исторической верности — несомненная идеализация. Его устами высказаны демократические взгляды на взаимоотношения между правительством и народом, выраженные так, как они формулировались шесть-семью столетиями позднее. Однако неисторична здесь именно форма выражения, самая же мысль передаёт извечный народный идеал хорошего, справедливого правления. Исторически верно, в широком смысле слова, и то, что народ в пьесе Франко, несмотря на

не устранённый Святославом антагонизм между имущими и неимущими, всё же поддерживает Святослава, укрепляющего централизованное государство, борющегося против произвола себялюбивого боярства и защищающего государство от внешних врагов. Мы знаем из истории, что бояре, пытавшиеся отстоять свои «вольности», сопротивляясь прогрессивному развитию государственности, обращались, подобно Гостомыслу, к помощи чужеземных властителей, продавая им своё отечество. Предатель Гостомысл, зная, что в своих замыслах измены Руси он не может опереться на массы, идёт на прямой обман народа. Боярин Путята, соучастник Гостомысла, предостерегает его:

Ты знаешь, воевода, киевляне —  
Чудной народ! Они за Святослава  
Пойдут в огонь и в воду. Вдруг они  
Проведают, переполох поднимут...

И Гостомысл на это может возразить лишь одно: нужно постараться обойти народ, усыпить его бдительность до той минуты, когда авантюристический заговор будет приведён в исполнение.

Когда уж будет поздно, и не сможет  
Никто назад то дело повернуть,  
Что сделано!

(Действие III, явление I)

«В противопоставлении этих двух в корне враждебных друг другу начал,—справедливо пишет в своей статье к переводу Леонид Хинкулов,—основа драматургического конфликта драмы. Если Святослав, Овлур, Предслава исходят в своих действиях из принципа верности своему долгу, служения отчизне, самоотверженной борьбы за благополучие и могущество страны, то поступки Гостомысла, Запавы, Путяты определяются их эгоистическим стремлением к власти, полным пренебрежением к народной воле и к задачам укрепления государства. Победа начала народного, исторически положительного и поражение сил реакционных, отрицательных — характерная черта «Сна князя Святослава», отражающая глубокую веру Ивана Франко в торжество народа и его правого дела».

Эта идея выражена в «Сне князя Святослава» с такой убеждётельностью и страстью, что, мы уверены, эта пьеса, представленная в театре, будет с интересом принята советским зрителем.

Публикация русского перевода пьесы И. Франко выполнена журналом «Советская Украина» с достаточной тщательностью. Статья Л. Хинкулова содержит краткие, но интересные сведения о творческой истории «Сна князя Святослава», о значении этой пьесы в творчестве И. Франко и в украинской литературе. Правильно определена в статье и патриотическая идея произведения. Однако некоторые положения предисловия представляются спорными. Известно, что Иван Франко был страстным поклонником драматургии Пушкина и в последние годы своей жизни выполнил большой труд, переведя на украинский язык все драматические произведения Пушкина и издав их со своим обширным комментарием. Вероятно, этот факт натолкнул Л. Хинкулова на мысль, будто именно к пушкинским драмам восходят художественные принципы «Сна князя Святослава». Конкретным анализом это мнение не подкреплено и, боимся, не может быть подкреплено, так как романтический характер поэтики этой пьесы выражен чрезвычайно ярко.

Сомнительно также следующее литературно-историческое обобщение Л. Хинкулова. Свою интересную и убедительную параллель между «Сном князя Святослава» и переведённым Иваном Франко на украинский язык «Гимном деве неба» Н. Г. Чернышевского Л. Хинкулов завершает выводом, что, используя легендарно-историческую канву «как материал для выражения собственных революционно-демократических воззрений автора», Иван Франко «идёт по пути русских революционных демократов». Такой вывод представляется, по меньшей мере, поспешным: обращение к легендарной, сказочной форме есть лишь одна из форм, которыми пользовалась революционно-демократическая литература, притом отнюдь не наиболее характерная форма.

Л. Хинкулов в своём переводе драматической сказки Ивана Франко правильно передаёт стиль подлинника, без нужды не модернизируя язык и не увлекаясь его архаической стилизацией. Переводчику удалось сохранить диалог, выдержанный в духе «высокой трагедии», но включающий также и элемент бытовой, простонародный.

Однако есть в переводе Л. Хинкулова и неудовлетворительные по качеству стихи, есть и прямые оплошности.

Например, князь Святослав говорит в монологе:

Где ж это я? Не видно ни черта!  
Лишь шум стоит глухой, как рев морской.  
(стр. 107)

Разностильность этих двух соседних строк не требует разъяснений.

Есть тёмные места. Так, князь Святослав говорит:

Ты незабвенная моя дочурка,  
Ниспосланная богом нам на радость,  
Но на печаль и тяжкое страданье  
Спустила три года призванная снова  
Всевышним...  
(стр. 104)

Нельзя понять, на какие «печаль и тяжкое страданье» призвана дочь Святослава. На самом деле речь идёт, очевидно, о её родителях, о Святославе и его жене.

Кое-где попадаетесь досадная модернизация:

**Овлур:**

...Тут, видишь, это дело  
Характер политический имеет...  
(стр. 111)

Несколько раз встречается слово «план», хотя в общем строе речи уместнее были бы «замысел», «умысел».

В целом перевод, выполненный Леонидом Хинкуловым, является, тем не менее, серьёзной творческой удачей. Мы лишь потому считаем необходимым указать на его недостатки, что общий уровень переводов украинских классиков на русский язык настолько повысился, что и требования к этим переводам должны возрасти. Жаль, что сами переводчики, а также редакции не всегда руководятся этой мыслью.

В журнале «Советская Украина» помещены в переводе Гр. Петникова поэма «Довбуш» и два стихотворения — «Рекрут» и «Братья опрышки, гайда за чару» Юрия Федьковича, одной из оригинальнейших фигур в украинской литературе. К сожалению, эти переводы не позволяют читателю

представить себе подлинный облик поэта. Гр. Петников произвольно переделывает стихотворения, сокращая или дополняя их (например, в песне «Братья опрышки, гайда за чару»), оставляет в русском тексте без перевода многие выражения и обороты, совершенно непонятные русскому читателю: «кресак», «легинь» и т. п. В переводе встречаются такие странные фразы:

С молодцов уже тыщей двести  
Довбуш движется тропами.

Или:

Мои двери тесовые,  
И не вору для разлома.

В большинстве случаев в переводе искажены чёткие размеры стихов Федьковича. Например, песня «Рекрут» в оригинале имеет следующий ритм:

Насіпали на р'ученьки  
Сирібі землі.

Этот размер точно сохраняется на протяжении всех восьми четырёхстрочных строф. Ничего подобного нет у Гр. Петникова, произвольно прибегающего к комбинациям различных (по большей части хорейских) стоп, полностью уничтожающего строфическое деление и прочее. При переводе поэмы «Довбуш» Гр. Петников в ряде мест прибегает к белому стиху, тогда как в оригинале стих рифмованный (например, в концовке поэмы). Таким образом, эти переводы, несмотря на то, что они принадлежат опытному поэту, никак нельзя признать удачными.

Редакция журнала «Советская Украина» делает полезное дело, печатая новые переводы из украинских классиков. Пожелаем журналу более тщательной работы по редактированию публикуемых переводов. Следует также пожелать, чтобы все переводы сопровождались вступительными статьями, как это сделано при публикации «Сна князя Святослава» Ивана Франко.

**М. ВОВЧЕНКО.**

## Творческий путь Некрасова

В истории нашей литературы есть немало серьёзных исследований, посвящённых творчеству и жизни Н. А. Некрасова. Однако оставалась неудовлетворённой потребность педагога, лектора, студента, массового читателя в книге, которая давала бы в более или менее популярном изложении обзор всего творческого пути великого писателя и общественного деятеля. Пробел этот в значительной степени восполняет последняя работа В. Е. Евгеньева-Максимова.

В ряде предшествующих работ о Некрасове В. Евгеньев-Максимов сосредоточивал своё внимание на биографических фактах, не избегая при этом мелочного «биографизма», то есть тенденции к узкому истолкованию произведений Некрасова на основании событий его личной жизни. Замечания критики были учтены исследователем; в рецензируемой книге развитие творчества Некрасова рассматривается как художественное отражение общественной жизни России. Выясняя особенности некрасовской поэзии, автор связывает их с общественной позицией Некрасова, с тем этапом русского революционного движения, который нашёл своё выражение в произведениях поэта.

В. Евгеньев-Максимов показывает, как именно у Некрасова в его поэзии «гражданское... становилось личным, а личное сплошь и рядом приобретало характер гражданского» и как на этой основе возникало в поэзии взаимопроникновение лирического и эпического начал, как обогатилось благодаря Некрасову представление о возможности выразить в лирике сложные проблемы общественной жизни. Даже в тех случаях, когда лирика Некрасова непосредственно не ставит гражданских вопросов, в этой «поэзии сердца» (по терминологии Чернышевского) «ощутительно проявляется психология нового человека, личность которого развивалась как продукт новых социальных и классовых влияний и воздействий...» Бесспорным в этом свете представляется объяснение В. Евгеньевым-Максимовым глубокого интереса Чернышевского к интимной лирике Некрасова, его восхищения ею. Можно установить лишь тематические, но

никак не идейные различия между лирическими произведениями Некрасова разных жанров.

Такой подход В. Евгеньева-Максимова к лирике Некрасова позволяет ему по-новому и гораздо глубже, чем прежде, анализировать целый ряд стихотворений, раскрыть их обобщающий смысл, обнаружить «пространство» (пользуясь выражением Гоголя) некрасовского слова.

Жаль, однако, что для доказательства этой широты обобщений В. Евгеньев-Максимов подчас опирается не столько на анализ образа лирического героя, на общий художественный строй стихотворения, сколько на некоторые частные элементы и детали; автор как бы не доверяет силе и действенности того основного принципа, с которым он сам подходит к некрасовской лирике. Например, анализ стихотворения «Перед дождём» построен главным образом на использовании слова «жандарм», а не на раскрытии общего смысла стихотворения. В. Евгеньев-Максимов забывает, что в каноническом тексте это слово отсутствует, но стихотворение не утрачивает и без него своего общего содержания.

В ряде случаев автор допускает неточные формулировки, противоречашие (в разных случаях по-разному) его собственному толкованию некрасовской лирики и принципу подхода к ней. Так, о том же стихотворении «Перед дождём» автор говорит, что его можно рассматривать «как аллегорическое изображение николаевской России». Но речь ведь здесь должна идти вовсе не об аллегории, а о «пространстве» некрасовского образа, о едином устремлении всей некрасовской лирики, о причастности к этому единству всех стихотворений Некрасова, в том числе и посвящённых восприятию природы.

В. Евгеньев-Максимов пишет: «Изображать, и так часто изображать, размолвки и ссоры между любящими — ведь это значит воспевать не поэтическую, а прозаическую сторону любви. В стихотворении «Мы с тобой бестолковые люди» есть упоминание о неизбежности «прозы в любви». Этой «прозе в любви», с её постоянными размолвками и ссорами, с её взаимным мучительством, с её несчастными радостями, и суждено было занять значительное место в любовной лирике Некрасова, что естествен-

В. Е. Евгеньев-Максимов, «Творческий путь Н. А. Некрасова». Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1953.

но и закономерно, ибо одной из характернейших особенностей его творческого метода являлось стремление изображать ту часть правды жизни, которая преимущественно определяется понятием «проза жизни».

И здесь автор явно противоречит себе. Дело вовсе не в том, что Некрасов стремился обязательно изображать какую-то вечную «прозу жизни». Он раскрывал переживания любви у своего лирического героя, выражая сложность и противоречивость общественного положения и психологии людей, представлявших разночинский этап освободительной борьбы. Отсюда, а вовсе не из абстрактной установки на изображение «прозы жизни», возник новый подход Некрасова к содержанию любовной лирики.

Содержательные страницы посвящены в книге В. Евгеньева-Максимова анализу некрасовских поэм. Автор раскрывает их глубокую внутреннюю связь с эпохой. Хотя время действия в большей части этих поэм не может быть приурочено к какому-нибудь строго определённом историческому периоду, их идейное содержание глубоко конкретно, их связь с определённым временем имеет внутренний характер. Автор удачно показывает это внутреннее выражение времени в содержании поэм «Коробейники», «Мороз Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо».

Наиболее интересными представляются нам в этом смысле наблюдения автора над эволюцией замысла «Кому на Руси жить хорошо». В. Евгеньев-Максимов справедливо отмечает связь этой эволюции с движением русской жизни в 60—70-х годах. Действительно, в разных частях «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов воспроизвёл различные ступени, различные этапы исторического развития народного сознания в канун реформы и в пореформенное время. Жаль, что автор не довёл раскрытие в этом аспекте поэмы «Кому на Руси жить хорошо» до конца и не выяснил конкретное содержание тех этапов развития народного сознания, которые запечатлены в поэме. Это было бы чрезвычайно важно, так как принципы анализа поэм Некрасова вообще и сложнейшей из них — «Кому на Руси жить хорошо», в частности, намечены В. Евгеньевым-Максимовым верно.

Нельзя не упомянуть, что и здесь встречаются отдельные формулировки, противо-

речащие общим принципам анализа. Так, например, совершенно абстрактным и никак не связанным со всем ходом рассуждений автора выглядит такое утверждение: «Одно из основных отличий малой поэмы от большой заключается в том, что в малой любовная фабула увязана с острым, хотя и несколько беглым показом социальной жизни, а в большой социальная жизнь показана во всём её многообразии».

Вряд ли прав В. Евгеньев-Максимов, ссылаясь на обращение Некрасова к декабристской теме в годы подъёма народолюбивого движения и вызревания революционной ситуации лишь невозможностью по цензурным условиям прямо показать революционных деятелей 70-х годов. Здесь следовало прежде всего опереться на известное указание К. Маркса, что только революционная борьба пролетариата может последовательно выступить и действительно выступает в своих собственных одеждах. Вообще В. Евгеньев-Максимов при истолковании ряда моментов в творчестве Некрасова иногда склонен чрезмерно преувеличивать значение цензуры. Наши великие писатели умели и в подцензурной печати выражать революционно-демократические идеи, и в этом была одна из их немалых заслуг.

Традиции некрасовской сатиры, как и традиции Гоголя и Щедрина, могут и должны сыграть значительную роль в развитии советской сатирической литературы. В. Евгеньев-Максимов делает в рецензируемой книге один из первых шагов в изучении особенностей некрасовской сатиры, и это должно быть поставлено автору в заслугу, хотя неотчётливость и неопределённость теоретических представлений автора о сущности и формах сатиры помешали до конца решить поставленные здесь вопросы.

Так, по поводу «Псовой охоты» автор говорит, что это «не только сатирическое, но и бытовое стихотворение», как будто картины быта не могут совмещаться с сатирическим изображением. Или ещё: «Образ Агарина, помимо неполноценности общественного поведения героя, не лишён и чисто сатирических черт...» Здесь представление о сатире запутывается ещё более: сатирические черты оказываются как бы произвольным добавлением, а не определённым освещением реальных черт героя.

Неотчётливы теоретические представления автора и о сущности реализма. Это понятие трактуется в книге подчас слишком узко и иногда даже просто неправильно. «...Лирический подъём, проникающий первую главу («Коробейников». — Я. Б.), — пишет В. Евгеньев-Максимов, — не препятствует реалистическому показу героев. Уподобляя любовное свидание торгу купца с покупательницей («Продаёт товар купец, Катя бережно торгуется, всё боится передать» и т. д.), поэт тем самым напоминает о том, что Ваня не просто влюблённый юноша, но в то же время и коробейник, т. е. «торгаш», как он назван несколько ниже». Или о «Железной дороге»: «Хотя реалистический характер стихотворения и исключает возможность того, чтобы читатель поверил, что перед ним действительно мертвецы, вставшие из гроба, а не образы, созданные творческой фантазией автора, и мысль и чувство которого прикованы к страшной участи строителей дороги, всё же благодаря этому приёму сила производимого «Железной дорогой» впечатления чрезвычайно возрастает».

Эти и подобные этим примеры свидетельствуют об упрощённом понимании того, как и в чём проявляется реализм в художественной литературе, в частности — в поэзии.

Есть нечёткость у В. Евгеньева-Максимова и в определении понятия «революционный демократизм». Автор указывает, что «с середины 40-х годов поэзия Некрасова стала выражать идеи революционной демократии». В другом же месте он пишет: «...с 1858 года он (Некрасов. — Я. Б.) всё определённое и определённое начинает высказываться в революционном духе...» Если последнее утверждение правильно (а нам думается, что его следует признать таковым), то можно ли говорить о Некрасове предшествующего периода как о революционном демократе, не лишая при этом самое понятие «революционный демократизм» научной определённости?

Вызывает недоумение трактовка в книге понятия художественной формы. Автор анализирует творчество Некрасова, рассматривая форму и содержание в их единстве, раскрывая содержательное значение всех элементов формы. Но часто самое понятие формы, художественности он рассматривает чрезвычайно узко, невольно внушая читателю мысль, будто анализа формы в книге нет, что, к счастью, противоречит истинному положению вещей.

Например, после разбора основных образов поэмы «Саша», после характеристики особенностей композиции, своеобразного сочетания эпического и лирического начал автор пишет: «Заговорив о пейзажах в «Саше», мы тем самым затронули вопрос о художественной стороне этой поэмы». У читателя неизбежно должно возникнуть впечатление, что всё сказанное до сих пор никакого отношения к «художественной стороне» поэмы не имеет.

В отдельных случаях художественные оценки остаются недоказанными. Так, например, странно звучит мнение по поводу «Рыцаря на час», что «невозможно представить себе, чтобы другой размер мог так гармонировать с тревожным, мятущимся душевным состоянием лирического героя, как гармонирует с ним анапест в данном стихотворении». Утверждение это, вероятно, вообще не может быть доказано.

Новая книга В. Евгеньева-Максимова глубоко и серьёзно ставит самые важные вопросы, возникающие перед исследователем творчества Некрасова. Не все эти вопросы в книге решены; но самая постановка их плодотворна. Отраден тот факт, что эта книга, свидетельствующая о творческой энергии автора, написана учёным, отметившим недавно своё семидесятилетие и продолжающим обогащать нашу литературу новыми ценными разысканиями и новым освещением одного из важнейших периодов нашей истории.

Я. БИЛИНКИС.

★

## В древнем царстве Урарту

В Закавказье, и особенно часто на территории Армянской ССР, можно видеть холмы с остатками древних крепостных

Н. Моисеева, «В древнем царстве Урарту». Историческая повесть. Детгиз, М.—Л. 1953.

сооружений. Стены этих крепостей, некогда возвышавшихся над обрывистыми берегами рек и озёр, сложены из огромных, грубо обтёсанных камней, на которых кое-где ещё сохранились клинообразные надписи. В старину, когда история древнего мира



была известна главным образом из мифов и легенд, эти сооружения называли циклопическими, предполагая, что они построены великанами-циклопами, ибо трудно было себе представить, чтобы их сложили люди.

Кто же и когда соорудил эти крепости?

Их построили рабы Урарту — древнейшего на территории нашей страны рабовладельческого государства, существовавшего в Закавказье с IX по VI век до нашей эры.

Ещё в начале XX века почти ничего не знали об этом государстве. Только в советское время, особенно в годы после Великой Отечественной войны, археологам удалось прочесть в основных чертах древнейшую историю народов Закавказья, понять характер достигнутой ими по тому времени высокой культуры.

Из-под вековых наслоений земли освобождены фундаменты крепостей и дворцов, извлечены многочисленные сельскохозяйственные и ремесленные орудия, мечи, шлемы с тонкой художественной отделкой по металлу, бронзовые чаши, издающие при ударе даже сейчас, спустя две с половиной тысячи лет, чистый мелодичный звон, вырыты огромные, ёмкостью в 250 — 300 литров, карасы — глиняные горшки для хранения вина. По всем этим материальным остаткам культуры и скудным клинописям на камнях учёные изучают технику и степень развития производства в Урарту, а также общественно-политический строй этого государства.

Изучение это представляет большие трудности для историка и археолога. Однако ещё более сложные препятствия должен преодолеть писатель-художник, который пытается перенести в ту эпоху современного читателя. Важнейшие черты общественной жизни государства Урарту художник должен изобразить в реальных, конкретных образах. Для этого необходимо обладать не только превосходным знанием исторического материала, но и воображением, способным породить точное ощущение эпохи. Детали в подобного рода произведениях — почти полностью вымысел писателя, и требуется большое мастерство, чтобы сделать их и художественно и исторически правдивыми.

Историческая повесть «В древнем царстве Урарту» молодой писательницы К. Моисеевой является попыткой пока-

зать жизнь урартов в художественной форме.

В основе этой книги лежит вполне достоверный исторический материал. Ручательством в этом является, в частности, то, что научный редактор повести, доктор исторических наук Б. Б. Пиотровский, уже много лет руководит археологическими раскопками в Закавказье, значительно расширившими наши сведения об Урарту. Для успеха художественного выполнения повести немалое значение имеет и то, что автор, К. Моисеева, сама бывала на раскопках древних урартских крепостей и могла, следовательно, не только хорошо изучить найденные там предметы, но и непосредственно ощутить, так сказать, «запах» той далёкой эпохи.

Один из главных героев повести — Габбукамекотёс, урарт, попавший в плен и ставший, как и многие другие урартские пленники, рабом ассирийского царя. По нашему мнению, автор поступил правильно, избрав главным действующим лицом своей книги раба — представителя того слоя, который создавал основную массу общественных ценностей. Мы видим, что рабовладельцы, презирая рабов как низшие существа, не могут обойтись без них. Когда главному жрецу ассирийского храма надо сделать новую священную статую, он снисходит до того, что больного мастера, раба Аплая, приказывает кормить пищей со своего стола.

«Ты погоди умирать... — говорит жрец Аплаю. — Ты должен сделать статую бога... Ты украсишь её драгоценными камнями и золотом. Эта статуя призовет милость богов, и боги дадут тебе лёгкую смерть».

В ряде эпизодов автор просто и наглядно показал, что не цари и повелители, а именно народ и, в особенности, самый угнетённый его слой, рабы, были истинными создателями тех замечательных культурных памятников, которые мы находим при раскопках древних городов и крепостей.

Очень удачна глава, названная «Канал плодородия», в которой идёт речь о постройке урартами в засушливой Кутурлинской долине оросительного канала, часть которого используется колхозниками Армении и Грузии. В этой главе не только хорошо описаны предельного напряжения сил, с которым, умирая от истощения и побоев, тысячи рабов самыми примитивными орудиями строили этот канал; ещё важнее то,

что в главе показано, как этот канал, сооружённый народом, явился потом в руках урартских рабовладельцев мощным средством для угнетения тех же рабов и закабаления всего свободного трудового населения, живущего в районе канала.

Многие историки этого периода, восхищаясь в своих сочинениях грандиозностью древних построек, недостаточно подчёркивают эту роль производственных сооружений в древневосточных государствах. Тем больше заслуживает быть отмеченным подлинно исторический подход к материалу у автора художественного произведения. В этой повести раскрыто в наглядной, художественной форме и то, что рабовладельческий строй, хотя он был основан на крайне жестокой эксплуатации и нёс в себе противоречия, исключавшие возможность дальнейшего прогрессивного развития на той же основе, был строем всё же более высоким, чем строй общинно-родовой; рабовладельческое общество значительно увеличило производительность труда и объединило массы рабов для возведения крупных общегосударственных построек.

Надо признать, что, пытаясь дать своим читателям представление о сущности этих сложных общественных явлений, К. Моисеева проявила большую смелость: ведь её книга предназначена для детей среднего возраста! И тем не менее, на наш взгляд, автор достиг своей цели. С большим тактом, без дидактизма и социологических формулировок, писательница с достаточной ясностью раскрывает содержание исторических явлений. Конечно, прочитав повесть, дети не извлекут из неё каких-либо законченных определений; это, разумеется, и не нужно. Но дети поймут, почувствуют и запомнят рассказанное правильно, а это — главное, ибо только таким путём закладываются у детей первые основы новых и глубоких представлений о жизни. Придёт время, и факты, вычитанные в детстве из книги К. Моисеевой, будут подкреплены многими другими, получат теоретическое объяснение и станут в мировоззрении юношей на своё место.

А. М. Горький призывал писателей к тому, чтобы они не боялись писать для детей о серьёзных вещах, в том числе из области истории; всё дело в том, как писать. Думается, что в этом отношении К. Моисеева достигла значительного успеха.

Из всех персонажей лучше всего удались старый мастер Аплай и каменотёс Габбу. Оба они урарты и уже много лет находятся в рабстве у ассирийских царей.

Каменотёс Габбу взят в плен ещё совсем молодым. Он плохо помнит свой край. Но в Габбу живёт горячая любовь к родине. Когда мастер Аплай, случайно узнав о том, что царь Ассирии Асархаддон собирает итти походом на Урарту, уговаривает Габбу бежать на родину и предупредить урартов о готовящемся нападении, Габбу немедленно соглашается. С большими трудностями ему удаётся достигнуть столицы Урарту, и здесь, на родной земле, он как бы распрямляется душой и телом. Это уже не придавленный судьбой раб, а энергичный и умный человек, готовый итти на смерть ради защиты родной страны. Он становится воином и своим умом и храбростью много способствует разгрому ассирийского войска. Духовное превращение Габбу показано в повести с большой силой убедительности и чувством.

Мастер Аплай — это человек богатой, для своего времени, духовной культуры. Он талантливый художник, полностью отдавший себя искусству, и горячий патриот. Несмотря на свою старческую немощь, он до конца жизни борется, защищая от врагов родную землю, и погибает, как воин.

Не знаящим границ своей деспотической власти Асархаддону и его сыну Ашшурбанипалу, низкому в своей угодливости, но зверски жестокому урартскому наместнику в Закавказье, другим всемогущим рабовладельцам противопоставлены люди из народа. Им ещё неизвестны пути борьбы за своё освобождение, они почти все свои надежды возлагают на богов, которым приносят жертвы; но это люди сильной воли, они трудятся на своей земле и стойко обороняют её. Это противопоставление проводится в повести последовательно и с той степенью отчётливости, без которой оно не было бы понятно детям. Вместе с тем К. Моисеева сумела соблюсти чувство меры — основная тенденция выражена ясно, но не грубо; нет чрезмерности, нет фальши ни в сценах жестоких, ни в сценах, показывающих человеческое благородство.

Таковы достоинства книги.

Наиболее крупным её недостатком является, по нашему мнению, некоторая статичность сюжета. Вопрос этот очень серьёзно

ёзный, он имеет прямое отношение к так называемой «специфике» детской литературы.

Нельзя сказать, чтобы сюжет повести К. Моисеевой был расплывчатым, — нет, в своём роде он неплохо продуман. Но он всё же недостаточно увлекателен и интересен для тех читателей, которым адресована книга. Создаётся впечатление, что писательница не устояла против обилия фактического материала. Спору нет, исторический материал в повести хорош и сообщить его детям — дело очень полезное. Но ведь для детей надо писать так, чтобы книга была не только полезной, но и увлекательной (по правде сказать, это отвечало бы желанию и большинства взрослых). А в повести К. Моисеевой драматизм есть лишь в седьмой главе, где рассказывается о побеге Габбу из Ассирии, и в главе восьмой, где читатель с нетерпением ждёт, удастся ли Габбу обмануть ассирийского полководца и

заманить его войско в ловушку. Все же предыдущие шесть глав носят в основном историко-информационный характер и почти лишены действия. Нечего и говорить о заключительном очерке в конце книги, в котором кратко изложена история Урарту и рассказано о раскопках в Закавказье. Этот очерк — дельный и содержательный; но, конечно, он не может ускорить темп и усилить динамику событий, развивающихся в повести.

Таков главный литературный недостаток этой хорошей и нужной для наших школьников книги. Язык её прост и понятен, в ней нет ненужных архаизмов, а непонятные слова объяснены в самом тексте.

Книга оформлена неплохо; жаль только, что иллюстрации, по содержанию вполне приемлемые, исполнены серо и однотонно.

*Кандидат исторических наук*  
**М. СОЛОВЬЕВ.**



### «Новая немецкая литература»

Периодическая печать Германской Демократической Республики большое место уделяет вопросам культуры. В республике есть несколько журналов, целиком посвящённых этим вопросам. Четыре раза в год выходит «Зинн унд форм» («Содержание и форма»), который издаётся Немецкой академией искусств. Ежемесячно издаётся журнал «Хойте унд морген» («Сегодня и завтра»), рассчитанный на широкие слои читателей. Большую популярность в Германии завоевал ежемесячный журнал «Ауфбау» («Восстановление»), орган Культурбунда — широкого демократического объединения немецкой интеллигенции, возникшего сразу же после окончания войны. Журнал публикует документы движения за мир, за единство и демократизацию страны, статьи по вопросам культуры и искусства, очерки о жизни Германии, а также стихи, отрывки из прозаических произведений немецких писателей и писателей других стран. Продолжает издаваться боевой еженедельник «Вельтбюне» («Мировая трибуна»), посвящённый вопросам политики, искусства

и науки, основанный ещё в начале столетия, запрещённый в годы фашизма и возродившийся после свержения гитлеровского режима.

С января 1953 года в Германской Демократической Республике выходит новый ежемесячный журнал — «Нойе дойче литератур» («Новая немецкая литература»), орган Союза немецких писателей. Союз был организован весной 1952 года, когда из Культурбунда выделились самостоятельные творческие организации работников искусств. Журнал «Нойе дойче литератур» полностью посвящён вопросам литературы. Это первый в Республике «толстый» литературный журнал: в каждом номере свыше 200 страниц. Самый факт, что вместо непериодических альманахов и сборников смог появиться регулярно выпускаемый журнал, показывает, как выросли за эти годы литературные силы Германской Демократической Республики. Большую роль сыграли здесь поддержка, оказанная молодым талантам, воспитание писателей в духе преданности интересам народа, борьба за реалистическое искусство — политика, последовательно проводимая Социалистической единой партией Германии и правительством Республики на протяжении всех лет её

„Neue deutsche Literatur“. Издаётся Союзом немецких писателей. Главный редактор Вилли Бредель. Берлин. №№ 1—10 за 1953 год.

существования. Сказалась и успешная борьба самих немецких писателей за приближение тематики творчества к сегодняшнему дню, за активное вторжение литературы в жизнь народа. Основой такого журнала, как «Нойе дойче литератур», является, естественно, художественная проза — романы, повести, рассказы и очерки о жизни современной Германии; а именно художественную прозу печать Германской Демократической Республики долго называла «наиболее отстающим участком немецкой литературы». Конечно, дело не просто в количественном, а прежде всего в идейно-художественном росте произведений о новой Германии; этот рост бросается в глаза каждому, кто сравнит книги, которые появляются теперь, с теми произведениями о послевоенной Германии, которые, по выражению Вальтера Ульбрихта, положили начало немецкой литературе нового времени.

Первое впечатление, которое оставляет журнал «Нойе дойче литератур», — это ощущение энергии, даже задора. Журнал смело вмешался в самую гущу литературной жизни Германии. В первом номере была опубликована часть романа «Белый дым в голубом небе» Франца Ганнеманна, которого редакция представила читателям как начинающего прозаика, учителя по профессии. «Белый дым в голубом небе» — его первое крупное произведение — рассказывает о жизни рабочей бригады имени немецко-советской дружбы на комбинате «Лейна». Автор продолжает работать над своим произведением. Редакция просила читателей высказаться по поводу опубликованного отрывка, «чтобы помочь автору в завершении романа». В ответ со всех концов страны, в том числе и из Западной Германии, пришло большое число откликов; часть их была опубликована в одном из следующих номеров журнала. Мнения разделились. Одни читатели одобряли роман, но были и такие, которые заявляли о «полном отсутствии таланта у автора». Было высказано много критических замечаний. В четвёртом номере журнала выступил автор, Франц Ганнеманн; он ответил на критику, со многим согласился, некоторые положения опаривал. «Одно я могу сказать с уверенностью, — писал он, — критика мне поможет».

Подводя итоги этой дискуссии, редакция не просто выразила своё мнение о сильных

и слабых сторонах романа; она попыталась поставить на его примере общие вопросы современной немецкой реалистической литературы: вопрос о типичности в искусстве, о сущности конфликта, о принципах построения художественного образа и т. п. В частности, редакция решительно выступила против вредных попыток лакировки действительности, замазывания классовой борьбы и противоречий в современной Германии. Как основное достоинство книги Ганнеманна редакция отмечала то, что автор не боится трудностей, смело ставит вопросы современной жизни, ищет разрешения ещё только возникающих проблем.

Журнал продолжает тот же метод широкого обсуждения, публикуя в отрывках произведения не только начинающих авторов, но и писателей известных. Так, читатели познакомились с романом Бодо Узе «Патриоты» (второй номер журнала), рассказывающим о немецких антифашистах, боровшихся в годы второй мировой войны против гитлеризма. В двух номерах (третьем и четвёртом) печатались две первые части нового большого романа Ганса Мархвицы «Чугун». Каждый номер журнала открывается отрывком из новой работы немецких писателей, которая выносится на суд читателей и литературной общественности. Таким же порядком журнал печатает пьесы и даже стихи.

Этот метод публикаций, связанный с обсуждением, способствовал оживлению литературной жизни Германии. Но трудно не согласиться с Анной Зегерс, которая в одной из своих статей заметила, что было бы «больше пользы и писателю и читателю, если бы вместо отрывков печатались законченные работы». В самом деле, журналу, публикующему романы исключительно в отрывках — главным образом для того, чтобы их обсуждать, а не для того, чтобы их читать, — угрожает опасность стать интересным только для узкого круга литераторов, превратиться во внутреннее дело Союза немецких писателей. Между тем он должен по своему характеру обращаться ко всей немецкой интеллигенции, ко всему немецкому народу на востоке и на западе Германии. Как писала Анна Зегерс, опубликование законченных работ повысило бы также требовательность молодых писателей к своему труду.

Борьба за «хороший, ясный, правильный немецкий язык» постоянно находится в цент-

ре внимания печати Республики. Единый немецкий язык, язык Гёте и Шиллера, Маркса и Энгельса, не знает зональных границ, он является оружием в борьбе за единую, национальную немецкую культуру.

В читательских письмах, помещаемых в «Нойе дойче литератур», много говорится об опасности засорения немецкого языка.

В шестом номере журнал опубликовал большую статью писателя Франца Вайскопфа «Об опасности разложения языка и стиля», которая вызвала и продолжает вызывать многочисленные отклики. На большом фактическом материале, взятом из немецкой прессы и произведений современных немецких писателей, Вайскопф разбирает наиболее распространённые ошибки и искажения языка. Он выступает против уродств, оставшихся в языке после гитлеризма, и против идущей из Западной Германии опасности засорения немецкого языка американизированным жаргоном. Как говорит Вайскопф, его статья написана, чтобы «предостеречь и бить тревогу». Эпиграфом к ней автор взял горьковские слова о необходимости ясного и чистого языка для писателя, ставящего себе социальные цели, и афоризм немецкого драматурга середины XIX века Геббеля: «Если какое-нибудь искусство стало для тебя лёгким — значит ты постиг его; но искусство писателя ты постиг, если оно стало для тебя трудным».

В Германской Демократической Республике уделяется особое внимание литературной критике. Конференция Союза работников немецкой прессы в феврале 1953 года отмечала, что «развитие критики есть вопрос жизненной важности для современной немецкой литературы». В критическом отделе «Нойе дойче литератур» помещены статьи о Томасе Манне, Генрихе Манне, Анне Зегерс, Иоганнесе Бехере, Арнольде Цвейге и других крупнейших писателях Германии, а также о писателях, вошедших в литературу после второй мировой войны, о Кубе, Стефане Хермине, Петере Хухеле и других. По этому отделу журнала ясно видно его направление — последовательная борьба за народность и реализм немецкого искусства. Журнал выступает против всяческих проявлений формализма, как антинародного и космополитического течения. Постоянно — и в статьях теоретического порядка и в разборе отдельных произведе-

ний — писатели и критики, анализируя немецкую литературу, стараются раскрыть марксистско-ленинское понимание типического в искусстве.

С каждым новым номером журнала увеличивается число рецензируемых книг. Однако и сейчас ещё на страницах «Нойе дойче литератур» появляется рецензий не больше, чем в таких журналах, не посвящённых специально вопросам литературы, как «Ауфбау», «Хойте унд морген». Думается, что более пристальное внимание к повседневной, текущей литературной жизни Германии пошло бы на пользу журналу «Нойе дойче литератур», усилило бы ту активную, направляющую роль, которую он призван сыграть в развитии немецкой литературы.

Важной частью критического отдела являются работы, посвящённые тому культурному наследию немецкого народа, без усвоения которого немислима была бы борьба за дальнейшее развитие немецкой культуры. «Нойе дойче литератур» видит свою задачу прежде всего в борьбе против идеализации реакционных сторон немецкой истории — в том, чтобы раскрыть передовые, прогрессивные явления немецкой культуры, возродить её демократические традиции, которые подавлял и извращал гитлеризм, а сегодня подавляют и извращают аденауэровские власти. В журнале помещены работы о Клопштоке, Гельдерлине, Клейсте, об их месте в истории немецкой культуры; статьи о подлинно патриотической поэзии времени наполеоновских войн (в том числе интересные новые материалы о ранее неизвестных народных песнях 1813 года), о революционной поэзии 1848 года и многие другие. Этот отдел журнала наглядно показывает, что новая, прогрессивная немецкая культура опирается на многовековую традицию — от эпохи крестьянских войн XVI века до боевой антифашистской литературы нашего столетия. Исследовательская работа в этой области, по существу, ещё только начинается. Она служит распространению в немецком народе его гуманистических, передовых традиций — противоядия и против фашистской националистической демагогии и против ложного, бесплодного национального нигилизма. Журнал широко привлекает к этой исследовательской работе, как и ко всему критическому отделу в целом, писательскую и университетскую молодёжь. В «Нойе дойче литератур» немецкие кри-

тики и историки литературы имеют теперь для своей деятельности широкое поле.

Журнал придерживается обычной, принятого всей печатью Германской Демократической Республики: он публикует на своих страницах отдельные статьи и высказывания Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти Карла Маркса. Журнал «Нойе дойче литератур» опубликовал ряд исследований о деятельности Карла Маркса и Фридриха Энгельса в связи с вопросами немецкой литературы.

Журнал проникнут идеями интернационализма, который является характерной чертой новой немецкой литературы и культуры. Если взять литературные портреты, воспоминания, статьи, репортажи о культурной жизни других народов, появившиеся на страницах «Нойе дойче литератур» только за первые месяцы существования журнала, то получится внушительная картина интернациональных связей: Чехословакия, Венгрия, Польша, Болгария, Испания, Китай, Бразилия, Греция, Франция, Голландия, Австрия, Англия, США... «Нойе дойче литератур» — одно из бесчисленных свидетельств того, каким авторитетом пользуется во всём мире советская культура. Журнал открылся специальным номером, выпущенным к тридцатипятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, и нет ни одного номера журнала, в котором не говорилось бы о произведениях советских писателей, о достижениях советской культуры, и который тем самым не служил бы укреплению германо-советской дружбы. Опыт советской литературы тщательно изучается; в среде немецких писателей находит отклик всё, что происходит в советской литературе, — от выхода крупнейших произведений до организационных вопросов работы Союза советских писателей. Участники уже упоминавшейся дискуссии о романе Франца Ганнеманна, опубликованном в первом номере журнала, ссылались, доказывая свою точку зрения, и на высказывания Горького, и на опыт Шолохова, Гладкова, Ажаева, и на статью Константина Симонова о сборнике рассказов Бориса Полевого «Современники», и на споры вокруг «Кружилихи» Веры Пановой. В статье Вайскопфа о языке в качестве примера взыскательного отношения писателя к своему труду приводилось новое издание «Поднятой целины» Шолохова, вышедшее всего за не-

сколько месяцев до написания статьи. В третьем номере журнала была опубликована статья Альфреда Антковица «Строительство социализма и коммунизма в зеркале советской литературы», в которой сделана попытка исторического анализа советской литературы с этой точки зрения. Автор пишет, что советская литература «показывает со всей ясностью воспитательную роль литературы в преобразовании общественной жизни». Журнал предупреждает о том, что нельзя механически переносить опыт советской литературы в условия литературы немецкой; он выступает за творческое применение немецкими писателями принципов социалистического реализма.

В борьбу за реалистическое искусство журнал вовлекает и писателей Западной Германии; он рассматривает себя не только как орган писателей, живущих в Германской Демократической Республике, но как рупор всей демократической немецкой литературной общественности. Писатели Западной Германии сотрудничают в журнале, принимают участие в творческих дискуссиях. Журнал борется за сплочение всех культурных сил немецкого народа перед лицом опасности, которая грозит сегодня Германии как единому и независимому государству со стороны англо-американского империализма. В седьмом номере журнала, открывая подборку произведений писателей из Западной Германии, «Нойе дойче литератур» писала: «Как бы ни были различны мировоззрение и творческие пути этих писателей — все они связаны между собой и с нами сознанием необходимости возродить нераздельную демократическую Германию. Мы знаем, с какими трудностями приходится сталкиваться писателям Боннской республики, какие преследования стоят перед ними, каким преследованиям они подвергаются. Мы знаем, как трудно им живётся и сколько предпринимается попыток отравить их духовно. И всё же мы уверены, что наши друзья и соратники по борьбе на Западе нашей страны не свернут с пути и что за ними последуют другие. Ни один писатель не может творить против своего народа, против желаний и требований, стремлений и чаяний народа, — иначе он теряет право называться писателем».

За время ещё недолгого существования журнала «Нойе дойче литератур» печать Германской Демократической Республики

не раз подчёркивала важную роль, которую этот журнал призван сыграть в развитии новой немецкой культуры; печать отмечала и его заслуги в этой области. Высказывались также критические замечания в адрес журнала; некоторые из них журнал перепечатал на своих страницах, открывая широкую дискуссию по творческим вопросам. Журнал живёт и развивается в атмосфере дружественной критики и самокритики, которая помогает ему стать действенным орудием развития новой немецкой литературы.

Говоря о задачах писателей в сегодняшних условиях, журнал «Нойе дойче литератур» в августовском номере за 1953 год писал: «Новый курс нашего правительства существенно улучшил предпосылки для нашего успеха. Дальнейшее зависит от нас самих. Никакой пощады нашим врагам, тем, кто бросает зажигательные бутылки и грозит атомной бомбой. Но всех остальных мы можем и должны привлечь на свою сторону. Каждый должен спросить себя, как он

может принести больше всего пользы в этом деле. «Пишите правду», — сказал Сталин советским писателям; эти слова сказаны также и нам. Какими простыми ни кажутся они на первый взгляд, в них заключён глубокий смысл. И как бы ни было трудно писать правду, каждый из нас считает своей первейшей обязанностью выполнить это требование. Ибо ничего так не боятся наши враги, как правды, и ничто не может так помочь нам, как правда».

В этих словах хорошо сформулирована задача, которую ставит «Нойе дойче литератур» себе и всей писательской общественности Германии. Возникнув благодаря успехам новой немецкой литературы, журнал активно служит дальнейшему развитию демократической немецкой культуры и тем самым деятельно способствует укреплению демократических, миролюбивых сил Германии, борющихся за восстановление её единства.

П. ТОПЕР.

★

### Политика и наука

#### Молодёжь нового Китая

Небольшая книжка М. Капицы «Молодёжь великого Китая» представляет собой, как сообщает предисловие, «очерки и путевые заметки о жизни, труде и учёбе молодого поколения великого китайского народа». Перед читателем проходят молодые творцы нового, демократического Китая, жизнь которых вступила в пору расцвета только после освобождения страны из-под гнёта империализма.

М. Капица рассказывает о передовых рабочих — новаторах производства, описывает проведение демократической аграрной реформы в деревне, знакомит читателя с новой культурой, которую создаёт талантливый китайский народ.

Книга вызывает тем больший интерес, что автор, не впервые посещающий Китай, имеет возможность сопоставить «мрачные картины, которые случалось наблюдать совсем недавно в старом, гоминдановском Китае», с радостной сегодняшней действительностью Народной республики.

Так, в очерке «Счастливая перемена» показаны китайские шахтёры. Подневоль-

ный труд, сопряжённый с опасностью, произвол администрации, существовавший при гоминдановском режиме, канули в прошлое; жизнь и быт горняков коренным образом изменились. Коммунистическая партия и Центральное народное правительство Китая проявляют большую заботу о тружениках земных недр. Нет и помин о прежнем «рабочем дне», продолжавшемся подчас две трети суток. По новому закону о рабочем страховании шахтёры пользуются бесплатным лечением, за выслугу лет установлена надбавка, в случае увечья гарантирована пенсия. Рабочие переселяются в благоустроенные жилища, отдыхают в санаториях и домах отдыха. Большие средства затрачиваются на улучшение охраны труда.

Небывалым трудовым подъёмом ответили на эту заботу китайские горняки. Особенно отличаются молодые рабочие, вступающие в патриотическое соревнование за увеличение добычи угля.

Некоторые из них, как, например, Чэнь Юй-хуа, ещё подростками узнали каторжные условия труда на шахтах старого Китая. Когда после освобождения страны

в угольную промышленность начала внедряться механизация, Чэнь Юй-хуа стал одним из многих её энтузиастов. Вместе с такими же молодыми шахтёрами — Гао Гуан-янем, Чжан Юй-таном и другими — Чэнь Юй-хуа был зачинателем соревнования на своём предприятии; он добился значительной выработки угля — 215 тонн за смену. Но и его достижение вскоре перекрывается. Чжао Вэнь-синь, в руках которого отбойный молоток творит чудеса, выдал на-гора около двухсот пятидесяти тонн. Это рекордная выработка в Китае! Конечно, не все 450 тысяч китайских горняков работают на таком высоком уровне, но систематическое повышение производительности труда обеспечивает угольной промышленности Китая неуклонный рост.

Передовиками производства на многих предприятиях страны является молодёжь, в особенности члены Ново-демократического союза молодёжи Китая (НДСМ). Их авангардная роль видна на примере Лю Ли-фу, бригадира фрезеровщиков судостроительного завода в Дальнем. Лю Ли-фу не просто старательный рабочий, он — новатор, организатор и изобретатель. Его бригада, неизменно перевыполняя планы, выпускает, как правило, высококачественную продукцию. Одной лишь этой бригадой внесено более пятидесяти рационализаторских предложений, тридцать из которых, применённые на практике, дали более пяти тысяч рабочих часов экономии.

Наряду с юношами большую производственную активность проявляют девушки. Такова, например, Хэ Цзянь-сю, работающая на текстильной фабрике № 6 в Циндао. Китайская молодёжь внимательно следит за всем новым, что приходит из Советского Союза, и старается применить передовой опыт у себя на производстве. Так поступила и Хэ Цзянь-сю, выступив инициатором внедрения в текстильную промышленность метода советского инженера Ковалёва. Успех пришёл не сразу, но после долгих поисков и настойчивого труда девушка добилась своего.

По расчётам специалистов, применение опыта Хэ Цзянь-сю на всех текстильных фабриках Китая увеличит выпуск пряжи на 44 460 кип в год. «Этой пряжи, — пишет М. Капица, — хватит, чтобы 4 миллиона человек получили по 15 метров ткани каждый». Так производственный успех

молодой китайской патриотки перерастает в общегосударственное дело.

Сообщая о своих достижениях советским друзьям, Хэ Цзянь-сю пишет: «Китайский рабочий класс питает неизменные братские чувства к рабочему классу Советского Союза и учится у него». Эти слова Хэ Цзянь-сю выражают задушевные мысли всех китайских трудящихся.

Любопытна история дочери бедного рыбака — Тянь Гуй-ин. С семилетнего возраста узнала она, что такое трудовая жизнь. Неизвестно, что случилось бы с ней, если бы Коммунистическая партия Китая не привела страну к освобождению. Увидев однажды фотографию советской женщины-машиниста, Тянь Гуй-ин решила освоить эту профессию и действительно стала первой женщиной-машинистом в Китае, Героем труда.

Тысячи китайских женщин и девушек в настоящее время рука об руку с мужчинами трудятся и борются за лучшее будущее своей родины.

Народная власть принимает все меры к тому, чтобы не только юридически, но и фактически женщина стала равноправным членом общества. Большое значение в этом отношении имеет практическое осуществление нового закона о браке. В очерке «Торжество Юй-лань» автор показал, как ростки нового быта, сталкиваясь со старинными обычаями, побеждают их. Старый крестьянин Фын противился браку своей дочери Юй-лань с юношей Чжао Фу-цином. Но усилия старика не помешали молодым людям пожениться и начать совместную жизнь.

С волнением читаются страницы книги, освещающие борьбу китайских народных добровольцев, самоотверженно сражавшихся за свободу и независимость Кореи. Они проявили не только высочайший героизм, стойкость и мужество, но и братскую заботу о корейском населении. Широкую известность приобрело в Корее имя китайского народного добровольца Ло Шэн-цзяо.

Часть, в которой он служил, стояла на берегу реки Санренчен. Однажды Ло Шэн-цзяо услышал отчаянные крики. Оказалось, что Цой Хен, один из четырёх корейских мальчиков, катавшихся на коньках, провалился в прорубь. Скинув куртку, Ло Шэн-цзяо бросился в ледяную воду. Он обнаружил бесчувственное тело Цой



Хена, но выбраться с ним не мог: тонкий лёд всё время обламывался.

Стараясь спасти мальчика, Ло Шэн-цзяо набрал полные лёгкие воздуха и лёг на воду, держа мальчика на спине. Тем временем прибежали другие бойцы и вытащили Цой Хена. Корейский мальчик был спасён, но самого Ло Шэн-цзяо унесло под лёд. Когда наконец его разыскали, он был мёртв.

Жители провинции Южный Пхеньян называли сопку, где покоится прах Ло Шэн-цзяо, реку, на которой он совершил свой отважный поступок, а также деревню, где жил спасённый им мальчик, именем отважного китайского добровольца. На его могиле крестьяне воздвигли памятник, на котором написали: «Каждый кореец должен помнить нашего друга товарища Ло Шэн-цзяо и следовать его великому примеру интернационализма».

Сражаясь рука об руку с корейской Народной армией, лучшие сыны и дочери китайского народа дали отпор американским агрессорам, помогли братской Корее. Подвиги китайских патриотов свидетельствуют о том, что молодое поколение Китая никогда не позволит империалистам вновь закабалить родную землю.

«Мы преисполнены решимости бороться до конца за независимость нашего отечества и прочный мир во всём мире», — писал передовик труда Ма Хэн-чан, призывая трудящиеся массы Китая увеличить выпуск продукции.

Актуальность тематики и обилие фактов, приведённых в книге, не могут, однако, заслонить отдельные её недостатки.

Показывая в очерках различных представителей китайской молодёжи (от рабочих и крестьян до студентов и народных добровольцев), автор почти ничего не говорит о деятельности самих молодёжных организаций. Между тем эти организации, в особенности Ново-демократический союз молодёжи Китая, являются огромной силой.

Работу первичных организаций Ново-демократического союза молодёжи следовало бы осветить полнее и шире, показать на конкретных примерах, как они помогают членам союза в их жизни и производственной деятельности. Однако автор пошёл по другой линии. Он посвятил им отдельный обзор в конце сборника, назвав его «В авангарде молодёжи». Хотя сам по се-

бе этот очерк даёт правильное представление о Ново-демократическом союзе как наиболее массовой организации китайской молодёжи, он, к сожалению, оказался мало связанным с содержанием книги в целом.

Со времени выхода сборника в свет изменился количественный состав Ново-демократического союза молодёжи. Цифра членов союза, приводимая автором, ныне должна быть уточнена. Так же изменилось и число членов пионерской организации: не три миллиона, как сообщает автор, а семь миллионов пионеров насчитывалось к моменту выхода сборника.

Нельзя не отметить некоторых недостатков в историческом очерке, представляющем своеобразное введение к книге и озаглавленном «Дорогой бессмертия». В нём довольно схематично показана история развития революции в Китае от движения 4 мая 1919 года до освобождения страны. Автор не смог на нескольких страничках изобразить большие события — получилось неполное и упрощённое описание. Основные этапы революции, в сущности, не нашли своего отражения.

Не обошлось в очерке и без фактических неточностей. Так, автор рассказывает о возникновении в конце 1927 года первого советского района на границе провинции Цзянси и Хунань и создании народной власти в других районах страны. Далее без всякого уточнения и разъяснения сообщается, что «с 1928 по 1934 год Чан Кай-ши при поддержке империалистов предпринял пять походов против районов народной власти, но каждый раз китайская Красная Армия отражала натиск врага. Во время пятого похода в октябре 1934 года китайская Красная Армия прорвала блокаду и, пройдя более 12 тысяч километров... пробилась в Северо-Западный Китай».

Создаётся впечатление, что походы Чан Кай-ши были направлены против первоначально созданной революционной базы в горах Цзинганшань на границе Цзянси и Хунань, тогда как они предпринимались против центрального революционного района, о котором в книге следовало бы сказать. Этот район образовался в южной части провинции Цзянси и западной части провинции Фуцзянь с центром в Жуйцзине, после того как туда переместились основные силы Красной Армии. Поэтому

неправильно считать, что упомянутые походы начались с 1928 года, как об этом пишет автор. Центральная база создавалась в 1929 году, а первый поход против неё Чан Кай-ши предпринял в конце 1930 года.

Автором широко использованы литературные источники, но личные впечатления

отражены в очерках слабее, чем этого можно было ожидать. Тем не менее книга М. Капицы, освещающая многие стороны жизни китайской молодёжи, с интересом будет встречена советским читателем.

А. СТАДНИЧЕНКО.

★

## Американские женщины на работе и дома

В Нью-Йорке вышла в свет книга Грейс Хатчинс «Трудящиеся женщины». Её автор — одна из руководящих сотрудниц американской Ассоциации по исследованию проблем труда, видный публицист. Перу Хатчинс принадлежит ряд книг о положении женщин в США.

Новая работа Г. Хатчинс получила единодушную положительную оценку на страницах американской прогрессивной печати. Автор рецензии, опубликованной в октябре 1953 года в теоретическом органе Коммунистической партии США «Политикал эфферс», охарактеризовал книгу как «арсенал фактов» о женском труде и признал её ценным вкладом в литературу о рабочем движении. Это яркий памфлет, в котором разоблачается усиливающаяся сверхэксплуатация трудящихся женщин, их неполноправие в области трудовой деятельности, их политическое бесправие.

Свою книгу Г. Хатчинс начинает с того, что ближе всего сердцу матери, — с вопроса о воспитании детей. «Восемь часов утра. Улица промышленного города США. По тротуару горюливо идёт женщина, почти волоча за собой трёхлетнего мальчика; он ещё слишком мал, чтобы поспевать за ней. Но что же делать измученной матери? Она должна привести ребёнка в ясли и во-время поспеть на работу...» Это одна из тех работниц, материальное положение которой позволяет пользоваться услугами детских учреждений. Но много ли таких трудящихся женщин в столь «богатой» стране, как Америка? Ведь плата за содержание ребёнка в яслях достигает 15,5 доллара в неделю и устанавливается самой организацией, которая содержит ясли. Однако, пишет автор, и в самом лучшем случае этот расход представляет собой весьма существенную часть чистого заработка тру-

дящегося. Средний недельный заработок женщин, работающих, например, на заводах штата Нью-Йорк, где заработки значительно выше, чем в других районах, составлял в декабре 1951 года в текстильной промышленности 44 доллара, в пищевой — 45,9, в кожевенной — 38,9 доллара.

Детских садов и яслей, рассказывает Г. Хатчинс, в США слишком мало, чтобы удовлетворить потребность всех работающих матерей. Положение работниц, имеющих маленьких детей, подчас бывает безвыходным, и малыши неизбежно оказываются заброшенными. «Этих детей часто называют «ключарями», потому что ключ от квартиры обычно вешают им на шею, чтобы они его не потеряли. Такой ребёнок проводит день на улице или один в квартире».

Во время второй мировой войны американские женщины добились создания сети государственных детских учреждений, причём преимущественно для тех детей, матери которых работали в военной промышленности. Кончилась война, и система эта была ликвидирована. В 1952 году в Законодательном собрании штата Нью-Йорк был провален законопроект об ассигновании средств на восстановление содержащихся на средства штата учреждений для ухода за детьми работниц. «На подготовку к войне, — с горечью замечает автор книги, — расходуются миллиарды долларов, но члены Законодательного собрания сочли 3 миллиона долларов на благополучие детей слишком большим расходом».

Но хуже всего, когда ребёнок заболевает. Работающая мать не может остаться дома для ухода за больным, так как ей угрожает увольнение за прогул. Тяжёлые экономические условия рабочих семей, болезни детей, предоставленные самим себе, влекут за собой рост детской смертности. В 1949 году, например, на тысячу детей, родившихся живыми, приходилось почти

Grace Hutchins. „Women who Work“ New York. (Грейс Хатчинс. «Трудящиеся женщины». Нью-Йорк.)

29 смертей среди белых и 47 — среди негров. «В своих радиопередачах «Голос Америки», — говорится в книге, — Соединённые Штаты хвастаются самыми лучшими условиями жизни в мире. Вопреки этим похвальбам Институт общественных проблем в своём недавнем обзоре заявил: «В США ежегодно умирают многие тысячи детей, которых можно было бы спасти».

Г. Хатчинс приводит красноречивые факты. Вот некоторые из них.

За одну только зиму 1949/50 года в долине Сан-Хоакин, штата Калифорния, от голода умерло около шестидесяти детей. Причина их смерти — голод, что было подтверждено и в официальных отчётах окружных властей. Один из врачей, обследовавший рабочие лагеря в штате Техас, вынужден был заявить, что 96 процентов детей, живущих в этих лагерях, в последние полгода не пробовали молока, а 80 процентов взрослых за это же время ни разу не ели мяса — на это не хватало их заработка. В одной шахтёрской семье в округе Уайз заболел ребёнок. Врач отказался прийти к больному на дом, потому что шахтёру нечем было заплатить за визит. Ребёнок умер. Члены общества врачей этого округа поддержали своего коллегу: «Врач обязан справляться о финансовом положении пациента».

Соединённые Штаты, как признаёт даже правительственное Бюро по вопросам женского труда, далеко отстали от всех остальных капиталистических стран в отношении предоставления отпусков по беременности, денежных пособий и медицинской помощи работающим женщинам. Из четырёх штатов, в которых существуют законы о страховании на случай нетрудоспособности, только в одном выдаются пособия по беременности. Женщины, состоящие на государственной службе, не получают ни отпусков, ни пособий в связи с родами.

В настоящее время свыше 18 миллионов женщин в США работают по найму вне своего дома. Результаты проведенного правительством в 1950 году обследования положения работниц, указывает автор, навсегда развеяли старый миф о том, что большинство американских женщин трудятся на производстве не потому, что нуждаются в средствах для существования, а потому будго бы, что хотят лишь заработать себе «на булавки». Не верьте, говорит Г. Хатчинс, рекламным плакатам, распро-

страняемым по всей стране, в которых промышленники показывают американскую женщину в сверкающей белизной электрической кухне компании «Дженерал электрик», у стирального автомата фирмы «Вестингауз», перед телевизором марки «Сильвания». Всё это к услугам женщин, которым не нужна работа, и не по карману миллионам работниц этих и многих тысяч других монополистических компаний, существующих в США.

«Как сводить концы с концами?» — так назвала Г. Хатчинс одну из глав, и эта мысль проходит красной нитью через всю её книгу.

За равный с мужчиной труд американская работница получает значительно меньшую заработную плату (в обрабатывающей промышленности, например, на 40 процентов ниже). Автор приводит в книге характерное заключение профсоюза рабочих электротехнической, радио- и машиностроительной промышленности после изучения им вопроса о дискриминации в оплате работниц: независимо от квалификации, труд женщины «ценится ниже труда чернорабочего. Ей поручается работа, которая по данным правительственных обследований требует большего физического напряжения и более высокой квалификации, чем многие виды работ, выполняемых мужчинами, но платят ей меньше, чем самому неквалифицированному рабочему на заводе — подметальщику, который зарабатывает очень мало».

В книге сообщается, что в 1950 году средняя заработная плата рабочих-мужчин в американской обрабатывающей промышленности составляла 3 117 долларов в год, а женщин — всего лишь 1 832 доллара. Таким образом, предприниматели платили работницам в среднем на 1 285 долларов меньше, чем рабочим. Это означает, что только на разнице в оплате мужского и женского труда капиталисты получали дополнительную прибыль в размере 5,4 миллиарда долларов. Другими словами, в 1950 году около четверти всей суммы прибылей компаний обрабатывающей промышленности (до уплаты налогов) было получено в результате более низкой оплаты женского труда. Но капиталистам и этого мало, и они, как отмечает Г. Хатчинс, используют более низкие ставки женщин для того, чтобы снизить и оплату мужского труда.

О том, каким в действительности является материальное положение работающих женщин, дают убедительные представления цифры, приведённые автором книги. Если исходить даже из минимального бюджета, составленного Бюро статистики труда, то в 1950 году американской семье необходимо было иметь четыре тысячи долларов в год. Из анкеты, распространённой среди девяти тысяч женщин — членов профсоюза, выяснилось, что каждая седьмая работница является единственным кормильцем семьи. Многие из них полностью содержат трёх человек, а некоторые — четырёх и больше. Следовательно, работнице, зарабатывающей 1 832 доллара, должно не хватать более двух тысяч долларов. Действительно, как же американской женщине сводить концы с концами? И с каким презрением, очевидно, они относятся к пропаганде пресловутого «американского образа жизни».

В последнее время в Соединённых Штатах Америки женщины всё больше вовлекаются в тяжёлый и вредный для здоровья труд на производстве. В арсенале Бенисия, например, женщины составляют около 30 процентов общего числа работающих. Они «весьма успешно выполняют мужскую работу», как «с удовлетворением» сообщает отдел вольнонаёмного состава военного министерства, рекомендуя «широко использовать женский труд на тяжёлых работах». На предприятиях, где изготавливаются неоновые лампы и лампы дневного света, употребляется бериллий, вызывающий у женщин, труд которых здесь преобладает, смертельные заболевания лёгких и неизлечимые кожные язвы. В производствах с широким внедрением радиоактивных материалов женщины оказываются наравне с мужчинами жертвами ожогов, раковых заболеваний.

Нельзя отказать в объективности Исследовательской ассоциации по вопросам труда в США, которая в своём обзоре причин потери трудоспособности и смертности вынуждена была отметить: «Нынешняя более напряжённая жизнь и особенно усиленная эксплуатация труда и потогонная система в промышленности являются одной из основных причин, вызывающих сердечные болезни, повышенное кровяное давление, нефрит и рост числа несчастных случаев. Рост числа психических расстройств является в значительной мере результатом умственного и нервного напряжения на

почве материальной необеспеченности, а также другого рода напряжений, порождаемых нашим общественным строем».

Одним из средств усиления эксплуатации в США является бесчеловечное повышение напряжённости труда. Рост интенсивности труда даёт возможность капиталистам сокращать рабочих при неизменной или даже увеличенной производственной программе. Автор приводит такие примеры. На одном из заводов в городе Флинта компания «Дженерал моторс» потребовала увеличения производства насосов в полтора раза при меньшем количестве рабочих и без введения технических усовершенствований. Раньше заусеницы с крышек насосов снимались тремя женщинами, а теперь аналогичную операцию производит одна работница, обрабатывающая больше десяти крышек в минуту. Невыносимо тяжёлым стал труд на фабриках «Американской шерстяной компании». Когда работницы были переведены на обслуживание трёх рядов автоматических ватеров, многие из них во время работы падали в обморок от изнеможения. «Женщины, — рассказывают прядильщицы, — не поспевают за машинами. Они просто валятся с ног... Машины работают с такой быстротой, что некогда даже пойти напиться воды». Г. Хатчинс цитирует следующее заявление врачей, обслуживающих один из профсоюзов: рабочим «приходится работать в неудовлетворительных условиях труда, выдерживая темпы потогонной системы, или с чрезмерным нервным напряжением и чувством неуверенности в будущем. В таких случаях работа действует удручающе и вызывает нездоровую усталость».

Страшным бичом для трудящихся США является безработица. Многие безработные вынуждены перебираться из города в город, из штата в штат в поисках заработка. Совершенно невыносимы, пишет автор, условия жизни и труда кочующих сельскохозяйственных рабочих в США. В 1950 году таких рабочих насчитывалось около миллиона, и почти треть их составляли женщины. Даже в случае «удачи» мужчины зарабатывают на сезонных и случайных работах в среднем немногим более 500 долларов за весь год, а женщины — менее половины этой суммы. Во время работы кочующие семьи живут в бараках, будках, палатках, автомобильных прицепах и влчат полуголодное существование.

По официальным данным, в США около трети всех полностью безработных — женщины. В большинстве штатов недельные пособия по безработице выдаются только в течение полугода. Г. Хатчинс описывает, как три девушки, члены нью-йоркского комитета безработной молодёжи, устроили перед зданием городского отдела социального обеспечения «сидячую» забастовку; за «оскорбление» служебных лиц девушек посадили на месяц в тюрьму.

Обязательный уход с работы в возрасте 65 лет создаёт очень тяжёлое положение для многих работниц, которые физически были бы способны продолжать работу и дальше. «Но многие предприниматели, — указывает автор, — считают женщину старой уже в 40 лет, а женщина, которой больше 45 лет, почти не в состоянии найти себе новую работу в промышленности». В США в 1951 году было 10,5 миллиона не работающих по найму женщин в возрасте от 45 до 64 лет. Американская действительность, в сущности, обрекает пожилых безработных на голодную старость. В книге упоминается следующий трагический факт: в апреле 1952 года в здании средней школы покончила с собой старая учительница Клара Джерси, так как её уволили с работы после 40-летней педагогической деятельности.

Ухудшение материального положения американских трудящихся ещё более ограничивает возможность лечения. Как сообщается в книге, федеральный уполномоченный по вопросам социального обеспечения Оскар Юинг в своём обзоре «Здоровье нации» признал, что четыре пятых всех американских семей не могут платить за необходимую им медицинскую помощь.

Самыми принижеными и бесправными в США, как показывает Г. Хатчинс, являются негритянские женщины. Средний заработок работницы-негритянки примерно в два с половиной раза меньше, чем зарабатывает белая женщина. На производстве негритянки выполняют, как правило, наиболее тяжёлую и грязную работу. Безработных среди цветных женщин гораздо больше, нежели среди белых. Негритянские семьи в США вынуждены селиться в самых неблагоустроенных районах. Даже за худшие, чем у белых, квартиры они должны вносить более высокую плату. Смертность от туберкулёза среди негритянского населения в три раза выше, чем

среди белых. Нередки случаи, когда на целый штат имеется только одна больница, в которую принимаются негры.

Во второй части книги Г. Хатчинс рассказывает о том, как американские женщины борются за свои права. Против неравноправия женщин активно выступает Коммунистическая партия США, Прогрессивная партия, Национальная женская профсоюзная лига, Американская университетская ассоциация женщин и другие организации.

Автор отмечает заметный рост участия работниц в профсоюзах. Но всё же в 1952 году в них состояла лишь одна шестая часть женщин, работающих по найму. Одной из главных причин сравнительно слабого вовлечения трудящихся женщин в профсоюзную деятельность является гнусная дискриминация их со стороны реакционного руководства АФТ и КПП. Только в самых редких случаях женщин избирают в руководящие органы. В 1951 году на конгрессе КПП в числе более 500 делегатов присутствовали лишь шесть женщин.

Описывая участие женщин в боевых выступлениях рабочего класса, Г. Хатчинс говорит: «На протяжении 130 лет в бесчисленных забастовках за повышение заработной платы и улучшение условий труда работницы проявили смелость и боевой дух... Они боролись, не пугаясь полицейских дубинок и слезоточивого газа, солдатских винтовок, штрейкбрехерских кулаков, нападений наёмных убийц». В 1823 году в Нью-Йорке произошла первая в истории Америки стачка, в которой участвовали только одни работницы швейных мастерских.

Выступления рабочих, имевшие место в последние годы, показали, что женщины проявляют непоколебимую волю бороться до конца, несмотря на всё усиливающиеся репрессии. Длительная забастовка горняков цинковой компании «Нью-Джерси» в Баярде, начавшаяся в 1950 году, закончилась победой в январе 1952 года в основном благодаря тому, что женщины взяли на себя пикетирование и выполнение других функций, связанных с забастовкой. Женщины бастовали наравне с мужчинами против интенсификации труда на заводах компании «Дженерал моторс Кадиллак» в Детройте и на многих других предприятиях.

Передовые женщины США сознают, какую угрозу всему человечеству, в том

числе и американскому народу, несёт милитаризация экономики и гонка вооружений. Военные власти усиленно пытаются осуществить планы мобилизации женщин в армию. Характерно, что в 1952 году «даже самая соблазнительная реклама» не дала вооружённым силам большого числа добровольцев. Завербовать удалось лишь меньше одной пятой намеченного числа, и план мобилизации женщин провалился.

Прогрессивные женские организации всё больше включаются в борьбу за мир. В 1950 году возникла новая организация — «Американские женщины за мир». Большую работу в пользу запрещения атомного оружия провела Женская международная лига борьбы за мир и свободу. В движении за мир вовлекаются и религиозные организации, например, Христианская организация молодых женщин. Растущее влияние среди американок приобретает Национальный совет американо-советской дружбы. «Движение женщин США за

мир, — пишет Хатчинс, — пока ещё не приняло больших размеров. Между стремлением народа к миру и степени его организованности ещё существует большой разрыв. Но весьма показательно то, что это движение растёт среди женщин в рабочих районах, в профсоюзах, в религиозных общинах, в организациях, объединяющих население по кварталам, в различных обществах. Оно представляет собой часть более широкого движения за дружбу трудящихся всего мира и за мирное сосуществование народов».

Обширный фактический и документальный материал, собранный и умело обработанный Г. Хатчинс, придаёт книге большую убедительность. Несомненно, что работа автора, показывающая американскую действительность в её истинном свете, поможет трудящимся женщинам капиталистического мира в их борьбе за свои законные человеческие права.

Вен. МОТЫЛЕВ.

★

## Экономика современного капитализма

Буржуазным политическим деятелям, экономистам и публицистам становится всё труднее скрывать неприглядную картину современного состояния капиталистической системы. Убыстряющееся загнивание её теперь уже не удаётся закрасить розовой краской, всё ещё назойливо, но явно безуспешно применяемой для изображения капиталистической действительности.

Выявление послевоенных тенденций развития капиталистической системы хозяйства представляет большой интерес. Институт экономики Академии наук СССР проделал нужную работу, выпустив обобщённые данные по экономике капиталистических стран после второй мировой войны. Материалы, составившие сборник, разоблачают буржуазные фальсификации и вместе с тем показывают углубление общего кризиса капитализма, милитаризацию экономики, обострение борьбы империалистических стран за рынки сбыта.

Сборник содержит следующие разделы: население и территория; промышленное

производство и транспорт; сельскохозяйственное производство; государственные финансы, кредит и денежное обращение; вывоз капитала; внешняя торговля; обнищание пролетариата. Каждой из этих частей предпослана краткая экономическая характеристика статистических материалов. Полезно то, что книга снабжена такими данными, как, например, перевод национальных единиц измерения в метрические, официальные курсы валют, индексы оптовых цен.

Табличный материал сборника весьма отчётливо иллюстрирует нарастающий кризис капитализма. Из-под капиталистического ига освободилась уже треть населения земного шара, в то время как до войны только относительно небольшая часть человечества — менее восьми процентов — проживала в странах, отпавших от системы капитализма. По швам распадается вся колониальная система империализма. В капиталистическом мире сокращаются темпы естественного прироста населения — это результат усиления эксплуатации широчайших народных масс. Яркой характеристикой роста паразитизма в буржуазных государствах служат показатели изменения структуры самодеятельного населения: всё более снижается удельный вес

«Экономика капиталистических стран после второй мировой войны». Статистический сборник. Издательство Академии наук СССР. М. 1953.

занятых производительным трудом, и, наоборот, всё более увеличивается доля занятых трудом непроизводительным—работающих в банках, в страховых компаниях, в торговле, в качестве домашней прислуги.

Апологеты пресловутой «геополитики» утверждают, что источник бед капитализма надо искать в географических условиях. Империалистические страны якобы весьма перенаселены, и поэтому они, мол, вынуждены завоевывать «жизненное пространство», осуществлять политику экспансии. Приведённые в сборнике цифры о плотности населения примерно в 130 капиталистических странах документально опровергают эти лживые и лицемерные утверждения, вдребезги разбивают псевдонаучные «теории» американских «геополитиков» и расистов. Вот несколько примеров. В Соединённых Штатах Америки на одном квадратном километре проживают в среднем 20 человек, а на Кубе—48, в Доминиканской республике—44, на Гаити—112, в Пуэрто-Рико—248, на Филиппинах—68, в Пакистане—80 и так далее. Следовательно, плотность населения в США намного ниже, нежели во многих колониальных и зависимых странах, и интересы монополистов имеют подоплёку совсем иные мотивы.

В странах наёмного рабства человек рассматривается только как средство извлечения максимальной прибыли. Особенно тяжела потогонная система в США. В 1950 году, например, американский рабочий трудился на себя только одну пятую часть своего рабочего дня. Значит, остальную часть результатов труда каждого рабочего—почти четыре пятых—проглатывали капиталистические хищники и созданный ими аппарат угнетения и насилия.

Усиление эксплуатации трудящихся и отсутствие охраны труда приводят к увеличению числа несчастных случаев на капиталистическом производстве. В своё время Маркс писал, что дань головами, руками и ногами, которую рабочий класс приносит буржуазной индустрии, превосходит потери многих сражений. Это замечание особенно справедливо по отношению к Соединённым Штатам Америки. Во второй мировой войне США потеряли убитыми и ранеными 920 тысяч человек. За то же время жертв несчастных случаев на американских промышленных предприятиях на-

считывалось около восьми миллионов человек.

В целях увеличения прибыли капиталисты широко применяют, как более дешёвый, труд женщин. В 1951 году в США, Англии, Западной Германии, Италии работа женщин оплачивалась даже в условиях одинаковой квалификации примерно в два раза ниже, чем мужчин. Заработная плата большинства работающих много ниже так называемого прожиточного минимума, исчисляемого буржуазной статистикой и включающего расходы на приобретение самых необходимых товаров и ничтожные затраты на культурные нужды. Но даже такого жалкого уровня жизни могли достигнуть далеко не все рабочие: в США в 1950 году—менее трёх четвертей их общего числа, в Западной Германии—около двух третей, в Италии в 1951 году—половина.

В капиталистических странах, как известно, единственным доходом рабочего и служащего является денежная заработная плата. Но её намного и притом непрерывно понижает стремительный рост налогов и цен. Из приведённых в сборнике данных можно сделать следующие подсчёты. Если до войны итальянский рабочий мог за определённую сумму приобрести килограмм хлеба и килограмм картофеля, то в 1951 году за эти же деньги он купил бы только 20 граммов хлеба и 12 граммов картофеля, а французский рабочий приобрёл бы, например, не килограмм сахара, как в довоенное время, а всего лишь 47 граммов.

По сравнению с довоенным уровнем реальная заработная плата рабочих составляла в 1952 году в Англии лишь 80 процентов, во Франции и Италии—менее половины.

Снижение уровня реальной зарплаты и рост полной и частичной безработицы приводят к сокращению потребления важнейших товаров. По сравнению с довоенным временем структура питания населения США, Англии, Западной Германии ухудшилась. Резко снизился спрос на сливочное масло и мясо, упало потребление сахара и в то же время увеличилась продажа маргарина, яичного порошка, сухого молока и картофеля. Позднейшие данные, приведённые в докладе Экономической комиссии ООН для Европы, говорят о дальнейшем снижении сбыта товаров личного

потребления в западноевропейских капиталистических странах. Происходит это в результате падения платёжеспособного спроса широких народных масс.

Значительное количество трудящихся голодает. И, несмотря на это, монополисты, стремясь получить больше прибыли и сохранить высокие цены, уничтожают «излишки» продуктов питания. В США, например, в 1947 году уничтожено 210 миллионов дюжин яиц, обращённых в яичный порошок, испортившийся в результате длительного хранения. Чтобы сделать картофель непригодным для употребления в пищу, его обливали керосином, бензином, пропитывали ядовитой синей краской. В 1950 году таким образом было испорчено 1,4 миллиона тонн картофеля. В Англии в 1952 году, чтобы взвинтить цены на рынке, монополия владельцев траулеров уничтожила, по меньшей мере, 30 тысяч тонн рыбы. С этой же целью в Дании и Бельгии уничтожались домашняя птица, в Голландии — овощи.

Напечатанные в книге статистические таблицы раскрывают поистине драматическую картину положения трудящихся в странах капитала. Отживающая свой век капиталистическая система хозяйства, говорится в книге, ничего не может противопоставить величественным успехам и перспективам дальнейшего развития СССР и других стран демократического лагеря. Милитаризация и гонка вооружений, проводимые по указке американских монополистов в Англии, Франции, Италии, Западной Германии, Бельгии, Норвегии и т. д., разрушают экономику этих стран и толкают их к катастрофе. По собственным признаниям американских бизнесменов, всё яснее вырисовывается крах, «превосходящий кризис 1929—1933 годов». Промышленность Англии переживает состояние хронического застоя и упадка. Признаки нарастания очередного резкого экономического кризиса в капиталистических странах ощущаются населением этих стран с каждым годом всё больше.

Авторы сборника привели много фактов, представляющих значительный интерес для советских читателей. Однако они допустили и ряд недостатков, снижающих ценность работы.

Редакция сборника указывает, что оч «рассчитан на научных работников, занимающихся изучением экономики капитали-

стических стран, лекторов, профессорско-преподавательский состав и студентов высших экономических учебных заведений». Но такой читатель вряд ли сможет удовлетвориться собранным в книге статистическим материалом, некоторыми комментариями и вступительной статьёй. Его законным желанием будет ознакомиться также и с методикой, с приёмами расчётов, тем более, что авторский коллектив, как указано в сборнике, «проделал ряд самостоятельных статистических разработок». Ведь для своей учебной или пропагандистской работы читатель должен быть вооружён не только теми или иными цифрами и фактами, но и обязан (например, для того, чтобы убедительно ответить на вопросы слушателей) знать о происхождении и содержании этих данных. К сожалению, составители сборника не раскрывают методики своих разработок.

В книге нередко подчёркивается, что приведённые сведения взяты из буржуазной статистики и, следовательно, с ними надо обращаться с осторожностью. Правильно, конечно, что авторы предупреждают читателя о лживости буржуазных данных. Жаль, что они только этим и ограничиваются. В сборнике, как правило, не указывается, насколько фальсифицированы те или иные цифры и факты, почти нет собственных оценок, расчётов, например, фактического уровня реальной зарплаты, ухудшения питания, количества безработных и так далее. Поэтому читатель остаётся в недоумении: если указанные в сборнике показатели не во всех случаях соответствуют действительности, то какой же поправочный коэффициент надо внести?

Нельзя, конечно, требовать от авторов исчерпывающего освещения всех сторон экономики капиталистических стран. Тем более необходим был тщательный отбор материалов. Оказалось, однако, что некоторые наиболее существенные, определяющие показатели в сборник не включены, тогда как менее важные, наоборот, опубликованы.

Приведём несколько примеров.

В разделе «Промышленное производство и транспорт» даны сведения о добыче марганцевой, хромовой, оловянной руд и бокситов, о выплавке первичного свинца, цинка, олова. Почему же на сорока с лишним страницах этого раздела не нашлось



места для сообщения абсолютных данных, например, о производстве стали, электроэнергии, нефти? А ведь это имеет большое значение для характеристики экономики той или иной страны.

Одному из наиболее важных вопросов — росту обнищания пролетариата — составители сборника уделили недостаточно внимания. В этом разделе очень мало сведений о питании, совсем нет данных о потреблении непродовольственных товаров, мало показателей бюджетной статистики.

По мере дальнейшего наступления реакции на демократические свободы и права трудящихся всё более растёт возмущение рабочего класса, ширится его борьба про-

тив системы наёмного рабства, усиливается накал классовых боёв. Забастовки — мощное оружие рабочих в странах капитализма. И о них следовало сказать значительно полнее, чем это сделано в сборнике. О забастовочном движении говорят всего лишь две таблицы.

Эти недостатки следует устранить при переиздании книги.

Выпуск подобного рода статистического сборника — отрадное явление в нашей экономической литературе, которое следует всячески приветствовать. Ознакомление с содержанием материалов сборника полезно каждому советскому человеку.

Ю. ШИЛИН.

★

### Москва в XVIII веке

Второй том «Истории Москвы» — фундаментального коллективного труда, предпринятого Институтом истории Академии наук СССР, — охватывает более чем столетний период с 1689 по 1800 год<sup>1</sup>.

Дворянско-буржуазная историография, характеризующая Москву XVIII века, описывала преимущественно её внешние достопримечательности, рост территории, архитектурные памятники и совершенно не вскрывала материально-экономических основ её развития. Буржуазные исследователи открывали историю Москвы от истории России, не принимали во внимание общеисторический процесс, совершавшийся в рассматриваемую эпоху. Изучая быт представителей «главенствующего» сословия, историки обходили молчанием тяжёлую жизнь московских рабочих людей, ремесленников, крепостных, дворовых. Затухала классовая борьба трудящихся в её многочисленных и разнообразных проявлениях.

В данном издании история Москвы рассматривается в тесной связи с историей страны.

Книга разделена на две части — «Москва

в конце XVII в. и в первой четверти XVIII в.» и «Москва в 1725—1800 гг.». Каждая из них содержит соответствующие главы, рассказывающие об экономике Москвы, её населении и территории, народных движениях, общественно-политической жизни, управлении, городском хозяйстве, науке и культуре. Москва XVIII века предстаёт перед читателем в своём неповторимом облике, во всём многообразии своего уклада.

Авторы книги вводят в научный оборот много новых интересных фактов, по-новому освещают некоторые существенные вопросы истории нашей столицы.

Главы об экономической жизни Москвы, написанные Е. Заозёрской, Б. Кафенгаузом и Е. Кушевой, представляют собой серьёзное научное исследование. В них ярко показана роль Москвы в хозяйственном развитии России. Опираясь на материалы архивных фондов Берг-коллегии, Мануфактур-коллегии, Монастырского приказа, авторы рассказывают о возникновении крупного производства в Москве.

Уже в первой четверти XVIII века Москва становится центром лёгкой промышленности. Здесь вырабатывались суконные, полотняные и шерстяные ткани, а со второй половины века развёртывается и хлопчатобумажное производство. Из 75 мануфактур, имевшихся по всей стране, на Москву падало 32 мануфактуры. Позднее, в связи с образованием новых промышленных районов, удельный вес Москвы несколько уменьшается, но по абсолютным данным она продолжает оставаться цент-

<sup>1</sup> Рецензию на том первый см. «Новый мир» № 9 за 1953 год.

«История Москвы. Том второй. Период феодализма XVIII в.». Редакция второго тома: член-корреспондент Академии наук СССР С. В. Бахрушин, доктор исторических наук Б. В. Кафенгауз, кандидат исторических наук П. К. Алефиренко, кандидат исторических наук Е. Н. Кушева. Издательство Академии наук СССР, М. 1953.

ром обрабатывающей промышленности. К концу XVIII века в Москве было уже 293 мануфактуры. Кроме текстильного производства, появляется большое количество и других предприятий — сургучных, латушных, проволочных, стекольных. Наряду с крупной мануфактурой усиленно развивалась и мелкая промышленность, особенно галантерей, обслуживавшая массовый спрос.

Авторы сообщают подробные сведения об организации труда на московских мануфактурах и ремесленных предприятиях, о положении трудящихся масс. Одних только мануфактурных штатных рабочих к концу XVIII века насчитывалось свыше десяти тысяч человек, помимо работавших подённо, понедельно и помесечно. Рабочая сила черпалась из крестьянской и посадской среды. Подневольные люди московских мануфактур вынуждены были гнуть спину по четырнадцать-пятнадцать часов в сутки, «суконный регламент» узаконивал эксплуатацию детей. Кроме принудительного труда (приписных и посессионных рабочих), применялся и наёмный, особенно на частных предприятиях.

Материалы, приведённые в книге, показывают, что в недрах феодально-крепостнического строя начали развиваться новые, капиталистические отношения, усилившиеся к концу столетия. Уже явственно выступает несоответствие развивающихся производительных сил и старых производственных отношений. Процесс разложения крепостничества принял вполне различные формы.

На протяжении всего столетия Москва не утратила своего господствующего положения на всероссийском рынке. Во все концы России расходились от Москвы разветвлённые сухопутные дороги. Из Поволжья, Украины, Сибири, из центральных и северных районов страны доставляется в Москву сырьё и продовольствие, пушнина и кожаные изделия.

Торговля в Москве концентрировалась в Китай-городе с его многочисленными торговыми рядами, насчитывавшими около десяти тысяч лавок, палаток и ларей. Отсюда по всей стране широко распространялись московские и привозные товары. Китай-город был хорошо известен и за пределами России.

Внешняя торговля Москвы шла по различным направлениям: Санкт-Петербургская, или «европейская морская», польская,

или «европейская сухопутная», архангельская, китайская, оренбургская, турецкая и персидская. Через петербургский порт доставлялись в Москву европейские, американские и ост-индские товары. Весьма оживлённой была торговля Москвы с Китаем, из которого ввозили «китайку», шелка, чай в обмен на льняные ткани, сукна, бархат, меха и т. д.

Наряду с Петербургом Москва в XVIII веке была крупнейшим городом России. Долгое время новая столица значительно уступала Москве в численности населения. В Петербурге проживали, как правило, дворяне, военные и чиновники, в Москве — главным образом посадские и крестьяне, причём эта сословная группа была весьма разнообразна по своему имущественному положению: от богатого купца до бедного подёнщика. Значительную часть посадского населения составляли работные люди.

Представители господствующего класса составляли всего около пяти процентов московского населения, но им принадлежало до одной трети всех домовладений, дворов, домов-усадоб, занимавших значительную часть территории Москвы. Характерной чертой в облике города является возникновение в восьмидесятых годах промышленных районов, где преимущественно и поселяется новая социальная группа населения — мануфактурные рабочие. В связи с ростом производительных сил и экономическим развитием растёт территория Москвы, её планировка и застройка. К концу века Москва в значительной степени теряет черты средневекового города.

Содержательные разделы, посвящённые управлению Москвой, написаны Б. Слицаном. В них рассказано, какие изменения произошли в организации московских административных учреждений, какие меры принимались господствующим классом — дворянством — для создания сильного аппарата власти, который укреплял бы национальное государство помещиков и торговцев.

После перенесения официальной столицы в Петербург за Москвой осталась политико-административная роль «второй столицы». Центральные правительственные учреждения — Сенат и коллегии — имели в Москве свои конторы, а некоторые из высших государственных учреждений вообще находились здесь всё время.

В главах, написанных Б. Кафенгаузом, В. Лебедевым и П. Алефиренко, широко представлена общественно-политическая жизнь Москвы, классовая борьба, народные волнения, развитие политической мысли.

Москва XVIII века явилась свидетельницей крупнейших событий. В ней впервые создавалась регулярная армия, прославившая Россию великими победами, устраивались триумфальные празднества, организованные в честь этих побед. В Москве происходили пышные коронации царей и цариц.

Материалы тома рассказывают об усилении классовой борьбы, о напряжённом политическом положении, возникшем в Москве в бурные годы народных движений. Крупные восстания — астраханское (1706—1707) и булавинское (1707—1708) — имели связь с Москвой, несмотря на дальность расстояния. Это вызывало тревогу и опасения у правительства Петра I. На Красной площади были казнены шесть участников астраханского восстания. В начале 1709 года в Воронеже и Москве происходила расправа с булавинцами.

Особый интерес представляют страницы, посвящённые новым формам борьбы рабочих людей за свои права, выразившимся в «остановках работы» — забастовках. Уже в двадцатых годах на Московской суконной мануфактуре — «Суконном дворе», переданном казной купцам-«компанейщикам», начинаются волнения. В 1737 году здесь прекратили работу 1 022 человека — половина всего состава мастеровых. Бастующие обращались в московские конторы Коммерц-коллегии, направляли ходяков в Петербург с прошениями в Сенат и Кабинет императрицы. Нередко челобитчики были «смертельно биты плетью», их бросали в тюрьмы, но в отдельных случаях, как, например, в 1742 году, в результате стойкой борьбы рабочих людей правительство вынуждено было давать соответствующие указания: повысить расценки, не задерживать выплату жалованья и т. д.

По примеру суконщиков, к массовой остановке работы прибегли в 1778—1779 годах кирпичедельцы казённого подмосковного Усть-сетунского завода и рабочие всех частных кирпичных заводов в районе Донского монастыря.

Подробно описан в книге знаменитый «чумной бунт» — московское восстание 1771

года, главной движущей силой которого были дворовые, крестьяне и рабочие мануфактур.

Во время крестьянской войны под руководством Пугачёва дворянское правительство боялось нового взрыва возмущения народных масс в Москве. Горячее сочувствие московского «подлого люда» пугачёвцам, малочисленность и неблагонадёжность солдат московского гарнизона не на шутку тревожили гражданские и военные власти. В Москву были посланы крупные вооружённые силы, улицы и площади находились под неусыпным надзором полиции. Для устрашения трудящихся масс Москвы в 1775 году на Болотной площади состоялась казнь Пугачёва.

Говоря о классовой борьбе в XVIII веке, авторы подчёркивают, что антифеодальное движение крестьян и рабочих людей подтачивало основы крепостнического строя в России.

Развитие политической мысли в Москве, как зеркало, отражает всю сложность социально-экономической обстановки. Московская публицистика первой четверти XVIII века характеризуется множеством «записок», «проектов» тех или иных экономических, финансовых, военных и прочих мероприятий, подаваемых с целью помочь правительству Петра I в его преобразовательной деятельности. Авторами таких «записок» являлись Посшков, начавший свою деятельность в Москве, Курбатов, Нестеров, Филиппов. Сагира Кантемира и трактаты Татищева, этих выдающихся идеологов «просвещённого абсолютизма», отражали политические взгляды московской интеллигенции тридцатых-сороковых годов. Настроения дворянства позднейшего времени нашли своё выражение в журналах, издававшихся Херасковым. Социальное неравенство провозглашалось в этих журналах божественным установлением, крепостные крестьяне призывались к покорности и усердию, а дворяне — к некоторому смягчению «строгости», к необходимости соединить «рассудок с властью... и рачение награждать достойно».

Много внимания уделено во втором томе «Истории Москвы» Н. И. Новикову, выдающемуся писателю, редактору ряда журналов, неутомимому книгоиздателю. Просветительская и литературно-издательская деятельность Новикова носила столь широкий характер, что он был назван современ-

никами «истинным министром народного просвещения» России.

Лучшая часть дворянской и разночинной интеллигенции, представителем которой был Новиков, не могла примириться с феодально-крепостническим гнётом, стремилась путём широкого просветительства создать условия для изменения социальных отношений в стране. С Москвой были связаны Фон-визин и Радищев, жившие в Петербурге. Не случайно книга первого русского революционера носила название «Путешествие из Петербурга в Москву». Правда, как указывают авторы, «передовая московская интеллигенция не поднялась до революционно-демократических воззрений Радищева, но книга его дошла до Москвы и здесь читалась».

Москва XVIII века являлась средоточием культурной жизни России. Интересными сведениями насыщены главы, повествующие о состоянии просвещения, науки и техники (авторы П. Алефиренко, Б. Кафенгауз, Н. Бакланова, Т. Райнов), литературы (А. Кокорев), о развитии театрального и музыкального искусства (В. Кузьмина и Т. Ливанова), архитектуры (М. Ильин), живописи, скульптуры и прикладного искусства (А. Свирин). Особые разделы книги посвящены московскому быту (И. Бакланова и Е. Кушева).

Можно без преувеличения сказать, что в XVIII веке в России начинается тот бурный подъём, который предшествовал могучему расцвету русской культуры последующего столетия. Этот подъём в значительной степени связан с Москвой. Здесь был заложен фундамент светского школьного образования, открыты Навигацкая, Инженерная, Артиллерийская школы, Медицинское училище, обучение в которых преследовало практические цели. Значительно увеличивается выпуск книг, также имеющих по преимуществу прикладное значение. Возникает новый, гражданский шрифт. В Москве выходит первая русская печатная газета — петровские «Ведомости».

По инициативе М. В. Ломоносова в Москве основывается первый русский университет, ставший рассадником просвещения и науки. Вокруг него группируются такие просветительные организации, как «Вольное российское собрание», «Общество любителей российской учёности».

Значительное внимание уделено в книге московской народной литературе (лубок,

стихотворная новелла, песни), которая «оказывала давление на «большую» литературу в направлении усиления её демократизации и связи с жизнью. Москва становится центром развития антикрепостнической народной сатиры». Велико значение Москвы и в создании русского литературного языка.

Внимание читателя привлекают разделы книги, рассказывающие об истории московского театра, — от «Комединой хоромы», построенной на Красной площади (1702—1706), до создания в восьмидесятых годах «Петровского театра» с его замечательными актёрами. Знакомясь с очерком о музыке, мы узнаём много нового о русской комической опере, о таких выдающихся композиторах, как Дегтярёв, Кашин, о симфонических концертах, устраивавшихся в Москве.

Поистине мировое значение приобретает в XVIII веке русская архитектура, живопись и скульптура. В Москве протекает деятельность архитекторов Зарудного, Ухтомского. Представитель простого и строгого классицизма, великий Баженов работает здесь над проектом Кремлёвского дворца, оставшимся неосуществлённым, строит великолепный «Пашков дом» (старое здание Ленинской библиотеки). Много сделал для застройки города гениальный Казаков, создавший здание Московского университета, Голицынской больницы (теперь 1-й Градской), Петровского подъездного дворца, где сейчас размещилась Военно-Воздушная Академия имени Жуковского, здание Дворянского собрания (Дом союзов), дом главнокомандующего Чернышева (Моссовет) и другие мировые шедевры московской архитектуры.

Творчество знаменитых русских живописцев — Никитина (имея в виду которого Пётр I с гордостью писал, что «есть и из нашего народа добрые мастера»), шереметьевских крепостных Аргуновых, Рокотова — также связано с Москвой. Здесь же осуществляли некоторые свои работы замечательные скульпторы: тончайший психолог-портретист, земляк Ломоносова, Федот Шубин, эффектный Гордеев, величавый Мартос — автор памятника Минину и Пожарскому.

В расцвете всех видов русского искусства исключительно велика роль людей из народа, крепостных, в жестоких условиях феодального гнёта создававших чудесные произведения. Имена многих из них оста-

лись неизвестными. Но живы их творения — дворцы и усадьбы Подмосковья, украшенные их искусной резьбой по дереву, художественной мозаикой и керамикой, замечательными портретами и пейзажами.

Разделы книги, посвящённые развитию культуры и искусства, говорят о том огромном вкладе, который внесла в русскую и мировую культуру Москва XVIII столетия.

Достоинства издания несомненны. Но этот ценный исторический труд не свободен всё же от некоторых недостатков, упущений и отдельных ошибок.

Москва XVIII века могла выглядеть многостороннее и ярче, если бы в книге получила более полное освещение та роль, которую она играла, являясь центром России, вошедшей после победоносной Северной войны в число мировых держав и ставшей, по словам В. Г. Белинского, вместе с ними держать «судьбы мира на весах своего могущества».

В книге почти не показано, как реагировали различные слои московского населения на выдающиеся социально-политические, военные, культурные события своего времени. В частности, буквально в полутора строках, да и то в скобках, говорится об отношении московского общества и печати к такому крупнейшему событию мировой истории, как освободительная война американского народа (1776—1783). А ведь она, как известно, имела очень крупный резонанс в России. Ни слова не сказано о политических и культурных связях Москвы с Западом и Востоком.

Правильно указав на необходимость отметить роль Москвы «в культурном развитии народов нашей страны», авторы ограничились лишь рассказом о наличии в ней грузинской и армянской колоний. Не показаны связи Москвы и с братским украинским народом, значительно усилившиеся в XVIII веке, после воссоединения Украины с Россией. Нужно признать, что в этом вопросе — выявлении многосторонних связей Москвы с другими народами нашей страны — второй том значительно уступает первому.

Интересно было бы увидеть «вторую столицу» России в сравнении с европейскими центрами — скажем, Лондоном, Берлином, Парижем, Веней. Такое сопоставление, несомненно, обогатило бы читателя, дало ему более наглядное представление о Москве. К сожалению, не показана она и в сравне-

нии с другими городами России, за исключением Петербурга.

Слабо представлен раздел о развитии в Москве философской мысли. Декларативно заявив о заметных успехах «в разработке основ материалистического мировоззрения», авторы по существу обошли вопрос о роли живших в Москве мыслителей, без должной остроты показали их социологические взгляды. Ничего не узнаёт читатель о выступлениях С. Е. Десницкого против расизма, захватнических войн и рабства в Соединённых Штатах Америки, «где барышничают людьми точно как скотиной и вещью», о его резкой критике английских парламентских порядков. Демократ и гуманист Десницкий, осуждавший произвол самодержавия и крепостничества, односторонне показан лишь как защитник интересов российских купцов и промышленников. Ничего не сказано о философских взглядах Новикова (хотя о нём говорится в трёх разделах книги), о философской направленности московских журналов. Жаль, что авторы книги не использовали двухтомник «Избранных произведений русских мыслителей второй половины XVIII в.», кстати говоря, упомянутый в библиографическом указателе, приложенном к рецензируемому изданию. Они нашли бы там яркие образцы русской материалистической мысли.

Масонство, получившее довольно значительное распространение в дворянских кругах Москвы и явившееся, по справедливому и меткому замечанию Плеханова, «мрачной и свирепой реакцией против просвещения XVIII в.», определяется в книге всего лишь стремлением дворянства уйти от политики, от мирской суеты и связывается с увлечением замысловатым ритуалом лож. Противоречит фактам и попытка выделить возникшую в 1780 году мартинистскую ложу «Гармония» из общего круга московских масонских организаций и представить её в качестве какого-то просветительного общества. Учение масона Сен-Мартена, имевшее в Москве почитателей, было насквозь реакционным, мистическим. Оно было резко осуждено передовыми русскими людьми как «химерическое», «юродивое».

Это не единственный пример приукрашивания истории. Пожалуй, наиболее ярко оно проявилось в оценке поэта В. П. Петрова, отнесённого к числу прогрессивных представителей московской разночинной интеллигенции. Сам Петров, один из лю-

бимцев Екатерины II, её личный чтец и библиотекарь, откровенно называл себя «царским витией», «карманным Екатерининным стихотворцем». Против этого напыщенного казённого панегириста энергично выступали его современники Новиков, Крылов и другие. Петров же, как известно, недвусмысленно угрожал Новикову и его друзьям «богиней Полицией». Достоинство удивления, что желание изобразить Петрова «прогрессивным деятелем» прикрывается цитатой из Пушкина, который якобы... «воспел Петрова». Не был прогрессивным деятелем и одописец и переводчик Ермил Костров, а в преувеличенной оценке воспитательной системы Бецкого слышны в какой-то степени отголоски восхваления его буржуазными исследователями.

Можно ли ставить знак равенства между деятельностью Новикова, издателя сатирических журналов в Петербурге (1769—1774), и его деятельностью в Москве (1779—1792)? Став масоном и приступив к изданию масонской литературы, Новиков тем самым обнаружил известную идейно-политическую неустойчивость. Хотя он и продолжал вести в Москве, вопреки масонам, большую и благородную просветительную деятельность, степень его политического радикализма снизилась.

Представляется спорным мнение одного из авторов книги, А. Кокорева, считающего «просветительным произведением» известную лубочную картину «Мыши kota погрёбают». В эту картинку, острую и колючую, её создатели — раскольники, злейшие враги петровских реформ, — вложили свою величайшую радость по поводу смерти Петра I. Вряд ли следует, как это делает А. Кокорев, все, без исключений, сатирические лубочные картинки относить к прогрессивным.

Книга насыщена ценным фактическим материалом. Но не всегда приведённые факты объясняются. В некоторых же случаях выводы существенные в методологическом отношении, даются без связи с конкретными историческими фактами, не сразу после рассказа о них. Так, например, важнейший социологический вывод о начавшемся несоответствии производительных сил и производственных отношений дан оторванно от конкретных фактов, говорящих об этом несоответствии и изложенных раньше. В таком виде этот вывод теряет свою ценность.

Не акцентировано внимание читателя на

том, что указ 1721 года, по которому мануфактуры могли покупать крестьян целыми деревнями, и указ 1736 года, разрешивший покупку крестьян уже в одиночку, есть попытка крепостников приспособиться к новым экономическим условиям для сохранения своего господства.

Встречаются в книге и отдельные неточности. Неверно, что «все сочинения Вольтера, вышедшие в России в XVIII в., были изданы новиковскими типографиями». Их печатали не только Новиков, но и другие издатели, например, Рахманинов.

Авторы утверждают, что Французская революция до казни короля Людовика XVI, то есть до января 1793 года, «ещё не пугала московское дворянство и оно относилось с большим интересом к сообщениям о Французской революции». На самом деле «пугать» дворянство революция начала гораздо раньше, особенно после так называемого шестия народа в Версаль (5 октября 1789 года) — этого активного вмешательства масс в ход революции.

Второй том «Истории Москвы», так же как и первый том, представляет большую ценность. Это серьёзный исторический труд, свидетельствующий о значительном росте советской исторической науки.

Книга написана простым, хорошим литературным языком. Строгая научность сочетается здесь с доступностью изложения.

Хочется отметить также оформление книги, высокую полиграфическую культуру издания. Обращают на себя внимание многочисленные иллюстрации, умело подобранные Н. Баклановой и хорошо дополняющие текст, изящные заставки и концовки, исполненные художником Н. Седельниковым в стиле художественного оформления московских изданий XVIII века. Досадно только, что в книге отсутствует изображение великого зодчего М. Ф. Казакова, хотя существует его гравированный портрет работы Афанасьева.

Издание выпускается сравнительно небольшим тиражом, цена его, прямо скажем, высока. Нам представляется целесообразным одновременно с настоящим дать массовым тиражом удешевлённое издание «Истории Москвы». И тогда первая научная история столицы нашей Родины станет действительно достоянием миллионов советских читателей.

*Кандидат исторических наук*  
**А. НИКОЛАЕВА.**

## Открытия советских географов

Русские учёные и путешественники, мореходы и землепроходцы вписали немало славных страниц в историю мировых географических открытий. Их подвигам и достижениям посвящены специальные исследования и научно-популярные издания. Но до сих пор нет ещё книг, которые обобщили бы выдающиеся результаты географического изучения нашей великой Родины, достигнутые за годы советской власти.

Небольшая, содержательная работа Н. Гвоздецкого является первой и, в целом, удачной попыткой восполнить в какой-то степени этот пробел. Автор справедливо отмечает, что «как ни велики были достижения русских исследователей в дореволюционный период, всё же к моменту Великой Октябрьской социалистической революции на карте России было ещё очень много «белых пятен». Внутри страны, особенно в Сибири, да и в Средней Азии, простирались обширные пространства неисследованных земель. Многие острова в полярных водах ждали своего открытия».

Не ставя своей целью подытожить всё множество географических исследований, Н. Гвоздецкий рассказывает лишь о тех из них, которые внесли существенные изменения в карту СССР.

Трудность проблемы, стоявшей перед автором, заключалась в том, чтобы выбрать из огромного количества экспедиций наиболее важные и на сравнительно немногих примерах показать основные этапы и направления географических исследований. С этой нелёгкой задачей Н. Гвоздецкий, на наш взгляд, справился.

Знакомясь с книгой, читатель прежде всего видит картину изменений на карте Арктики. При этом автор, как и в дальнейшем, пользуется весьма наглядным и доходчивым методом сопоставления старых, дореволюционных и новых советских карт. Достаточно, например, взглянуть на карту Карского моря и Северного побережья Сибири, составленную в 1916 году, и на современную, чтобы заметить резкую разницу между ними. Реки с их притоками заметно изменили направление течения, в центре Таймырского полуострова появилось большое озеро, вытянутое с запада на восток.

**Н. А. Гвоздецкий. «Как были стёрты «белые пятна» с карты СССР». Географгиз, М. 1953.**

Ещё большие изменения обнаруживаются в изображении Северной Земли, открытие которой русскими мореплавателями в 1913 году было крупнейшим событием в истории географии XX века. Однако тогда удалось дать лишь приблизительные контуры береговой линии двух южных островов. Остальные подробности оставались неизвестными, и земли эти с тех пор человеком не посещались. Только в 1930—1932 годах тайна их была полностью разгадана отрядом экспедиции Арктического института, высадившимся во главе с полярником Г. А. Ушаковым на острове Домашнем, в нескольких десятках километров от Северной Земли.

В исключительно суровых условиях протекала работа этого отряда, но его усилия не пропали даром. Оказалось, что Северная Земля представляет собой целый архипелаг с тремя крупными и множеством мелких островов. «Белое пятно» оказалось большим пространством суши — 37 тысяч квадратных километров, — находящейся среди полярных морей; были отмечены новые проливы, заливы, ледники, мысы, горы. «Вся Северная Земля легла на карту ясными и чёткими линиями», — пишет Н. Гвоздецкий.

Из года в год Арктический район Советского Союза обогащался всё новыми и новыми открытиями. Появился ряд островов в Карском море, носящих знакомые советским людям имена Кирова, Ушакова, «Известий ЦИК». В 1924 году В. Ю. Визе предсказал наличие острова между 78° и 80° северной широты и даже нанёс его на карту. В 1930 году эта земля, «теоретически открытая шесть лет тому назад за письменным столом», была действительно найдена и получила имя Визе.

Невозможно перечислить все открытия, совершённые в морях Советской Арктики. Укажем лишь, что значительно уточнились очертания острова Врангеля, изображение рельефа дна окраинных морей и внутренних частей Северного Ледовитого океана, в центральной впадине которого обнаружены глубины, превышающие пять тысяч метров. К северо-востоку от Новой Земли открыто целое новое море. Работами знаменитой дрейфующей на льдине станции (май 1937 — февраль 1938 года) окончательно установлено, что весь район между полюсом и 86° представляет собою глубокую котло-

вину с пологим дном с максимальной глубиной 4 395 м. Таким образом, рассеялась легенда о суше, окружающей «верхушку мира» — Северный полюс. Всё это привело к изменению представления о Ледовитом океане как о сравнительно мелководном бассейне.

Но суровой Арктикой далеко не исчерпывалась деятельность советских географов.

Перед читателем воскресают блестящие исследования Восточной Сибири, выполненные в последней четверти XIX века И. Д. Черским, человеком изумительного мужества, энтузиастом науки. Важным результатом его путешествий явилось открытие к северо-востоку от Верхоянского хребта трёх высоких горных цепей, расположенных между Индигиркой и Колымой, о существовании которых в то время никто и не подозревал.

Почти 40 лет после смерти Черского никто не заглядывал на юго-восток Верхоянско-Колымского края. «Огромная область более чем в 1 000 000 кв. километров... область в три раза больше Германии, с многочисленными хребтами и мощными реками, всё ещё оставалась неисследованной».

Только в 1926 году экспедицией С. В. Обручева, продолжившей изыскания Черского, в том месте, где на картах изображалась низменность, была открыта высокая горная цепь. Заканчивая свою книгу о путешествии на Индигирку и об открытии хребта, которому позднее было присвоено имя Черского, С. В. Обручев писал, что «это, быть может, последний большой хребет, который можно открыть на земном шаре». Тем не менее, в результате дальнейших экспедиций удалось значительно уточнить распределение горных хребтов, низменностей и возвышенностей на огромной территории между реками Леной, Яной, Индигиркой, Колымой и северным побережьем Охотского моря.

Значительное место отведено в книге и открытиям в Средней Азии. Здесь были проведены разносторонние исследования Джунгарского Ала-Тау, некоторые районы Тянь-Шаня получили верное и достаточно подробное картографическое изображение.

До 1943 года полагали, что в горах Тянь-Шаня нет вершин свыше семи тысяч метров. Однако экспедицией геодезистов и топографов был обнаружен пик высотой 7 439 метров. Правда, его видели и ранее, но никто не подозревал, что он почти на 450 метров

превышает великана Хан-Тенгри. В честь героических побед Советской Армии участники экспедиции присвоили этой самой высокой точке Тянь-Шаня название «Пик Победы».

При восхождении на эту вершину пришлось преодолевать исключительные трудности. Из-за обилия осадков разлились горные реки, между двумя ледниками, лежащими на пути экспедиции, прорвалось озеро Мерцбахера. Вода устремилась вниз с диким грохотом. Люди оказались отрезанными на две недели от базы. «В моменты, непосредственно предшествующие снегопаду, граду, грозе, и в течение всего времени грозы воздух на вершинах становился настолько наэлектризованным, что человек и приборы становились как бы своеобразными «терменвоксами»... при каждом движении были слышны своеобразные музыкальные звуки, на голове поднимались волосы, а прикосновение руками к металлическим частям инструментов вызывало сильные электрические толчки, а иногда и небольшие ожоги».

Интересны страницы книги, посвящённые Памиру. Ещё до революции Н. Л. Корженевский посетил открытый здесь русским учёным В. Ф. Ошаниным ледник имени Федченко, известный в то время лишь в своей нижней части. В 1926 году Н. Л. Корженевский обнаружил пик Карпинского (6 623 метра), а вся изученная теперь северная часть хребта получила имя Академии наук.

Большое значение в исследованиях Памира имела Памирская высокогорная экспедиция 1928 года, в состав которой входили крупные советские учёные (Н. Л. Корженевский, Д. И. Шербаков, О. Ю. Шмидт и другие). Она установила в западной части Памира высочайшую горную вершину СССР, названную пиком Сталина. В 1933 году на него поднялся известный альпинист Е. М. Абалаков, а через четыре года в честь двадцатой годовщины Октября уже шесть человек совершили восхождение на вершину. Значительную работу по изучению северо-западной части Памира выполнил топограф И. Г. Дорофеев. Он прошёл 700 километров и открыл свыше 20 новых ледников в системе ледника Федченко.

Вкратце останавливается автор на изменениях карты Кавказа, где возникли новые, более точные высоты гор, появились названия до того безымянных пиков (Вольной Испании, Испанской компартии, Пассиона-



рии, Чкалова), уточнены схемы расположения горных вершин.

Благодаря изучению Европейской части СССР удалось установить, что высшей точкой Урала является ранее не известная гора Народная. Советские люди, шаг за шагом продвигаясь на неведомый дореволюционным учёным Полярный Урал, открыли также множество ледников, самая возможность существования которых отрицалась.

Немало поработали на Урале геологи, открывшие множество новых месторождений полезных ископаемых. Результаты их работ во многом изменили, уточнили ранее существовавшие взгляды на геологическое прошлое этого интересного и важного района нашей страны.

Положительной стороной книги Н. Гвоздецкого является простота и ясность языка. Автор умело вводит в своё повествование образные описания отдельных этапов многочисленных путешествий, воспоминания их участников. Книга читается с неослабевающим интересом.

Нельзя, однако, пройти мимо отдельных недочётов, нечётких формулировок, которые досадно видеть в столь полезном издании.

Так, автор пишет, что Семён Дежнев, «обогнув морем восточную оконечность Азии», установил существование морского пролива, разделяющего азиатский и американский материка. Открытие Дежневым и его соотечественником Поповым пролива бесспорно. Но научное и практическое значение этого открытия ему осталось неизвестным, так же как и то, что на противоположной стороне пролива лежала «Большая Земля», то есть Америка. Ни Дежнев, ни бывшие при нём спутники не видели её и не подозревали о её существовании. Таким образом, из того, что Дежнев и Попов проплыли морским путём из Колымы в устье Анадыря и тем доказали возможность систематически совершать подобные плавания, не следует делать вывод, будто Дежнев установил наличие пролива между Азией и Америкой. Честь открытия этого пролива, как справедливо отмечал академик Л. С. Берг, принадлежит не Дежневу и даже не Берингу, а геодезисту Фёдорову, который в 1732 году не только видел вместе со своим спутником Гвоздевым расположенные в проливе острова и оба берега — Азии и Америки, но и первым положил их на карту.

Автор приводит мнение Н. Н. Зубова и К. С. Бадигина о причинах, по которым

не могла быть обнаружена в Восточно-Сибирском море так называемая «земля Андреева», разыскиваемая уже около 200 лет. Н. Н. Зубов и К. С. Бадигин считают, что она «есть не что иное, как остров Новая Сибирь». Однако высказываемые ими интересные соображения весьма спорны, и «тайну земли Андреева» нельзя считать разгаданной и поныне. Не исключена возможность, что эта «земля» была размыта морем подобно тому, как и теперь разрушаются берега островов Новосибирского архипелага и многих других. Во всяком случае автор книги не должен был ограничиться простой ссылкой на мнение Н. Н. Зубова и К. С. Бадигина, а привести, если он его разделяет, доказательства в подкрепление правильности подобных соображений.

Неверно утверждение Н. Гвоздецкого о том, будто бы одни лишь казаки открыли Ленско-Колымские, Юкагирские, Чукотские земли. В документах XVI—XVII веков отмечается, что в этих открытиях принимали участие «служилые, промышленные и иных чинов люди».

Из рассказа, посвящённого Черскому, складывается впечатление, будто бы опубликованный в 1886 году отчёт об исследовании берегов Байкала был его первой работой. Между тем первые работы Черского появились в 1862 году, и после этого последовала длинная серия его трудов, предшествовавших появлению упомянутого отчёта.

Жаль, что орографические схемы хребтов в бассейнах Яны и Индигирки, помещённые на страницах 46 и 47, сопровождаются мало говорящим примечанием: «на старых» и «новых картах». Следовало бы указать время составления их.

Не отмечено, к сожалению, что автором принятой сейчас схемы орографического строения Забайкалья и, в частности, выделения Яблонового хребта в его нынешних границах является академик В. А. Обручев. Не упомянуто в книге о большой работе, проделанной в двадцатых — начале тридцатых годов Якутской комиссией и Якутской экспедицией Академии наук СССР. В ней принимали участие геологи, географы, ботаники, почвоведы (С. С. Кузнецов, А. А. Григорьев, Р. И. Аболин, А. А. Красюк), написавшие много интересных работ и давшие ряд сводок по геологии и геоморфологии республики в связи с её десятилетием. Эти работы позволили осветить ряд

вопросов физической географии Якутии. Именно этой экспедиции принадлежит приоритет в раскрытии неясных моментов природы центральной, наименее изученной, части этой республики.

Хотелось бы видеть в книге большее количество карт, в частности, настолько полную карту Северо-Восточной Якутии, чтобы иметь возможность проследить по ней за всеми сообщаемыми автором подробностями детально изложенного им описания путешествий В. А. Обручева.

Очень мало сказано о достижениях советских учёных в изучении Саян и ни слова — об исследованиях Тувинской автономной области, об успехах в изучении средне-русской возвышенности, Поволжья и За-волжья, сильно изменивших наши представления о характере, распределении и густоте оврагов — бича сельского хозяйства в этих районах.

Многое ещё хотелось бы увидеть на стра-

ницах интересно задуманной книги Н. Гвоздецкого! Но и в настоящем объёме она является, несомненно, полезной для широких кругов читателей.

В заключение хочется сделать серьёзный упрёк издательству за оформление книги. Большинство иллюстраций, имеющихся в ней, серо, маловыразительно. На странице 54, например, непонятно, что находится в центре рисунка, — замёрзшая река или река, текущая среди покрытых снегом берегов?

Издательству следует позаботиться о том, чтобы печатать иллюстрации на вкладных листах, если качество бумаги, на которой издана вся книга, не позволяет дать удовлетворительные рисунки и фотографии.

*Доктор географических наук*

**Д. ЛЕБЕДЕВ,**

*Кандидат географических наук*

**Л. КАМАНИН.**

★

## Техника древней Руси

Книга Б. А. Колчина «Чёрная металлургия и металлообработка в древней Руси» рассказывает о добычании и обработке железа в IX—XIII веках. Ремесло это являлось одним из важнейших звеньев в производительных силах древней Руси, так как основные орудия труда древнерусских земледельцев, строителей и многочисленных «умельцев» изготовлялись из железа и стали.

Автор неоднократно подчёркивает связь своей книги с работой Б. Рыбакова «Ремесло древней Руси». Это вполне естественно. Б. Рыбаков впервые дал обстоятельный очерк древнерусского ремесла, тщательно изучил кузнечный инструментарий, сделал подробный обзор железных изделий. Но, следуя за Б. Рыбаковым, идя «по линии раскрытия и более полного изучения основного источника — самой археологической вещи», — Б. Колчин вполне оригинален.

Центральное место в его книге занимает техника металлургии железа и стали и производства орудий труда, оружия, утвари.

**Б. А. Колчин.** «Чёрная металлургия и металлообработка в древней Руси (домонгольский период)». Издательство Академии наук СССР, М. 1953.

Говоря о металлургии древней Руси, Б. Колчин прежде всего выясняет вопрос о базе этой металлургии. Такой базой являлись железные руды, распространённые на территории древней Руси в трёх основных (по способу образования) видах: бурый железняк (лимонит), болотная или луговая руда и озёрная руда. Буржуазные историки принижали роль древнерусского ремесла, ссылаясь на то, что в русских землях якобы отсутствовало металлургическое сырьё, За-слугой Б. Рыбакова явилось составление карты распространения болотных, луговых и озёрных руд в Восточной Европе. Б. Колчин на основании письменных источников собрал данные о разведках и промышленном использовании болотных руд и бурых железняков в пределах территории древней Руси. Эти сведения полностью подтвердили основные выводы Б. Рыбакова и дали возможность значительно расширить его карту на юге.

Таким образом, металлургическую базу древней Руси составляла железная руда, не требовавшая чрезмерных усилий для её добычания. Она находилась у древнего металлурга всегда под руками.

Доказательством использования этого сырья для нужд народного хозяйства в

IX—XIII веках является то, что на многих древних городищах найдены большие скопления отходов металлургического производства — железных шлаков. Это свидетельствует о местном производстве железа и широком распространении металлообрабатывающего ремесла.

При раскопках некоторых древних городищ были найдены также остатки плавильных печей. Места находок показывают, что плавильные печи были распределены по всей территории древней Руси. Вокруг них найдены в большом количестве руда, шлаки, крицы, куски железа, сопла. На многих городищах найдены кузнечные инструменты: наковальни, тяжёлые молоты-кувалды, молоты-ручники, кричные и кузнечные клещи, зубила, напильники и т. п.

В древней Руси железо добывалось так называемым сыродутным способом, который являлся единственным на протяжении двух-трёх тысячелетий.

Сущность сыродутного процесса заключалась в том, что загруженная в плавильную печь измельчённая руда в смеси с древесным углем подвергалась нагреванию. При температуре 450—900 градусов окись железа в руде восстанавливается до металлического железа, порода руды расплавляется (шлакируется) и при нагреве в 1430 градусов отделяется от металла. Образующийся жидкий шлак стекает на дно печи, а восстановленные зёрна железа, опускаясь по мере выгорания угля в низ печи, слипаются и образуют крицу. Необходимым условием восстановления железа является постоянный приток воздуха. Б. Колчин на основании археологических данных, полученных при раскопках древнерусских городищ, воссоздал конструкцию сыродутной печи древней Руси.

В работе Н. Бунге, посвящённой железной промышленности Правобережной Украины в первой половине XIX века, отмечен интересный факт сосуществования старых, архаических, уже отмиравших форм железной промышленности феодальной формации с новыми предприятиями капиталистического типа. Учёный описывает лупы (рудни)—железные заводы, где основные процессы механизированы с помощью мельничного колеса, а также лупки, в которых железо добывалось вручную. Наряду с этими формами предприятий ремесленного типа, на которых железо из руды вываривалось в сыродутных печах, на Правобережье возни-

кают в конце XVIII века крупные предприятия типа крепостной мануфактуры, где из тех же местных руд добывали чугун.

Лупка, описанная Н. Бунге, наиболее приближается к реставрированной Б. Колчиным сыродутной печи. Любопытно, что лупа (рудня) имела «печь с открытым четырёхугольным горном, вровень с полом», то есть печь земляночного типа, а лупка «представляла собою небольшой горн на кирпичном возвышении, отстоящем на аршин от земли», то есть являлась наземным сооружением.

Менее удачно в книге Б. Колчина изложен вопрос о добывании железа и стали в период, предшествующий образованию древнерусского государства. Данные, которыми оперирует автор, довольно фрагментарны, а описания белорусских сыродутных горнов на городищах Лабенское и Кимия настолько неточны, что не дают возможности датировать время появления наземных плавильных печей. Утверждение Б. Колчина, что в VII—VIII веках быстро и бурно происходил технический прогресс, подготавливший успехи металлургии в IX—XIII веках, остаётся пока что только предположением и требует более веских доказательств.

Значительное место в книге занимает вопрос о технике металлообработки в древней Руси. Основным источником для воспроизведения технологии производства, справедливо указывает Б. Колчин, являются археологические памятники: продукция кузнечного ремесла и инструменты, при помощи которых она изготовлялась. Автор насчитывает более 150 отдельных видов изделий из железа и стали, из которых им изучена технология более 50 видов на нескольких тысячах экземпляров. Часть изделий была подвергнута разностороннему анализу (микроструктурному, макроструктурному, рентгеноструктурному и спектральному), а также была измерена твёрдость и микротвёрдость металла этих изделий.

Металловедческое исследование отдельных вещей и групп их не раз производилось как у нас, так и за границей. Но комплексный анализ массового количества вещей с целью определения уровня техники данного общества в определённую эпоху — явление новое. В данном случае трудности начинаются с самого принципа отбора образцов.

Чтобы показать технику кузнечного производства древней Руси, были отобраны и

исследованы самые разнообразные изделия: различные виды орудий труда, инструментов, оружия, домашней утвари и прочих изделий. Территориальное распределение изученных памятников показано на специальной схематической карте, из которой видно, что образцы распределены более или менее равномерно. Вызывает недоумение, что на этой карте отсутствует Сахновка на реке Россь (Киевская область), где находится городище Девичь-гора. По количеству и особенностям найденных там предметов оно является одним из очень интересных городищ древней Руси, о чём говорит и сам автор, упоминая до пятнадцати предметов, найденных там, и приводя их изображения.

Всестороннее изучение древнерусских изделий из чёрного металла показало, что уже в IX—X веках русские кузнецы достигли в его обработке высокого мастерства. Они изготавливали разнообразные железные и стальные предметы — от гвоздей и заклёпок до кос и мечей, — в совершенстве владея технологическими приёмамиковки, паяния и термической обработки. Для древнерусских мастеров характерно умение соединять путём сварки стальное лезвие с железной основой.

Исходя из всего этого, Б. Колчин утверждает, что техника обработки металла в древней Руси X—XIII веков не только не отставала от уровня техники передовых стран Западной Европы, но в отдельных производствах даже опережала их. Этот вывод находится в полном соответствии с выводами других советских учёных, работающих в области истории материальной культуры древней Руси. Правда, Б. Рыбаков указывает, что при общем высоком уровне ремесла «многие технические приёмы, известные городу XI—XII в.в., деревне известны не были; многие типы вещей бытовали только в городе или только в деревне». Поэтому, характеризуя древнерусское ремесло он делит его на городское и деревенское (вещи, добытые главным образом из деревенских курганов).

Но инвентарь деревенских курганов, кроме вещей, изготовленных деревенскими куз-

нецами, заключал в себе и вещи более высокой техники — «качественные изделия» (по терминологии Б. Колчина). Где же и как приобретал их древнерусский земледелец?

Буржуазные историки утверждали, что они ввозились из-за границы. Но при общем высоком уровне техники городского ремесла древней Руси подобное утверждение теряет силу. Вот почему важнейшим вопросом, возникшим перед исследователем, был вопрос о выяснении характера товарных отношений между городскими ремесленниками и сельскими производителями.

По мнению Б. Колчина, «качественные» орудия труда, инструменты и оружие древнерусский земледелец получал от городского специализированного ремесленника. Мало того, оценивая удельный вес товарной продукции других ремесленников древней Руси, автор высказывает вполне правильную мысль с том, что в товарных связях города и деревни ведущая роль принадлежала ремёслам, занимавшимся добычей и обработкой железа.

Книга Б. Колчина обильно снабжена рисунками, таблицами, чёткими картами. Написана она простым и ясным языком. Этим стремлением к популярности объясняются, впрочем, и некоторые недостатки изложения: оно приводит к многочисленным повторениям. В некоторых случаях Б. Колчин допускает неточные выражения. Он пишет, например: «все изделия из чёрного металла, которые нам оставила древняя Русь, были созданы русским кузнецом». Это положение сам же автор в других местах книги ограничивает.

Вполне возможно, что в дальнейшем изучении вопроса некоторые частные утверждения Б. Колчина окажутся спорными. Но основные его положения о том, что древняя Русь имела на базе местных руд свою металлургию, которая вполне удовлетворяла нужды государства, а техника металлообработки в древней Руси стояла на высоком уровне развития, не ниже, чем в передовых странах Западной Европы, — не вызывают сомнения.

**П. ФЕДОРЕНКО.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 96 стр. Цена 90 к.

**В. И. Ленин.** К населению. — О «демократии» и диктатуре. — Что такое Советская власть? 88 стр. Цена 1 р.

**И. Сталин.** Речь на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г. 24 стр. Цена 25 к.

**Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик.** 32 стр. Цена 25 к.

**Г. М. Маленков.** Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 г. 48 стр. Цена 45 к.

**Н. С. Хрущев.** О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. Доклад на пленуме ЦК КПСС 3 сентября 1953 г. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.

**П. Н. Поспелов.** О XXX годовщине со дня смерти В. И. Ленина. Доклад на торжественно-траурном заседании в Москве 21 января 1954 года. 16 стр. Цена 20 к.

**Тезисы о 300-летию воссоединения Украины с Россией (1654—1954 гг.).** 32 стр. Цена 30 к.

**Л. А. Афанасьев.** Безработица в США после второй мировой войны. 88 стр. Цена 1 р.

**Б. Борисов.** Связь с народом — источник силы Коммунистической партии. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

**С. Грачёв.** Помощь СССР народам Чехословакии в их борьбе за свободу и независимость (1941—1945 гг.). 240 стр. Цена 3 р. 80 к.

**И. Греков, В. Королюк, И. Миллер.** Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

**И. Дворкин.** Идеология и политика правых лейбористов на службе монополий. 472 стр. Цена 7 р.

**А. Заговельев, Д. Парфёнов.** Лучше удовлетворять бытовые нужды трудящихся. 40 стр. Цена 35 к.

**В. Карпинский.** Основы общественного и государственного строя Советского Союза. 80 стр. Цена 75 к.

**Краткий философский словарь.** 4-е дополненное и исправленное издание. 704 стр. Цена 17 р. 50 к.

**И. Лаврухин, А. Куропатов.** Советский Союз — оплот мира и безопасности народов. 36 стр. Цена 40 к.

**Наша великая Родина.** Часть II. 200 стр. Цена 3 р. 65 к.

**А. Я. Попов.** Современное мальтузианство — человеконенавистническая идеология империалистов. 192 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Н. Л. Рубинштейн.** Внешняя политика Советского государства в 1921—1925 годах. 568 стр. Цена 8 р. 35 к.

**Е. Третьякова.** О партийном руководстве печатью. (В помощь работникам печати). 32 стр. Цена 30 к.

**Л. М. Цырлин, А. И. Петров.** Буржуазная статистика скрывает правду. 168 стр. Цена 2 р.

**Г. Шахназаров.** Почему буржуазия растоптала принцип равноправия людей и наций. 64 стр. Цена 60 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Борис Галин.** Чудесная сила. Очерки. 504 стр. Цена 8 р. 60 к.

**В. Бахнов, Я. Костюковский.** Занимайте ваши места! 83 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Петро Козланюк.** Избранное. Авторизованный перевод с украинского Вл. Россельса. 592 стр. Цена 9 р. 15 к.

**Ник. Задорнов.** Амур-батюшка. Роман. 484 стр. Цена 7 р. 95 к.

**Богдан Истру.** Родные берега. Стихи. Авторизованный перевод с молдавского. 120 стр. Цена 2 р. 15 к.

**Валентин Лагода.** За нашими Карпатами. Стихи о новой Венгрии. Перевод с украинского Марка Шехтера. 172 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Ксения Львова.** На лесной полосе. По весть. 124 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Михаил Луконин.** Две поэмы. 164 стр. Цена 4 р. 75 к.

**Андрей Пришвин.** Повести. На берегу Зеи. Солнечная зима. Крепость. 496 стр. Цена 8 р. 15 к.

**Ахмед Рагимов.** Моя семья. Перевод с азербайджанского М. Юфит. 297 стр. Цена 5 р. 30 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Демьян Бедный.** Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Стихотворения, эпиграммы, басни, сказки, повести. 1908—октябрь 1917. 558 стр. Цена 10 р. Том 2. Стихотворения, басни, повести, сказки, фельетоны. Ноябрь 1917—1920. 468 стр. Цена 10 р.

**Джордано Бруно.** О героическом энтузиазме. Перевод с итальянского. 212 стр. Цена 4 р. 65 к.

**П. Н. Воронько.** Стихотворения и поэмы. Авторизованный перевод с украинского. 284 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Гомер.** Одиссея. Перевод с греческого. 319 стр. Цена 6 р. 90 к.

**К. Я. Горбунов.** Ледолом. Роман. Издание переработанное и дополненное. 424 стр. Цена 7 р. 90 к.

**М. Горький.** Собрание сочинений в тридцати томах. Том 27. Статьи, доклады, речи, приветствия. 1933—1936. 589 стр. Цена 12 р.

**Виктор Гюго.** Собрание сочинений в пятнадцати томах. Перевод с французского. Том 3. 550 стр. Цена 12 р.

**Рафаэлло Джованьоли.** Спартак. Историческая повесть из VII века римской эры. Перевод с итальянского. 496 стр. Цена 10 р. 10 к.

**Альфонс Додэ.** Избранные рассказы. Перевод с французского. 108 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Г. Короленко.** Собрание сочинений в десяти томах. Том 1. Повести и рассказы. 496 стр. Цена 10 р. 50 к. Том 2. Повести и рассказы. 479 стр. Цена 10 р. 50 к.

**И. П. Котляревский.** Энеида. Поэма. Перевод с украинского И. Бражнина. 224 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Вилис Лацис.** Рассказы. Перевод с латышского. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Л. М. Леонов.** Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. Скутаревский. Роман.—Половчанские сады. Волк. Обыкновенный человек. Пьесы. 584 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Т. Мотылева.** Анна Зегерс. Критико-биографический очерк. 256 стр. Цена 6 р. 90 к.

**Мартин Андерсен Нексе.** Собрание сочинений в десяти томах. Том 6. Ранние повести.—«Люди с Дангора». Драма. Перевод с датского. 336 стр. Цена 11 р.

**Элиза Ожешко.** Сочинения в пяти томах. Том 1. Марта.—Мейр Езофович. Перевод с польского. 540 стр. Цена 10 р.

**П. А. Павленко.** Собрание сочинений в шести томах. Том 3. Повести. Рассказы. 552 стр. Цена 10 р.

**Важа Пшавела.** Поэмы. Перевод с грузинского Н. Заболоцкого. 258 стр. Цена 4 р. 90 к.

**А. П. Свидницкий.** Люборацкие. Семейная хроника. Перевод с украинского А. Дева. 232 стр. Цена 4 р. 55 к.

**Василь Стефаник.** Кленовые листья. Перевод с украинского. 78 стр. Цена 90 к.

**Марк Твен.** Избранные произведения (в двух томах). Перевод с английского. Том 1. 500 стр. Цена 9 р. 90 к. Том 2. 580 стр. Цена 11 р. 10 к.

**И. С. Тургенев.** Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 1. Записки охотника. 480 стр. Цена 10 р. Том 2. Рудин. Дворянское гнездо. 328 стр. Цена 10 р.

**Андрей Упит.** В шёлковой паутине. Роман. Перевод с латышского. 344 стр. Цена 7 р.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Виктор Виткович.** Путешествие по Советскому Узбекистану. Издание 2-е дополненное и переработанное. 311 стр. Цена 10 р. 80 к.

**И. Горелик.** Первые страницы. Очерки о творчестве советских инженеров. 232 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Юрий Гордиенко.** Стихи и поэмы. 168 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Евг. Долматовский.** О мужестве, о дружбе, о любви. Книга стихов. 111 стр. Цена 2 р. 55 к.

**В. Захарченко.** Фестиваль. Бухарест, август 1953 года. 168 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Вилис Лацис.** Бескрылые птицы. Роман. 580 стр. Цена 12 р. 20 к.

**Д. Мещеряков.** Подъём урожая трав. 80 стр. Цена 90 к.

**В. Поляков.** Путь к изобилию. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Прокофьев.** Две морали. Мораль религиозная и мораль коммунистическая. 56 стр. Цена 1 р.

**М. Россовский.** На благо народа. 64 стр. Цена 55 к.

**С. Спандарян.** Счёт в нашу пользу. Литературная запись Е. Шатрова. 302 стр. Цена 4 р. 65 к.

**П. Хохлов.** Помощники агронома Филатова. 47 стр. Цена 70 к.

## ДЕТГИЗ

**В. Ананян.** Рассказы. Авторизованный перевод с армянского А. Гюль-Назарянца. 32 стр. Цена 50 к.

**П. Бажов.** Зелёная кобылка. 64 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Башкирские народные сказки.** Составил А. Усманов. 112 стр. Цена 2 р. 95 к.

**В. Бианки.** Егоркины заботы. 40 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Н. Богданов.** О смелых и умелых. Рассказы о войне. 64 стр. Цена 95 к.

**Н. Верзилин.** По следам Робинзона. 280 стр. Цена 8 р. 45 к.

**Герои Эллады.** Из мифов древней Греции. Пересказала для детей В. Смирнова. 144 стр. Цена 4 р. 80 к.

**И. Демпан.** Меры и метрическая система. 100 стр. Цена 2 р. 35 к.

**В. Захарченко.** К морю Чёрному. 96 стр. Цена 2 р. 75 к.

**В. Иерусалимский.** Наши автомобили. 32 стр. Цена 3 р. 10 к.

**М. Ильин, Е. Сегал.** Рассказы о том, что тебя окружает. 320 стр. Цена 6 р. 65 к.

**С. Клементьев.** Механические помощники. 192 стр. Цена 3 р. 95 к.

**Н. Кончаловская.** Наша древняя столица. Картины из прошлого Москвы. Книга третья. 120 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Мультигули.** Саиджа и Адинда. Перевод с голландского. 32 стр. Цена 45 к.

**Н. А. Некрасов.** Избранные произведения. Вступительная статья, редакция текста и примечания К. Чуковского. 224 стр. Цена 12 р. 15 к.

**Л. Рубинштейн.** Дорога победы. Роман. 640 стр. Цена 14 р. 55 к.

**Солдаты Родины.** Рассказы. 548 стр. Цена 10 р. 45 к.

**А. Стиль.** Дети французских докеров. Перевод с французского. 96 стр. Цена 2 р. 35 к.

**В. Талепоровский.** Русские архитекторы. 208 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Н. Томан.** Когда утихла буря. Повести. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

**К. Чуковский.** Сказки. 128 стр. Цена 6 р. 55 к.

**А. Шаров.** Посылка. 48 стр. Цена 80 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**В. Г. Белинский.** Полное собрание сочинений, т. III. 682 стр. Цена 20 р.

**А. М. Бутлеров.** Сочинения, т. 2. Введение к полному изучению органической химии. 628 стр. Цена 35 р.

**Ф. Г. Волков и русский театр его времени.** Сборник материалов. 255 стр. Цена 17 р.

**В. И. Гольдманский.** Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева. 165 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Музыкальное наследство.** Римский-Корсаков. Том II. Исследования, материалы и письма. 366 стр. Цена 29 р.

**С. П. Обнорский.** Очерки по морфологии русского глагола. 248 стр. Цена 15 р. 70 к.

**А. К. Рождественский.** На поиски динозавров в Гоби. 189 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Строитель первых гидроэлектростанций в СССР академик Генрих Осипович Графтио.** 195 стр. Цена 13 р. 60 к.

**Г. И. Успенский.** Полное собрание сочинений. Том XII. 647 стр. Цена 30 р.

**Р. О. Халфина.** Значение и существо договора в советском социалистическом гражданском праве. 238 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Ц. А. Ямпольская.** Органы советского государственного управления в современный период. 226 стр. Цена 9 р. 10 к.

#### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**М. Васильев.** Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. 104 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Г. Ф. Гапченко.** Военно-глазомерная съёмка. 136 стр. Цена 2 р. 25 к.

**А. Гончаров.** Наш корреспондент. Повесть. 270 стр. Цена 5 р. 50 к.

**История военно-морского искусства.** Том II. Военно-морское искусство эпохи империализма. 248 стр. Цена 12 р. 10 к. Том III. Военно-морское искусство эпохи империализма. 334 стр. Цена 15 р. 70 к.

**В. Конобеев.** Русско-болгарское боевое содружество в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. 78 стр. Цена 1 р.

**В. Мельник.** Испытатели. Повесть. 204 стр. Цена 4 р. 95 к.

**З. С. Осипов.** Забота Коммунистической партии об укреплении активной обороны СССР. 72 стр. Цена 90 к.

**Г. Е. Павлова.** Декабрист Николай Бестужев — историк русского флота. 84 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Н. В. Пуховский.** О советской военной науке. 86 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Розен.** Моя батарея. Рассказы. 112 стр. Цена 1 р. 90 к.

**П. А. Румянцев.** Документы. Том II. 1768—1775. (Материалы по истории русской армии. Русские полководцы.) 864 стр. Цена 41 р. 25 к.

**Русские мореплаватели.** 672 стр. Цена 23 р. 70 к.

**Н. Рыбак.** Переяславская Рада. Роман. Авторизованный перевод с украинского. Том I. 608 стр. Цена 11 р. 75 к.

**Г. Семенихин.** Испытание. Повесть. 230 стр. Цена 4 р. 90 к.

**О. А. Удальцов.** Иван Назукин. (Моряки — герои гражданской войны). 30 стр. Цена 35 к.

**Николай Александрович Щорс.** 32 стр. Цена 80 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Г. Бауман.** Атлантический пакт концернов. Перевод с немецкого. 282 стр. Цена 13 р. 95 к.

**Петер Вереш.** Испытание. Рассказы. Перевод с венгерского. 142 стр. Цена 4 р.

**Очерки по истории освободительной борьбы корейского народа.** Перевод с корейского. 324 стр. Цена 8 р.

**Л. Россель.** Экономический кризис 1929—1933 г. в Польше. Перевод с польского. 304 стр. Цена 10 р. 90 к.

**Уильям З. Фостер.** Очерк политической истории Америки. Перевод с английского. 918 стр. Цена 20 р. 75 к.

#### «ИСКУССТВО»

**А. Бруштейн, О. Савич.** Печаль моей земли. Пьеса. 100 стр. Цена 1 р. 75 к.

**В. Губарев.** Павлик Морозов. Пьеса. 94 стр. Цена 1 р. 70 к.

**С. Дунина, Ф. Г. Раневская.** 82 стр. Цена 2 р. 95 к.

**Г. Недошивин.** Очерки теории искусства. 338 стр. Цена 17 р. 15 к.

### ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

**И. П. Бердинских.** Производство мебели. 408 стр. Цена 15 р. 85 к.

**Б. И. Гаврилов.** Длительная подсочка со-сны в СССР. 160 стр. Цена 6 р. 90 к.

**П. П. Пацора.** Электрооборудование на лесоразработках. 348 стр. Цена 8 р. 75 к.

**В. П. Сумароков.** Химия и технология переработки древесных смол. 236 стр. Цена 13 р. 15 к.

**С. К. Флёрв.** Организация лесозащиты. 80 стр. Цена 2 р. 45 к.

### МЕДГИЗ

**В. А. Кондратьев.** Режим большого гипер-тонической болезнью. 32 стр. Цена 25 к.

**Учение И. П. Павлова в лечебной прак-тике психоневрологической больницы.** Из опыта работы Московской городской клини-ческой психоневрологической больницы № 1 им. П. П. Кашенко. 132 стр. Цена 6 р. 40 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**А. Алпатьев.** Помидоры. 146 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Воробьёва.** Режим экономии — важней-ший рычаг развития народного хозяйства. 55 стр. Цена 70 к.

**З. Вихрева.** Мой опыт раздоя коров. 41 стр. Цена 50 к.

**В. Гуторов.** Новые сельскохозяйственные машины — на колхозные поля. 66 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Как посадить картофель квадратно-гнез-довым способом.** 51 стр. Цена 65 к.

**Ф. Константинов.** Роль передовых идей в развитии общества. 79 стр. Цена 1 р.

**Кукуруза — ценная кормовая культура.** Сборник. (Передовой опыт колхозам). 64 стр. Цена 90 к.

**А. Мельников.** Внутренние резервы произ-водства. 46 стр. Цена 70 к.

**На пути к изобилию.** 106 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Первичная партийная организация.** Сбор-ник. Из опыта работы первичных партий-ных организаций г. Москвы. 262 стр. Цена 4 р. 65 к.

**Политическая работа в массах.** Сборник. Из опыта агитационно-массовой работы партийных организаций г. Москвы. 160 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Разуваев.** О воспитании колхозных кадров. 61 стр. Цена 75 к.

**И. Фомин.** Подбор, расстановка и воспи-тание кадров. 63 стр. Цена 80 к.

**Д. И. Фонвизин.** Бригадир. Недоросль. 130 стр. Цена 3 р. 55 к.

### МУЗГИЗ

**К. Кузнецов, И. Ямпольский.** Аркандже-ло Корелли. 70 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Т. Ливанова, Н. Я. Мясковский.** 408 стр. Цена 15 р. 90 к.

**Д. Рогаль-Левицкий.** Современный ор-кестр. Том II. 446 стр. Цена 30 р. 50 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**Ф. С. Генералов.** Высокопродуктивное животноводство колхоза имени Сталина. 3-е издание. 112 стр. Цена 2 р. 45 к.

**С. С. Измайлова.** Колхоз Барабинской низменности. 144 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Б. В. Климентов.** Многоотраслевой ку-банский колхоз. 160 стр. Цена 3 р. 10 к.

**И. М. Ключко.** Раздой коров в колхозах и совхозах Украины. 2-е издание. 96 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Т. Д. Лысенко.** О почвенном питании ра-стений и повышении урожайности сельско-хозяйственных культур. 32 стр. Цена 70 к.

**В. В. Овечкин.** Очерки о колхозной жиз-ни. 248 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Л. Ф. Писарева, Г. Т. Гора.** Птицеферма колхоза имени Молотова. 2-е издание. 40 стр. Цена 55 к.

### ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

**Б. Л. Карвацкий.** Автоматические тормо-за. Издание 2-е. 242 стр. Цена 8 р. 70 к.

**Г. В. Лидерс.** Железнодорожный путь. Устройство, ремонт и текущее содержание. Издание 3-е переработанное. 368 стр. Цена 7 р.

### УЧПЕДГИЗ

**А. Дементьев, Е. Наумов, Л. Плоткин.** Русская советская литература. Второе, пе-реработанное издание. 445 стр. Цена 9 р.

**Г. Н. Поспелов.** Творчество Н. В. Гоголя. 274 стр. Цена 4 р. 50 к.

### «АИПЕТРАТ»

**Советская армянская литература.** Сборник поэзии и прозы. 644 стр. Цена 16 р. 65 к.

### АМУРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. А. Кирюшкин.** Говорящий ключ. По-весть. 256 стр. Цена 6 р. 70 к.

### КРЫМИЗДАТ

**М. В. Глушко.** На всю жизнь. Роман. 399 стр. Цена 5 р. 40 к.

### ЛАТГОСИЗДАТ

**А. Калнберзина.** Дмитрий Андреевич Фур-манов. Критико-биографический очерк. 252 стр. Цена 6 р. 90 к.

**И. К. Леманис.** По дорогам жизни. По-весть. Авторизованный перевод с латыш-ского А. Медяиса. 351 стр. Цена 7 р. 15 к.

**Петер Силс.** Пионерам. Стихи. Перевод с латышского В. Лифшиц. 30 стр. Цена 45 к.



**НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**Н. Воскресенский.** Самое сильное. Роман.  
471 стр. Цена 8 р. 95 к.

**ОМСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**Ольга Макарова.** В дни войны. Повесть.  
196 стр. Цена 4 р. 85 к.

**СВЕРДЛОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**В. И. Кауров.** В дальний путь. Повесть.  
216 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Ф. Тарханеев.** У Крутых скал. Рассказы.  
88 стр. Цена 70 к.

**СТАЛИНГРАДСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**В. А. Урин.** Счастью навстречу. Поэма.  
72 стр. Цена 1 р. 90 к.

**ЧЕЛЯБИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**Е. Е. Хоринская.** Дружба. Стихи. 28 стр.  
Цена 60 к.

**Н. А. Глебов.** Карабарчик. Повесть.  
151 стр. Цена 3 р. 80 к.




---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),

**В. П. Катаев, С. С. Смирнов** (зам. главного редактора),

**С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин, М. А. Шолохов**

---

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

---

Сдано в набор 26/1-54 г.

А 01020 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 255.

Подписано к печати 19/II-54 г.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.